АНДРЕЙ ЛЕСКОВ

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

АНДРЕЙ ЛЕСКОВ

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА

ПО ЕГО ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ И НЕСЕМЕЙНЫМ ЗАПИСЯМ И ПАМЯТЯМ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТИ ПЯТАЯ-СЕДЬМАЯ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Подготовка текста и комментарии
В. А. ТУНИМАНОВА И Н. Л. СУХАЧЕВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Л $\frac{4702010100\text{-}337}{028(01)\text{-}84}$ 25-84

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЕРЕТИЧЕСТВО

1874—1881

Мы не сектанты, а еретики.

Беседный ответ Лескова Веселитской [1]

ГЛАВА 1
ВТОРАЯ ЗАГРАНИЦА

Ничто не радует. Дома нелады неудержимо растут. Комитет «мерзит». Восемьдесят три рубля в месяц жалованья — «на кота широко, а на собаку узко». Такой заработок не оплачивает труда по усердно «всучаемым» Георгиевским «щетинкам» *, требующим заключений, заведомо неприятных министру[2]. О литературе и думать больно. Один Катков что крови портит.

Теряя последнее терпение, Лесков при содействии А. Н. Аксакова, вступает в переписку с И. С. Аксаковым в надежде найти через него сколько-нибудь достаточный заработок в каком-нибудь крупном коммерческом деле.

16 ноября 1874 года он пишет последнему: «Русский вестник» был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться, терпя там постоянно значительное стеснение, — теперь и это кончено, а ни плодить материалистов других «Вестников», ни лепить олигархов «Русского мира» я не могу» **.

Совершается нечто поистине полное драматизма и оскорбительности. Не так давно Александр Аксаков, прочитав в «Соборянах» «моление на бахче *** кривоносого старика Пизонского, восторженно писал автору: «Откуда износите сие? Вот уж подлинно дух идеже хощет дышит!» [3]

---

* См. письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 15 января 1876 г. — «Шестидесятые годы», с. 339.

** Пушкинский дом[4].

*** «Устрой, и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и производящего, благословляющего и неблагодарного».

Теперь он старается сосватать творца этих «Соборян» и «Ангела» с бывшим винным откупщиком, сейчас нефтяником, директором и учредителем «Волжско-Камского банка», В. А. Кокоревым.

Иван Аксаков подхватывает идею и «лбом бьет», чтобы осуществить ее[5].

Но около Кокорева пригрелся хваткий делец, горный инженер К. А. Скальковский, впоследствии директор Горного департамента, про которого академик А. Н. Крылов, с неизменной для него ясностью, в свое время помянул: «Про Скальковского не только говорили, но и писали, что он первый взяточник в мире» *, а академик Е. В. Тарле, останавливаясь на феноменальном взяточничестве Талейрана, привел сочное подтверждение беззастенчивости недавнего мздоимца: «На слова подрядчика: «Я дам вашему превосходительству три тысячи — и никто об этом и знать не будет», стал возможен переданный потомству директором Горного департамента К. А. Скальковским классический ответ его превосходительства: «Дайте мне пять тысяч и рассказывайте кому хотите» **[6].

После месяца какой-то малообещающей неопределенности Кокорев почему-то просит Лескова разобрать и оценить чисто специальную работу по нефти именно Скальковского. Лесков затрачивает месяц кропотливого труда и сдает законченный разбор работы.

27 января 1875 года он рапортует Аксакову:

«В. А. Кокорев вчера с вечерним поездом уехал в Москву и теперь должен быть там. В Москве он пробудет дня три. Перед отъездом его мы с ним виделись два раза, и он обещал мне какую-то работу. В чем эта работа будет заключаться — не знаю; но во всяком случае, если бы вам довелось с ним видеться и заговорить обо мне, — порадейте за меня немножечко. Судя по тому, что он платил за работы «некоему» <Скальковскому. — *А. Л.*>, я признаю эту плату несоразмерно щедрою (напр., 4 т. за компиляцию о нефтяном промысле) и вообще я работе рад, но мне было бы вдвое милее, если бы он платил мне не сдельно, а вообще взял бы меня для своих работ, — чтобы я делал все, что потребуется ему и что мне по силам. Это бы нас сбли-

* А. Н. Крылов. Мои воспоминания. Изд. Акад. Наук СССР, 1945, с. 501.

** Е. Тарле. Талейран. Изд. Акад. Наук СССР, 1948, с. 34.

зило гораздо более, и бог весть, может быть и я бы ему пригодился, как он теперь не думает. Во всяком случае: не найдете ли возможности бросить ему эту мысль?» *

На дружеские призывы Аксакова к осмотрительности ** Лесков отвечал: «Только хотел писать вам <...> как получил ваше письмо, с которым не только вполне согласен, но даже уже и поступил таким образом. Кокорев приглашал меня на днях написать статью о СПб. ж. дороге по северному направлению (в пользу сего последнего). Я взял бумаги, перечитал и *убедился,* что северное направление имеет за себя довольно много, но писать статью не стал: 1) потому что о сем уже слишком много написано и пришлось бы только компилировать да рекламировать, а во 2) потому что Кокорев хотел напечатать статью непременно в «Отеч. зап.», в коих я участвовать не хочу, особенно же нахожу недостойным снабжать их моею работою под сурдинкою. Я обо всем этом написал Кокореву откровенно и получил от него письмо тоже очень теплое и задушевное, в котором он просит меня не прощаться. Я его благодарил и ответил, что очень рад его знакомству; рад буду и работе, которая может случиться (особенно сопряженной с поездкою с описательной целью), но ни на что не напрашивался и отошел, как говорят, с «достоинством». На том дело наше и кончено. Я на него ни в малейшей претензии и думаю, что вы не ошибаетесь: он мне даже желает пригодиться, но ему не до меня <...> За совет и отличное истолкование моих опрометчивых слов усердно вас благодарю и повторяю: я уже так и сделал, как вы пишете. Делать *«все,* что потребуется», я разумел о *роде* занятий, т. е. ездить, писать, с людьми говорить и т. п., но слава богу, что и я ему этого не сказал, и вы тоже» ***.

За разбор нефтяного проекта Скальковского Кокорев, видимо, уже ближе к концу 1875 года, прислал Лескову 300 рублей без пояснений о возможности чего-либо в дальнейшем.

Скальковскому близкое сотрудничество с зорким публицистом-обличителем не могло улыбаться, как,

---

* Пушкинский дом.
** Письмо не сохранилось и дата его неизвестна.
*** Письмо от 1 марта 1875 г. — Пушкинский дом.

должно быть, и его принципалу. Сын писателя [7], он всегда следил за текущей литературой. Под старость он даже сам смастерил, не лишенную пикантности, книжечку «О женщинах», с пестрым набором в ней всевозможных «мыслей» о прекрасной половине рода человеческого. Автором книги был указан «?». Издал ее Суворин, в окружение которого входил жизненно ловкий составитель книжечки. Было у этого горного инженера столь же малоожиданное исследование — «Танцы и балет и их место в ряду изящных искусств», и т. п. Он был присяжный балетоман. Ранг высочайшей марки. В каком-то русском или французском журнальчике, вероятно, 1905-го года, на французском языке утверждалось, что в России есть особый класс государственных мужей — «ле бельетоман рюсс или ле прохвости», из которых император преимущественно избирает себе министров. Труд «Вопросительного знака» вызвал статейку Лескова, озаглавленную «Раздражительная книга о женщинах», с деловитыми указаниями на «бесправное» смещение в ней мыслей вымышленных героев с мыслями создавших их авторов *.

Обеспечить Лескову неудачу у Кокорева для Скальковского не составляло труда: довольно было указать несколько персональных «персиков» в произведениях соперника. Например, хотя бы такие:

«А винище откупщик Мамонтов продавал такое же поганое, как и десять лет назад было при Василье Александровиче Кокореве» **[8].

«Сколько, говорю, за водку с меня? — Все, что есть, у нас дорогая, брат, кокоревская: с водой, да с слезой, с перцем, да с его собачьим сердцем» ***[9].

Да мог помнить кое-что и сам охотно почитывавший и пописывавший коммерсант. Например, хотя бы из хорошо нашумевшего в свое время романа «Некуда», в первой части которого крестьяне выезжали на санях из города, «распевая с кокоревской водки» ****[10].

---

* «Петербургская газета», 1886, № 52, 22 февраля. Без подписи.

** «Житие одной бабы». Эпилог. — «Библиотека для чтения», 1863, август.

*** «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого». СПб., 1867, или «Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого». СПб., 1873; в обоих изданиях с. 42.

**** Собр. соч., т. VIII, ч. I, 1902—1903, с. 132.

Финансисту, старательно подчеркивавшему «общественную полезность» своей «деятельности», напоминания, что разжился он с водки, были солоны [11].

И, может быть, думалось ему: хорошо, как гладко пойдут дела с «сочинителем»-то, а как разладятся? Тогда, как пишут некие усовершители и обогатители бедного русского языка, того гляди, с такою *интенсивностью отобразит* тебя в своих *фрагментах,* что ни на каком *отрезке времени* не *дезавуируешь адекватности* и *концепции* всей его *интерпретации* и *дискриминации* [12]. Нет, уж лучше по старинке: береженого и бог бережет, поостеречься.

Солигалическому самородку наносная речевая иностранность была, конечно, чужда. Он знал и любил родной язык и прекрасно обходился им во всех случаях, не испытывая лишений.

Будем уповать, что расцветшие в недавнее время досужие словоизмышления и охочие иностранные заимствования невдолге отпадут, как мертвые струпья с оздоровевшей кожи.

Горький незадолго до своей смерти писал В. А. Десницкому про Лескова: «Уверен, что сии мощи, будучи вскрыты, окажут чудодейственное влияние на оздоровление русского языка, на ознакомление с его красотой и остротой, гибкостью и хитростью» *.

Стареющий Лесков зло ополчался на «quasi-ученую литературу», пишущую «свои ученые статьи этим варварским языком» **[13].

Прочитав в газете слово «экстрадиция», он сейчас же напечатал статейку [14], в которой иронически говорил о «находчивости и ревности русских журналистов», благодаря которым русская печать наводняется совсем без надобности» словами иностранного происхождения.

«И. С. Аксаков, — писал Лесков, — говаривал, что «за этим стоило бы учредить общественный дозор, — чтобы не портили русского языка, — и за нарушение этого штрафовать в пользу бедных». Теперь бы это и кстати», заканчивал он свою заметку ***.

---

* См.: «Литературный современник», 1937, № 3, с. 155.

** Фаресов. Против течений. СПб., 1904, с. 275; далее — *Фаресов.*

*** «Новое русское слово». — «Петербургская газета», 1891, № 328, 29 ноября. Без подписи.

В беседах Кокорев иногда делился с Лесковым интересными воспоминаниями, одно из которых позже пригодилось как «прекрасный материал» для характеристики одной из главных фигур рассказа «На краю света» *. Об этом автор твердо заявил в первой главе своего рассказа «Владычный суд» **, отдав должное «почтенному и всякого доверия достойному лицу В. А. К—ву» [15].

Искать жизнью требуемого приработка вообще не сладко, а при все яснее обнажавшейся бесплодности всех стараний Аксакова и лично сделанных уже шагов становилось и совсем нестерпимым.

В конце концов пришлось на все поставить крест, невольно унеся что-то «в печенях».

Посылая Суворину рассказ «Рождественский вечер у ипохондрика», Лесков писал издателю: «Теперь переделал, *как хочется вам.* Главное: картина хлудовского кутежа, который был в *прошлом году* и на нем Кокорев играл. Это живо прочтется» ***[16].

Рассказ читается живо до сих пор. Но, несомненно, особенно живо прочитался при его появлении здравствовавшими участниками знаменитого кутежа, и, может быть, всех живее Кокоревым.

22 августа 1882 года в родственном письме [17], отвечая на вопрос о возможности устройства одного незадатливого свояка в кокоревский банк, Лесков писал: «...речь о Волжско-Камском банке мне представляется несбыточною. Эти службы ведь начинаются с *писаря,* то есть с 8—10 <рублей> жалованья при полной подчиненности и такой зависимости от произвола старшего (бухгалтера или контролера), что никакая казенная служба не может идти в сравнение. На казенной службе нельзя никого отставить по произволу и *ни за что,* а тут полный произвол и все решается в одну минуту, да и жаловаться некому: «вы нам не нужны» — и все кончено. Притом же Кокорев держал откупа...

---

* Впервые опубликован в журнале «Гражданин», 1875, № 52, 28 декабря, и 1876, № 1—4 от 5, 12, 18, 25 января и 8 февраля.

** Впервые опубликован в журнале «Странник», 1877, № 1—2.

*** Первоначально напечатан в «Новом времени», 1879, № 1375, 25 декабря. Письмо без даты. — Пушкинский дом. В позднейших перепечатках рассказ назывался «Чертогон».

По-моему, всякая казенная служба (особенно военная) имеет перед этим все преимущества».

Изменились времена и положения, а с ними и оценки и суждения.

Меньше, чем через полгода, 8 февраля 1883 года, Лескову приходится на себе испытать прочность «казенной службы» *. Мимоходом упомянуть, что пять лет спустя мне начали предъявляться требования «снять ливрею» и бросить, признававшуюся прежде имеющей все преимущества, именно военную службу.

В очень веселом и в общем безобидном рассказе «Путешествие с нигилистом» ** помянулись 500 рублей, посланные в 1876 году Кокоревым восставшим болгарам через генерала Черняева [18]. Подальше появилась пространная статья с острым заглавием — «Пресыщение знатностью» ***. В ней отводилось внимание кое-каким мыслям и предложениям Кокорева. Завершалась она двусмысленным сопоставлением тепла и уважения в приветствии Толстому со стереотипно-суховатым прощанием с миллионером: «А потому, может быть, несколько правы те, кому кажется лучше всего говорить просто: «здравствуйте, Лев Николаевич», «прощайте, господин Кокорев» [19].

Досадная страница из жизни закрывалась. В свое время она стоила крови и досаждений.

Не ладилось ничего и с Катковым. Вслед за «великолепною» хроникой «Соборяне» и всепризнанной уникой «Запечатленный ангел» владелец «Русского вестника» уклонился от публикации «Черноземного Телемака», как первоначально именовался автором «Очарованный странник» [20].

Каткова могло коробить в начале этого рассказа раскрытие бессердечия прославленного московского святителя, митрополита Филарета Дроздова, а далее и общая безвыигрышность дворянских фигур рядом с ярким образом прекраснодушного крепостного землепроходца Ивана Флягина.

Это была уже не первая черная кошка в отношениях с московским журналом. Потянулся потом в нем «За-

---

* См. ниже ч. VI, гл. 2 «Отставка».

** Первоначально «Рождественская ночь в вагоне». — «Новое время», 1882, № 2453, 24 декабря.

*** «Новое время», 1888, № 4271 и 4272, 19 и 20 января.

худалый род»[21] и на третьей книжке брошен незаконченным *. 5 декабря 1874 года Лесков сообщает И. С. Аксакову, что продал это произведение для печатания отдельной книгой издателю А. Ф. Базунову, и 23-го числа того же месяца поясняет: «Захудалый род» кончать невозможно, даже несмотря на то, что он почти весь в брульоне окончен. У меня руки от него отпали, и мне сто раз легче и приятнее думать о новой работе, чем возвращаться на эту ноющую рану. Это свыше моих сил! Пусть пройдет время — тогда, может быть, что-нибудь и доделаю, а теперь... от этого много черной крови в сердце собирается» **.

Через четыре месяца на указания И. Аксакова в письме от 21 апреля 1875 года об этой вышедшей уже книге Лесков тотчас же, 23-го числа, откровенно отвечает:

«Благодарю вас за ваше приветствие и ваше откровенное письмо, которое мне вдвойне дорого: как доказательство приязненных ко мне отношений и как вполне правильное критическое указание моих ошибок. Последнее я всегда умел принимать без малейшего раздражения и сожалею только о том, что подобные откровенные и доброжелательные указания встречал слишком редко. Вам, может быть, известно, что в печати меня *только ругали,* и это имело на меня положительно *дурное влияние:* я сначала злобился, а потом... смирился, но неискусно, — *пал духом* и получил страшное недоверие к себе, импонирующее всякое начинание. То самое было и с *«Захудалым родом»,* с которым я спутался... и в самом деле пошел выводить fantaisie по полотну, довольно правильно разостланному. Этого не было со мною даже при юношеском «Некуда», не было, кажется ни в *«Запечатленном ангеле»,* ни в *«Соборянах».* Критика ваша вполне справедлива, и все, что вы мне написали, я не только приемлю, но и сам так чувствую. Роман стал путаться в голове моей, и его надо было бросить. Но отчего же это случилось? Перебираю все мои муки с ним и останавливаюсь на одном, что меня путало то виденье, которое неотразимо стояло передо мною с тех пор, как я отдал в редакцию 1-ю часть романа: это видение был сам редактор, который стоял передо мною и томил меня своими

---

* «Русский вестник», 1874, № 7, 8 и 10.
** Пушкинский дом.

недомолвками, своими томными требованиями, в которых я ничего не мог разобрать... Я не виню его, но виню себя — мою болезненную впечатлительность: меня никогда не портило доверие к моим силам (даже излишнее), но я оробеваю и путаюсь при всяком знаке недоверия и усиленных наблюдений за каждым моим словом. Это точно ошибает мне крылья, и я уже только дрыгаю, сам не зная зачем и как. Пожалуйста, не заподозрите меня в желании сваливать с своей головы на чужую; нет, я действительно запуган, заруган и довольно чего-нибудь в этом роде еще, чтобы я совсем никуда уже не годился. Я ценю многие заслуги Каткова и за многое ему благодарен, но лично на меня *как на писателя* он действовал не всегда благотворно, а иногда просто ужасно, до того ужасно, что я мысленно считал его человеком вредным для нашей художественной литературы. Одно это равнодушие к ней, никогда не скрываемое, а напротив, высказываемое в формах почти презрительных, меня угнетало и приводило в отчаяние. Отчаяние здесь имело свое место потому, что я мог трудиться *только с этим человеком,* а ни с кем иным. Критика могла оживить мои изнемогающие силы, но она всего менее хотела этого <...> Попытки Щебальского и Полонского сказать хоть что-нибудь в одобрение меня были обкорнованы рукою, которой, кажется, это даже было самой невыгодно; но все это так шло и дошло до того, что я совсем опешил, утратил дух, смелость, веру в свои силы и всякую энергию. Душевное состояние мое самое мучительное (о другом я не говорю): печатать мне *негде,* — на горизонте литературном я не вижу ничего <...> Вот и все! — Что же впереди?.. Неужто *уже конец*?! Двенадцать лет тому назад, написав «Некуда», я очутился в самом невыносимом положении, среди терзания четырех цензур (оно шло, кроме обыкновенной цензуры, через руки Веселаго и Турунова, а сей последний еще передал в III отделение) и самого неистового воя и клевет: я был тогда очень молод и по впечатлительности своей пришел в состояние крайней нервной раздражительности и *бежал* из России. Прага и Париж помогли мне забыть домашние невзгоды. — Я вылечился; но тогда было иное: меня ругали и мучили, но я мог работать, а теперь меня уже, кажется, совсем дошли. Около 15 мая хочу уехать за границу: хочу хоть на время не видать

всего того, что лишило меня сил и действия. Думаю пристать к какой-нибудь партии французских паломников и *сходить* с ними в Лурд. Может быть, это религиозное возбуждение людей, известных мне со стороны их нерелигиозности, займет меня, и я не буду думать о том, о чем думы так мучительны и так бесплодны. Далее не знаю даже: зачем я еду, но только потребность уехать чувствую неодолимую и по возможности на срок должайший. Благословите ли вы меня на это или осудите мое малодушие? Хотелось бы знать: где вы будете летом и куда написать вам, если душа того сильно попросит» *.

Бегство в Прагу и Париж отнесено здесь к посленекудовскому времени неверно[22]. Это или ошибка памяти, или — как и снижение своего возраста в некудовские дни — некоторая композиционная предвзятость.

По миновании многих лет, пытаясь переиздать хронику Протазановых в «Дешевой библиотеке», Лесков писал Суворину: «Я люблю эту вещь больше «Соборян» и «Запечатленного ангела». Она зрелее тех и тщательно написана. Катков ее ценил и хвалил <вероятно, в первых ее частях. — *А. Л.*>, но в критике она не замечена и публикою прочитана мало <...> это моя любимая вещь» **. И через год опять: «Это любили Катков, и Аксаков, и Черкасский, и Пирогов... Мне это дорого, как ничто другое мною написанное, и я жарко хотел бы видеть этот этюд распространенным как можно более <...> Вы издавали несравненно слабейшие моя работы, — не откажите же мне, пожалуйста, в большом литературном одолжении — издайте «Князей Протазановых» в *дешевой* библиотеке!.. Ведь они же этого *стоят*! А я вас прошу, понимаете, — не из-за чего-нибудь мелкого, а этого жаждет и алчет дух мой» ***.

Впрочем, со временем, когда алкание духа утишилось и в памяти все стало на свое место, критику М. А. Протопопову писалось опять так, как когда-то Аксакову: «Катков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания «Захудалого рода» сказал Воскобойникову: «Мы ошибаемся: этот человек *не наш*!» Мы разошлись (на взгляде на дворянство),

---

* Пушкинский дом.

** Письмо от 11 февраля 1888 г. — Пушкинский дом.

*** Письмо от 2 марта 1889 г. — Там же.

и я не стал дописывать роман. — Разошлись вежливо, но твердо и навсегда, и он тогда опять сказал: «Жалеть нечего — *он совсем не наш».* Он был прав, но я не знал: чей я? «Хорошо прочитанное Евангелие» мне это уяснило, и я тотчас же вернулся к свободным чувствам и влечениям моего детства... Я блуждал и воротился, стал *сам собою* — тем, что я есмь. Многое, мною написанное, мне действительно неприятно, но лжи там нет нигде, — я всегда и везде был прям и искренен» *.

Этим подтверждается суть творческой драмы и степень раздраженности, снова вызывавших желание бежать от кольцом замыкавшихся досаждений. Чем дальше и чем на «должайший» срок — тем спасительнее.

А пока это осуществится, в совершенно незначительной «Ниве» А. Ф. Маркса с начала 1874 года дробными порциями подается «Павлин», а с начала следующего года «Блуждающие огоньки». Мелковато и неудовлетворяюще по сравнению с настоящими, «толстыми» журналами, имеющими определенный политический облик, да что же делать, если они недоступны. Лишь бы дотянуть до лета, до отпуска месяца на четыре и укрыться ото всего терзающего «ободранные» нервы и истомленный дух.

Наконец приближается миг целительного самоустранения на какой-то срок и от литературно-служебных и, как это ни больно признать, от семейных огорчений.

8 мая 1875 года излагаются Щебальскому[23] общие предположения о поездке:

«Все вынесенное, как и все выносимое, так тяжело и *обидно,* что и говорить хочется, и боишься начать, потому что, кажется, никогда не кончишь, а между тем слушать, пожалуй, будет нечего. Тоска бездействия снедает и точит, а на литературном горизонте и просвета нет <...> Нет; do naszego brzegu nie plynie nic dobrego **. Остается сложить ружья в козлы и дремать, если тощее брюхо будить не будет».

Дальше Лесков сообщал, что Данилевский являлся приглашать его сотрудничать в «С.-Петербургских ведомостях»: «Я отказался. Эти бедные люди думают, что образ мыслей человека зависит от Каткова или от Нек-

---

* Письмо от 23 декабря 1891 г. — «Шестидесятые годы», с. 381.

** К нашему берегу не плывет ничего хорошего (*пол.*).

расова, а не проистекает органически от всех чувств и понятий» *.

Конечным пунктом, может быть по старой памяти, избирается Париж. Предварительная программа: свидание с И. Аксаковым в Москве, побывка в Киеве для свидания с братьями, у одного из которых гаснет в скоротечной чахотке молодая и милая жена, с матерью, с сестрами. Петербург покидается со вздохом облегчения, видимо, десятого числа. Одиннадцатое проводится у Аксакова в Кунцеве: «И здесь Аксаков сказал мне, что я сделал бы ему удовольствие, если бы побывал в Париже у иезуита Гагарина и написал бы потом, как я найду его». Этим предрешалось появление впоследствии ценной статьи Лескова «Иезуит Гагарин в деле Пушкина» **[24].

Прислушиваясь к живущим еще где-то старым, веселым впечатлениям, Лесков поселяется сначала опять в легкомысленном студенческом Латинском квартале.

«Честнейшей старухи в целом Париже мадам Лакур», у которой он квартировал тринадцать лет назад, уже нет[25].

Он устраивается почти рядом со старым своим пепелищем, около Люксембургского же сада, на Rue monsieur le Prince, 9.

Не видно черноокой Арно, нет белопепельной Режины[26]. Должно быть, состарились уже в нужде и тяжелой доле мастериц, а то и совсем ушли из суровой жизни при помощи Сены или газа, через морг. Обычный путь нищеты!

Не манят «бешеные» балы в Прадо. Не захватывают общеполитические вопросы, в которых кипели душа и мысль в начале шестидесятых годов. Некуда писать горячих корреспонденций. «Русскому миру» они не нужны, а другой газеты у него нет. Не с кем встречаться для оживленных бесед в хорошо памятном Café do la Rotonde, газеты которого не волнуют сегодня!

«О себе пока ничего не могу сказать, — пишет он А. П. Милюкову, — кроме того, что болтаюсь по городу; ем где попало и, возвращаясь к ночи домой, засыпаю, едва упаду в постель. Париж, однако, нравится мне гораздо менее, чем в первое мое здесь пребывание:

* «Шестидесятые годы», с. 330.
** «Исторический вестник», 1886, № 8.

этот неумолчный шум и крик ужасно утомляет мои совершенно испорченные нервы» *.

Надо думать, что Quartier Latin и новые, юные гризеты живут, как жили прежние, но для человека пятого десятка лет, особенно же русского обычая, «резвый круг» отошел, как вообще «ушла пора веселости беспечной». В свое «первое здесь пребывание» Лесков не без успеха, даже азартно, догонял полупропущенную молодость. Увы!..

Время уж не то же:
Уже не вы душе всего дороже,
Уж я не тот... **[27]

Несомненно — не тот. Влечет тишина, покой, благоприятные для работы условия. 13(25) июля совершается переезд в строго семейный пансион на правом берегу, в Елисейских полях, rue Chateaubriand, 5, в котором живут знакомая петербургская чета журналиста Монтеверде, две ученицы парижской консерватории Левины, мечтающие о Мариинской сцене, и, что всего более ценно, — Ф. И. Буслаев[28]. В общем — удобная ритмичность дня, мягкость вечерне-камерных звучаний, насладительные беседы с большим ученым о всем сердцем любимом русском слове! Это ли не духовная полнота и уют!

Признательным отзвуком сему явится посвящение описания «невероятного события» под смелым заглавием «Некрещеный поп»:

«Посвящается Федору Ивановичу Буслаеву.

Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событии посвящается много досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому, чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как литературное произведение. Нет; я посвящаю его имени Ф. И. Буслаева потому, что это оригинальное событие уже теперь, при жизни главного лица, получило в народе характер вполне законченной легенды; а мне кажется, проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, «как делается история» ***.

Этим творческое внимание уважающемуся филологу не исчерпалось. Лет через десять, возможно в 1887 году, написан Лесковым другой, до сего дня не нашедший

---

* Письмо от 9 июня 1875 г. — «Шестидесятые годы», с. 295.
** Перефразировка пушкинской элегии.
*** «Гражданин», 1877, № 23—29, и отд. издание 1878 г.

себе места в печати, рассказ, в начале которого говорится:

«Стал я читать чудную книгу Ф. И. Буслаева «Мои досуги», где великий знаток лицевых Апокалипсисов и иконописных школ так мастерски разобрал перехожие повести, тонко осветив нити, связывающие во единое целое сказания самых отдаленных времен и народов.

Прочел я эту статью и устыдился, поняв, что, видя сучок в глазу молодого газетчика, не приметил бревна в своем глазу: напечатав не один десяток пересказов древних сказаний, я лишь на закате своего писательства удосужился прочесть исследование великого знатока, совсем по-новому осветившего то, над чем я кустарно работал, доходя до всего, наподобие приснопамятного Кифы Мокиевича, «своим умом», который людей и покрупней меня чаще всего заводил лишь в дебри суесловия и праздномыслия» *.

Первоначальное знакомство началось, очевидно, в 1861 году при одновременном сотрудничестве в «Русской речи». Лесков, дебютант и дилетант в повседневной журналистике, едва ли вызвал особенное внимание к себе уже маститого филолога. Не был и он подготовлен еще к постижению значительности трудов Буслаева. Все это обоюдно пришло с годами, закрепилось сожительством в Париже и в Лескове уже не уставало расти и дальше, не раз отразившись в его статьях.

Но это лета поздние. Под каким же знаком текли дни второй заграничной поездки Лескова? Под напряженно-мрачным. Переписка ведется с И. Аксаковым, Милюковым, Щебальским, живущим с нами на одной лестнице, посвященным во все тайны наших семейных незадач М. А. Матавкиным и даже со мной и другой семейной мелкотой. Исключена переписка только с моею матерью.

Первое полученное мною из Парижа письмо помечено 11/23 июня:

«Мой милый сын!

Вот уже полтора месяца, как я тебя не вижу, и еще долго не буду видеть, и мне о тебе тяжко соскучилось: все ты мне снишься во сне, и хочется знать о тебе что-нибудь. Я уже два раза просил Протейкинского написать

---

* «Клоподавие, Орловский живой вариант к киевской бумаге». — Архив А. Н. Лескова[29].

мне о тебе, но он, вероятно, не знает, как отцу бывает скучно о детях, и не спешит отвечать мне. Более я не хочу никого затруднять этим и пишу к тебе самому: возьми бумажку и напиши мне, как идет твое время: что ты делаешь и прочее. Я уверен, что при божией милости и внимании твоей мамы тебе хорошо, но все-таки хочу иметь от тебя слух, тем более что увидимся еще очень не скоро. Письмо свое попроси Веру написать так:

France
à Paris
Monsieur Nicolas Leskow
Rue Chateaubriand, 5.

Я совсем было разболелся и хотел было уехать из невыносимо шумного Парижа к чехам, в тихую Прагу, а оттуда в Мариенбад, но доктора, с которыми я советовался, говорят, что это надо отложить на август, и я снова остаюсь в Париже, только переменяю квартиру: из шумного Латинского квартала перехожу сегодня же в гораздо более тихие Елисейские поля, где мои здешние русские знакомые устроили мне комнату окнами в старый, тенистый сад. Надеюсь, что мне здесь будет легче и несносное мое нервное страдание будет послушнее. Тут я буду жить с семьею московского профессора Буслаева, которым интересуется Коля; с г-м и г-жою Монтеверде, которых знает Ледаков, и с двумя сестрами Левиными, которые учатся в здешней консерватории и будут зимою петь на Мариинском театре. Так у нас своя русская компания и даже превеселая: мы вместе обедаем и вечером имеем даровую музыку и пение. Я ездил в Лонгшанское поле на большой парад, — видел все французские гвардейские полки и самого Мак-Магона, с которым совсем случайно минут пять стоял плечо о плечо. Вспоминал при этом случае тебя: как бы ты посмотрел на чужих солдатиков... По мундирам мне больше всего нравятся их драгуны и кирасиры; лошади у них жиже наших, но необыкновенно легки и проворны. В пехоте люди очень мелки, и строевые передвижения мне не особенно нравятся, а музыка без всякого сравнения хуже нашей. Вот тебе мой рапорт по твоей военной части. Скажи Вере, что я и ее вспоминаю и часто думаю: будь она со мною, как бы мы с нею до упаду ходили по этому городу, на который, кажется, никогда не насмотришься! Теперь бы ей и весело было,

потому что у нас в куче три молодые дамы и две девушки, и все премилые. Запечатай-ка Веру в пакет да пришли ко мне! Как она тут навострилась бы по-французски! (и каким бы гримасам выучилась!). — Впрочем, я всех вас вспоминаю и всеми интересуюсь, — интересуюсь знать: каково бабушке Александре Романовне и есть ли у нее место? Пусть бы написала мне — я, может быть, и отсюда что-нибудь сделал бы. — Прощай, мое дитя: будь умен и послушен маме. — Детям скажи мой дружеский привет.

Отец твой *Николай Лесков»* *.

Дальше шли два письма обобщенного назначения:

«Paris, 12 июля 1875 года.
Rue Chateaubriand, 5.

Мои добрые друзья Боря и Вера,
и ты, мой милый сын Дронушка!

Я очень вам благодарен за письмо, которое вы мне прислали: оно было для меня большою радостью на чужбине, где я скитаюсь уже два месяца, не имея никаких вестей ниоткуда, точно я нигде с людьми не жил и никому во всю мою жизнь ничего не значил. Вы меня обрадовали, и я много, много раз перечитывал ваши коротенькие строчки — особенно Верины, так как она написала всех больше и всех обстоятельнее. Не отвечал я вам до сих пор потому, что ждал от вас ответа на мое письмо, которое вы должны были получить до 15 июня, — мой же ответ не мог придти к вам ранее 20-го числа, а вы писали, что 15-го уезжаете в Ревель, чему я, по правде сказать, плохо верил и думал, что это вы сами сочинили, — какие нынешний год поездки к морям, когда и на юге, в затишье, холодно и всякий день дожди! Так я и не знаю наверное, где вы теперь, и это тоже длится уже целый месяц. Протейкинский мне не отвечал на 4 письма, Милюков, для которого я сделал здесь довольно трудные розыски, даже не сказал «спасибо»; и тоже не ответил; писал теперь Матавкину, чтобы узнать: где вы и куда вам писать, и тоже нет ничего. Вот я как живу, без всяких вестей о тех, с кем сжился и сросся. Если можете понимать это, то не ограничивайтесь одним пониманием, а будьте

* Архив А. Н. Лескова[30].

внимательны к отсутствующему и пишите. Здоровье мое все худо; неудачи идут во всем до смешного: Лурд, куда я хотел идти пешком через всю Францию, во время самых моих сборов залило водою разлившейся реки Гаронны. Это ужаснейшее народное бедствие всполошило всю Францию, и вы, может быть, слыхали о нем по газетам. Женеву разорила буря. Теперь же только стал собираться ехать лечиться на воды в Мариенбад, как получено известие, что главный мариенбадский источник Крейцбрун стал давать воду крайне вредную, а не полезную. Тем не менее я все-таки еду послезавтра в Мариенбад, чтобы там выискать другой источник, более подходящий к моему состоянию. Так, как видите, и самая поездка, на которую я собирался с такими усилиями, мне самым невероятным образом не удается, а между тем деньги тратятся, и их жаль, а болезненное состояние духа не позволяет ничего работать. Прошу вас всех написать мне теперь уже не в Париж, а в Мариенбад, адресуя так:

В Австрию
Autriche, à Marienbad
Monsieur Nicolas Leskow
Poste restante.

Надписанное таким образом письмо удержат на почте, пока я приду за ним, и, получив его, напишу вам тогда свой мариенбадский адрес. Лечиться водами я должен никак не менее шести недель, а потом уже не знаю, что сделаю. Так как при лечении всякое спокойствие становится вдвое необходимее и дороже, а оно у человека отсутствующего всегда связано с добрыми вестями от милых, то и прошу вас, мои милые, пишите мне не один раз в два месяца, а один раз в неделю, — чего я и буду ждать с большим нетерпением. На этих днях я ездил в Версаль и был там в Национальном собрании, во время заседания депутатов республики. Это очень интересно. Вопрос шел об участии духовенства в учреждении высших школ, и говорили разные люди и монсиньер Дюпанлю. Я слышал Гамбетту, который действительно схож со мною, в доказательство чего посылаю вам его карточку. — Из театров хожу в Comédie Française, где дают классические пиесы и играют удивительно, а музыки нет вовсе, и дамы в кресла не ходят. На театре же Porte St. Martin дают *«Путешествие вокруг света»* Верна. — Это удивительно сделано,

и корабли рушатся, и льды валятся, и дикие сражаются. Посылаю вам кусок афиши. Боря по ней поймет все, что делается. Это такое представление, что глаз не отведешь. — До свидания же, мои милые, обнимаю вас и целую. Всею душою вас любящий

Н. Лесков.

Марок на письма *не надо* никаких, — я заплачу при получении, а вам это легче» *.

«13/1 июля 1875 г.
Paris,
Rue Chateaubriand, 5.

Мои дорогие и милые дети
Вера и Дронушка!

Сегодня я получил ваше письмо, писанное в Ревеле 26-го июня русского стиля, и был, по обыкновению, очень обрадован вашими детскими строчками. Вы, вероятно, помните, как во всякую минуту жизни я любил, чтобы вы пришли ко мне и поговорили со мною. Так и теперь в моем отдаленном одиночестве мне кажется, будто я слышу ваши родные голоса, и мне от них и тяжело, и грустно, и отрадно. Благодарю вас, что вы меня помните и любите, — верьте, что и я не только дня, но и часа не провожу, всех вас себе не вспоминая; а в том, что я вас люблю, вы, конечно, и не сомневаетесь. Хотел бы благодарить вас и за то, что вы обо мне скучаете, но это было бы с моей стороны большим эгоизмом, а его и без того на свете много. Что делать: не всем жить так, как хочется: надо это принимать с покорностью воле божией и учиться безропотности и терпению. Бывает на свете и худшее, и, по-моему, лучше, не видясь, знать, что мы любим друг друга, чем видеться и не любить. Думайте об мне, молитесь за меня: бог может услышать ваши молитвы и дать мне свою помощь, которая столь нужна мне. Посмотрите вдвоем при восходе луны на ее светлое яблоко, куда я так часто смотрю, сидя где-нибудь под деревцем Булонского леса, а теперь стану смотреть с Богемских гор, и глаза наши там встретятся, и я узнаю, любите ли вы меня, а вы почувствуете, легко ли мне и весело ли. Вот и забава и свидание, пока о другом еще ничего нельзя знать, и я сам о нем ничего не знаю, и вы меня об этом не спрашивайте. Прежде чем вы получите это письмо, Матавкин должен пере-

---

* Архив А. Н. Лескова[31].

слать вам мой ответ на первое ваше письмо. Я запоздал ответом, потому что не знал, где вы, и мало верил, чтобы вы на самом деле поехали в Ревель в такое холодное лето. Здесь невозможно купаться: холодно и дождь каждый день. Послезавтра я уезжаю из Франции в Австрию, в маленький и очень тихий городок в Богемских горах, в Мариенбад, где буду шесть недель пить железные воды, на которые много надеюсь, по совету дяди и профессора Меринга, а также и двух парижских докторов. Вы бы меня теперь не узнали, как я похудал и изменился, — худо ем и еще хуже сплю. В Мариенбаде надеюсь дописать повесть, которую начал и которая будет называться «Соколий перелет»; а чтобы мне было веселее, здоровее и спорее работалось, вы не ленитесь и почаще мне пишите, — это моя потребность, и удовлетворение ее укрепляет меня на все лучшее, что могу делать. Марок в Австрию надо наклеивать на *15 копеек,* а надписывать письмо так:

В Австрию
Autriche, à Marienbad
Monsieur Nicolas Leskow
Poste restante.

Теперь уже отвечайте туда, потому что, когда вы получите это письмо, я буду в Мариенбаде — вдвое к вам ближе, — всего на полтора дня езды. Поклонитесь от меня всем: маме, вашим братьям, Александре Романовне и Паше. Поздравьте Колю и Мишу с переходом, а Боре пожелайте успеха. Паше скажите, что я очень рад, что она с вами, потому что она добрая и прекрасная женщина, что я и ценю в ней много.

Ваш *Н. Лесков»* *.

И в заключение последнее письмо снова одному мне, утратившее упоминаемую в нем картинку и с нею несколько строк текста:

«Marienbad, den 22/10-ten июля 1875.
Casino Hôtel, 22.

Мой «любяшей» сын!

Сегодня я получил письма ваши и очень вам всем за них благодарен. В Мариенбаде я уже сегодня ровно неделя и лечусь аккуратно: встаю в 5 ч. утра и иду к

* Архив А. Н. Лескова [32].

источнику Крейцбруну, который ты видишь здесь на картинке. Там все подходят по очереди, делая «хвост», как в театрах при покупке билетов. Это берет время до 9 часов, пока выпьешь свои три стакана и 4-й ст. козьей сыворотки. Вода Крейцбруна довольно при... <строка отрезана. — *А. Л.*>, что для слабых подбавляют гретого Крейцбруна, а на вкус похожа немного на зельтерскую, только как будто с запахом заржавевшего ножа, — это от огромного количества железа. Зубы от нее ужасно чернеют, и дамы пьют воду через стеклянную трубочку, чтобы пропускать воду мимо зуб. В 9 ч. я пью чашку бульону и ем бифштекс или 2 яйца и гуляю до 11-ти по горам; в 11 иду к источнику Вальдквеле, вода которого сернистая, но вкусная, — пью ее два стакана и иду опять на гору в императорский Тиргартен, где много оленей и всякой дичи; в 1 час весь Marienbad обедает, опять бульон, ростбиф, дичь и компот. От 2 часов до 5 отдых и свобода. — Это единственное время что-нибудь написать и прочитать. В половине 6-го ванна в 26 град. из Мариенквеле, — вода почти как зельтерская, но тоже с железом. В ванне она все время играет и немножко колет своими пузырьками. В 7 ч. иду на горы до 9 — в 9 пью чай на горах и схожу в долину домой, где сейчас же и засыпаю. Позже 9 час. во всем Мариенбаде нет огня — все спят, а в 5 все дамы уже разодеты и пьют воду. Выйти из этого порядка невозможно. Мариенбад крошечное местечко, — даже не городок, — в нем всего 150 домов, расположенных на ребрах гор, из-под которых бьют источники. Местность удивительнейшая: из окон моей комнаты вид за 30 верст, и в бинокль я вижу дальние горы, вершины которых выше облаков; лес высоты невероятной, и все сосны прямы, как свечи. Теснота в Мариенбаде теперь большая, что и понятно, потому что до 6 тыс. приезжих, из которых чуть ли не половина русских. Мы здесь все говорим по-русски. Дороговизна изрядная, — все вдвое дороже Парижа, особенно квартира, — впрочем, меня знакомые русские дамы устроили в одном с ними, лучшем во всем Мариенбаде, отеле так дешево, что я еще не могу жаловаться. О здоровье моем пока ничего не могу сказать: доктор говорит, что идет хорошо, а я вижу только одно, что желтизна стала проходить и нервы без сравнения спокойнее. Через три дня

начну мазаться целебными грязями, что очень неприятно, но очень полезно, а там что бог даст: теперь вся моя забота о том, чтобы вылечиться от разлившейся желчи. Нюрнберг стоит на дороге из Парижа в Мариенбад, и я его уже проехал, да и неудобно и нерасчетливо было бы выходить там для покупки солдатиков. Даст бог силы работать, так будут у тебя солдатики те же и по дорогой ц е н е. — Прощай; целую и благословляю тебя.

Отец твой *Николай Лесков»* *.

Прочитав все эти едва не столетие счастливо сохранившиеся листки, нельзя не задуматься: для восьми ли летнего мальчика или несколькими годами старших сестры и брата его говорилось в них о неведомом этим детям Буслаеве, каких-то консерваторках, Монтеверде, о нервных страданиях, о том, что не всем жить как хочется, что бывает и худшее, что мало верилось в явно неодобренную поездку семьи на купанье в Ревель, о задуманном литературном произведении, о милых русских дамах, каким-то образом сумевших устроить дешево помещение в лучшем отеле Мариенбада, и т. д...

Характерны некоторые места и из других писем, например к А. П. Милюкову:

Из Парижа, 12 июня: «Нервозность моя, слава богу, облегчается и успокаивается, но мысль о возвращении на родину вдруг посетит и всего как варом взварит. Не знаю, как я оттуда уехал, но чувствую, что если бы еще не уехал, то последний ум мой сбился бы с толку. В Лурд я не поеду, как потому, что это стоит очень дорого, так и потому, что вполне ясно вижу и понимаю, что такое эти пелегринажи» **. Упоминавшаяся выше угроза разлива Гаронны здесь позабыта.

Невольно возникает вопрос — не был ли *летний* Париж, которого не рисовал себе Лесков по своей прежней побывке здесь, в полную событий зиму 1862—1863 годов, большой ошибкой? Что дал сейчас, ничем не вызванный, приезд сюда? Как были богаты впечатления и ярки корреспонденции тогда — и как скудно все теперь. Если бы не Гагарин и Буслаев — и помянуть было бы нечего.

---

* Архив А. Н. Лескова.

** «Шестидесятые годы», с. 296. П е л е г р и н а ж — паломничество (*фр.*).

Один полуапокрифический «Шерамур»[33] да серебряная коническая пуля с золочеными ребрышками и надписью «Metz» на часовой цепочке. Брелок этот, по словам отца, подарила ему как сувенир какая-то парижанка, у которой отец, муж, сын или брат был убит в 1870 году под Мецем. Точно мотивы дара не объяснялись, но носился он до последних лет неизменно.

И думается — не лучше ли было вместо изнемождающего хождения по раскаленным тротуарам или сидения под хорошо запыленными деревьями парижского бульвара, после совета с дядей и Мерингом, начать сразу лечение в Мариенбаде, а затем спуститься на юг и, помянув Торквато Тассо Пушкина, погрузиться в «адриатические волны»[34] или, как мечталось в дни трудного тиснения «Соборян» в катковском журнале, поселиться в Веве или Сорренто[35], где, может быть, удалось бы что-нибудь и «совершить» или хоть действительно отдохнуть и оздороветь.

3 августа Лесков пишет Милюкову уже из Мариенбада, причем к прежнему сообщению добавляется: *«Я вспотел желчью* <курсив подлинника. — *А. Л.*> и с тех пор стал цветнеть и поправляться» *.

Это уже что-то недалекое от «кровавого пота» несчастного еврея «интролигатора» из рассказа «Владычный суд».

Здесь же его гневит «коллекция» лечащихся русских редакторов министерского циркуляра «о борьбе с революционной пропагандой в мужских и женских гимназиях» (от 24 мая 1875 года)[36], ректоров и профессоров. «Это наполовину тупицы, — пишет он Милюкову же, — наполовину льстецы, сладострастно рассказывающие, как они в день Кирилла и Мефодия «графу <Д. А. Толстому. — *А. Л.*> депешу поздравительную послали». — С чем же, — спрашиваю, — вы его поздравляли: разве он Кирилл или Мефодий? — Нет, — говорят, — а так... он доволен был: отвечал «благодарю, что в этот день обо мне вспомнили» <...> Они мне здесь и воду и воздух гадят, и на беду их тут много собралось. В заключение скажу, что вся эта пошлость и подлость назлили меня до желания написать нечто вроде «Смеха и горя» **[37].

---

* «Шестидесятые годы», с. 298.

** Там же, с. 298.

Памфлет написан не был, а колкость относительно поздравительной телеграммы графу Д. А. Толстому легко могла достигнуть до его тонкого министерского слуха.

Всего безудержнее в отношении домашних дел прорывалась раздраженность в письмах к Матавкину *.

От 22/10 июля: «Вы просите меня извинить вас за слова о каких-то «скрываемых чувствах и, может быть, слезах» <...> я, впрочем, далек как нельзя более того, чтобы радоваться этим «скрываемым чувствам», ибо добрых чувств скрывать незачем, а если же что-либо скрывается, то это чувство досады; а слезы могут существовать разве в вашем воображении <...> Вашим письмам всегда буду рад и всегда на них отвечу, а переписка с Дронушкой едва ли может долго длиться. Заключая в себе нечто анормальное, она, вероятно, не будет входить в планы, которых я никаким образом нарушать не стану. Дитя же само еще мало и не может ни судить, ни понимать того, что происходит. Ему во всяком случае нужно спокойствие, и я себя много виню уже и в том, что в посланных к нему письмах не умел скрывать всех чувств моей тоски и обиды».

От 29/17 июля: «Когда скончался Виктор Петрович Протейкинский? Мне очень жаль, что он так рано умер, не исполнив ни одного моего поручения и не ответив мне ни на одно из семи писем <...> Лечение меня радует, и я вижу, сколь оно мне существенно было необходимо: воды хороши, а грязи просто божественны. Можете себе вообразить, чт*о* мне было накладено в печени, если я *потел желчью.* Теперь мне значительно и даже без всяких сравнений легче, и я, по-видимому, улизнул от угрожаемой мне «мрачной меланхолии», а вы, я думаю, знаете, что маскируется этим медицинским термином».

Приходится разъяснить Протейкинского, которому некоторыми, например Веселитской, присваивалось нимало не заслуженное им звание «брата милосердия», будто бы «разгонявшего назойливых посетителей» [38] Лескова. Дягилевский отпрыск, что-то вроде двоюродного брата А. П. Философовой и М. П. Корибут-Луняк, он, очень молодым человеком, от них прижился и к нам. Мари Дюран сострадательно говорила про него: «Бедный молодой человек, как он дурен. Это настоящий Квазимо-

---

* Хранятся в Бахрушинском музее, Москва [39].

до!» И вправду — он был не лучше этого героя знаменитого романа В. Гюго. К лицу, сплошь покрытому багровыми угрями, венчавшемуся огромным горбатым костистым носом, надо было привыкнуть. Нелепо оригинален был во всем. Лесков уверял, что, окончив Петербургский университет, он всю жизнь не мог собраться взять оттуда свой кандидатский диплом. Одинаково вероятно — нашлось ли у него время держать кандидатские экзамены?

В семидесятых годах он был у нас своим человеком, от него не было тайн.

Между прочим, он готовил старшую меня на пять лет Веру в институт. Не было случая, чтобы он не опоздал на час-два к условленному времени урока. Девочка томилась и даже плакала, досадуя, что сбивается весь дневной ее распорядок. Извиняясь, он вытаскивал из кармана пальто смятый и явно умаленный в первоначальном своем объеме пакетик с каким-нибудь желерояль, пастилой или халвой — в дар доведенной до слез ученице. Лесков, язвя «Протеку» (он же «Витька», «Долгонос»), напевал на мотив «Чижика»:

Витя, Витя, где ты был?
Я к Глушкову * заходил,
На двугривенный купил,
Чуть все сам не проглотил!

С годами отношение к «Витеньке» приобрело суровый и даже недоверчивый характер. В первой главе «Зимнего дня» по отношению к «Олимпии», под которой прозрачно подразумевалась известная Ольга Новикова[40], вспоминается «предостережение, которое Диккенс делал против всех лиц, живущих неизвестными средствами». В минуты раздраженности Лесков говорил о «Протеке»: «Изболтался. Ни к какому делу не способен. За пятьдесят лет жизни своей не знал, что такое обязанность. Поэтому никогда не держит своего слова. Скажи ему, что я умираю, и пошли его в аптеку — он по дороге заговорится с встречным знакомым и опоздает. Скажет — придет завтра, придет через неделю... Его помощь словами в горе и затруднениях очень дешева: слова не помогают, а он садится пить чай и читать «Новое время». И скажите мне, пожалуйста, — уже строго спрашивал

* Гастрономическая лавка на углу Фурштатской и Воскресенского.

Лесков: — чем он живет? Всегда очень важно знать источник средств человека!» И вслед непременно приводился совет Диккенса.

Но этот суд пришел не скоро: к старости Лескова и полустарости былого когда-то наперсника.

Следующее письмо к Матавкину от 22 июля (3 августа)[41] безнадежно не менее предыдущих:

«Доктор мой говорит, будто «дело идет отлично», но я сомневаюсь: мне все кажется, что я еще и теперь не мог бы слышать похвал ни Авсеенке, ни Гундольфу <сильно гундосившему председателю Ученого комитета А. И. Георгиевскому. — *А. Л.*>, и при воспоминании о них уже волнуюсь и сержусь, — не на них, а на насмешку судьбы. Я написал Ахиллу и сочинил, что тот страдал «в пользу детских приютов», а сам между тем перепортил бог весть сколько крови в пользу этой сволочи, которой на пороге своем не хотел бы видеть... Много раз брался за перо, но бросал: не вяжется ничто в голове, и давно, давно уже не вяжется, ибо и во сне и наяву все мое горе на уме; но авось же это когда-нибудь пройдет... Я уже потерял всю энергию, всю смелость и фантазию и все вращался только на одной печальной мысли о своей доле. Сострадания же я не мог и не могу ждать, как меду от мертвого улья. Стало быть, «беги, мой брег, несись, мой челн», куда вынесет волна. В Россию я *не в силах* вернуться: это было бы очень, очень мучительно, — на чужбине легче. Мои милые чехи устраивают меня с любовью: я надеюсь жить удобно и дешево: народ хороший, литераторов много, и язык мне доступен; а надоест, — пущусь далее искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. В Прагу я выеду 8-го русского августа... Протейкинскому скажете, чтобы ни о чем уже не беспокоился. Я сам внимателен со всеми просьбами и не люблю, если данные мне обещания вменяют ни во что».

Наконец несколько строк из последнего из известных писем к Матавкину, от 30/18 августа, уже из Дрездена. На этот раз, как часто случается в жизни, тягостное и драматичное малоожиданно сближаются на одном почтовом листке с анекдотически смешным.

«Не хочу отстать от компании русских, с которыми отправляюсь пешком в Саксонскую Швейцарию, а вещи мои сегодня же посылаю в Берлин, потому что хочу видеть и сию форменнейшую столицу... Из Праги я ехал

по железной дороге до Аубига, а оттуда по Эльбе, местностями столь очаровательными, что просто дух захватывает. Особенно хорошо возделаны эти дивные берега, то горы до неба, то цветущие гроздьями виноградники. Я был очарован и весел. Дрезден не велик, — он даже менее Праги, но хорошо обстроен на парижский манер — есть часть города совсем как Париж, но зато: «Куда ни глянешь — красный ворот» или гвоздь на каске. Не будет никакого преувеличения, если я скажу, что здесь 5-й человек в форме, — кучера и те в военных фуражках, и девки в особых мундирах. Таковы-то эти наши «культуртрегеры». В Берлине этого добра еще более <...>

Здоровье мое ничего себе, но чем ближе я приближаюсь к России, тем становлюсь беспокойнее. Отсюда я уже в 2 днях расстояния и поеду на Гамбург, который хочу посмотреть; но к 24-му непременно буду в Варшаве, где сам не знаю, что делать. Знаю, что мне нужно спасти себя от осуждения погибнуть в мстительной дрязге неведомо за что; но мысль оставить дитя и все, чем жив, — просто убивает... Время может все изменить, но тут и оно, как сами знаете, оказалось бессильно: ста дней мало вышло, чтобы пришла добрая мысль поправить зло, причиненное человеку самыми несправедливыми и тяжкими обидами... На что еще надеяться... Будь, что будет, куда бог примостит» *.

В Варшаве происходит несколько охлажденное уже свидание со старым приятелем Щебальским[42]. Тут же лично знакомится Лесков с председателем «Главной дирекции Земского кредитного общества Царства Польского», бароном К. Ф. Менгденом, которого влиятельные московские славянофилы усердно «вдохновляли» устроить Лескову пристойно оплаченную и недосадительную службу. Всерьез ли думал Лесков перебраться из литературного Петербурга в безлитературную для русского писателя столицу Польши? [43]

Шла какая-то примерка того, по чему в глубине души перекраивать свой быт отнюдь не хотелось и чем люди его запросов, влечений и одаренности заведомо не могли быть «живы».

Пока, не разрешив ни одного из мучивших вопросов, надо было возвращаться в Петербург, к успевшему стать

* Все три письма в Бахрушинском музее, Москва [44].

ненавистным Ученому комитету с его Авсеенками и Гундольфами, к неосилимой литературной отверженности, к безработице, к омертвевавшему семейному улью...

ГЛАВА 2

«В СОМНЕНЬЯХ ИЗНЫВАЯ»

Четырехмесячное пребывание за границей дало на этот раз резкий поворот в некоторых прежних, с детства усвоенных, взглядах и всего больше в области религиозных воззрений.

«Вообще, — писал Лесков Щебальскому из Мариенбада, — сделался «перевертнем» и не жгу фимиама многим старым богам. Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию не допускаемых. Имел свидание с молодым Невилем <французским теологом. — *А. Л.*> и... поколебался в моих взглядах. Более чем когда-либо верю в великое значение церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя <...> Но я с этим так усердно возился, что это меня уже утомило. Скажу лишь одно, что, прочитай я все, что теперь много по этому предмету прочитал, и выслушай то, что услышал, — я не написал бы «Соборян» так, как они написаны, а это было бы мне неприятно. Зато меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного *духовного христианина,* прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей. Я назвал бы такую повесть «Еретик Форносов», а напечатал бы ее... Где бы ее напечатать? Ох, уж эти «направления»!» *

Таково начало разномыслия с церковью, которому суждено было неустанно и неуклонно расти все грядущие годы, наполняя все произведения и статьи нового «ересиарха», начиная с вызвавших негодование правоверных, вроде И. С. Аксакова, «Мелочей архиерейской жизни» [45], переходя к неизданному еще «Клоподавию», к оглушительным «Полунощникам» и завершительному «Заячьему ремизу».

---

* Письмо от 29 июля 1875 г. — «Шестидесятые годы», с. 330—331.

Какой путь! Какая смена умозрений!

В Горохове бабушка возила внука по монастырям и пустынькам. В Панине наставлял добрейший попик-запивушка Алексей Львов. В Орловской гимназии мальчик поучался «у лучшего и в свое время известнейшего из законоучителей, отца Ефимия Андреевича Остромысленского, за добрые уроки которого» Лесков «долго был ему признателен» *.

В своей автобиографической заметке он говорит: «Религиозность во мне была с детства и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком», а с тем, думается, обрекала ее на неизбежность отхода от церковности, на сомнения, искания.

Уже в сравнительно раннем «Овцебыке» есть восклицание: «Неужто же, думал я, ничто не переменилось в то время, когда я пережил так много: верил в бога; отвергал его и паки находил его; любил мою родину и распинался с нею и был с распинающими ее! Это даже обидно показалось моему молодому самолюбию, и я решился произвести поверку, — всему поверку, — себе и всему, что меня окружало в те дни, когда мне были новы все впечатления бытия».

И он пользуется случаем, чтобы побывать на родных стогнах, навестить все чем-нибудь памятные уголки и в их числе Площанскую богородичную пустынь. Без тени осуждения вспоминает он бывших веселых «слимаков»[46], ходящих сейчас уже солидными иноками. С особенной теплотой описывает совсем одряхлевшего прежнего «отца казначея», доживающего последние дни свои «на покое», почти умиленно рисует всех пустынножителей. Оно и понятно: несмотря на ряд колебаний, он все еще, «идя с народом в храм, одним с ним кланялся богам».

Самому ему в описываемую им пору все тридцать. Никакой критики ни на что не изливается. Так называемого «сеничкиного яда» ни признака[47]. Пока — полное в вопросах веры сыновнее покорство духа и понимания, И притом не преемственно-поверхностное, а истекающее из личного ознакомления с основами исповедания и догм своей церкви, как и ее служителей, их быта, нужд, характеров и речи.

Откуда же все это пришло и как постиглось?

---

* «Владычный суд». — Собр. соч., т. XXII, 1902—1903, с. 92.

Вопрос не мог не занимать следящих за творчеством писателя читателей и еще острее, конечно, интересовал литературные круги.

«Графиня Толстая <жена поэта А. К. Толстого. — *А. Л.*> говорила мне, — пишет Лесков 27 ноября 1874 года И. С. Аксакову, — что вы ее спрашивали: почему я знаю духовенство? Откровенно вам отвечу: я сам этого но знаю» [48].

Пожалуй, оно почти так могло и быть: все слагалось исподволь, неощутимо нарастая и укрепляясь.

В доме человека, решительно, как бы брезгливо отвратившегося от рясы, всю жизнь проведшего в служилом кругу и женатого на женщине общедворянского воспитания, нетерпеливого богоискательства не чувствовалось. В этой области там удовлетворялись выполнением установленных обрядов и соблюдением исстари заведенных обычаев. Так прожили жизнь родители Николая Семеновича, как и братья и сестры, не исключая и монахини, всех меньше расположенной к каким-либо исканиям.

В таких условиях, как он писал в рассказе «О квакереях» *, в семью легче «проникал немножко дух английской религиозности», шедшей от Шкоттов, чем обрядово-мистический дух православной церковности, влияние которой праздно стремились найти в Лескове биографы-«скорохваты» (Фаресов и др.)[49].

Большая заинтересованность отечественным правоверием пришла не в благостной закономерности, не наследственно или преемственно, не с детства, а с возрастом, после многих борений и колебаний, с пытливым углублением религиозной мысли. С ним последовал поворот к еретичеству, в ожесточении своем много превзошедшему пассивное отвращение отца к рясе. С этого пути своротa уже не было.

Внимание к церкви начинается с гимназических лет, не без участия случая. Это запечатлено самим писателем и уже приведено нами в главе «Великолепная книга», в строках о добрейшей семье орловского этапного офицера, приючавшей многострадальных «духовенных», с детства необыкновенно заинтересовавших Лескова **[50].

Здесь зародились любопытство и сострадание, перешедшие затем в горячее желание познать жизнь этих

---

* Собр. соч., т. XXXIII, 1902—1903, с. 98.
** Там же, т. XXXV, 1902—1903, с. 73.

«приниженных» и обездоленных страстотерпцев, терпимых жестокосердыми «святителями» типа Никодима, Смарагда и пр. Дальше интерес шел ввысь — от бытового и материального к духовному, идеологическому, к высшим вопросам веры.

Вспоминается, как еще ребенком, в Панине, Лесков был охвачен горячим сочувствием к другим мученикам из орловского крестьянства, гонимым властями, разоряемым и ссылаемым только за то, что молились не так, как разрешалось властью.

«Гостомельские хутора, — писал он в статье «С людьми древлего благочестия», — на которых я родился и вырос, со всех сторон окружены большими раскольничьими селениями. Тут есть и поповщина и беспоповщина разных согласий и даже две деревни христовщины (Большая Колчева и Малая Колчева), из которых лет около двенадцати, по распоряжению тогдашнего правительства, производились бесчисленные выселения на Кавказ и в Закавказье. Это ужасное время имело сильное влияние на мою душу, тогда еще очень молодую и очень впечатлительную. Я полюбил раскольников что называется всем сердцем и сочувствовал им безгранично. С этого времени началось мое сближение с людьми древлего благочестия, не прерывавшееся во все последующие годы...» *

А десяток лет позже, в статье «О сводных браках и других немощах», опять звучит та же нота: «Я сам, будучи ребенком, не раз тайком бегал на маслобойню нашего старосты Дементия смотреть, как там какой-то заезжий поп, раскинув свою «шатровую церковь», служил в ней обедню... Мне очень нравилось, как мужики молились с своим попом, и я не только хранил их тайну от своих родителей, но даже сам имел сильное желание с ними молиться» **.

На этот раз вспоминается уже о прямом, откуда-то поднявшемся желании не только смотреть, но и самому начать молиться...

Олимпиец Гете выразил готовность воспользоваться верой, однако не без осмотрительных оговорок, занесенных Лесковым в его записную книжку: «Благочестивые люди подобны дворянам — считают себя некоторого рода

* «Библиотека для чтения», 1864, сентябрь.

** «Гражданин», 1875, № 3, 4 от 19 и 26 января.

аристократами... Я буду очень доволен, если мне выпадет счастие, по окончании здешней жизни узнать другую; но я желал бы, чтобы со мною там не встречался никто из тех, которые здесь в нее верят. Иначе мне придется претерпеть мучения... Кто верит в будущую жизнь, пусть молча наслаждается этим счастьем; но у него нет основания воображать ее такою или иною» *.

В «Автобиографической заметке» Лесков говорит, что в нем с детства была «счастливая» религиозность, рано начавшая «мирить веру с рассудком».

Не принимал ли он сначала за нее простую богомольность, перенятую ребенком от ветхозаветной бабушки Акилины Васильевны?

То, что определяется понятием «религиозность», — требует не детского мышления. В Орле эта богомольность легко заслонилась новизною гимназических и городских впечатлений. Затем подошло полное искушений отрочество, а дальше уже и совсем бурная молодость, со всеми ее увлечениями, признаниями, отречениями. Избыток сил и кипучесть темперамента одолевали и властвовали. Хаотически поглощались Фейербах, Бюхнер, Молешотт, Прудон, Вольтер, «потаенный» Шевченко...[5] Шла азартная переоценка многого из ценившегося раньше. Все мешалось, бродило... Старое отмирало. Новое не отстаивалось. Наступали годы, в которые творилось такое, «чего никто не знает». Было не до религии.

К в детстве чтимым алтарям потянуло очень не скоро, когда жизнь уже успела не раз «тронуть», принести не одно испытание, когда захотелось найти какую-нибудь опору для преодоления обильных ее трудностей. Вот тут-то стали воскресать давно похороненные чаяния. Потянуло к «положительным верованиям». Какого же толка? Где можно счастливее мирить веру с рассудком? Англиканство, при всех хваленых его достоинствах, — протестантски черство. Католичество со своими догмами всегда было чуждо. Как бы там ни было, а свое — роднее, теплее, уповательнее.

Решение было принято. Началось «дерзание». Пошли «Соборяне», «Запечатленный ангел», «На краю света»... Но вскоре же «рассудок» начал разлагать с таким трудом восстановленную «веру». Познанное за минувшие

---

* Выписки из книги «Разговоры с Гете», изд. Суворина, 1891 г., т. I, с. 91, 95. Автограф Лескова — в ЦГЛА.

годы уже подвергалось беспощадному разбору, анализу, отвержению. Верить более хочется, чем удается на самом деле.

Горький писал о Льве Толстом: «Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравилось ему — по эту» *.

Вне сомнении, так же с этим было и у Лескова.

А в общем — цепь противоречий, «томленье духа». Оно чувствовалось в произведениях, статьях, и особенно — в письмах.

«Он <Л. Н. Толстой. — *А. Л.*> говорит *весело* об умерших, — пишет Лесков Суворину 12 апреля 1888 года. — Они, правда, не страдают уже... Им ничего не страшно, — терять больше нечего. «Покой небытия», «нирвана», «блаженны умершие», «иже не суть»... Вот и все, что есть. Один мужик говорил: «Слава те господи, что он <сын. — *А. Л.*> теперь отстрадамшись, а то бы еще надо терпеть»... Я, признаться, всегда думаю так, как этот мужик, но я верю в бессмертие духа и даже убежден, что это так. Тут — школа, которую надо пройти, а потом будет перевод в другой класс, — может быть, высший, а может быть, в низший... Это видно «как зерцалом в гадании», но *видно,* и видят это люди очень дальнозоркие: Сократ, Сенека, Платон, Христос, Ориген, Шопенгауер, Л. Толстой. Как хотите, а компания завлекательная...» **

Случился у меня в семье смертно больной. «Мужество возможно только при хорошей *уверенности* в нескончаемости жизни, — пишет мне ободряюще отец. — Это достигается трудно, но — *достигается,* и по достижении «возрастает, как зерно, из которого выходит тенистое дерево, под которым есть покой». Помогают к этому великие люди — «светочи человечества». Теперь их можно купить *всех* (в «Посреднике» на Лиговке) за 30 копеек. Это: 1. Сократ, 2. Диоген, 3. Паскаль, 4. Марк Аврелий, 5. Христиане I-х веков и 6. Эпиктет. Все эти 6 брошюр стоят 30 к., и ты их купи, и непременно купи, и непременно имей этих советников при себе, несмотря на то, что тебе теперь не до премудрости. Захвати их с собою, — они тебе принесут много радости и силы. Мы вечны, — мы назна-

* Собр. соч., т. XXII; ГИХЛ, 1933, с. 69.

** «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, с. 66.

чены не для уничтожения. Бог есть, но не такой, которого выдумала корысть и глупость. В этакого бога если верить, то, конечно, лучше (умнее и благочестивее) — совсем не верить, но бог Сократа, Диогена, Христа и Павла — «он с нами и в нас», и он близок и понятен, как автор актеру, исполняющему роль в пиесе. (Это удивительно ясно у Эпиктета.) «Автор твой знает, какую тебе роль назначил: ты же ее только выполни артистически старательно и с честью». В «другой обители» (по Христу) тебе дадут роль еще более трудную. Так и будем, сын мой, выручать нашего всемогущего автора, давшего нам такие непостижимости, как «разумение» и «жизнь» и «познавание неосязаемого в жизни»... Понимай бога Павлова. «Не спорь глина с горшечником: он лепит из тебя тот сосуд, какой в эту минуту нужен в его хозяйстве: ты хочешь быть кабинетною вазою, а в хозяйстве его нужен ты на горшок, чтобы щи варить или выносить помои». А ты и этому послужи и увидишь, как это тебя утешит и укрепит на путь, в котором «нет конца» *.

И уже в предсмертный год, как бы самоободряюще, утверждается М. О. Меньшикову: «Но гибель нас не ждет! Я этого принять не в состоянии и твердо верю, что будет миг перерождения» и дух наш для чего-то здесь воспитывается и «усовершается жизнию земною», или гадится ею» **.

Хороши слова, но какие-то не свои, а занятые... Не дышат они неколебимой личной убежденностью и не убеждают.

Выдалось однажды нечто и совсем негаданное. В статью «Русские деятели в Остзейском крае» оказался введенным Лесковым прямой пиетический гротеск: автор, без запинки, предложил вспомнить какой-то не указываемый им, возможно апокрифичный, рассказ о «неверующем немце» [52], который после изучения догматических и философских наук пришел *к убеждению,* что «бога нет». Что же он сделал с этим убеждением? Во-первых, из *осторожности,* он перевел это убеждение в категорию сомнений, а потом все-таки продолжал утром и вечером молиться — такою осторожной молитвой: «Господи! — если ты есть, — помилуй душу мою, — если

---

* Письмо от 1 июня 1801 г. — Архив А. Н. Лескова.
** Письмо от 16 февраля 1894 г. — Пушкинский дом.

она есть». Властвующий над ним культ перешел в *натуру,* которая сама по себе бережет от всего, что не будет благоприятствовать «тихому и безмятежному житию» *.

А в натуру, как уже известно, по мнению Лескова, «можно верить более, чем в направления» [53]. Позволим себе прибавить, может быть, более, чем в неопровержимость исповедно-риторических утверждений.

Солидная богословская и мистическая начитанность служила Лескову великолепным оружием в часто возникавших у него, главным образом по его же почину, горячих прениях по вопросам о бесповоротности смерти или преодолении ее духом. Приводились положительные утверждения ряда величайших древних и новых мыслителей, в красоте, глубине и тонкости которых всего легче было завязнуть, утонуть.

В последние годы особенно радует Лескова уверение Толстого — *«у нее кроткие глаза».* Он горячо благодарит Толстого за дарование этого совершенно нового, художественно ценного представления «ее», смерти. Письмо, в котором оно было дано, принесло Лескову «то, что было нужно», — ободрило. «Вы ее уже не пугаетесь и с нею освоились, — продолжает он. — Это имеет много успокоительного. Думать о «ней» я привык издавна, но с болезни моей овладел мною ужасный гнетущий страх, — я, кажется, просто боялся *физических* ощущений *от того,* что «берут за горло», — писал он Толстому 10 января 1893 года **.

Легче становилось теперь представлять себе «ее» не страшной и жестокой, а кроткой.

Слышалось приписывавшееся Лермонтову стихотворение, в котором смерть приходила «неслышимо, незримо» и говорила «с тоской невыразимой»: «Пора!» Смерть, которая «тихонько навсегда мои закроет очи — и в путь! И в жизни той она меня разбудит». Но как эта новая жизнь ни беспечальна и ни хороша, а неизвестный поэт кончал тем, что прежней «жаль мне будет. Да, жаль!» ***[54]

Везде, у всех все то же: как где-то там ни хорошо, а остаться здесь было бы лучше.

---

* «Исторический вестник», 1883, № 12, с. 505.

** «Письма Толстого и к Толстому». М.—Л., 1928, с. 129.

*** Журнал «Развлечение», 1860, № 13, 26 марта.

Вспоминалось нечто и свое. Незаконченному рассказу «Явление духа», имевшему выразительный подзаголовок «Открытое письмо спириту» *, был избран эпиграф:

Что будет жизнь духа
Без этого сердца?

Кольцов [55]

О бессмертии сердца нигде не благовествуется. А без него теряет цену и жизнь. Все рушится. Мрак. Безнадежность. Личное уничтожение страшит и оскорбляет: так дорогой сердцу талант погибнет? С этим нет сил примириться. Хочется, необходимо хоть чем-нибудь ободрить, утешить, в крайности хоть обмануть себя.

Высокочтимый Тютчев дерзновенно, но и растерянно восклицает:

Впусти меня! Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!.. [56]

Вконец утомленный воспоминаниями и бесплодностью усилий убедить других, начиная с меня, а может быть, в тайниках мысли и самого себя, Лесков с кроткой примиренностью малоожиданно заключает: «Ну что ж! В путь так в путь! На Волково, на Литераторские мостки! Как писал Курочкин:

Я в этот мир пришел пешком,
Но на свиданье к деду
Хоть и на дрогах, хоть шажком,
А все-таки *поеду* **.

Тут разномыслить не о чем! С этим, как бы сняв епитрахиль наставника, он умолкает. Молчат и собеседники.

По обычаю в минуты большой напряженности мысли или взволнованности он отходит к окну. Тишина... Но вот слышится знакомый напев:

Прости, моя родная,
Прости, моя земля,
В сомненьях изнывая,
Лечуу далеко я!
Но и на небе чистом
Твои поля, луга,
Роскошно-золотисты,
Не поозабуду я...

---

* «Кругозор», 1878, № 1, 3 января.

** В. Курочкин. Погребальные дроги. — «Искра», 1869, № 13, 24 марта.

Чей это тихий голос, что это за грустью дышащие стихи?

Не пришел ли «неслышимо, незримо» загадочно умерший, когда-то жизнерадостный, Иван Петрович Аквиляльбов, прозванный «Белым орлом» в «фантастическом рассказе» того же именования? [57]

Нет!.. Вполголоса поет сам создавший его, старый, «в сомненьях изнывающий» Лесков. Поет тихо, раздумчиво, пытливо всматриваясь в потемневшее небо, в начинающие мерцать звезды, поет, не находя ни на что ответа...

Да... себя не обманешь: земное, знаемое *дороже* призрачного, робко чаемого *«по тот бок сени смертной»* [58].

ГЛАВА 3

БЕЗРАДОСТНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Сумрачный, ни в чем не излечившийся, ни с чем не примирившийся, едва ли кем в чем оправданный, по-видимому никем и не встреченный, почти неожиданный, числа 27 августа 1875 года возвращается Лесков к старым пенатам у Таврического сада.

Холодновато в «улье», сухо в Комитете, бесприютно в писательстве.

Кульминационно злосчастные годы жизни. Все ее узлы затягиваются мертвыми петлями. Развязать их не видится возможности. Разрубить? Пожалуй! Но как? Хватит ли сил, решимости?..

О пережитом в эти годы достоверно свидетельствуют ужасом и растерянностью дышащие письма. Но о них позже. Прежде всего выдвигается вопрос о квартире. Высказывавшиеся предположения о зимовке в Праге и вообще долгом нахождении за границей привели мою мать к решению не отдавать больше старших двух мальчиков на предстоящий учебный год полными пансионерами в гимназию, а сделать их приходящими. С 16 августа классы уже начались, и всякие перемены, за отсутствием пансионерских вакансий, оказывались невозможными, да и никого к себе не манили. Таков был один из бытовых результатов упорного письмового разобщения глав дома. Милая, солнечная и тогда еще очень богатая садами Фурштатская, с ее любимой всеми «Таври-

дой» и дружественными соседями Матавкиными, перестала отвечать многим требованиям. Все приводило к необходимости переезда.

Квартира подвернулась, много более удобная, на Захарьевской (ныне ул. Каляева), д. № 3, второй от угла Литейной. Напротив Окружной суд. Конки по Литейной до Технологического института, а по Захарьевской и Знаменской (ул. Восстания) — до Невского и Николаевского (Московского) вокзала. Молодежи ходить в гимназию к Пустому рынку на Гагаринскую втрое ближе. Хозяйке удобен самый этот рынок. Хозяину во все редакции полпути против прежнего. Кругом выгоды. Одно нехорошо: четвертый этаж! Теневая сторона науличных комнат не смущала: столовая, детские и все вообще внутренние комнаты — на юг и запад, на солнце. Стали готовиться к скорейшему переезду.

Сознаюсь, что я лично еще не постигал глубины росшего между моими родителями разлада. Должно быть, его до времени старались не раскрывать. Но как это случается в жизни, что-то очень большое и значительное раскрылось чьею-то пустою, мимоходом оброненною фразой. При одном из бесчисленных в те дни обобществленных обсуждений преимуществ и недостатков предстоящего места жительства всепримиряющий «Витенька» к многим уже перечисленным им добрым качествам последнего прибавил: «Швейцар, подающий письма и газеты! Теплая, освещенная газом парадная лестница! На улице звонки конки, движение, оживление, смотришь — бог даст, повеселее пойдет!»

Почему же это от звонков конки будет веселее? Разве сейчас у нас, без этих звонков, уж очень скучно, нехорошо? Странно...

И первый раз в своей короткой еще жизни я глубоко задумался над чем-то, на чем прежде не останавливался. «Звонки» сели глубоко и разбудили спавшие до того мысли, стали воскрешать и по-новому окрашивать впечатления, мимо которых до сих пор проходил ребячески безмысленно... Первая капля яда запала в душу. Роились воспоминания, улавливались не оценявшиеся раньше интонации, движения, молчаливости, краткость ответов и многое, многое, одно за другим. День ото дня отрава разливалась и углублялась, заставляя во все всматриваться, вдумываться, оценять настоящее, пытливо угадывать дальнейшее... Внезапно пришли первые душевные

муки, с которыми нелегко справляться и в поре полной возмужалости и искушенности жизненными испытаниями. Рано...

Между первым и четвертым числами октября 1875 года происходит наше переселение на новую квартиру. Меня поразила ее обширность, паровое отопление науличных комнат, подъемник для дров на черной лестнице, кстати сказать, через две-три недели оборвавшийся и заброшенный. Произвел впечатление и швейцар в ливрее и фуражке с галунами. Это был добродушнейший «николаевский» солдат, с которым я быстро свел дружбу. Из всех его рассказов я никак не мог постигнуть, как это он умел в многочисленных походах спать на ходу, во всей амуниции, с ружьем на плече, чувствуя локтем локоть соседа справа и слева. Я очень любил послушать его, но, увы, эта дружба была очень мало похожа в своей поучительности и интересности для меня на панинскую дружбу моего отца с неиссякаемой прелести мельником «дедушкой Ильей» [59]. Не те были времена, не то приволье условий жизни и положений!

Покои были мерные, красивые, прекрасно расположенные. Стала задача о «мебели», как тонно и томно говорила уже начинавшая себя чувствовать супругой штатского генерала Анна Семеновна Авсеенко, тетка «Сени Надсона», как называли мой отец и мать, вскоре яркой звездой вспыхнувшего, поэта [60].

В глубине гостиной была удивлявшая меня арка во всю тыльную стену комнаты. На нее, окна и двери были повешены подзоры и портьеры из толстого штофа темного бордо. Красиво расставлена была модная резного ореха полная «гарнитура», обитая тем же штофом. Заняло свое место высокое, от полу до потолка, трюмо. Подавляла детское воображение двухместная «козетка», то есть «беседница», в форме латинской буквы «S» или вопросительного знака.

В кабинет были заказаны две турецкие тахты. Словом, вся квартира обставлена почти заново. Скромные вещи фурштатских времен пошли в дальние комнаты. Рояль был поставлен не в смежной с кабинетом гостиной, а в отдаленной от него столовой, чтобы не мешать творческой работе хозяина.

Внешне, на мой по крайней мере детский взгляд, атмосфера как будто разряжалась, общее положение крепло. Но я не знал, чем были полны письма отца ко

всем, с кем он мог переписываться. Я их прочел только много лет спустя после его смерти. Они поистине страшны. Для оценки их остроты достаточно пробежать не слишком много строк, написанных, например, уже после возвращения из-за границы П. К. Щебальскому:

«Изнемогаю я, Петр Карлович, и ничего более не жду <...> К тому же все уже и поздно: мне буквально нечем жить и не за что взяться; негде работать и негде взять сил для работы; а на 1 тысячу рублей с семьею существовать нельзя. Ждать я ничего не могу и, вероятно, пойду к брату в его деревеньку в приказчики, чтобы хоть не умереть с голоду и не сесть в долговую тюрьму. Положение без *просвета, и дух мой пал до отчаяния,* препятствующего мне и мыслить и надеяться. Если со мною случится что худое, то бумаги мои будут присланы вам, и вы из них многое извлечете для характеристики литературного быта, зависящего от столь известной вам «обидной рассеянности и капризов» <Каткова. — *А. Л.>,* — прибавлю от себя — пошлых и грубых <...>» *

«Где взять, Петр Карлович, «ослиного» терпения, — и именно *ослиного,* а не человеческого, потому что человеческое тут никуда не годится <...> разве вы не знаете клевет, которые нес я и которые так и присохли ко мне и мешают мне беспрестанно? <...> Ведь это, пожалуй, и смешно, только когда бы тот же Катков не отшиб последней способности сложить уста в улыбку <...> Аксаков просил за меня Кокорева, — не вышло ничего, несмотря на то, что Аксаков лбом бил, а не только попросил <...> Притом же «странноприимный» Георгиевский ко мне так странно приимен, что я, право, даже ума не приложу, как с этим быть. Благочестивый вельможа этот забывает, что такой или сякой мой талантишко открывал мне двери, куда действительных статских советников не всех пускают, и что я приучен уже к некоторой деликатности и вниманию. Я чувствовал бы большое счастие не видать его, потому что я человек вспыльчивый и масса неудач сделала меня раздражительным <...> Вот вам моя ситуация, как я скажу. Добавить разве к этому огорчения сторонние и иные, так как «враги человеку домашние

* Письмо от 5 декабря 1875 г. — «Шестидесятые годы», с. 332—333.

его» — и они не столь в этом виноваты: что им за дело до моих убеждений, до несчастных стечений обстоятельств и проч. и проч. И они «друзья минутного, поклонники успеха», а от всего этого... хоть в воду! <...> я *болен* припадками, никогда со мной не бывавшими: я *стыну* и обливаюсь *холодным* потом, и несколько раз в день я *теряю сознание,* при неотвязной мысли — что у меня *нет работы.* Я это вижу во сне; с этим пробуждаюсь, с этим хожу и брожу, наводя на всех постылое чувство при виде беспомощной неудачи» *.

Человеку, доведенному или дошедшему до такого состояния, приходится извинить преувеличенность меры и материальной нуждаемости и бесповоротности каких-то фатальных относительно себя намерений, как, может быть, и жалоб на «домашних».

Однако литературное положение, несомненно, было нестерпимо. В этой области отчаяние находило себе полное оправдание.

Итак, новоселье было безрадостно. Зимний сезон уже вступил в свои права. В квартире все было подготовлено для возобновления приемов, оживленных вечеров с переполненным интересными людьми залом. Но... нарядная гостиная стоит темная. Хозяину бывать дома недосужно. Он находит отдых только в великосветских гостиных. В своей он боится встретить Гундольфов, Авсеенок и прочую «сволочь, которую на пороге своем не хотел бы видеть!».

Часто нет его и за обеденным столом. Если его нет к половине пятого — с обедом больше не ждут: молодежь приходит к четырем из гимназии и школ голодная и усталая, а вечером предстоит зубрежка по заданным урокам, время терять нельзя.

В общем, эти годы отец как бы на отлете. Это никому не вредит, даже вольнее всем...

Самодовлеюще совершается подбор или разбор знакомых и еще заметнее друзей по сродству вкусов и требований.

Превосходительно-невыносимый А. И. Георгиевский с крошечною супругой Марией Александровной, перед которой сей важный сановник превращался в кроткого агнца, тощий В. Г. Авсеенко с своей дородной женой,

---

* Письмо от 10 ноября 1875 г. — «Шестидесятые годы», с. 334—335.

Маркевич и т. д. переходят на дневные визиты, так как Лесков перестает посещать их вечерами.

А. П. Милюков с З. В. Нарден, Матавкины и другие более близкие из фурштатскнх знакомых ездят вечерком, по сидят не в строгой гостиной, а в радушной столовой, около рояля, на котором дает камерные концерты, по лесковскому наименованию, «Нарденша», поет и аккомпанирует кому-нибудь из мужчин или своей жене Матавкин; ведут «простоплетные» приятельские беседы за стаканом чая и легкой закуской. Это уже целиком материнские друзья и, видимо, сторонники.

Отцовские литературные знакомые проходят из передней прямо в кабинет, куда подается и чай.

Он часто ездит на два-три дня в Царское Село к поселившимся там Кушелевым. В свою очередь. Сергей Егорович частенько заночевывает у нас, в писательском кабинете на одной из турецких тахт. Тут же ночует иногда заговорившийся с хозяином далеко за полночь книголюбивый гимназический товарищ Николая Бубнова Илья Шляпкин, впоследствии известный профессор-литературовед [61].

Тяжесть нрава отца, под влиянием непрерывной раздраженности, углубляется, гнетет дом.

Однажды днем мать моя принимала в гостиной приехавшую с каким-то приглашением чету Ледаковых. На несчастье, вскоре вернулся откуда-то отец. Услыхав непомерно громкий голос литературно-художественного ростовщика, он стремительно вошел в гостиную, поздоровался с женой Ледакова, а протянувшему ему руку «Антошке» бросил в лицо: «Я мерзавцам руки не подаю» и прошел дальше [62].

В эту зиму я готовился к поступлению в «милютинскую» военную гимназию. Учительница моя, Лидия Степановна Мамонтова, тетка Надсона по матери, завела в своей школе вечерние занятия для приготовления уроков. Возвращался я с них часов около девяти. Войдя в переднюю, я бросал первый взгляд направо, и если темный кабинет отца зиял растворенной дверью, — с ликующим взбрыком несся по комнатам. Иначе шло дело, если отец был дома. Присутствие или отсутствие его сказывалось на всей домашней погоде, и подчас самым неожиданным образом.

Уже с начала ноября я высмотрел в календаре, что в текущем году день всехвального апостола Андрея Пер-

возванного приходится в воскресенье. Это наполняло мое девятилетнее сердце восторгом: я знал, что, случись он в будень, — отец неизбежно пошлет меня в школу не только днем, но и вечером. В школьных делах он был неумолим. А вышло само собой, что в свои именины я буду свободен весь день. Жил, считая дни. Наконец пришло и само «тезоименитство». С утра пошли поздравления, подарки домашних, попозже зашли кое-кто из материнских друзей. Дары росли. Отца весь день не было дома: приехал часу в восьмом. Я был поглощен любованием подарками, раскладкой и перекладкой их с места на место. В разгар этих увлекательных занятий шустро вошла Паша и скороговоркой сказала, что меня зовет к себе отец.

Наверное — сюрприз! — мелькнуло у меня в голове, и, обнадеженный этой мыслью, я рысцой вбежал в кабинет. Однако при взгляде на отца у меня сразу захолонуло сердце.

— Иди к маме и попроси ее собрать нам белье: мы с тобой едем сейчас в баню.

Остолбенев, я не шевелился.

— Что же ты стоишь?

— Ка-ак... в баню?! Я же сегодня... именинник!

— Вот и прекрасно — чище в день своего святого будешь. Ступай!

Привезшая мне большую коробку нюрнбергского изделия оловянных солдатиков «Нарденша» сделала круглые глаза. Мать, стараясь не встречаться с нею взглядом, сдвинула брови и, извинившись перед приятельницей, собрала и вручила ковровый сак прибежавшей за ним Паше.

Ребячий праздник был сорван.

Через десять минут мы уже ехали в санках на Знаменскую в баню купца Сорокина, против Манежного переулка.

Обида жгла. Душа кипела горькими, опасливо, через силу сдерживавшимися слезами...

Чем старее я становился, тем неотвязнее в этот день мне вспоминались эти так жестоко отравленные мне детские именины, и хотелось найти объяснение тому — чем это могло быть подсказано?

Ответ неожиданный, по полный, пришел от самого Лескова.

Перечитываю я как-то «разнохарактерное» его «pot pourri» *, озаглавленное «Смех и горе», и вдруг совсем по-новому начинаю понимать нечто в главе IX. Мать малолетнего героя очерка говорит его дяде: «Пускай жизнь будет подносить ему одни неприятности, по пусть я... пусть мать поднесет ему удовольствие».

А дядя, уходя, бросает племяннику: «Мой милый друг, тебя завтра <в вербное воскресенье. — *А. Л.*> ждет большой сюрприз».

И действительно, вербный купидон, изготовленный для радостного утреннего приветствия мальчика и паривший над его кроваткой — «в объятиях нес для мира печали и слез... розгу, <...> огромный пук березовых прутьев, связанных такою же голубою лентой, на какой сам он был подвешен», с билетиком, на котором стояло: «Кто ждет себе ни за что ни про что радостей, тот дождется за то всяких гадостей» и в ту же минуту «дядя распахнул занавески моей кроватки и... изрядно меня высек, ни за что ни пр*о* что»[63].

Все это писалось за пять лет до моего злополучия в день Андрея Первозванного. Выходит, что последнее оказалось мягче происшедшего с маленьким героем попурри».

Смирясь, я перестал удивляться. А забыть не сумел.

Да и как иначе, раз *«повелевать своей памяти — невозможно!»*[64].

ГЛАВА 4

ПИКРУКИ[65]

Во всесторонних нестроениях протекает зима, и близится лето. Возникает дачный вопрос.

При одном из вечерних обсуждений друг друга сменяющих планов отец мой неожиданно, с не совсем искренней беззаботностью, выдвигает заранее разработанное им предложение: живописнейшее местоположение, купанье, лодка, рыбная ловля, сосновый бор, изобилие прогулок, грибы, ягоды, просторное и обособленное помещение, всего три часа железнодорожного пути, а там — десять минут пароходиком до места!

---

* Пестрая смесь (*фр.*).

— Где это? — коротко и малодоверчиво спрашивает мать.

— Под самым Выборгом, на берегу знаменитого своими красотами Сайменского канала! Юлия Денисовна <Засецкая. — *А. Л.*>, в виде одолжения ей, просит занять любую из двух ее, оставшихся неснятыми, дач, присмотрев за другою...

Передавая отцу налитый стакан чая, мать, с холодком дышащей рассеянностью, отклоняет явно нелюбезную ей комбинацию.

Отец оскорбляется и, может быть излишне ультимативно, заявляя, что во всяком случае проведет лето именно там, демонстративно уходит со своим стаканом в кабинет.

Вопрос снимается с дальнейшего обсуждения. Мать нанимает дачу в тихом тогда Лесном, удобном по положению и хозяйственным условиям. Летом снова порознь, но на этот раз в эту рознь включаюсь уже и я, которого отец берет с собою в Выборг.

Дачи Засецкой оказываются довольно нелепыми. Очевидно, эту простосердечную и доверчивую женщину с ними хорошо обвели. Справа, в расстоянии трехсот—пятисот шагов, стояла лесопилка, лязг «рам» которой неустанно слышался у нас весь день. Впереди стояла чья-то большая прекрасная тенистая усадьба, спускавшаяся прямо к Сайме и полностью отгораживавшая от нее лысоватый и кургузый участок Засецкой, выкроенный в невзрачном глухом тупике, запиравшемся лесопильней. Вдоль правого фаса закрывавшей от нас залив нарядной виллы шел узковатый коридористый проход к нашей купальне и лодке, почему-то носившей имя польского воителя — Сапега[66].

От вокзала было километра четыре. Пароходик бегал от городской пристани проворно и часто, останавливаясь близко, у лесопильни. Близок был и прекрасный парк баронов Николаи «Монрепо».

Мне эти Пикруки хорошо сели в памяти. Я оказался средоточием всех педагогических устремлений моего, не новичка в таких делах, отца. Тут шли почти ежедневные раздражавшие отца открытия. Выявлялось, что, считавшийся до того самым ловким в семье, как и в школе, я ровно ничего не умею, даже хотя бы ходить, так, чтобы не изнашивались на каменистом финляндском грунте подметки.

Началось коренное мое перевоспитание и переобучение всему: как правильно идти, как кланяться, шаркать ножкой, спрашивать и отвечать, пить чай, есть за обедом, раздеваться, одеваться — словом, жить и дышать все двадцать четыре часа в сутки под почти инквизиторски неусыпным и быстрым в исправлениях и карах надзиранием.

Сознаюсь — я растерялся и пал духом. А он и так был жестоко угнетен — с конца апреля я нетерпеливо ожидал, когда меня, прекрасно подготовленного у Мамонтовой, поведут на вступительный экзамен в милютинскую военную гимназию, и... не дождался. Говорилось — осенью. Но почему? И кто же будет заниматься со мною летом, чтобы не перезабыть к конкурсному испытанию то, что так живо и твердо сейчас в голове! Сверстники уже были приняты весной в те или другие среднеучебные заведения, а я, так сказать, начинал жизнь с отставания. Я не мог примириться с такой обидой.

Правда, отец сначала очень строго задавал мне по утрам какие-то уроки, требуя их приготовления к обеду. Но я видел, что он совершенно не знаком с существующими программами и требованиями и никакой не руководитель в сбережении мною уже усвоенных знаний. Наоборот, я понимал, что его вмешательство может меня только сбивать и путать в том, в чем я был уже надежно подкован. Остро вспомнились первые эксперименты с обучением меня грамоте чуть не по Часослову, но, увы, изымать меня из вновь выпавшей мне выучки здесь было некому.

Обед с глазу на глаз был сплошным испытанием. После небольшого отдыха следовала прогулка в Монрепо. Я знал, что название это обозначает «мой отдых», — и горько вздыхал. Началось привитие мне новой, отвечающей каким-то особым требованиям, поступи. Я должен был идти по дорожкам парка в четырех шагах впереди отца и, как-то не касаясь земли, переступать и двигаться вперед. На мое горе, сапоги мои, должно быть еще в Петербурге, поизносились, а я легкомысленно не заметил этого в то время, когда мать, без слова упрека, сказала бы Паше отдать их в починку да, должно быть, успела бы до дачи купить и запасную пару. И вот, правый сапог, к моему ужасу, раскрыл рот: подтертая гравием подметка стала загребать и хлюпать. При всех изощрениях моих это не могло ускользнуть от зоркого

глаза инструктора. Винам моим не было предела. Искупление их не обходилось без «лозы учительной», в которой, на мое несчастье, не было недостатка по обочинам дорожек дивного парка. Ко всему, при встречах с дачниками приходилось, пересиливая себя, делать беззаботно-веселое лицо, но так, чтобы такое выражение не было замечено отцом и принято им за дерзость или фронду.

Лето было отравлено.

Mon repos, отдых, выдавался только с понедельника до вечера вторника, когда отец уезжал на заседания в Ученый комитет. Тогда у нас с приветливой нашей служанкой-финкой Минной шли смешливые беседы на взаимно не вполне понимаемых языках, пелись песни каждым по-своему, сыпались шутки, наступало полное приволье!

А в общем жилось невообразимо тоскливо. Молодежь наша вся перебывала у нас, и никто долго не загостился. Кругом непостигаемо чужой говор. Кроме Монрепо, ходить некуда. Грибы и ягоды — только на базаре, дороже Петербурга, так как на русских деньгах есть потеря при размене их на финские марки и пенни. Мать моя протестационно не посетила владений Засецкой ни разу, хотя мы раз провели два дня в Лесном. Отец воспринимал здесь все в пренебрежительном молчании, как ни в какой доле не сопоставляемое с Пикруками. Это никого не огорчало. Ему показывали достопримечательности: место дуэли Новосильцева с Черновым[67], с круглыми плитами, определявшими места противников, погибших на этом жестоком поединке; Новосильцевскую церковь; эффектный, по тогдашним представлениям, безостановочный проход мимо полустанка Ланская вечернего «курьерского» поезда... Ничто не тронуло и не ущербило ревниво отстаивавшегося превосходства Саймы. Отец не откликнулся даже на упоминание о том, что секундантом Чернова был писательски чтимый им Кондратий Рылеев[68]. Оставалось вяло повернуть домой, к раннему ужину, к ночлегу.

На другой день мы вернулись в свое немотно-отшельническое Монрепо. И снова прежнее томленье...

Но вот однажды, в предвечерние часы, в нашем тупичке показались два легких тильбюри *. Наверное,

* Легкий двухколесный экипаж в одну лошадь (*англ.*).

ошиблись, подумал я. Однако оба они продолжали приближаться и, наконец, остановились как раз против меня. Одним экипажем правила элегантная дама, другим — очень благопристойный офицер, рядом с которым сидела маленькая блондинка. Они приехали посмотреть для каких-то своих, откуда-то переведенных среди лета, друзей запустовавшую большую дачу, о которой узнали от кого-то на вокзале.

Вышедший по моему докладу о происшествии отец преобразился. Дача не понравилась, но случайные гости уже не торопились, весело болтая с чарующе любезным хозяином, предложившим отдохнуть за чашкой чая.

— Manon Lescaut, Манон Леско! Ах, как это мило! — русская фамилия, звучащая как имя очаровательной героини прелестного романа Прево! Нет, это восторг! — щебетала правившая лошадьми дама, снимая черные лайковые перчатки с крагами. — Вы мне позволите вас так называть, снисходя к моей дамской непосредственности и болтливости?

Расстались уже совсем друзьями, взяв с Лескова слово завтра же обедать у них запросто на Петербургском форштате, и непременно со мною, так как и мне найдется соответствующее общество, — «а держать мальчика в одиночку в этой глуши — преступление! Ему нужны сверстники, простор, смех, игры, солнце, воздух. Нет, нет, нет... и не пытайтесь возражать! Ничего и слышать не хотим! Это преступление! И вы должны быть за него наказаны — непременно ждем вас к по-деревенски раннему обеду в два часа, а дальше будете отпускать Дронушку к нам каждый день. Что ему здесь делать одному без товарищей!» — вперебой сыпали обе бойкие, сразу что-то чутьем взявшие, женщины.

Все изменилось для меня, как по волшебству. Но всего удивительнее было — с каким явным удовольствием стал дружить с новыми знакомыми успевший истосковаться по обществу, без возможности очаровывать других своей беседой, сам Лесков, уже больше месяца не слышавший русского слова и объяснявшийся даже со служанкой наполовину пантомимой. Видно было, что точно камень свалился у него с плеч, а с тем свалились и с меня почти все ничему не служившие его школьные занятия со мной, как и унылые прогулки в парке, заменившиеся играми с детьми Павла Гавриловича Кандиба, его жены Надежды Николаевны и его кузины Веры Тимофеевны Райко.

Дружба со всеми ними [69], в виде редкостного исключения, сохранилась на весь век каждого.

Я воскрес. Отец отвлекся от педагогии и целиком отдался работе, о которой я узнал многие годы спустя.

По нет вечного счастья. Наступила половина августа. Кандибы и Райко вернулись в Петербург. Начинался учебный год. Об экзамене для определения меня в гимназию уже и не говорилось. Это точило мне душу, будило мучительную зависть к знакомым однолеткам. Возобновление заведомо бесцельных уроков, отчеркивавшихся по какому-то непостижимому плану отцом, иссушало душу... Становилось свежо. Вместо возвращения домой мы почему-то перебрались в бо́льшую дачу, комнаты нижнего этажа которой были оштукатурены и имели печи. Ничего не понимая, я приходил в ужас: неужели мы так тут и зазимуем? Конечно нет! Но чего мы медлим? Небо темнело, вечера день ото дня становились длиннее, тоскливей. С лесной биржи доносился удручающий визг пил. Опустела и соседняя нарядная вилла. Купанье, доведенное отцом до 11-градусной температуры воды по Реомюру, составлявшее подлинную муку, пришлось-таки бросить. Пошли холодные беспросветные дожди. А мы все не двигались. Отец безотрывно писал и неуклонно мрачнел. Росло отчаяние. Наконец перестала терпеть неизвестность и наша Минна, которой надо было идти куда-то на зимнюю работу. Приходилось уезжать. Но куда?

В чем же было дело? Что отняло у меня год гимназии? Что додержало нас до сентября в кругом заглохшей уже пикрукской берлоге?

Ответы пришли, когда уже ни моего отца, ни матери не было в живых, а я десятки лет собирал и открывал растерянного, забытого и безвестного Лескова, знакомился с его перепиской, многое вспоминал, сопоставлял, связывал, работал над «Лесковианой».

Начну с литературной причинности.

Уже с 1874 года Лесков начал следить за аристократическим религиозным нововерием, апостолом которого являлся многократно приезжавший в Россию английский лорд Гренвиль Вальдигрев Редсток [70]. В ряде лесковских газетных заметок и журнальных статей говорилось об его «еретическом вздоре», что он несет «ахинею», что, «кажется, у нас ему ничто не мешало быть умнее», что

«искать Иисуса в людях» надо не так, как это он делал; на вопрос, где же Христос у этого лорда, давался точный ответ: *«несть зде»,* что наших «апостольских дам и кавалеров» он «не надолго разогревает». Но этого всего становится мало. Тянет дать круглый, сочный и законченный очерк всего этого «салонно-кенареечного» движения, пусть даже с слегка памфлетным, но жизненно убедительным портретом самого пророка в центре.

Мысль эта дозревает именно в Пикруках, в гостеприимных владениях убежденной редстокистки, в состоянии, исключающем возможность отдаться большому «совершению», но позволяющем заняться чем-то злободневным, местами почти юмористическим.

Правда, с одной стороны, личная дружба с Юлией Денисовной [71] связывает, но, с другой, как ничто другое, и благоприятствует выполнению плана. Вставала маккиавеллистическая дилемма: чему чем пожертвовать?!

Колебания не были долги. Решение было принято, а с ним овладела уже врожденная «нетерпячесть»: Засецкой телеграммой посылается челобитная, на которую она откликается со всею своею простосердечностью:

«14 июня 1876 г.

Ваша телеграмма очень меня обрадовала, добрейший Николай Семенович! Я ничего не поняла, исключая того, что вы бы мне не предложили ничего, кроме хорошего. Скажу более, вы мне показались одним из добрых чародеев в волшебных сказках для детей, который хочет убедить человечество в детском возрасте, что даже малейшее одолжение не остается без награды. И потому я согласилась немедленно на ваше предложение, но в чем оно состоит — не понимаю.

Я не то что затрудняюсь писать подробно о всех воззрениях Редстока, но не могу себе уяснить вполне, имею ли я на то право, так как многое было сказано мне, но не публике. Я в их семействе, включая его недавно умершую мать и сестру, проводила дни, я у них бывала как у себя, часто затрагивала вопросы, о которых он не говорит никогда, и, бывало, он мне скажет: понимаете — я это говорю вам, другие могут ложно перетолковать мои мысли. — Рассудите сами.

Впрочем, вот что я сделаю. Напишу вам все, вроде письма, и что мне покажется опасным для него и неде-

ликатным с моей стороны, отмечу крестиком *x*. Нет, Николай Семенович, я ему только отдаю должное. В нем дышит дух святой! дух истины, чистоты — чувствуется что-то неземное, когда близко его знаешь. Если я его не называю своим идеалом, то это потому, что, увы! во мне еще много земного, и его чистота, постоянное созерцание небесного смущают мой дух. По духовному моему существу я стремлюсь слушать его и поучиться у него, а по земному хочется скрыться от него. Не поймите мои слова иначе.

Я буду в Петербурге 20 июня, воскресенье, потому что буду в храме в день господень. Выеду отсюда ровно в $7^1/_2$ и после богослужения буду сидеть дома до понедельника 9 часов. Нельзя ли вам днем ранее приехать, мы с вами провели бы весь вечер воскресенья. Очень бы меня утешили. Я привезу все материалы об Редстоке.

Опять-таки вы не правы, укоряя меня в неблагодарности к духовенству русскому. Я чрезвычайно уважаю некоторых духовных личностей, с которыми не знакома лично: Отца Алек. Горчакова, Беллюстина, желала бы их знать — и боюсь. Не хочу найти в них то, что отталкивает меня от всех знакомых мне духовных лиц: тщеславие, личина веры, корысть и чиновничество. Я это встретила во всех русских священниках за границей, и с меня довольно. К некоторым можно прибавить тупость. Насчет же святых и мучеников вполне согласна с вами, что для того времени это было хорошо. Но в чем я вижу ужасный вред, это в том, что тысячи людей, в монастырях, сами либо вовсе не веруя, или веруя от одурения, научают и поддерживают в массе народа учение о мощах, о ходатаях, о чудесах через окаменелые кости, и все это с дозволением синода, и ни один из современных священников не решается отдать себя на жертву истине и громко протестовать против нарушения 1-й и 2-й заповеди, как они в самом тексте изложены. Не одномыслия желаю и в России, оно даже невозможно в семействе, но дух отважности в случаях божиих, равный отваге слуг царских в войне с врагами земными. Я не горжусь и далеко не стыжусь быть русской, мне жаль страну, которой я принадлежу, которой я принадлежу как песчинка морю, и жаль, что лишь только возвысится одна песчинка перед другими, тотчас холодный ветер власти, страха, интереса, гнета и проч. унесет далеко или придавит глубоко. А главное,

жаль — что мы способны привыкать к этому, и жаль многого еще... Не след писать этого да и места нет и вам надоедать.

До свидания

Ю. Засецкая» *.

Со всей природной искренностью зажегшись желанием всемерно помочь человеку, восхищавшему ее «плодами творческого ума», она от сердца шлет все, что в силах.

«Я исполнила ваше желание и посылаю вам речь, как говорил Редсток почти всегда одно и то же, при некоторых вариациях и других текстах. Но суть одна — необходимость духовного возрождения человека верой во Иисуса Христа. Потом уже нужны дела и святость в жизни, но это приходит без труда — сам господь указывает и принуждает действовать по его указаниям.

В другое время я бы написала лучше, но теперь куча дела и забот. Уж извините шероховатость слога — еле успела прочесть один раз».

В разгаре работы писатель уже не был в состоянии считаться с какими-нибудь ограничительными условностями и «крестиками» Засецкой в отношении переданного ею материала. В творческом увлечении темпераментный публицист думает об одном: дать более яркие картины, сочные диалоги, колоритные образы, хотя бы и немного карикатурные, но хорошо запоминающиеся и впечатляющие. Как тут остеречься от «exubérance»!.. ** [72]

Очерк разрастается, грозя занять свыше семи листов. И вот к осени уже настолько готов, что с сентября можно начать его печатанием ***.

Редстокисты негодуют. Пашков, Пейкер, Корф [73], вся Сергиевская улица, переименованная Лесковым в «Семиверную» по обилию в ней «нововеров» различных толков, великолепные особняки на Набережной и Конногвардейском бульваре, все «кенареечные» христоискатели потрясены.

Засецкая убита: она виновата в безумышленном предании на поругание того, кого она так чтит и ценит! Ее

* См.: «Живописное обозрение», 1900, апрель, с. 39.

** Излишества, обильности (*фр.*).

*** «Православное обозрение», 1876, сентябрь и октябрь, в 1877, февраль; отд. изд., М., 1877 и СПб., 1877.

утешают тем, что она не более как жертва писательского вероломства. Это не смягчает ее угрызений. Подавленная, она пишет:

«Николай Семенович!

Евангелие учит нас воздать добром за зло и прощать обиды. Вас не стану упрекать...

Учителя нашего, сына божия, называл мир сатаной и помешанным — чего же должны ожидать его последователи? Если кто вас и не знает, но судит вас обоих по вашим писаниям, достаточно может убедиться, что: «вы от мира и говорите по-мирски, и мир слушает вас». Удивительно ли, что вы насмехаетесь над теми, которые вовсе не от мира, и над тем, что для вас пока недосягаемо»[74].

Автор «Раскола», оправдываясь, ссылается на широкое одобрение его «очерка» прессой, на что получает как бы заключительное отпущение:

«Николай Семенович, я получила вашу приписку и вырезку из журнала. Но могу вас уверить, что я журнальные мнения не признаю за авторитет и позволяю себе иметь личные воззрения. Совершенно согласна, что вы могли бы описать в тысячу раз хуже человека, которого я ставлю в нравственном отношении выше всех мне известных людей. Разве Мещерский не описал его как последнего мерзавца? Когда цель книги позабавить публику, а главное, дать успех книге во что бы то ни стало, литераторы, вероятно, без сожаления жертвуют всем: дружбой, мнением и доверенностью таких скромных личностей, как я. Виновата я, что вообразила, что вы ко мне питаете некоторое чувство дружбы, которое не дозволит вам осмеять (и для этого еще избрать меня орудием) человека, которого я безгранично уважаю. От избытка ли воображения, но я до глупости доверчива.

Вас же можно поздравить: цель ваша вполне достигнута. Я нимало не сердита на вас, я ошиблась, и это сознание на некоторое время уничтожает меня в собственных глазах.

Опять кончу словами, которые когда-то вам писала: «Вы от мира и говорите по-мирски, и мир слушает вас».

Помоги вам бог прозреть вовремя...» *

---

* Письма Засецкой к Лескову: *Фаресов,* гл. IV; «Живописное обозрение», 1900, апрель, № 4[75]. — Автографы в ЦГЛА.

Упрека нет. Встречи тяжелы: «я ошиблась»... Казавшейся возможной дружбе держаться не на чем.

Еще за полгода до «Великосветского раскола» появился в печати «критический этюд» Лескова под пренебрежительным заглавием «Сентиментальное благочестие. Великосветский опыт простонародного журнала. Разбор ежемесячного религиозно-нравственного издания «Русский рабочий» *. Издавала его, тогда еще незнакомая с Лесковым, сильно обангличанившаяся редстокистка М. Г. Пейкер, рожденная Лашкарева, со своею взрослою дочерью [76].

Как известно, всего страшнее сделаться смешным. А «разбор» обнажал смехотворную редакторско-издательскую немощь обеих этих «апостолических дам» и совершенное невежество их в отношении всех сторон русского быта и жизни русского рабочего. Попавшие впросак «словесные овцы» редстоковского духовного стада «взъегозились» и стали искать помощи. Вероятно, она пришла от Засецкой, познакомившей издательниц с автором неприятного «критического этюда». В лице матери, Марии Григорьевны, писатель встретил умную и острую русскую кровную барыню, сумевшую, как многие дамы ее круга, превосходно узнать Англию, в той же мере забыв свою Россию, а может быть, никогда не знав ее и прежде. Такою же вырастила она, подолгу живя в милой нашей аристократии Британии, и дочь Александру Ивановну.

Непосредственные отношения показались взаимно столь приятными и простыми, что в зиму 1878—1879 годов даже я, двенадцатилетний мальчик, стал непременным гостем тихих пейкеровских субботних вечеров, проходивших в мягких беседах, в которых весьма часто видное участие принимал и мой отец. Здесь я, под покровительственным руководством двадцатилетней Александры Ивановны, знакомился с Евангелием, вырезал, наклеивал и раскрашивал медовыми красками избранные тексты для раздаривания их менее меня просвещенным, пел с ее голоса изданные ею же «любимые стихи» на тот или иной евангельский стих или псалом и даже играл на английском концертино. Дружба наша так росла, что

---

* «Православное обозрение», 1876, март. Отд. изд.: М., 1876. Дано приложением ко второму изданию «Великосветского раскола», 1877.

весной Пейкеры начали просить отца отпустить меня вместо Киева на все лето к ним в их имение, село Ивановское, в сорока верстах от Череповца, с тем, что в конце лета за мной заедет сам отец. Здесь я еще более окреп во всех перечисленных занятиях, знаниях и искусствах, отнятых у меня моим отцом в рассказе «Юдоль» и совершенно бесправно и беллетристически закономерно подаренных им достаточно апокрифичной англичанке Гильдегарде, нежной подруге не более достоверной в данном случае «тети Полли» [77].

Хочется посплетничать. Отец кое-где, например, в рассказе «Явление духа», упоминал, что у меня был приятный голосок и слух. В «Юдоли» Гильдегарда поет cantique * на текст «Приходящего ко мне не изгоню вон» (Иоан, VI, 37): «Таков как есмь, во имя крови...» Отцу очень нравился довольно удачный напев, и он нередко заставлял меня петь эту кант*и*к при гостях, как и вечернюю молитву «Я устал, иду к покою, отче, очи мне закрой» (псал. 4, 9). Обычно демонстрация заканчивалась нелюбимой им песенкой с припевом: «Есть место, есть! о, поспеши войти!» Тут отец, сбросив с себя всю предшествовавшую торжественность, озорно беря мне в тон, подпевал: «Есть место, есть! *да вам на нем не сесть!»* Так все «апостолические дамы и кавалеры» и шли прахом! [78]

Но это было немного позже. В первые годы многое как-то принималось, хотя и без большой устойчивости.

Сближение с Пейкерами, как, должно быть, и личная переоценка некоторых своих шагов в отношении их общего с Засецкой пастыря не замедлили принести свои плоды. В очередной своей статье, в полудуховном, полусветском журнале, Лесков сильно изменяет отношение к Редстоку и даже признает в «Великосветском расколе» целых три своих ошибки в суждении о нем. В итоге признается, что интеллектуальные способности проповедника не ниже его апостольского рвения; что лингвистические силы его велики и он в одно лето, самоучкой, усвоил русский язык, с которого переводит, на котором читает и даже «немножко объясняется»; что в разговоре «с глазу на глаз» он «производит такое приятное впечатление, какое может внушать человек не только очень

---

* Церковное песнопение (*фр.*).

искренний, но и глубокий; что знание им священного писания «довольно замечательно», и т. д.*

Тут же в бесподписной сочувственной заметке «Новая назидательная книга» сообщается Лесковым, что «Юлия Денисовна Засецкая (дочь приснопамятного партизана Отечественной войны Дениса Давыдова)» перевела сочинения Джона Буньяна [79] с тою теплотой, «которую женщины умеют придавать переводам сочинений, пленяющих их сердца и производящих сильное впечатление на их ум и чувства».

Такие строки предназначались главным образом для смягчения обиженности и горечи женщины, о которой их автор никогда не говорил иначе, как о человеке большой доброты и исключительных достоинств.

Должно быть, в середине 1880 года она покинула Россию, поселилась в Париже. Скончалась, вероятно, в первой половине 1883 года, завещав «не перевозить ее тела в Россию» **, дабы не дать возможности господствующей церкви совершить над ним установленные обряды. В архиве Засецкой могли сохраниться прелюбопытнейшие письма Лескова. Пока о них слышно не было.

Дружество с М. Г. Пейкер с 1880 года тоже потеряло прежнюю живость. В смерти она опередила Засецкую, скончавшись 27 февраля 1881 года. В некрологе Лесков сказал, между прочим: «Вообще это была такая умная и образованная женщина, каких не много, и притом сильно убежденная христианка» ***[80].

О смерти Засецкой Лесков узнал слишком поздно для возможности сказать о покойной в печати доброе прощальное слово.

Так сошли в могилу две наиболее близкие Лескову и чтимые им редстокистки. О самом «нововерии» Лесков оставил достаточные, не менее уважительные свидетельства, чем о двух исповедницах этого учения ****.

«Великосветский раскол» читался бойко, выдержав

* Н. Лесков. Чудеса и знамения. Наблюдения, опыты и заметки. — «Церковно-общественный вестник», 1878, № 40, 2 апреля.

** Николай Лесков. Вероисповедная реестровка. — «Новости и биржевая газета», 1-е изд., 1883, № 65, 7 июня.

*** «Новое время», 1881, № 1798, 1 марта.

**** См., напр.: «Исторический вестник», 1883, № 4, и 1886, № 9; «Новости и биржевая газета», 1884, № 253 и 258, 13 и 18 сентября, и № 152 и 161, 4 и 14 июня; «Новь», 1884, № 1, 1 ноября [81].

подряд журнальную публикацию и в один год два отдельных издания. Это был по тому времени изрядный успех. Читался одними с осуждением, другими с одобрением и всеми с неослабным любопытством.

Не одинаково безупречным показался он и князьям церкви. Духовник и отчасти воспитатель царя Александра II, богослов, член святейшего синода, протопресвитер В. Б. Бажанов, вникнув в очерк, без колебания определил: «Сия книга прехитростная» *. Он прозрел, что автор ее всего больше сам уже «свободный христианин», влекущийся написать еретика Форносова или по крайней мере праведного Голована, казавшегося всем «сумнительным в вере» и принадлежащим к своеобразному «приходу творца-вседержителя», а не к церковно определенному.

В общем, Лесков опять едва ли сумел, или захотел, кому-нибудь понравиться.

Вторая причина затяжного сидения нашего с отцом в опустевших Пикруках была глубже и болезненнее: отец и мать мои не решались каждый в отдельности первым сказать последнего, рокового слова — прощай!

У обоих оно уже давно жило в уме, подсказывалось всеми соображениями, принималось сердцем, до дна обнажившейся безнадежностью воскресить когда-то яркое и вконец потухшее уже чувство. Но воли произнести его вслух — не было.

Терзались оба безмерно и тяжко. Свершить последний акт недоставало мужества. Чаша горечи казалась еще не допитой до дна.

Не легко было и мне, почти ребенку. Все висело в воздухе, в томительной безвестности, неопределенности, выжидании.

Наконец все как бы нашло себе какой-то исход. Глухой лизис [82] еще раз был предпочтен открытому кризису. Мы вернулись в город на старое пепелище. Время осенних экзаменов было упущено. Я еще на год остался в частной подготовительной школе. Паны, говорят, не ладят — у хлопцев чубы болят. Хлопец потерял год.

Жизнь на Захарьевской потекла по-прежнему хмуро.

Живет анекдот, будто остроумец и глубокий старец, исторически достоверный лорд Честерфильд, незадолго

---

* И. А. Шляпкин. К биографии Н. С. Лескова. — «Русская старина», 1895, № 12, с. 213 [83].

до кончины с трудом совершил прогулку в открытом экипаже. «Вы прокатились по свежему воздуху, милорд!» — поздравляли его друзья. «О, нет, — с улыбкой отвечал неисправимый шутник, — я только произвел репетицию моих похорон»[84].

Пикрукское лето оказалось репетицией неведомо почему отложенного разрыва.

Мрачная репетиция.

ГЛАВА 5
НА ИСХОДЕ ТЕРПЕНИЯ

«Я тяну полосу тяжелую и давно отвык от всякого участия», — писал Лесков И. С. Аксакову*.

И действительно, начавшаяся с писаревского приговора[85] и год от года становившаяся злее, полоса была ужасна.

Довольно перелистать его письма семидесятых годов, чтобы представить себе муки, испытывавшиеся им больше шестнадцати лет, в самую силу сил, когда было что сказать, а приходилось молчать «с платком во рту», «завивая махры в парикмахерской у монаха»[86]. Вычеркнута была половина лет, отданных литературе.

Доходя до исступления, он пересыпает свои письма к доброжелательствовавшему ему Щебальскому прямыми воплями:

«Где тут взять бодрость и энергии? В литературе за мной признают силу и с каким-то сладострастием ее убивают, если уж не убили <...>.

Талантливый Усов получает 7 т.; даровитый Милюков 4 т.; честный Маркевич 5 т. у Баймакова, и газета все падает, и читать в ней нечего; а у меня работы нет <...>

Я не удивляюсь, когда меня считает дурным человеком Островский, когда считает меня чуждым себе Некрасов или Салтыков (хотя никто, как эти два, не выражаются обо мне с похвалою), — но им я досадил <...> Но Катков, но Георгиевский и tutti frutti — им что я сделал?» **

---

* Письмо от 8 сентября 1875 г. — Пушкинский дом.

** Письмо к Щебальскому от 15 января 1876 г. — «Шестидесятые годы», с. 338.

«Что делать? Не спросите ли: почему я об этом не говорю? Почему? — потому, что мне уже срама не имут отказывать, и я не могу ничего сказать без проклятого предубеждения, что из этого ничего не выйдет. Я как столб, на который уже и люди и собаки мочатся» *.

Под знаком такой же неодолимости незадач идет и дальше.

Угнетают не только нравственные угрызения, но и материальные затруднения, однако далеко не такие крайние, какими они рисовались письмами, особенно к Щебальскому.

Несомненно, никогда не угрожало самоубийство человеку такого жизнелюбия, каким был исполнен Лесков. В такой же мере неправдоподобны были и опасения возможного чуть не подлинного сумасшествия по намекам заграничных писем его к Матавкину о «черной меланхолии» [87]. Во всем этом говорила обычная, и очень многим свойственная, наклонность к преувеличениям в целях вызвать к себе, в сущности бесплодные, соболезнования. Давно им самим отмеченное в некоторых характерах стремление к пересолу.

Сошлюсь хотя бы на запись И. А. Шляпкина, сделанную в январе 1875 года:

«Познакомился с Лесковым <...> Смотрел библиотеку: около тысячи томов. Много запрещенных, полученных с разрешения М. Н. Лонгинова (главноуправляющий по делам печати). Есть и старопечатные: «Небо новое», «Ключ разумения», «Требник Петра Могилы» (120 рублей заплатил). Большое собрание справочных книг и словарей. Уютный кабинет с темно-красными обоями увешан картинами, бюст Сенеки, множество безделок, высокие гнутые стулья. Просил достать Гоголя: «Размышления о божественной литургии» <...> хвастался 450 рублями золотыми в копилке» **.

Бюджет семьи имел основу в аренде с материнской киевской недвижимости в сумме 3 тысяч рублей в год. Тогда это было неплохо. Отец получал тысячу рублей жалования и, как бы там ни было, не меньше, если не больше, прирабатывал литературою.

«Великосветский раскол», например, прошедший в 1876 году сперва по 20 рублей за лист в журнале и

---

* Письмо к Щебальскому от 18 января 1876 г. — Там же, с. 340,
** «Русская старина», 1895, № 12, с. 212.

выдержавший сряду в один год два отдельных издания, должен был дать свыше тысячи рублей. А ведь кроме него тогда же появились: «На краю света», «Три добрых дела», «Железная воля». Шла и статейная мелочь.

Обычно бюджет петербургской интеллигентной семьи считался здоровым, если квартира обходилась не выше одной пятой его части. Так у нас и выходило, так как квартира стоила тысячу рублей.

Но нужно ли говорить, что писатель такой силы, как Лесков, вправе был иметь широкий рабочий размах, а не оказываться осужденным сотрудничать где случится, лишь бы хоть что-нибудь под его именем появлялось в печати, чтобы хотя как-нибудь подтверждалось, что он не вконец выброшен из литературы.

Суворин однажды грубовато укорил Лескова в том, что тот когда-то сотрудничал в духовных журналах.

За живое задетый Лесков взволнованно отвечал:

«Замечания ваши о моих силах и ошибках во многом очень справедливы и метки. Одно забываете, что лучшие годы мне негде было заработать хлеба... Вы это упускаете <...> Что только со мною делали!.. В самую силу сил моих я «завивал в парикмахерской у монаха» статейки для «Православного обозрения» и получал по 30 рублей, изнывая в нуждательстве и безработице, когда силы рвались наружу <...> Надо было продолжать», — пишете вы. Спрошу: «где и у кого?» Надо было не сделаться подлецом и тунеядцем, и я об этом только и заботился, «завивая махры в парикмахерской у монаха»... Что попало — я все работал и ни у кого ничего не сволок и не зажилил. Вот и все. Не укоряйте меня в том, чт*о* я работал. Это страшная драма! Я работал, *что брали,* а не что я хотел работать. От этого воспоминания кровь кипит в жилах. Героем быть трудно, когда голод и холод терзают, а я еще был не один. Я предпочел меньшее: остаться честным человеком, и меня никто не может уличить в бесчестном поступке» *.

А «завивать» что попало, кроме «Православного обозрения», приходилось и в «Страннике» и в «Церковно-общественном вестнике». Писать, что примут, за нищенский гонорар в 20—30 рублей за лист.

---

* Письмо от 22 апреля 1888 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, с. 76.

Автор таких художественных произведений, как «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», был осужден писать «Чужеверие петербургских дам», «Педагогическое юродство», «Патриаршие повадки», «Священники, врачи и казнохранители», «О погребении дамы под алтарем» и тому подобные статейки и заметки» *.

Хотелось писать задуманного еще за границей «Еретика Форносова», но печатать его было *негде*.

Разве не «страшная драма»!

Надо прибавить, что она же привела Лескова к четырехлетнему сотрудничеству в «Гражданине» Мещерского, где, кроме статей, близких к проходившим в духовных изданиях, печатались такие вещи, как «На краю света», «Пигмей» **, «Некрещеный поп».

Безработица, дошедшая в 1874 и 1875 годах до публикации всего полудюжины статей и трех беллетристических произведений, мало смягчается и в следующие два года. Писатель изнемогает в ней.

Дело доходит до перевода с польского романа Крашевского [88] «Фаворитки короля Августа II», изданного в 1877 году в бесплатную премию к *дамскому* журналу «Новый русский базар».

Случается, что незадачи в одном сменяются счастьем в другом.

Так показалось и моему отцу, когда он встретил мою мать. Вышло иначе.

Шиллер сказал: «Безумие страсти коротко».

Тютчев пошел дальше:

Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль будет пробужденье,
А должен, наконец, проснуться человек [89].

Только мгновенье! Всегда ли? Л. Н. Толстой через два дня после женитьбы, 25 сентября 1862 года, записал в дневник: «Не она» [90]. Верный своему credo: «кто с кем сошелся — тот с тем и живи» ***, правилу, в соблюде-

---

* «Православное обозрение», 1876 и 1877; «Странник», 1877; «Церковно-общественный вестник», 1877, 1878, 1881 и 1883.

** Напечатано под первоначальным заглавием «Три добрых дела».

*** Письмо Лескова к Б. Бубнову от 29 июля 1891 г. — «Шестидесятые годы», с. 364 [91].

нии которого он видел борьбу с соблазнами, ведущими к разврату, — сам он стоически принимает жизненный: факт, исключает какие-либо поправочные искания другой, новой «ее».

«Вместить» это по силам не каждому.

Моя мать оказалась не тою женщиной, с которой мог быть счастлив мой отец.

С какой именно он мог быть счастлив — осталось неразрешенным.

Она обладала натурой во многом очень противоположной отцовской.

Крайности соприкасаются, то есть будто бы счастливо восполняют друг друга, едва ли безошибочно говорят французы.

Она выдерживала жизненные испытания, не ища праздного сочувствия, не допуская никого в свой внутренний мир, не раскрываясь в своих невзгодах и огорчениях. Но об этом уже говорено выше.

Сам мой отец, уже много позднее, говоря о ней, многозначительно читал некрасовский стих:

В беде не сробеет, спасет...[92]

С такою же убежденностью относил он к ней и строки особо чтимого им поэта[93], посвященные украинке же, М. А. Щербатовой:

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром[94].

Это в устах Лескова являлось высшим признанием.

Но совершенство не удел смертных. По всей вероятности, могла быть обойдена некоторыми достоинствами или талантами и она.

Какими же именно? Воспетой поэтами «женственностью»? Чарующей, всепримиряющей мягкостью?.. Но на ее женские плечи с молодых лет легло столько чисто мужских, никем никогда не облегченных забот, что ей впору было сберечь уменье быть ко всем внимательной, со всеми, начиная с прислуги, ровной, с детьми терпеливой. Она никогда ни за что никого из нас не наказывала, не ставила даже в угол, не говоря уже о шлепке или подзатыльнике.

Может быть, в ней не было «изюминки», придуманной Толстым [95] в «Живом трупе»? Или, сказать позамысловатее, «эманации», излучения чего-то растворяющего и перерождающего самые суровые сердца. Не создавалось «магнитное поле», богатое теми charmes, очарованиями, описанием которых охотно грешили многие романисты. На культивирование их в себе у нее, в ее рабочей доле, не было времени, а в ее деловитой натуре — стремления.

По природе его больше всего руководил долг. Умея глубоко чувствовать, она умела и управлять чувством. Может быть, скупость внешнего выражения внутреннего тепла лишала ее дара объединять, сближать, сроднять окружающих.

Почему-то все мы, долго росшие вместе, как-то слишком легко и скоро разобщились, растеряли друг друга. Она это видела, страдала, возможно в чем-то запоздало упрекала себя. А мне так почти ничего и не осталось вспоминать из детства, по-беранжеровски, у камелька в старости [96]... Кому что дано!

Отец, когда я уже подрос, не раз говорил: «У нее нет фантазии. Это ужасно — человек без фантазии! Он не представляет себе, какое впечатление производят его поступки, слова, что́ он заставляет ими переживать других! Не рисует картин и потому сам не впечатляется! Это страшно!!!»

Было ли это вполне так в отношении моей матери? Не думаю. «Фантазироватости» в ней действительно не было. Это порождало резкие разномыслия и большие «при».

Рядом невольно хочется пожалеть, что только на исходе лет своих Лесков с горечью признал, что всю жизнь излишне сурово судил «других людей вместо того, чтобы себя смотреть строже» *[97]. Но ведь и это покаяние приносилось Толстому, а не «простой чади».

О мягкости нрава и обычая Лескова и благоприятности их для сбережения семейного счастья говорить не приходится.

На чем же могла держаться семья?

На инерции прожитых лет, на свычке? Но не со всем

---

* Письмо к Л. Н. Толстому от 4 января 1893 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 128.

можно свыкнуться. На ничего не обещающих отсрочках открытого признания?

По правде сказать, первой семьи не хватило и на пять лет. Вторая кое-как превозмогла двенадцать. И все-таки...

«Амур без перьев нетопырь»[9] [8], — сказал Державин.

Перьев уже не было. Впереди, как писал когда-то Лесков, — одни иглы!

Со страхом вспоминая первую неудачу, полный надежд на второй опыт, он прочувствованно писал в 1866 году почти переводно-шекспировским размером:

«А жить вдвоем, и врознь желать, и порознь думать, и вечно тяготить друг друга, и понимать все это — еще тяжеле <...> Союз хорош, когда одна душа святит собой другую».

И немного дальше там же:

«Жить порознь, хоть и всякий день видеться, не то, что вместе жить. Надо очень много деликатности <...> чтобы жить вместе» *.

Тогда, должно быть, верилось, что в моей матери он нашел душу, способную «святить» его.

Теперь, в 1877 году, мы все, хотя пили и ели вместе, жили уже врознь.

Но кто объяснит — чем это создается? Кто разберется в сложном сплетении тончайших нитей супружеского разлада?

Каждая сторона всегда искренне верит в свою правоту, считая себя безвинной жертвой себялюбия и бессердечия другой стороны.

Некто на укоризненные вопросы друзей, как мог он развестись с добродетельной и красивой женой, спросил:

— Скажите, хороша моя обувь?

— О, превосходна!

— А можете вы указать, где она мне жмет?

Вот и угадывай: где, что и как кому жмет.

Украинская «жинка» уже уставала от обрушившихся на нее беспросветных невзгод, уставала кипеть в котле непривычных ей публицистических терзательств, зыбкости бытовых условий и сверх всего непостижимости характера своего «чоловика». Она по-прежнему его «не боялась», но теряла силы выносить создавшуюся жизнь.

---

* «Островитяне». — Собр. соч., т. XII, 1902—1903, с. 159, 177.

Долго искавшаяся государственная служба ничего не уврачевала. Напротив, она послужила источником новых обид, озлоблений.

Все чаще в письмах и беседах с пера или уст Лескова слетает скорбный стих:

В одну телегу впрячь неможно
Копя и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань...[99]

Это писалось и в Киев, распространялось, рикошетировало, оскорбляло.

У ненавистных Лескову Георгиевского, Авсеенки, Данилевского и многих других — семьи за их плечами не знают никаких тревог. Его семья не имеет экономической устойчивости. Он это сознает. Это точит ему душу и терзает всех в доме без изъятия. Личные его муки и день со дня растущая раздраженность неудачами нервируют всю семью. Она ими измотана. Растет всеобщая усталость.

Всех тяжелее она подавляет мать. Больше других ей нужно коренное переустройство, облегчение жизни. Нет, нет, а начинает тянуть назад, под синее небо и горячее солнце родного Киева, ошибочно покинутого для ни в чем не оправдавшего себя Петербурга с его испепелившей душу драмой, всем так обильно и тяжко пережитым в нем. Мысль зародилась и живет. Сейчас это полностью еще не выполнимо: слишком велика была бы ломка для учащихся в столице детей. Но явно нужен уже первый шаг, пока не станет возможным покинуть столько горя давший Север.

Весной 1877 года происходят какие-то осложнения с арендатором. Матери приходится надолго уехать в Киев для устроения своих имущественных дел. О даче некогда было подумать. Мы застреваем на все лето в городе.

Отец, вступив в непосредственное домоуправление, мало ожиданно для молодежи становится обременительно властен. Особенно страдает от его наставлений и требований «названая дочка», 16-летняя Вера, впоследствии Макшеева, взятая после экзаменов из института. Она оказывается осужденной сидеть взаперти, так как одной ей на улицу или в далекий сейчас Таврический сад идти не разрешается, а провожать ее занятой горничной

некогда. Вера плачет. Мальчики посвободнее иногда протестуют против кажущихся им напрасными стеснений. Я лавирую. А все вместе полны недовольством, продолжающим повышаться раздраженностью отца. Царит предощущение надвигающейся грозы. Особенно тяжелы обеды под неусыпным надзором строгого воспитателя. Не верится, что так может идти долго. Все начеку.

В отличие от предыдущих двух летних разобщений, на этот раз переписка между отцом и матерью ведется.

В одном из вообще желчных писем отца между прочим сообщалось:

«У меня теперь много хлопот с Дронушкой, которого... 26-го <мая. — *А. Л.*> вести на экзамен, в 3-ю военную гимназию. По многим соображениям я стою на этом плане. <Мать моя стояла на классическом образовании. — *А. Л.*> Если же он 26 здесь не выдержит (на 93 вакансии 460 просьб), то придется держать 15 авг. в 1 или 2-ю, — которые обе на Петербургской стороне. Тогда придется и жить там поближе» *.

26 мая отец ведет меня на экзамены в Третью военную гимназию, временно помещавшуюся в историческом деревянном особняке, принадлежавшем Аракчееву и составлявшем его резиденцию. Ныне на этом месте стоит здание Дома офицеров. На противоположном углу стоял, сохранившийся до сих пор в полной неизменности, дом Главного государственного казначейства. Уже тогда мало кто помнил зловещее прошлое этого здания — Департамент аракчеевских военных поселений.

Экзамены заняли дня два. Родители были допущены в большой зал, в который выходили двери классов, где производились испытания. До предела волновавшийся отец, почти в страдальческой растерянности, прислонясь к притолоке, не сводил с меня глаз. Я всеми силами старался не встречаться с ним взглядом, чтобы не поддаться его нервозности. Выдержал я все прекрасно, был принят, зачислен и отпущен до 16 августа, день, в который тогда начинались занятия во всех средних учебных заведениях.

Одна из наименее трудных, но все-таки волновавших задач была разрешена. А сколько их, друг друга сложнее, стояли еще на очереди.

---

* Письмо от 15 мая 1877 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

ГЛАВА 6
ВТОРАЯ «РАЗВЯЗКА»

Светлым майским вечером отец захотел отвезти меня, героически преодолевшего жестокий экзаменационный конкурс, к своей двоюродной сестре Марии Луциановне, рожденной Константиновой. Муж ее, полковник Павел Александрович Алексеев, был инспектором Пажеского корпуса. У них тогда гостил ее отец, смолоду елисаветградский гусар, в летах — орловский помещик и земский деятель либеральной складки.

Алексеев только что определил уже второго сына в Шестую классическую гимназию.

За чайным столом красивый старик обратился к зятю и племяннику:

— Объясните мне, пожалуйста, как это — ты, полковник и военный педагог, отдал сыновей в гражданскую школу, а ты, работник Министерства народного просвещения, — своего в военную?

— Да это, дядя, вполне естественно: каждый побоялся отдать своего в ту, которую он лучше *знает*, — отвечал Лесков.

— Ну, разве что так! — улыбнувшись, согласился Луциан Ильич.

Так был решен жизненный мой путь: воитель. Мать глубоко не сочувствовала такому предопределению, находя его суживающим дальнейшие возможности и выбор профессии по окончании среднего образования, но отец «стал» на милютинской школе [100] реального склада и не уступил.

Не могу вспомнить, по каким соображениям, в первых числах июня мы почему-то спустились из четвертого этажа в первый, в квартиру одного плана с нашей, но на ширину парадного вестибюля уже, на одно окно на улицу меньше. Самым неприятным в ней была тьма. Окна, смотревшие из четвертого этажа в небо, поверх соседних строений, здесь выходили в колодезный двор или на теневую сторону улицы. Вся она была мрачная, даже какая-то зловещая.

В таких условиях особенно тяжело переносилось лето без дачи, переезжать на которую отцу было некогда. Он был в каких-то волновавших его заботах и хлопотах, нервничал, часто куда-то уезжал.

Последнее нам, мальчикам, было на руку: создавалась полубезнадзорность, которою мы пользовались, как могли и умели.

Я лично свел обширное знакомство со многими, тоже скучавшими мальчиками нашего же большого дома, самых разнообразных общественных положении. Среди них были, как и я, уже принятые в различные учебные заведения. Вечерами мы собирались в нашем импровизированном клубе — на заднем, «черном» дворе, где никто не ходил и не мог мешать нашим сборищам. Играть там, разумеется, было негде, да нас это и не огорчало. В положении гимназистов многие из нас сверх меры умничали и разыгрывали из себя «больших».

Раз как-то, конечно когда отца не было дома, в сумерки пошло у нас с чьей-то легкой руки соревнование на страшные рассказы. Стали взапуски привирать и хвастать потрясающими событиями якобы из личной жизни. Как-никак, а начинало пробирать. В конце концов захотелось про всякий случай осмотреться. Кругом, по закутам, где, ближе к помойке, у стены соседнего дома, обычно стояли метлы, лопаты, дровяные *козлы*, — сушился дворницкий гардероб. Как бы вслушиваясь в очередную «лыгенду» [101], я повысвободил шею, незаметно оглянулся и... обомлел: в углу зыблилась блеклая фигура с мягко колеблющимися крыльями и грустью повитым ликом, обрамленным длинными прядями слегка развевавшихся светлых волос...

Ангел! как есть — ангел!

И впрямь, привидевшееся очень походило на хорошо тогда всем приглядевшееся изображение воинов рати небесной.

Видение длилось секунду-две. Под повторным, смелее брошенным взглядом даже в полутьме все обособилось, определилось: овчиной вверх с вывороченными рукавами тулуп, мочалки, бельевая дворницкая мелочь, вывешенные на просушку на почти незаметных сейчас веревках... Ничего больше!

Из опасения насмешек я подавил в себе и первую ошеломленность и просившуюся затем на уста улыбку.

Кстати вбежала на двор наша Дуняша и не без драматизма передала, что «папаша приехали и спрашивают вас».

Я струхнул, но, войдя в кабинет, сразу понял, что отец

расстроен чем-то нимало меня не касающимся, но очень значительным.

— Посмотри, — сказал он мне, протянув депешу.

Она была из Москвы от Веры Николаевны, которая телеграфировала отцу об отчаянном своем положении, могущем побудить ее на последнее решение.

Я знал, что известия от нее всегда исполняли его тре¬вогой, но на этот раз потрясение было исключительное,

Меня тронула его растерянность и явное ожидание от меня, почти ребенка, помощи, поддержки. И я от всего детского сердца его пожалел, а с тем вдруг точно стал на несколько лет старше.

— Сколько у вас денег сейчас, папа? — деловито начал я.

Отец ответил.

— Выходит, рублей тридцать ей послать можно?

— Да!

— Напишите телеграмму, что завтра вышлем. — Я умышленно применил обобщенную формулу, чтобы дать ему почувствовать, что он не одинок. — А я сейчас сбегаю напротив и пошлю телеграмму.

Отец благодарно кивнул и сел за письменный стол.

«Напротив» был окружной суд. Внутри огромного здания был огромный же двор с садиком, в котором я не раз сиживал с книгой или играл с товарищами. Здесь же помещался телеграф, работавший круглые сутки.

Через десять минут я вручил отцу квитанцию. Он курил, уже не чиркая ежеминутно спичками и не бросая едва закуренных папирос. Надо было дальше выровнять пульс. И прежде всего отвести мысли от так взволновавшей телеграммы. Тут меня осенило развлечь его, а может быть, заставить и улыбнуться, рассказав о том, как я только что принял тулуп за ангела.

Я искренно намеревался подать все именно как забавный курьез, но так не вышло. Едва я дошел до «ангела», отец мистически так зажегся, что я растерялся и уже не решился низвести «возвышающий обман»[102] к разрушающей его скромной истине. Так оно и осталось, а лично мною скоро и надолго позабылось.

Но настроение отца в те годы, особенно в то лето и в тот вечер, благоприятствовало иному отношению к моей детской повести, приняв ее как бы за откровение.

Прошло много лет. Отец умер. Мне шло под тридцать. Перелистываю я однажды толстый, увы, погибший в

двадцатых годах, каталог отцовских книг и глазам не верю: на одной из пустых страниц стоит собственноручная запись отца: «Дрон сегодня у помойки видел ангела». Даты не было. Мне она и не нужна: все сразу стало в памяти.

Надо сказать, что записные книжки [103] Лесков завел лишь в самые последние годы жизни. Но тут, видимо, он захотел сейчас же где-нибудь да записать недорассказанный мною случай.

Невдалеке же мы вернемся к нему, а пока остановимся на переписке, ведшейся между моею матерью и моим отцом.

Она могла бы привести к смягчению розни. Увы, она пошла по другому руслу.

Ни одно из писем моей матери не сохранилось.

Из отцовских дошло до нас два *. Несомненно, их было больше. Судить, чьи были суше и нетерпеливее, чьи более устремлялись к *разрыву*, — нет возможности, так как слышен только один голос. Звучит он жестко, почти ультимативно. Резкость писем отца необходимо помнить, читая даваемые ими оценки действий и характеристику расположения фигур уже почти завершившейся драмы. Они говорят о его личных служебных делах, об имущественных делах моей матери, о бытовых соображениях и о многом ином. В них нет ни слова о сбережении или воссоздании духовного единства. Они не идут дальше допустимости продолжения жилищной общности.

В увлечении черствостью тона одно из них доходит до пояснения легкости «сделать развязку».

Впервые не только сказано, но и написано незабываемое.

Читались и перечитывались эти письма после многозаботного дня, в тиши опустевавшей к вечеру большой усадьбы, в комнатах, в которых четырнадцать лет назад произошла первая встреча, где «в первый раз, Онегин, видела я вас».

Воскресали памятные образы, картины. Слышались признания, биение собственного сердца. Шло горькое сопоставление былого и ожидавшегося когда-то с настоящим, подсказывавшим безнадежные выводы, неизбежность решений.

---

* От 9 и 15 мая 1877 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

Последние колебания отпадают. Ценного уже нет. Сберегать одну видимость семейственности? Цельному человеку это не нужно.

Развязка легка? Что же делать: всему есть мера и предел!

В начале августа мать возвращается. Может быть больше торопливый, чем глубоко взвешенный, вызов отца принят.

По раскольничьему выражению из «Запечатленного ангела» — «началась и акция» [104].

Как она протекала, есть — пусть и иносказательный и во многом предвзятый, и сильно беллетризованный — набросок самого Лескова.

Уже после смерти отца, перебирая его бумаги, я с особым вниманием стал вчитываться в саморучно взятую им «на нитку» тетрадку. Оказалось, что это часть недописанного рассказа «Явление духа. Случай. (Открытое письмо к спириту)».

Четырнадцать исписанных ее страниц не являлись, к сожалению, непосредственным продолжением опубликованного и приведенного уже в главе «Первая семья» начала рассказа, обрисовывавшего первое семейное крушение автора [105].

Несохранившийся промежуточный кусок рукописи, очевидно, был отведен описанию того, как, «разбившись на одно колено», герой рассказа Игнатий, то есть Лесков, сумел затем «разбиться и на второе», вторично потерпев неудачу в поисках семейного счастья.

Куда же могло деться это описание? Всего вероятнее, оно было уничтожено самим автором, почувствовавшим, что в нем слишком прозрачно засветили достаточно хорошо известные в литературных кругах события личной его жизни. Надо было многое смягчить, затушевать слишком большую фотографичность собственных, едва не вчерашних еще, переживаний.

Это требовало времени, настроения... А пока последнее приходило, давно агонизировавший журнальчик «Кругозор», выйдя последний раз 21 февраля 1878 года, прекратил свое существование [106].

Тогда все само собою отложилось, а затем исподволь и вовсе отдумалось.

Однако, как видим, часть рукописи осталась не уничтоженной, хотя вкус к мистической таинственности явно остудился и заканчивать рассказ не стало охоты.

Автограф помещаемых ниже строк почти не имеет помарок. Это верный признак, что данные главы были написаны, по выражению самого Лескова, только «вдоль», без правки их «впоперек», без «выстругивания», «выглаживания» и т. д.[107].

Начинается он на полуфразе.

Попавший в Москву приятель (все тот же) Игнатия узнает от общего знакомого, художника, о только что перенесенном его другом крушении второй его семьи. Приятель и художник идут навестить пострадавшего. В ведущейся ими по пути беседе они доискиваются причин этой новой житейской незадачи их знакомого и истинных виновников ее.

«И тогда-то, — в первый раз, когда он разлучился с своей дикой женой, он бог весть как трудно с собою боролся; но тогда у него была еще молодость, — были, хотя, быть может, и легкомысленные и обманчивые, надежды на новое счастье. Это все-таки греет и утешает; все равно: сбудутся или не сбудутся, а Пушкин недаром сказал, что

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Надежда на возможность счастия, хотя бы и маловероятная, все как-то бодрит дух, а уж как и она скроется, то остается пожелать человеку одного — терпения, много терпения. Это одно, что остается человеку, который осужден сказать: «здравствуй, одинокая старость», но терпением-то мой приятель, как большинство нервических и добрых людей, и не обладал. А потому я шел к нему, в сопровождении общего нашего знакомого, с самыми грустными на его счет мыслями...

— В самом деле, — говорил я художнику, — не виновата ли она во всей этой истории?.. Где в этой женщине жалость к человеку и даже к собственному дитяти...

— А какое дитя! — похвалил мой сопутник.

— Хорошее?

— Дивный, — говорит, — мальчик, — и с этим начинает мне рассказывать разные подробности о привязанности ребенка к отцу и об удивительном его умении владеть собою и скрывать собственные муки от разлуки с матерью.

Словом, — так заинтересовал меня этим ребенком, что я стал скорбеть о нем почти столько же, как и о его

отце; а между тем мы подошли к дому, где приютились наши изгнанники, и позвонили у двери.

Нам отворила небольшая, средних лет женщина с остреньким приветливым лицом и, ласково приветствуя художника, сказала, что Игнатия Ивановича нет, но что он сейчас вернется.

— А Егорушка?

— Егорушка *дома*, — учит уроки.

Мы вошли. Квартирка была маленькая, из разряда тех коробочек, какие нынче строят в новых домах, но ничего себе — довольно чистенькая и приютная. Одно, что несколько не гармонировало с *нею*, — это крупная мебель, перевезенная из большой квартиры. Она была не по размерам комнат и казалась не на своем месте.

Это было повсюду так: и в кабинете, и в спальне, где стояли две кровати — отца и сына, и в столовой, и в четвертой крошечной комнатке, где был устроен кабинетик ребенка.

Мальчик был здесь. Ему уже шел одиннадцатый год, но на вид ему казалось не более *девяти*, — так он был миниатюрен, хотя, впрочем, имел вид довольно здоровый и очень умненькое и одухотворенное выражение. С лица он был похож на отца, но в чертах его было больше энергии и твердости, а большие, почти синие глаза его смотрели решительно.

В нем было очень много приятного — свежего, детского и в то же время самостоятельного. В первых его ответах, которые он дал нашему знакомому об отсутствующем отце, слышалась нежная сыновняя преданность и в то же время какая-то покровительственная заботливость о нем, как бы о существе, в каком-то отношении значительно его слабейшем, которому он, дитя, знает, как помогать и покровительствовать.

— Что же, ты не скучаешь, Егорушка? — спросил его художник.

— Я?.. *Нет*, — чего же? — отвечал мальчик и, как бы спохватясь, чтобы ему не пояснили: чего он может скучать, добавил: — Мне *некогда*, — я почти весь день в школе, а там не скучно.

— То учитесь, то бегаете.

— Да; — мало бегаем.

— А папа не скучает?

Дитя вскинуло своими большими ресницами на художника и, уронив с видимым неудовольствием: «не

знаю», — сейчас же отвернулось к своему шкафчику и стало что-то пересматривать в своих тетрадках.

Он, очевидно, боялся всяких вопросов на известную тему о своем горе и не хотел разговаривать.

Положение это было прервано приходом Игнатия, который, на мой взгляд, очень переменился: он не столько постарел, сколько по его лицу точно что-то проехало и оставило след горя. Но он, однако, не обнаруживал никакого острого страдания, — ни на что не намекал, не жаловался, и не волновался, а напротив, был даже спокоен, как человек, для которого сам рок решил выбор между надеждой и волненьем иль безнадежностью и покоем.

Он, очевидно, имел привилегию последнего выбора, столь несносного для человека, еще не умаявшегося, и столь удобного для того, у кого в погоне за счастьем уже износилось тело и устала воля.

Мы провели вечер втроем и говорили о всякой злобе дня, о делах житейских и политических — о войне, о дороговизне, литературе, о старых друзьях и о прочем. Егорушка все был в своей комнате и занимался уроками. Я видел его только за чаем и потом в девять часов, когда он пришел в кабинет отца пожелать ему покойной ночи и при этом положил ему на письменный стол тетрадку, в которой его детскою ручонкою был записан дневной расход по дому.

Около полуночи мы с художником стали прощаться, но Игнатий упросил меня остаться у него переночевать, на что я и согласился. И вот тут-то я услыхал от моего приятеля о странном событии, которое касается двух детей: того ребенка, двенадцать лет назад умершего на далекой почтовой станции нашего родного городишки, и этого, нового сына того же самого человека, несчастной судьбы которого я поневоле касаюсь в этом рассказе.

Когда художник ушел и мы, немножко поговоря, стали укладываться спать, Игнатий подсел ко мне на диван, на котором мне была приготовлена постель, и, вздохнув, говорит:

— Ну вот, брат: и опять я один.

— Скучно? — отвечал я вопросом.

— Да, очень тяжело; впрочем... мы расстались без всякой ссоры...

— Тихо?

— Да; очень тихо. Это редко случается, но я даже не знаю, лучше ли это или хуже, чем расстаться поссорясь. По-моему, это еще тяжелее: это не больше как жертва для людских глаз, а для себя все та же, та же горечь и та же тоска.

— Но ты не совсем одинок, — с тобою дитя, и, кажется, прекрасное дитя, которое может тебя утешить, тем более, что бедный мальчик, кажется, понимает...

— О, да; он все понимает, — живо перебил мой приятель, — и я откровенно тебе скажу: я боялся этого его. понимания... то есть боялся, что он будет все это переносить тяжелее, чем я. А более всего мне было страшно, что он на *нее* озлобится... Это было бы для меня ужасное горе, что в молодую душу закралось бы такое чувство против матери; а между тем я ничего не мог с этим сделать, именно вот по милости этого его понимания... Он удвоил свою ласковость к ней и между множеством сочиненных для нее ласкательных имен стал звать ее: «моя Консуелля», — имя, которое бог его знает когда и от кого он мог услышать и которое показалось ему почему-то необыкновенно нежным. А между тем все это дела не изменяло: она принимала ласки ребенка с видимым удовольствием, но продолжала стоять на своем, что мы должны разойтись, и искала себе квартиру... С тех пор он стал очень задумчив и даже как будто озабочен... и все что-то мурлыкал, напевая, как напевают дети, входя в темную комнату, где они чувствуют страх, которого не хотят обнаружить. А по вечерам, когда мы оба укладывались в постели, он сам расспрашивал: сколько нам будет стоить отдельная жизнь, не должен ли я комунибудь, и вдруг, помолчавши немного, говорил приблизительно весь наш бюджет, приблизительно очень точно высчитанный им в уме. Все это тебе показывает, как он был занят тем, что с нами происходило, и как сильно работал его умишко, но никто не мог видеть, как горело в нем сердце. А оно горело таким пламенем, которое, как сейчас покажу, было в состоянии осветить предметы по тот бок сени смертной.

Настал день развязки... Помню этот день — холодный, сиверский, но ясный и суровый. Мы встали часом ранее обыкновенного и всею семьею пили вместе наш последний общий утренний чай. Я был в каком-то одеревене-

лом состоянии: в душе моей было холодно, — сердце ныло; но я был крепок... А что будет потом — впереди? — об этом я не хотел, да и не мог думать. Счастье мое было разбито, а затем мне было все равно, что даст бог. Пришли от Сухаревой рабочие, нанятые переносить мебели... Они должны были разнести по разным домам вещи, которые, мне казалось, *состоялись* вместе, как сживаются люди, и теперь должны были разлучиться: «это туда — это сюда». Такие указания делала *она,* я не мог их делать и даже был очень рад, когда рабочие уносили ту или другую из моих вещей в ее квартиру: пусть она идет туда, думалось мне, и казалось, что в каждой этакой, мною нажитой и сбереженной, безделушке там останется какая-то частичка моей души. Наконец это кончилось, — нас разнесли, квартира опустела. Я должен был побывать на часок по одному безотлагательному делу, а потом вернуться, чтобы пообедать в последний раз у нее на развалье. Надел шляпу и только что стал выходить в широко растворенные настежь двери, как вспомнил: а где же мой мальчик? Скучно по нем стало и захотелось с ним проститься. Вздумалось, что мне тяжело, да и ему, пожалуй, тоже не легко. Как-то на него этот разгардьяж * действует?

Вернулся, прошел по всем главным комнатам нашего общего опустелого жилища, — нет тут моего хлопца. Я на ее квартиру, — и там его не видали. На дворе и в садике — нигде его нет, а за суматохою некого и посылать его разыскивать. А мне вдруг что-то сделалось и загадочно и тревожно: где он бегает? Не отправился ли он на улицу, не изобидели ли его уличные мальчишки, — чего доброго — не попал бы под лошадь! Совсем я встревожился и еще пуще заметался, — заглянул и на двор, и на улицу, и наконец, уже значительно встревоженный, забежал опять в пустую квартиру и, выглянув в одно из открытых надворных окон, услыхал голосок своего мальчишки. Он что-то пел; а надо вам сказать, что у него очень милый голосок и то, что называют «музыкальное ухо». Все, что слышал спетое, — он необыкновенно легко перенимал и потом мурлычет, а иногда и громко поет, и очень изрядно. А перед этим незадолго я его отдал в школу, где учеников, между прочим, учили петь, и он еще более в этом искусстве навострился, — стало быть, пение его меня уди-

* Розгардіяш — беспорядок, сумятица, неурядица (*укр.*).

вить не могло. Но вот что было удивительно: *как* он пел? Это было то пение-крик, которым себя осмеливают робкие люди, проходя жуткою порою по беспокойному месту. Человек поет только для того, чтобы совсем не потерять остатка смелости. Это своего рода певучий крик отчаяния, и им-то и выкрикивал мой мальчик что-то скорое, недурно скомпонованное и бойкое. А помещался он на подоконнике в пустой комнате, где жила прислуга, и свесясь головою за окно.

Я не хотел его окликнуть, чтобы он не испугался, а взошел наверх и, остановясь у двери, слушаю: что такое он так странно, с азартом, даже с злобою выпевает? И слышу, он отчеканивает:

Ах ты, зверь ты, зверина!
Ты скажи твое имя!
Ты не смерть ли моя?
Ты не съешь ли меня?

И потом, переменив темп и голос, добавляет:

Смерть твоя, — съем тебя!

А сам все смотрит в сторону, держа перед собою свою ручонку.

Я побоялся его окликнуть, потому что он, мне казалось, слишком уже свесившись, и подкрался потихоньку и сразу его обнял. Он быстро встрепенулся у меня в руках и, оборотясь назад, уронил картинку, которую держал. И что же это была за картинка? — Это был вынутый из альбома кабинетный портрет его матери...

Я побледнел: я понял все, — все его ужасное душевное состояние, которое довело его до обращения к лицу, изображенному на этом портрете, с грубым вопросом:

Ты не смерть ли моя?
Ты не съешь ли меня?

И он не был непроницателен: он прочел в моих гла-ах, в моем изменившемся лице, что я его понял, и быстрым движением обеих рук с невероятной для него силою обнял мою шею и зарыдал...

Мы разошлись: он прошептал мне на ухо обещание не петь более этой песни и терпеливо ждать моего возвращения, — после чего мы пообедаем здесь и уедем к себе на свою изгнанническую квартиру.

Возвратясь через час домой, я опять не нашел мальчика в комнате *ее* новой квартиры. Его долго искали к столу и нашли в каморке у швейцара — отставного солдата, с которым он всегда водил детскую дружбу. На мой вопрос: что он делал? — он сказал, что читал, и в самом деле показал захваченную им при укладке книжку Вагнера «Сказки кота Мурлыки». Мне ясно было только одно, что томящие его чувства не облегчаются и что он ищет уединения...

Это так и было: не успели мы отобедать, как мальчик исчез снова. Уже начинало вечереть, и нам пора было ехать, — а его опять не могли отыскать. Такая штука с его стороны уже представлялась весьма предосудительною грубостию по отношению к матери, и я был этим очень недоволен. Особенно, когда разыскивавшая его горничная принесла весть, что он на черном дворе и не хочет возвращаться оттуда.

Черный двор этот, далекий и глухой, как колодезь, с окружающими его со всех сторон высокими каменными стенами, был постоянным сборным местом всех детей: оборвыши подвалов и мальчики достаточных семей все сбегалися сюда, чтобы тут, без надзора старших, на всей свободе порыскать по темным углам и, следуя теперешнему военному настроению, поиграть в «казаки-разбойники». Очень просто было, что мой мальчик, не раз участвовавший в этих играх, захотел распроститься с товарищами и напоследях еще раз с ними порезвиться. Худого в этом, разумеется, не было, но мне, однако, было досадно, что он это удовольствие поставил выше желания провести с отцом и с матерью последние минуты. Досадно, что легкомысленная жажда игр оказалась в нем сильнее скорби, которой он не мог не чувствовать. Я этого от него не надеялся. Зная его восприимчивую, чувствительную натуру, я был уверен, что он страдает не менее меня, и... вдруг я в этом ошибся... Но ошибся ли?

Я хотел сделать ему самое резкое замечание, но, увидав его, остановился. При первом взгляде на него я заметил, что он был бледнее обыкновенного и очень растерян, — глазки его блуждали, в движениях было заметив беспокойство, а в волосах его головы торчали стебельки сухой соломы и колоски. Такие же стебельки и колосья пристали и к его платью. Он был как маленький Лир, только что переживший грозу и впечатления непонятного видения, сильно отразившегося в его душе и истолкован-

ного ею в особенном, свойственном ее настроению смысле.

Я посмотрел на него и значительно смягчил тон своих замечаний, ограничa их простым вопросом:

— Где был ты?

— Там, — отвечал он глухо и потерянно, кидая в уголок на стул свою шляпу.

— Неужто тебе хотелось играть?

Он в ответ только покачал головою и тут же сразу стал прощаться с матерью.

Оба они не оказали никакой тревоги, и мне было больно, больно...

Мы уехали.

Это был уже вечер; солнце совсем садилось; вечер был тихий, на душе у меня была тоска невыносимая.

На повороте из улицы, в которой мы все вместе так долго прожили, ребенок оглянулся, снял шляпу и сказал:

— Прощай!

И с этим он схватил мою руку и крепко, крепко ко мне прижался, как бы хотел этим сказать, что теперь мы только двое.

Вещи наши были уже на дворе у нашей одинокой квартиры, — началась вноска, и мы оба приняли в ней самое живое участие, — оба старались этой работою заглушить снедавшую нас тревожную тоску.

Наконец все было кое-как установлено; люди отпущены, служанка нам поставила чай, и мы двое сели к столу.

Это был уже совсем вечер, требовавший огневого освещения, которое и было устроено кое-как. Служанка зажгла наскоро в разных комнатах два свечные огарка в разнокалиберных подсвечниках да свою кухонную лампу с небольшим остатком керосина и пошла за своею кумою — звать ее, чтобы она пришла помочь нам завтра убраться. Пошла на минуту, но, как водится, застряла: мы отпили чай, а ее не было, а между тем лампа наша вдруг стала гаснуть. Я встал из-за стола, чтобы взять из другой комнаты свечу, но, к удивлению моему и неудовольствию, увидел, что обе свечи, освещавшие комнаты, еще ранее догорели и погасли.

Были ли у нас в запасе другие свечи и где их искать — я решительно не знал. А на дворе было очень темно: ночь хоть была и лунная, но небо было заволочено облаками и едва серело.

Сын мой дремал. Я хотел его тихо перенести на руках в кресла на приготовленную для него постель, но он проснулся, удивился, что мы в темноте, и пошел за мною за руку.

Мальчик шел за мною тихо и молча — как бы во сне или дремоте, но вдруг, только что мы прошли ощупью среднюю комнату, заваленную разными вещами нашего багажа, и вступили в спальню, как вдруг в угле на полу что-то сверкнуло, раздался слабый треск, и комната на минуту осветилась слабым голубоватым блеском, который направился на нас как бы рефлексом и сейчас же погас».

Здесь, на середине оборотной стороны 15-го листа, рукопись остановилась, оставив шесть с половиной больших пронумерованных страниц чистыми.

Необходимы хотя бы небольшие пояснения к приведенному творчески свободному описанию и освещению некоторых частностей.

«Егорушка» — это так или иначе я, одиннадцатилетний Дрон. В рассказе я наделяюсь: очаровательными ресницами, которых у меня, кажется, не было; то мудрыми, то несколько странными и труднодопустимыми с моей стороны поступками; непостижимо твердым покровительствованием неожиданно слабому отцу.

Ответственность за гибель семьи определяется здесь, конечно, односторонне. Объективность явно принесена в жертву личному. Чья мера вины и причинности оказалась бы большей на весах нелицеприятного суда — останется, как в подавляющем большинстве супружеских счетов, навсегда неразрешенным.

Молчаливое в апогее драмы появление Егорушки «с черного двора» — под сильным впечатлением, вынесенным от «непонятного видения», — прямая предпосылка к долженствовавшему последовать «явлению духа».

Постепенно в собственной душе многое воскрешается, слагается в почти физически ощутимое представление, в яркие образы, картины. Мысленно воедино сопрягаются и недавнее летнее «видение» второго сына, и свершившаяся утрата так долго державшейся кое-как последней семьи, и давняя смерть на глухой кромской почтовой станции первого сына.

Родится желание и мнится возможным дать рассказ только что пережитого с завершением его целительным

явлением духа забытого, но не забывшего своего отца, ребенка.

Повесть начата. Пока она рисует события, схожие с действительностью, развертывание ее идет незатруднительно. Но вот, с исчерпанием вещественного и обстановочного, на очереди дать сверхчувственное, «потустороннее», непостижимое и не бывшее. Овладевает раздумье, смущенье...

Живущий в авторе натуралист и скептик строго предостерегает: оставь! «осветить предмет по тот бок сени смертной» — выше чьих-либо сил.

ГЛАВА 7
ВДВОЕМ

После общего обеда у моей матери на новой ее квартире отец и я, не выходя из рамок повседневности, простились с нею с тем, что в следующее же воскресенье обедаем у нее.

Самый обед тоже прошел чинно, в беседе о мелочах и в обходе совершающегося: по старинному завету — в комнате повесившегося не говорят о веревке.

Не было весело, но точно легче, чем пока все это назревало без веры в возможность разрешения.

Ранним вечером воскресного дня мы ехали вдвоем на довольно далекую новую, «холостую» нашу квартиру, в доме купца Семенова, угол Коломенской и Кузнечного переулка. Вещи Дуняша за два или три оборота уже все перевезла и ждала нас там.

Это было почти напротив старой квартиры «художного мужа Никиты» [108], изографа, сыгравшего видную роль в создании рассказа «Запечатленный ангел».

Место было малоприглядно, дом наполовину стоял еще в лесах, квартира оказалась во дворе, с одним ходом, совсем плохонькая. Везде пахло известкой и клеем. Я растерялся и готов был расплакаться.

Хотя исподволь я и был подготовлен ко всему и успел почти свыкнуться с тем, что останусь при отце, но еще не мог, да и до сих пор не могу разобраться, как это так вышло. Особенно это начало удивлять меня, когда, уже после смерти и отца и матери, довелось прочесть многие письма и узнать, как опасался отец неизбежно грозившей ему при разрыве разлуки со мной. Затрагивать этот вопрос я никогда не решался. Он был всем нам троим слиш-

ком больным, незаживляющеюся раной, касаться которой всегда было страшно. Ключ к нему потерян, взят могилой,

Уступила ли мать настояниям отца, испугавшегося на пятом десятке лет нового, полного одиночества, или истратив все, когда-то большое, чувство к отцу, оскудела им и к ребенку? У нее оставалось еще четверо уже подрастающих детей, от человека, не давшего ей счастья, но и не проведшего через испытания последних двенадцати лет. Борьба, очевидно, шла сыздали. Но она раскрылась мне, когда уже и сам я, матримониально, «вкушая, вкусих мало меду» [109].

12 мая 1903 года уже единственный тогда мой дядя, Алексей Семенович, писал мне:

«Дорогой мой единственный племянник Андрей Николаевич!

Жаль мне тебя, да словами на письме боюсь даже что-либо говорить. Ведь это дело тонкое и больное, с которым нужно обращаться осторожно и вдумчиво, а не зря. Особенно мне тяжело вспомнить твое исковерканное детство, издерганную юность с фальшивыми отношениями к родителям, с полным незнанием, как себя держать относительно одного, чтобы не понравилось это другому. Это тяжело, очень тяжело, оставляет это последствия на всю жизнь, и не дай бог, чтобы ты повторил ошибки твоего отца, человека безусловно умного, но крайне невыдержанного, сплошь и рядом поддававшегося впечатлениям минуты, за что после сам же горько сетовал на себя. Тебе также бог дал разум и тебе, конечно, виднее, как и что делать, но послушай старика дядю — берегись дискредитировать перед детьми имя матери; они не должны быть до поры до времени судьями между вами, и вы оба должны быть для них одинаково дорогими» *.

Пять лет спустя, за два года до своей смерти, тот же «старик дядя» неожиданно написал мне о том, о чем я не раз слышал, но ни разу ни у кого не искал подтверждений. Оказывалось, что в Киеве очень рано распознали болезненность отношений, создавшихся между моим отцом и матерью. Неспроста бабушка моя Марья Петровна еще в 1873 году писала моему отцу: «...что он еще, крошка, милое дитя мое, так, кажется, увезла <бы> его от вас и лелеяла, лелеяла его» ** [110].

---

* Архив А. Н. Лескова.
** Там же.

Выяснилось, что все родство, начиная с первой молодой жены Алексея Семеновича, Елены Францевны, уже в 1874 году пыталось извлечь меня из петербургского горнила и принять в лоно младшей ветви рода Лесковых.

«Теперь не к чему входить в разбор тех мотивов, — писал мне Алексей Семенович 25 января 1908 года, — которые руководили твоим отцом и побудили его решительно отклонить это предложение женщины <жены Алексея Семеновича. — *А. Л.*>, которою, конечно, ничто другое, кроме чисто родственных и гуманных побуждений, руководить не могло, конечно, при осуществлении этого Николаю Семеновичу пришлось бы официально отказаться от всяких прав на тебя, а тебе пришлось бы фигурировать не в качестве представителя старшей ветви семьи Лесковых, щедро награжденной непомерным самолюбием и гордостью, да и не лишенной известной доли эгоизма, а сделаться членом второй ветви, на долю которой пала вся черная работа и вся забота о устройстве материального быта не только своей матери, сестер и братьев, но даже и просто в хлопотах и известных расходах по устройству свадьбы Веры...» *.

В 1877 году, мальчиком, я ничего этого, разумеется, не читал и ни в чем разобраться не мог, безропотно принимая происходящее во всей его тягости как неизбежное. Ни о какой борьбе за меня или мероприятиях со мной я, конечно, не подозревал.

Вечер новоселья сколько-нибудь чрезвычайных событий в моей памяти не оставил. Помню самовар, чай, ветчину и принесенное Дуняшей из мелочной лавки для себя брусничное варенье, с которым она любила попить чайку «всласть». Помню, что оно почему-то очень понравилось нам самим и мы оказали ему усердное внимание. Вот и все. Никакой мистики, ничего «спиритического», не говоря уже о «сени смертной».

Однако на другой день произошло нечто, принятое не за простую случайность. «Слетавшая» зачем-то на Захарьевскую, Дуняша привезла полученное ею от нашего бывшего швейцара почтовое извещение о денежном письме из Москвы на тридцать или сорок рублей. Это был запоздавший гонорар за какую-то статью из «Православного обозрения». Сумма небольшая, но пришлась ко времени. Отец признал в ее получении милость провидения

---

* Архив А. Н. Лескова.

и вспоминал этот случай с трогательным волнением. Была ли уж действительно такая затрудненность в деньгах эти дни — неизвестно, но в беседах он уверял, что была, а однажды подтвердил это и в письме ко мне, упомянув тут же и лошадь (масть ее бывала и белой и серой) ломового извозчика, перевозившего вещи с Захарьевской на Коломенскую: «а у нас денег было на белую лошадь да фунт ветчины с бутылкой пива» *.

Так помнился ему день второй «развязки» через восемнадцать лет, и на этот раз о нем говорится просто, без тени мистики.

Начали жить по-холостому. Вскоре подошло 16 августа, и началось ежедневное хождение в гимназию, переехавшую уже в новое, специально построенное для нее здание — угол Большой Итальянской и Малой Садовой (Ракова и Садовая) улиц.

Квартира оказалась столь сырой, что пришлось, едва прожив месяц, бежать. Как можно было ее нанять — непонятно. Новая была не многим лучше: на Невском, дом № 61 (ныне 63), кв. 17, против Надеждинской и, кстати помянуть, против Засецкой. На улицу был двухэтажный дом, в котором помещался какой-то «подземельный» банк [111], а во дворе стоял главный, четырехэтажный корпус. Квартира была «фонарь»: слева холодная лестница, справа ворота на «черный» двор, две комнаты на первый двор, одна проходная и темная, с окном в подворотню, одна комната и кухня на второй двор. Внизу нежилой подвал. Кругом ветер, холод, нигде ни луча солнца, да в сущности и света. Но все же получше первой и ближе к гимназии.

Много иначе вышло дело у матери. Она заняла квартиру № 28 в том же доме, где мы прожили два года, во дворе, в четвертом этаже, пять комнат, почти все комнаты на юг. Солнца и воздуха в жилых комнатах вволю. Отец еще в мае писал ей об этой квартире в Киев, называя переезд в нее переводом «из гвардии в гарнизон», то есть с парадной лестницы со швейцаром на черную. Но «гарнизон» был и сух, и светел, и во всем удобен.

В воскресенье 21 августа, мы, как было условлено, отправились обедать к матери. Я остался вечеровать, а отец уехал, но часам к девяти вернулся, а часов в одиннадцать мы поехали «домой». Так оно с воскресеньями и повелось, и не на один год.

---

* Письмо от 1 ноября 1894 г. — Архив А. Н. Лескова.

Появились опять у матери Милюков, Нарден, Матавкины и другие знакомые материнского дружества, у нас с отцом не бывавшие. Стали приходить студенты, товарищи Николая. В годы жизни Веры Николаевны в Петербурге — обедала и музицировала тут в свободные от службы воскресенья и она. Пели, играли, шутили. Чопорные знакомства сами собой сошли на нет. Дом опростился, омолодел. Меньше стали нервничать и старшие.

Я начал задумываться и даже как бы обижаться за отца: значит, всегда все могло быть иначе, все было в нем? Но ведь сейчас и он сам со мной другой: ласковый, печальный, но мягкий, не властный, даже какой-то точно беспомощный. Навсегда это или...? Но пока надо ему помочь. Надо было найти новую линию поведения и даже отношения к нему, не скрою, невольно за счет приглушения некоторых чувств к матери. Но с ней я уже только виделся, а с ним жил.

Я без колебаний взял на себя ведение расходов по дому, прием сдачи с выданных Дуняше денег, придумывание обеденного меню, расчеты с прачкой и т. и. Отца это трогало, меня исполняло сознанием высоты своего значения в доме.

Учился я хорошо. Во всяком случае за первую четверть оказался десятым учеником из сорока двух в классе. Принимая во внимание, что у многих богатых гимназистов дома были гувернеры и репетиторы, — это был серьезный успех.

Шли мы раз вечером с отцом и двоюродным братом матери из поминаемой в «Мелочах архиерейской жизни» и нескольких статьях семьи Сотничевских, мимо огромного дома некоего Ротта. Невесть зачем мне вздумалось сказать, что это дом отца нашего первого ученика.

— Вот, — откликнулся отец, — есть же счастливцы, у которых и домов много и сын идет первым, а не десятым учеником.

Я обиженно прикусил губу. Ротт! Но разве у него не пять учителей на дому? В гимназию он не ходит пешком, а приезжает с гувернером на великолепной пролетке. Все ему сделано, подано, уроки разжеваны и в рот положены, только проглотить. А я все сам, один, и у отца ничего просить не могу, так как наши «реальные» предметы не те, какие проходились в старых губернских гимназиях. Отец едва ли заметил горечь моей обиды.

В общем, впрочем, жизнь пошла не плохо. Кабинетика,

подаренного Егорушке в «Явлении духа», мне в нашей темнушке не выкроилось, и столик мой стал в спальне, где я с пальмовою свечой, которая была дешевле стеариновой, готовил уроки, а потом, если еще оставалось время до одиннадцати и отец был д о м а, — шел в кабинет, и тут наступало уже чистое умиление.

Отец брал второй том Шекспира некрасовско-гербелевского издания 1866 года и, как бы сближая читаемое с только что лично им пережитым, на низких нотах скандировал:

«Внимай! внимай! Я твоего отца бессмертный дух... Я начал бы рассказ, который душу твою легчайшим раздавил бы словом, охолодил бы молодую кровь... и каждый волос вьющихся кудрей поставил бы на голове отдельно... Внимай! внимай! внимай!.. Но твой отец убит бесчеловечно... Я утренний почуял ветерок... Прощай, прощай! и помни обо мне» [112].

По-военному остриженный, я начинал чувствовать, что каждый волос моего невьющегося «ежика» становится отдельно.

Программа была неисчерпаема.

То могучий барс едва не одолевал полного прелести Мцыри, то мелькали шиллеровские образы Лионеля, рыцаря Бодрикура из Вокулера, самой Жанны из деревни Домреми [113], то Порция из Шейлока [114], и т. д. «до бесконечности» [115]. Едва ли не в самом торжественном стиле распевно читался толстовский Дамаскин: [116]

Любим калифом Иоанн,
Ему, что день, почет и ласка...

Иногда, напротив, в тихой задумчивости декламировался тот же А. К. Толстой в стихотворении, полном мистицизма:

Все это уж было когда-то.
Но только не помню, когда... [117]

Одно другого интереснее! Но особенно нравилось мне, когда отец брал старенькую книжку Никитина и медленно читал, точно расстилал передо мною, если не еще больше перед самим собою, одинаково пленявшую нас обоих картину жестокой зимы, лунной ночи и мерно идущего обоза:

Далеко, далеко раскинулось поле,
Покрытое снегом, что белым ковром,
И звезды зажглися, и месяц, что лебедь,
Плывет одиноко над сонным селом.
Бог знает откуда, с каким-то товаром
Обоз по дороге пробитой идет...

По-моему, он читал это лучше всего.

О трехлетней разъездной его службе у «дяди Шкотта» я тогда не имел еще никакого представления. Но чувствовал, что ничто из всего читанного им ему так не близко, как эта зима, скрип полозьев, великолепный в своей крепости говор и степенный обычай извозчиков — все, все, вплоть до хрюкающего в кухне больного поросенка и завершительных слов крутого постоялого дворника:

Уж мне не учиться, кого как принять.

Все это было моему отцу так знакомо, что он видел и слышал всех действующих лиц своими глазами и ушами и не мог тут сбиться ни в одной интонации.

Познавая его литературное наследие, я не раз вспоминал чтение им никитинского «Ночлега извозчиков» и не сомневаюсь, что он любил это произведение за правду художественной картины и, вспомнив ее, повел сказ о своем «ангеле» с постоялого двора, под Васильев день.

Подростком я смотрел на кончавшего читать эту поэму отца, веря, что и ему «не учиться, кого как принять!».

Я целовал отца и, завороженный, шел спать, а он, ободренный и согретый сыновней лаской, принимался за работу. Шла пленительная идиллия...

На одном из уроков французского языка я засмотрелся на одну из развешанных по стенам гравюр на исторические сюжеты.

— Лесков! — услышал я как сквозь сон резкий оклик огромного, жирного француза Гоппе, сильно смахивавшего на южного *немца*, — повторите, что я сказал!

Вскочив, я сконфуженно молчал.

— Очень хорошо! Садитесь, я запишу вам в журнал невнимание в классе.

Извинения не помогли.

В субботу предстояло получить свой «дневник», в котором выставлялись полученные за неделю отметки и помещались «особые замечания». Воспитатель, вручая его мне, покачал головой.

— Как же это так — хороший воспитанник и вдруг — невнимателен в классе?

Я, чуть не расплакавшись, искренно объяснил дело и просил не вносить замечания в дневник.

— Этого я не могу. Ну, до четверти еще загладите и получите опять одиннадцать, а то и все двенадцать за поведение. Только не зазевывайтесь в другой раз.

Домой я шел смущенным. В субботу вечером дневника отцу на подпись не подал, как и в воскресенье, благо он, забыв, не спросил его. На душе скребло, но я утешал себя надеждой, что в понедельник утром второпях попрошу подписать и все как-нибудь сойдет. Я ошибся.

С полным доверием обмакнув перо, чтобы подписать всегда благонравную во всем тетрадку, отец вдруг резко вскинул голову и, пронзив меня гневным взглядом, жестко бросил:

— Это что? Невнимание, бездельничать в классе! За этим тебя отдавали в гимназию? Дуняша! Дуняша! Сбегайте к дворникам и принесите из метлы пучок прутьев. Только скорее...

Попытка вымолить прощение и горячая защита простодушной женщины только повысили раздраженность.

Я был наказан грубо и необузданно. Обида залила душу.

Как? Первая пустая запись придирчивого, всеми нелюбимого учителя может вызвать такое ожесточение! подвергать унижению перед дворниками, Дуняшей, не щадя моего самолюбия!

Хорош домоблюститель и наперсник, которого в любую минуту можно отстегать, как щенка, и выдать всем на позор и посмеяние. И эта дружба, сердечная близость, в которую я так слепо, благодарно и любовно начинал верить!

Все рушилось. Опять Пикруки... Я их старался вычеркнуть из памяти, и вот они воскрешены. Было короткое озарение, начинало что-то новое расти и цвести, и все оборвано. Разве любовь вяжется с озлоблением, внушающим ужас и трепет? Остается только снова замкнуться.

Сдерживая рыдания, стараясь не встретить кого-нибудь на дворе, выбежал я на Невский и, чтобы не опоздать в гимназию и не схватить новой записи, нанял на последний собственный двугривенный извозчика.

21 декабря 1888 года Лесков, ища выход из одной неловкости, писал Суворину:

«На сих днях мне все приходил на память один текст из писания, который очень прост и обыкновенно никем и никогда не цитируется, а меж тем его содержание *ужасно!* Он говорит: «Человек! когда ты стоишь — смотри,

чтобы ты не упал» *. Ничего более! Меня это исполняло ужасного страха: «думаешь, что ты стоишь, — а глядь — уже и упал» **.

Кончался абзац словами: «...и «упал», очень, больно и противно...»

Мне начинало казаться, что в наших отношениях с отцом я уже «стою». И... «упал», при этом — «очень больно и противно»...

И... один ли?

ГЛАВА 8
ПЕРЕЛОМ

«Чредою всем дается радость» [118] — верил Пушкин.

Ночь сменяется днем, плохое хорошим... Колесо жизни безостановочно катится к ее пределу.

Начинал улавливаться некоторый сдвиг в делах и литературном положении и у Лескова.

Усилиями неусыпно заботливого С. Е. Кушелева достигается расположение лично грешившего пером министра государственных имуществ П. А. Валуева. Лесков зачисляется чиновником особых поручений при нем с 1 ноября 1877 года с окладом в одну тысячу рублей в год и, видимо, без угрозы большого обременения трудновыполнимыми поручениями.

Вместе с жалованьем по Ученому комитету служебная оплаченность удваивалась, достигая тех двух тысяч, ради которых он будто был готов ехать в Варшаву, но не мог их добиться даже с такою ломкой всех бытовых условий.

Одновременно стал ощутительно возрастать не только литературный, но и драматургический прибыток. Изруганный и раскритикованный когда-то «Расточитель» [119] проходит в 1877 году на провинциальных театрах не менее восемнадцати раз; а в следующем, 1878 году снова ставится на сцене Малого театра в Москве. Какое нравственное удовлетворение автору!

Материальная сторона, при незначительности семьи и скромности личных требований, выпрямляется, приобретает устойчивость.

---

* Неточная цитата из первого послания апостола Павла к коринфянам, X, 12.

** Пушкинский дом.

Приходят предложения сотрудничать в полуприобретенном уже Сувориным «Новом времени», в робко либеральных «Новостях» Нотовича, в мелкообывательской, но бойкой и денежной «Петербургской газете» майора Худекова.

Горизонт ширится, но все это не то, чего жаждет дух, куда влекут веления сердца. Тем не менее проблески света становятся заметнее. Тяжкому безвременью, мертвому затенению, обреченности — близится конец.

25 сентября 1878 года редактор «Церковно-общественного вестника», А. И. Поповицкий [120], в письме к Лескову скорбит, что «проворонил живые и высокоталантливые» «Мелочи архиерейской жизни» *.

Но Лесков уже освобождается от горькой необходимости продолжать «завивать махры» в монашеских парикмахерских [121]. С 1877 года он уже простился со «Странником» и с «Православным обозрением» (позже переименованным Лесковым в «Православное воображение»), и даже в общественно-духовный вестник полудуховного издателя после 1878 года только изредка даются кое-какие пустячки. Боевым вещам, как «Мелочи», уже обеспечен широкий газетно-читательский резонанс. Этим нельзя не пользоваться.

19 декабря 1879 года С. Н. Шубинский приходит приглашать работать во вновь учреждаемом журнале «Исторический вестник», а десять месяцев спустя Лесков уже пишет этому прижимистому редактору:

«Но на работу у меня действительно есть спрос по условиям для меня более выгодным, только это не в «Петербургской газете», а в «Русской речи» и в «Руси» **.

Через два года дружеские укоры Аксакова уже вынуждают исповедоваться:

«Покорно Вас благодарю за ласковое слово, уважаемый Иван Сергеевич. За мною действительно немножко ухаживают, но не то мне нужно и дорого. Имя мое шляется везде, как гулевая девка, и я ее не могу унять. Я ничего не пишу в «Новостях» и не знаю Гриппенберга, но когда мне *негде* было п е ч а т а т ь, — я там кое-что напечатал, и с тех пор меня числят по их департаменту. Не отказать же Татьяне Петровне Пассек, которая в

---

* ЦГЛА.

** Письмо от 16 декабря 1880 г. — *Фаресов,* с. 154—155. — Автограф в Гос. Публичной б-ке им. Салтыкова-Щедрина.

72 года без хлеба; не откажешь своим киевлянам, трудно отказать и Лейкину, который всегда был ласково услужлив, а теперь ему это будто на что-то нужное. Но вы очень проницательны и отгадали мое состояние: я сам напугался этой раскиданпости и невозможности сосредоточиться. Еще год такой работы, и это меня просто убило бы. Вот почему я и схватился за большой труд как за якорь спасения и очень рад, что так сделал. Фавор, который выпал мне после долголетнего преследования, меня не увлек и не обманул, а напротив, я понял его вредную сторону и избегаю ее. Суворин действительно запасся от меня маленьким пустяком, озаглавленным «Иллюстрация к статье Аксакова об упадке духа». Гатцуку я написал давно обещанный рассказец рядового святочного содержания. Конечно, все это не «Левша с блохой», которые очень и очень замечены. Постараюсь вам написать и пришлю, что напишется, если напишется хорошо...» *.

Шестнадцать лет тяготевшее заклятие меркнет. Отдельные выпады непримирившихся зложелателей не страшны.

Истосковавшийся в многолетней немоте «с платком во рту», Лесков неудержимо спешит нагнать потерянное время. Он не в силах победить соблазн как можно чаще и шире появляться в прессе и журналах со статьями, как по серьезным вопросам, так подчас и по малозначительным предметам и поводам. Его положительно обуревает жажда говорить после слишком долгого, слишком измучившего его молчания.

Раздраженный И. Аксаков без стеснения пишет ему несколько лет спустя:

«В последнее время вы совсем опохабили вашу музу и обратили ее в простую кухарку, стряпающую лишь то, «что в приспешню требуется», по вашему выражению, да приспешню еще «базарную»... С вашим дарованием вы могли бы себе «буар и манже» добывать более достойным образом... Тем приятнее узнать от вас самих, что в вас не заснули позывы в другую, лучшую сторону, что потягивает вас подчас, говоря стихами Шиллера, «in die schönen Regionen» **[122].

---

* Письмо к Аксакову от 9 декабря 1881 г. — Пушкинский дом.

** В лучшие области (*нем.*). Письмо от 15 ноября 1884 г. — «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 789.

В темах у этих людей не могло быть стойкого единодушия, а с годами росло прямое разномыслие. Что же касается до сотрудничества Лескова в разных изданиях, то, во-первых, выбор их у него до последнего десятка лет все же оставался не так уж богат, а во-вторых, — надо было так истосковаться по возможности печататься, как истосковался он, чтобы понять увлечение, с которым он отдался этой возможности, когда она наконец пришла.

Строго осуждал его за разбрасываемость Суворин, осторожно упрекал за «малую прессу» мягкий П. В. Быков[123], и, что всего, может быть, неожиданнее, надув губы, обиженно доказывал отцу несовместимость с его талантом и именем сотрудничество в «Петербургской сплетнице», а позже и в «Осколках», я, подросток, которого положительно оскорбляло появление его подписи рядом с Лейкиным, «Амикусом» (Монтеверде), «Русланом» (И. А. Баталиным) и тому подобными литературными величинами.

— Это совершеннейший вздор! — отвечал мне отец. — Мне нужно расширение рамок работы. Имя мое от места публикации моих статей и произведений умаляться не может, а диапазон его звучания этим ширится, приучая к нему читателя.

Возможно, что без лет затенения и отвержения угол зрения его был бы и иным.

Рамки «Исторического вестника» становятся тесны. «Всего вам доброго желаю и рад, что вы меня теперь оставили с приставаниями о «маленьких статьях», которые отрывают от большого и портят дело» *, — пишет он через несколько лет Шубинскому.

Хочется «совершать», вступать в борьбу «с дьяволами», с «попятным» движением государственной и общественной мысли, с покровительствующей всему этому «инфамой»[124] с «господствующей» церковью.

Время, неустанная работа, пересмотр многого в самом себе, могучий талант — делали свое дело. Избирается путь, на котором создадутся самые противокрепостнические, открыто «потрясовательные» произведения — «Тупейный художник», «Зверь», «Человек на часах», «Чертовы куклы», «Полуношники», «Загон», «Зимний день», «Заячий ремиз» и так далее.

---

* Письмо от 31 марта 1883 г. — *Фаресов,* с. 161.

Пусть и медленно, но к концу семидесятых годов литературное положение начинало улучшаться.

Как же стояли и разрешались ли вопросы личной жизни? Как все пережилось и во что вылилось?

В рассказе «Явление духа» высказывается мысль, что второе одиночество смягчалось, чуть не сглаживалось присутствием сына, еще даже не подростка, будто бы являвшегося панацеей в выпавших переживаниях.

Первопричина тому, что Лесков потом оставался одинок уже всю свою жизнь, лежала, думается, в его поглощенности любовью к литературе. Отсюда шло твердое осуждение всего, в какой-либо мере стесняющего свободу таланта, свободу его служения литературе.

Тот стой один перед грозою... [125]

Две неудачи укрепили веру в неопровержимость тезиса.

Прежде, больше и выше всего надо беречь талант, ограждать его от всего, могущего стеснять рабочий его простор и независимость, от всего, мешающего творчеству.

При создании таких условий надо неотступно учитывать свойства собственного нрава, личные вкусы, привычки, потребности.

По одному случаю — в первые же годы второго и последнего «целибата» [126] — Лесковым было дано субъективно-образное определение:

«Я гостям сердечно рад, но равноправных хозяев в одной берлоге не люблю, а я уже настолько стар, что мне применяться к чьим бы то ни было характерностям трудно и бесполезно» *.

Признание вырвалось, что называется, из самого нутра, вырвалось после двух жестоких семейных катастроф, на исходе пятого десятка лет. Оно в сущности противоречило всю жизнь высказывавшейся убежденности во врожденной мягкости своей натуры и особой личной предрасположенности к семейной жизни.

Последняя, в наиболее излюбленном представлении, олицетворялась вечерним сбором всех членов семьи для мирной беседы или чтения *за круглым семейным столом*

---

* Письмо к моей матери от 14 сентября 1879 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

и тихой семейной лампой, льющей ровный свет из-под абажура, сделанного женской рукой.

Так говорилось и неоднократно рисовалось и в письмах и в литературных произведениях.

Но в жизни... довольно было кому-нибудь уронить чайную ложечку, капнуть вареньем на скатерть, задеть сапогом ножку стола, как разражались гром и молния. Разгневанный глава семьи, взяв свой стакан чая, оскорбленно покидал стол, лампу, всех собравшихся за ними и удалялся в свой давно манивший его уединенный кабинет.

За столом все оживало...

«Свежий мартовский ветер гулко шумел деревьями большого Таврического сада в Петербурге и быстро гнал по погожему небу ярко-красные облака. На дворе было около восьми часов вечера; сумерки с каждою минутой надвигались все гуще и гуще, и в небольшой гостиной опрятного домика, выходившего окнами к одной из оранжерей опустелого Таврического дворца, ярко засветилась белая фарфоровая лампа, разливавшая тихий и ровный свет по уютному покою» *.

Так начиналась повесть, писавшаяся в 1870 году, когда сам автор жил у Таврического сада, а его семейной лампе выпадало уже временами освещать не одну тихость.

Проходит десять лет. Семьи уже нет. Полное колкостей письмо к моей матери завершается упреком в неуменье сидеть у объединяющей семью лампы: «Добро, как сила, развивается от упражнений души в добродействе людям, а к этому надо иметь вкус, а вкус (душевная эстетика) развивается примером, «растет в атмосфере доброты». Но ведь этого же ничего не было, — откуда же было ему явиться <в ее старших сыновьях. — *А. Л.*> в той мере, в какой вам теперь хочется? Но, повторяю, они ничего себе ребята, и расти они в Киеве, — конечно, они были бы без всякого сравнения хуже. Теперь же они только грубы и порою малоприличны, но первое, может быть, есть и от природы, а второе, вероятно, мало-помалу будет улучшаться, так как у них много самолюбия и боязни быть смешными. Горевать по поводу их еще нечего: нет ни одного негодяя, а уж «кто волком здесь ро-

---

* «Смех и горе». — Собр. соч., т. XV, 1902—1903, с. 5.

дился — тому лисицей не бывать». Лишь бы эта грубость не повредила им в жизни, а теперь пока это пустяки: кто же у вас в роду мягок, не исключая ни сестры вашей, ни вас самих. «Яблоки от яблони недалеко катятся». Может быть, теперь о том порой и жалеете, а переделать себя не можете, и так того гляди и старость нахлопнет, а стола с лампою и с простою дружною речью как не было, так и не будет. Ну вот и подите же: а у других все это есть, хотя и нет философской складки» *.

Пять лет спустя, уклоняясь от приглашения на обед, Лесков противопоставляет более любезную ему форму свидания: «Если у вас когда-нибудь пьют чай у семейной лампы, — позовите меня, и я приеду» **.

Подступом к одному, может быть уже намечавшемуся, рассказу служит непоявление в февральской книжке 1885 года журнала «Русская мысль», по цензурному запрету, статьи Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?», которую Лесков жаждал прочитать «вместе с добрыми людьми за их круглым столом и у их тихой, домашней лампы» ***.

В 1890 году набрасывается не то полупролог, не то первая, по лесковской манере, вступительная часть остро психологического опуса «По поводу Крейцеровой сонаты», по другому наименованию — «Дама с похорон Достоевского»[127].

Написанное пока только «вдоль», возможно, представляло собой подход к самым интересным раскрытиям со стороны мужа только что трагически погибшей женщины. В беседе со своею взволнованною посетительницею, верный себе, Лесков, между прочим, говорит: «Вот <...> стакан чаю, самовар и домашняя лампа — это прекрасные вещи, около которых мы группируемся» ****.

И наконец, в заключение, даже в позднейшем из законченных и опубликованных при жизни писателя рассказе — «Дама и Фефела» — некий поляк-писарь, «Апрель» Иванович, полюбивший скромную героиню-прачку,

* Письмо от 14 сентября 1870 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Письмо к М. И. Михельсону от 8 апреля 1884 г. — Пушкинский дом.

*** «Интересные мужчины». — Собр. соч., т. XX, 1902—1903, с. 3.

**** Там же, с. 174.

«завел» у нее «вечерний кружок у чайного стола и всем здесь читал *Телемака»* <курсив автора. — *А. Л.*> и другие наставительные книги *.

В итоге создается впечатление, даже ощущение, так называемой «навязчивой идеи» или психологической иллюзии.

С переходом нашим в 1877 году на холостое житье в кабинете появился перед диваном круглый стол, а на нем высокая фарфоровая лампа с толстого стекла молочно-желтоватым круглым колпаком, лившим приятный, ровный, «солнечный» свет. Абажуров, сделанных женской рукой, не было.

В зиму 1881—1882 годов приехали в столицу несколько киевских свояков. Условились посидеть вечерок и у нас. В числе их была родная сестра Клотильды Даниловны Лесковой — Адель Даниловна Кринская, владелица богатых Тимок, где я прогостил не одно лето, и будущий ее муж и сосед по имению Дмитрий Михайлович Пашковский. Всё, как на подбор, милые мягкие люди и занимательные собеседники, а Адель Даниловна — прямой самородок, талантливейшая актриса, великолепная рассказчица и неподражаемый имитатор.

Усадив дам на диване, а мужчин в креслах, хозяин, в лучах своей тихой лампы, разложил на своем круглом столе художественные кипсеки [128] — и стал давать мастерские, искренно заинтересовавшие гостей объяснения.

Охваченный радостью видеть у себя всегда такую гостеприимную и ласковую «тетю Аделю», я был неотступно около нее.

Заметив, что она протянула руку к хрустальному кувшину с водой, я предложил ей ананасного лимонада или содовой знаменитого петербургского «Заведения минеральных вод» в Александровском парке (ныне парк Ленина).

— Спасибо, Дронушка, с удовольствием, — тепло ответила мне моя недавняя, но искренно любимая тетка.

Вихрем слетав в отдаленную кухню и обратно, я принялся откупоривать бутылки и второпях слегка плеснул шипучим лимонадом на темную скатерть круглого стола.

— Куда ты льешь! — раздался вдруг заставивший вздрогнуть всех резкий окрик отца. — Не видишь? Ступай к себе! Ни в чем не знаешь меры!..

---

* Собр. соч., т. XXI, с. 31.

В глазах дам мелькнул испуг. Мужчины растерялись. Первою быстро оправилась всегда находчивая, светски выдрессированная и смелая Адель Даниловна:

— Нет, дорогой Николай Семенович, как хотите, а Дронушка сегодня мой, и я его никому не уступлю, а в воскресенье он непременно должен обедать у нас в «Европейской», хотя бы и один, если вы наотрез лишаете нас удовольствия видеть вас раньше вечера.

Опасность неловкой паузы была устранена, однако гости не засиделись. Дальше они заглянули раз-другой днем, не посягая больше на длительные свидания.

Случай не ахти как велик, а характерен.

Домашняя лампа и круглый стол погоды не делали. Кроме них, необходимо было что-то, чего всю жизнь не было.

Не знаю, насколько тяжело свыкался отец со вторично постигшим его в 1877 году одиночеством и смягчалось ли оно сколько-нибудь присутствием сына, одиннадцатилетнего мальчика.

Жизнь сама слагалась в новые формы. Малоожиданно они своею тихостию, упрощенностью и отсутствием чьей-либо, кроме собственной, воли оказывались во многом рабочеудобнее. Это, должно быть, скоро же начало примирять и даже подкупать. С этим начало приходить успокоение и почти удовлетворенность совершившимся.

Печали вечной в мире нет,
И нет тоски неизлечимой —

внушительно и четко читал, бывало, Лесков в поэме «Иоанн Дамаскин». А натура, вероятно, подсказывала: без равноправных в берлоге покойнее...

Оскорбленный жестоким наказанием, расцвет моего чувства к отцу оборвался. Запись учителя Гоппе о моем невнимании в классе и все ею вызванное исполняли гневом почти детскую еще душу. Однако постепенно чувство обиды начало заживляться. И много ли нужно отроческому сердцу?

К лету отец подыскал, в первый раз, хотя и очень скромную, но сухую и светлую квартирку в до сих пор сохраняющем претензию на мавританизм фасада доме миллионера и византийского князя Мурузи, по Литейной улице, № 26, кв. 44. Жилье было небольшое — три ком-
-аты, четвертый этаж, окна на просторный двор,

лестница приличная, со швейцаром. Не широко, но удовлетворительно.

Лето 1878 года мы жили в Сестрорецке, в доме какого-то оружейного мастера, из молодых. Добираться туда было сложно: финляндским поездом до Белоострова, а оттуда узкоколейной кукушкой.

Мать опять жила в Лесном. Молодежь наша навещала нас. Гостил у нас один мой товарищ по классу. Бывал и юный Шляпкин, сын белоостровского крестьянина, проживший в Белоострове всю свою жизнь.

20 июня 1878 года он шутливо занес в свой дневник: «Гостил в Сестрорецке у Н. С. Лескова. Он игумен, братья Бубновы послушники» [129].

Раз как-то к вечеру, именно при нем, отец громко читал тургеневские рассказы «Собака» и «Стук, стук, стук», а когда, после гречневого кулеша со свиным салом и чая, все поразлеглись в двух смежных комнатах, начались довольно долгие перемолвки по поводу прослушанного, пока один за другим не заснули.

Жилось этим летом в общем не плохо.

Приключился тут и анекдот. В Сестрорецке же живет на даче, на Канонерской улице, М. Г. Савина, выразившая через кого-то непременное желание познакомиться с известным писателем. Лескову не до новых знакомств, особенно с требующими большого к себе внимания именитыми актрисами. У него завал срочной работы. Он пишет оскорбившие многих правоверных «Мелочи архиерейской жизни». Это поглощает его целиком.

На смену братьям приехала раз и Вера. Ожидали кого-то из города к обеду. Я с нею встречал гостя в Белоострове. На обратном пути, когда «кукушка», скрипя старыми рессорами, приближалась к Сестрорецку, приехавший спросил, много ли у Николая Семеновича здесь знакомых. На это Вера звонко и неудержимо посыпала:

— Ах, могла бы быть масса! Но он ужасно занят, избегает всяких знакомств! Ужасно хотела познакомиться с ним Савина, она тут же живет, но он отклонил и это знакомство. Говорят, она ужасно обиделась!

Я сидел как на иголках. Мои толчки ей под локоть не производили никакого впечатления. Замялся и наш гость. Сидевшая наискосок у окна нарядная дама, не узнать которую могла только институтка, быстро оглянула говорливую девушку и, отвернувшись к окну, стала собирать свои пакеты.

— Ах ты, ужасный Фрейшиц, и тут отличилась! — смеялся, слушая нас, мой *отец*. — Это тебе, Верочка, урок — в толпе имен не называть, иначе когда-нибудь попадешься, говоря на вашем институтском языке, еще «ужаснее». Запомни на всю жизнь.

Знакомство так и не состоялось.

За все лето Лесков вел знакомство только с одним помощником начальника местного оружейного завода полковником Н. Е. Болониным, школьным товарищем П. А. Алексеева, соблазнившего моего отца тишиной и дешевизной Сестрорецка.

Николай Егорович, большой специалист, водил нас по всем цехам, объяснял работу всех станков и водяных двигателей. Завод выпускал вводившуюся тогда во всей армии 4-линейную «берданку». Отвоевали мы с Турцией в 1877—1878 годах, имея ее только в гвардии и отдельных стрелковых батальонах.

Вечерком Болонин заходил за отцом, и мы втроем шли в Дубки, к морю. Лесков не раз и у него и вообще у кого только было можно доискивался корней ходившего присловья о том, как англичане стальную блоху сделали, а туляки ее подковали да им назад отослали. Все улыбались, подтверждая, что что-то слышали, но что все это, мол, пустое.

Так «Левша» и остался ничем не обязан лету, проведенному в оружейном поселке, на даче у оружейника. Не было там и никакого «старого тульского выходца» *.

Но беседы с Болониным не пропали даром. Николай Егорович на наших вечерних прогулках рассказывал об оружейном искусстве, о варварском обращении с огнестрельным оружием при «Павловичах», когда пушки отчищались с неумолимой тщательностью и так ярко блестели на солнце, что надо было жмуриться, глядя на них **, а ружья чистились толченым кирпичом или песком и снаружи и снутри. Все винтики в них держались слегка отпущенными, чтобы при выполнении ружейных приемов, особенно при взятии «на караул» при встрече начальствующих лиц, ружья «стонали» от четкости артикула.

---

* Материалы, освещающие вопрос создания «Левши», указаны в комментариях к однотомнику «Избранные произведения Н. С. Лескова», Гослитиздат, 1945, и след.[130].

** См.: «Печерские антики», гл. 13.

Все это пригодилось самому «Левше», в патриотической горячности до последней минуты жаждавшему довести до царя, чтобы ружей кирпичом не драли, а берегли бы их смазанными.

Зима 1878—1879 годов отмечена сближением с редстокистками Пейкерами, дошедшим до приглашения ими меня провести лето у них в имении.

«Об Андрее, — пишет Лесков Марии Григорьевне ближе к весне, — большие размышления: этот олицетворенный энтузиаст до той степени «возлюбил духовное паче плотского», что перестал говорить о киевских родных и скорбит: «...как он целое лето не будет видеть Александру Ивановну. <Дочь Марии Григорьевны Пейкер. — *А. Л.*> А когда я пошутил: желает ли он ее одну целое лето видеть? — он сказал, что «ничего другого не желал бы». Так я и не знаю: не воспользоваться ли мне для него Вашим давним, милым приглашением? Такие порывы страстной преданности руковождению избранного лица, по-моему — нечто провиденциальное. Это более чем инстинкт, указывающий безотчетно: что нужно и полезно. Одного боюсь, что он Вам надокучит, хотя он мальчик добронравный и охотно станет подчиняться королеве своего маленького сердчишка. В деревне же ему надо дать только как можно больше простора и свободы, да доброго мальчика из простых. Это отличное общество для городского ребенка» *.

Наступил 1879 год, оказавшийся особенно богатым внутриполитическими событиями, выступлениями, актами протеста, гнева и мести снизу и встречными репрессиями сверху. В одном Петербурге — 13 марта происходит покушение Л. Р. Мирского на шефа жандармов А. Р. Дрентельна; 2 апреля на Дворцовой площади А. К. Соловьев стреляет в прогуливавшегося пешком Александра II; 20 апреля на валу Петропавловской крепости, обращенном к Александровскому парку, вешают за вооруженное сопротивление жандармам при аресте прапорщика 86-го пехотного Вильманстрандского полка В. Д. Дубровина; 28 мая на Васильевском острове повешен Соловьев [131].

К Лескову приходят волнующиеся студенты, товарищи Николая Бубнова и совсем почти незнакомые. Двери кабинета таинственно запираются, слышны возбужденные голоса, споры, убеждения. Раздаются частые звонки. Одни уходят, другие приходят. Волнуется даже наша спо-

* Письмо без даты. — ЦГЛА.

койная по натуре Анна Францевна Борцевичева, давно сменившая почему-то «с остреньким приветливым лицом» любившую брусничное варенье Дуняшу.

Расстроенный отец отпускает меня с вразумляющим наказом от всего детского сердца помолиться перед сном о даровании мужества и крепости духа тому, кому предстоит сейчас истома предсмертной ночи и ужас казни завтра. Он пишет Пейкер: «Простите, что вчера я не пришел. Невозможно было: много горя, много опасности у людей, и надо быть с теми, кого можно еще успокоить и удержать, — сберечь кормильца «старой бабке» *.

После экзаменов я с Пейкер и нашей Анной Францевной еду до Рыбинска по железной дороге, оттуда по Шексне до Череповца и затем сорок четыре версты на лошадях по направлению к городу Кириллову, в село Ивановское.

Мать моя в Киеве с дочерью Верой.

Отец заканчивает срочные дела и берется редакционно подтянуть и выпустить впрок летние номера пейкеровского журнальчика «Русский рабочий», от апрельского до июльского. Затем 15 июня он с Николаем и Михаилом Бубновыми отплывает в Ригу на местный «штранд» **. Поселяются они в самом тихом из всех здешних пунктов, с самым громким названием — Карлсбад; в скромнейшем пансионе отставного прусского унтер-офицера Регезеля. Владелец исполняется восторгом, узнав из рижской газетки, что у него живет «известный» писатель. В Дубельне уже был возвещен известный писатель и действительный статский советник И. А. Гончаров. Теперь есть такой же писатель и в Карлсбаде, в его, Регезеля, пансионе «Акцен-Гауз».

Как Лесков готовился уехать, как плыл и устроился по приезде на штранд — лучше всех расскажет он сам в немногих строках своего первого обширного письма с места к М. Г. Пейкер.

«Я виноват, что не ответил путем на ваше последнее письмо, но дело было слишком второпях и наскоре. «Мудрые заботы» мои о вашем издании были уже все закончены, — хорошо или худо — это вам судить. Конечно, я хотел сделать хорошо или как можно лучше, но трудно, и даже не трудно, а вовсе невозможно делать что-нибудь живое в этом мертвенном, чисто буддисти-

* Письмо не датировано. — ЦГЛА.

** Побережье (*нем.*).

ческом настроении притупления ума, воли и всех высших способностей, которыми «дитя света» может проявлять «свет, во тьме светящий». Недаром и английская литература *этого* направления так же немощна и безжизненна, как и наша. Из всех материалов вашего портфеля я выбрал только глазного доктора, который, впрочем, немножко сплетник и страдает водяною. Я его немножечко усмирил, немножечко подживил да значительно поспустил у него водицы, и он пошел. Вторая половина, где я более злился и стругал его со всех боков, — вышла совсем недурна и похожа на живую повесть о живых людях, а не о марионетках с религиозным заводом. Беда с этим искусственным зданием: тут машинка, там пружинка, и, все одно за другое цепляется и путается само, и пряху путает, и в конце концов — рвется <...> Теперь о себе: я поселился, согласно совету Эйхвальда, на берегу моря, в $1^1/_2$ версте от Дубельна, в местечке Карлсбад. Место тихое, обитаемое «литератами» — людьми, мне не известными. Все дачи в сосновом лесу, грунт песчаный, море мелкое и мало соленое; живу в Акцен-Гаузе. Это длинный, как фабрика, дощатый сарай с окнами. Посередине идет коридор, а по обеим сторонам кельи, из которых из одной в другую все слышно, так что надо чихать и сморкаться с осторожностью, которой немецкие «литераты», к сожалению, напрасно не соблюдают. Живу я «на харчах у немца», и харчи эти очень плохи. Прислуга не говорит ни на каком человеческом языке, а только издает какой-то утиный шелест вроде «туля сэя сипу липу како пули мостэ пай». Лихо их ведает: что это значит. Скуки здесь вдоволь, а грубо-циничного немецкого разврата еще более. Немецкие Дианы охотятся по лесам, поражая грубый пол своими стрелами, а людей бестолковых бьют зонтиками, что уже и со мною случилось <...>

Работы у меня много, и не знаю: как ее приделать. Желаю все это кончить здесь, до 20—25 июля, а к 1-му августа быть у вас и обнять моего сына, о котором очень, очень сконфуженно скучаю. Пожалуйста, ласкайте его, и пусть он больше бегает, больше играет с простыми ребятками, купается и трясется на лошади. Целую вашу руку. Душевно преданный

Н. Лесков.

Да пишите же мне побольше! Что вы заленились» *.

---

* Письмо от 21 июня 1879 г. — ЦГЛА.

В Дубельне дописываются «Архиерейские встречи», подправляется неточно датированный отправленный Суворину «Этюд из культа мертвых», под заглавием «Честное слово» *, сберегший несколько любопытных петербургских бытовых литературных сведений шестидесятых годов и спиритуалистически повествующий о как бы «видении» Лескову Артура Бенни в момент его гибели в Италии в 1867 году. Здесь же подготовляются «Однодум» и «Шерамур», в намечавшейся серии «типических разновидностей» — «Дети Каина», сложная записка для Ученого комитета — «О преподавании закона божия в народных школах» ** — размером свыше девяти печатных листов, и т. д.

В одно из посещений Лесковым с его великовозрастными воспитанниками Дубельна он, после беседы с сидевшим «на музыке» Гончаровым и с его разрешения, повел их представиться знаменитому писателю. Михаил Бубнов так вспоминал этот своеобразный момент его отроческих дней:

«Наша группа шла между полукругом поставленными скамейками, причем мы продвигались по тому ряду их, в котором сидел Гончаров, а Николай Семенович двигался по предыдущему ряду, чтобы не мешать нашему уходу в тесном коридоре скамеек. Подходя, мы увидели очень пожилого человека, среднего роста, довольно тучной комплекции, одетого в темную крылатку, с черным «котелком» на голове. По своей наружности он был похож на культурного коммерсанта или на отставного, немного опустившегося крупного провинциального чиновника. Лицо у него было одутловатое, серое, с оттенком желтизны и почти совершенно безжизненное, неподвижное. Седые закругленные бакенбарды обрамляли его на щеках, а усы и подбородок были выбриты. Он сидел без движения, как будто и не замечал нашего приближения к нему».

Гончаров, нерешительно улыбаясь, протягивал каждому представляемому руку, не произносил ни слова, предоставляя этим каждому, не задерживаясь, продвигаться дальше. Тем весь «чин» и исчерпался.

---

* «Новое время», 1879, № 1214, 17 июля.

** «Выписка из журнала Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения. 4 декабря (1879 г., № 387), О преподавании закона божия в народных школах». СПб., тип. А. С. Суворина, 1880.

Это воспоминание нимало не расходится с тем, что говорил сам Лесков, если не подтверждает его своим полным созвучием с ним:

«Гончаров весь тут: сидим мы с ним за столом в гостинице, и вдруг он начинает прятаться за меня и шепчет: «Загородите меня, загородите меня собою... вон идет сюда господин, мой знакомый. Терпеть не могу, *если меня беспокоят,* когда я ем».

Вот он, Гончаров, — «не беспокойте меня».

Если бы ему принесли подписать протест против гонения на евреев, он замахал бы руками с горькой просьбой: «Ах, оставьте меня! Не беспокойте меня! Я не гоню евреев. Я их не трогаю, и меня не трогайте. Я ничего не писал против них — чего же вам от меня надо? Не беспокойте меня, пожалуйста!» *

Отношение Лескова к Гончарову было всегда безупречно почтительным[132]. При памятных мне случайных встречах с ним на Литейной, около дома Мурузи, отец мой держался в затягивавшихся беседах подчеркнуто внимательно к каждому произносимому им слову, к каждому его жесту и движению. Если я, стоя сбоку в холодных сапогах, без запретных для кадет калош, начинал переминаться с ноги на ногу, отец искоса бросал на меня взгляд, требовавший терпения и выдержки.

Есть и документальный след взаимоотношений, существовавших между этими различными по возрасту и положению писателями.

Старший, даря оттиск из «Вестника Европы», пишет:

«Николаю Семеновичу Лескову в знак искреннего уважения к его истинно-русскому, симпатичному таланту от автора, февраль 1888».

Младший благодарно принимает и бережно хранит дар, а через четыре года, уже по смерти дарителя, сам уже «маститый», берет перо, чтобы благоговейно начертать:

«Драгоценно по собственноручной надписи Ивана Александровича Гончарова, с которою этот оттиск мне от него прислан. Н. Лесков, С.П.Б. 1892 г.» **[133].

1877 год принес, пусть и нерадостное, но давно ставшее неизбежным, разрешение безысходных семейных неладов.

---

* Две записи. — Архив Л. Н. Лескова.

** Архив А. Н. Лескова.

1878-й дал хотя еще и небольшие, но все же обнадеживающие проблески изменения писательского жребия.

Полтора десятка лет спустя Лесков поучал:

«Каждому человеку суждено погибнуть так или иначе: одному от денег, другому от безденежья, третьему от жены, четвертому от любовницы и т. д.

Забот слишком много у людей. Каждый думает обеспечить себе старость, а ее-то у него, может быть, и не будет; обеспечить детей, а из них, может быть, выйдут негодяи, которых и обеспечивать или поддерживать не стоит.

Надо жить для самого себя, то есть для идей, которые есть в тебе и которые ты считаешь лучшими. В этом смысле в себе самом домогаться счастья, а не в жене, не в детях, не в богатстве и во всем прочем» *.

Так говорила старость. Когда до нее было далеко — личное счастье виделось в ином.

ГЛАВА 9
ДОЧЬ

В один из первых дней августа 1879 года я с утра сидел в Череповце на пристани, вглядываясь — не задымит ли ниже на Шексне пароход, на котором плыл мой отец.

Обоюдно желанная встреча прошла тепло и радостно.

И могло ли быть иначе! Из рижского Карлсбада он писал М. Г. Пейкер:

«Родная Мария Григорьевна! Сегодня получил ваше письмо от 18-го июня, прервавшее мою скуку и тяжкое томление от неизвестности о сыне, которое длилось целых десять дней (с 14 июня). Разлука с ним меня просто пересиливает до того, что я уже стараюсь о нем не думать. Не только верю, но знаю, что вы и дочь ваша чувствуете, что в руках ваших *все* мое земное счастие; знаю и то, что мальчику моему весело и полезно быть с добрыми, христианскими и благовоспитанными женщинами, которых я и он любим, несмотря на упорное притворство

* Записи. — Архив А. Н. Лескова.

одной из них в злосердечии, но... все-таки сердце ноет в тоскует по хлопцу» *.

И мне в те добрые годы не было человека дороже отца.

Чувство с обеих сторон крепло, обещая неустанный его рост в глубину.

Сели в просторную старинную пейкеровскую коляску и на хорошо отдохнувших за ночь и охотно побежавших домой лошадях покатили по довольно исправному шоссе большака.

Отец, уже побывавший по пути с рижского взморья у себя на дому, рассказывал последние петербургские новости, о своем комитете, о Николае и Михаиле Бубновых, Протеке, о том, как сам он хорошо и отдохнул, и поработал, и поздоровел от любимого им морского купанья, и т. д. И вдруг, ударив себя по лбу, воскликнул:

— Постой, постой, столько наговорил, а ведь о самой главной новости, да еще такой, о какой ты и не думаешь, и позабыл: на-ша Ве-ра вы-хо-дит замуж! Каково?

Я смотрел на него восхищенными и действительно полными удивления глазами.

— За офицера, улана. Будет полковою дамой! — продолжал он.

— Ах, как хорошо! А наверно?

— Чего вернее: письмо от дяди Алексея. Сам знаешь — мужик серьезный. А устроила все это Клотильда Даниловна, помнишь — приезжала с ним? Вот это тебе новость так новость!

Я был в восторге, от всего сердца радуясь и за нее и всего, может быть, больше за отца.

— Пишут — молод, поручик, шестьсот десятин земли в Каневском уезде Киевской губернии пополам с братом. Имение, говорят, прекрасное. Близко к Ржищеву, к матушке Геннадии и к Каневу, к Крохиным...

— Вот хорошо! — радовался я.

— Да, только фамилия немножко смешная — Нога!

— Нога? Разве бывают такие фамилии?

— У хохлов и не такие случаются. И не у них одних. Припомни Яичницу, Дырку, Землянику...

Родилась Вера Николаевна в Киеве 8 марта 1856 года.

Доля ей выпала горькая: взбалмошная мать; отец еще

* Письмо от 24 июня 1879 г. — ЦГЛА.

с «райских», пензенских лет дома редкий гость, а вскоре его уже и вовсе нет. На шестом году она переживает тяжелые семейные события, разыгравшиеся в Москве у Сальяс в Сокольниках.

В 1862 году в газетной корреспонденции отец еще довольно тепло вспоминает о девочке с «умненьким личиком» *. Два года спустя в «Некуда» доктор Розанов, то есть сам автор романа, уже находит, что дочь его — «изнеженная, слабая, — вдобавок с некоторыми весьма нехорошими наклонностями». Оценка идет на снижение, чувство — на убыль.

В свое время подошел Киевский институт — лучшие годы ее начинающейся жизни. Но вот он, видимо с грехом пополам, окончен. Опять — невменяемая, шалая мать, вечные ссоры с ней, сцены, драмы, ожесточение. Подруги выходят замуж или живут в радушно встретивших их семьях. У нее тоже есть и мать и отец, но семьи у нее нет. Вчерашняя институтка с ужасом видит впереди полное одиночество, жуткую, беспросветную бесприютность. Девушка теряет голову, мечется. То схватывается за занятие музыкой, фортепиано, то пытается поступить на какие-нибудь курсы, собираясь, по колкому выражению ее отца, «работать над Боклем» [134]. В Москве Николай Рубинштейн признает в ней способности, но она вдруг бросает занятия у него. Кидается в Петербург, оттуда назад в Киев и снова в Москву.

Здесь, в особо трудные минуты, ей приходят на выручку мягкосердые, зло вышученные ее отцом в «Некуда», «углекислые феи» [135].

Лесков мистически был склонен видеть во многом, хотя бы и с натяжкой, вмешательство «Nemesis». Трогательная участливость и помощь, явленные его дочери памфлетно осмеянными им Новосильцевыми, оказавшимися добрыми феями для Веры Николаевны, не могли не заставить отца почувствовать всю остроту и тонкость как бы провиденциального отмщевания ему добром за незаслуженную обиду.

Много позже его охватывает потребность признать в письме к Суворину, что он «краснеет» за своих «углекислых фей» **.

---

* «Из одного дорожного дневника». — «Северная пчела», 1862, № 346, 22 декабря. Без подписи.

** Письмо от 3 февраля 1881 г. — Пушкинский дом.

Отвечая в 1875 году старшему брату на его запрос об отношениях, существующих между Верой Николаевной и ее матерью, Михаил Семенович с грустью завершал свое донесение:

«...Жаль мне бедную Веру — вся жизнь ее прошла под влиянием безумной бабы, которая колыхала ее то в ту, то в другую сторону совершенно бесцельно, и она привыкла к этим волнам, и трудно-трудно будет ей удержаться в должном направлении. Главнее всего с нею, мне кажется, надо быть ровным и *выдержанным*. — С какими средствами она добралась до Питера и есть ли у нее что-нибудь теплое? Говорят, что все, что было, все заложено» *.

Строгий и безучастный дед С. П. Алферьев, в письме к болезненно впечатлительному старшему племяннику своему досадительно отмечает во внучке своей «мало устойчивости и характера» **, а бабка ее, М. П. Лескова, надбавляет в письме к Николаю Семеновичу, что в цепи «неудач Веры» больше всего «виноват собственно ее характер» ***.

Все это мучительно однозвучно и тягостно читать отцу. Попытка Марьи Петровны пристроить внучку на службу в Киевский институт не удается. Нигде ничего!

И вот, по двадцать второму году девушка все еще не у дел и не в устройстве...

И снова идет беспросветное мыканье, почти приживанье, то у дядей в Киеве, то у теток в Ржищеве или Каневе.

Предпринимаются опыты самостоятельной трудовой жизни в роли домашней учительницы музыки. В Петербурге, у богачей Конради, ее игру слушает и одобряет мягкость ее «туше» П. И. Чайковский.

И опять метанье из стороны в сторону, из города в город, с места на место.

Отцу жестоко наскучает это видеть и слышать. Особенно обостряется его раздражение в периоды пребывания ее непосредственно в Петербурге.

Как-то вечерком, в воскресенье, у моей матери, в уголке гостиной Вера Николаевна вступает в ожесточен-

---

* Письмо от 1 ноября 1875 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Письмо от 3 февраля 1877 г. — *Там же*.

*** Письмо от 24 мая 1877 г. — *Там же*.

ный диспут со студентами, товарищами Николая Бубнова.

— Нет, нет, нет! Что там ни говорите, а Смайльс прав, говоря, что надо всегда и во всем быть искренним, что надо всегда быть правдивым и вообще надо жжить хорошшо! — сыплет она со всем азартом молодости.

И вдруг замечает, что оппоненты ее, перестав улыбаться и возражать, с тревогой посматривают куда-то мимо нее. На пороге стоит отец, издали уловивший характерную ее дикцию и подошедший из других комнат. Он вынимает из жилетного кармана черепаховое пенсне на широкой черной тесьме, методически, двумя руками, вздевает его и, вперя уничтожающий взгляд в говорящую, застывает в грозном выжидании.

Захваченная врасплох, хорошо знающая этот взгляд, девушка растерянно осекается на полуслове. Короткая пауза. Вслед за ней слышатся чеканно произносимые слова:

— Что ты там чекочешь? Когда и что такое ты вычитала у Смайльса? [136] Что ты лотощишь?

Создается тяжелая неловкость.

— Вера Нпколаевна, боюсь забыть потом передать вам выкройку, которую вы просили, — раздается разряжающий напряженность положения голос моей матери. — Пойдемте ко мне, я вам ее отдам сейчас.

Так кругом и повелось: *лотоха* и *чечетка!* Чего тут ожидать?

Слова, надо признать, «липкие». Лесков им знал цену. «Чекочут» у него и в «Воительнице» * и в «Смехе и горе» **, и Ахиллова Эсперанса в «Соборянах» ***, и в «Русских демономанах» ****, и в позднейшем «Загоне» *****. Грешила, сказать правду, и Вера Николаевна.

Вообще она говорила на чисто киевском наречии: «я приехала бричкой, уеду извозчиком; шла сюдою, вернусь тудою; скучаю за детями; играйся сам; кто-то зв*о*нит» и т. д. Сейчас уже и северяне «зв*о*нят», а в те времена так говорилось не выше Курска, а вся северная Россия звон*и*ла: позвони, звон*я*т, идя от глагола звон*и*ть, а не от односложного существительного звон.

---

* Собр. соч., т. XIII, 1902—1903, с. 49.

** Там же, т. XV, с. 97.

*** Там же, т. I, с. 75.

**** «Русская рознь», 1881, гл. XVII, с. 280.

***** Собр. соч., т. XX, 1902—1903, с. 152.

Зиму 1878—1879 годов Вера Николаевна, снова замечтав о курсах, оказалась в Петербурге. Жила уроками музыки, в комнате, нанимавшейся пополам со знакомой студенткой-медичкой.

Ознакомившись с горечью положения племянницы Алексея Семеновича, участливая Клотильда Даниловна к весне вызывает ее к себе в Киев. Не имея ничего другого впереди, Вера Николаевна радостно откликается на ласковый зов и, всему казавшемуся возможным вопреки, — «делает партию».

Что такое сам жених — на этом особенно не останавливаются: добрый малый, да и Бурты... Это впору и не для бесприданницы по двадцать четвертому году, без тени красоты, да еще с матерью в сумасшедшем доме... О чем тут думать? Улан?! Ну что же делать, но с бархатным черноземом...

Забыв и «лотоху» и «чечетку», Лесков пишет брату Алексею Семеновичу:

«Много благодарю тебя и Клотильду Даниловну за Веру. Да воздаст Клотильде Даниловне за добрые ее заботы небо «мерою полною и утрясенною». Добро иногда не гибнет и воздается дивно, а то, что ею сделано, — истинное добро и заслуга перед любителем всякого добра. Вера такая беспомощная, что ее устроить — это все равно, что душу от смерти спасти. Без Клотильды Даниловны все шла бы одна распроклятая критика, в которой все вы, как черви в земле, уже и света не взвидели. «Нащиде всех хуже, — куда нашим! Из наших один я-де только и стою высоко». «А самый высший, — я говорю, — на двухвершковой высоте».

Чья это ярость речи и наставительства? Чья жесткость метафор, властность осуждений?

Напав письмо в честь, хвалу и благодарение, старший в роду негаданно опаляется неосилимым гневом.

«Глупцы! От гордости, что черви капустные, все пропадете», — пишет знаменитый предок наш, неукротимый расколоучитель Аввакум в семнадцатом веке[137].

Едва не однословные выражения слетают с уст «ересиарха Николая» в конце девятнадцатого.

Сменялись поколения. Отдельные образы не преодолевались временем.

Дальше идут уже дела житейские: «Сегодня я послал Клотильде Даниловне вторую сотню рублей, вещи пришлю к 28-му, — жду образа, которым перечищается у

Сафронова». И завершалось все письмо предостерегающе-требовательным указанием: «Да пожалуйста, *умоляю тебя* <два слова подчеркнуты дважды. — *А. Л.*>: не справляй свадьбы *пиршественно,* а сделай ее просто, с чаем. *Николай»* *.

31 августа, прямо из-под венца, «молодые» свадебным путешествием прибывают в Петербург.

Дмитрий Иванович Нога без труда определяется как зоологический примитив, редкий даже для армейского улана тех времен. Не говоря об образованности или начитанности, о какой-нибудь внутренней содержательности, нет даже добропорядочной внешней светскости.

Вскоре же он опаздывает на полчаса к нашему обеду. Тесть этого не терпел. «Встретил боевого товарища», — говорит «Митенька» в свое оправдание. Лесков слушает извинение с полупренебрежительной рассеянностью. Говорить этим двум людям совершенно не о чем. Общего — ничего. Ничто и не клеится.

Вера разыскивает одну институтскую свою подругу. Муж ее — начальник Артиллерийской технической школы на Шпалерной, полковник Сарандинаки. Это человек труда, учившийся, читающий, интересующийся... Ноги, во многом неумело, устраивают у себя в «номерах» вечеринку. Наличие посторонних обеспечивает беседность. Бойкая и бывалая мадам Сарандинаки, проявляя актерский темперамент и наблюдательность, рассказывает, как последней зимой ездила на святки по узкоколейке к родным в Старую Руссу и какой-то желчный господин на все уговоры взять с сиденья его чемодан, коротко бросал: «Не желаю». В Руссе его собирались привлечь к какой-то ответственности, но тут он был почтительно встречен местными чиновниками. Оказалось, что это большая персона, а чемодан не его. Через три года тема вспомнилась и в искусной обработке воплотилась в хорошо развернутый веселый рассказ «Путешествие с нигилистом» **.

Больше приезд Нога помянуть нечем. Отпуск «Митеньки» истекал, и они поехали в Киев, а оттуда в глухое местечко Подольской губернии Ярмолинцы, где стоял 12-й уланский Белгородский полк.

---

* Письмо от 22 августа 1879 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Первоначальное заглавие «Рождественская ночь в вагоне». — «Новое время», 1882, № 2453, 24 декабря.

В Петербурге Дмитрий Иванович был дружно взят в обработку и уезжал уже почти уговоренным выйти в отставку и «сесть на землю». Через год истекал срок аренды Бурт, красивого имения братьев Нога, с каменным домом, великолепным фруктовым садом и редким для Украины по величине рыбным прудом.

Вера Николаевна рьяно поддерживала эту мысль. Привычно хлопая глазами, соглашался со всем и сам «добрый парень».

Родственности и теплоты в Петербурге не создалось. Но так или иначе, а «беспомощная» Вера «устроена». Примутся за хозяйство на своей земле и проживут свой век в добром достатке. В какой мере эта чета подготовлена к выполнению агрикультурных задач — никого не тревожило. Подумаешь, велика хитрость! А она во всяком случае была много большей, чем верченье на плацу в уланском взводе.

Осев в Буртах, ни один, ни другая ничему не учились, ничего не узнавали, «убивая время» в лютой тоске неизменного «неделания».

В период полевых работ Митенька, рано вставая, ездил в поле. Что он там усматривал, какие мог давать указания — неизвестно. С глубокой осени начиналось подлинное «томленье духа». Он слонялся по саду, стрелял галок, дразнил дручком хромого ворона, сидевшего в большой клетке, оставшейся от какого-то доисторического попугая, шел на кухню, набирал полчумички борщовой гущи, подливал уксусу, щедро подсыпал перцу, нес все это в левой руке через все комнаты в «кабинет», раскрывал правой рукой «книжный» шкафик, наливал убористый литого зеленого стекла шкалик, «повторял», нес пустую чумичку назад старому повару и, блаженно посвистывая, растягивался, положив ноги в огромных сапожищах на спинку своего ложа. Час, а то и меньше спустя выполнялась та же программа.

Если случавшиеся иногда гости-соседи просили меня спеть, он непременно пристраивался ко мне и тянул козлом в унисон, стремясь так подразделить слоги некоторых слов романса, чтобы достигалось непристойное значение, многозначительно подталкивая меня при этом в бок. Слушателям скоро наскучало его кривлянье, и, подчиняясь их просьбам, он, шутовски раскланявшись, бежал к заветному шкафику «пропустить» не в счет ужина.

Веру было жаль. Если она и не успела «поработать над Боклем», то хотя собиралась. Связать после этого жизнь с человеком Митенькиных жизненных запросов было, несомненно, мучительно.

В киевском родстве его окрестили простодушным и добрым пареньком «Митенькой».

Говорится — хитрость есть низший вид ума. Ею не всегда обделены очень недалекие люди.

Влечения к злу у Митеньки не было, но всякое бытовое или деловое сближение с ним обходилось дорого. Семью первее всех разорил он. И кормилица его Одарка, и старый буртянский повар Александр, и кучер улан Михайло Болкотун, и лучшие свои годы провозившаяся с его детьми бедная девушка Анна Павловна — все потом оказались брошенными ни с чем на волю рока. Много ли во всем этом того, что имеет право называться добротой? Он был убог, но и опасен.

В пять лет сидения в деревне имение было прохозяйствовано. Марья Петровна уже 16 февраля 1886 года писала дочери, Ольге Крохиной:

«Вы, конечно, уже знаете, Нога продал Бурты А. В. Тарновскому, и сами же будут арендовать у него 6-ть лет. Аренда, знаю, в год 4500, а за сколько продал, верного не скажу, но Вера очень довольна этой сделкой, а то, говорит, трудись, работай, и все на одни проценты» *.

Почему неумелым, нетрудолюбивым и невежественным хозяевам казалось, что в роли арендаторов они успешнее справятся, чем это удавалось в положении владельцев, — мало понятно.

Митенька, из всех видов письменности бойчее всего постигший писание векселей, исподволь научил этому и Веру Николаевну, которой — а не ему — отдал в аренду Бурты Тарновский.

Летом 1885 года Бурты пошли прахом. Разорение арендаторов шло с прежнею неуклонностью. Учащались займы у родных, а с тем и ссоры.

За четыре недели до своей смерти Марья Петровна выносит безнадежный приговор внучке в письме к Ольге Семеновне: «...Об Нога говорить более не станем. Счастливы, и слава богу, тетку в бережливости <упрекая?— *А. Л.*>, конечно, она брала тебя. Знаешь, на мой взгляд

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

Вера grand parleur et petit faiseur *, но дай им бог успеха» **.

Получив телеграмму о смерти бабки, ни внучка, ни ее муж в Киев не приехали. Это было осуждено.

Осенью этого же года отец пишет мне в Киев: «Я получил письмо от Веры Нога, где она трубит с чьего-то голоса о «наемных людях»... Господи помилуй! И наемные помешали! Каких же надо? Что это за дрянь такая там еще про меня чекочет, и чего им еще хочется?» ***

Не помню почему, но ближе к концу того же года она все же была приглашена в Петербург. Впервые, может быть, ей был предоставлен тихий приют и радушие непосредственно в доме отца. Разговоры на больные темы исключались. Три-четыре недели она нежится в незнакомом ей «приятстве». Однако дети-то в Буртах на руках у бонны, при отце, больше всего поглощенном вниманием к шкафику с посудинками. Неспокойно становится. Надо ехать. Пора!

Учреждаются проводы, на которые посылается зов «названой дочке», Вере Бубновой, впоследствии Макшеевой:

«15 нбр. 86

Милый друг мой Вера!

Вера Николаевна уезжает завтра, в воскресенье, 16-го ноября. Сегодня, 15-го ноября, по этому поводу у меня в доме будет расстанная вечеря: пшеница, вино и елей. Сторонних никого. Если бы ты захотела придти, — ты бы сердечно обрадовала любящего тебя отеческою любовию старика. Если же ты, по каким бы то ни было соображениям, найдешь это неудобным для себя, то, само собою разумеется, я пойму это как следует и не сочту себя вправе иметь на тебя какое бы то ни было неудовольствие. Мне только было бы неприятно не сказать тебе, что при всякой из ряда выходящей минуте моей жизни я тебя помню и считаю тебя мне близкою, больною и родною моему сердцу. Дружески тебя обнимаю.

Твой Н. *Лесков»* ****.

---

* Большой болтун, но малый мастер (*фр.*).

** Письмо от 21 марта 1886 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

*** Письмо от 9 августа 1886 г. — Архив А. Н. Лескова.

**** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

«Неудобность» могла быть усмотрена только в том, что в письме ни словом не упоминалась ее и моя мать, с которой она жила в 8—10 минутах ходу от нас. Очевидно, в это время существовало какое-нибудь неудовольствие по отношению к ней. Все к периодическим опалам привыкли и умели ими не огорчаться.

Вечеря состоялась in quarto: отец, две Веры и я.

Собиравшаяся в путь растрогалась... Пшеница была радушна, вино, как всегда, веселило, а елей беседы умягчал сердца. Уезжала она, завороженная лаской и теплом, усыпившими память, притупившими ясность представления возможного и невозможного.

Прошло недели три. Была суббота. Часа в четыре-пять, придя из Константиновского училища и переступив порог, я остановился в полном недоумении: вся передняя была завалена чемоданами, баулами, картонками, портпледами и даже самыми первобытными узлами. Вешалка ломилась под массой дамских и детских пальто, шубок и т. д. В столовой слышались возня, детский визг, смех, беготня. Горничная, снимая с меня шинель, молчала, ожидая неминуемого моего вопроса и, видимо, желая поразить разъяснениями. Надобность в них отпала сама собой: двери столовой распахнулись, и, с пустым молочником в руках, появилась буртянская бонна, Анна Павловна. В ту же минуту, увидев меня, с шумом и криками «дядя Андрей, дядя Андрей!» выбежали и Верины дети.

Вера, показавшаяся мне сильно смущенной, сидела за самоваром. Обменявшись с нею несколькими обычными при встрече возгласами и общими фразами, я через загроможденную прихожую прошел в кабинет.

Отец был в полном расстройстве.

— Видал?! — сказал он полным отчаяния голосом. — Они окончательно разошлись, и она примчалась сюда сама-четверт, со всем скарбом, с какими-то деньгами, ни с кем в Киеве не повидавшись и не посоветовавшись, без всякого плана в голове. Что они будут делать, где, как и чем жить!.. Сплошное безумие! Час назад явились как снег на голову. Но моя слишком стара и утомлена для таких внезапностей. Шум, гвалт, дети распущенные. Где тут работать! Как их разместить? Это сумасшедший дом!

— Успокойтесь, папа. Что-нибудь сообразим сейчас. Вызову старшего дворника, передам ему их паспорта и потолкую насчет помещения. Он у нас толковый.

— Пожалуйста, я совсем потерял голову.

На кухне я обсудил с кухаркой мероприятия по расширению обеда на утроившийся состав семьи. С подошедшим «старшим» дело сладилось, как и не ждалось; по общей с нами черной лестнице вчера освободились две комнаты, которые, наверное, отдадут хотя бы и на две-три недели, так как дело идет к святкам, когда скорее уезжают, чем приезжают. Я поднялся с ним на второй этаж, договорился, отдал ему паспорта Веры Николаевны и ее бонны и вернулся к отцу с неплохим докладом.

Сейчас же все, конечно кроме отца, авралом принялись переносить вещи, перевели детей. Сени и столовая разгрузились, хлопанье дверями и детская беготня прекратились, а затем доспел и усиленный обед. Прошел он не ахти как складно, но в значительно освоенном уже настроении. Дети после сладкого заклевали носами и были уведены. Мы перешли в кабинет. Я видел, что у Веры пелена с глаз уже спадает, что она постигает громадность своей ошибки. Не оставалось сомнения, что она скоро дойдет до решения, диктуемого всеми условиями. Утомленная дорогой и подавленная начавшимся уже прозрением, она вскоре же отправилась «к себе». Проводив ее и посидев с нею, я убедился в верности моего прогноза. С этим я вернулся к отцу, чтобы утишить его взволнованность.

Высказанные мною предположения были им выслушаны с явным одобрением. Тяжелый день к своему исходу смягчался надеждами на недальнее разрешение принесенных им затруднений.

Прожив недели полторы, Вера Николаевна собралась, с расчетом к рождеству быть дома, в Буртах.

Расстанной вечери не было. Второй приезд заслонил обольстительность первого. Кроме трезвенного сознания промаха и разочарования, на этот раз везти домой было нечего. А впереди опять тонущие в сугробах Бурты, опять слоняющийся с шумовкой Митенька, трудная аренда, неуменье вести дело. Ко всему еще и конфуз за неудачу первого опыта обойтись без киевлян, без совета Клотильды Даниловны, без помощи дяди Алексея. Горько! Но деться некуда.

Возобновляется все старое, давно постылое «Свада» [138] растет. Доходит дело до выдворения Митеньки женою из Бурт при содействии исправника и новое его туда допущение.

Обостряется тревога Лескова за судьбу четырех с половиной тысяч рублей Ольги Васильевны, над которыми опекунствовал Дмитрий Иванович. Николай Семенович пишет Алексею Семеновичу:

«13 генв. 87. СПб.

Извини меня, пожалуйста, что еще раз напишу тебе о деле. Конечно, я это делаю не по доброй воле и не для удовольствия.

Ты знаешь, что Вера *сама* желала смены ее мужа с опекунства и назначения тебя, так как иного выхода не представлялось. На отмену твоего согласия быть опекуном я получил письмо 3-го, отвечал тотчас же; ты получил мой ответ 7-го, я мог бы получить ответ 10-го, но не получил никакого, и не знаю: идешь ты в опекуны или нет? — Как уж относиться к этому — говорить не для чего, но сегодня я получил заказное письмо от мужа Веры, который ранее извещал меня о своей реставрации в правах семьянина и просил у меня извинения в каком-то пошлом подозрении, достойном пошлых людей. Я ему отвечал сухо и сдержанно, как он того заслуживает. В ответ на это он почтил меня прилагаемым письмом, из коего ты увидишь, что Вера неправильно сообщала нам о деньгах О. В., — что эти деньги ими не взяты и не пущены в хозяйственные обороты, а лежат неприкосновенно в Государственном банке. Следовательно, дело стоит вполне правильно и все наши предначертания о назначении тебя опекуном не имеют никакого практического значения. При таком исправном положении всякий опекун одинаково хорош, и тебя нет никакой нужды затруднять этим поручением. Пусть Опека сама избирает кого знает.

Преданный тебе

Н. Лесков» *.

Родственные дрязги множатся и расползаются. Отец от возводимых непосредственно на него безосновательных, нелепейших поклепов выходит из себя. 24 сентября 1887 же года он пишет мне в Киев:

«Дяде Алексею Семеновичу напишу завтра. Я теперь очень много работаю и мне некогда писать. Он пишет о Вере Ноге, но в общих очертаниях: она «чудит». Дмитрий Иванович пишет векселя, мне будто придется взять ее детей. Что все это значит? Потом читаем, что у Веры

* Архив А. Н. Лескова.

есть еще 5 тысяч рублей и что Дмитрий Иванович едет служить. Как же мать отдаст детей, имея еще 5 тысяч, с которыми, имея 30 лет, можно что-нибудь промышлять и есть хлеб на земельке? Мне 57 лет, и я измучен трудом всей жизни, устал и ждал отдыха, а не начала наново воспитательных забот. У меня нет и 5 тысяч, я часто болею и ничего не получаю тогда. Притом я одинок, у меня только простая служанка. С кем же я могу «воспитывать»... Что это будет за воспитание? Ведь дети Веры это не маленькая Варя, которая у меня живет «из милости» и *не воспитывается,* а только *питается,* живя как попало и где попало, ибо *для нее,* как для бедной сиротки, что ни выпадет, то все хорошо сравнительно с тем, что ее могло бы ожидать. Ярослава же и Таточку надо *воспитывать* — и с глаз на кухню не прогонять к кухарке. Кто же за ними будет смотреть, их учить, отучать и т. и.... Где на это помещение, где средства? Или я еще должен теперь, на старости, расширять мое жилище, брать гувернантку или бонну, и тогда выведут, что я живу с этой бонной и дети видят примеры разврата, а Дмитрий Иванович Нога напишет об этом шефу жандармов и меня станут приглашать для объяснений... Неужто на все это можно идти в мои годы и при всех сложностях моего положения?.. И неужто я того только и стою, чтобы отравить себе последние дни жизни и пасть под этой обузой при молодых родителях? И это будет умно и справедливо? В какой он идет полк? Что это за чепуха! Пусть идет туда, где может что-нибудь зарабатывать и кормить своих детей. Он молод и силен, а я стар и слабею, но сам всех моих детей воспитал и еще на что-нибудь гожусь обществу. Если они этого не понимают, то твое дело им это растолковать и вступиться за отца, как он за тебя заступается. Я и *обещать* им *ничего* не могу, потому что я устал и болен и насилу свожу свои концы с концами. Могу только сказать: «аще могу — помогу», но силы мои слабнут, и две зимы болезни да два лета лечения истощили все мои сбережения. Как не стыдно и не мерзко двоим молодым людям взваливать детей стареющемуся труженику, одинокому отцу!.. Это ни на что не похоже. С 5 тысячами двое молодых людей еще могут есть хлеб, а я себя не могу поставить в няньки и через то уничтожить все свое положение. Если же необходимо быть 4-м нищим по своей вине, то зачем к тому же вести пятого, ни в чем не виноватого?.. Сестра Ольга

Семеновна вызвалась взять Тату, но неужто ей ее отдаст мать? Неужто не ясно, что из этого выйдет? Но если они дойдут до того, что станут раздавать детей, а у меня еще будет сила работать и будет хлеб, то я готов взять Ярослава, но я не обещаю и не могу обещать его воспитывать, а могу ему дать только тепло и питание, не обещая даже иного присмотра, как присмотр простой служанки. Иначе я жить не в состоянии и бонн держать не могу. Все это поручаю тебе изъяснить, и как это примут — мне все равно. Я знаю, что говорю *дело,* и никто умный человек иначе не посудит <...> Опиши мне немедленно — что такое именно происходит у Ног? Ольга Семеновна получила сегодня известие от Геннадии, что Вера Николаевна опять разрешила Дмитрию Ивановичу прибыть в Бурты. Зачем же были становые и урядники? И где они теперь сидят: в Буртах или их уже оттуда выгнали? Ничего не могу понять! И что его ждет в полку? По-моему, он туда даже и поступить не может. И что же он пришлет детям? Зачем ему давать 700 р.? Все какая-то чепуха. Напиши мне толком. *Н. Л.*» *

Ноги неотвратимо катятся под гору. Лесков терзается их уделом. 15 апреля 1888 года он заканчивает одно из писем ко мне в полк, в Новгород:

«Из Киева вести очень неутешительные: они могут разориться, и тогда векселя Веры и проч. стоят 0. Это не преувеличение. «Добились-таки англичане» **.

И в самом деле добились. Крохины хорошо поплатились на займе племяннице, векселя которой — ноль.

Сплетни и ссоры не утихают. Три года спустя Лесков раздраженно пишет вдовой сестре Ольге Семеновне:

«Охотно предоставляю всем, кому хочется, всячески презирать и даже бить меня в мое отсутствие, но сам в теперешней поре моей жизни давать поводов к этому не хочу, — кроме разве тех случаев, если бы это было нужно для чьего-либо благополучия. Старость должна быть осторожна, — ей некогда уже поправлять ошибки» ***.

Осенью 1892 года мне захотелось приласкать Веру, предложив ей вволю погостить у меня лично в Петербурге, с полной свободой неосудительно делать, что понравится, ездить, куда захочется, к себе звать, кого

---

* Архив А. Н. Лескова.

** Там же.

*** Письмо от 8 сентября 1891 г. — Там же.

вздумается. Написал об этом ей и одновременно дяде Алексею Семеновичу. В ответном письме от 17 сентября последний, между прочим, остановился на этом моем зове.

«...Искренно рад твоему сердечному отношению к сестре Вере. Она так много вытерпела горя за свою жизнь, так мало избалована вниманием и ласками, что глубоко и сильно чувствует всякое доброе слово, ей сказанное. Я не желаю и не имею права входить в суть таких сухих и безучастных отношений к единственной дочери, какие я вижу, но знаю, что это ее глубоко огорчает, тем более что она бьется как рыба об лед и лично своим трудом кормит и держит семью. Она ничем не заслужила той холодности и даже более, которую ей оказывают. — Кажется, небольшое дело помочь перевести опеку из Петербурга, где ей нет смысла быть, в Киев, а между тем это для нее существенный вопрос. Здесь я мог бы, с разрешения опеки, как-либо пристроить ее деньги более удобно и выгодно. Земельная собственность с каждым днем дорожает, и за пропущенные годы придется дорого поплатиться. Все это, впрочем, вероятно, она расскажет тебе сама, и если ты можешь пособить ей в этом, то не откладывай в долгий ящик, а делай скорее» *.

Помещена Вера Николаевна у меня была просторно, удобно, досмотрена внимательно, погостила хорошо. Все, что захотела, видела, отдохнула и в полном благорасположении со всеми уехала. Пребывание ее в Петербурге вызвало интересные и характерные отзвуки в письмах отца к юной его племяннице и к сестре:

«...Вера Нога и у меня бывала все наспех — на короткие минуты, и мы очень мало с нею говорили. Также и рассказов от нее я ни о ком не слыхал. В Киеве, кажется, боятся говорить и почитают рассказы за сплетни... Если это там так, то те, кто ничего не говорит, — очень хорошо делают. Впрочем, обо мне она вам, конечно, и *не могла бы сообщить ничего интересного, так как она не могла и вникнуть в мою жизнь* <курсив мой. — *А. Л.*>, да и жизнь моя не дает большого материала для сообщения. Все, слава богу, так хорошо, как я того совершенно не стою» **.

А через месяц в письме к матери этой племянницы опять заговорил о своих впечатлениях в отношении своей дочери:

---

* Архив А. Н. Лескова.

** Письмо к Н. Н. Крохиной от 5 октября 1892 г. — ЦГЛА.

«...Верочка Нога очень полна и благочестива: она ездила в Кронштадт к попу и в часовню к образу. О вас ни о ком она не говорит ни слова. Это у вас называется «делать сплетни». Что ни спросишь о к о м, — она все отвечает: «Не знаю, не знаю, я боюсь делать сплетни». Такой у вас дух, а чем он порожден — не знаю» *.

Здесь помянулись буртянке и «пэр-Жан», как именовал Лесков кронштадтского «чудотвора» священника Ивана Ильича Сергиева, и икона в часовне у Стеклянного завода с прилипшими к ней при ударе молнии монетами. Такие дела никому не прощались. Еще раньше самой Ольге Семеновне писалось: «Этого не поправят ни панихиды, ни молебны, ни попы, ни доски с влипшими в них грошами (как гроши Костика на Панине влипли в спинку стоявшей в сарае коляски)», а ты, мол, «кланяешься доскам», и т. д. **.

Проходят еще два года. Смерть не устает косить близких и «по плоти» и «по духу». Невольно задумываешься над очередностью ее избрания. Писать в Киев становится почти некому, слышать о киевлянах не от кого, а знать хочется все острее... Отчужденность, порожденная упорными личными усилиями, томит и гложет день за днем злее. Неучительно, в простоте сердца заговорить с последним из братьев, Алексеем Семеновичем, нет уменья. Воскрешается переписка с последней сестрой, Наталией.

В письмах к ней можно негодовать и на свою дочь за ее ссору с последней ее теткой, на упорное уклонение этой дочери от переписки с ним самим, ее отцом. Эти письма полны осуждением того, что вообще многие отно-ения «деревенели». Наконец, едва не за две недели до смерти, в одном из них говорится, что «десять раз» писал Вере Николаевне об опеке Ольги Васильевны — «но она ни разу не ответила. Теперь я написал Клотильде Даниловне, а потом Андрей, а потом опять я написал Вере, и все понапрасну: ни от кого ответа нет!!» ***

Ноги доразорялись. Лесков хворал и слабел. Обострялись тревоги его за капитал Ольги Васильевны. Он на-

---

* Письмо к О. С. Крохиной от 8 ноября 1892 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Письмо от 21 июля 1891 г. — Там же.

*** Письма от 26 апреля, 19 и 28 июня, 1 сентября 1894 г. и от 3 февраля 1895 г. — ЦГЛА.

стоятельно просит меня принять опеку над ее тысячами. Зная, как это уязвит Веру, я решительно уклоняюсь. Это вызывает поиски нового надежного опекуна. За две недели до своей кончины он торопливо пишет мне по городской почте:

«7/II, 95. СПб.

Если ты еще не успел отвечать в Киев, то к тому, в чем мы вчера говорили, есть нечто добавить; а если уже написано, то вновь написать.

Пользуясь сегодняшним сравнительным теплом и влагою в воздухе, я съездил в клинику и просил Катерину Егоровну Гульельми * поехать в больницу Николая чудотворца и сделать все покупки, чтобы экипировать больную. При этом я застал дома и ее мужа и сказал ему об опекунстве, и он на это сейчас же согласился, но как он уезжает очень надолго в Азию, то опеку принимает сама Катерина Егоровна Гульельми, — что еще удобнее. А потому в Киеве теперь надо написать рапорт об отказе и послать его сюда, известив о том единовременно нас, чтобы в то же время, как оттуда придет отказ, — здесь г-жа Гульельми подала заявление о ее готовности принять опеку. Этим все и окончится. Но надо непременно, чтобы мы знали, когда будет послан отказ, потому что иначе опека может назначить казенного опекуна, который может быть человеком неудобным и нежелательным. Все это и надо бы обставить так, чтобы оно произошло в аккуратности, а ты постарайся об этом просить, чем и доставишь мне облегчение.

Н. Л.

Отказаться, разумеется, чем скорее, тем лучше. Билеты, вероятно, надо будет переслать из Киевского отделения Государственного банка прямо в Государственный банк в Петербурге. — Вере этого очень не хотелось, и для того она писала мне будто Алексей Семенович отказался, а опекуном вызвался быть Тарновский. Я думал, что это давно так и сделано, но положительного ответа никогда не мог добиться» **.

---

* Давняя надзирательница отделения больницы св. Николая, в котором находилась Ольга Васильевна. Упоминается Лесковым в бесподписной заметке «Женская тень, преследовавшая Семенову». — «Петербургская газета», 1885, № 272, 4 октября.

** Архив А. Н. Лескова.

Смерть Лескова опередила осуществление плана. Деньги безумной в опеке миллионера Тарновского сбереглись до ее смерти в строгой неприкосновенности.

На погребение отца Вера Николаевна не приехала. К весне, после сообщения ей об участии ее в наследовании, она прибыла в Петербург и даже почему-то снова с «Митенькой».

Полученных в общем в течение двух лет тридцати с лишним тысяч ей хватило лет на пять. И снова нуждаемость. И тут, уже окончательно порвав с мужем, она тянется с дочерью в Петербург: там — не без служебного положения брат Андрей, Суворин, Шубинский, Фаресов, уже все выплативший, но все-таки богатый, А. Ф. Маркс. Есть к кому толкнуться, у кого призанять. В Киеве такие возможности уже исчерпаны до дна. А Литературный фонд разве пустяки! Для кого же он и существует, как не для нуждающихся писательских вдов и дочерей! Ничего этого в Киеве не найти. Да и лучше подальше от двоюродных сестер Крохиных, просящих вернуть взятое у их родителей; от ставшего менее терпеливым и тороватым дяди; ото многих...

Алексей Семенович действительно по ряду причин стал судить о племяннице совсем иначе, чем одиннадцать лет назад.

«Я убежден в том, — писал он мне 4 января 1903 года, — что порча наших отношений имеет в основе небольшую долю твоей заносчивости и самомнения, а огромную в бестактности, глупой подозрительности и целом ряде, будто, хитроумно построенных действий твоей единокровной сестры. Я почти уверен в том, что ею наговорено тебе столько небылиц, сколько в свою очередь ею же передано мне. — Не время было тогда разбирать всю эту одиссею. Теперь же, когда бывшее раздражение улеглось, — все успокоилось, я думаю, что все объяснится и уляжется. — Я всегда был того убеждения, что плохой мир все-таки лучше доброй ссоры, — а у нас с тобой даже к последней и поводу нет.

И так я жду с удовольствием твоего посещения и попрошу уведомить о дне приезда, чтобы можно было прислать лошадей...» *

Видя ее тяжелое положение, я попытался однажды склонить дядю к приглашению Веры Николаевны с ее

* Архив А. Н. Лескова.

дочерью хотя на лето к нему в Кабыжчи. Я сулил ему некоторое развлечение, а может быть, даже и пользу. Увы, план мой был отклонен с удивившей меня решительностью.

20 июня 1908 года он отвечал мне:

«...Что касается до второго твоего обращения, то не в том дело, приемлемо ли оно, а в том, что мои собственные нервы так расстроены и так я дорожу покоем, что боюсь каких-либо осложнений. — Я хорошо знаю состав всей семьи и, желая ей всего лучшего и доброго, желаю себе только покоя, который легко может совершенно неожиданно чем-либо нарушиться, а это было бы мне крайне тяжело и прискорбно. — Вот тебе мотив, почему я, несмотря на мое одиночество, подчас скуку и так далее, все-таки не решаюсь идти навстречу твоему предложению. — Взвесь мои слова, и ты, может быть, сознаешься, что я имею основания опасаться за мой нравственный покой. — Будь здоров, не забывай хотя изредка меня.

Ал. Лесков». *

Опыт относительно Ног он извлек раньше многих достаточный для желания оградить себя впредь от новых впечатлений.

В трехлетнее отсутствие мое из Петербурга в конце девяностых годов происходят какие-то «сепаратные» соглашения Ног с душеприказчиком по завещанию Лескова. Дальше появляются обрывочные, неряшливые публикации Фаресовым литературных писем к Лескову[139], хранившихся, как общее достояние всех трех наследников, у душеприказчика — Захара Андреевича Макшеева.

В 1909 году, за смертью Ольги Васильевны, освобождаются наконец нетерпеливо ожидавшиеся четыре с половиной тысячи рублей. Года три-четыре, при некотором приработке дочери, можно бы пожить поспокойнее. Это противно естеству и вкусам. На шестом десятке лет обуявает жажда повидать Европу, поездки куда признавались непосильными при прежних несравнимых достатках.

Из головокружительных курортов и столиц летят письма и ослепительные открытки, а с ними летят и последние материнские тысячи.

С возвращением в Петербург — неизбежное возвраще-

* Архив Л. Н. Лескова.

ние к прежней, становящейся раз от разу трудновыполнимее, программе: Литературный фонд и все прочее.

Нужны новые источники.

Судя по сохранившимся письмам, утомленный и в пределах возможности исчерпанный Фаресов проявляет вспыльчивость и раздражение.

Повышение затруднений повышает предприимчивость. Отыскиваются пути к искренно ценившему и серьезно интересовавшемуся литературным наследием Лескова А. А. Измайлову [140]. У него большие литературные связи и несомненная возможность быть действенно полезным. Это не «скорохват» и не «приживалка» в литературе, а горячо любящий ее и преданный ей человек. Естественно, он предполагает знание дочерью своего отца. Я на войне. И он доверчиво слушает дочь.

Дело доходит до «развесистой клюквы». Вера Николаевна бесстрашно свидетельствует, что *старый* Лесков, проезжая мимо Александро-Невской лавры, со скорбным умилением думал о том, какой духовный покой и умиротворение он мог бы найти за стенами этой тихой обители...

Это автор-то «Некрещеного попа», «Мелочей архиерейской жизни», оглушительных «Полунощников», потрясовательного «Заячьего ремиза», смело и стойко идущий «на дьяволов», на всех князей церкви и всю церковность вообще, вдруг встосковался о монастырях, в которые заклинал сестру Ольгу не пускать гостить летом дочерей к родной их тетке Геннадии.

У Веры Николаевны не хватило мужества сказать литературоведу, что отца она не знает и ничего достоверного дать о нем не может. Отсюда пошли подлинно мемуарные чудесии, досадно снизившие солидность некоторых страниц добросовестной работы Измайлова о Лескове.

Мягкий и доброжелательный Измайлов, в признательность за щедрое наделение его очень разноценными сведениями, устраивает дочь Веры Николаевны репортером в «Петербургский листок». Это обеспечивает довольно удовлетворительный заработок.

Сама она, давно забыв «Бокля», усердно кланяется «доскам с прилипшими медяками» или без них, ездит к «отцу Иоанну» в Кронштадт, а после его смерти — к какой-то мирской «сестре Варваре» в Любань, куда досужие люди паломничали уже и пешими.

Что мог сказать человек таких влечений об «ересиархе ингерманландском и ладожском»?

Тем временем «Митенька» неисповедимой игрой судьбы обрел пристанище на берегах реки Десны в имении прекрасно обеспеченной помещицы Новгород-Северского уезда Черниговской губернии, Ханенко. У нее, должно быть в 1910 году, и умер.

В свое время наделал много шума темный авантюрист Н. И. Ашинов, подвигам которого уделил большое внимание Лесков *[141].

Выручала из всех бед этого, по собственному именованию «вольного казака», а по паспорту царицынского мещанина, некая вышедшая за него замуж, «добропородная» София Ивановна Ханенко, сестра члена Государственного совета Б. И. Ханенко.

Не она ли приютила и злополучного лесковского зятя?

Вера Николаевна значительно пережила Дмитрия Ивановича, скончавшись от рака числа 18 марта 1918 года в Петрограде.

Я застал ее уже в бессознательном состоянии, под непрерывным морфием. Дочь ее рассказала мне, что накануне, в одно из кратких прояснений мысли, она, вспомнив о сыне, внятно, с расстановкой произнесла:

— Скажжи ему, чтобы жжил хорошшо! Надо жжить хорошшо!..

И встало у меня в памяти раннее мое отрочество: воскресный вечер, гостиная моей матери, неосторожная девичья речевая дробь, черепаховое пенсне, жесткий оклик...

Как это все далеко!

Слышатся предсмертные слова умирающей. Она уходит с тою же истиной на устах, с которой когда-то вступала в жизнь. Уходит в счастливой убежденности, что прошла свой путь в непререкаемом соблюдении истины, следовать которой завещает остающимся.

ГЛАВА 10

ПОСЛЕДНИЕ ПОЕЗДКИ В КИЕВ

Давно не бывал Лесков на Киевщине! С 1875 года не видал старающую мать, сестер, братьев. Марья Петровна пеняет сыну: все мы, мол, «под богом ходим», того гляди и не свидимся, грех забывать ее.

---

* Смотри бесподписные заметки о нем Лескова: «Петербургская газета», 1887, № 314, 326, и 1888, № 28, 33; [142] «Загон», гл. 5; «Вдохновенные бродяги». — «Северный вестник», 1894, № 10; «На смерть Каткова». — «Звенья», 1934, № 3/4.

И в самом деле, отчего не посмотреть, как в замужестве живет дочь в своих Буртах, как томится в Каневе у Крохиных мать, каково векует в Ржищеве обойденная долею сестра-монахиня. Решено: лето, может быть и не целиком, но на Украине.

Зима 1878—1880 годов протекает в избытке литературной работы, в уже вполне сложившемся холостяцком порядке.

Но вот, должно быть в марте, неожиданно появляется вторая служанка, Прасковья Андреевна Игнатьева. Это человек во многом другого склада, чем уже успевшая хорошо сжиться с домом, несколько сумрачная, прямодушная Анна Борцевичева. Создается какая-то неясность в распределении прав и обязанностей этих двух лиц.

В самом начале мая 1880 года Лесков внезапно заболевает «невероятным бронхитом». В письме его к С. Н. Шубинскому раскрывается картина посерьезнее:

«Посылаю вам, уважаемый Сергей Николаевич, беллетристику, в размере $^3/_4$ листа. Она не худа, или по крайней мере — весела. Писал ее не только больной, но почти *не живой.* Мой 1-й доктор действительно сплоховал, и когда я, возвратясь от Суворина, *слег* и у меня началась лихорадка с обмороками, то был призван Майер и нашел у меня, кажется, *воспаление легких.* Вот вам и сюрприз. С этим-то — в промежутки между леденящим знобом и 40-градусным жаром и написал вам «Мелочи архиерейской жизни». Их так любят, что все прочтут не без удовольствия. — Кажется, я был кроток и цензурен.

Вам не грех было бы меня навестить. Знаю, что «некогда», но страшно скучаю.

Преданный вам

Н. Лесков.

4 мая» *.

Воспаление охватывает оба легких. Положение серьезно. У меня, тринадцатилетнего мальчика, экзаменационная страда. Да я и не имею никакого опыта в уходе за больным. Его умело и безотходно выполняет новая Паша. Свернувшись калачиком на разостланном по полу коврике, она проводит ночи около постели больного.

---

* *Фаресов,* с. 153 [143]. Автограф в Гос. Публичной б-ке им. Салтыкова-Щедрина. «Беллетристика». — «Из мелочей архиерейской жизни». — «Исторический вестник», 1880, № 6.

Во мне растет признание, что она буквально выходила моего отца, и одновременно живет какая-то не определяемая еще ясно предубежденность по отношению к ней.

Рекомендованный Шубинским доктор, Александр Леонтьевич Майер, домашний врач и желанный сотрапезник известного собирателя исторических рукописей, документов, автографов, гравюр и т. д. Павла Яковлевича Дашкова, славившегося также коллекцией великолепных вин и превосходным столом, ставит Лескова на ноги.

К концу мая, хорошо выдержав экзамены, я перехожу в четвертый класс.

Решается, что сперва отправлюсь на Украину я один, а во второй половине лета приедет туда и отец.

Давно мечтая об «отдельном кабинетике» и помня не раз высказывавшееся отцом желание переехать летом в квартиру окнами на улицу, я пускаюсь на поиски квартиры в четыре комнаты. Удается найти сразу две, на пустяки дороже и с обособленными комнатками для меня; Одна оказалась совсем рядом с нами, на площади Спаса преображения, а вторая, особенно заманчивая по своему плану и приближению к моей гимназии, у Цепного моста, у Летнего сада, окнами на Фонтанку и Инженерный замок, во втором этаже, с нарядной старинной парадной лестницей, прямо игрушка. Вечером удалось уговорить отца осмотреть их. Обе ему понравились, особенно вторая, но ни с одной из них он не кончил, объявив мне, к ужасу моему, что вчера видел где-то Рубана, в доме которого мы жили в 1875—1877 годах на Захарьевской, сказавшего ему, что в отстраиваемом им доме в конце Сергиевской, у самого Таврического сада, есть очень хорошая холостяцкая квартира в три комнаты с людской, ванной и т. д.

Так оно и вышло: отец на другой день законтрактовал рубановскую квартиру. Моя игрушка была потеряна! Я опять оставался без «кабинетика» Егорушки из «Явления духа», да еще и ходить в гимназию мне становилось в два с половиной раза дальше: полных три версты. Зимой выходить надо будет затемно, так как в восемь с половиной производился уже утренний осмотр в строю.

Никакие дипломатические мои шаги и доводы, что сразу после воспаления легких селиться в едва достраиваемый, сыростью дышащий дом крайне опасно, что четвертый этаж будет вызывать мучительную одышку, что

место ото всего удаленное и сильно повысит расходы на извозчиков, — ничто не помогло.

Тут же пришло и второе огорчение: мне было поручено объявить Аннушке об ее увольнении. Она встретила смущенно переданное мною заявление с достоинством, как хорошо предвиденное. Молчаливо и спокойно собрала свои убогие пожитки и на другое утро коротко, но тепло простившись со мной, покинула незаслуженно обидевший ее дом, чтобы дальше мыкать горе бесправной и бесприютной «прислугой». Мне было больно, но я был бессилен. Много лет спустя, прочитав в дневничке дяди Васи о том, «как ведет себя <его старший брат. — *А. Л.*> с теми, кто ему в данную минуту не нужен» *, — я вспомнил позабытое, так огорчившее меня в отрочестве происшествие.

Потерпев поражение на всех фронтах и зря потеряв в борьбе за квартиры не меньше недели вакационного времени, я безнадежно махнул на все рукой и торопливо собрался в путь.

В Киев из Петербурга идут ко мне, уже с новоселья, письма, рисующие течение отцовских дней первой половины лета. В некоторых из них ярко сказывается писательский дух их автора и мелькают биографические данные о нем.

«Вот уже пять дней, — стоит в первом из них, — как ты уехал, а я по тебе скучаю. В доме все еще приводим в порядок, — повесили новую лампу, обрядили окно в твоей комнате. Кенарейки гуляют и поют хором, а солиста нет... Работа у меня идет, но должна идти еще прилежнее. Вчера ездили с Витей <В. П. Протейкинским. — *А. Л.*> в «Ливадию» и в «Славянку» **, — ели твой любимый «немецкий салат» и пили пиво. Витя выпил три огромные кружки и до того напьянился, что пел с немцами, угощал их и потом шатался и всю дорогу шумел. Он кланяется тебе, Вере, дяде Алексею и тете Клёте, которая вчера с пьяных глаз у него сделалась уже *«Данилой Клотильдовной»... Непременно* побывай у дедушки Алферьева (утром) и у Алексеевых (лучше с тетей Клётей). Помни, что это *необходимо,* чтобы не делать отно-

---

* Запись от 8 апреля 1871 г. — Архив А. Н. Лескова.

** «Ливадия» — увеселительный сад и опереточный театр на берегу Большой Невки в Новой Деревне. «Царская Славянка — излюбленный петербургскими немцами ресторан с кегельбаном, почти рядом с «Ливадией», над той же Невкой.

шений неприятными для *всех* родных. Долго же у них не гостюй, чтобы опять не вышло недоразумений» *.

В следующем, между прочим, писалось:

«26 июня 80, четверг.
СПб. Сергиевская, № 56, к. 14.

Дорогой мой хлопчик!

Вчера, возвратясь из Старой Руссы, я нашел дома твое письмо, посланное из Киева 16-го числа. Все, что ты пишешь насчет своих намерений, — мне нравится и кажется основательным. Конечно, тебе лучше всего жить с кузинами и поехать с ними в Тимки. Это лучше и здоровее Киева, да, пожалуй, попей и кумыс. Это чистит кровь. В Каневе, как я и ожидал, тебе будет мало пищи для твоих желаний порезвиться, — скверный городишко хуже хорошего, — это я еще раз видел в Руссе, откуда не знал, как выбраться к Таврическому саду **. Нового у нас то, что лестницу раскрасили; квартиры уже *все* заняли, а нам на нашу тумбу Радонежский подарил огромный бюст Пушкина, «на новоселье»... Больше всего прошу тебя, *не спорь* с спорщиками и не поддавайся на задор. Всей неправды своей правдивостию не исправишь, да и сам не всегда бываешь прав. Преимущественно водись более с дочерьми Клотильды Даниловны: они, говорят, очень милые, и притом старшая тебе почти или даже совсем ровесница. Это тебе самая подходящая и самая добрая компания, и я не только рад, но даже счастлив, что ты сам это так обдумал и решил для тебя... Опиши, что было в Каневе и что такое Тимки? Мне хочется (*очень* хочется) узнать сравнение твоих впечатлений от деревни южной и деревни северной, в какой ты жил в Череповецком уезде. Гуляй, пей, ешь и набирай силы...» ***

В посланном на следующий день читалось:

«...Общество твоих кузин тебе самое наилучшее, да и в деревне летом лучше, чем в городе Киеве, который очень пылен. Притом же тебе хорошо узнать настоящую

---

* Письмо от 17 июня 1880 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Упоминаемая здесь поездка в Старую Руссу нашла потом себе отражение в рассказе, один вариант которого, под заглавием «Дикая фантазия», опубликован в «Литературном современнике», 1934, № 12, с моим послесловием и комментарием; второй, озаглавленный «Справедливый человек», пока не опубликован[144].

*** Архив А. Н. Лескова.

малороссийскую деревню и посравнить ее с севернорусской, какую ты видел в прошлом году, и ты этим пользуйся и мне опиши. Меня ведь это радует, что ты замечаешь и каких набираешь в душу запасов на жизнь. Теперь весна твоей жизни, и запасай цветки полей; а скоро летняя страда усилится, а потом и осень с ее непогодами. Пользуйся — смотри природу и людей разного пошиба и склада. Я очень рад, что мог доставить тебе эту поездку, которая, судя по началу, кажется, обещает быть удачною, т. е. довольно теплою, полною ласки и привета; приятных знакомств и содружеств; разнообразия мест, лиц, обычаев, нравов и впечатлений... Я, думаю, приеду после 15-го июля, написавши работу для «Исторического вестника *. Иначе ее не сделаешь ко времени. Здоровье мое служит, но ноги иногда побаливают... Прасковья наша служит хорошо: сшила мне халат и теперь шьет жилеты...» **

И, наконец, в последнем намечается близкое свидание:

«...Светик мой Дронушка! ...15-го я выехать не могу, по непременно выеду 20-го, т. е. в воскресенье, с почтовым поездом в 3 часа; а 23-го в среду должен быть в Киеве. Очень, очень рад, что тебе весело и привольно и что тебя любят. Ничего столько я не желал от этого лета, как того, чтобы ты нагулялся и отгулялся вволю. Так и вышло, и я очень счастлив и доволен за тебя. Выехать ранее 20-го я *не не хочу,* а *не могу,* — но 20-го выеду непременно (если бог позволит) и желаю застать тебя в Киеве, потому что оттуда мы должны будем предпринять вместе родственные визиты в Ржищев и в Канев, да и бабушка хотела к тому случаю приехать, и у дяди будет обед для всей семьи. Следовательно, и ты должен быть, и потому старайся приехать в Киев к 22-му числу июля. Вместе мы пробудем там еще три недели и поедем в Петербург 16-го августа... А лето-то как летит, — счастливые дни как бегут, и вот издали уже машет сухою рукою опять возвращающаяся школьная страда... Нагуливай, брат, силы и приступай снова мужествовать. Скоро, 12-го июля, в следующую субботу, тебе минет 14 лет.

* Речь идет о рассказе «Несмертельный Голован», пока писавшемся еще «вдоль», по письму Лескова к Шубинскому от 16 октября 1880 г., написанном уже и «впоперек», а в декабре появившемся в «Историческом вестнике».

** Письмо от 27 июня 1880 г. — Архив А. Н. Лескова.

Дай бог тебе здоровья и рассудка, чтобы сознавать условия своей пользы и иметь силу их достигать... Прасковья очень благодарит тебя за приписку и просит написать ее поклон. Она непременно хотела посылать тебе какую-то ложечку, что тебе нравилась, но я не взял. Она служит хорошо, но сама болеет. Теперь шьет тебе теплое одеяло...» *

Лесковское племя частично в междоусобном ожесточении, частью в межеумье. В Киеве обновление семьи фактического столпа всего рода сего, Алексея Семеновича. В Каневе неуемная оппозиция этой новой семье в лице матери, сестры Ольги, поглуше со стороны зятя Крохина. В Ржищеве монашески осмотрительное выжидание. Бурты полны признательности к тете Клёте. Михаил Семенович тоже уже передался на ее сторону.

Сочетать, согласовать, умиротворить здесь что-нибудь ко всеобщему благу едва ли кому под силу. А снизить тонус настроений надо. Необходимо убедить хотя в бесполезности продления, дальнейшего культивирования распри, всего более болезненной и неделикатной по отношению к всегда всем служившему Алексею Семеновичу.

«О Каневе, — писал мне отец из Петербурга, — твое описание очень грустно: я так и думал, что они не примирились, а *притворились...* Бедные люди! они, верно, и не думают, что это ничего не стоит и этим ничто не достигается. Притом же к чему это осуждательство, когда *все* члены семьи — на стороне тети Клёти, и она это получила не как дар за «прекрасные глаза», а как *заслугу* за ее милое, доброе и в высшей степени похвальное поведение против всех. Она именно имеет право сказать, что она всех *заставила* изменить о ней мнение и потом полюбить ее. Чего же им с нее доискиваться? Как это жалко и в то же время недостойно. Значит, они так никогда и не помирятся...» **

С таким, во всем верном, представлением о распределении ролей и характере настроений около 23 июля приезжает в Киев «старший в роде».

Марья Петровна для встречи своего первородного сына и для участия в устраиваемом в его честь общесемейном торжестве — уже здесь. Николаю Семеновичу отводится отдельная квартирка, и приставляется к нему

---

* Письмо от 6 июля 1880 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо от 27 июня 1880 г. — Архив А. Н. Лескова.

для услуг шустрая «Хашка». Он может располагать собой, как ему захочется.

В Киеве живет еще кое-кто из старых друзей, и в числе их Ф. А. Терновский [145]. Есть с кем повидаться, перемолвиться. Затем предстоит ряд интересных поездок по Днепру в Канев, Ржищев, в Бурты.

Встречи проходят везде дружественно, родственно-тепло. Давно не видались. Лесков не спешит и уделяет «несравнимой Украине» почти полный месяц.

16 августа мы выезжаем домой. Мать и все, начиная с тети Клёти, берут с Николая Семеновича торжественное обещание больше не скрываться от своих и непременно провести все следующее лето где захочет: в роскошных и просторных Тимках у сестры Клотильды Даниловны — Адели Даниловны Кринской, в Буртах у дочери, в Каневе в тенистом флигельке у сестры. Выбор велик. Прискучит одно — есть чем и сменить.

На таких условиях и расстаемся.

19 августа утром мы сходим в Петербурге с Николаевского вокзала. «Счастливые дни» остались позади. Вплотную подошла «школьная страда» у меня, неизбывная, скудно оплачивавшаяся работа — у отца.

Новая наша квартира стала мне поперек горла. Отцовский кабинет и спальня, правда, на юг, на солнце. Все остальное мрачно и неприютно. Ванна, нарядная парадная лестница, «людская» около далекой кухни и конурка с окном на лестницу для горничной, для Паши, мне ничего не дают. Рабочий мой стол в углу столовой. Сплю я в ней же на диване. Мечты о «кабинетике» увяли. Отдаленность от гимназии гнетет. Учебный год начат в подавленном настроении. Зима в холодной комнате с огромным венецианским окном, смотрящим на север и на виднеющуюся льдом скованную Неву, тянется беспросветно тоскливо. В гимназии леденящая душу черствость начальства, педантизм преподавателей, суровость военной дисциплины. Хмуро на душе и сердце.

У отца за «Несмертельным Голованом» появляется в рождественском номере «Нового времени» * полуфантастический, очень замеченный рассказ «Белый орел» [146], стоящий в каком-то соотношении с чем-то, может быть, частично и происшедшим когда-то в Пензе, в годы подвигов там пресловутого губернатора Панчулидзева [147] и

* № 1735 от 25 декабря 1880 г.

его достойного соратника, губернского предводителя дворянства А. А. Арапова.

Наступает 1881 год, встреченный нами у моей матери, на Сергиевской же, но на версту ближе к центру, у самой Литейной, рядом с угловым Сергиевским «всей артиллерии» собором.

Скорее бы весна! экзамены! а за ними солнечная Украина! Но выдавать эти желания опасно. Их надо носить, хорошо замкнувшись, в тайниках души. Отец что-то ни разу не обмолвился о лете!

28 января умирает Ф. М. Достоевский. Смерть этого человека вызывает цепь тяжелых воспоминаний, будит сложные чувства, поднимает со дна души много «сметья». Отношения с покойным с их начала не были ни удобны, ни легки, ни просты, ни дружественны. А дальше стали и открыто враждебны. Но об этом уже говорилось [148].

Едва пережилось это событие, как со всею неожиданностью на смену ему пришло новое.

После неторопливого воскресного завтрака, около второго часа дня, ввиду мягкой погоды отец пожелал пройтись. Двинулись мы медленной его поступью, с разговорами и остановками, в направлении к Литейной. Не шли, а топтались. При приближении нашем к Воскресенскому проспекту (ныне Чернышевского) в воздухе что-то не очень громко, странно ухнуло. Не обратив на это внимания, мы продолжали путь. Но вот вскоре же снова рвануло [149].

— Что это, выстрелы? — спросил, остановясь, отец.

— Не похоже: не круглый, а какой-то рваный звук, — с апломбом почти военного человека определил я.

Повременив немного, потекли дальше, шаг от шагу замедляя начинавшую уже утомлять отца ходьбу. Когда таким темпом стали мы, наконец, приближаться к Литейной, во весь опор пронеслись глубокие ковчегообразные сани.

— Что такое! Ведь это протопресвитер Бажанов, — бросил, встрепенувшись, отец.

— Здравия желаем, Николай Семенович! — раздалось справа взволнованное приветствие бросившегося нам навстречу швейцара моей матери. — Изволили слышать? Царя, говорят, убили!

— Где?

— На Екатерининском канале, у Марсова поля. Духовника видели? Сейчас промчали в Зимний.

Сев на первого попавшегося извозчика, мы устремились к месту происшествия.

У так называвшегося Театрального моста, на ответвлении Мойки от канала, стояла пока еще небольшая толпа. Сойдя с извозчика, мы перешли мост. Путь был прегражден оцеплением от Павловского полка, казармы которого находились в нескольких шагах. Остановились. Вскоре я убедился, что военных пропускают дальше. Меня осенило. Шагах в десяти впереди стояло несколько павловских офицеров. Разобравшись по погонам в их чинах, я, не сказав ни слова отцу, внешне сохраняя самообладание, хотя внутренне и волнуясь, размеренным шагом подошел к старшему, отчетливо остановился в трехчетырех шагах от него, одновременно пружинисто вскинув правую руку в белой замшевой перчатке к кепи, и застыл.

— Вы ко мне?

— Так точно, господин капитан.

— Что скажете?

— Господин капитан! разрешите мне провести за оцепление моего отца, члена Ученого комитета Министерства народного просвещения?

Личное право пройти ставилось мною вне сомнения.

По серьезным лицам офицеров скользнула улыбка,

— Разрешаю. Пропустить! — несколько громче сказал он, повернув голову к «людям», как называли тогда в обиходных случаях солдат.

— Покорно благодарю, господин к а п и т а н, — отчеканил я и строго по артикулу повернулся кругом.

Проходя мимо этой группы, отец признательно поклонился, а офицеры, все враз, учтиво откозырнули.

За оцеплением было довольно свободно. Убитых и раненых людей и лошадей уже не было. Глазам нашим предстало грязноватое месиво: подтаявший, затоптанный, местами зловеще розоватый снег, обломки и мелкая щепа от разбитой кареты, клочья военной и «вольной» одежды, обуви, осколки стекла, обнаженная и разрытая булыжная мостовая, густые кровавые пятна на ней... Ближайшие дома конюшенного ведомства удивленно смотрели с другой стороны канала пустыми глазницами окон.

Непосредственно на месте происшествия не чувствовалось планомерности в сбережении его во всей неприкосновенности. Все было представлено воле божией. Немногочисленная публика расхаживала на полной сво-

боде. Более любопытные копались в кучах самых разнообразных предметов или в снегу. Некоторые брали какие-то лоскуты или обломки «на память». Одна довольно элегантная дама, взяв сгоряча что-то, оказавшееся, или показавшееся ей, оторванным пальцем, дико вскрикнула и зашаталась. Ее заботливо подхватили и бережно увели.

Наглядевшись на все и многого наслушавшись, мы выбрались назад к Мойке и поехали на Дворцовую площадь. Она была залита народом. Говорили, что царь жив и, может быть, еще и поправится. Кто верил, кто качал головой.

Ближе к четвертому часу большой желтый императорский штандарт стал медленно сползать с флагштока, стоявшего на фронтоне дворца, против «Александрийского столпа».

Все стало ясно.

Через минуту-две раздался первый негромкий перезвон с маленькой дворцовой звонницы.

Добравшись до Невского, поехали за последними сведениями в редакцию «Нового времени», находившуюся тогда над знаменитой булочной Филиппова, угол Невского и Троицкого переулка (ныне ул. Рубинштейна).

Около Гостиного двора с нами поравнялся некий А. А. «Радонежский-Солнечный» *, как называл Лесков этого окололитературного чиновника, числя его позже уже прямо в «не совсем тщательно отобранном кружке своих знакомых» **[150].

— On dit, que l'empereur est mort! *** — торжественно-конспиративно возвестил нам сей и благочестивый муж, и успешливый чиновник, и предусмотрительный супруг денежной вяземской купчихи.

Но мы это уже знали наверно, как, не сомневаюсь, и наши извозчики, от которых Александр Анемподистович оберегал полишинелевскую тайну глубоко обдуманной французской конспирацией.

Проезжая мимо Аничкова дворца, отец спросил:

— Какой полк в карауле?

— Павловский, — отвечал я, взглянув на недвижимых парных часовых у ворот в остроконечных гренадерках.

---

* Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 9 февраля 1881 г.

** См. рассказ «Дикая фантазия». — «Литературный современник», 1934, № 12, с. 90.

*** Говорят, что император скончался (*фр.*).

— Вот то-то! Не вышло бы и все царствование гатчинским?..[151] — сказал отец.

В «Новом времени» сведения были невелики. Уточняли, что более часа состояние царя допускало надежды, что в одну из лучших минут Бажанов приобщил умиравшего и что, несмотря на все усилия Боткина и других, в три часа тридцать пять минут «дыхание замерло». Всего больше интересовало всех, что будет дальше: оставит ли новый царь у кормила правления «Лориса» (то есть Лорис-Меликова) и выполнит конституционные намерения своего отца или... Большими надеждами не обольщались.

Начинало смеркаться. Пора было ехать обедать к моей матери.

— Огромной важности событие, — говорил за столом отец. — Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества! Но верна ли сама тактика? Устрашает ли, вразумляет ли кого-нибудь террор? Не порождает ли он ожесточение, не вызывает ли усиление реакции, репрессий, мести, по которым расплачивается вся страна? Едва ли уцелеет Лорис... Вернее, все пойдет вспять... Приближенные к необразованному царю — люди невежественные. А тут еще его наставник и учитель его государственной мудрости, ученейший, умный и злонастроенный Победоносцев![152] Я его хорошо знаю. Он этому царю мои ранние произведения дарил *. Это опасный, закостенелый враг всему живому, передовому. Для в науках не зашедшегося человека, как новый царь, — это кладезь государственной мудрости, оракул... Вот где огромная опасность!..

К тому времени прежние отношения Победоносцева и Лескова выродились в неустанно росшую непримиримую вражду **.

На 6 марта назначается торжественное перевезение тела Александра II из церкви Зимнего дворца в Петропавловский собор. Пышность церемониала привлекает всеобщее внимание. Недавно окончившая институт Вера Бубнова умоляет моего отца дать ей возможность по-

* См. письмо Победоносцева к великому князю Александру Александровичу от 14 мая 1876 г. — «Письма Победоносцева к Александру III», т. I, М., 1925, с. 44[153].

** См. письма Победоносцева к Н. И. Субботину. — «Чтения императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете», М., 1915.

смотреть эту редчайшую церемонию. Должно быть, и самому писателю любопытно. Пренебрегая неудачей первого знакомства, Лесков едет к Кокореву в его палаццо на Английской набережной. По возвращении Вере посылается срочное извещение с целой инструкцией:

«Милая Вера!

По желанию твоему, я был у В. А. Кокорева и просил тебе места. Он мне с охотою в этом не отказал, но при этом сказал, однако, что «не счел себя вправе отказать никому из добрых знакомых» и, по его соображениям, дал позволение особ на 150—200, а потому и не знает: как кто сумеет разместиться у окон. Во всяком случае, вход нам открыт, а дом Кокорева — велик, но надо

1) быть *со мною* к 10 ч. утра, потому что позже уже не попасть в дом.

2) быть у меня к 9 ч. 30 м. — *не позже.*

3) быть в трауре.

4) подъезжать *не с набережной,* а с малого подъезда (с Галерной).

5) надо одеться хорошо, но *очень скромно* и иметь что-нибудь креповое. Там будут люди разные. Я в 9 ч. 30 м. уеду из дома.

Очень рад, что это тебе устроил.

Н. Л.» *

Шествие начиналось от Зимнего дворца ровно в полдень. Лично я созерцал его в упор, стоя в строю, в начале Английской набережной, тылом к Неве. На противоположной стороне набережной, тылом к домам, фронтом к Неве, стояли шпалерами войсковые части.

Маршрут шествия тянулся верст на шесть: Дворцовая, Адмиралтейская и Английская набережные, Николаевский мост, 1-я линия Васильевского острова, Тучков мост, Александровский парк, Иоанновские ворота крепости.

Видел я все великолепно. В процессии было немало скучноватого, но и масса очень яркого и красивого. Гвоздем ее являлся, как говорилось в церемониале, «латник», вернее же — рыцарь, ехавший на белом коне, в золотых доспехах, с белыми страусовыми перьями на золотом

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

шлеме, с поднятым забралом и с обнаженным мечом в руке. Но еще большее, по контрасту, впечатление производил тяжело выступавший дальше «латник пеший», в черной броне, в шлеме с черными страусовыми перьями, с приспущенным забралом и с опущенным долу мечом. За ним несли «печальное знамя из черной тафты» и «за оным» вели лошадь в черном уборе.

Так символизировались восшедший на престол и сошедший в могилу императоры.

Потом шел столичный магистрат, министры, герольды, небольшие отделения блестящей гвардейской кавалерии, несли многочисленные короны входивших когда-то в состав России царств и княжеств, державу, скипетр, императорскую корону. Далее следовало придворное духовенство с царским духовником Баженовым. Наконец появлялась печальная колесница со стоящими у ее штангов и держащими кисти ее балдахина генерал-адъютантами и свитскими генералами.

Непосредственно за ней следовал новый венценосец.

Всеми было замечено, что черный рыцарь идет трудно. Вскоре по городу распространился слух, что ражий мелкий чиновничек, согласившийся за сотню рублей изображать императора, сошедшего в сень смертную, ошибся в своей силе, надорвался и, кое-как дойдя до крепости, свалился и, день-два спустя сам лег в могилу.

Столица, как и вся страна, жила в домыслах — чего же ждать дальше, каково будет новое царствование, пойдет вперед или попятится, в какую сторону повернется руль государственного корабля? На Лориса надеялись [154], но каково собственное его положение?

Общественный пульс бился напряженно.

А тем временем шли аресты «первомартовцев», захватывались народовольческие типографии, разворачивалось следствие, надвигался суд [155].

Слухам, версиям, новостям не было конца и меры, причем обычно одни из них коренным образом опровергались другими.

Прогрессивные круги возлагали все надежды на М. Т. Лорис-Меликова, Д. А. Милютина, А. А. Абазу, А. А. Сабурова и немногих других из правящих лиц.

Им ожесточенно противостояли яро реакционно настроенные влиятельные мужи: К. П. Победоносцев, старый граф С. Г. Строганов, львояростный московский оракул М. Н. Катков и прочие, им же несть числа [156].

Царь, связываемый еще доверием отца к Лорису, выражает ему готовность идти по пути покойного. Опираясь на это, в своем предложении Государственному совету от 6 числа Лорис имел возможность и основание писать: «Руководствуясь таким решением, его императорское величество высочайше соизволил повелеть принять к точному исполнению изложенную выше священную волю своего державного родителя, как достойное всей его жизни прощание со своим народом».

Такова была увертюра к заседанию Государственного совета, состоявшемуся 8 марта, на котором лично присутствовал новый царь, просивший при этом всех высказываться совершенно свободно, не считая вопроса о дальнейшем курсе окончательно предрешенным.

Последнее развязывало руки противникам прогрессистов и Лориса в первую голову.

Заседание идет остро. Натиск Победоносцева и поддерживающих его — зловещ. Неотложное опубликование одобренных Александром Вторым мероприятий отклоняется. Лорису наносится сокрушающий удар. Александр III колеблется. Державный сын не решается еще отойти от выполнения воли переставшего быть державным отца. Он опасается возникновения при этом общественного протеста, брожений. Окончательного решения не вынесено.

С. Н. Шубинский торопит Лескова со статьей на внутриполитическую тему для апрельской книжки «Исторического вестника». Лесков 12-го числа отвечает:

«Уважаемый Сергей Николаевич!

Два дня писал и все разорвал. Статьи написать не могу, и на меня не рассчитывайте. Я не понимаю, что такое пишут, куда гнут и чего желают. В таком хаосе нечего пытаться говорить правду, а остается одно — почтить делом старинный образ «святого молчания». Я ничего писать не могу.

Всегда вам преданный

Н. Лесков» *.

Поведение газет, «гнувших» невесть куда, особенно суворинского «Нового времени», «мерзит» Лескову. Он отдыхает сердцем, слушая о горячем выступлении В. С. Соловьева 13 марта на Высших женских курсах с

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

призывом властей к милосердию по отношению к «первомартовцам» [157]. Совершенным восторгом исполняется он от второго, еще более смелого, уже широко публичного выступления этого философа в зале С.-Петербургского общества взаимного кредита на площади Александринского театра 28-го числа. На этот раз блестящий молодой ученый высказывался о совершенной несовместимости смертной казни с исповеданием всей страной христианской религии и прямо апеллировал к помилованию фактически уже почти приговоренных подсудимых.

После второй речи Соловьеву были запрещены какие-либо публичные выступления и сам он был отдан под усиленный надзор полиции *.

Лесков в это время хотя и был с ним знаком по сослужению в Ученом комитете Министерства народного просвещения, но близки они не были еще долго.

3 апреля на Семеновском плацу, ближе к железнодорожному полотну и сажен тридцать — сорок от казарм Семеновского полка совершена казнь, при выполнении которой огромный и тяжелый Михайлов дважды сорвался, сильно разбившись.

Вечером, выслушав взволнованные рассказы об этом посетителей, Лесков молча раскрыл, видимо с утра вынутую из шкафов, книгу ** и строго прочитал:

«Когда столкнули <общую для всех пятерых казнимых. — *А. Л.*> скамейку, то тела Пестеля и Каховского остались повисшими; но Рылеев, Муравьев и Бестужев испытали еще одно ужасное страдание. Петли у них не затянулись, они все трое свалились, и упали на ребро опрокинутой скамейки, и больно ушиблись. Муравьев со вздохом заметил: «И этого у нас не сумели сделать» [158].

— И о сю пору не научились. А практики, кажется, было довольно, — заключил чтение Лесков.

Свыше полутора месяца царит тяжелое межеумье.

Наконец российскому Торквемаде [159], как называл Победоносцева Лесков, удается убедить напрасно робевшего бывшего своего ученика, что оснований к сколько-нибудь серьезным опасениям нет и можно действовать твердо и уверенно.

29 апреля, минуя занимавшего еще пост министра

* См.: «Былое», 1906, март, с. 48—55.

** «Записки декабриста барона А. Е. Розена». Лейпциг, 1870, с. 144.

внутренних дел, но уже не воплощавшего «диктатуры сердца» Лориса, обнародуется написанный Победоносцевым манифест об укреплении самодержавия, в котором выражается решимость «стать бодро на дело правления, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утвердить и охранять для блага народного от всяких поползновений».

Курс был взят круто.

— Мой несчастный дар пророчества не обманул меня, — говорил Лесков. — Я видел, к чему все клонится и чьи силы восторжествуют.

Он покупает кабинетный портрет низведенного с исторической сцены Лориса, вставляет его в рамку и ставит на письменный стол как память о едва не проведенной им реформе государственного управления. Так и простоял этот портрет до кончины писателя *.

— Да ведь конституцию-то, Николай Семенович, он проводил «куцую»! — не раз язвят его посетители.

— А победоносцевское правление лучше? — гневно отвечал Лесков.

В голове и сердце у него уже зрели дерзкие статьи, вроде: «Великопостные аферы», «Святительские тени», «Бродяги духовного чина», «Райский змей», «Вечерний звон и другие средства к искоренению разгула и бесстыдства», «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи», «Золотой век» и т. д. до «Полунощников» и «Заячьего ремиза» или и посейчас еще не опубликованных вещей включительно.

Ничто не ускользало от зоркого глаза «Лампадоносцева», вызывая жестокие репрессии, нимало, однако, не укрощавшие «еретические» и «потрясовательные» выпады Лескова.

Проходит не один год. Получив от тюрьмоведа Д. А Линева (Далина) его книжку «Среди отверженных», Лесков пишет ему:

«Дмитрий Александрович.

Я получил от вас любезное письмо и книгу вашего сочинения. Искренно благодарю вас за память и доброе внимание. Книгу вашу я прочитал и сохраню <...> В острожных типах самое интересное было бы изобразить *палачей...* Что это за люди — каковы их нравы, сердца, по-

* Ср.: *Фаресов,* с. 312 [160].

нимание и пр. и п р . — ничего живо и просто рассказанного о них нет, а между тем это очень любопытные люди. Я давно говорил о них Никитину *, но он, по-видимому, мало о них знает. Неужто «день жизни Фролки» не стоит внимания или стоит его менее, чем анекдотические проказы арестантов?.. Меня это очень удивляет, когда я просматриваю сочинения наших тюрьмоведов. Если кто-нибудь из вас возьмется за описание этих людей, *до сих пор не описанных,* — тот найдет для себя живое и интересное занятие и несомненно заставит людей обратить внимание на его труд. Я не знаю — почему бы вам не попробовать этим заняться. Желаю вам доброго успеха.

Николай Лесков» **.

Семь лет не усыпляют памяти писателя. Он не может забыть палача Фролова, «приводившего в исполнение» приговор, вынесенный судом первомартовцам.

После всех больших событий зимы подошла весна. Я перешел в пятый класс, отец поразвязался с первоочередной работой, и мы, по обещанию, отправились на все лето на юг, остановясь по пути по делам на недельку в Москве.

Впереди рисовались мне два с половиной месяца блаженства на Украине, под ее стройными тополями, среди приветливых родных. Какое сравнение с петербургскими дачами или, говоря откровенно, с унылым имением Пейкер в глухом Череповецком уезде!

Увы, не все удающееся раз удается вторично. Дни, проведенные отцом с приезда в самом Киеве, заполняются встречами с продолжающими редеть старыми приятелями и знакомцами из не захваченных обуявшим весь, когда-то «милый», город «банковским направлением». Посещаются лавра с ее пещерами и «гроботочивыми главами», Михайловский златоверхий монастырь, Софийский собор. Штудируются производившееся в них открытие древних фресок, реставрирование иконописи. Навещаются на Подоле библиотека духовной академии при Братском монастыре и сидевшие вокруг него знаменитые букинисты. С грустью слушает Лесков жалобы книгопродавца Оглоблина на Крещатике на мертвенность города

---

* В. Н. Никитин — автор книг «Жизнь заключенных» (1871), «Тюрьма и ссылка» (1880) и др.

** Письмо от 5 марта 1888 г. — «Звезда», 1931, № 2.

и на полное отсутствие в нем интереса к книге. Ездит в Выдубецкий монастырь. Любуется видом с могилы Аскольда и Дира и... быстро начинает исполняться протестом и негодованием. Почти всегда сопровождая отца в его хождениях по всем этим, столь памятным и любезным ему смолоду, местам, я с трепетом наблюдаю, как быстро иссякает ныне его интерес к ним и терпение к пребыванию вообще где-нибудь, кроме «самого умного города в стране» — Петербурга.

Он раздраженно и, может быть, не всегда во всем заслуженно обрушивался даже на местных ревнителей сбора старины, резко высказываясь в статьях с глумливыми заглавиями, вроде «Заметка по хламоведению» *. Киев уже не влечет, а только гневит. Не спасают дела и родственные чувства. Старое увядает. Новому расцветать не по летам.

Не трогает и провинциальная идиллия завершения трудового дня в доме брата, хотя в ней есть много напоминающего «круглый семейный стол», объединяющий персонажи некоторых рассказов писателя.

Вечереет. Алексей Семенович возвращается с вторичного объезда пациенток, надевает холщовый балахон, берет увесистую лейку и принимается за поливку цветов в его небольшом, но прекрасно подобранном и содержащемся садике-цветнике. Жена и Михаил Семенович, тоже не последние цветоводы, охотно помогают. Хлопает калитка. Это заходят ближайшие соседи обменяться «простоплетными» новостями, соображениями. Поливка сменяется подстриганием стеблей, ветвей, укреплением жердочек и т. д.

Многозаботный день уступает место заслуженному отдыху. Хозяйка с террасы зовет к легкой закуске и чаю. Все полно бережи отношений, мира, тишины.

Чем не буколика? Сколько уюта, теплоты, мягкого речевого «тихоструя»...

Вот, думалось мне, сиротливому подростку, кто умеет собираться за «семейной лампой», о которой я столько слышал, а позже и читал, но никогда ее не знал в своей успевшей уже развалиться семье.

---

* «Новости и биржевая газета», 1882, № 284 (2-е изд.), 26 октября; «Привет г. Петрову в Киев». — Там же, 1884, № 346, 15 декабря и др. См. статью Н. Петрова в «Московских ведомостях», 1884, № 344, 12 декабря, и в «Трудах Киевской духовной академии», 1884, № 12.

Вот оно — нестерпимое «болтовство» и «слонянье» людей, которым и сказать-то путного друг другу нечего, — в эти же минуты, казалось мне, думал мой отец. Нет! Всего этого довольно! Домой, скорей домой, в умный и трезвый город с его редакциями, издательствами, журналами, газетами, литературными «трех-волнениями», пусть и «терзательными», но ничем не заменимыми.

По завершении паломничества по всем родным углам и возвращении в Киев вопрос о немедленном отъезде в Петербург ставится ребром. Лескова, по его лексике, уже окончательно «ведет и корчит». Да! — «кому судьбою...» Хватит! К своему письменному столу, к своей «берлоге»! Семейные лампы хороши только в повестях. В жизни рабочего человека им места нет. Писателю всего ценнее — «большие брани» *, а не мертвенный покой и невозмутимое благополучие.

Как случилось при вторичном посещении Парижа, и здесь — «уж я не тот» и «уже не вы душе всего дороже»...

Пока все это вызревало, я гостевал у новой своей «тети Адели» [161] в очаровательных Тимках. И вот, при поздравлении меня с днем рождения, в безоблачный день ударяет гром.

«8 июля, среда. Киев

Поздравляю тебя, мой сын, со днем твоего рождения, с которого ты начинаешь 16-й год твоей жизни. Молю святое провидение дать тебе разума и доброты. Скучаю я ради тебя ужасно и томлюсь без дела, в то время как другие работают. Лето это считаю пропавшим и для себя, и для тебя, и для общего нашего благосостояния. Это глупость непростительная для нас, особенно для меня, который поддался твоей безумной жадности хохлацкого болтовства и безделия. Пусть хоть это будет тебе наукою вперед, а потерянного уже не воротишь. Надоело, однако, слоняться без пристани по чужим домам и пора спешить к дому и к занятиям, чтобы не совсем одуреть. — 20-го мы будем в Тымки **, а 23 я желаю уехать

* Заглавие одной из боевых статей Лескова, помещенной в «Биржевых ведомостях», 1869, № 153, 8 июня, без подписи. Перепечатана в «Вечерней газете», 1869, № 126 и 129 от 11 и 14 июня. См. письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 8 апреля 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 309—311 [162].

** Лесков пишет «Тымки» — так, как это слово произносили окрестные украинские крестьяне.

в Петербург. Надеюсь, это будет и для тебя не только одною покорностию моей воле, но и твоим желанием. Хочу думать, что и тебе кое-что стало понятно и надоело.

Н. Л.» *.

Свидание, обещанное прошлый год матери, обращается в непростительную глупость и уступку (?) моей «безумной жадности хохлацкого болтовства и безделия».

Виновник найден или создан. Не все ли равно! Предопределяется немедленный выход. Есть на кого возложить и искупление всех бед, вызванных напрасным свиданием с «иже по плоти». В результате безо всякой о том нужды, да, пожалуй, и без какой-либо моей вины, у меня отнимается чуть не половина вакационного отдыха в деревне. Горькое вышло поздравление. Тетя Аделя и все новые родственники с Клотильдовой стороны утешают, что отпросят меня у отца до 20 августа. Я знаю, что будет так, как написано.

Через пять дней этому приходит новое подтверждение.

«13 июня, понедельник. Киев.

Мы приедем в Тымки 18-го числа, в субботу; пробудем там до 21-го числа утра, т. е. до вторника. Во вторник все выедем вместе, с тем, чтобы быть к 2 часам дня в Бобровицу, где сходятся курьерские поезда киевский и курский. Тут мы разделимся: дяди поедут в Киев, а мы с тобою в Петербург. Это избавит нас от напрасного проезда взад и вперед 75 верст и от 12 рублей напрасных расходов, всего на один день. К тому же, кажется, уже всего довольно, и пора думать о том, чем питаться и к чему себя готовить. — Еще раз поздравляю тебя со днем твоего рождения и привезу тебе три рубля. Арсенал твой укладываю в ящик и посылаю через контору транспортов в Петербург. Вера завтра приезжает ко мне проститься, а мать твоя уезжает в Строков. Остальное расскажу при свидании.

Отец твой *Н. Л.»* **.

Нужно ли говорить, что покорность воле отца не очень сочеталась во мне с личным моим желанием не спешить в душный каменный город.

---

* Архив А. Н. Лескова.

** Там же.

В субботу в Тимки приезжают отец, Алексей Семенович, Михаил Семенович и старый приятель киевских Лесковых инженерный капитан Запорожский, должно быть, сын упоминаемого в «Печерских антиках» комиссариатского «антика» Малой Житомирской улицы, близкий родственник семье Чернышей, да как будто в какой-то степени и Гоголю.

Размещены все мы были скопом в необъятном, в одну комнату, мезонине, где стоял чуть не десяток огромных кроватей для гостей. Самый интерес начинался, когда после хорошего ужина все шли наверх, медленно раздевались, закуривали и начинали делиться воспоминаниями из старого житья, из младших своих лет. Рассказы шли один другого любопытнее, и спать долго никому не хотелось, даже мне.

Иван Степанович Запорожский рассказывал о мальчишеском озорстве, учиненном на его глазах у гроба директора Военно-инженерного училища генерала Ломновского, о киевской старине, о Гоголе. Ничто не пропало даром. В ближайшие же годы появились рассказы Лескова: «Последнее привидение в Инженерном замке» *, апокрифическое сказание о Гоголе **, и т. д. Михаил Семенович вспоминал свои орловские кадетские и молодые офицерские годы. Алексей Семенович черпал немало любопытного из своей широкой акушерской практики. Было что послушать вообще, а писателю тем более.

Поездка в Канев принесла преинтересные статейки «Забыта ли Тарасова могила?» *** и «Вечная память на короткий срок» **** и вообще по меньшей мере не прошла даром.

Дали ли десятки летних поездок Лескова за границу, под Ригу, на Эзель, на Наровское побережье и на подгородние петербургские дачи такое освежение впечатлений и столько тем, как дали два коротких посещения Украины?

21 июля в двух экипажах, тепло напутствуемые всеми, мы с дядями и Запорожским отправились на станцию Бобровицы. Первым должен был прийти наш поезд, на Курск и Москву. Все немного сомлели в колясках,

---

* «Новости и биржевая газета», 1882, № 294 и 295, 5 и 6 ноября.

** «Путимец». — «Газета А. Гатцука», 1883, № 39—42.

*** «Новое время», 1882, № 2338, 1 сентября.

**** Там же, № 2335, 29 августа. Без подписи.

и разговор не вязался. Я изо всех сил старался не выдать своей удрученности, которая могла быть принята за фронду. Это было опасно.

Подошел поезд. Наскоро перецеловались, обменялись обоюдно малоуверенным «до свидания», сели. Выглянув из открытого окна вагона, я ясно уловил у моих дядей выражение, которое много лет спустя, уже в положении влиятельного столичного штабного работника, не раз читал на лицах провинциальных командиров при проводах инспектировавших «вверенные им» части: «слава тебе господи, хорошо ли, плохо ли, — пронесло, «отбывает»...»

Короткий свисток «обера», густой, с оттяжкой, ответ паровоза, — поехали...

Поразобравшись с вещами, отец сел, вздохнул, вынул из небольшого кожаного портсигара папиросу и затянулся во всю душу...

«Сюда я больше не ездок» — говорило дышавшее пришедшим, наконец, удовлетворением его лицо.

Матери, скончавшейся через пять лет, видеть сына больше не пришлось.

Побывка 1881 года явилась своего рода квитом Лескова с Киевом, когда-то таким дорогим и милым. Больше ноги его здесь не было. Другие свидетельства — или легкомысленны, или непостижимы в их вымышленности *.

Через год Лесков пишет В. М. Бубновой, в замужестве Макшеевой:

«О Киеве говорить не стоит: я это все давно знаю и твердил 15 лет кряду, но вы, к сожалению, этому не верили. Говорю «к сожалению», — потому что *всего* испытать самому нельзя и чужой опыт людей, сколько-нибудь стоящих веры, — всегда выгоден. — Чем далее, тем Киев будет тебе более и более враждебен, и ты должна иметь это в виду, чтобы не делать иногда роковой ошибки» **.

Не менее выразительны и строки, писанные в следующем году С. Н. Шубинскому из Шувалова: «Действительно, дача измучила. Это не отдых, а терзание, а в городе тоже несносно. Все нам худо. И в Киев

* Напр.: И. Н. Кузьмин. Н. С. Лесков в Киеве. Маленький фельетон. — «Новое время». 1915, № 1391, 22 февраля.

** Письмо от 14 июня 1882 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

ездить — тоже тяжело. Что и природа без людей, с которыми можно хоть потосковать вместе!» *

Наступает новое лето. Я на Украине, отец в Мариенбаде. В одном из писем ко мне, без непосредственного повода, он загорается старыми обидами, возлагая ответственность за гибель нашей семьи на мою мать и обвиняя братьев в малосочувственной ему позиции. Негодующе утверждает он, что Алексею Семеновичу «нравилось, что он так хорош», что он уже тогда говорил о Николае Семеновиче как о человеке «несносного характера».

От строки к строке, умножая вины братьев, как и моей матери, он доводит себя до раздраженности, погашающей какую-либо объективность в освещении и оценке своей или чужой неправоты.

«Теперь они нечто прозрели, — пишет он, — но для нас это уже не имеет значения. — То, что мы пережили, — было ужасно... Но во мне эта кровная обида не уснула никогда и ни на одно мгновение... Но видеть их мне действительно нестерпимо тяжело. В Киев я *не* поеду. Это решено» **.

Оставалось удивляться уже не бесповоротности квита, а тому, как не пришел он еще в семидесятых годах.

Как видно из позднего письма Лескова к сестре Ольге Семеновне, даже в близком ожидании смертной «трубы», воспринятое и, хотя бы и предвзято, усвоенное сердцем нимало не укрощалось.

«Видеть тебя и Веру я желал бы, — пишет он ей, — но я ведь очень болен, и дальние поездки мне не по силам. К тому же в Киеве для меня очень много тяжелого и досадительного, а это мне все уже не годится. Придется — увидимся, а не придется — и так обойдется... Настало время не обременять себя заботами, а «ждать трубы». *Н. Лесков»* ***.

Еще позже он заносит в записную книжку:

«Из Талмуда. Одного мудреца спросили: — Кого ты больше любишь, своего друга или своего брата? Он отвечал: — Я склонен больше любить своего брата, который сделается моим другом ****.

---

* Письмо от 20 августа 1883 г. — Пушкинский дом.

** Письмо от 3/15 июля 1884 г. — Архив А. Н. Лескова.

*** Письмо от 4 февраля 1892 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

**** ЦГЛА.

Неплохо звучит. Но... не теплее ли, когда братья простосердечно берегут дружбу, как сумели сберечь ее всю жизнь Алексей и Михайла Лесковы?

ГЛАВА 11

«ВРАГИ ЧЕЛОВЕКУ ДОМАШНИЕ ЕГО» [163]

Чрезвычайно выразительны изменения отношений Лескова с его братьями и сестрами. Более других теплы они были у него в свое время с ближайшим к нему по возрасту Алексеем Семеновичем.

Но вот, уже в 1871 году, и им дается своеобразнейшая иллюстрация в подарочной надписи на «разнохарактерном попурри из пестрых воспоминаний полинявшего человека», под заглавием «Смех и горе» *.

«Достолюбезному старшему брату моему, другу и благодетелю Алексею Семеновичу *Лескову,* врачу, воителю, домовладыке и младопитателю от его младшего брата, бесплодного фантазера, пролетария бездомного и сея книги автора. 7 июля 71 г. СПб.» **.

Она совсем не так весела, простодушна и шутлива, как может показаться с первого взгляда.

Родившийся 9 июня 1837 года, Алексей Семенович в действительности был на шесть лет моложе дарителя.

В «друге» и особенно в «благодетеле» таится не малая ирония. Дружба между двумя старшими из братьев жила когда-то, но с годами и с жизненным разобщением давно поблекла. Ходовое в былое время, искательно-почтительное наименование «благодетель», давно выброшенное из жизненного и бытового обихода, отдает скорее смешливым умалением, чем простосердечным признанием многоразличных услуг и заслуг одаряемого.

«Врачевание», являясь подлинной профессией последнего, помянуто законно.

А почему «воитель»? Алексей Семенович страстно любил лошадей и по своему положению бойко практикующего врача находил необходимым держать хороший выезд. Требовались, значит, и кучера, которые зачастую оказывались хорошими пьяницами, склонными во хмелю

---

* Москва, 1871; Собр. соч., т. XV, 1889—1890, с. 5—193.
** Архив А. Н. Лескова.

к буйству. Приведение их к порядку в некоторых случаях брал на себя сам могучего сложения хозяин, выросший в привычных традициях «доброго старого времени». Укрощение строптивых производилось из собственных его рук, отрезвляюще и незлобиво. «Лексей Семеныч — барин справедливый и отходчивый», приходилось слышать потом от укрощенного. Дальнейших последствий такие события не влекли за собой. «Люди» жили у него охотно и подолгу.

В начале 1871 года он приобрел приветливый каменный розовый особнячок с мезонином и деревянными флигельками, с изрядным местом и прекрасным садиком, в самом верху Михайловской улицы, под номером семнадцатым, у площади «Присутственных мест», почти рядом с златоверхим Михайловским монастырем и близко к знаменитому историческому Софийскому собору. Отсюда — «домовладыка».

Остается еще — «младопитатель». Но это уже шло изо всего образа жизни и ведения себя этим «старшим братом» по отношению решительно ко всему ближнему, дальнему или и вовсе призрачному родству или свойству, не считаясь с возрастом питаемых и призреваемых.

В области «родственности» два старших брата являлись воплощением двух взаимно противоположных начал.

Алексей Семенович исповедовал центростремительность. К нему лепилось, около него кормилось и ютилось и свое, и женино, и невесть чье до какого колена родство или свойство. Это был собиратель рода своего и добровольно сопричислявших себя к таковому. Здесь вечно одни приезжали, другие уезжали, третьи прочно селились по флигелькам и мезонинам. И все это всегда безотказно и радушно им «пропитывалось».

Николай Семенович с гимназических еще лет, год от года неотступнее, действенно являл центробежность. Останавливаясь на распре, жившей в родстве Надсонов и Мамонтовых, он 7 февраля 1887 года писал Алексею Семеновичу: «Зачем это необходимо, чтобы всегда и везде было так, что «враги человеку домашние его»? Из всех слов Христа — эти слова с детства моего казались мне самыми ужасными и безотрадными, пока открылось мне, чт*о* составляет полное возмещение этой утраты» *.

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

В год поднесения брату книги автору ее исполнилось сорок лет. Он поторопился бросить гимназию. «Старший брат», родившийся значительно позже, оканчивает ее с золотою медалью. Николай Семенович служит мелким чиновником; бросает службу, меняет ее на коммерческую деятельность; бросает и ее; снова делается чиновником и опять уходит в отставку; наконец к четвертому десятку лет стремительно отдается литературе, которая приносит ему много бед; приобретает в ней имя, не приобретя не только особнячка, но хотя бы сколько-нибудь верно обеспечивающего заработка. Отсюда — во всем «младшее» бытовое положение; отсюда — «бесплодный фантазер» и «пролетарий бездомный».

«Фантазер» пущен в родстве давно. Есть слова, которые, как говорил Лесков, «липнут».

Блестяще окончивший университет по медицинскому факультету, оставленный секретарем университетской гинекологической клиники, быстро приобретший великолепную докторскую практику в городе, занявший заметное положение в городском самоуправлении, Алексей Семенович со своей стороны начинает признавать в старшем брате своем фантазироватость. Это ему никогда не прощается.

Подчеркнуто, не без горькой усмешки уступает Николай Семенович свое первородство, вынужденный признать первенствующее положение в родстве младшего брата.

Болезненно самолюбивый, не переносит он хотя бы и незлобивой шутки по отношению к себе, не извиняет кажущегося ему колким отзыва о нем. В итоге в письмах и беседах все чаще прорываются с его стороны по отношению к Алексею Семеновичу едкие характеристики и клички: «муж, думающий головами своих жен»; «бесструнная балалайка»; «фетюк», а то и — «безнатурный дурак».

Это доходит до брата из третьих уст, а вгоряче бросается ему и в лицо. Мало того — эти же термины мелькают в произведениях, воскрешая в памяти киевлян, к кому именно и с какою легкостью они примерялись в жизни.

Начинает злобиться и добродушный фетюк. Отношения стынут год от году больше. И неудивительно. Даже в самой подносимой книжке, повести «Смех и горе», в главах 79-й и 82-й пестрят многие из этих слишком хорошо памятных словечек.

«Фантазер», в свою очередь, так уязвлял Николая Семеновича, что не забывался никогда никому.

Даже на седьмом десятке лет, стариком, он не упускает уколоть им вдовую сестру Ольгу Семеновну, замешкавшуюся с ответом на его письмо:

«Отвечать на письма аккуратно могут люди свободные и несерьезные, вроде Гладстона или Льва Толстого, да иных еще пустяшных людей из «фантазеров», а умным и деловитым — всегда некогда, и до самой смерти они своих нужных дел не переделают» *.

Интересно, что он же без тени обиженноста вспоминал раз об одном ученом «добром монахе», архимандрите Арсении Иващенко, который находил, что он, Лесков, «фантазироват» **. Но... что отпускается стороннему, на то да не посягает свой.

С течением лет братья совершенно разобщаются. Младший жалеет, но мирится, свыкается с создавшимся положением. Старший старательно культивирует в себе ощущение пренебреженности, оскорбленности. Прививается потребность засыпать кого только можно, вплоть до юных и робких племянниц, гневом дышащими жалобами на невнимание, а то и прямое презрение, якобы являемые ему братом Алексеем. Эта самоистязующая работа ведется с удивительным усердием.

В отроческие годы я смущенно читал в отцовском письме жесткие строки о всегда таком радушном и ласковом ко мне дяде моем: «Будь он скромен и не обижайся за то, что не все разделяют его любовь к ничтожеству и невежеству, — он все-таки прекрасный человек. Доля его в будущем, без сомнения, не обещает хорошего, но и это он сам устроил опять в пику образованности и возвышенности ума» ***.

Чем дальше, тем оценка становилась безнадежнее и обреченнее.

Так ли сильно был привержен невежеству Алексей Семенович, как и неразлучный с ним всю жизнь Михаил Лесков?

Нечего и говорить — они не жили в той напряженности работы мысли, в той остроте исканий, в которых

* Письмо от 30 января 1893 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо к П. К. Щебальскому от 10 ноября 1875 г. — «Шестидесятые годы», с. 334.

*** Письмо из Мариенбада в Киев от 12/24 июня 1884 г. — Архив А. Н. Лескова.

горел их из нервов сотканный знаменитый брат. Однако по-своему, по-провинциально-киевскому, оба они были любознательны, начитаны, выписывали столичные газеты и «толстые» журналы, покупали у Оглоблина на Крещатике последние книги. Конечно, это не был пульс особо требовательного ума, но и в пику уму здесь, пожалуй, ничего не чинилось.

В 1879 году вдовый Алексей Семенович встречает новую избранницу сердца, Клотильду Даниловну.

По мере развития и углубления романа рождается желание прочно оформить отношения. Предстоит развод с Болотовым, бросившим жену с тремя детьми от него.

Мать и сестра Ольга Семеновна яро противятся этому браку. Они свыклись с мыслью, что сын и брат создан для их удобства и не должен иметь личной жизни.

Даже никогда ничего не искавший от брата Михаил Семенович шлет в Петербург не ахти сколь восхищенное по отношению к будущей невестке письмо, отмечая, что «она человек не злой, не умный, не красивый, не молодой, не здоровенный и пр. и пр. «*не*» — так что ею навряд ли кто поинтересуется, кроме его, а сживутся они на радость себе и никому на горе» *.

Но матери и сестре это было именно горе.

Не особенно выигрышное впечатление произвела она и в Петербурге в приезд свой туда с «женихом» в январе 1879 года.

Однако всесильная мягкость характера, удивительная сердечность и готовность служить всем и каждому чем только можно быстро располагают к ней все сердца. Через какие-нибудь полгода даже сам Николай Семенович в письме к брату Алексею от души приветствует ее приход словом, полным добрых надежд и благопожеланий.

Сменяет свое первоначальное равнодушие вскоре и младший из братьев, Михаил Семенович. Духовно согретый, он искренно привязывается и к невестке, и к двум ее девочкам, и даже к дефективному, но, как мать, беспредельно доброму ее сыну. По собственному предсказанию — сжился «на радость себе и никому на горе».

От петербургского брата идут хвалы и благодарения

---

* Письмо к Н. С. Лескову от 2 февраля 1879 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

новому «доброму человеку» за ряд серьезных услуг, которые он успевает оказать на первых же шагах.

В общем же отношения с Киевом все-таки продолжали глохнуть, лишь временами оживляясь при очередной желчной вспышке. Такими и дотянулись они до самой кончины Николая Семеновича.

Почувствовав большую жизненную усталость, Алексей Семенович подводит итоги непрерывно-трудовой жизни. Отклоняет переизбрание его на новое пятилетие директором Александровской городской больницы. Уходит, по прошению, со всех занимавшихся им должностей на пенсию. Продает свой дом. Покупает под Киевом, в Козелецком уезде Черниговской губернии, в широко раскинувшемся местечке Кабыжчи, благоустроенный хутор с просторным домом, садом, прудом и прочими угодьями. Замужние падчерицы насылают из своих, вблизи расположенных имений великолепных кур, индеек, павлинов, свиней, коров, лошадей. Дом — полная чаша! Сам он превосходительный, действительный статский советник, кавалер ордена святого Владимира третьей степени на шее, скромно, но прочно обеспеченный до гробовой доски. Хозяйка умелая, неутомимая. Можно считать — «в пределах земных совершил все земное»[164] и приобрел заслуженный отдых.

Но вот, по второму году хозяйка начинает тяжко недомогать. Произносится страшное слово — рак!

Она встречает приговор спокойно, страдает, стараясь никого не обременять заботами о себе, умирает безропотно, бестрепетно, идя навстречу смерти, пришедшей 24 ноября 1901 года.

Дом «повивается» безысходной скукой. Все приходит в запустение. Тоска! Одинокая старость!

Впервые я посетил моего последнего дядю на этом его пепелище в январе 1903 года. Он показался мне старше своих лет. Без поглощенности привычными служебными и общественными интересами, без не менее привычных забот о нем самом со стороны «Клёти», без прежнего домашнего многолюдства, он жалостно одинок, как бы покинут всею прежнею жизнью. Однако внешне храбрился. Но это плохо удавалось. Пределом редко выдававшегося развлечения была пулька с местными иереями, мировым судьей и ветеринаром.

Вторично я прогостил у него Пасху 1908 года. При мне, как улыбаясь говорил он, ему было дано

«первое предостережение» — легкое кровоизлияние в мозг, на сутки стеснившее речь. После моего отъезда удар вскоре повторился. В беспомощном уже состоянии его отвезли опять в Киев. 8 декабря 1909 года он умирает. Погребен, согласно его воле, рядом с женой на кладбище села Пески, близ Кабыжчей. Некролог дан в «Киевлянине» от 10 декабря 1909 года.

По былому правому суду Лескова, это был человек, которому «принадлежит уважение всякой души, способной понимать величие простых, но величавых в своей простоте поступков».

Прибавлю от себя: он был из тех людей, которые умеют «почувствовать добра приятство».

* * *

Следующим братом, родившимся 1 ноября 1841 года в Панине, был Михаил Семенович, единственно определенный на казенный счет в Орловский кадетский корпус. Немного послужив офицером, он перешел в акциз.

Холостяк, он весь век прожил с братом Алексеем, всегда в составе его семьи, в разделении с ним всех его интересов. Жили действительно по-братски. Он искренно горевал о чахотке и смерти первой жены брата, потом двухлетнего сына их Юры и не очень радовался предстоящей новой женитьбе на Болотовой. Но и на этот раз опять слился всею душой со всем составом новой семьи брата, полюбив невестку, лаская ее детей. После его смерти в записной его книжке оказались строки: «Все брату Алексею». Старший, петербургский брат этим от наследования волею покойного устранялся.

До конца семидесятых годов переписка между ним и старшим петербургским братом кое-как велась. В восьмидесятых — следов ее нет. На моих глазах он отдалялся от моего отца, не спрашивал о нем, молча смотрел куда-то мимо, вдаль, когда заходила о нем речь за обеденным или чайным столом.

В летние мои поездки на вакации на Украину я обязывался писать донесения о положении дел, настроениях и веяниях, преобладающих в родстве. Должен сознаться, что, как вижу теперь, я подчас писал их мальчишески умничая. На одно из таких моих писем отец отвечал: «Пустота чаще всего склоняет к занятиям глу-

постями, в числе коих можно полагать и вождение девчонок по кондитерским. Он <Михаил Семенович. — *А. Л.*> представляет уже собою нечто не столько жалкое, как даже презренное. Алексей по крайней мере — кормилец. Это не шутка, а заслуга» *.

Это, несомненно, был не беспристрастный суд, а голос лечившейся в Мариенбаде больной печени.

Но вот выпала раз забота мирить сестру Геннадию с ее игумениею. И тут, без тени колебаний, Николай Семенович пишет Алексею Семеновичу: «Надо кому-нибудь ловкому и обладающему тактом в устных объяснениях побывать в Ржищеве. Я знаю, что это неприятно, досадительно и противно, но иначе нельзя. Из всех это мог бы сделать брат Михайла, достаточно неторопливый, толковитый и сметливый. Другие принесут один вред. (Не говорю о тебе, потому что тебе некогда). Две дуры *обе проиграли,* и им надо дать реванш, и это возможно, а без этого ничего не будет. Урок на Геннадию *не* подействовал: она сетует, что пострадала по доносу шести монахинь, а не считает, что сама посылала доносы, да еще безымянные... Чего благочестивее и лучше! Разобрать их нельзя. Все одним миром мазаны, но надо ее «заклинить назад» во что бы то ни стало» **.

Рано утром 16 августа 1889 года, лелеявший мысль вскоре выйти с прискучившей разъездной акцизной службы на пенсию и покойно доживать дни в лоне родной ему братниной семьи, Михаил Семенович вышел из своей комнаты, схватился в буфетной обеими руками за большой посудный стол, залил его хлынувшей из горла кровью и упал бездыханным.

Полетели телеграммы. Вспыхивает обмен письмами Петербурга с Киевом и еще много более оживленный с Витебском, где к тому времени жила сестра Ольга Семеновна с мужем Крохиным.

«Сейчас получил из Киева депешу от Алексея, что *«брат Миша скончался».* Депеша послана утром сегодня же в 7 часов, сегодня же он и отошел. Вероятно, и вы тоже получили такое же извещение, но на всякий случай пишу вам об этом. Я вчера вспоминал о Мише и

---

* Письмо из Мариенбада от 12/24 июня 1884 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо к А. С. Лескову от 17 апреля 1886 г. — Архив А. Н. Лескова.

имел предчувствие, что его не увижу более в земной оболочке. Сейчас послал Алексею ответ по телеграфу, заключающийся в следующих словах: «Давно был лишен общения с ним, но вчера имел это предчувствие. Усопшему и живущим неизменная любовь». Дух мой смутился этою вестью, и жаль мне, что брат, к которому я питал живую любовь, уклонялся от общения и довел это до конца. Надо это простить ему и любить его. Он, без всякого сомнения, был человек из рода людей добрых, честных, сострадательных и благородных. В том, что он нас оставил и избегал, — надо искать причин в самих себе. Это еще может на что-нибудь годиться, ибо так можно в себе что-нибудь поправить. Если есть иная жизнь вне земного тела (во что я твердо верю), то дух брата Михайлы был благороден и благожелателен, — следовательно, он пойдет вверх, а не вниз — к лучшему, а не к худшему. «Кончен труд жизни, и он возвратился к богу — отцу духа». Ему благословение — живущим мир. Искренно желаю, чтобы никто ничего не распытывал и не подал бы ни малейшего подозрения в намерении во что-нибудь вступаться. Надеюсь, что таково же на этот предмет и ваше желание. А потому думаю, что всякие осведомления и расспросы должны быть крайне умеренны, а может быть лучше, если их вовсе не будет, потому что узнавать уже не о чем и не для чего иного, как для одного любопытства. Без сомнения, за Мишею был и досмотр и попечение в доме брата Алексея, который его любил, и все его там любили и имели все причины желать ему здоровья и продления его дней. Я не буду ничего писать, потому что не хочу рисковать быть оставленным без ответа и тем внести в собственную душу чувство обиды, о которой, против желания, будет жить воспоминание. Вы, разумеется, «поступайте как хотите — все равно будете раскаиваться». Но если не утерпите и станете справляться и что-нибудь узнаете, то сообщите мне *только то, что касается болезни и кончины* брата. Ни о чем ином мне знать не нужно и не полезно... Продолжайте жить, укрепляя себя во всем, что делает жизнь на земле исполнением воли божией, — «в правде и в истине».

Н. Лесков» *

---

* Письмо от 16 августа 1889 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

Напряженность предостережений о непроявлении излишнего любопытства прекрасно характеризовала горделивость писавшего. Она полна опасений об усмотрении в таком любопытстве заинтересованности наследовательского порядка. Эта почти брезгливая щепетильность вскоре же нашла себе достаточное оправдание.

Прочитав какой-то, не сохранившийся, ответ от витебского зятя, Лесков пишет ему:

«Любезный друг Петрович!

Пусть так: когда получите известия о Мише — сообщите мне. Думаю — что он умер в доме брата и своею, естественною смертию. Впрочем, депеша была нарочито кратка, а случаи возможны самые непредвидимые. На этот счет, вероятно, были бы пространнее. *«Горем»* смерть одинокого человека называешь напрасно. Что такое смерть — никому не известно. Во всяком случае в ней есть покой от земной жизни, — а это одно уже есть благо, а не горе. Сказано так: «тяжело умирать, но хорошо умереть». Умереть, не оставляя беспомощных сирот и общественного дела, которому горел желанием служить для торжества правды и добра, — да это никакое не горе, а это «окончание экзамена». Миша уже свой экзамен выдержал, а у нас он еще впереди, и сколько ни живи — он все еще впереди будет... Вот это страшно, а «умершие блаженны». Миша, надеюсь, не оставил никого в таком сиротстве, и нечего об этом событии говорить лишнее. Смерть дело общее, окладное, которого избежать никто не может и с которым надо сдумываться и свыкаться, а не бояться слуха о смерти. Это постыдно и вредно для взрослого человека, который не может не знать, что все мы смертны и «думы наши за горами, а смерть за плечами». У китайцев есть много умного и хорошего, чему Грибоедов советовал нам «поучиться у китайцев», а у них дети дарят родителям гробы и желают «скорой и легкой кончины». Мне это всегда казалось умно и прекрасно. На что мне «многие лета»? Это чтобы все шлепать губами, чавкать пищу и слушать одни и те же слова глупости и притворства... То ли дело искреннее желание «скорой и легкой кончины»!.. «Окончить тысячи терзаний». А ты говоришь: «горе»... Совсем это не горе. Статистика доказывает, что умирает «определенное количество», — все равно как определенное количество билетов выходит в тираж. Вышел человек в тираж, да и все

тут. Ни вдовы, ни сирот, ни общественных дел, которым он был предан... О чем же слова печали? — Я очень нездоров: вчера в 1 ч. ночи посылал за Бертенсоном. При моей любви к врачам и доверии к их науке — это может тебе сказать, что мне очень не легко. Обнимаю вас.

Н. Л.».

Письмо, начинавшее приобретать известную нетерпеливость, было закончено под самый конец четвертой странички обыкновенного почтового листка. Но уже разыгравшееся во всю «нервическое» возбуждение дает завершительный взрыв: вопоперек, по узенькому полю последнего листка, стоят две строки совершенно нечаянного, уже совсем беспощадного вывода: «Миша не умер ли назад тому лет 12? С тех пор он, кажется, только ходил по привычке к Семадени *. И тут кругооборот совершился: его есть кому заменить в этой службе обществу» **.

Итог подведен: жизнь, пройденная без служения широким интересам и задачам общества, — не имеет оправдания.

Проходят две недели. Киев не спешит. Приходится опять писать в Витебск «Петровичу».

«О смерти брата Михайлы до сих пор еще не знаю никаких подробностей. Жду, что вы об этом доведаетесь и мне напишете. Все-таки хочется знать: как оборвалась его земная жизнь и как он встретил переход в иное положение — сознавал это или нет, оробел или имел мужество подчиниться неминуемому, сохраняя возможное достоинство духа? Пожалуйста, напишите, что вы узнаете.

Я совсем потерял нити общения с Киевом и боюсь отыскивать их концы и начала, чтобы не усиливать в себе тяжелых ощущений. На сих днях меня просили дать рекомендацию к брату Алексею, и я — грешный человек — отказался, ибо боялся, что причиню этим человеку не пользу, а скорее вред» ***.

На третьем году после смерти Михаила Семеновича, отвечая как-то на полные негодования и обиды «разметные грамоты» сестры, Николай Семенович ставит Ольге Семеновне в образец поведение в отношении Алексея Семеновича: «Один только Миша воздал ему за дружбу

---

* Лучшая кондитерская на Крещатике.
** Письмо от 22 августа 1889 г. — Архив А. Н. Лескова.
*** Письмо от 30 августа 1889 г. (фонд Н. С. Лескова).

дружбою — т. е. *любил тех, кого Алексей любит* <...> Это ведь только и есть одна-единственная возможность доказать ему благодарность!.. Вот ты и спроси себя: *делаешь ли ты это?* Проявляешь ли ты эту *любовь,* такою, какова должна быть любовь?» *

В середине сентября Алексей Семенович приезжает в Петербург и останавливается у брата. Цель приезда и течение дел явствуют из нового письма Лескова в Витебск: «Теперь справляю Алексеево поручение, состоящее в моем отречении от наследства по оставшемуся имуществу брата Михаила <...> Денег осталось что-то около $4^1/_2$ т. и не все в наличности. Впрочем, я и не осведомлялся и ранее решал это для себя в том смысле, как оно делается. Унаследовав все, брат Алексей с тем вместе принимает на себя уплату Геннадии той самой суммы, какую давал ей покойный Миша... У брата Алексея Семеновича есть какая-то записочка руки покойного Миши, что он желает, чтобы *«все»* принадлежало Алексею. Стало быть, *«все»* и надо вручить ему. Геннадия, б. м., этим обидится, но я не мог и не должен был поступить иначе, т. к. у Миши сказано: *«все* Алексею». С моей стороны всякое самомалейшее вмешательство было бы неуместно, и притом Геннадия будет получать столько же, сколько п о л у ч а л а, — стало быть, никакой денежной потери она не претерпевает» **.

В этот приезд Алексей Семенович пробыл четыре дня как бы на ходу. В Москве его ждала жена, предпочевшая остановиться там у каких-то друзей.

Со стороны создавалось впечатление, что братья боятся сбиться с тона. Темы для бесед подыскивались опасливо, ощупью. Все говорило о том, что оба они жаждут как можно скорее, и может быть, и прочнее прежнего, разобщиться. Мне, двадцатитрехлетнему человеку, посвященному обеими сторонами во все тайны их взаимных неудовольствий, выпадала невеселая и нелегкая задача рассеивать тяготу.

В смене лет, дней и настроений менялись взгляды, оценки, приговоры...

Настроение, подчас минута, благоприятствовали свободному от желчи суду или полному ею осуждению.

---

* Письмо от 29 марта 1892 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо от 19 сентября 1889 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

* * *

Жила еще под Киевом сестра Наталия Семеновна, в монашестве Геннадия, родившаяся в Орле 7 июня 1836 года и скончавшаяся 28 апреля 1920 года в Ржищевском монастыре.

Как мы уже знаем, Семен Дмитриевич, не слишком бесповоротно собравшись как-то умирать, внушал старшему своему сыну, Николаю Семеновичу: «Нет жалчее существа, как в сиротстве девица». Для дочери слова его оказались вещими: жалчее ее в родстве не было — ее невзлюбила мать. Жилось постылому ребенку горше горького. Не обошлось и без такого толчка девочки о кованый сундук разгневанною чем-то матерью, после которого она почти перестала расти и сгорбилась.

Защита не игравшего большой роли в доме отца не смягчала положения. Со смертью его стало и того хуже.

По достижении пятнадцати лет забитая девочка видит единственное спасение в послушничестве. С трудом устраивается в Орловский монастырь. После подвизается в Киевском и, наконец, в Ржищевском, где и кончает свои безрадостные дни, на четверть века пережив своего именитого и «сурьезного» брата.

Какую образованность дали ей родители и какою грамотеей пустили ее на свет божий — убедительно скажут строки из письма ее к Николаю Семеновичу, писанного ею двадцати шести лет. Это уже прямое обвинение не только светски воспитанной матери, но и переводившему Ювенала и Флакка отцу. Завершается оно, буква в букву, так: «если взтумаеш ко мне писат то пиши на почту переяславскую а атуда на ржищевская станцию с пиридачию игумени марий ана пиридаст мне ево. я буду утешана твоими писмыми и глядет как не тепе прощай брат чалую тепе крепко и прошу незабыват ничтожную систру тваю послушничу многа грешную наталию лескову» *.

Удивляться ли, что весь интерес, смысл и вкус жизни свелся у нее к кипению в котле монастырских дрязг, борьбе мелкого честолюбия, зависти, интриг, поклепов, доносов друг на друга и т. д.

Киевские братья вообще терпели от сестры немалую докуку.

---

* Письмо без даты. — Архив А. Н. Лескова.

Какая-нибудь беседность с нею не на ржищевские темы — исключалась. Общению в сущности держаться было не на чем. Отношения с всесторонне далеким петербургским братом давно отмерли, переписка не велась.

Но вот, раннею весною 1886 года, по зову жившей тогда в Петербурге Ольги Семеновны Крохиной, сестра Геннадия, конечно с келейницею Феоною, приезжает повидаться, погостить, посмотреть столицу.

По первым вестям в Киев об ее встречах со старшим братом Марья Петровна приходит к безошибочному выводу: «а матя, вижу, плохо сошлась с Николаем Семеновичем» *.

А последний вскоре же пишет брату Алексею: «Сестра Геннадия, как я вижу е е , — крайне недалека и бестолкова, но при этом упряма и глупо надменна. Убеждения на нее не действуют. Чего нечем понять, того и не поймешь. Лучшего и более достойного, чем соревнование в монастырской сваре, она не видит в жизни» **.

Личное свидание в 1886 году не только не сблизило, но скорее еще внятнее раскрыло полное разобщение ржищевской сестры с петербургским ее братом. О переписке вопрос и не возникал. Расстались отчужденнее, чем свиделись.

Через два года, услыхав об угрозе нового свидания сестер, Лесков желчно пишет мужу Ольги Семеновны: «Не знаю, для чего они желают развозить свои особы! Что такое они друг другу могут сказать в совет, в поддержку или во вразумление?.. Надоедят друг другу с рыбкой да с маслом *** — только и всего удовольствия. Пора и сестре Ольге стать посерьезнее и отказаться от привычки «родственную жвачку жевать». Есть д о ч е р и , — они тоже сродни ей приходятся. Надо следить за раскрытием их душевных способностей. И за этим *трудно* уследить, а не то чтобы монашеское паскудство слушать или родственные пересуды разводить. Всего этого уже было довольно и принесло плод обилен <...>. Хороша беседа с тем, расставшись с кем человек чувствует себя хоть несколько успокоенным в своих сомнениях и вразумленным в своем неведении, но искать беседы, с кем и гово-

---

* Письмо к О. С. Крохиной от 10 марта 1886 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо от 17 апреля 1886 г. — Т а м же (фонд Н. С. Лескова).

*** Имеются в виду заботы о постном монашеском столе.

рить-то не о ч е м, — это дело достойное сумасшедшего дома, а не семейного дома. Если уж очень с к у ч н о, — возьми резинку, напиши на ней имена, да и жуй... Вот и все равно, что «родственная жвачка», с тем преимуществом, что не выйдет новой сплетни и нового ожесточения бабьих сердец, которым фетюки-мужья с одной и с другой стороны не умеют сказать мудрое и спасительное «цыц!» *.

* * *

Приговор, вынесенный сестрам, строг. Не мягче он и в отношении братьев.

Надежды преодолеть родственный квит — никакой.

---

* Письмо к Н. П. Крохину от 29 октября 1888 г. — Архив А. Н. Лескова.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

НА ПУТИ К МАСТИТОСТИ

1881—1889

В опыте, в бденьи, в борьбе;
Думы окрепли, созрели
Новые грани и цели
Жизнь призывали к себе.

Вяземский [1]

ГЛАВА 1

ПОКОЙ ПРИ «ЖЕНСТВЕННОМ РАВНОВЕСИИ»

Возвратясь в июле 1881 года из Киева, снова зажили мы у «Тавриды». Ценя ее тишину и свежесть, Лесков уже никогда не изменял ей.

Настроение отца поднялось, как только поезд помчал его от Киева к «милому северу», давно вытеснившему из его сердца «сторону южную» [2].

Меня, школьно замуштрованного, как говорили военные — «зацуканного», дичившегося юношу, поражала общительность отца, легкость, с которой он находил неисчерпаемые темы для бесед со спутниками любых общественных положений, званий, профессий, лет.

Убеленные сединами, строгие обликом, длиннобородые купцы, корректные сановники в бакенбардах, нетушливые военные генералы, духовенные всех иерархических степеней и исповеданий, мелкая приказная сошка и даже начавшие подсаживаться от Москвы армейские лихие юнкера Тверской кавалерийской сморгонской академии, попросту «сморгондии» *, — все быстро очаровывались богатством опыта и знаний блестящего собеседника.

Так протекло двое с половиной суток тогдашнего пути в почтовом поезде от Киева до Петербурга с пересадками в Курске и Москве.

---

* В местечке Сморгонь Виленской губернии долго существовала, учрежденная князьями Радзивиллами, школа для обучения медведей, прозванная Сморгонской академией. В шестидесятых годах так же окрестили и вновь учрежденные юнкерские училища, куда принимались полковые вольноопределяющиеся из недоучившихся в среднеучебных заведениях. Такие училища были в каждом военном округе по одному для пехоты, а для кавалерии два на всю Россию — в Твери и Елисаветграде.

На Сергиевской[3] нас ожидал безупречный порядок, тишина и ровность домашнего ритма. Мельчайшие требования отца выполнялись, вкусы учитывались, желания угадывались.

В сумме — воплощалось «женственное равновесие», о котором позже грустно писалось одному родственному лицу со знаменательным заключением: «тогда я становлюсь *благодарен за мой покой* и предан душою без раздела» *.

Мелковатая, щуплая, узкогрудая, должно быть чахоточная, с бледным непримечательным, но неглупым лицом, Паша говорила негромко, двигалась бесшумно, работала умело и неустанно. Оценка ее достоинств росла, положение укреплялось. Она это знала. И все-таки в ее лице не виделось удовлетворенности, с него не сходило месяц от месяца становившееся более заметным приглушенное раздумье.

Не к добру Лесков, радовавшийся воцарившемуся в доме, обеспечивавшему рабочий покой порядку, стал слишком много и слишком горячо «подавать» виновницу создавшегося благополучия.

Беллетристическая потребность образов предательски подсказала ему более чем смело найти внешнее сходство ее с Дездемоной — по изображению последней в лейпцигском кипсеке шекспировских женщин, изданном Брокгаузом в 1857 году. По живости темперамента, в подтверждение такого вывода разворачивался лежавший на переддиванном столе злополучный альбом. Иногда это совпадало с моментом, когда живая Дездемона подавала в кабинете гостям чай. Некоторые проявляли льстивый интерес, с напускным вниманием всматриваясь в гравюру, как и в живую натуру, некоторые являли холодноватую рассеянность, не остававшуюся без возмездия.

Всем становилось легче, когда увесистое издание закрывалось и ложилось на свое обычное место, а разговор переходил к более общим и широким темам.

Шекспировская Дездемона, видимо, нарушила личное равновесие Прасковьи.

Вернулся я как-то ранее обыкновенного из корпуса. Открыла мне дверь кухарка. Отца дома не было. Улег-

---

* Письмо Лескова к В. М. Бубновой от 2 января 1883 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

шись в кабинете на шезлонг, я принялся за газеты, в которых всего больше привлекали меня переводные романы, с дуэлями и всяческой чепухой из великосветской парижской жизни. Особенно мне нравились Ксавье де Монтеен и Буа де Буаробей, обильно публиковавшиеся в «Петербургской газете». Прошло с четверть часа. Звонок. Затяжной «междоусобный» [4] разговор в дверях. Доносится упорствующе-неприветливый говорок Паши и другой, не сразу мною опознанный... Прислушавшись, срываюсь в переднюю. «Отойдите прочь», — едва владея собой, тихо говорю я держащейся за ручку входной двери, побелевшей от неожиданности Прасковье.

Поведя по мне цепким, из-под низа брошенным взглядом, она, беззвучно скользнув, исчезла.

Мать моя, успокаивая меня, просит передать что-то отцу и предать заслуженному забвению недостойный внимания «пассаж». Посидев немного, она ушла.

В начале седьмого часа, с почти обычным опозданием, приехал отец. Прошел обед. Сел я за приготовление обильных уроков. Все понемногу растворилось в ученических заботах, смене повседневных мелочей, интересов.

В одном неоконченном рассказе, в главном герое которого Лесков явно подразумевал себя, говорится, что по его «теплой простейшей натуре» ему дана была несчастная способность «снаровить женщине».

Всегда ли бывало так — определять трудно, но с «Дездемоной», пожалуй, да.

Едва ли случай в передней мог сколько-нибудь серьезно повлиять на дальнейший ход внутридомашних наших событий. Вернее, Паша не один раз останавливалась на из века свойственной каждой женщине ее ранга мысли о том, как бы «закон принять», выйти за хорошего человека своего круга и уровня и зажить простою, во всем своею личною жизнью. Несомненно, не раз обсуждалась ею неопределенность настоящего, призрачность будущего.

Думалось, возможно, немало и не ею одной, но не с одинаковым проникновением, тревогой и дальнозоркостью.

Где-то у Мопассана старый генерал, подвергая сомнению легкость завоевания искреннего расположения молодой женщины человеком так называемого почтенного, но малоприятного возраста, мужественно сознается, что, заскучав по ласковой женской улыбке, он берет под руку своего молодого красивого адъютанта, идет с ним по люд-

ным улицам города и ловит улыбки, брошенные его счастливому спутнику. Автор знал женщин. Назидательным примером он предостерегал забывающих свои годы от опасных самообольщений.

Грибоедовская служанка с исконно народной трезвостью приходит к неоспоримому выводу: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь» [5].

Проведя не одно лето на острове Эзеле, Лесков записал эстонскую пословицу: «Всякая курица на насест хочет». Она так понравилась писателю, что он поставил ее эпиграфом к одной острой, шестьдесят лет терпеливо ожидающей публикации, статье *.

Заветное, неоспоримое желание не совсем еще упустившей молодость женщины: прочный союз, семья.

Удача, видимо, шла Паше навстречу.

К концу 1881 года она начала часто проситься «со двора». Это было ново. Замкнутая замкнулась еще крепче.

В первых числах марта следующего года она, не без смущения, коротко, но твердо заявила: не взыщите, ухожу, иду замуж.

Декларация была принята как бедствие. Женственное, а с тем и рабочее равновесие шло прахом. Трудно перенося какую бы то ни было неприятность в самом себе, Лесков делился происшедшим почти со всеми без разбора. В адресной его книжке появилась собственноручно сделанная им запись:

«(Паша) Пр. Анд. Игнатьева, Фонтанка, № 132, кв. 281» **.

Будущий ее муж служил или работал в знаменитой «Экспедиции заготовления государственных бумаг», где печатались государственные кредитные билеты, то есть бумажные деньги, гербовая и вексельная бумага и т. д. Служащие и квалифицированные рабочие имели там квартиры, неплохо оплачивались, получали медали «за усердие», при большой выслуге — почетные звания, а то «выходили» даже и на «классный чин».

В новой жизни все, начиная с служилого положения мужа и казенной *квартиры*, — устойчиво, складно да ладно. «Со двора» отпрашиваться уже не придется: сама хозяйка! Чего краше.

С годами я отвык вспоминать, по правде сказать, не

---

* «Темнеющий берег»; статья написана в 1887 г. — ЦГЛА [6].
** Архив А. Н. Лескова.

лишенную замечательных достоинств Пашу. Но вот, почти в канун смерти отца, появился боевой его рассказ с едким и вызывающим заглавием — «Дама и Фефела» *. Дан был ему и подзаголовок — «Из литературных воспоминаний». Последний оказался далеко не отвечающим действительному содержанию этого частию полемического, частию беллетристического и всего менее мемуарного произведения.

В писателе-критике, терпевшем семейные невзгоды, с которых начинается повествование, между строк предлагается видеть Н. И. Соловьева [7]. Но он умер 4 января 1874 года в Москве, куда переселился за несколько лет до своей кончины. Ни о какой «фефеле», оставшейся с ребенком от него, у нас никогда не поминалось. Во всяком случае, если она и существовала, все противоречило ее появлению в Петербурге. Это надо было обойти. Воспоминания невольно перестроились в свободное творчество. Так было удобнее и для завязки, и для гибкости композиции, и для умножения лиц, положений, событий. В основе была задача противопоставить зловредной «даме» добросердечную, пусть и апокрифичную, «фефелу». В лепке последней неожиданно я узнал кое-что, взятое от полузабытой уже Паши. Героине дается памятное имя — Праша. Ей присваивается Пашин говор: «слов нет, я примеров воспитания не получала». Как та — она рассудительна: «во все вдумывалась», и т. д.

До сильно поспешившей старости жил образ, звучала речь. Захотелось литературно их сберечь, хотя бы придав и другому лицу.

Дальше почти автобиографично рассказывается фактически о собственной болезни по весне 1880 года, о том, как при заботливом уходе сам автор «пошел на поправку». Отсюда шла глубокая благодарность, легко переходившая в *преданность душою без раздела.* Воспоминания претворялись в трактат на острую и живую тему, поставленную в первых строках рассказа: «какие подруги жизни лучше для литератора — образованные или необразованные». Любопытно, что почему-то завершается он неожиданным полуисповедным предположением: «Если бы писатель жил долго, я думаю, что он бы ею < П р а ш е ю . — *А. Л.*> наскучил и она окончила бы свою жизнь гораздо хуже».

---

* «Русская мысль», 1894, № 12.

Так писалось на краю жизни, когда давно прошедшее виделось яснее, освобожденное от отмерших уже личных счетов, когда движения прошлого оценивались шире и мягче.

«Ступает старость осторожно», — любил цитировать Лесков. И сам уже иногда «ступал» и судил осторожнее [8].

«Фефела»-Паша, конечно, не знала концовки рассказа, но в свое время могла «прозирать» возможность для себя и такого оборота.

Творческая производительность лет «равновесия» достаточно велика и ценна. Сюда входят: «Несмертельный Голован», «Белый орел», неувядаемый «Левша», «Штопальщик» и другие, менее значительные рассказы. Кроме того, помещена масса газетных статей, статеек и совсем мелких заметок. Поработано.

Без хозяйки, говорит народ, дом сирота. С уходом Паши у нас наступило смутное время. Горничных-домохозяек, экономок в русских городах не было. Напасть на толкового или хорошо подготовленного человека было трудно. Шла непрерывная смена самых разнородных типов, один другого малонадежнее.

Вопрос оставался неразрешенным, дом необслуженным, беспризорным. Как тут было работать! И опять шли жалобы, просьбы ко всем знакомым опытным хозяйкам помочь.

Только к весне 1882 года появилась некая эстонка Кетти Кукк, о которой не избежать говорить, но подальше. Здесь достаточно сказать, что так или иначе она продержалась до октября 1885 года, когда было признано необходимым ее удалить.

Сообщение об этом, полученное мною от отца в Киеве, в своем конце вылилось в полное драматизма воспоминание.

«В доме у меня все продолжаются нестроения. <...> Здоровье мое неважно, усталость — безмерная, радости в жизни никакой; в доме все кое-как и нет даже отдыха. Найти подходящего человека вести дом — даже отчаиваюсь. Что ни перемена — все хуже, и о Паше вспоминаю как о моем ангеле-хранителе. Ничего равного ей не вижу и не знаю — как мне жить в доме моем» *.

---

* Письмо от 24 декабря 1885 г. — Архив А. Н. Лескова.

Давняя утрата была так тяжела, что с упоминания о ней начиналась впервые задуманная автобиографическая документация всей жизни, увы, не развернувшаяся.

Во всю эту жизнь от «дам» шли одни «Liebesfieber'ы» *, оставившие воспоминания, полные отравы. Умиротворяющее, благотворное «женственное равновесие», к несчастию обидно краткое, пришло раз — с «фефелой». Память о ней жила не увядая и как будто «без раздела» с другими образами и представлениями.

ГЛАВА 2

ОТСТАВКА

Нам по службе нет счастья в роду **.

Служебный путь Лескова, случайный и прерывистый вначале, в последней его фазе был полон прямого трагикомизма, разрешившегося в конце концов беспримерным апофеозом.

Оппозиционность Лескова год от года росла. Его статьи, как и беллетристические произведения, вызывали негодование властительного Победоносцева ***, «смиренных» членов «святейшего правительствующего синода», величайшего лицемера и ханжи государственного контролера Т. И. Филиппова и многих других, вроде «картинно пламеневшего» **** в славянофильстве московского публициста И. С. Аксакова, не говоря уже о всем лагере «львояростного кормчего» [9] влиятельных «Московских ведомостей» и «Русского вестника» М. Н. Каткова.

Почему-то сам он, как это ни странно, точно не задумывался над тем — совместимо ли с занимаемым им служебным положением, год от года становившееся все менее «благонамеренным», если не «потрясовательным»,

---

* Любовные лихорадки, передряги (*нем.*).

** Из письма Н. С. Лескова к А. Н. Лескову от 29 августа 1887 г. — Архив А. Н. Лескова.

*** См., напр., переписку Победоносцева с Н. И. Субботиным («Чтения императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете», 1915, кн. 2) и с Е. М. Феоктистовым («Литературное наследство», 1935, № 22—24).

**** Письмо Лескова к В. Г. Черткову, без даты; видимо, начала 1887 г. — Архив В. Г. Черткова, Москва.

направление всей писательской его деятельности? Почему-то не собрался пересмотреть вопрос — нужна ли ему вообще на что-нибудь эта нудная служба с ее жалким окладом, отнимающая так много рабочего времени от писательства, со всеми ее досаждениями! Что могла она сулить в будущем, если до сих пор приносила только одни уязвления, недвижимо держа его на самой низшей оплаченности в восемьдесят рублей в месяц, не повышая в чинах даже «за выслугу лет»! Шел планомерный измор. Как можно было его не замечать и терпеть! Положение тем более удивительное, что, как уже упоминалось раньше, весь этот «Комитет мерзил» Лескову еще с 1875 года, а ученого председателя его Лесков, опасаясь своей вспыльчивости, почитал за счастье «не видеть» вовсе [10].

Он хорошо помнил, что при определении его на службу министр обещал просившим за него дать ему должность чиновника особых поручений с окладом в две тысячи рублей в год. Помнил и то, что «по радению» того же председателя, Георгиевского, место это «было передано Авсеенке, жена которого умеет вести дела своего мужа» *.

Авсеенко, несравнимо превосходя Лескова в области дипломов, далеко не был сравним с ним в одаренности, знании России и ее народа. Ни «Соборян», ни «Запечатленного ангела», ни «Очарованного странника» за ним не числилось, и ничего равного им не ожидалось. Не вызывали его произведения и ничьего восхищения и благодарности за них. Но Георгиевский безошибочно понимал, что никто из слишком «высоких», а с тем и далеких, не станет следить, сколь он фактически ублагоустроит служебно навязанного ему сотрудника с большим литературным именем. Чиновному сердцу безукоризненно выдрессированный и почтительный Авсеенко был, конечно, неизмеримо любезнее журналиста, позволившего себе, кстати сказать, не так давно вышутить внешность будущего председателя Ученого комитета. Сделано это было в статье, посвященной разносу В. П. Авенариуса, под заглавием «Литератор красавец», где походя был упомянут «недавний случай с сотрудником *Московских ведомостей* г-м Георгиевским, которого туркофил Лонгворт

---

* Письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 15 января 1876 г. — «Шестидесятые годы», с. 339.

нарочно поставил лицом к лицу против хорошо сложенного турка и сделал между ними двумя сравнение, довольно невыгодное для России, имевшей, к несчастью, на этот раз своим представителем не бойкого г. Авенариуса, а скромного г. Георгиевского» *.

В свое время профессиональный фельетонист, критик и полемист едва ли помнил, когда, где, кого и чем задел под горячую руку. Это случалось часто и не казалось сколько-нибудь значительным. Напротив, мнивший себя уже совсем значительной персоной Георгиевский едва ли забыл оцарапавшее его перо.

Обход Лескова обещанным министром местом и окладом знаменовал явное нерасположение к нему Георгиевского. Сразу же ни в чем не оправдывались ожидания, связывавшиеся с возобновлением государственной службы: вместо сколько-нибудь ощутительного укрепления бюджета и выполнения иногда любопытных, живых служебных заданий предстояло полустариковское сидение за рассмотрением книг, издаваемых для народа под нестерпимым гнетом «благочестивого вельможи», — он же «верующий мирянин», — явно относившегося к Лескову более чем «странно приимно».

Вот, например, как он приглашал к себе достаточно известного уже писателя на литературное чтение:

«Милостивый государь,
Николай Семенович!

По странной забывчивости, которая объясняется до некоторой степени вчерашним болезненным моим состоянием, я не просил вас сделать мне честь пожаловать ко мне сегодня часов около девяти: А. Н. Майков обещал прочитать свой перевод Эсхилова Агамемнона. Искренно преданный

А. Георгиевский.

Воскресенье.
3-го марта 1874 г.» **.

Почти официальное вступительное обращение, напряженно-изощренная формула «сделать мне честь пожаловать», весь тон и стиль записки нарочито сух. Невольно начинает казаться, что хозяин первоначально «не просил» к себе приглашаемого не по одной «забывчи-

* «Литературная библиотека», 1867, сентябрь, кн. I, с. 93 [11].
** Пушкинский дом.

вости». Возможно, что А. Н. Майков, ценивший большую литературность Лескова, обмолвился желанием иметь его своим слушателем, после чего пришлось исправлять «забывчивость». Кого искренно хотели видеть у себя по какому-нибудь случаю, того приглашали за несколько дней. Так почиталось и радушнее и... вежливее.

Оказывалось, что на то же самое чтение и в тот же самый вечер, но, по обычаям дома видимо, в более ранние часы, Лесков был зван и И. А. Гончаровым. Здесь с ним познакомился А. В. Никитенко *. Майков, следовательно, читал 3 марта 1874 года свой перевод сперва у Гончарова, а затем и у Георгиевского. Присутствовал ли на втором чтении Лесков — не знаю. Вероятно, да. У Гончарова не засиживались.

С конца 1885 года Лесков стал дарить известному коллекционеру рукописей и документов П. Я. Дашкову кое-какие автографы[12]. В их числе оказалось и приведенное выше письмо, на котором даритель сделал красными чернилами пояснение:

«Георгиевский Александр Иванович. Экс-либерал из Одессы. — «Рука Каткова» и «подобие Бисмарка в России» по определению Делянова».

12 июля 1875 года Лесков писал из Парижа киевской старушке А. Р. Сотничевской о своих знакомых аристократах, через которых надеялся пристроить ее на службу в Петербурге: «Люди, опять повторяю, несравненно приятнейшие, чем всякая провинциальная шушера и чиновная шишмара, взросшая в пресмыкательстве и добивающаяся его от других» **.

Какую надутую «чиновную шишмару» мысленно видел писавший — ясно.

В связи с крушением в 1877 году семьи знакомство его с Георгиевским сходит на нет. Видаются они теперь исключительно в Комитете, в строго служебной обстановке. Это продолжает ухудшать достаточно сухие отношения.

В марте 1878 года каким-то образом в «Русском вестнике» — после четырехлетней мертвенной паузы — проскальзывает «Ракушанский меламед» Лескова. Затем наступает уже окончательное разобщение с Катковым,

---

* А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе, т. II. СПб., 1905, с. 506[13].

** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

закономерно переходящее вскоре в непримиримую вражду.

Георгиевский по-прежнему неизменно близок с «трибуном Страстного бульвара» [14]. Хорошо помня значительность роли последнего в принятии Лескова на службу в Министерство народного просвещения, «рука Каткова» всесторонне учитывает свершившееся изменение расположения фигур на шахматной доске. Сообразуясь с ним, Георгиевский усугубляет холодность к Лескову. Никогда не дышавшие искренностью встречи становятся едва выносимыми. Выгода в создавшемся положении, несомненно, на стороне начальствующего.

Легко представить себе, с каким усердием принялась дальше эта «чиновная шишмара» отравлять жизнь пылкому подчиненному!

Забывая повышать оклад Лескова, Георгиевский не забывал «всучать» ему многотрудные «работки» или щекотливые в разрешении «щетинки».

Довольно упомянуть хотя бы один доклад Лескова, потребовавший для его заслушания нескольких заседаний: четыре вторника подряд *. Тут разбирался всесторонне острый вопрос о допущении к преподаванию в народных школах «закона божия» недуховными лицами. Один такой труд, в шесть печатных листов, изданный по распоряжению министра **, казалось бы, мог вызвать внимание к работнику, упорно выдерживаемому в «черном теле». Но у Георгиевского не могло лежать сердце к человеку, чуждому раболепия.

Случалось, и не один раз, что министр, через директора Департамента народного просвещения Э. Г. Брадке, просил Лескова дать свое заключение о какой-нибудь лично заинтересовавшей его книге или по какому-нибудь вопросу, даже выходящему за пределы ведения Министерства народного просвещения. Это тоже не повышало благорасположения ревнивого Георгиевского.

Лесков задыхался. Его возмущало в этом человеке все: напускная церковная религиозность, упоенность своим положением, торжественность его появления на засе-

---

* 13, 20, 27 ноября и 4 декабря 1879 г.

** «Министерство народного просвещения. Выписка из журнала Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения. 4 декабря 1879 г. № 387. О преподавании закона божия в народных школа. СПб., 1880. Напечатано в количестве 200 экз. по распоряжению г. министра народного просвещения».

даниях Комитета непременно последним, дабы иметь возможность благосклонно принять почтительное приветствие всего состава возглавляемого им органа и, первым опустясь в председательское кресло, милостиво пригласить всех занять свои места. Это пышное «сретание», повторявшееся каждый вторник, мутило дух уже отвыкшего от многого литератора. Чтобы не вставать при появлении его превосходительства в распахивавшихся курьером дверях, Лесков никогда не садился до появления последнего. Мелочь? Пожалуй. Но ценная для постижения болезненности самолюбия одного в опьяненности своим величием другого.

С своей стороны Лесков точно более торопился, чем был в силах, вызывать неудовольствие и самого министра. На исходе первого же года службы под началом Д. А. Толстого, занимавшего одновременно и «пост» обер-прокурора святейшего синода, в газете князя В. П. Мещерского появилась бесподписная статья Лескова «Об обращениях и совращениях» *, явно сочувственная противному церкви штундизму [15] и даже раскольничеству, заканчивавшаяся едким указанием на мертвенность работы синодальной книжной лавки. Это не могло нравиться синоду. В иерархической последовательности чувствует себя задетым и сам обер-прокурор, он же министр просвещения. По его требованию в княжьей газете помещается синодское «опровержение» **. Сиятельный редактор и сиятельный же министр, встретясь в «свете», вероятно одинаково улыбаясь, обменялись несколькими словами о не совсем благонравной статье, но, несомненно, неодинаково отпустили этот грех ее автору. Лесков собирался было возражать на «опровержение», но увидал, что затею эту надо оставить ***.

«Уважаемый Иван Сергеевич, — пишет он через несколько лет Аксакову. — <...> Есть в моей жизни такой анекдот: Катков, в заботах обо мне, просил принять меня чиновником особых поручений (2000 рублей), но у меня оказался «мал чин», так как я был тогда губернский секретарь в 40 лет. Можно было это обойти назначением к исправлению должности, но решили, что

---

* «Гражданин», 1874, № 49, 9 декабря.

** Там же, 1875, № 3, 19 января.

*** «Заметка на официальное опровержение, напечатанное в № 3 Гражданина, по требованию обер-прокурора святейшего синода». Было набросано два пункта и едва начат третий, — ЦГЛА.

довольно с меня и меньшего жалованья, — назначили членом Ученого комитета (1000 рублей) и с тех пор я здесь 8 лет «в забытьи», хотя Толстой знал меня хорошо, считая по его словам (Кушелеву и Щербатову) «самым трудолюбивым и способным», и лично интересовался моими мнениями по делам сторонним (например, церковным). Наконец, им стало стыдно не давать мне ничего, и Георгиевский лет через пять после моего поступления сделал представление о награде меня за многие полезные труды и «за прекрасное направление, выраженное в романе *Некуда»* <...> чем бы вы думали? — чином надворного советника, т. е. тем, что дается каждому столоначальнику и его помощникам. Мне это испрашивалось *в числе 20 человек,* назначаемых к особым наградам *к новому году.* И что, вы думаете, последовало? Толстой на обширном и убедительном докладе Георгиевского надписал «отклонить», а из числа 20 чиновников *одного меня вычеркнул.* И это всякий чиновничек Департамента видел и хохотал над тем, «что значит быть автором *Некуда».* «После того и деться некуда», — острил в сатире Минаев[16]. Чем же эта молодежь напоевалась, видя такое усердие меня обидеть, признаться сказать, в таком деле, которое мне и не интересно, потому что быть или не быть «надворным советником» уже конечно — все равно. — Мне кажется, что это стоит рассказать, и если придет к слову, я против того ничего иметь не буду» *.

В чем же разгадка такого упорного отклонения даже по существу смехотворного служебного повышения Толстым? Кара за своевольную явку при определении на службу не в ведомственном вицмундире, а в черном фраке? За неприятную статью в «Гражданине»? Допустимо.

Лесков не раз рассказывал о таком случае. На каком-то аристократическом рауте ** несколько особенно расположенных к нему дам засыпали Толстого упреками за невнимание его к талантливому подчиненному, автору стольких превосходных художественных произведений. Дав им полностью разрядиться, граф с непревзойденной предупредительностью ответил: «О mesdames, вы несправедливы в ваших обвинениях меня. Как раз напротив: я чрезвычайно ценю ум, опыт, глубину знаний и ис-

* Письмо от 25 ноября 1881 г. — Пушкинский дом.
** Вечер без танцев (*англ.*).

ключительную даровитость вашего protégé * и широко пользуюсь ими для разрешения многих неясных мне вопросов. Этим я перед всеми отличаю исключительную ценность этого удивительного работника. Чего же больше? И, смею вас уверить, пока я министр, это так и останется, без малейшего изменения».

М. И. Кушелева, Мокринские и другие великосветские болтуньи передавали этот «дискурс» Лескову как нечто очень веселое и грациозное, видимо, не постигая цинизма толстовского решения.

Но это из области гостиных causeries **, по-нашему, пустомельства, а есть ключ к объяснению поразительных незадач Лескова в Министерстве народного просвещения повернее.

«А Толстой со мною был превосходен... — раскрывал положение дела И. С. Аксакову Лесков, — он меня больного просил, например, пробежать вовсе не касавшиеся Министерства народного просвещения доносы по синоду, желая моего чутья, «где тут правда», но он не любил людей со своим мнением» ***.

Высокомерие не прощало самобытности в подчиненных. Успех снискивала «умеренность и аккуратность», искательная почтительность, прекрасно уживавшаяся в Георгиевских, Маркевичах («Лакевичах»), Авсеенках и «совоспитанных им» [17] с надменностью по отношению к младшим по рангу. Такие продвигались легко и успешно без проявления ими слишком большого усердия.

Среди книг, вручавшихся Лескову Георгиевским на разбор, бывали «прехитростные» и во всяком случае требовавшие большого извития мысли и формы в заключениях об их забраковании, особенно если они поступали в Комитет из уже одобривших их учреждений, вроде Цензурного комитета Министерства внутренних дел или духовной цензуры. Довольно двух примеров.

«Святость царского имени», изделие некоего «крестьянина» Ивана Савченкова. Одно заглавие, казалось, предопределяло и обеспечивало успех книги во всех ведомствах и инстанциях. Лесков дает заключение, выдержанное по редакции, но убийственное для судьбы этой тошно-

* Покровительствуемого (*фр.*).
** Светской болтовни, разговоров (*фр.*).
*** Письмо от 9 декабря 1881 г. — Пушкинский дом.

творно верноподданнической, глубоко невежественной и пошлой стряпни.

«Венок царю-великомученику, государю императору Александру II Благословенному», сочинение «простолюдина» Г. И. Швецова. Опять — все от первого слова уверенно забронировано от какой-либо критики, и опять полный лесковский разгром.

Кому из высокопосаженных приятны такие «особые мнения» неуемного, в сущности едва принятого, члена Комитета! Тем паче при условии, что одобрение бракуемых им изданий было министром почти обещано каким-нибудь светским ходатаям с весом.

Но за Лесковым в ходе лет накоплялись и другие вины. К несомненному неудовольствию не только «Гундольфа», но и самого графа, в нарушение традиций строгого охранения от огласки всего ведомственного, он находил, что из протекавшего в комитетских заседаниях «нечто может быть рассказано» в печати и, исходя из такого предположения, делился многим с читателями «Исторического вестника». Время от времени здесь появлялись статьи, одними своими заглавиями внушавшие подозрения и опасения. «Заказная литература» *, «Благонамеренная бестактность» **, «Венок царю-великомученику...» *** и т. д.

Заканчивая первую из них, Лесков с нескрываемой предубежденностью говорит о лицах, «усердно предлагающих свои услуги для заготовления литературных заказов, но не всегда способных удовлетворительно исполнить то, что от них требуется».

В статье с хлестким заглавием «Литературный разновес для народа», помещенной в распространеннейшей столичной газете, он высмеивал, каким чтивом насыщают простолюдинов некие бойкие издательства, в то время как казенное, по распоряжению бывшего министра народного просвещения и обер-прокурора синода графа Д. А. Толстого закрыло даже свою лавку на Литейной улице, потому что заведовавший ею синодский чиновник «прокинулся на счетах» ****, читай — проворовался.

Это был не первый выпад по адресу недружелюбного в прошлом министра.

* «Исторический вестник», 1881, № 10, с. 379—392.
** Там же, 1881, № 11, с. 652—655.
*** Там же, 1882, № 4, с. 222—225.
**** «Новое время», 1881, № 2008, 30 сентября.

Несколько раньше, вслед за его отставкой, в другой столичной газете, в статьях, объединенных названием «Духовный суд» (позже «Епархиальный суд»), Лесков писал: «Лучшие люди в нашем духовенстве, не стоя на стороне графа Д. А. Толстого, — который сделал, кажется, все от него зависевшее, чтобы его не укоряли в искании людского расположения, — в этом деле глубоко сожалели о том, как далеко зашла враждебность, какую возбудил против себя этот сановник, говоря о котором, можно было припомнить пословицу: «гнул, не парил — сломал, не тужил» *.

Полгода спустя в рассказе «Дворянский бунт в Добрынском приходе» говорилось еще сильнее: «Успеху статьи высокопреосвященного Агафангела, конечно, много содействовало то, что она метила против нынешнего московского митрополита Макария Булгакова и тогдашнего «полномочного мирянина» св. синода Д. А. Толстого, который умел стяжать себе общее нерасположение всей страны, но по св. синоду едва ли не сделал, в ряду ошибок, много хорошего» **.

Каждое новое отражение в печати чего-нибудь, связанного с должностной осведомленностью или с личными счетами по службе, раздражало министерских зубров. Морщился уже и когда-то так расположенный к Лескову, сейчас министр народного просвещения, И. Д. Делянов.

А из-под пера писателя шли статьи одна другой еретичнее и «потрясовательнее» ***[18]

В январе 1883 года, заведомым усердием Лескова, в нескольких номерах «Нового времени» проходит смелая и прелюбопытнейшая статья его киевского друга профессора Ф. А. Терновского — «Столетний юбилей митрополита Филарета» ****. Ею с беспощадной убедительностью развенчивался, едва не приобщенный к лику святых, прославленный митрополит московский Филарет «мудрый», Дроздов, из глаз которого, «яко мнилось»,

---

* «Новости», 1880, № 159, 18 июля[19].

** «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 388.

*** «Религиозное врачебоведение и адвокатура». — «Новое время», 1880, № 1419, 9 февраля; «Святительские тени». — «Исторический вестник», 1881, № 5; «Бродяги духовного чина». — «Новости и биржевая газета», 1882, № 122, 129 и 135 от 11, 20 и 25 мая; «Райский змей». — «Новое время», 1882, № 2131, 2 февраля; «Вечерний звон и другие средства к искоренению разгула и бесстыдства». — «Исторический вестник», 1882, № 6; «Синодальные персоны». — Там же, 1882, № 11, и др.

**** «Новое время», 1883, № 2466—2468, 9—11 января.

«семь умов светит» *, автор знаменитого православного катехизиса, жестокосердный крепостник, выведенный Лесковым, в частности, в лице архиерея, оправдывающего жестокое телесное наказание благородного рядового Постникова в рассказе «Человек на часах».

Статья вызывает взрыв гнева всех высших правителей и одновременно самое горячее сочувствие ее автору и признание ее исторической правды и ценности в кругах свободомыслящих читателей.

В том же году указом синода, по распоряжению Победоносцева, Терновский лишается кафедры в Киевской духовной академии. Грозит ему, в заботах о нем Делянова, потеря кафедры и в Киевском университете, но смерть его весной 1884 года опережает это мероприятие. Возмущены даже славянофилы.

10 ноября 1884 года Лесков писал И. С. Аксакову: «Не знаю, в милости я у вас ныне или в немилости? Со дня памяти митрополита Филарета Дроздова вы лишили меня «Руси». Гнев оный ощущаю, Филарета же чтить не могу <...>» **.

Едва верховные властители стали оправляться от ошеломившего их выступления Терновского, как новая разрывная бомба — пространная статья Лескова с говорящим за себя заглавием: «Поповская чехарда и приходская прихоть» ***[20].

В конце этого дерзкого вызова тому, в чем виделись сила и крепость царства Александра III, в примечании давалось якобы редакционное, но явно лесковское, многозначительное обещание: «В одной из ближайших книжек «Исторического вестника» мы дадим полный абрис вероотступнических заблуждений графа Л. Толстого и Достоевского в соответствии с идеями призвавшего их к ответу г. К. Леонтьева».

Терпение власть предержащих иссякает. Создается мощный враждебный Лескову комплот. В него входят по преимуществу былые чтители его таланта, когда-то пленявшего их своими произведениями. Во главе становится Победоносцев. Единодушны с ним министр внутренних дел, Д. А. Толстой, которому сейчас уже есть за что лично

---

* «Мелочи архиерейской жизни». — Собр. соч., т. XXXV, 1902—1903, с. 126.

** Пушкинский дом.

*** «Исторический вестник», 1883, № 2.

посчитаться с язвительным журналистом, затем государственный контролер Т. И. Филиппов, про которого Лесков позже смастерит эпиграмму:

Хоть у гроба у господня
Он зовется эпитроп.
Но для нас он мерзкий сводня,
Льстец презренный и холоп *[21].

Обложение, угрожающее затянуться мертвою петлей.

По служебной подведомственности Делянову поручается обуздать и направить литературную деятельность состоящего в его министерстве писателя или, еще лучше, просто спустить с рук вредного служащего.

Помнящий прежние дружеские отношения Делянов [22] мнется, не решается пригласить Лескова для щекотливого увещания. Ждет случая. Невдолге последний создается. 8 февраля 1883 года, в один из вторников, день обычных заседаний Комитета, выпадает встреча в прохладном круглом зале.

Вот как, под свежим еще впечатлением, описал ее сам Лесков одному из немногих своих друзей, Ф. А. Терновскому: «Дело рассказывать долго нечего: оно произошло 9-го <видимая описка. — *А. Л.*> февраля — с глазу на глаз у Делянова, который все просил «не сердиться», что «он сам ничего», что «все давления со вне». Сателлиты этого лакея говорили по городу (Хрущев, Егорьевский и Авсеенко), будто «давление» идет даже от самого государя, но это, конечно, круглая ложь. Давителями оказались Лампадоносцев и Тертий **. Прошение не подал и на *просьбу* «упомянуть» о прошении — *не согласился.* Я сказал: «Этого я позволить не могу и буду жаловаться». Я *хотел* вынудить их не скрываться и достиг этого. Не огорчен я нисколько, но рассержен был очень и говорил прямо и сказал много горькой правды. На вопрос: «Зачем вам такое увольнение», — я ответил: «Для некролога» и ушел. О «Комаре» *** не было и помина, а приводились «Мелочи архиерейской жизни», Дневник Исмайлова **** и «Чехарда»,

---

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

** Терций Иванович Филиппов.

*** «Протопоп Комарь и две Комарихи». — «Новое время», 1882, № 2437, 9 декабря.

**** По запискам синодального секретаря Ф. Ф. Исмайлова Лесковым были опубликованы: «Синодальные персоны». — «Исторический вестник», 1882, № 11; «Картины прошлого». — «Новое время», 1883, № 2461, 2469, 2475 и 2483 от 4, 12, 18 и 26 января [23].

в которой мутили не факты, а выводы об уничтожении выборного начала в духовенстве. Припоминалось и сочувствие Голубинскому *, и намекалось на вашу статью о Филарете. Доходило до того, что я просил разбить: слышу ли это от министра или от частного человека? Он отвечал: «И как от министра и как от вашего знакомого». Я сказал, что это мне неудобно, ибо, по-моему, «до министра это не касается, а моим знакомым я не мешаю иметь любое мнение и за собою удерживаю то же». И вот вообще все в этом роде. «Новости», выгораживая меня от Маркевича, дали мне возможность написать «объяснение», которое вы, чай, читали. — Сочувствие добрых и умных людей меня утешало. Вообще таковые находят, что я «защитил достоинство, не согласясь упомянуть о прошении». Не знаю, как вы об этом посудите. Я просто поступил по неодолимому чувству гадливости, которая мутила мою душу во время его подлого и пошлого разговора, — и теперь не сожалею *нимало.* Мне было бы нестерпимо, если бы я поступил ина-

---

* Лесков с глубоким уважением относился к церковному историку Е. Е. Голубинскому[24], очень нелюбимому и преследуемому Победоносцевым. Упоминается он у Лескова в ряде статей, опубликованных преимущественно в «Историческом вестнике»: 1880, № 6; 1881 № 5, 11 и 12; 1882, № 3 и 5; 1883, № 2; в «Мелочах архиерейской жизни». — Собр. соч., т. XXXV, 1902—1903, с. 123. Особенно выразительно вылилось восхищение Лескова Голубинским в письме его к С. Н. Шубинскому, датированном «средой пасхи 1880 года», т. е. 23 апреля: «О Голубинском *никому* не поверю. Я читаю его страстно, но сужу не увлекаясь: он понимает дух нашей церк. истории, *как никто,* и толкует источники вдохновенно, как художник, а не буквоед. Он должен быть руган и переруган, но прав будет он, а не его судья. Он производит реформу и должен пострадать за правду, — это в порядке вещей, но правда, и притом вдохновенная правда, исторического проникновения, с ним <...> я не спал 4 ночи, не будучи в силах оторваться от книги. — Не думаю, чтобы суд о нем был суд правый, — митрополит Макарий не дал бы денег на издание пустотного труда, а он их дал, несмотря на то, что Голубинский много раз противоречит Макарию. О Голубинском вернее всех отозвался некто таким образом: «Он трепит исторические источники, как пономарь поповскую ризу, которую он убирает после служения». Сейчас ее еще целовали, сейчас чувствовали, как с ее «ометов» каплет благодать, а он ее знай *укладывает...* Грубо это, но ведь он знает, что под нею не благодать, а просто крашенина с псиным запахом от попова пота. Но Голубинский, кажется, так и идет на это... Это Шер русской церковной истории, у которой до сих пор были только «кадиловозжигатели». Пусть что кому нравится, а мне нравятся Шлоссер, Ренан, Шер, Костомаров, Знаменский и Голубинский».

че, — и более я ничего не хочу знать <...> Если вас может интересовать сочувствие и отношение ко мне товарищей, то прилагаю вам записочку Аполлона Майкова (которую прошу и возвратить) — увидите, чт*о* это была за комедия и что сочувствие умных людей *со мною.* Посетили меня и сочувствовали и председатель судебной палаты Кони и светила адвокатуры, — словом, думаю, что я, значит, поступил *как надо.* Но я вас люблю, вам верю и хочу слышать ваше мнение. Вы знаете: это нужно человеку раздосадованному. Других дурных чувств у меня, слава богу, нет, и «ближние мои» — это те, кто понимает дело умом и сердцем» *.

Месяц спустя после события Лесков мог вполне искренно писать, что он «не огорчен нисколько», но в первые дни переносил происшедшее со всею остротой своего «нервического» темперамента.

Сон был потерян. Презреть обиду не было уменья.

Он охотно рассказывал навещавшим его паломникам о своем разговоре с рыхло-крупным «Меделяновым»[25], удовлетворенно слушал соболезнования, выражения сочувствия, возмущения, признания верности и достоинства его поведения на протяжении всей интермедии.

Это несколько успокаивало. Однако острая взвинченность нервов и никогда не покидавшая истерия приносили свои плоды.

В частности, в темных проемах дверей или в их фрамугах начала появляться «серая женщина». Неясная в очертаниях, она недвижно смотрела на поддававшегося галлюцинированию расстроенного Лескова. Вечерами отец выбегал из кабинета ко мне, а ночью, захватив подушку, покидал свою спальню, чтобы лечь на мой диван, за моей спиной.

Пришлось посоветоваться со старинным знакомым, медицинским светилом Э. Э. Эйхвальдом. Тот рекомендовал взять четыре-пять сотен рублей и поехать на недельку-другую в Москву «рассеяться».

Спасибо, раньше, чем Лесков собрался последовать этому указанию, наступило облегчение, сник серый призрак, возвратилась способность спокойнее все воспринимать, работать, написать Терновскому. Все начинало входить в норму.

---

* Письмо от 12 марта 1883 г. — «Україна», 1928, № 2, с. 112—113.

Но в первые дни говорилось много, подробно, образно, с живой инсценировкой и с точным приведением еще хорошо звучавших в собственных ушах заключительных реплик. Эти рассказы прочно запомнились и мною.

Быстро оценив праздность диалога, Лесков в один из сочтенных им удобным моментов встал с намерением уйти. Встал и Делянов, продолжая какие-то оправдательные изъяснения мотивов своих предложений, в которых завяз. Почему-то оба они оказались около одного из окон. Вынужденный слушать его, Лесков «нетерпяче» сел на подоконник, предоставив министру завершать свои декларации стоя. Делянов, проявляя великолепную чиновничью выдержку, что называется, вида не подал и продолжал уговоры. Убедясь, наконец, в неодолимости собеседника, категорически запрещавшего упоминания в увольнительном приказе о прошении об отставке, Делянов растерянно восклицает:

— Но зачем же это вам нужно, Николай Семенович, непременно без прошения-то?

Полный презрения к беспомощно запутавшемуся министру и гордый сознанием себя представителем родной литературы, писатель сходит с подоконника и жестко бросает представителю власти:

— Нужно! *Хотя бы для не-кро-ло-гов: моего... и вашего!*

С этим он покидает опешившего сановника и, не заходя в Комитет, оставляет негостеприимное министерство.

Час назад запинавшийся перед Лесковым и, может быть, действительно лично не искавший разрыва с ним, Делянов теперь уже озлоблен.

Впрочем, когда-нибудь да надо было кончить с этим. Лишь бы не нашумели газетчики или литературщики. Но в сущности и это не страшно.

Бюрократическая машина приходит в движение. 9 февраля подписывается «определение» министра народного просвещения за № 1878, коим совершается «отчисление» Лескова от министерства, а 21 февраля приказом министра за № 2 оно закрепляется. Все просто: и без прошения, и без объяснения причин, и без рубля пенсии за двадцать лет «беспорочной» службы отечеству, но с великодушным упоминанием, что права на получение знака об этой беспорочности в случае соответственной выслуги в будущем — не лишается.

Туго затянувшийся узел разрублен. Но дело этим не кончается. 1 марта в № 29 «Церковно-общественного вестника», в разделе «Внутренние известия», среди назначений по Министерству народного просвещения стоит: «отчислен» от министерства «коллежский секретарь Лесков (известный наш писатель) с 9-го февраля».

Это первая ласточка.

8 марта в № 63 сравнительно либеральной газеты «Новости и биржевая газета» появляется редакционная заметка об увольнении известного писателя Н. С. Лескова «*без прошения* от службы». Говорится, что известие это «произвело некоторую сенсацию», что «решительность формы» увольнения «не могла не удивить». Далее вспоминалось, что лет десять назад «тоже был уволен» Б. Маркевич <кстати сказать, «по прошению»[26]. — *А. Л.*>, «но тогда были на то и достаточно веские поводы. Что же касается увольнения г. Лескова, то оно просто является каким-то вопросом и во многих возбуждает недоумение».

Лесков получает возможность гласно разъяснить «недоумение» открытым письмом от 8 же марта, помещаемым этою же газетой в ее № 65 от 10 марта 1883 года:

«Малозначительное событие — оставление мною службы в Ученом комитете Министерства народного просвещения неожиданно для меня сделалось предметом разнообразных толков, которые частию проникли в печать и, как у вас сказано, «возбуждают недоумение», которое я имею побуждение разъяснить.

Я отчислен от министерства «без прошения» по причинам, лежащим совершенно вне моей служебной деятельности, которая в течение десяти лет признавалась полезною и никогда не привлекала мне никакого упрека и ни одного замечания при трех министрах: графе Д. А. Толстом, А. А. Сабурове и бароне Николаи. — Для оставления службы мне *не вменено никакой вины,* а указана только «несовместимость» моих литературных занятий с службою.

Ничего более.

В том, что я отчислен не по прошению, а «без прошения», тоже нет ничего меня порочащего или обидного. Мне была предоставлена полная возможность отчислиться по той форме, которая обыкновенно признается удобнейшею, но я сам предпочел ту, которая, на мой взгляд, более верна истинному ходу дела.

Этим, я надеюсь, могут быть разъяснены все «недоумения» моих ближних и дальних друзей и недругов».

С «Новостей» перепечатывает это письмо, без всякого комментария, «Новое время» в № 2526 от 11 марта, а 12 марта московская небольшая, очень распространенная в провинции «Газета А. Гатцука» в № 10.

Лесков вздохнул: ни передернуть с причиной отставки, ни втихомолку сбыть ее с рук — не удалось. Дело приобрело широкую огласку, вынесено на суд общественности. Предотвратить или пресечь это не оказалось возможным. Неудовольствие верхов было значительно, но бесплодно.

Не стремясь к тому, гонители оказали неоценимую услугу изгнанному.

На пятом десятке лет Лесков снова, как когда-то на исходе третьего, но уже бесповоротно, целиком отдается литературе, не отнимая у нее ни часа времени на служебные доклады, заключения, записки. Выходило по пословице: «не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Да еще и как во время раскрепостив писателя — за одиннадцать лет до смерти.

Совершенно неожиданным для очень многих явился язвительный отклик на открытое письмо Лескова «Вестника Европы» *. Оставаясь безразличным к самоуправству, учиненному в отношении писателя с большим уже именем, К. К. Арсеньев наивно, но и зло недоумевал — как это, мол, человек, удовлетворявший своей работой подряд трех министров, не сумел поладить с четвертым. Получилось вроде косвенного оправдания административного произвола при одновременном наведении какой-то тени на потерпевшего от него.

Прочитав статью, Лесков пишет ответ и шлет его 11 апреля С. Н. Шубинскому при строках:

«Наконец я дочитался до того, что мне было нужно для ответа на каверзу Арсеньева в «Вестнике Европы». Посылаю вам мою заметку с покорнейшею просьбою *непременно* поставить ее в *майскую* книгу. По существу она касается сколько меня, столько же «Исторического вестника». — Если же вы не можете ее напечатать в май-

* «Из общественной хроники». — «Вестник Европы», 1883, № 4, с. 901—903, 906—910. Здесь говорится об увольнении Лескова за статью его «Поповская чехарда и приходская прихоть».

ской книге, то возвратите ее немедленно: я ее напечатаю в «Новостях» *.

Она попадает в майскую книжку «Исторического вестника», в раздел «Заметки и поправки», под заглавием: «Коварный прием (два слова «Вестнику Европы»)». Эпиграф взывает к справедливости: «Аще зле глаголах, свидетельствуй о зле; еще же добре, что мя биеши». В автографе зачеркнуто другое заглавие — «Каверзный прием» **. Лесков, приводя несколько строк из «Истории средних веков» М. М. Стасюлевича, кончает цитату на фразе: «И так, как бы кто ни жил, всегда хорошие качества будут жертвою злых языков, клеветников, подобных крючкам двуконечным». Сама заметка завершается словами: «Но притягивать человека <в данном случае Лескова. — *А. Л.*> к ответственности за то, в чем он не виноват, — это совсем недостойно литературной критики и напоминает коварные приемы «крючков двуконечных» ***.

Этим схватка оказалась поконченной.

Любопытно, как, в противовес претендовавшему на особый либерализм «Вестнику», отнесся к событию духовный журнал. И притом тогда, когда оно уже начинало призабываться.

После различных общих сведений о писателе в конце не без сочувствия говорилось: «Само собой разумеется, что для такого писателя, как Н. С. Лесков, подобная неудача не может иметь существенного значения, но как карьерный случай по службе — это едва ли не единичный в своем роде пример, который в другой раз, может быть, и не повторится» ****. Не испугался полудуховный редактор А. И. Поповицкий и Лампадоносцева. А вот суворинский «Исторический вестник», не на шутку смущенный гневом на Лескова сильных мира, потерял охоту дать в «ближайших» или в дальнейших своих книжках обещанный «абрис» вероотступничества Л. Толстого с Достоевским и правоверия К. Леонтьева.

Лесков не сдался и, вразнобивку, жертвуя целостностью впечатления, а может быть, и глубиною разработки темы, но выигрывая в расширении аудитории, перенес

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

** Пушкинский дом.

*** «Исторический вестник», 1883, № 5, с. 487—488.

**** «Из литературы и жизни». — «Церковно-общественный вестник», 1883, № 71, 2 июня, с. 4.

борьбу с К. Леонтьевым и могущественными его покровителями на газетные столбцы, горячо ратуя там за Льва Толстого, как, в известной мере, и за Достоевского *.

Еще десять лет спустя, уже больной и старый, он взволнованно писал М. О. Меньшикову по поводу статьи последнего «Работа совести» **, ошибочно объединяя на этот раз «Поповскую чехарду» с одновременно писавшейся и оповещавшейся в примечании к «Чехарде» полуготовой своей статьей, фактически появившейся в «Новостях» только 1 апреля того же года, и отсюда ведя свое «изгнание из Министерства народного просвещения!» ***.

Навсегда расставшись с Деляновым, Лесков не забывает его в приятельских беседах, письмах и даже в некоторых статьях [27], увы, не узренных автором в печати, а частию никем и до сего дня.

Бесхитростная издательница детского журнала «Игрушечка» А. Н. Толиверова додумалась однажды, еще в дни службы писателя, искать через него протекции у Делянова. Лесков отклонил просьбу.

Два года после отставки писателя она просит его чем-то поддержать вступающую на стезю искусства какую-то совершенно неизвестную ему девицу. Письмо ее застает его не в духе. У меня идут волнующие отца серьезнейшие экзамены. Просительница попадает, как говорится в пьесе Сухово-Кобылина «Дело», в «содовую» [28]. Ответ получен потрясающий [29].

«Немилосердная Александра Николаевна!

Прошу меня извинить, что я отослал к вам обратно ваше письмо и билет. Это было в такую пору, когда я *ничего не видел* от боли головы — после целой ночи чтения. *Я не мог читать* весь вчерашний день — и письмо ваше мне читал Дрожжин. Билет мне ни на что не нужен. Просить за девушку, начинающую свою артистическую карьеру исканием реклам и протекций, я ни для

---

* «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи. Религия страха и религия любви». — «Новости и биржевая газета», 1883, № 1, 3 (1-е изд.). 1 и 3 апреля, и «Золотой век. Утопия общественного переустройства. Картины жизни по программе К. Леонтьева». — Там же, 1883, № 80, 87 (1-е изд.) 22 о 29 июня.

** «Книжки «Недели», 1893, № 11.

*** Письмо от 11 ноября 1893 г. — Пушкинский дом.

кого и ни за что не стану. Я удивляюсь — как вы меня странно и обидно понимаете и как вы понимаете чистоту поведения в литературе?! Раз вы меня просили о ходатайстве у Делянова, к которому я питаю только презрение, вполне им заслуженное; а теперь вы желаете меня употребить на послуги девчонке, которая столь шустра, что *начинает* с устройства себе реклам... Если бы я мог что-либо сделать ей с чистою совестью, то это я бы хотел ей как можно чувствительнее повредить за ее *пакостное* направление, столь гадкое в ее молодые годы... Она мне не внушает ничего, кроме отвращения и презрения. И так, конечно, отнесется к ней всякий опрятный в душе человек. Прошу вас на меня никогда не смотреть как на пешку, которую можно двинуть без разбора во всякий след. Это всегда будет ошибочно и *мне несносно.* — Притом, — позвольте вам сказать, — вы не только крайне неосмотрительны, но вы также женщина и без сострадания к людям, имеющим право на сострадание... — Вы забываете, что я сам — человек, и человек замученный, — и что мне нет отдыха с своими собственными делами; — что я кроме того — отец и переживаю в это самое время роковые минуты в жизни самого близкого мне существа... Где же ваше сердоболие?.. Что мне такое до какой-то девчонки и до ее пустых происков!

Н. Л.» *.

Чувствуется большая раздраженность. По применявшемуся иногда Лесковым выражению, она, видимо, «подняла со дна души все сметьё» [30], включив в него и Делянова.

20 июля 1887 года умирает Катков.

Живущий на даче на острове Эзеле, в Аренсбурге, Лесков сейчас же пишет умопомрачительную статейку, без заглавия, начинающуюся вводными выражениями из церковных песнопений: «Память праведного с похвалами», «Честна пред господом смерть преподобных его». В тексте ее говорится: «Сказалась его смерть и на работе железных дорог: из Петербурга в осиротелую Москву не потяготился проехать сам И. Д. Делянов, чтобы над свежей могилой лейб-пестуна и гоф-вдохновителя министра народного просвещения пролить слезу благодарности от муз российского Парнаса <...> Что вспомнит

---

* Письмо от 26 апреля 1885 г. — Пушкинский дом.

каждый из литературного наследия Каткова при первом же упоминании его имени? Конечно, классицизм, ради торжества которого он не только создал на весьма сомнительные приношения Полякова особый Лицей, столь же далекий от афинского, насколько П. М. Леонтьев был не похож на Аристотеля, как бы на этот счет ни судил осиротелый ныне А. И. Георгиевский, но и всю русскую школу от Ревеля до Иркутска и Оренбурга под единообразный колер греко-римского тонкословия».

Заканчивался этот поразительный некролог строками: «Кто по намекам наших беглых строк с достаточной ясностью сообразил, во что России обошлись и еще обойдутся в грядущем эти дары Каткова, тот, пожалуй, подумает, что И. Д. Делянов обнаружил бы большую прозорливость, если бы смирно сидел на паперти армянской церкви и не утруждал себя поездкой в Москву на похороны Каткова».

Статья была послана в «Новое время» и даже набрана там в отсутствие Суворина, но, попав ему на глаза, была, по его приказанию, разобрана. Увидеть свет ей привелось только через сорок семь лет *.

В 1893 году Лесков заносит в записную книжку:

«НА СМЕРТЬ М. Н. КАТКОВА

Убогого царя советник и учитель,
Архистратиг седой шпионов и попов
И всякой подлости ревнивый охранитель,
Скончался Михаил Никифорыч Катков.

Над свежей падалью отребий олимпийских
Слился со всех сторон в гармонию одну
Немолчный плач и вопль мерзавцев всероссийских,
Гнетущий бедную и рабскую страну.

Танеев» **

Неделю спустя после смерти Каткова обычно осторожная «Петербургская газета», или, как ее называли, «Петербургская сплетница», неожиданно отшлепала у себя ***, во всей его первородной красе и греховности, циркуляр, до которого доспел «пастух российского юно-

---

* «Звенья», кн. 3—4, 1934, с. 894—902.

** Вероятно, Владимир Иванович, брат композитора С. И. Танеева [31].

*** «Петербургская газета», 1887, № 203, 27 июля. См. также «Неделя», 1887, № 29 и 31 от 19 июля и 2 августа.

шества Меделянов» *, прозванный затем «деляновским циркуляром о кухаркиных сыновьях» **.

Неизбежная для Лескова «взрывная реакция» торопит его сейчас же откликнуться в печати на новый подвиг всемерно тормозящего просвещение министра. Статья получает сперва название «Гимназический крах», а затем переименовывается в «Темнеющий берег» ***.

Пометив статью 16 августа и возвратясь 20-го числа на зимовку в Петербург, Лесков тщетно пробует напечатать ее. Уклонился от публикации и мудро-осмотрительный Суворин, которому Лесков писал: «Ивана Делянова с его последним распоряжением, кажется, позволяется сажать на кол тою частию тела, которая у него более прочих пострадала» ****.

Так до сих пор, кроме статьи К. И. Чуковского ***** к 50-летию этого циркуляра, другие материалы о нем остаются под спудом.

Через три года случайную заметку свою «Об одной прачке» ******, воспитавшей на свои рабочие крохи дочку умершей своей соседки по больничной койке, Лесков закончил обращением, направленным прямо в глаз измыслителям пресловутого циркуляра и равноценных ему просветительных мероприятий: «Не может ли этот случай послужить сколько-нибудь к смягчению и умилостивлению тех людей, которым противно видеть стремление прачек и кухарок к образованию *своих* детей? Не совестно ли им будет предоставить этой прачке превосходить их в великодушии и заботе о просвещении чужих беспомощных детей?»

Наконец во второй половине 1893 года, прожив лето на Усть-Наровском побережье в Меррекюле, Лесков написал едкий опус «Административная грация (Zahme Dressur в жандармской аранжировке)», пролежавший втуне сорок один год *******.

---

* См. письмо Лескова к Л. Н. Толстому от 5 августа 1888 г. — «Письма Толстого и к Толстому», 1928, с. 69 [32].

** Циркуляр министра народного просвещения от 18 июня 1887 г. № 9265.

*** ЦГЛА [33].

**** Письмо к А. С. Суворину от 30 сентября 1887 г. — Пушкинский дом.

***** «Правда», 1937, № 18 (7140), 2 июля.

****** «Новое время», 1890, № 5215, 5 сентября.

******* «Год XVII. Альманах четвертый», 1934, с. 377—386 [34].

Помянулось здесь, как «рукою властною» современный «просветитель России» Делянов изверг из Московского университета профессоров Муромцева и Ковалевского, и сопоставилось это, с каким безупречным маккиавеллизмом был «убран» один неприятный властям профессор Харьковского университета, И. И. Дитятин, при графе Дмитрии Андреевиче Толстом.

Заключался рассказ выводом, что для воскрешения «грации прежних административных приемов по устранению нежелательных деятелей необходимо, чтобы новый «пастух русской молодежи», то есть Делянов, «или сам обладал умом графа Дмитрия, или обращался к таким умным и тонким помощникам», каким в свое время явился для Толстого «владыка», выученик знаменитого митрополита московского Филарета Дроздова, харьковский архиерей Савва Тихомиров.

Нечего и говорить, что и это произведение не могло найти себе места в печати при жизни его автора.

Незадолго до своей отставки Лесков распоряжением Делянова был назначен членом комиссии для рассмотрения сочинений, представленных на соискание премий имени Петра Великого. Председатель ее, А. Н. Майков, просил его закончить взятый на себя урок по этой «Петровской» комиссии. За труды вознаграждение здесь не предусматривалось, а участникам в них выдавалась специальная золотая медаль.

31 марта Лесков пишет Шубинскому: «Доклад Майкову исполнил тоже с усердием, а золотую медаль, мне следующую, просил прямо из министерства отослать в Орловскую гимназию на помощь беднейшему ученику, отправляющемуся в университет» *.

Когда-то, в начале государственной его службы, он получил темно-бронзовую медаль «в память войны 1853—1856 годов».

Теперь ему предстояло получить золотую.

О первой он давным-давно забыл и у себя ее не имел. Вторую не взял вовсе [35].

7 апреля он пишет директору Орловской гимназии о предоставлении ее в распоряжение этой гимназии. 21 апреля, видимо, начитанный и благовоспитанный, педагог благодарит известного русского писателя и орлов-

---

* *Фаресов,* с. 161.

ского уроженца за дар, извиняясь, что во вступительной формуле письма мог означить только его имя, так как отчества не знает. Сам он, подвизаясь на воспитательном поприще в Орле с 1850-х годов и зная поголовно весь город, не затруднил себя спросить об этом «отчестве» Страховых, или послать в очень близкий к его гимназии «Дом дворянства», или заглянуть в адрес-календарь. Стоит ли такого внимания писатель, уволенный со службы без прошения из того же просвещенского министерства! Есть с кем стесняться! Сам он того гляди уже статский советник, давно застыдившийся носившейся им смолоду украинской фамилии Гриценко, переустроившийся в великорусского А. В. Гриценкова. Все учтено. Пусть изгнанный вольнодумный литератор и Гриценково копыто знает.

За год до смерти учительно укажет Лесков сотоварищу по перу: «...ужасно видеть: для чего ты всегда гадишь роль «резонера», в которой выводишь себя! <...> «И истину царям *с улыбкой* говорить» уже стало пошло; а у тебя твой резонер уж и с исправником зубы точит! <...> Неужто ты думаешь, что при каком-нибудь уважении к себе неглупый человек станет хихикать с таким исправником, а не поставит его просто на пристойное от себя расстояние <...> «Истины» пора говорить без улыбок, и это можно, а еще более — *это должно.* Писатель не должен подавать пример отсталости в отношениях» *.

В вопросе о подчинении чему-либо своей литературной деятельности Лесков был непреклонен. С этим было покончено после разрыва со ставшим ему ненавистным Катковым и «литераторами московского уряда мыслей» [36].

Гневно, не задумываясь, отверг он всякий компромисс с приспешниками Победоносцева.

«Без улыбки» высказал, что сказать почел должным, твердо поставив своего министра *«на пристойное от себя расстояние».*

«Писатель не должен подавать пример отсталости в отношениях» — оставил он заповедь «роду грядущему» и сам дал образец ее выполнения.

---

* Письмо к С. Н. Терпигореву от 22 февраля 1894 г. — «Русские писатели о литературе», Л., 1939, т. II, с. 304.

ГЛАВА 3

ВЛЕЧЕНИЕ К ИСКУССТВАМ И ЛЮБОВЬ К КНИГЕ

«Во мне всегда была — не знаю, счастливая или несчастная, — слабость увлекаться тем или другим родом искусства. Так я пристращался к иконописи, к народному песнотворчеству, к врачеванию, к реставраторству и пр. Думалось мне, что это уже и прошло, но я ошибся: разговоры с вами и ваша книга о «драгоценных камнях» потянули меня на новые увлечения, и как из всякого такого увлечения я всегда стремился создать нечто «образное», то и теперь со мною случилось то же самое. Мне неотразимо хочется написать суеверно-фантастический рассказ, который бы держался на страсти к драгоценным камням и на соединении с этою страстью веры в их таинственное влияние. Я это и начал и озаглавил повесть *«Огненный гранат»* и эпиграфом взял пять строчек из вашей книги, а характер лица заимствовал из черт, какие видел и наблюдал летом в Праге между семействами гранатных торговцев. Но чувствую, что мне недостает знакомства с старинными суеверными взглядами на камни, и хотел бы знать какие-нибудь *истории* из каменной торговли <...> Укажите мне (и поскорее, — пока горит охота), где и что именно я могу прочитать полезное, в моих *беллетристических* целях, о камнях вообще и о пиропах в особенности. Пиропов я насмотрелся вволю и красоту их понял, усвоил и возлюбил, так что мне писать хочется, но надо бы не наврать вздор», — писал Лесков к автору книги «Драгоценные камни» М. И. Пыляеву» *, приступая к созданию рассказа «Александрит. Натуральный факт в мистическом освещении» **.

В приведенных строках весь Лесков: у него всегда «горит охота» ко всем искусствам. Его властно захватывает интерес к театру, к живописи, к иконописи, к скульптуре, к гранению драгоценных камней, к хитростям и точности часового мастерства.

Увлечение театром не ограничивается личным участием в Киеве в благотворительно-любительских спек-

---

* Письмо от 9 августа 1884 г. — «Щукинский сборник», вып. VIII, 1909, с. 192—193.

** «Новь», 1885, № 6, 15 январи, с. 290—297. Эпиграф взят автором у Н. И. Пирогова; Собр. соч., т. XX, 1902—1903, с. 91—104.

таклях, устраивавшихся «всевластной киевской княгиней» Е. А. Васильчиковой [37], или неустанным посещением его в Москве и Петербурге. Оно находит себе во второй половине шестидесятых и первой семидесятых годов яркое выражение в хватких, а то и задорных отчетно-критических статьях. Ими пестрят газеты и журналы ряда лет *. В них иной раз колко задеваются такие крупные фигуры, как В. В. Самойлов и даже А. Н. Островский, о которых позже, уже в период собственной «маститости», не говорится иначе, как с искренним уважением и признанием.

Пишет он преимущественно о драматическом театре, но однажды заговорил даже о парижской опереточной диве Гортензии Шнейдер, беллетристически озаглавив порядочного размера статью — «Вавилонская дочь», и, между прочим, говорит в ней о том, как на «балетных спектаклях... в момент, совпадающий с переодеванием танцовщиц, из зрительной залы вдруг исчезают за кулисы персоны, к прямым обязанностям которых не относится присутствование при переодевании балетного трико», выводя дальше, что «дочь Вавилона совсем не г-жа Шнейдер», а те, «которые канканируют в местах, не имеющих ничего общего с Буффом» **.

Даже уже отойдя от театрального рецензирования, Лесков, вероятно в конце семидесятых или в восьмидесятых годах, набросал, но не закончил статейку, названную им «Эволюция дикости» ***. В ней он возмущался неуважением к заслугам старых людей вообще и знаменитого баса О. А. Петрова в частности. Он обвинял газетных рецензентов в стараниях выжить престарелого артиста со сцены, не дав этим сбыться заветной его мечте — пропеть партию Сусанина *триста раз.* Двести девяносто шесть или семь им уже были исполнены. Старику, с которым Глинка «ставил» эту оперу, не дали допеть его коронную партию каких-нибудь три-четыре раза!

---

* См., напр.: «Отечественные записки», 1886, № 23, с. 258—287; 1867, № 5, с. 35—48; «Литературная библиотека», 1867, октябрь, кн. 1, с. 91—111; ноябрь, кн. 2, с. 248—264; декабрь, кн. 2, с. 243—262; «Биржевые ведомости», 1869, № 4, 20, 30, 114, 116, 125, 127, 149, 204, 215, 224, 234, 256, 266, 274, 306, 340; 1870, № 203; «Современная летопись», 1871, № 16, с. 14, № 31, с. 12—13, № 32, с. 12; № 34, с. 13—14; № 36, с. 14—15; № 38, с. 15—16; № 40, с. 13—15; № 44, с. 14—15; № 45, с. 14; «Русский мир», 1872, № 24.

** «Русский мир», 1872, № 24, 26 января. Подпись: *Л. С.*

*** Не издана. ЦГЛА.

Вот в чем дикость нравов и обычая, атавизм съедания своих стариков [38].

Под веселую руку Лесков, не обладавший слухом, как и голосом, охотно напевал арию Фарлафа «Близок уж час торжества моего...», а иногда даже имитировал знаменитое контральто Е. А. Лавровскую, исполняя арию Вани «Как ма-а-ать убили у ма-а-алого птенца...», по подмеченной у нее привычке часто поднимая и опуская веки *.

Чтобы почувствовать, как любил он свою, русскую народную песню, довольно прочитать трогательный эпиграф: «Ивушка, ивушка, ракитовый кусток!», поставленный им к своему «опыту крестьянского романа», а еще больше, как поют там сами «песельники», горькие герои этого трагического романа, Настя и Степан, и как искренно восхищается их голосами и исполнением слушающий их простой крестьянский люд **.

В столице Лесков был не только в драматическом, но и в оперном театре свой человек; усердно слушает русскую и итальянскую оперу, всех мировых знаменитостей, делится, под свежим впечатлением, образными заключениями.

Патти, — пишет он однажды Щебальскому, — слышать невозможно: кресла доходят до 80 р., а по 20 р. платят стоять в проходах. Раек весь абонирован, и «стойка» в оркестре закуплена. Я, однако, с помощью знакомых артистов пробираюсь за кулисы и слушаю в сообществе театральных плотников. Патти, по-моему, несравненно хуже Лукки. Лукка — душа и человеческий голос, а Патти — это *инструмент,* — правда, страшный, звучный и прекрасный, но совершенно бездушный. У нее в горле точно серебряные струны, а одухотворения звука — никакого» ***.

К балету, можно сказать, Лесков был довольно холоден: он не учит, а только тешит пресыщенных.

— Но ведь красиво! — говорили ему Величко, Толиверова, В. Бибиков [39] и другие «эстеты».

— Красиво, но и только! Театр — школа! А что вы-

---

* См.: «Полунощники», гл. 6. — Собр. соч., т. XXXIV, 1902—1903, с. 50.

** См.: «Житие одной бабы», гл. III и I V . — «Библиотека для чтения», 1863, № 7 и 8, с. 1—60, 1—68, или Избранные сочинения, «Academia», 1931, с. 1—168.

*** Письмо от 25 января 1869 г. — «Шестидесятые годы», с. 303.

несут массы поучительного из балета[40], насмотревшись, как кто-то «резвой ножкой ножку бьет»? Сравните публику на «Корсаре», «Пахите» и прочем, хотя бы в них блистала легендарная Эльслер или позднейшая Цукки! и на «Грозе», «Горькой судьбине», не говоря уже о «Горе от ума» или «Ревизоре»! А самый зал? В балете только и видишь «золотую молодежь», великих князей в левой полуприкрытой ложе бенуара, разжившихся дельцов, биржевиков и вообще беззастенчивых господ вроде Скальковского. Нечего сказать — общество! «Сосьете»!

Из всех видов искусств превыше всего Лесков всю жизнь любил, ценил и постигал, конечно, *искусство речи.* Оно должно художественно, образно и верно отражать и выражать все другие искусства, помогать их чувствовать, понимать, любить и постигать... Отсюда — писательская ответственность за каждое слово, страх — *«не наврать бы вздор!»* [41]

В самые последние свои дни, радуясь успехам, выпадавшим на долю литературной молодежи, он не без тревоги писал: «Одна беда, что наши молодые писатели не заботятся подготовиться и проверить то, о чем они пишут. Посмотрите на такого великого художника, как Лев Николаевич Толстой. Он может дать отчет в каждой написанной им строке — и ошибкам там нет места» *.

И сам он, задумывая какое-нибудь произведение или статью, прежде всего старательно изучал все, относящееся к теме предстоящей работы.

Об его увлечении иконописью уже говорено выше. О живописном изображении некоторых «ликов» дан им знатоцкий трактат во вступительной части рассказа «На краю света». В нем из целой галереи «Христов» предпочтен всем прочим «мужиковатый», у которого «взгляд прям и прост», «в лике есть выражение, но нет страстей», изображение которого «просто — до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно...» **

О кабинете Лескова верхоглядными репортерами и посетителями наговорено много.

«Одной из характерных черт Лескова была его страстная любовь к собиранию разных редкостных автографов,

---

* И. Эм. Как работают наши писатели. Н. С. Лесков. — «Новости и биржевая газета», 1895, № 49, 19 февраля.

** Собр. соч., т. VII, 1902—1903, с. 109.

образков, старинных гравюр, в особенности богословских книг, карманных часов, статуэток и пр. и пр... Весь кабинет Лескова был убран всевозможными редкостями, и Лесков часто говорил, что ему было бы решительно невозможно работать в «комнате с голыми стенами». Так вспоминал некий книгоиздательский работник *.

К счастию, тут же он поместил и фотоснимки кабинета Лескова, каким он был в середине восьмидесятых годов. Сами о себе говорят, хорошо видные на них, три стула из более чем скромной «гарнитуры», покрытый простенькой скатертью легонький ломберный столик, такая же складная табуреточка, крытое зеленым репсом кресло перед небольшим письменным столом с низенькой, малоудобной для работы лампой. Обыденны висящие в багетных рамках фотогравюры, фототипии, фотографии. В подавляющем большинстве незамечательны масляные картины всевозможных сюжетов, от высоко-религиозных до буднично-жанровых или изображающих малоприглядных домашних животных, от довольно значительных до самых мелких по размеру, от немногих ласкающих глаз до сильно преобладающих жестких, сухих, ничем не радующих. Словом, два-три полотна неплохой кисти; одна маленькая, на кронштейне над зеленым репсовым креслом, очаровательная итальянская терракота — низверженный с небес дьявол, подарок А. Н. Толиверовой; недурная акварель — амуры на дельфинах — копия с Ватто работы княгини М. Н. Щербатовой; две-три неплохие миниатюры и множество вещей и полотен, не представлявших никакого интереса. К последним относятся два бисквита — сфинксы на черных деревянных кронштейнах; два неприятного жесткого письма Христа, под которыми малоожиданно висят свинья и теленок под Теньера; дальше горничная с военным писарем и кухарка с прославленным «кумом пожарным», висящие под снимком с богоматери Васнецова; безжизненный пейзажик под Клевера и т. д. до персидских и турецких ружей, подаренных мне в 1881 году киевскими моими дядями. За рабочим креслом жидкая стоячая этажерка. Правее правого окна, в глубоком углу, едва видна кагарлыкская бо-

---

* Виктор Русаков. Как жил и работал автор «Соборян». Листки из литературных воспоминаний. — «Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф», 1900, № 6, с. 79—83. Настоящая фамилия автора — С. Ф. Либрович. Есть у него сведения о Лескове в кн.: С. Ф. Либрович. На книжном посту. П.—М., 1916 [42].

гоматерь в темной дубовой раме с висящей на трех цепочках медной лампадкой.

Это самая выигрышная, главенствующая стена кабинета до 1885 года. Немногим отличался кабинет и на двух последних квартирах Лескова.

Общее впечатление: случаен и пестр.

И мудрено ли? Хозяин больших затрат обегал, а, бродя по Апраксину или Александровскому рынкам, брал что приглянется, не отягощая бюджет. Это отвечало и заповеди, которой сам он держался всю жизнь, заповедывая ее и всем современным ему литературным собратьям:

«Единственное средство писателю остаться честным в наше трудное и нелитературное время — это быть скромным в своих требованиях к жизни... В России литературою деньги добываются трудно, и кому надо много — тому приходится и писать много: направо и налево, не разбирая ни направления, ни редакций, ничего, лишь бы больше выработать на жизнь. Все это приводит к невольному многописанию, которое отражается гибельно как на содержании и продуманности произведений, так и на их форме» *.

А россказни шли одни других краше, создавая легенды, которые всегда живучее правды.

При посещении своем 23 апреля 1892 года тяжело страдавшего грудной жабой Лескова Ф. Ф. Фидлер догадался в учебных целях порекомендовать ему... велосипед! Так и рассказал это сам через двадцать лет, не без экзальтации развернув дальше вынесенные впечатления:

«С изумлением я остановился в его кабинете, не зная, куда взглянуть. Я находился в целом музее раритетов <...> направо и налево, сверху донизу — старые картины и старинные образа, оружия, статуэтки, часы-куранты, фолианты и всевозможные курьезы, вплоть до «зуба Бориса и Глеба» (как шутил Атава-Терпигорев) — в таком изобилии и в такой нагроможденности, что взор терялся, не будучи в состоянии фиксировать отдельные предметы...» **

Несомненно, семь лет не прошли даром. Появился громадный дубовый письменный стол, на нем тяжелые

---

* «Русские писатели о литературе», Л., 1939, т. II, с. 296 [43].

** Ф. Ф. Фидлер. Литературные силуэты. Н. С. Лесков. — «Новое слово», 1914, № 8, с. 32—36.

английские часы с курантами, другие — «кабинетные», в кожаном футляре, «с репетиром», и третьи — на небольшом книжном шкафу, посмирнее. Позавесились плотнее и стены, но в основе дело не изменилось и в антикварности невесть сколь усугубилось и повысилось.

Но вот через два с небольшим года в газетном интервью по-репортерски старается В. В. Протопопов:

«В <...> комнате масса книг, картин, статуэток... Книги грудами навалены на трех больших столах. Стены завешаны картинами почти вплотную; между ними резко выделяется огромный образ мадонны работы Боровиковского... На письменном столе, за которым занимается г. Лесков, стоят портреты Л. Н. Толстого, Гладстона и силуэт ручной работы Бема «Оскорбленная Нинетта». Силуэт изображает молодую, стройную женщину, в отчаянии простирающую руки к небу... Около чернильницы, прислоненная к стене, красуется большая акварель — копия с Ватто «Амуры на дельфинах...» *

Записной театрал, автор «Черных воронов» и усердный посетитель кафе-шантанов, он не слыхал, что Лесков давно пишет повесть из римской жизни времен Тиверия под заглавием «Оскорбленная Нетэта» **. Его слуху были ближе «Нинетты». Не подозревал он и того, что автор силуэта не мужчина, а достаточно известная художница Елизавета Меркурьевна Бем [44].

И в довершение всего еще одна, для Лескова уже посмертная, но, к сожалению, не менее прежних вспененная, реляция:

«В... комнате, увешанной со всех сторон разностильными картинами, портретами, с оригинальным образом Мадонны посреди стены, с бесчисленными тикающими и поющими старинными часами и массой характерных и редкостных безделушек на столах, — все было по-прежнему: пестро и шумно» ***.

Спасибо, враждебная преувеличениям и недостоверностям, наблюдательная, много видевшая и во многом разбиравшаяся, Л. И. Веселитская с достойной хвалы

* В. П. У Н. С. Лескова. — «Петербургская газета», 1894, № 326, 27 ноября.

** Незаконченная повесть, с предисловием А. А. Измайлова и письмами Лескова к Е. М. Бем опубликована в «Невском альманахе», Пг., 1917, вып. 2, с. 138—186.

*** А. Л. Волынский. Н. С. Лесков. Пг., 1923, с. 59,

простотой рассказала о первом посещении ею Лескова [45].

Вот несколько ее строк: «Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова. — Пестрая, яркая, своеобразная... Мерно тикают часы. Их что-то много, и, тикая, они переговариваются между собой... Я оглядывала комнату. И казалось мне, что стены ее говорят: «Пожито, попито, поработано, почитано, пописано. Пора и отдохнуть». И часы всякого вида и размера мирно поддакивали: «да, пора, пора, пора...» А птица в клетке задорно и резко кричала: «Повоюем еще, черт возьми...»

Я оглядывала комнату <...> На стене, за спиной сидящего за большим столом, среди картин и портретов висело узкое и длинное, совершенно необыкновенное, видимо старинное, изображение божьей матери <...> Над <другим. — *А. Л.*> столом висело изображение Христа, тоже старинного письма <...> Справа лежали два Евангелия, слева Платон, Марк Аврелий и Спиноза» *.

Все метко и верно: напряженность убранства, излишек (но не нелепая «бесчисленность») часов, обилие богородиц, спасов, иногда в странном соседстве и чередовании с картинами резко иного характера. Все такое, какое было.

Доверяясь упрочившимся все же легендам, плохо осведомленный некомпетентными лицами, лично никогда не бывший у Лескова, А. А. Измайлов ближе к 1920 году писал: «Хорош лесковский кабинет на Фурштатской, с богоматерью Боровиковского, бронзовым Толстым и дорогим Буддой...»

Бронзового Толстого не было. Был небольшой гипсовый «пишущий Толстой», небольшой же гипсовый же его бюст, да в марте 1894 года появился еще настольный бюст Льва Николаевича, отлитый из металлической композиции, на дубовом постаменте, подаренный издателем «Всемирного обозрения» С. Е. Добродеевым. Изделие было массовое. Лесков, поблагодарив дарителя, посоветовал ему послать в Ясную Поляну два таких бюста дочерям Толстого — «помогающим графу в его работах» **.

Не было и дорогого Будды. Был маленький из кости,

---

* В. Микулич. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 162—163.

** Письмо Лескова к С. Е. Добродееву от 9 марта 1894 г. — Пушкинский дом.

стандартной резьбы. Были маленькие же, не имевшие художественного значения, золоченые бюстики Гете и Сократа, на мраморных розеточках.

Хорош был, с детских лет мне памятный, пожелтевший от времени и оттого ставший теплее и выразительнее, мраморный, хорошего резца, бюст Сенеки, сантиметров в 25—30. Его-то, конечно не забывая и терракоты во прах поверженного Сатаны, усердные ценители и обозреватели «раритетов» Лескова и не приметили... Не разобрали в висевшем около дверей в переднюю «оружии» непонятно заблудившихся в кабинете двух солдатских ружей Пибоди и Генри-Винчестера — трофеи войны 1877—1878 годов, подарок мне моих киевских дядей.

Один узрел «Нинетту», другой учуял в комнате даже что-то «шумное»... Недаром Лесков не жаловал скорописных репортеров.

Одна Веселитская по-писательски дала почувствовать и кабинет, и прошлое и настоящее его хозяина, и неукротимость творческого его темперамента.

Обстановка спальни, она же и библиотека, состояла из беспретенциозных книжных шкафов, комода красного дерева, маленькой ширмочки, не поместившегося в кабинете дивана от «гарнитуры», двух столиков с лекарствами и божнички с небольшим, но недурным иконописным собранием. Картин здесь совсем не было, если не считать хромолитографии «Пашущий Толстой», нескольких портретиков родных и портрета «яснополянского мудреца» почти над изголовьем старого, с шестидесятых годов жившего в доме дивана с ящиками, на котором последние двенадцать лет спал и скончался хозяин.

О столовой говорить уже и совсем нечего: стенная лампа над узким и маленьким раздвижным столом, гнутые и от времени шаткие стулья, крошечный дубовый полубуфетик, ясеневый, с жесткими сиденьем и спинкой, узенький диван, служивший мне пристанищем в мои приезды из подгородных казарм. На стенах что-нибудь уж невтерпеж наскучившее или вытесненное чем-нибудь новым из кабинета.

В старину жилые комнаты именовались покоями. Прекрасное, величавое, толковое слово. Где и поразмыслить и поработать, как не «в покое».

Сплошная завешанность и заставленность, не делая кабинета Лескова «музеем», снижала его покойность. Хотелось простоты, неотягощенности, воздуха... Вспоминал-

ся бесхитростный кабинет шестидесятых — семидесятых годов, окнами на «Тавриду». В нем всего было меньше, а покоя больше. Гимназиста Шляпкина он не подавил и не испугал *.

С ослаблением многих невзгод, особенно с 1880 года, усилились поездки на Апраксин двор и в Ново-Александровский рынок.

Лично для меня это представляло огромную опасность. Поездки на эти толкучки зачастую совершались в воскресенье. Вместо того чтобы сбегать на Симеоновский каток на Фонтанке или к товарищу или просто побыть единственный день в неделании дома, я должен был сопровождать отца. Я ненавидел эти «дворы», их «проезды» или холодные каменные «галереи». В своей «ветром подбитой», «на рыбьем меху» кадетской шинелишке, в холодных носках и кожаных башмаках, без неразрешавшихся калош, в холодных белых замшевых перчатках, я застывал уже, пока извозчик трусцой довозил нас от Таврического сада до угла Садовой улицы и Вознесенского (ныне Майорова) проспекта. Это составляло хороших четыре версты и требовало около сорока минут езды. Начинался медленный, от витринки к витринке, от лавчонки к лавчонке обход обеих бесконечных галерей. От их каменных плит и тянувших отовсюду сквозняков я коченел, в то же время поневоле изучая стили — ампир, Луи Кенз (15-й) или Сез (16-й), физиономии исторических людей на миниатюрах, разницу между бра, канделябрами и часами из бронзы или из «композиционного» сплава, мебель — Жакоб, буль, маркетри, и т. д... до слез.

Купив какой-то тяжелый, яркой расцветки, по краям слегка обитый, изразец, или неохватный холст на подрамнике, или отбившийся от пары увесистый позеленелый канделябр, уже близко к сумеркам мы выходили на улицу и, поторговавшись, садились на «ваньку» и тряслись восвояси.

Уставшего и, несмотря на шубу и меховые боты, может быть немного остудившегося отца уже покидала антикварная увлеченность, а с нею и благодушие. С этим для меня росла новая опасность: придерживая левой рукой лежащую сверх полости у меня на коленях покуп-

---

* См.: И. А. Шляпкин. К биографии Н. С. Лескова. — «Русская старина», 1895, № 12, с. 205—215 [46].

ку, я должен был правой «козырять» встречным офицерам, но делать это так, чтобы они были удовлетворены, а отцу не показалось, что я щеголяю четкостью артикула и впадаю в «пошлую военную лихость». Я сидел как на иголках, лавируя между обеими дипломатическими трудностями.

Наконец мы дома! На время обеда покупка ставится на ближайший стол или стул так, чтобы все время могла быть обозреваема. Мне даются пространные пояснения высокого ее художественного интереса, сравнительно ничтожной цены, за которую она продана «невежественным» торговцем. Горничной отдается приказ приготовить горячую воду, мыло, щетки, нашатырь для бронзы или керамики, скипидар, вату и губку для масляных картин.

Лесков оставил коротенькое, технически точное, слегка мистическое и трогательное описание, как при такой «акции» начинают шевелиться тона и очертания картин, а большое горе срывает лак с очень гордых лиц человеческих.

«Отец мой имел страсть к старым картинам. Он их много разыскивал и портил: он сам их размывал и покрывал новым лаком. Мы, бывало, смотрим, как он привезет откуда-нибудь старую картину, и видим темноватую, ровную поверхность, на которой все колера как-то мирно стушевались и сгладились во что-то неразборчивое, но гармоническое, под слоем потемневшего лака; но вот по этой картине проехала губка, напитанная скипидаром; остеклившийся лак пошел сворачиваться, проползли грязные потоки, и все тона той же самой картины зашевелились, изменились и, кажется, пришли в беспорядок. Она стала как будто не она — именно потому, что теперь-то она и являлась глазам сама собою, как есть, без лакировки, которая ее усмиряла и сглаживала. И мне вспомнилось, как мы раз, подражая отцу, хотели так же *умыть* циферблат на часах в нашей детской и, к ужасу своему, увидели, что изображенный на нем Бука с корзинкою, в которой сидели непослушные дети, вдруг потерял свои очертания и наместо очень храброго лица являл что-то в высшей степени двусмысленное и смешное.

Нечто такое же являет собою в несчастии и живой человек, даже самообладающий, а иногда и гордый. Горе срывает с него лак, и вдруг всем становятся видны его

пожухлые тоны и давно прорвавшиеся до грунта трещины» *.

Тотчас после десерта начиналась реставрация, а вслед за ней вставал сложный вопрос о месте, где стоять и особенно где висеть новому приобретению. Выясняется необходимость серьезной перегруппировки уже висящего и стоящего. Поневоле нечто, давно занимавшее то или иное положение в кабинете, безжалостно переводится «из гвардии в гарнизон», то есть в темноватую и холодноватую столовую.

Появляются кухонная табуретка, отвес, складной аршин, молоток, гвозди. Действую я. Отец отходит на несколько шагов для лучшей оценки пропорции просветов» между теснящимися рамами, полочками, этажерками и всем прочим.

«Чуть повыше... Влево... Постой! Да, слегка вниз. Еще, еще! Неужели у тебя нет глаза! Какой из тебя без глазомера военный будет! Так хорошо. Отметь место. Давай ее мне. Забивай гвоздь!»

Молоток и гвозди у меня в кармане домашней тужурки. Изразец, изображающий молодую, выглядывающую из оконца боярышню, водворен. Высоковато?.. Ничего, думал я: должно быть, он всегда венчал какой-нибудь камин или фигурную печь. Ему и так много чести!

Теперь предстояло окрестить нового жильца в доме. Это совершалось иногда сразу, по вдохновению, а другой раз п*о*ходя, по сочетанию с каким-нибудь подоспевшим событием.

Довелось осенью 1887 года привезти с Александровского рынка масляный женский портрет не очень симпатичной рыжеватой блондинки с малооживленным выражением чуть-чуть раскосых серо-синих глаз. Лескова она занимала. Прическа и туалет говорили о первой половине XIX века. Чей — никто не определял. Однако догадки строились. Наскучив неопределенностью и горя нетерпением, Лесков пишет в конце одного из писем к Суворину:

«P. S. Не будет ли вашего усердия когда-нибудь взглянуть у меня превосходный портрет какой-то дамы, который считают «портретом русской актрисы». Пересмотрели его многие сведущие люди, и никому не уда-

* «Интересные мужчины». — Собр. соч., т. XX, 1902—1903, с. 23.

лось узнать: кто это такая. А между тем это портрет замечательной кисти» *.

Итак — актриса. Какая же? Сперва предположительно, а потом и привычно стало произноситься — В. Н. Асенкова. Кстати помянуть, Лесков давно, в газетной статейке «Хвастуны и лгуны», привел рассказ о том, как она однажды осадила раскричавшееся на нее «высокое превосходительство» **.

Попозже попался портрет, без рамы, молодой темной шатенки с мелкими чертами и милым овалом лица. Легкое платьице «ампир» и убор головы обличали давно прошедшую эпоху. Не считаясь с этим, даме было присвоено имя «Вечера». Так звали только что убитую (30 января 1889 года) по уговору австрийским кронпринцем Рудольфом в замке Мейерлинг румынскую баронессу. Сам принц сейчас же покончил и с собой. Причиной трагедии было неразрешение императором Францем-Иосифом брака влюбленным.

Сложные операции с развеской кончены. Я освобождаюсь. Но уже восьмой час! Как справиться до одиннадцати с уроками на завтра? Их целых пять! Утром я успел приготовить только два. С мороза и устали неодолимо клонит сон... Пропало воскресенье! Не миновать завтра неудовлетворительного балла! А с тем...

Первым из случавшихся в ближайшие дни гостей мимоходом бросалось:

— Не помню — показывал я вам мое последнее приобретение?

— Нет.

— А вот оно, перед вами! — произносилось с рассеянным жестом по направлению к румяной, выглядывавшей с верха майоликовой головке в малиновом кокошнике и ярком шугае.

Иной гость принимался восхищаться, другой в нерешительности молчал. Хозяин, торопясь прервать заминку, устремлялся на выручку:

— Какова? Это вам не приветливая девица киевского «Володимерова вежливого двора» и обычая, а самая размосковская боярышня, которая в голос кричит из своего оконца Потоку-богатырю: «Шаромыжник, болван, неученый холоп! Чтоб тебя в турий рог искривило! Поросенок,

---

* Письмо от 30 сентября 1887 г. — Пушкинский дом [47].

** «Биржевые ведомости», 1869, № 240, 5 сентября.

теленок, свинья, эфиоп, чертов сын, неумытое рыло! Кабы только не этот мой девичий стыд, что *иного словца* мне сказать не велит, я тебя, прощелыгу, нахала, и *не так бы еще обругала!»* *

Стихи читаются горячо, с напором на подчеркнутые здесь слова, с неотступным требованием увидеть в тяжелом изразце ту жизнь, кипучесть и задор, которые, должно быть искренно, видятся в эту минуту Лескову. Побежденный пояснительной импровизацией, уже и гость по-новому смотрит на каменную «сивоpакшу», как окрестила «боярышню» обметавшая по утрам с нее пыль наша прислуга.

Посетитель уносит уже не свое, не первоначальное впечатление, а внушенное ему писательским истолкованием.

Конечно, не все и не всегда разделяли взгляд и суд Лескова на тот или иной художественный объект. Бывало, что не соглашались с ним и лица не без понимания в искусствах. Одним из таких являлся, например, В. Г. Авсеенко, несколько раз ходивший с Лесковым после заседаний в Ученом комитете по соседнему с Министерством народного просвещения Апраксину двору.

По-писательски не поленился он оставить из этой области и некоторые свидетельства.

«Бродить по толкучке, отыскивая разное старье, — было любимейшим развлечением Лескова. Там, среди старьевщиков, у него были друзья, с которыми он по целым часам рылся в разном хламе или, забравшись в заднюю каморку, пил чай и поражал словоохотливых торговцев удивительными словечками, вычитанными из редкостного, но едва ли для чего-нибудь нужного издания... Если бы у Лескова было больше денег, то старьевщики толкучего рынка могли бы делать с ним хорошие дела. Всякая старинная вещица приводила его в безграничный восторг, независимо от ее археологического значения. «Посмотрите, ведь это медный шандал XVII века, — говорил он, выхватывая с полки какую-то позеленевшую плошку. — Ведь если это почистить — вещице цены не будет. А вот это шитье тоже XVII века. Взгляните, даже кусок старинного кружева сохранился». Больше всего занимали Лескова произведения старинного искусства. «Ведь это Боровиковский! — восклицал он, отыскав в

---

* Из поэмы А. К. Толстого «Песня о Потоке-богатыре» [48].

хламе какой-нибудь почерневший холст. — Вещь недокончена, но манера Боровиковского сейчас видна». И он принимался торговать находку и торговал долго, до тех пор, пока не высылали ему из «Русского вестника» значительную сумму денег. Тогда он покупал Боровиковского и приобщал его к своей картинной галерее. Странная это была галерея. Она покрывала все стены его кабинета, выползая и в другие комнаты. И все это были какие-то древности, тщательно покрытые густым новым лаком. Когда я говорил Лескову, что все это не имеет никакого художественного значения, он сердился и уверял, что древние картины выше хорошей живописи. «Вы поймите, что ведь теперь так уже не делают», — говорил он.

Действительно, теперь так не делают, — тут он был прав.

Впрочем, Лесков, кажется, сам понимал, что своим музеем он только забавляется. Но у него была одна картина — настоящий Боровиковский, залакированный до того, что казалось, будто он вправлен под стекло, — и этою картиною Лесков дорожил совсем так, как будто это был новонайденный Рафаэль. Он наводил о ней справки, возил ее показывать некоторым архиереям и вообще обладание этой картиною ставил чуть ли не выше всей своей литературной деятельности.

— Да разве Боровиковский такая необъятная величина? — спросил я раз. Лесков посмотрел на меня, желчно сверкнув глазами, передернул плечами и несколько дней не говорил со мною» *.

Скептицизм в определении художественных достоинств многого из заполнявшего лесковский кабинет находил себе и другие подтверждения, но сперва о «мадонне» Владимира Боровиковского [49].

Летом 1881 года Лесков побывал в Киеве, посетив и имение зятя своего Д. И. Нога — Бурты, отстоявшие в восьми верстах от богатейшего имения и села Кагарлык, принадлежавших когда-то екатерининскому вельможе Д. П. Трощинскому. Естественно, что Лесков непременно захотел осмотреть кагарлыкскую церковь, роспись которой велась в свое время В. Л. Боровиковским. Поехали, осмотрели и, по приглашению водившего нас священ-

---

* *А. О.* Из литературных воспоминаний. — «Новое время», 1900, № 8705, 23 мая.

ника, пошли к нему пить чай. На дворе, через который вел нас хозяин, дети его пили молоко из больших глиняных крынок, стоявших на широкой темной доске, лежавшей на двух толстых чушках. Все прошли мимо, но Лесков, отстав, впился в доску, отодвинул крынки, вынул носовой платок и, смочив его в молоке, принялся тереть своеобразный стол. Священник сразу смешался и настойчиво приглашал именитого гостя «в зальцу», заверяя, что ничего ст*о*ящего здесь быть не может. Но в Лескове уже загорелось любопытство. Потерев в правом нижнем углу, он кое-как разобрал или угадал — «Владимир Боровиковский», а выше немножко отмытая доска начала выявлять богородицу в рост. Смущение настоятеля было неописуемо.

За чаем Лесков повел дело к тому, чтобы иерей уступил ему на каких-нибудь условиях «ничего не стоящую» доску. Священнику было и конфузно, и заманчиво, и боязно — не продешевить бы? В конце концов красноречие писателя убедило, и за тридцать рублей доска была снята с чушек и отнесена в нашу коляску.

Отец был несказанно горд находкой и весь обратный путь раскрывал нам значение Боровиковского, о котором все мы слышали впервые. По приезде в Бурты он сейчас же взялся за освобождение «мадонны» от присохшей грязи.

В Петербурге она была отдана знаменитым реставраторам Эрмитажа братьям Сидоровым, затем оправлена в раму и повешена в кабинете. С этого дня о ней пошли большие речи и слухи. Заинтересовывавшимся ею она готовно показывалась. Хотелось услышать голос настоящих, бесспорных знатоков. А их в приятельском кругу не было.

11 декабря 1881 года, по протекции Л. Н. Якоби-Толиверовой, вечерком, когда Лескова не было дома, приехал взглянуть на Боровиковского известнейший профессор живописи П. П. Чистяков. Показывая ему «мадонну», я был удивлен холодностью и краткостью его обрывистых реплик, больше похожих на глухое покашливание, чем на сколько-нибудь внятное и членораздельное высказывание. Задело и равнодушие, не покинувшее авторитетного эксперта при дальнейшем показе ему мною, так сказать «заодно», многого, к чему сам я был полон глубочайшего уважения. На этот раз я слышал лишь неуясняемые в их значении междометия. Ничто не оста-

навливало на себе его взыскательного глаза. Так загадочным сфинксом и ушел.

Впрочем, еще раньше меня смущали и Сидоровы, к которым не раз посылал меня отец в Эрмитаж, чтобы торопить их с реставрацией «мадонны», и которые неизменно хранили «благое молчание».

С досадой узнав от меня о приезде Чистякова, отец на другой же день нетерпеливо писал устроительнице этой экспертизы:

«Г. Чистяков был у меня в мое отсутствие и смотрел картину Боровиковского. Не возможно ли вам, уважаемая Александра Николаевна, спросить его: какое он имеет мнение об этой вещи? Вы бы этим очень меня одолжили» *.

О получении отцом просимого «мнения» память мне ничего не сохранила. Уверен, что, будь оно приятным, это отразилось бы в разговорах и в моей памяти.

Поостыл к «мадонне» вскоре и Лесков.

Много позже довелось узнать, что большие художники, беря крупные заказы по росписи церквей или обширных помещений, не всегда и не все подписанное ими сплошь писали сами, ограничиваясь лишь небольшой правкой старательных подмалевков их учеников.

Впоследствии, ознакомившись с пленительной кистью Боровиковского, я никогда не мог уловить в них родства с кагарлыкской богородицей.

Интерес к живописи, зародившийся в отроческие годы, еще в Орле, рос в Киеве и окончательно расцвел в Петербурге, не угасая до последних лет. Книга А. И. Сомова «Картины императорского Эрмитажа. Для посетителей этой галереи», Санкт-Петербург, издания 1859 года, испещрена пометами Лескова **. Местами даже в них виден писатель. Так, например, в сведениях о том, что кисти Ангелики Кауфман принадлежит изображение «сцен из Сентиментального путешествия Стерна», два последние слова аккуратно подчеркнуты синим карандашом. В данных о Грёзе отчеркнуто: «Не успела обыденная жизнь появиться в литературе и на сцене, как Грёз осуществил ее на полотне». У Фрагонара отмечено: «жанрист и ученик более литераторов, чем живописцев». У К. Брюллова внимание Лескова привлекли строки:

---

* Письмо от 12 декабря 1881 г. — Пушкинский дом.

** Архив А. Н. Лескова [50].

«Та же материальность <как и у мастеров европейских школ. — *А. Л.*> просвечивает и в его картинах исторического содержания».

В конце шестидесятых или начале семидесятых годов Лесковым начата «Повесть о безголовой Наяде (Из воспоминаний сумасшедшего художника)» *. В пяти первых ее главах (всего написано около листа) для завязки фантастического рассказа повествовалось о каком-то маньяке-художнике, жившем в конце Васильевского острова около Смоленского кладбища, мистически исповедовавшем культ «Красного дракона» Луки Кранаха **. На первых же страницах мелькают имена — Мунари, Тициан, Гарафалло, Дюрер, Беллини, Каульбах. Ниже подписи — «Н. Лесков» — стояло: «(Продолжение следует)». Но начало никогда не было напечатано, а продолжение не последовало» [51].

В библиотеке Лескова было несколько кипсеков и четыре тяжелых тома in folio изд. Вольфа — «Картинные галереи Европы».

Завязка романа «Обойденные» происходит в галереях Луврского музея в Париже.

Упомянув как-то о Громеке, он писал: «Часто остроумный, но еще чаще злой и насмешливый поэт Н. Ф. Щербина говорил, что Громека, подобно Мурильо, «писал в трех манерах». Известно, что есть картины Мурильо в серебристом, в голубом и в коричневом тонах. Первые писания Громеки против административного своеволия («Русский вестник» М. Н. Каткова) шутливый поэт приравнивал к первой манере, т. е. к серебристой; вторая, «голубоватая» началась в «Отечественных записках», когда Громека рассердился на непочтительность либералов и, по приведенной гр. Л. И. Толстым хорошей поговорке, «рассердясь на блох, и кожух в печь бросил». В третьей же манере, которая должна соответствовать мурильевской «коричневой», написаны сочинения, до сих пор недоступные критике. Это литература самого позднейшего периода, который относится к «крестительству» ***.

---

* ЦГЛА.

** Знак, ставившийся этим художником на своих произведениях вместо подписи во второй половине его жизни.

*** Намек на деятельность Громеки как седлецкого губернатора, давшую ему кличку «Степан-креститель». — «Откуда пошла глаголемая ерунда и хирунда». — «Новости и биржевая газета», 1884, № 243, 3 сентября [52].

Изобразительные искусства сочетались с литературной образностью, служа усилению последней.

В описании смерти собственного ребенка он говорил, что умирающий был очарователен, «как бледный ангел Скиавонэ...» *

В позднем своем романе, собираясь обрисовать убийственное влияние Николая I на все искусства, в частности погубившее величайшее дарование Карла Брюллова, Лесков писал В. М. Лаврову: «В производстве у меня на столе есть роман не роман, хроника не хроника, а, пожалуй, более всего роман листов в 15—17. Сюжет его взят из бумаг и преданий о 30-х годах и касается высоких нашего края — по преимуществу или даже исключительно со стороны любовных проделок и любовного бессердечия. «Натурель» он был бы невозможен и потому написан в виде событий, происходивших неизвестно когда и неизвестно где, — в виде «найденной рукописи». Имена все нерусские и нарочно деланные, вроде кличек. Прием как у Гофмана. В общем, это интересная история для чтения, а в частности люди сведущие поймут, что это не история. Главный ее элемент — *серальный* разврат и нравы *серальных* вельмож. «Борьба не с плотью и кровью», а просто разврат воли при пустоте сердца и внешнем лицемерии. Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих, «Чертовы куклы» **.

Роман был приостановлен печатанием в начале 1890 года на двадцатой его главе ***.

После длительной паузы делалась попытка возобновить публикацию: «К осени хочу отделать и прислать вам и третью часть «Чертовых кукол». Вторая неудобна, а третья удобна и интересна <...> Я думаю, что это будет встречено с сочувствием. Их помнят и о них говорят. Напишите, как вам это покажется. Так, может быть и проведем все вразнобивку, — писал Лесков В. А. Гольцеву ****. Ничто не удалось. Участь рукописи неизвестна [53].

---

* «Явление духа». — «Кругозор», 1878, № 1, 3 января.

** Письмо от 14 июня 1889 г. — «Печать и революция», 1928, декабрь, с. 37—57 [54].

*** «Русская мысль», 1890, № 1, с. 97—167.

**** Письмо от 10 мая 1891 г. — «Голос минувшего», 1916, № 7—8, с. 408.

Судьба Брюллова и еще больше Пушкина всегда занимала мысли Лескова. В самом начале семидесятых годов он, с нескрываемым сочувствием к художнику, вспоминал, как тот, вырвавшись из николаевского «загона», на самом рубеже его «и платье, и белье, и обувь по сю сторону границы бросил», отрешаясь ото всего, познанного под деспотической опекой венценосного покровителя искусств *.

В 1875 году, сблизившись в Париже с князем И. С. Гагариным, Лесков не упустил случая узнать все, что представилось возможным, от «милого барина, от которого веет еще атмосферою пушкинского кружка» **[55].

Аристократ-эмигрант, взволнованный счастливой возможностью наговориться с интересным соотечественником, впадает в тяжелое расстройство при случайном упоминании о великосветских нравах дней Пушкина. Его охватывает чувство негодования за возведение на него поклепа о причастности его к делу об анонимном «дипломе», посланном поэту и приведшем к роковой дуэли[56].

Допустимо, что глубоко потрясенный старик мог раскрыть в эти минуты много сокровенного, не введенного в журнальную статью Лескова ***, явившуюся откликом на воспоминания В. А. Соллогуба ****, но что могло найти себе применение в беллетристическом произведении, в романе.

Эпоху Николая, тридцатилетнюю «глухую пору» *****, завершившуюся катастрофой, «вскрывшей затяжной нарыв и показавшей: чем питался организм всей страны и каковы его соки», Лесков знал как редко кто другой.

В полустолетие кончины поэта Лесков негодующе начинал, до сегодня не опубликованный, рассказ свой «Лорд Уоронцов» [57].

«Как грустно, что жизнь дала повод Пушкину в 1830 году написать: к доброжелательству досель я не привык ******. Но еще печальнее, что его неблагодарные

---

* См.: «Смех и горе», гл. 8 8 . — Собр. соч., т. XV, 1902—1903, с. 184, и «Островитяне», гл. 7. — Там же, т. XII, с. 64.

** Письмо Лескова к А. П. Милюкову от 12 июня 1875 г. — «Шестидесятые годы», с. 296.

*** «Исторический вестник», 1886, № 8, с. 269—278.

**** Там же, 1886, № 5, с. 312—328.

***** Н. Л—в. Потревоженные тени. — Там же, 1890, № 12, с. 817—818.

****** Стихотворение Пушкина «Ответ анониму», 1830 г.

потомки не сумели проявить доброжелательства к великому поэту и после его кончины. Чего не вытерпело его имя от необузданного пера Писарева? Но того еще можно слегка оправдать юностью; наверно, проживи он подольше, он сам бы первый со стыдом отрекся от тех односторонностей, на которые его толкнул господствовавший тогда в близких к нему кружках «дух времени», а что подумать о многочисленной семье профессоров Одесского (Новороссийского) университета, молча допустивших, чтобы на их празднике памяти пятидесятилетия смерти поэта местный архиерей произнес речь (перепечатка в «Православном обозрении» 1887, март), полную самого бесстыжего фарисейства и наглого искажения мыслей и чувств поэта. Есть же среди них умные и честные люди. Как же они могли молча снести безобразие, учиненное в их среде над тем, чья память для каждого русского так беспредельно дорога? <...> Я не историк; ни Пушкина, ни Воронцова не знал, но у меня недавно была встреча с человеком, искренний рассказ которого ясно показал, что по всему складу характеров этих людей они никак не могли мириться друг с другом. Огонь и вода, пламя и камень слишком мало подходят друг к другу» *.

Все полно знания, в значительной степени пришедшего от живых участников событий, от представителей «большого света», который Лесков хорошо изучил и от которого потом негодующе отстранился.

Для многих постижений в семидесятые годы оказались чрезвычайно полезными частые встречи и интимные беседы у Кушелевых с маститым столичным дипломатом еще пушкинской поры А. Г. Жомини [58]. Это был отменно благовоспитанный и чарующе предупредительный сановник, вместитель всех дипломатических или великосветских анналов. Для него не было ни дворцовых, ни политических, ни альковных тайн настоящих или минувших лет. Писателю этим открывался труднодоступный клад **.

В поздние годы Лесков горько скорбел, что Пушкин шел на некоторые уступки в интересах и ради желаний

---

* Архив А. Н. Лескова.

** В Библиотеке имени Ленина хранится рукопись Лескова 1891 года не опубликованного московским журналом «Русская мысль» рассказа «Неоцененные услуги. Отрывки из воспоминаний» (первоначальное заглавие «Нашествие варваров»), в $2^1/_2$ листа, в котором все повествование ведется от лица этого дипломата [59].

жены, ставшей виновницей его гибели [60]. Имени ее он не любил произносить. Этим выражалась высокая степень осуждения.

На протяжении всей своей жизни Лесков не пропускал ни одной из художественных выставок столицы.

Жадно всматриваясь в дорогие ему по идее и выполнению картины гениальных мастеров, он внимательно вслушивался в отзывы зрителей. Он верил, что такие суждения очень полезны. Ими нельзя пренебрегать. Кисть, как и перо, должна учить, воспитывать, усовершать вкус, внушать «чувства добрые». Делают ли они это? В голосе толпы можно почерпнуть ответ.

Всегда охотно, горячо и убежденно говорил он о художественных произведениях и их творцах в беседах, в письмах, в печати.

О картине «Никита Пустосвят» В. Г. Перова он дал статью, полную удовлетворения и признания *.

Прочитав статью А. С. Суворина о картине К. Маковского «Смерть Грозного» [61], он писал автору отзывы: «...Ирина *ни в каком случае* не могла «на-людях» стоять в той позе, в какой она поставлена около мужа. Как ни исключителен момент, но женщина русского воспитания того века не могла себе позволить «н*а*людях мужа лапити», а она его удерживает «обл*а*пя». Читайте Забелина, вспомните типический взгляд Кабанихи (Островского) — схваченный гениально, наконец проникнитесь всем духом той эпохи, и вы почувствуете, что это «лапание» есть ложь и непонимание, как сцена могла сложиться в московско-татарском вкусе, а не во вкусе «живых картин» постановки К. Е. Маковского. Вы этого не заметили, или я говорю вздор? По-моему — я говорю дело... И далее: бездушность женских лиц в картинах Маковского есть их специальная черта. Многим думается, что в русских картинах это и кстати, так как русские женщины «были коровы». Это, однако, глупо и неправда. Были коровы, а были и не коровы, и Ирина, смею думать, не была корова, а она была баба с лукавиной и двоедушием. Неужели это не черты для живописца?..» **

Любопытны смены отношений его с Репиным.

---

* «Художественный журнал», 1882, № 11, с, 293—295.

** Письмо от 18 марта 1888 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, с. 60.

На экземпляре только что вышедшей библиографии своих сочинений он пишет: «Илье Ефимовичу Репину, превосходному художнику, искусные и благородные произведения которого приносили мне чистейшие и незабвенные радости. 1 окт. 88 г. СПб.» *. О портретах петербургской баронессы В. И. Икскуль фон Гилленбанд [62] и бельгийской графини Марии де Мерси Аржанто [63] Лесков 14 марта 1889 года восхищенно писал Репину: «Для меня эти два женские портрета — чистое вдохновение» **.

Между художником и писателем как бы слагается единомыслие. Первый иллюстрирует рассказы: «Лев старца Герасима» ***, «Гора» («Зенон златокузнец») ****, «Прекрасная Аза» *****, «Совестливый Данила» ******. Они не всегда удовлетворяют второго.

«Рисунки «Азы», — пишет Лесков В. Г. Черткову, — мне совсем не нравятся. Илья Ефимович *не* умеет рисовать женские лица. Он очень талантлив, но раз на раз не приходит. Иногда ослепительно хорошо, а иногда очень плохо. Это прежалко. «Аза» безобразна и *стара* — христианин совсем *ничто»* *******.

Судя по появлению имени Репина в письмах Лескова, знакомство их завязалось в зиму 1887—1888 годов. Где? Возможно, на «пятницах» Я. П. Полонского [64], а может, и на одной из всегда посещавшихся Лесковым художественных выставок. Художник заинтересовывается на редкость самобытной «натурой» и настаивает на необходимости портрета. Лесков уступает натиску. Встречная заинтересованность его крупнейшим современным художником и новым знакомым, по кипучему темпераменту, сперва круто взметнула ввысь, довольно долго продержалась в зените и... пошла на убыль: глубоких корней для дружества или хотя бы стойкого приятельства не было. Так или иначе, сеансы начались, но вскоре же пошли перебои и возражения. 26 сентября 1888 года Репин пытается переубедить Лескова, заявившего о нежелании иметь свой портрет.

---

* Архив Репина.
** Там же.
*** «Игрушечка», 1888, № 4.
**** «Живописное обозрение», 1890, № 2.
***** Изд. Сытина, 1890, Москва.
****** Там же.
******* Письмо от 15 мая 1889 г. — Архив Черткова. Москва.

«Глубокоуважаемый Николай Семенович!

Меня очень удивили мотивы, по которым вы не желаете допустить существование вашего портрета. Ничего подобного я предположить не мог и не могу и теперь. Не я один, вся образованная Россия знает вас и любит как очень выдающегося писателя с несомненными заслугами, как мыслящего человека в то же время... Да что на эту тему писать... Уж вы простите, не мне, грешному, объяснять вам ваше значение в русской литературе и русской жизни. Это значение большое, оно есть, и мы его, если бы даже и пожелали — не можем не признавать. Портрет ваш необходим. Он будет, несмотря на ваше нежелание его допустить; он дорог всем искренно любящим наших деятелей. Что же касается каких-то нападок на вас, когда-то бывших, как вы пишете, то я о них первый раз слышу <...> Надеюсь скоро увидеться с вами и лично поговорить подробней, если вы позволите. Право, вы делаете так много чести какому-то земскому и совсем неизвестному шантажу против вас, что мне даже обидно. Вас искренно и глубоко уважающий *И. Репин.*

За замечания насчет «Св. Николая» большое спасибо — воспользуюсь; вы правы. То есть «правителя» собственно» *.

Лескова удивило полное незнакомство художника с публицистическими бурями, бушевавшими в его отечестве в шестидесятых годах, и профессионально даже как бы задело. В конце концов Репин добивается своей цели: сеансы возобновляются, но явно ведутся Лесковым не так, как хотелось бы художнику.

15 декабря 1888 года устало и с раздраженностью заканчивается письмо к Н. П. Крохину: «Репин начал писать мой портрет, но мне жаль времени, и я виновник замедления, что работа художника не идет. Все занят, и все некогда. Так, верно, и издохну в у п р я ж к е. — Теперь, впрочем, ласкаю себя надеждою на июнь, июль и август уехать на выставку в Париж, и это меня очень занимает. Хочется еще раз увидеть жизнь людей свободных и на нас, холопей, не похожих» **.

---

* ЦГЛА [65].
** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

Знакомственные отношения по-прежнему продолжаются. Идет иногда и живой обмен яркими письмами [66]. 23 февраля 1880 года, уступая просьбам Репина, Лесков даже читает у него в мастерской, в большом собрании элегантных дам и маститых мужей, своего «Зенона златокузнеца». Все это хорошо, а вот «позирование» не удается, и портрет не движется. Лескова к нему не только не тянет, но даже как бы отвращает...

Дело затягивается, прискучает, а тем временем вкусам и требованиям Лескова становятся дороже и ближе полотна Н. Н. Ге. В новом своем настроении, насмотревшись на картину последнего, изображающую Христа перед Пилатом [67], он глубоко удовлетворенно и убежденно пишет мне 15 февраля 1890 года: «Сожалею, что смотрел картину без тебя, и буду огорчен, если ее снимут с выставки прежде, чем ты приедешь и ее увидишь. Это *первый* Христос, которого я понимаю. Так только и мог написать друг Толстого Ге» *.

В недатированном письме к Ахочинской [68], видимо, первых месяцев 1889 года, Лесков мимоходом, но уже определенно высказался: «Я отклонил желания Крамского и Репина, и он на меня за это недоволен, но я не желаю иметь своего портрета на выставке, — и его *не будет»* **. Его там и не было.

Курс держался твердо. В 1890 году общение с Репиным неуклонно замирает, а в письме к Толстому от 26 февраля 1891 года звучит уже что-то совсем новое: «Образ, написанный Репиным, я не видал. Говорят, будто там изображен Вл. Г. Чертков. Это теперь в моде» ***. Модам Лесков не потатчик.

19 ноября 1894 года, в книжке «Ежемесячные приложения к журналу «Нива», появляется статья Репина «Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству». Она нескупа на выпады против художника, который «иллюстрирует ходячие популярные идеи», а «рассудочные люди стараются возвеличить его за благие намерения — он служит-де идее общего блага... Самый большой вред наших доктрин об искусстве происходит оттого, что о нем пишут и внушают всегда литераторы и все с точки зрения литературы. Они бессовестно поль-

* Архив А. И. Лескова (фонд Н. С. Лескова).
** ЦГЛА.
*** «Письма Толстого и к Толстому», 1928, с. 101.

зуются авторитетом в мало знакомой им области пластического искусства» и т. д. Осуждающим принцип «искусства для искусства» литераторам бросается ожесточенное обвинение.

«Поздравляю с распоряжением о штунде и с отречением Репина от идеи в искусстве, — пишет 30 ноября того же года взволнованный Лесков В. А. Гольцеву. — У меня был два раза Стасов с совершенно *остывшими руками* и был трагически трогателен. И впрямь это ужасно! Из всех из них выдержал до конца один Ге, и тот самый гонимый и даже *прогнанный.* Отчего у вас <в «Русской мысли». — *А. Л.*> о нем ничего не напишут? Он и сам стоит внимания, да и *по поводу его* есть о чем пораскинуться. А то теперь все уже полезло за «самодовлеющими» *.

Так дело и обошлось без портрета. И это, конечно, очень жаль: при удаче могло быть создано «ослепительное» запечатление Лескова поры, когда у него еще *«все силы и страсти были в сборе».*

Кто был больше виноват или причинен в этой досадной незадаче? Своеволие «натуры»? Утомленность нарочито создававшимися затруднениями художника? Все в свою меру!

Не пожалел ли «во чреду лет» о своем противлении сам Лесков? Почему, например, прочитав не удовлетворившую его критическую статью о нем М. О. Меньшикова [69] в № 2 «Книжек «Недели» за 1894 год, он вспомнил в письме к ее автору от 12 февраля того же года: «Репину при трех попытках не удалось написать моего портрета, а вам не задался литературный очерк обо мне. Значит, так и надо» **.

Но вот прошло больше, чем полустолетие, а «обида» Репина на Лескова за противление созданию его портрета и сейчас разделяется всем сердцем, гневит и точит его.

Слов нет, превосходен портрет работы Серова! Но на нем Лесков больной, истерзанный своими «ободранными нервами» да злою ангиной... Но и тут глаза жгут, безупречное, до жути острое сходство потрясает... Воскрешаются в памяти, как бы слышатся, вещие слова Горького:

«Но он, Лесков, пронзил всю Русь» ***.

---

* «Памяти Виктора Александровича Гольцева. Статьи, воспоминания, письма». М., 1910, с. 254.

** Пушкинский дом.

*** «Жизнь Клима Самгина», т. I.

Со сменой лет менялись влечения, вкусы, потребности. Лескова перестал обольщать, а минутами даже, казалось, обременял занимавший когда-то «музей».

«Уже все это отныне для меня прах, и я гнушаюсь, что был к тому привязан», — изрек когда-то, по воле своего создателя, утомленный жизненными тяготами старогородский протопоп Савелий Туберозов *. В какой-то мере что-то схожее начинало слагаться и в самом Лескове, хотя и в значительно младшие годы. Зарождался соблазн при случае развязаться с переставшим интересовать скоплением холстов, эстампов, предметов... А случай, и впрямь, раз едва не выдался.

В начале 1883 года в кабинете Лескова появилась почти карикатурная фигурка: очень маленький, крикливо одетый брюнетик, с бритой верхней губой, черной, «метелочкой», бородкой и ежиком остриженными конскими волосами. Представился он как доверенный барона Зака, барона Г. О. Гинцбурга и прочих виднейших представителей столичной еврейской общественности. Себя он назвал кандидатом прав Казанского университета П. Л. Розенбергом [70]. От имени пославших его он передал просьбу составить записку по вопросу о положении евреев в России, предназначавшуюся для представления ее затем в так называвшуюся «Паленскую» комиссию, созданную для обсуждения мероприятий по предотвращению впредь еврейских погромов, подобных прокатившимся на юге в 1881—1882 годах.

Лескову, с детских лет задумывавшемуся над судьбой русских евреев и в первые же годы писательства выступавшему горячим оппонентом И. С. Аксакова в вопросе о предоставлении известных прав «потомкам Моисея, живущим под покровительством законов Российской империи» **, предложение было «по мыслям» и по сердцу. Он садится за работу.

21 декабря 1883 года получается цензурное разрешение, и в январе следующего года, в количестве пятидесяти экземпляров, выходит книга «Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу. (В продаже не обращается.) С.-Петербург. 1884». Автор записки не указывался.

---

* «Соборяне». — Собр. соч., т. II, 1902—1903, с. 154.

** «Северная пчела», 1862, № 70, 13 марта, передовая.

На одном из двух хранившихся у меня экземпляров этого издания стояла собственноручная надпись Лескова: «Эту книгу, напечатанную с разрешения министра внутренних дел графа Дмитрия Андреевича Толстого, написал я, Николай Лесков, а представил ее к печати некий Петр Львович Розенберг, который отмечен ее фиктивным автором. *Н. Лесков»* *.

Сведения о «записке» проникли в прессу, вызвав и восторженные хвалы ** и лютую хулу ***.

Прочитав ее шесть лет спустя, Владимир Соловьев писал автору: «С благодарностью возвращаю вам ваши книжки, которые прочел с великим удовольствием. «Еврей в России» по живости, полноте и силе аргументации есть лучший по этому предмету трактат, какой я только знаю» ****.

Пробудился интерес к ней и в послереволюционное время. Заговорили об ее авторе *****, издали по случайно отыскавшейся первоначальной авторской рукописи и самое записку, но уже не в пятидесяти экземплярах, а тиражом в 60 000 ******.

Изо всех сил стремившийся чем только мог услужить Лескову, Розенберг уловил его охлаждение к наполнявшим квартиру «раритетам», которые он, по обычаю, показал и этому новому знакомому, но уже без энтузиазма. Очень оборотистый, но и очень невежественный «Розенбе», как именовал его Лесков, предложил продать «стены» и некоторые вещи, исключая библиотеки, одному из многоденежных его патронов тысячи за три. Лесков дал себя убедить без сожаления и колебаний.

«Розенбе» был уверен в успехе измысленной им операции и принялся действовать. Но миллионеры, как пра-

---

* Впервые эта надпись Лескова опубликована с моего разрешения И. А. Шляпкиным в «Русской старине», 1895, № 12, с. 63. Впоследствии этот экземпляр исчез.

** «Недельная хроника восхода», 1884, № 5, 5 февраля, столбцы 129—133; № 6, 12 февраля, столбцы 153—158; № 7, 19 февраля, столбец 185; № 10, 11 марта, столбцы 257—261; № 15, 15 апреля, столбцы 409—412; № 19, 13 мая, столбцы 522—525.

*** «Газета А. Гатцука», 1884, № 8, 25 февраля, с. 143—144; «Новое время», 1884, № 2867, 21 февраля.

**** Письмо от 28 марта 1890 г. — ЦГЛА.

***** Ю. Гессен. Из тайн прошлого. — «Еврейская неделя», 1918, № 24—25.

****** «Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу». Пг., 1920.

вило, не вынимают деньги вслепую. Появились два присланные Заком эксперта. «Пришли, понюхали — и пошли прочь» [71]. Розенберг еще долго хорохорился и уповал, но в конце концов сконфуженно умолк. У антикварных «крыс» был нюх.

Досуже немало говорилось и писалось также о «коллекциях» часов или драгоценных камней. И снова: карманных часов золотых было двое. Одни — «купленные на первые заработанные деньги» — скромный открытый почтенный «Патек», с эмалированной арабской лошадкой на тыльной доске, с ветхозаветным ключиком. Другие, позднейшие — дар Эриксона [72], открытый «Луи Одемар», с «компенсированным» маятником, с «сертификатом» и проч. Толстые серебряные, вызолоченные, с будильником и «репетиром», пригодившимися в главе 7 рассказа «На краю света» *. Была серебряная, совсем малоценная «луковица», капризная в ходе, неуклюжая в измерениях. Попозже были приобретены: закрытый «Одемар», предназначавшийся мне «на производство в офицеры»; маленькие золотые дамские, посланные через меня однажды в Киев Вере Николаевне; приобретенный по случаю, для будущей невестки, «Дени Блондель». И все, за очень много лет.

О настольных часах сказано выше. Висячих или от полу стоящих не было.

Самое дорогое кольцо было с недурным александритом в полкарата и двумя несколько меньшими бриллиантами.

Позже завелись кольца с небольшим светловатым рубином, привезенными из Праги чешскими пиропами (гранатами), кошачьим глазом, лунным камнем, гиацинтом, аквамарином... Все небольшой ценности.

В бисерном кисете работы Марьи Петровны лежало несколько петровских «крестовиков», медаль в память учреждения в Петербурге воспитательного дома, две не подтвержденные позже Н. П. Кондаковым римские монеты, две-три русские XVI—XVII веков.

Представляло ли все это «собрания» или, тем более, «коллекции»?

В тех или иных условиях зарождался и некоторое время жил интерес к чему-нибудь. Постепенно он гас. Прекращались поиски, покупки. Ценно в этой «слабости

---

* Собр. соч., т. VII, 1902—1903, с. 148, 149.

увлекаться» было не то, сколько было собрано тех или других предметов, а то, что каждое временное увлечение давало литературные плоды.

Интерес к иконописи дал «Запечатленного ангела», к оружейничеству — «Левшу», к камням — рассказ «Александрит», к часам — рассказ «Отцовский завет. История одного рабочего семейства» *, и так далее.

Было ли познавание тайн каждого из этих искусств особенно настойчиво и глубоко — другое дело, но воспринималось вдохновенно.

Иначе шло с книгами.

Оно и понятно: в этой области Лесков являлся уже не «любителем», не дилетантом, а в самом деле знатоком и докой. Неугасимая любовь к книге жила вне времени и лет [73]. Она превозмогала даже правило остерегаться расточительства. Тут допускались и оправдывались жертвы, не согласовавшиеся с другими требованиями жизни.

Был случай, когда, при далеко не устойчивом еще материальном положении, стало Лескову «мануться купить» у книгопродавца А. Ф. Базунова, в старом здании Пассажа на Невском, «Большой требник Петра Могилы, великого чина, с царским и патриаршим судом и полными заклинательными молитвами», к которому, как говорится в рассказе о демономанах **, дьявол — «где есть такая книга, так туда и бьется». Заплатил он А. Ф. Базунову «сто тридцать рублей и с величайшей радостью повез мое сокровище домой».

В 1875 году И. А. Шляпкин видел у него этот требник, старопечатные же «Небо новое», «Ключ разумения истины», да вероятно и другие.

Свое знакомство с древлепечатными изданиями Лесков обнаруживал неустанно, как, например, в рецензии на

* Задушевное слово, 1886—1887, № 1—7, 9, 10—12, 14, ноябрь — январь. Часы фигурируют в «Интересных мужчинах», «Александрите», «Тупейном художнике». Им же уделен и ряд газетных заметок: «О часовых мастерах». — «Петербургская газета», 1884, № 37, 7 февраля; «Первые частные часы с астрономической сверкой», — Там же, 1884, № 287, 18 октября; «Часы и кровать Пушкина». — Там же, 1886, № 54, 25 февраля; «Эрмитажный павлин». — Там же, 1886, № 288, 20 октября — все без подписи; «Башенные часы Петропавловской крепости». — Там же, 1887, № 132, 16 мая — за подписью «Любитель часов».

** «Русские демономаны». — «Русская рознь», 1881, СПб., с. 272 и дальше. Первоначально — «Случаи из русской демономании», — «Новое время», 1880, № 1552, 25 мая.

«Словарь писателей древнего периода русской литературы XI—XVII вв.» А. В. Арсеньева *.

Любил он и некоторых букинистов, с большим уважением говорил, например, о «некнижном книжнике Иове Герасимове» **, которого именовал «знаменитым», а смерть этого «дедушки» почитал большою «потерею» для истинных книголюбов Петербурга [74].

В бесподписной лесковской газетной заметке типа некролога говорилось: «Чаще всего у него в лавке можно было встретить гг. Ефремова и Лескова. Такого живого антика, как Иов, уже нет среди петербургских книжников». Не забыл о нем книголюбивый писатель и собиратель и через два года, в доныне не изданной статье «Ошибки и погрешности в суждениях о графе Л. Толстом», но к этому мы подойдем в главе 2-й последней части этой летописи.

Случалось Лескову искать редкие книги «у ворот Троице-Сергиевской лавры», а в побывки свои в Москве обращался он за ними и в «магазин Кольчугина на Никольской» *** и «в гнездившиеся» там же лавчонки.

«Кто бывал в Москве у Проломных ворот или в старом Охотном ряду, — писал он, — где в темном проходе пряталась от взоров духовной полиции масса старопечатных книг известного Тихона Большакова, тот знает, как велика и прочна привычка грамотного русского простолюдина в воскресный день «покопаться в книжках» ****.

В Петербурге Лесков до последних лет время от времени обтекал весь Литейный проспект и Симеоновскую улицу с их знаменитыми букинистами В. И. Клочковым, Л. Ф. Мелиным, М. П. Мельниковым, А. С. Семеновым и многими прочими.

Не скупился он и на наставительство в книжных вопросах.

«Есть ли у вас в библиотеке так называемая «Елизаветинская библия» с современными русскими картинами? — пишет он Суворину. — Она, как, вероятно, вам известно, имеет большой интерес и по изображениям и по

---

* «Исторический вестник». 1881, № 12, с. 846—849.

** «Из жизни». — «Петербургская газета», 1884, № 47, 17 февраля. Без подписи.

*** «Владычный суд». — Собр. соч., т. XXII, 1902—1903, с. 109.

**** «Литературный разновес для народа». — «Новое время», 1881, № 2008, 30 сентября.

самому тексту, представляющему разность с нынешним общеупотребительным текстом, так как она печатана с Вульгаты. — У меня есть такой экземпляр, и я лет десять тому назад заплатил за него дорого (35 р)» *.

«А видели ли вы «Историю о седьми мудрецах в Великих Луках»? ** — спрашивает его же в другой раз [75].

«Маргарит» — книга «беседная», — снова поучает он того же своего «благоприятеля» четыре года спустя. — В библиотеке литератора она ни на что не нужна. Другое дело редкости «житийные», как «Зерцало» и тому подобное. Честь была бы Суворину, чтобы писатель пришел к нему в библиотеку и у него просил права поработать, тогда как теперь в синоде (2 экспедиция) книги *не дают,* а надо просить у Солдатенкова, Буслаева или Владимирова. На этакие книги тратьте деньги, и вы себя и других утешите» ***.

Исключительное знакомство с памятниками старой письменности не могло не вовлечь Лескова в использование ее тем для статей, а затем и учительно-художественных произведений.

Уже в начале восьмидесятых годов, в статье, озаглавленной «Жития как литературный источник» ****, разбирая только что изданный «Обширный опыт Николая Барсукова», он ревниво подчеркивает, что русской агиографией пользовались Карамзин, Пушкин, Герцен, Костомаров, Достоевский «и по слухам <...> усерднее всех вышеупомянутых занимается граф Лев Николаевич Толстой», который, «ударив старый камень священных сказаний, может источить из него струю живую и самую целебную. Некоторых это печалит, — поощряюще продолжает Лесков, — им жаль, что такой большой художник займется аскетами, а не дамами и кавалерами... Этим людям непонятно и досадно, как можно полюбить что-либо, кроме бесконечных вариаций на темы: «влюбился — женился», или «влюбился — застрелился».

Собственное внимание крепче, чем прежде, приковывается к старопечатным книгам вообще и к древнему славяно-русскому Прологу в частности.

Ряд построенных на темах Пролога повестей откры-

---

* Письмо от 10 марта 1884 г. — Пушкинский дом.

** Письмо от 18 марта 1884 г. — Там же.

*** Письмо от 26 марта 1888 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, с. 64—65.

**** «Новое время», 1882, № 2323, 17 августа.

вал «Лучший богомолец» *, впоследствии — «Богоугодный дровокол». Дальше шли: «Сказание о Федоре христианине и о друге его Абраме жидовине» (1886 г.), «Скоморох Памфалон» (1887 г.), «Совестный Данила», «Прекрасная Аза», «Лев старца Герасима», «О добром грешнике» (все четыре — 1888 г.), «Аскалонский злодей» (1889 г.), «Гора» (она же «Зенон златокузнец», 1890 г.), «Невинный Пруденций» (1891 г.), «Легендарные характеры» (1892 г.), «Невыносимый благодетель» (1893 г.) и залежавшееся у автора с 1887 года «Сошествие во ад (Апокрифическое сказание)» (1894 г.).

С увлечением принятый культ сильно уступает в долговечности живым зарисовкам орловских и общерусских действительных былей, событий, подлинно существовавшего, хорошо лично известного быта, как и яркому отражению злободневных явлений русской общественной жизни.

В начале 1888 года Лесков пишет Суворину, что Толстой «ставит Азу выше всего» и «советует мне» «еще написать такую». И тут же почему-то уже говорится: «Но я очень устал и утомился, да и довольно этого жанра» **.

Затем опять как бы делается уступка, и П. И. Бирюкову пишется: «Прологи меня еще занимают. Истории, слегка намеченные, развиваю с удовольствием. Желаю составить целый томик «Египетских новелл», и это меня занимает» ***.

А все-таки уже проскочило слово «еще».

Проходят два с небольшим года и. оживленно рассказывая о предстоящем появлении у Стасюлевича «Полунощников», Лесков в нетерпеливом сопоставлении двух писательских «жанров» не совсем осторожно признается Толстому: «А легенды мне ужасно надоели и опротивели <...>» ****.

Не заставляет себя долго ждать и конечный апофеоз: говоря М. О. Меньшикову о только что вышедшем одиннадцатом томе своих сочинений, Лесков раздраженно поясняет: «Притом в этом томе есть гадостный «Пруденций», поставленный потому, что другое, несколько луч-

---

* «Новости и биржевая газета».1886, № 109, 22 апреля.

** Письмо от 19 апреля 1888 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, с. 72.

*** Письмо от 31 мая 1888 г. — Архив Черткова. Москва.

**** Письмо от 23 января 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому». Л., 1928, с. 95.

шее, касается духовенства, а мне уже надоело быть конфискуемым» *[76].

Так временами сменялись расположение и вкус к тому или другому виду работ. Любовь к книге оставалась всегда неизменной и неиссякаемой, приобретая иногда трогательное выражение.

«Краткое изложение Евангелия» [77] Толстого, в женевском издании М. К. Элпидина 1890 года, переплетается у знаменитого петербургского переплетчика Ро, на Моховой, в мягкий шагрень темно-кирпичного цвета, с обрезом цвета «кревет», с тончайшей золотой оторочкой по краю и тонким тиснением в нижнем правом уголке: «Н. Лесков».

Любовно, у того же переплетного «художника», щегольски и строго обряжаются «Еврей в России», «Выписка из журнала Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения о преподавании закона божьего в народных школах», злосчастный «шестой том» **, «Стальная блоха» с рисунками Каразина, записка «О раскольниках города Риги и о их школах, состав. Н. С. Лесковым по поруч. министра нар. просв. Алекс. Вас. Головнина. 1863», как вытиснено на малиновом, современном ей сафьяновом переплете.

Маленькая книжечка издания «Дешевая библиотека» А. С. Суворина — «Люций Анней Сенека. Избранные письма к Люцилию» — полна собственноручных помет, сопоставляющих трусливую неполноту этих писем здесь с другими их изданиями [78].

На книге, изданной в Санкт-Петербурге в 1818 году, — «Новый полный и подробный Сонник...» — красными чернилами написано: «Редк. ц. 10 р. 82 г.».

В довершение «пэозажа» — надпись на книге «Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. Издание Н. Щепкина и К. Солдатенкова. Цена 1 руб. сер. Москва. В типографии В. Грачева и комп. 1859»; небольшая наклейка на переплете, снаружи, в верхнем углу, с кроткой мольбой:

«Добрые люди! не крадьте у меня эту книжку. — Уже три такие книжки украдены. О сем смиренно просит Никл. Лесков. (Цена 8 р.)».

---

* Письмо от 27 июня 1893 г. — Пушкинский дом. «Невинный Пруденций» впервые напечатан в журнале «Родина», 1891, № 1,

** О нем см. ниже, с. 369—375 и сл.

На чистом листе перед титулом добавлено: *«Заплочено 8 рублей, 1888 г.»* *.

Этот человек любил «копаться в книгах», не расставаясь с ними ни на час.

Все оставшееся после Лескова пошло в трое рук. Старшей летами наследницы уже тридцать лет нет. Жива ли младшая — неизвестно.

В своенравных противоречиях и ломке жизненных положений за полвека и из моей трети сбереглось не все.

В той или иной доле все же отцовские книги, вещи, семейный архив и реликвии сбережены и собраны, составив «Лесковиану», живущую у меня, со мною.

С близкой по законам естества смертью моей она может распылиться, утратиться.

«Значит, так и надо», — сказал бы, узнав о такой ее судьбе, не искавший себе никаких «оказательств» Лесков.

ГЛАВА 4

ВЕСЕЛЫЕ «ПООЩРЕНИЯ», СВОИ «СУББОТНИКИ» И «ПУШКИНСКИЙ КРУЖОК»

За неимением своего клуба любимым видом общения писателей шестидесятых и более поздних годов являлись встречи в определенных книжных магазинах или в каком-нибудь ближайшем к ним излюбленном трактире, попозднейшему — ресторане. «А как славно нам жилось в то время!.. — вспоминал Лесков первые свои годы в Петербурге. — Литераторы и молодые и старые сходились вместе ежедневно или в магазине Кожанчикова **, где помещалась редакция «Отечественных записок», или в магазине Печаткина... Оттуда мы отправлялись пить чай в Балабинский трактир *** за особый «литераторский» столик. Хозяйничали обыкновенно или Н. И. Костомаров,

* Перечисленные книги находятся в собрании А. Н. Лескова.

** Книжный магазин Д. Е. Кожанчикова находился против Публичной библиотеки, на западном углу Невского и Малой Садовой.

*** Трактир этот помещался вплотную рядом с Публичной библиотекой, по Садовой ул., ныне дом № 18. Он упоминается Лесковым неоднократно, в частности, в рассказе «Дама и Фефела». — Собр. соч., т. XXI, 1902—1903, с. 22.

или Кожанчиков — оба были большие мастера разливать чай. За чаем шли оживленные разговоры, споры, рассказы».

На вопрос, какие отношения существовали тогда между старыми и начинающими писателями, Лесков отвечал: «Совсем не то, что теперь... К нам, молодым, «старики» относились в высшей степени сердечно, а мы в их присутствии вели себя чрезвычайно сдержанно. Тогда в этом отношении было развито большое «чинопочитание»: например, в присутствии Николая Ивановича Костомарова мы едва позволяли себе говорить. А. Ф. Писемский обращался ко всем нам на «ты», а мы к нему на «вы». Да, хорошее, очень хорошее было время: мы поклонялись старшим, а старшие любили и поучали нас» *.

Вероятно, автор или несколько призабыл действительно существовавшее положение, или поддался легко приходящей на склоне лет буколике воспоминаний. По свидетельству Лейкина **, не все заседания в Балабинском трактире протекали за чайным столиком.

Подкупающе теплы и живы более ранние рассказы Лескова в этой области.

«Когда Петр Дмитриевич Боборыкин, — писал он, — издавал «Библиотеку для чтения», Павел Иванович <Якушкин. — *А. Л.*> часто посещал эту редакцию (на Итальянской в д. Салтыковой). Мы тогда сходились по вечерам «для редакционных соображений». Приходил и Павел Иванович, но «соображений» никаких не подавал, а раз только заявил, что «*так* этого делать нельзя».

— Как «так»? — спросили его.

— Без поощрения, — ответил он.

— А какое же надо поощрение?

— Разумеется — выпить и закусить.

Мнение Павла Ивановича поддержали и другие, и редакционные «соображения», изменив свой характер, обратились в довольно живые и веселые «поощрения», которые, впрочем, всякий производил за свой собственный счет, ибо все мы гурьбою переходили из голубой гостиной г. Боборыкина в ресторан на углу Литейного проспек-

---

* Виктор Протопопов. Портреты Н. С. Лескова. — «Наше время. Еженедельный иллюстрированный журнал литературы, политики и общественной жизни» (изд. «Петербургской газеты»), 1894, № 2, 15 декабря.

** «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907, с. 173.

та и Симеоновского переулка <ныне ул. Белинского. — *А. Л.*> и там нескучно ужинали» *.

Не менее популярным, по свидетельству Лескова, оказался «известный трактир Шухардина <уг. Литейной и Пантелеймоновской улицы, ныне Пестеля. — *А. Л.*>, служивший довольно долго местом литературных сходок. Его звали «литературный кабачок Пер Шухарда». Тут певал под гитару «Тереньку» Аполлон Григорьев, наигрывал на рояле «Нелюдимо наше море» Константин Вильбоа, плясал Ванечка Долгомостьев, кипятился Воскобойников, отрицался гордыни Громека, вдохновенно парил ввысь Бенни, целовался Толбин, серьезничал Эдельсон, рисовал Иевлев и с неизменным постоянством всегда терял свою тверскую шапку Павел Якушкин. Бывали часто и многие, вспоминать которых теперь нельзя, потому что они обидятся» **.

В ходе городских преобразований исчезает с лица земли кабачок Пер Шухарда, повышаются в рестораны и окупечиваются другие беспретензионные литературные пристанища. На смену им выдвигается прославившийся «русской кухней» «Малый Ярославец» на фешенебельной Большой Морской улице (ныне ул. Герцена). Здесь Всеволод Крестовский лично уловлял в аквариуме наиболее достойного его внимания налима и непосредственно руководил его сечением, дабы вспухшая от боли печень злосчастной рыбы приобрела особую нежность. Эту «печень разгневанного налима» Лесков увековечил много лет спустя в рассказах «Заячий ремиз» *** и «О книгодрательном бесе (Прохладные кровожадцы)» ****.

В дальнейшем ходе событий застольное внимание перешло к «Палкину», угол Владимирской и Невского, попозже — в довольно невзрачный «Афганистан», заслуженно — по сомнительности кулинарных и сервировочных достоинств — переименованный в «Паганистан» *****, на Садовой между Итальянской (ныне ул. Ракова) и Невским; и, наконец, уже на исходе восьмидесятых годов, в

---

* «Товарищеские воспоминания о Якушкине». — Собр. соч. П. И. Якушкина. СПб., 1884, с. L[79].

** «Картины прошлого». — «Новое время», 1883, № 2469 12 января.

*** Избр. соч. М., 1945 гл. VI, с. 417.

**** Сборник «Посев», Одесса, 1921, с. 83—86.

***** Применено в «Полунощниках», гл. VI. — Собр. соч., т. XXXIV, 1902—1903, с. 45.

ничем не лучший трактир некоего Прокофия Герасимовича Григорьева, угол Гороховой и Садовой.

У этого «Прокофия», в «отдельном кабинете», после «усердной рюмки», иногда, по образу средневековых мистерий, «соборне» свершалось «Голгофское действо». Пилата изображал по-римски бритый, круглоликий актер И. Ф. Горбунов, а Христа, которого по ходу действия потом он же, уже в новой роли выполнителя приговора, пригвождал к стене или двери в соседний кабинет, — бледный, «со брадой» и приятными чертами усталого доброго лица, С. В. Максимов. Остальные олицетворяли Варраву, толпу, требовавшую распятия Сергея Васильевича, с поникшей головой стоявшего перед судилищем со связанными салфеткою руками, воинов и т. д. в соответствии с последовательным развертыванием действа. Изнемогавшему «на кресте» Максимову подносили «оцет», то есть уксус из судка, прободали ему грудь копьем, точнее — тонкою тростью Лескова с мертвым черепом — memento mori — вместо рукоятки, и т. д. По изречении им «свершилось» и уронении главы на грудь происходило «снятие со креста», «повитие» тела, «яко плащаницею», совлеченною с одного из столов скатертью и «положение во гроб», на оттоманку. Тут на Лескова выпадало исполнение роли Иосифа Аримафейского, и под его регентством хор исполнял песнопение «Благообразный Иосиф с древа снемь пречистое тело твое...». У «гроба» ставилась «стража», при вскоре же наступавшем «воскресении» повергавшаяся во прах!

Оправившись от сценических напряжений, все удовлетворенно возвращались к «беседному вину» и к прерванной трапезе *.

Уживалось ли все это с деизмом и даже истовым цер-

---

* В чьих-то воспоминаниях рассказывалось, как однажды зашедший «по долгу службы» закусить в пустой кабинетик помощник пристава был поражен характером доносившихся песнопений. Не рассчитывая встретить во второклассном трактире сколько-нибудь значительных лиц, он, войдя к соседям, предложил им открыть их имена и звания. Первым четко отрекомендовался Пилат — артист императорских театров Иван Федорович Горбунов. «Редактор «Санкт-петербургских полицейских ведомостей», действительный статский советник Сергей Васильевич Максимов», — без передышки в тон первому рапортовал второй из песнопевцев. Переконфуженный представитель полиции, предваряя дальнейшие декларации, с усиленными извинениями учинил постыдную ретираду.

ковным правоверием некоторых исполнителей? — Как нельзя лучше.

Противоречило ли общественным преданиям и обычаям? — Нимало!

На заре своего литераторства, в 1861 году, в статье «Торговая кабала» * Лесков писал: «Из храмов они выносят воспоминания не о слове мира и любви, а об октавистых голосах, в подражание которым ревут дома долголетия и анафематства».

В зависимости от рода русских людей тех времен, охваченных простодушным настроением, видоизменялись формы и темы подражательства. Основа, глубоко залегшая в недра души и памяти «от младых ногтей», оставалась неизменной и равно любезной всем росшим и воспитывавшимся на «павлечтении» [80], благолепии и торжественности, воздействовавших на воображение, «яко феатр духовный».

* * *

Зима 1881—1882 годов отмечена в моей памяти новым в нашей холостой жизни с отцом явлением: периодическими вечерними сборищами у нас литературных и нелитературных добрых знакомых. Совершались они в первую субботу каждого месяца. Предвоскресный день был избран во внимание к моему ученическому положению и раннему подъему в будни.

Почти неизменными посетителями этих субботников были: Н. А. Лейкин, С. Н. Шубинский, М. И. Пыляев, С. Н. Терпигорев, Е. П. Карнович, П. А. Монтеверде, В. Н. Майнов, Ф. В. Вишневский, С. В. Максимов, В. О. Михневич, П. К. Мартьянов, А. Н. Тюфяева, К. С. Баранцевич... Реже бывали А. Ф. Иванов-Классик, Б. В. Гей, Р. Р. Голике, И. Ф. Василевский (Буква)... Из нелитературных старых «друзей» — генерал В. Д. Кренке, князь А. П. Щербатов [81], С. Е. Кушелев, князь М. Р. Кантакузен, граф Сперанский... На один из этих субботников наши соседи по квартире Свирские привели необыкновенно высокого длинноносого брюнета — правоведа, должно быть, последнего класса, В. Л. Величко [82], земляка Свирского. Неизменно ассистировал и другой наш сосед, барон А. Э. Штромберг [83]. Народу бывало немало, и теперь всех не вспомнишь.

---

* «Указатель экономический», 1861, № 221, 12 февраля.

Центром и главным источником всеобщего оживления неизменно являлся сам увлекательный и неистощимый в беседе радушный хозяин.

Карты здесь исключались. Их у Лескова никогда не было, ни на многолюдных ассамблеях в годы семейной жизни на углу Фурштатской и Потемкинской (прежде Таврической), ни позже. Это была заповедь дома.

Появление их на вечерах в писательских домах не только возмущало, но даже оскорбляло его.

— Говорить литераторам стало не о чем! — негодующе восклицал он, безнадежно разводя руками. — Какой стыд! Нет общих интересов, нечем поделиться! Не любознательны... Мало читают... Не любят книгу... Ну вот и оскудевают духовно, нет внутреннего содержания. Неоткуда почерпать его в таком усыплении мысли! В наживу пошли, деньголюбивы стали. Лошадей и дома покупают, а книг не собирают: не нужны. Если и заведет кто из «успевающих» книжную полку, то и на ней, кроме его собственных изделий, ничего не ищи. Срам! Вспомнишь, как в шестидесятые годы литературная голытьба рвалась к книге, как искала ее и собирала на последние гроши! Не верится! Больно думать! — заканчивал он с тяжелым вздохом.

Собирались обычно с девяти до одиннадцати, и сперва беседа велась за разносимым в кабинете чаем, а в первом часу, но никогда не позже часа ночи, подавался незатейливый, но обстоятельно продуманный ужин, которому предшествовала, преимущественно домашнего изготовления, закуска, орошавшаяся разноцветными и разнодушистыми настойками, приготовленными под непосредственным наблюдением и руководством хозяина по всем преданьям орловско-киевской старины или же по многохитростным рецептам многоискусного химика «Пыляича» (Пыляева).

Все эти «бодряги», «ерофеичи», смородиновки, березовки и прочие «составы» бывали приятны зраком и умилительны вкусом, а как непросто достигались высокие достоинства их, можно понять хотя бы из хранящегося у меня, собственною рукою ересиарха начертанного, рецепта:

«Хинное вино по составу Пыляева.

На одну четверть вина:

1) $^1/_4$ фунт. хинной коры Regiae (королевской), резаной.

2) 2 или 3 палочки корицы хорошей (цейлонской).

3) $^{1}/_{2}$ палочки ванили.

Всыпать все вместе и прибавить:

4) одну или две горсти корня горчавки (Radix Hyantinae) резаной.

Держать на этой смеси вино от 6 до 8 дней, достигая приятного, гранатного цвета. Слив один настой, можно налить половинную пропорцию и держать дольше — опять наблюдая цвет. — Хороший настой всегда должен иметь приятный, густой гранатный цвет.

Ко 2-му настою надо подбросить горсть новой, свежей горчавки».

Такие рецепты не всегда погибали в недрах семейного круга и домашнего обихода, находя иногда себе отражение и в творчестве. В рассказе «Обман» (первоначально — «Ветреники»), например, читаем: «Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость, с известною старинною надписью: «Ея же и монаси приемлют». Густой аметистовый цвет жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится» *.

Субботние «знатоки дела» апробовывали цвета и ароматы «составов» и дегустировали последние не без усердия, не всем и не всегда проходившего безнаказанно. Добросердый щупленький Баранцевич умягчался до трогательных выражений личного своего ко мне расположения, за что я облегчал ему необходимую ориентировку в забывавшемся им расположении квартиры. Упитанный Голике, побежденный однажды «ерофеичем» или «бодрягой» и вовремя недосмотренный, вышел на площадку темной парадной лестницы, где у дверей нашего соседа барона А. Э. Штромберга по римскому способу возвращал себе пути к новым застольным наслаждениям. Потребовались клятвенные мои уверения в ошибочности определения им своего местонахождения... Обмякал даже, обычно черствоватый, «каптенармус XVIII века», как прозвал сухого Шубинского добродушный, но острый Вишневский [84]. Последний щедрее всех сыпал никем не записывавшимися экспромтами и каламбурами. Стойко выдерживали все искусы закаленные в таких делах удивитель-

* Собр. соч., т. XVIII, 1902—1903, с. 93.

но малоинтересный в обществе Лейкин и отменно занимательный в беседе Атава-Терпихорев.

Внешне кое-что запомнилось, а самое ценное в этих ассамблеях — их беседное содержание, яркость высказывавшихся мыслей, взглядов, споры — ускользнуло, и теперь этого-то и не очеркнешь. Мне было пятнадцать лет. и из всего, что на них говорилось, очень немногое еще могло быть доступным моему пониманию. К тому же я был поглощен невздорной ролью мажордома, наблюдал за хозяйственным распорядком: подачей рома к чаю, затеплением «фряжского» и охлаждением «ренского» вина к ужину, настругиванием прозрачными лепестками швейцарского сыра, подачей после ужина к ликерам ароматного мокко.

Из слышанных на этих вечеринках — а может быть, и не на них именно, но в лесковском окружении — стихотворных блесток уцелело в памяти очень мало. Приведу то, что еще кое-как живо в ней.

Умерли в 1883 году в Петербурге почти одновременно духовник Александра II Бажанов и обнищавшая, забытая, но совсем еще недавно гремевшая и проглотившая не одно состояние, французская кокотка Camille Dellion. Обе смерти были отмечены в прессе, но, конечно, весьма по-разному. Неодинаково почтил их и кто-то из остроумцев:

С дней недавних начал Питер
Знаменитостей терять:
Умер Наш протопресвитер
И почила архи....!

По поводу смерти в Москве митрополита Макария Булгакова[85], умершего, подобно Екатерине II, в уборной, едва ли не Федор Владимирович Вишневский сочинил призыв:

Православные! хотите ль
Зреть дней наших чудеса?
Се! — Москвы первосвятитель
С судна — взят на небеса!

При каких-то осложнениях на Балканах, на закате жизни «Нарцисса чернильницы», как окрестил Горчакова Тютчев[86], кто-то сложил такую виршу:

На востоке распря снова...
На восток наш Горчаков
Смотрит гордо... и ни слова!..
Лишь сквозь стуло Горчакова
Тихо сыплется песок...[87]

Пользовавшийся особенным расположением Лескова подкупающе прекраснодушный поэт-юморист Алексей Федорович Иванов-Классик, побывав за границей, говорил:

И вот, как после пира,
Брожу опять в тумане:
Из вольных граждан мира
Разжалован в мещане!

Сын крестьянина, впоследствии лавочный «мальчик», отец которого обзавелся, кажется, мелочной торговлей, он с большим трудом отбился от ненавистной ему профессии и весь отдался всегда влекшей его к себе литературе. Любили его, кажется, все, кто его знал. О врагах его слышно не было. Это было воплощение доброты и снисходительности. На Лескова он действовал не менее благотворно, чем Карнович[88], но несколько в иной области.

Вот пример. 16 мая 1887 года Лесков, ответив Шубинскому на деловой запрос, завершает послание:

«В среду вечером в Новой Деревне приуготовляется «натуральный шашлык», для устройства коего привле- --- специалист — настоящий горец, с страшным носом. Директором утвержден Иванов-Классик. Игра предполагается оживленная в сумеречное время. Сбор торжествующих друзей к 8 ч. вечера у «Апаюна» (Норина в Славянке). Все предполагается в складчину, при некоем «отменном» кахетинском вине кн. Вачнадзе. — Не осчастливите ли компанию? — Горец будет священнодействовать при публике. Ваш *Н. Лесков»* *.

Горца с «натуральным шашлыком» и «отменным кахетинским» открыл Атава, однако «директором игры» мог быть «утвержден» только человек с таким всепримиряющим характером и органически незлобивым сердцем, каким обладал сей Классик.

Лесков с особенным удовольствием, любовно, читал поэтическую параллель на мотив «На севере диком», сложенную Ивановым в расцвет «попятной» политики гатчинского затворника:

Как мер репрессивных горячий поборник,
Дивя проходящий народ,
В овчинной порфире, безграмотный дворник
Недвижно сидит у ворот...

---

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

И снится ему, что в богатой короне,
Что золотом ярко блестит,
Такой же, как он, на наследственном троне
Безграмотный дворник сидит...[89]

Вот, пожалуй, почти и все, что помнится. Да еще при этом, за давностью времен, не ручаюсь и за безупречно точную передачу. Свыше полусотни лет — не шутка.

Иногда лесковские субботники посещали и дамы, жены Шубинского, Лейкина, Свирского, Штромберга и других. В таких случаях соответственно изменялся колорит беседы, и, надо сказать, не к выигрышу и не к оживлению ее. В сущности их присутствие играло на понижение настроения «торжествующих друзей». Они стесняли.

Однажды не обошлось и без трагикомедии. Дело было весной, уже почти в предразъездную на дачи пору. На исходе третьего часа Шубинский, Свирский и другие, бывшие с женами, перешли из столовой в кабинет и стали прощаться. Попыталась вызволить из столовой своего мужа и уехать и мадам Гей.

Однако сам Гей впал в такое умиление, что ни за что не хотел покинуть столовой, где прочно осели самые интересные собеседники, и в самой жесткой форме выразил полное равнодушие к судьбе своей жены. Раннее солнце заглянуло в кабинет, осветив взволнованное, поблекшее от усталости, растерянное лицо готовой расплакаться женщины, веселый смех мужа которой доносился из столовой. Убедившись, что никто не склонен самоотверженно проводить попавшую в неловкое положение женщину, я подошел к озадаченному всем этим отцу и предложил проводить ее домой. Гора свалилась с плеч. Дама, глотая слезы, быстро оделась, и я, облекшись в свою кадетскую униформу, с ловкостью совсем почти военного человека отвез ее при залившем уже улицы солнце, рассказывая всю дорогу какие-то отвлекающие пустяки, на неблизкую Коломенскую улицу. Выслушав от нее выражение горячей признательности, я вернулся домой, где «дружеская беседа» была еще в полном разгаре.

Лето 1882 года Лесков почему-то никуда не поехал и меня не отправил. Так мы и просидели в городе. Съездили, впрочем, недели на две в село Важино, на Свири, к каким-то едва знакомым и нелепым людям. На обратном пути побывали в Лодейном Поле и оттуда на лошадях

проехали в Александро-Свирский монастырь. 2 августа в письме Лескова к Е. Н. Ахматовой этой поездке подведен итог: «Уезжал на десять дней и то едва выдержал от неодолимой глупости и тупости, которыми сплошь скована жизнь в провинции» *.

В это лето особенно усердно посещали Лескова В. Н. Майнов и некий неразрывный друг последнего, доктор П. А. Гущин. Вечерами все трое очень часто уезжали в загородные сады, по части которых и Майнов и Гущин были мастаки. По субботам прикомандировывался к ним иногда приезжавший из саперного лагеря Вишневский, тоже умевший просидеть ночь за «беседным вином». Это был мой любимец. Он удивительно умеряюще действовал своим запорожским спокойствием на моего отца. Помню, как однажды они вернулись, когда я уже встал, взяли поочередно холодную ванну и легли: отец у себя в спальне, а Федор Владимирович в кабинете.

Мне казалось, что это лето было много более «пропащим», чем киевское, и много более расходным. Во всяком случае, ни сил, ни впечатлений оно не обновило и, наоборот, не могло не подорвать здоровья.

В наступившую затем зиму субботники как-то сошли на нет. Должно быть, наскучили. И на самом деле, они были и хлопотны и расходны, да и многое говоренное на них в осубъективленном «претворении» разносилось, множило и без того нескудные сплетни. Впору было их и бросить. А тем временем облегчил товарищеские встречи на нейтральной почве «Пушкинский кружок» [90].

Все эго, впрочем, не исключало отдельных нарочитых приемов у себя более близких. Так, например, 23 апреля 1883 года Лесков заканчивает свое письмецо к Шубинскому строками:

«В *понедельник* 25-го вечером жду вас *непременно.* Помните, что ведь все сами назвались. Куплю тельца упитанного и дам есть в 12 ч а с о в. — Будет, думаю, травля одному либералу и одному Атаве» **.

Лето 1883 года Лесков живет в Шувалове на даче № 19 некоего Орлова, на маленькой, тихой Софийской улице.

Дом на взгорке, с огромного балкона прекрасный вид на большое Третье, оно же Суздальское, озеро.

---

* Пушкинский дом.

** Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

Хотелось рабочего покоя, а благодаря близости города и тут выпадали нередкие «поощрения», связанные с приемами приезжавших на весь день воскресных гостей. Конечно, им по веселости и беззаботности было далеко до памятных першухардовских, да и многих позднейших сборищ. И состав участников и собственные годы были не те. Но уклоняться не было возможности.

Из писательской братии чаще других навещали Ф. В. Вишневский-Черниговец, В. О. Михневич, С. В. Максимов... Приглашались и бывали и простые смертные.

А. Н. Толиверовой 28 июня писалось: «Живу я, как мужики говорят, «як горох при дороге: кто мимо идет, тот и дернет». Обуревающей вас хандры не чувствую. Это очень уж сибаритственно для наших авантажей. Вероятнее всего вы ошибаетесь и принимаете за хандру «волненье крови молодой», «но дни бегут и стынет кровь»... И в самом деле: «что такое людей минутная любовь». При хандре на даче хорошо кушать простоквашу и чернослив.

Когда осчастливите своим посещением — будем рады и счастливы. Дача у меня хорошая, комната лишняя есть, ночевать есть на чем. Обедаем, по милости божией, до сих пор аккуратно всякий день. Есть у меня соседка на нигилистическом подбое с сентиментальными склонностями. Есть обширный и роскошный вид и тенистые террасы. Есть купальня <...> Будьте живы и сыты. *Н. Лесков»* *.

Настроение, как видно, было доступное шутке и незлобивому осмеянию чужой духовной дряблости и хандры.

Постепенно, однако, слишком частое хождение мимо и дерганье прискучают. Лескова непредвиденно кругом обсели далеко не одинаково любезные его духу досужие соседи: на Выборгском шоссе, вблизи известного тогда трактира «Хижина дяди Тома», поселился Н. А. Лейкин, ближе к нам, уже в Озерках, по тому же шоссе, № 39 — Д. Д. Минаев, тут же где-то «поэт-солдат» П. К. Мартьянов, он же «Подкузьмич» [91].

Хотелось поспокойнее.

Мне шел семнадцатый год. Я давно был в курсе личных отношений отца почти со всеми и поразился появлением у нас Минаева. Я знал, что в самом начале

---

* Пушкинский дом [92].

писательства с Минаевым было приятельство, сменившееся с апраксинских пожаров и «Некуда» враждой.

Очевидно, встреча произошла у Лейкина. Мне казалось, что Минаев искренно забыл шутки, которыми сыпал в разрыве по адресу Лескова, но отец мой их помнил.

Из всего дачного окружения искреннее дружество он питал единственно к жившему в Парголове Е. П. Карновичу.

17 августа 1883 года Лесков писал Шубинскому:

«С Минаевым, надеюсь, вы списались. Мне не по сердцу посредства с ним. Это люди совсем иного фасона <...> Карновичей вижу: это — *моя радость.* Простые вопросы, простые советы, радушное рукопожатие и сердечное слово. Поговорим, и хорошо станет» *.

И действительно, это был чарующе милый, чистый сердцем и помыслами человек.

Зимой летнее полусближение с Минаевым остыло.

Фаресов свидетельствует, что незадолго до своей кончины, то есть до 10 июля 1889 года, Минаев прислал Лескову новую свою фотографическую карточку с надписью:

Тому назад лет двадцать пять
Снялись на карточке мы оба,
Хотя приятельская злоба
Меня старалась осмеять.
И снова через четверть века,
Вполне успев тебя понять,
Как гражданина, человека,
Я сняться рад с тобой опять **[93].

Судя по очень многому, и она не растопила льда. Видимо, Лесков ее не берег. Я ее не помню. Возможно, что при случае она без сожаления была отдана Фаресову, у которого, как немалое другое, не уцелела.

В городских условиях с зимы 1883—1884 годов зовы к вечернему столу становились все реже, хотя былое радушие еще и не совсем уходило из обычаев дома. 27 января 1885 года Лесков в любопытном «штыле» шлет приглашение супружеству Шубинских:

«День иже во святых отца нашего Николы Студийского, творца икон и списателя канонов, приходится сей

---

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина,

** *Фаресов,* с. 151.

год в чистый понедельник (первый день поста). Празднество будет малое, но радушное. Прокофию Герасимову заказаны 1) кулебяка с рыбой и с грибами, 2) карп жареный и 3) форель соус провансаль. — Вина русские, но добрые, — старые из дареного ящика. Потребление трапезы начнется в 12 час. ночи. Съезд и разъезд гостей по их благоволению. Позов посылается сестре моей с мужем, Сергею Николаевичу Шубинскому с Екатериной Николаевной, которая должна бы меня посетить, супругам Свирским (муж артист, жена доктор и мой друг) и более никому, — разве, быть может, придет мой сосед барон Штромберг с женой» *[94].

День рождения Лескова празднуется в тесном кругу близких друзей еще раз в 1886 году. В 1887 году, под впечатлением цензурных досаждений, это событие «прошло насухо», а с переездом осенью того же года на Фурштатскую всякие вечерние приемы с затяжным сидением и ночными трапезами вообще вышли из обихода. Фаресовым на этот случай сделана за Лесковым разъяснительная запись:

«Если я не устраиваю теперь у себя кормленье гостей по вечерам, а угощаю их чаем, то это не из расчетливости, а просто мне перестало нравиться видеть у себя буфет, да и прислугу жаль беспокоить до полночи...» **

С августа 1889 года, когда начались первые проявления грудной жабы, уже и совсем стало не до вечерований.

* * *

Необходимо остановиться и на отношении Лескова к уже упоминавшемуся выше «Пушкинскому кружку» и вообще к объединительным литературно-артистическим попыткам.

В октябре 1882 года он был избран «старшиною» этого кружка, а 13 ноября уже пишет Терпигореву об отказе от «всяких должностей» по нему [95]. Однако, когда это требуется, ездит туда и читает перед публикой. Мало того, в зиму 1883—1884 годов он возит туда и меня на субботние вечера, на Мойку, 38, в зал Ломача.

Кружок вянет. Лесков еще 20 апреля 1883 года с шутливой пренебрежительностью пишет не заставшему его

---

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
** *Фаресов,* с. 128.

дома накануне Шубинскому: «В 9 часов я иногда ухожу, а вчера читал в Хлопушкинском кружке» *.

Через год, 10 апреля 1884 года, он пишет М. И. Михельсону о невозможности приехать к нему 15-го числа, так как «в этот день скрываюсь от публичного чтения, от которого мне не было иного спасения...» **.

Весьма вероятно, что к осложнениям и досадительностям по этому же кружку относится и недатированное письмо Лескова, несомненно к Лейкину, приобретавшему в этом кружке большое распорядительное значение:

«Уважаемый Николай Александрович!

Давно мы знакомы, а вы меня, верно, знать не хотите... Разве я когда-нибудь капризничаю или отстаю прочь от литературного дела, хотя бы это дело и не внушало мне доверия? Поверьте мне, что я ей-право болен и читать решительно не в состоянии. Вы ведь не знаете, слава богу, что такое настоящее нервное страдание, от которого в одни сутки весь желтеешь. Вот я именно теперь и есмь в таком состоянии.

Вот хороший чтец будет Герард, о котором я передал Петру Юрьевичу Арнольду.

Простите меня, пожалуйста. Преданный вам

Н. Лесков.

16 марта вечер» ***.

Сам Лесков читал в большом помещении и перед большой публикой скорее плохо: волновался, голоса, может быть, в результате перенесенного воспаления легких, както не хватало, интонирование пропадало. Он, должно быть, и сам это сознавал и шел на такие чтения крайне неохотно.

28 декабря 1884 года он писал Г. Л. Кравцову:

«Что касается «чтений», то это, во-1-х — так повелось, что читают только известные люди, а во-2-х — я сам не люблю публичные оказательства. Чтец у нас был Писемский, и он меня считал хорошим чтецом, но я могу читать хорошо только в комнате, в небольшом кружке, а не в публичных залах, где надо не читать верным тоном, а *выкрикивать.* Мне это не нравится, и я этого избегаю» ****.

---

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

** Пушкинский дом.

*** Пушкинский дом.

**** «Привет!». — Художественно-научно-литературный сборник. СПб., 1898.

Однако пока состояние здоровья позволяло, он, хотя как бы и жертвенно, шел на публичные выступления.

Раз кто-то у него в кабинете стал отказываться от чтения на каком-то вечере, ссылаясь на то, что читает вообще«паршиво».

— Ну и что ж такое, — вмешался Лесков, — ведь вы не за плату и не в свою пользу читать будете. А публике интересно вас послушать, а то просто и посмотреть. И никакой претензии к тому, что вы прочтете хуже любого актера, она к вам не предъявит, а поглядит на вас, какой вы есть, и похлопает вам. Больше ничего и не требуется. Я вот, например, должно быть, очень «паршиво» спел бы в большом зале, а если бы пришли да сказали: «Николай Семенович, позвольте поставить на афишу, что вы выступите в качестве певца. Это повысит сбор с нашего вечера и покроет кое-какие нужды неимущих товарищей». Я и не задумался бы: ставьте! А потом вышел бы, да и затянул:

Эдуаард и Гунигуунда,
Гунигунда, Эддуаард...

Люди бы посмеялись, а кому-нибудь от этого лишний грош перепал бы, ну и ладно. Какой тут стыд в чужую пользу плохо прочесть или спеть!

Но после нескольких воспалений легких и при неуклонно росшей их эмфиземе с годами такие чтения стали ему не под силу.

Неудивительно, что 20 марта 1888 года он уже писал Шубинскому: «Я не охотник читать публично...»

К концу 1884 года «Пушкинский кружок» уже агонизировал*.

22 января 1885 года К. В. Назарьева, ссылаясь на желание Лескова принимать участие в ужинах кружка, извещала его, что 24 января будет организационное собрание в ресторане «Демут» на Большой Конюшенной, а потом ужин, и очень просила не бросать кружка**.

Прошло несколько лет, в течение которых отношения Лескова с Лейкиным, неукротимо предавшимся денежным и закладным операциям, в корне изменившись, оборвались.

11 марта 1888 года в «Новом времени» появилась заметка, заключавшая в себе такие строки: «На последнем литературно-артистическом вечере Н. А. Лейкин поднял

---

* См.: «Петербургская газета», 1884, № 351, 21 декабря.

** ЦГЛА.

вопрос об учреждении, взамен временных, постоянных и прочно организованных собраний артистов и литераторов, в виде литературно-артистического клуба с особым уставом... Мысль г. Лейкина встречена была с сочувствием, пока, впрочем, только платонически...»

Лескова это выступление дельца разгневило, и он написал, оставшуюся в свое время нигде не напечатанною, злую заметку. Сейчас она уже никого обидеть не может, а взгляды Лескова на то, кому должно принадлежать «верховодство» в литературных вопросах и делах, — выскажет как нельзя более веско.

«О ЛИТЕРАТУРНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЮЗЕ»

В № 4322 «Нового времени» г. Петербуржец дал отчет о впечатлении, какое производит новая попытка сближения литераторов с артистами, причем г. Петербуржец вспоминает «не в счет» о закрывшемся «Пушкинском кружке» и говорит, что постоянное «учреждение» в этом роде было бы желательно, но что оно малонадежно.

Во всем этом много правды, но жаль, что г. Петербуржец вспоминает о Пушкинском кружке «не в счет», тогда как его именно надо брать «в счет». Пушкинский кружок имел очень хорошие условия для существования и пал потому, что литераторы *не захотели* его поддерживать, и верховодство этим несчастным кружком попало в руки лица, вокруг которого писателям с именами и положением группироваться было неудобно. Кружку этому прежде всего вредила инициатива, шедшая от лиц, не имевших ни значения, ни симпатии среди писателей, а дошибла его до смерти удивительная нескромность и отвага его последнего бойкого руководителя... То же самое, по началу судя, выступает наружу и теперь... Если смотреть на дело попросту, то это дурной знак. Когда крестьяне хотят что-нибудь «обсудить миром», они прежде всего обыкновенно просят «степенного человека», которого «люди слушают», чтобы «он обговорил дело». Если же кто сам собой, незваный, вырывается с «горлом» — то ему (как писал недавно г. Кокорев) крестьяне кричат: «замолчи, губошлеп». Это и резонно, потому что губошлепов не слушают и о чем губошлепы заговорят — к тому степенные люди приставать опасаются, — и дело не идет. Нужно, чтобы о деле с самого начала заговорил человек более или менее степенный и уважаемый, человек, которого другим людям пристойно слушать. Его и послушают, и с ним начнут

говорить серьезно. Если же за дело возьмется горлан-выскочка, то как бы он ни был развязен, нахален и боек, что стало очень легко «в наше нестрогое литературное время», — то за ним хоть бы и хотели пойти, так не пойдут, и дело этим будет подорвано в самом начале. К сожалению — в данном случае это, — по всем приметам, — уже и случилось в литературной части лиц, собравшихся ужинать у «Медведя» *. «Постоянное учреждение», без сомнения, желательно и нужно, но желательно и нужно, чтобы мысль или по крайней мере призывное слово об этом исходило от людей «степенных» и в литературном мире уважаемых. Такие люди в нашем обществе, конечно, и есть. Если же по нетерпеливости или по замечательной в теперешнее время нескромности дело будет предлагаться от лиц, которые не имеют нужного для успеха уважаемого положения, то об этом надо жалеть, и на самих этих людей тоже надо смотреть с сожалением, так как они, очевидно, очень к себе невнимательны и не знают своего места в обществе. Иначе они, конечно, поняли бы, что к их воззваниям нельзя ожидать никакого сочувствия среди литераторов, и они бы воздержались от заявлений. Скромность была бы для них новым украшением, а мысль о соединении не была бы сразу так единодушно отвергнута, как это теперь чувствуется» **.

Подписи на автографе нет. В кого главным образом метила заметка — было более чем ясно. Может быть, это-то и остановило автора от ее тиснения в газетах, в память того, что когда-то он видел в «нескромном горлане-выскочке» литературного товарища... Но Лесков был суров в оценке совместимого и несовместимого, по его мнению, со «служением литературе».

Длительная ледяная холодность Лескова не остерегла Лейкина от попытки выпросить у него какое-нибудь высказывание для журнала «Осколки».

Лесков не уклонился:

«Когда мне случалось попадать в одно общество с знаменитостями нашего века — я всегда чувствовал неодолимое смущение и никогда не находил, о чем при них говорить. Точно то же самое я ощущаю и теперь, расписываясь здесь, но желанию Николая Александровича Лейкина. *Николай Лесков*».

---

* Ресторан на Большой Конюшенной (ныне ул. Желябова).

** ЦГЛА.

Недопустимо уверовав в признание его «знаменитостью века» и в искренность смущения Лескова, Лейкин самодовольно помещает факсимиле «прикровенного речения» *.

* * *

В восьмидесятых годах Лесков часто скорбел об угрожающем умножении в литературе бойких «скорохватов», «фрейшюцев», «волшебных стрелков» и «Цицеронов», сердцем ее не любящих и устремляющихся в писательство исключительно ради карьеры, прибытка или тщеславия.

Удрученный такими мыслями, он, вероятно в 1887 году, так начинал один из своих, праздно ожидающих тиснения, рассказов:

«На днях посетил меня редактор одной распространенной газеты <подразумевается А. С. Суворин. — *А. Л.*> и в беседе стал жаловаться на невежество многих из своих сотрудников. Так, недавно один из них в бойкой статейке сослался на «небезызвестного парижского повара Шатобриана», а когда ему советовали заменить это словами «известный французский писатель Шатобриан», не только страшно обиделся, но стал уверять, что его хотят выставить в дураках и показать «в печати, что он не бывает в хороших ресторанах и не знает тонких блюд, а он через день у Палкина требует филе Шатобриан, названное так, всеконечно, в честь какого-нибудь знаменитого повара».

Мы с редактором порадовались за современную газетную молодежь! На заре нашей юности мы, птенцы гнезд Усова и Валентина Корша, не только к Палкину, но даже и в дешевую Балабинскую обитель заглядывали лишь в дни особых получений, обычно пробавляясь в трактирчиках мелкого пошиба. Порадовались, но вместе с тем и пожалели, что столь частые заходы к Палкину мешают нашим блистательным преемникам заглядывать столь же часто хотя бы в Пушкина, который равнял Шатобриана Данте и восторгался его переводом пленительной поэмы Мильтона» **.

Здесь снова проходят «Палкин», «Балабинская обитель», птенцы «Северной пчелы» времен П. С. Усова — Лесков, Бенни и так далее — и «С.-Петербургских ведо-

---

* Премия к журналу «Осколки». СПб., 1891, с. 11.
** «Клоподавие». — Архив Л. И. Лескова[96]

мостей» времен В. Ф. Корша — «Незнакомец» Суворин и другие. Воскрешаются картины давно минувших дней, когда в литературу шли люди, влекомые искренней страстью к писательству, начитанные, не «кидавшиеся по верхам журналистики» и не «жуирующие» *, а серьезно и много работавшие на любовно избранном поприще.

По клятвенному заверению одного современного событию питерского газетного сотрудника, усомнился в Шатобриане А. И. Фаресов [97].

Как было литературолюбивому Лескову удрученно не противопоставить в своей памяти посетителю дорогого «Палкина» былых своих сверстников, скромно «поощрявшихся» в одни оны у безвестного «Пер Шухарда»!

ГЛАВА 5
О ДЕТЯХ И О МНОГОМ ДРУГОМ

Любил ли Лесков детей? Нелегко ответить. Много здесь было сбивчивого, непостижимого.

Литературные анналы нескудно освещают отношения Л. Толстого, Тургенева, Достоевского, Салтыкова и других наших писателей не только к родственникам, но и к детям.

Это дает жизненный и характеризующий материал, которому нельзя не уделять внимания и места в каждой биографии.

Как же шло дело в этой области у Лескова, как понимался, чувствовался, разрешался вопрос?

В беседах или в печати он, горячо разделяя взгляд чтимого им английского романиста, приводил: «Диккенс говорил, что без ребенка дом скучен» **.

В жизни вопрос очень осложнялся: дети должны были не болеть, не досаждать, возможуо дольше оставаться маленькими, послушными, занимательными...

— Николай любит все маленькое: маленьких детей, собачек, птичек, — смеясь, говорил брат Николая Семеновича Алексей.

Подрастая, дети не должны были отягощать значительными хлопотами по их определению в гимназии или институты, издержками на их обучение языкам, музыке.

---

* «Литературуое бешенство». — «Исторический вестник», 1883, № 4, с. 154—160 [98].

** «Новопреставленный Сютаев». — «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник». М.—Л., 1929, с. 331.

Они должны были являть пример благонравия, неустанной благодарности, а с возмужанием — льстить своими успехами родительскому самолюбию и гордости.

Что послужит им примером, школой и вдохновением для приобретения всех этих качеств и достоинств — оставалось без обсуждений, если не считалось, что все предпосылки налицо в их воспитателе.

О том, как шло дело с дочерью, уже говорилось. Но обойдено, как оно велось и в отношении меня в моем детстве.

Увы, послушные законам всего живущего, все неотвратимо перестают быть «маленькими».

Лично я, мужая, начинал «сметь свое суждение иметь» [99], переставая мириться со вменением мне зачастую вин, мною за собою не знаемых. А между тем на мне, как на динамометре, отпечатлялась сила всех «злостраданий», переживавшихся моим отцом или «зломнившихся» [100] им. При этом «эхо» всегда оказывалось сильнее порождавшего его «звука». Я не претендую на исключительную память. Но несомненно, мне пришлось очень рано осознать, что многие мои вины приходят откуда-то извне: в письмах, газетах, со служебных комитетских заседаний, от досадных встреч на улицах, от домашних нестроений. Откуда бы и из чего бы ни излучались душевные муки отца, они в период жизни нашей с ним вдвоем, преломляясь, как в оптическом фокусе, сходились на мне. Невеселый был фокус.

Взрывы привезенного откуда-то гнева, за отсутствием равноправных членов семьи, особенно женщины, которая могла бы их смягчать и умерять, бывали страшны. Только счастливая случайность предотвращала повторение случая с Наталией Лесковой или чего-либо еще более тяжелого.

Неудивительно, что жизнь моих сверстников-пансионеров вызывала во мне затаенную, но горячую зависть, рисовалась мне верхом блаженства. Подумать только: все в свое время, в равных для всех условиях, никаких вспышек и драм, при вечернем приготовлении уроков есть у кого спросить непонятое утром в классе, найти помощь, которой нет дома! Нет расточительного по времени и утомительного хождения по три версты, зимою затемно, к восьми с половиною часам утра в корпус и назад, по вторникам и пятницам вечером, а воскресенье утром еще в ни на что мне не нужную школу технического рисова-

ния Штиглица у Пустого рынка, опять почти по две версты в конец. Когда же готовить пять серьезных уроков ежедневно? А тут то затяжное опоздание отца к обеду, то поручение снести кому-то спешное письмо, сбегать что-то купить на Воскресенскую и так далее.

И вот, прекрасный ученик первых четырех классов, пятый, но никогда не ниже десятого из сорока двух, я начал съезжать и терять веру в себя. Одновременно, досыта наслушавшись «очистительной критики», которою был напоен мой дом, я становился заносчивым, колким, по-мальчишески умничающим и вообще неприятным и неблагонравным, ухарствующим кадетом. Это приносило свои плоды. Но часто выпадало терпеть и совсем ни за что.

Иногда со смелостью отчаяния я встречно бросал отцу:

— Вы, вероятно, встретили где-нибудь Георгиевского или Авсеенко, а я должен за это расплачиваться!

— Это еще что за вздор? Ты и без них хорош! И вообще, скажи мне на милость, к чему ты собственно гнешь и чего ты хочешь?

— Отдайте меня пансионером. Я не могу жить в условиях, какие у нас в доме!

— Ааа... Вот оно что... Тебя, значит, не как нас, бывало, *тянет не в отчий дом, а из него?!*

— Да разве у вас был такой отчий дом, как у меня?

— Так, так!.. — круто сменяя только что бушевавшее раздражение на тихую сокрушенность, перебивал меня отец. — Ну, что же?! Остается покориться своей горькой доле и безнадежно сказать: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!»[101] Спасибо, сын, и на этом, — заключительно уронял он, уходя в кабинет с низко опущенной головой, со слезой в углах глаз и в упавшем голосе.

Обоюдное терзательство обрывалось. Дорогой ценой покупалась ни на какой срок не обеспеченная передышка.

В отрочестве я не подозревал, что о моем отце существует и растет целая критическая литература. Десятки лет спустя, колеблясь — писать или не писать его биографию, я обязал себя предварительно ознакомиться со всем, чем можно, из этой литературы, как и со всеми, частично уже даже и опубликованными, письмами Лескова и о Лескове. Тут мне пришлось у ряда исследователей и мемуаристов прочитать о «запальчивости» Лескова, об его

«пристрастности», «карамазовщине», «истерии», «достоевщине», об огромном, но «больном таланте», о «большой, но вместе с том и больной душе» и о многом другом [102].

И ломал я голову: откуда, от кого могло все это прийти, с кого могло быть перенято? Суровостью и жестокостью обильны были Дмитрий Лесков и Марья Алферьева. Но карамазовщины и истерии там не было, как и ни у кого в роду.

При личном свидании в 1937 году с очень острым и вдумчивым почитателем таланта Лескова, назвавшего его «тайнодумом» *[103], я спросил — не сближает ли он мысленно свое усложненное определение с просторечивою неискренностию? — «К сожалению, — без колебаний ответил он, — да. И это, — услышал я дальше, — несомненно чрезвычайно вредило ему и в творчестве и во всем».

1883 год внес в склад нашей жизни нечто, сперва принятое как незначительное, а затем оказавшееся многопоследственным.

На исходе ноября на кухне появилась дремучая «чухонка», а с нею и девочка в заношенном розовеньком ситчике. Переночевав, «чухонка» уехала, а не говорившая ни слова по-русски девочка осталась и, дичась всех, стала бегать за нашей горничной Кетти, когда та «служила у стола», и вообще появлялась в «комнатах», цепко держась за ее юбку. Это была дочь Кетти Варя, родившаяся 4 декабря 1879 года и сданная ею тогда в Воспитательный дом. Оттуда девочка была передана «на воспитание» в подпетербургскую финскую деревню Кейдала.

По уверению Кетти, с наступлением ребенку полных четырех лет мать теряла на него все права. Кроме каморки с форточкой на парадную лестницу, в которой до сих пор обычно жили у нас горничные, в глубине квартиры, за передней и коридором, около кухни была просторная «людская», где пока спала кухарка, молодая финка Сарр. В ней было разрешено поместить новообретенную дочь Кетти.

Постепенно девочка стала обвыкать. Раз-другой во время обеда ее посадили за стол, дали «сладкое». Это ускорило сближение. Через несколько месяцев она уже часто обедала за столом, за которым служила ее мать, сидела на низеньком диване в кабинете, в который мать ее

* «Посев», Одесса, 1921, с. 83.

могла входить, только постучав, по звонку или по очень неотложному делу.

Одиссея Катерины Кукк проста: в чем-то провинившись, она была изгнана отцом, домовладетельным обывателем тихого и строгого в нравах Пернова. Пришлось «идти в люди». Горничной у начальника крепостной артиллерии в Ковно генерала Шпицберга она беременеет от его денщика; Петербург, роды, сдача ребенка в Воспитательный дом, две-три перемены «мест», с весны 1882 года «по объявлению» — служба у нас.

«Человек мыслит словами и образами», — говорил Лесков.

Но и образы и слова подсказываются человеку впечатлением или воображением, к сожалению, не всегда безошибочными.

Варе присваивается наименование «сиротки». Создается культ сиротоприимства, не во всем бесспорного и выдержанного, но предлагаемого к признанию и подражанию, как всегда, с «аффектацией и пересолом». Темперамент исключает переживание чего-либо в тиши и интимности. Повторяется практиковавшийся так недавно прием с «Дездемоной», — так одно время настойчиво нарицалась домоправительница Паша, на основании довольно сомнительного, правду сказать, ее сходства с одним из изображений в лейпцигском кипсеке шекспировских женщин, изданном Брокгаузом в 1857 году. На этот раз, вместо лежащего на круглом столе шекспировского кипсека, из нижних левых ящиков письменного стола изымается и плавно поднимается концами пальцев историческое «кейдаловское» розовенькое Варино платьице *.

Как и с демонстрированием «Дездемоны», это выполняется при ком угодно и, как и тогда, разносится повсюду, особенно быстро и липко в литературных кругах Петербурга, а затем идет и за его пределы.

Велички, Захары Макшеевы и «совоспитанные им» угодливо улыбаются, другие теряются, третьи недоуменно каменеют. Это не прощается. На этом гибли расположение, давние отношения. Так погубили себя А. Н. Толиверова, переехавшая в следующем году в Петербург сестра Ольга Семеновна, а постепенно едва ли не все когда-то во что-то ценившиеся присные.

---

* «Памяти Николая Семеновича Лескова». — «Игрушечка» (для детей младшего возраста), 1895, № 9, с. 392—393 [104].

Известился о петербургской новинке и Киев. Тут уже пошла писать вся кровная губерния. Сиротоприимство принимается здесь как новая «причуда», очередная «фантазия». Оно признается во всем неясным, беспочвенным, не вызывающим веры. Сочувствовать здесь нечему. Взрыв на юге дает хорошую детонацию на севере. Впрочем, взаимопонимание давно утеряно обеими сторонами.

Жизнь девочке у «дяди», как, по указанию Лескова, она называла его, выдалась путаная. Всего больше она в доме являлась чем-то вроде «казачка» былых помещичьих времен, подавая то разрезной нож, то книгу, то туфли, то спички или капли и т. д. Угла у нее не было. Большею частью болталась она на кухне. С удалением осенью 1885 года ее матери девочке стало еще труднее и очень одиноко. С годами Лескову начало казаться, что все это идет по «сютаевской» догме [105]. Это располагало к проповеди. В газетах пошли статейки, будившие сострадание к безродным, покинутым, несчастным детям *. Далее такие же мотивы или картинки притачиваются иногда в тон **, иногда и совсем не в тон рассказа *** и без соблюдения жизненной достоверности ****.

Любопытно, что после личного свидания с Сютаевым, в мае 1888 года в Петербурге [106], Лесков писал П. И. Бирюкову: «Сютаев у меня был и мне вполне *не* понравился. Он ко Льву Николаевичу идет так же, как Страхов, Оболенский и художественный Александров. Это какое-то «ума помрачение». Он *духа раскольничьего* и такого же склада ума» *****.

В лесковском некрологе о Сютаеве говорилось, что покойный «имел ум светлый и способный для соображений, требующих немалой тонкости, и наделен был сердцем нежным и сострадательным. Особенно он жалел сирот и

---

* «Еще о детях». — «Петербургская газета», 1885, № 53, 24 февраля; «Незаконнорожденные дети». — Там же, № 159, 13 июня. Без подписи.

** «Фигура». — «Труд», 1889, № 13, с. 1—26; «Юдоль». — Сборник «Нивы», т. II, 1892, июнь, с. 553—634; «Пустоплясы». — «Северный вестник», 1893, январь, с. 220—230.

*** «Грабеж». — «Книжки «Недели», 1887, декабрь, с. 1—52; «Интересные мужчины». — «Новь», 1885, № 10 и 11 от 15 марта и 1 апреля, с. 215—228 и 441—458.

**** «Дама с похорон Достоевского» или «По поводу «Крейцеровой сонаты», написано в 1890 г., опубликовано: «Нива», 1899, № 30, с. 557—564.

***** Письмо от 31 мая 1888 г. — Архив Черткова, Москва.

«подбирал» их сам, и других любил склонять к этому». Дальше охотно вспоминается, как этот «черносошный», но грамотный «мужик» распространял любовь *«не на своих* детей, а на чужих — на сирот... — «Свои это что! — говорил он... — Своих-то любить велико ли дело!.. Своего теленка и корова оближет... Нет, надо, милый, чтобы чужих сирот взять... *надо, чтобы бесприютных сирот не было!»* И он кое-кого научил этому счастью...» *

Не сильнее ли всего здесь звучит: «свои это что!»

И никакого помрачения в уме пророка на этот раз не усматривается. Напротив — ему выражается благодарение за счастливый урок. И вправду: чего лучше, если и свои вровень с чужими одним теплом согреты!

Летом 1886 года Лескову придумалось полечиться в Старой Руссе или Аренсбурге в одиночку, не беря с собой ни прислуги, ни Вари. На кого же оставить девочку? Не возьмет ли ее на лето к себе на дачу Толиверова? Но она мужественно не поняла намеков. Зато с полуслова откликнулась на них устроившаяся на даче в Знаменке под Петергофом, рядом с Толиверовой, мать «маленькой Лиды» Пальм, О. А. Елшина.

Как всегда, новый знакомый засыпается разносторонними просторнейшими письмами **, с касательными и секущими по проштрафившимся чем-нибудь, разжалованным фигурам.

16 июня, все еще из дому: «Прошу вас поберечь ее, как провидение берегло Лиду, а Варя несчастнее Лиды, ибо она, к несчастью, имеет мать, на стороне прав которой стоят закон и Александра Николаевна <Толиверова. — *А. Л.*>».

Дальнейшие письма уже из Аренсбурга.

8 июля: «Вы называете меня вашим «провидением». Это слишком. Провидение не шутка. Оно меня, может быть, послало к Лиде, и я этим безмерно счастлив. Я не только *хотел* сделать, но я *сумел* сделать, что считали «невозможным». Я очень счастлив, что сидящие теперь за вашим столом два ребенка локчут молоко, влитое им моими руками. Какая это радость!.. Что поделывает наша Александра Николаевна? Все ли так неизменно беднится

---

* «Новопреставленный Сютаев». — «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», М.—Л., 1929, с. 330—331.

** Письма Лескова к Елшиной хранятся в Пушкинском доме. Ее письма к нему не сохранились.

и вытягивает душу своею унылостию... Жалкая, несчастная, но упрямая и тупоголовая женщина, которой никто в мире помочь не м о ж е т. — Пишите о моей Варюше. Где она спит?» <...>

Затем приходится откликаться на плохие вести о здоровье девочки.

17 июля: «Пока Варя живет у меня (4 года), у нее золотухи не было, и я ее всегда *коротко* стриг, но в раннем детстве у нее, очевидно, была злая золотуха, что видно по шрамам на шее. Тогда она у чухон носила длинные волосы, и золотуха *под ними* разводилась и спускалась вниз к горлу. Я ее остриг, кожа освежилась, и все шло хорошо, но маменька ихняя, не имея, что брехать, находила это «безобразием», и я уступил «священным правам матери» — и вот плоды этого снова созрели! Теперь еще недостает, чтобы по совету Александры Николаевны Варю «прямо» из Знаменки отдать в приют на приютский крупяной кулеш да на картофель, и обе «священные» воли совершатся над бедною д е в о ч к о й. — Я, однако, вероятно, упрусь немножко на своем «деспотизме».

Варя спешно вызывается в Аренсбург с подвернувшимися спутниками из знакомых. Встреча рассказывается в письме от 31 июля: одна милая дама, «сойдя или взойдя на палубу «Леандра», крикнула: «Где здесь *дядина девочка?»* Варя сейчас и объявилась ей, и она ее спустила при себе с большого корабля на легкий пароходец <...> Голова ее поистине ужасна! Вот так награда от родителей!»

В первых же числах сентября Лескову приходится сделать Елшиной строгое внушение за ее к нему письмо, «написанное в натянутом и вообще искусственном тоне, нимало не отвечающем характеру наших отношений. Рассказ ваш я старался поместить как можно лучше и, кажется, не испортил дела... К сожалению, я вижу, вы не умеете вести никаких дел и способны все портить по фантазии... Вам не делает чести такое письмо. Вы во всякое время свободны прервать со мною всякие отношения, и я верю, что я останусь тот же, каков и есмь, с добрым расположением к вам и вашему ребенку. Преданный вам *Н. Лесков.* 4 сент. 86, четверг, ночью».

Вскоре отношения окончательно обрываются, а через полтора года о ней пишется Суворину: «...А мать Лиды,

по удачному выражению одного горячего человека <...> и 25 р. Лиды дает пропивать своему <...> сыщику» *.

И этой-то отменно известной в литературной среде особе, по горестной, редко освобождавшей Лескова безудержности нрава, писались письма, затрагивавшие, может быть, и слабовольных, но несравненно более чистых людей.

В личных или письменных обращениях к кровным непременное, ярко выраженное расположение к Варе уже не ищется, а властно требуется, как нечто для всех обязательное. Раздраженность неподчинением этому требованию достаточно ясна из немногих строк одного письма его к сестре Ольге Семеновне: «Ты обнаружила то же самое, что и другие, т. е. Клотильда Даниловна, Катерина Степановна, Андрей Николаевич и проч. — так что ничего особенного в твоем отношении ко мне на этот счет нет... Остальные все вы одним миром намазаны и одно показали и одинаково мне смешны. Большинство людей обнаруживают жестокость не по злости, а по нерассудительности. То самое и здесь. У народа есть пословица: «Сирота в доме — божий посол», а по суждению легкомысленному — это худо, это кому-то мешает, это неприятно видеть, и т. д. «Сердца», о котором ты пишешь, я не вижу много ни в чьих детях, и это давно умными людьми решено, что «дети самые большие эгоисты на свете». Это иначе и быть не может: им недоступно широкое понимание вещей и справедливость. Следовательно, им нельзя быть не эгоистами, т. е. не желать себе всего без рассуждения, каково от этого другим? Добр бывает только тот, кто понял жизнь с ее ничтожностью и непрочностью» **.

Выразительна разница в строках, отводившихся Лесковым сиротке в письмах к присным и к «чрезвычайно проницательному» (смотри ниже) и заведомо берегшему отношения с своими близкими Толстому.

«Поездку к вам опять должен отложить, т. к. получил известие из Киева, что 20 генв. ко мне будут оттуда брат с племянницей. Вероятно, поеду тогда, когда они поедут назад через Москву, и я с ними, до Тулы» ***.

---

* Письмо от 12 апреля 1888 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, с. 68.

** Письмо от 10 июля 1889 г. Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

*** Письмо от 12 января 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому», 1928, с. 88.

«Поехать к вам очень хочу, да все помеха: брат приедет 25, да пробудет дней 8—10... Очень это суетливо!»*

«У меня теперь гостят родные еже по плоти из Киева»**.

Все преображается, когда, отвечая Толстому на его письмо о предстоящем голоде и о сильных, не просиживающих своих зобов клевунах, Лесков мягко переходит к любезной ему теме: «Я живу один, с 11-летней девочкой, сироткой, которую мать не могла пропитать и доверила мне с 2-х лет, и она теперь уже обо мне нежно заботится. Иные говорят, будто она моя дочь, — но я бы и не боялся признаться в этом, если бы это была правда, а это неправда: я ее взял просто из жалости, по одним мыслям с Сютаевым, что надо всем взять по сироте, и получил я в ней удостоверение, что нисколько не трудно любить не свое рожденное дитя как свое кровное. Вышла она у меня добрая и сострадательная ко всякому горю и прекраснейшая чтица, какой я и не слыхивал. Владимир Соловьев слушает ее с восторгом, и Ге ее ласкал. А теперь она ходит читать всем «Суратскую кофейню», и так читает, что все невольно заслушиваются. И все она ваши книжки знает и читает их детям, рыбакам и старушкам в богадельне. Вот такая мне послана отрада, и по ней я утвержден в убеждении, что...»*** Но перед тем, как начать четвертую страницу, что-то остановило. Ровно через год он учит Л. Я. Гуревич, как вести себя в устроенной им для нее поездке в Ясную Поляну: «С Львом Николаевичем советую быть откровенною, прямою и искренною, т. к. он *чрезвычайно проницателен,* а с доверчивыми людьми и сам становится доверчив» ****. (Курсив подлинника.)

На смену брошенному письму пошло другое, в котором приведенные выше строки жестко усмирены и сокращены. «...живу в одиночестве с девочкой сироткой, которую кое-как воспитываю. Ей теперь уже 11 лет, и она отменно хорошо читает рыбакам «Суратскую кофейню» *****. И только. Но чего хотелось раз — к тому

* Письмо от 20 января 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 92.

** Письмо от 7 февраля 1891 г. — Там же, с. 97.

*** Письмо из Шмецка от 7 июля 1891 г. — Архив А. Н. Лескова.

**** Письмо от 2 июля 1892 г. — «Невский альманах», 1915, с. 94, «Из архива «Северного вестника».

***** Письмо от 12 июля 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 109.

потянуло и второй: «К девочке я привязан, и она меня жалеет и любит, так что разлучиться нам — это значит замучиться: она была брошенная, я ее сам на руках носил по солнышку, когда она страдала в детстве, а теперь мы сжились и она в свои ранние годы и по духу-то мне родная стала» *.

Делались упоминания и в других письмах. Вызывали ли они какие-нибудь отклики? В известных пока девяти письмах Толстого к Лескову их нет. Случайность? А если «проницательность»?

Близки по тону и назначению и письма к Веселитской, не склонявшейся разделять определение, что Варя «бедная»: «В том, что я назвал Варю бедной девочкой, нет ничего неверного. Кто же она такая? Как назвать дитя, брошенное своими родителями сначала в Воспитательный дом, а потом на мостовую? Она не бедная в смысле несчастности, так как она теперь живет тем, «чем люди живы». Но ей нельзя отвергать помощь и участие, которые ей предлагает сердечная доброта людей» **.

Почему же Варя могла признаваться «бедной»?

Это совсем просто: создан был образ «сиротки». Беллетристически он благодарен, в нем столько содержания и тем, с ним так легко и удобно объединяются представления об единомыслии с Сютаевым. Вот почему-то Толстой как будто не принял его. Досадно... Ну, да всех не убедишь!

Сам Лесков, нередко мысля предвзято воспринятыми «образами», упорно верил в их истинность, негодовал на не разделявших их непогрешимость, — отсюда шли великие литературные потрясения и трагически неустанная «пря» с близкими. Не отпускались частичные разномыслия даже Толстому.

Впрочем, еще позднее, совсем в конце жизни, 8 декабря 1894 года, на вопрос о Варе в письме к нему Клотильды Даниловны он отвечал ей: «Варя — девочка, еще не выразившая своей нравственной личности, и потому я действительно *не* охотно говорю о ней. Есть хорошее, есть и нехорошее, а что выработается — богу одному ведомо. В том, что она выросла с мужчиною

---

* Письмо от 14 сентября 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 119.

** Письмо Лескова от 5 августа 1893 г. — В. Микулич. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 189.

и в мужском обществе, есть сторона и невыгодная, но все это еще пока неясно» *.

Как видим, ближним о пятнадцатилетнем подростке писалось скупее и осторожнее.

Предвидя, что если возьмусь писать биографию, в ней неизбежно придется сказать о Варе, о которой уже нескупо было наговорено в чужих воспоминаниях, в некрологах о Лескове и в письмах его и других лиц, я постарался собрать некоторые сторонние свидетельства и заключения, по преимуществу женские, может быть, более чуткие в подобных вопросах. Ограничусь приведением из них дышащих беспристрастностью строк из письма ко мне Любови Яковлевны Гуревич: «Мне думается, что, оставляя ее подле себя (вероятно, он имел бы возможность устроить ее иначе), он хотел устранить то чувство одиночества, которого он не мог по временам не испытывать, хотел иметь подле себя «своего» *человека*, — человека, над которым он имел бы определенные права, вернее — известную власть. А вместе с тем жила ведь в нем потребность «творить добро», и заботы его о Варе, хотя бы и более или менее внешние, давали ему удовлетворение в этом смысле. Но живой, непосредственной любви к ней у него, мне кажется, не было. Не было такой любви и у нее к нему. Я это раз почувствовала, когда мы с Л. И. Веселитской приехали к Николаю Семеновичу в Меррекюль и, встреченные по его поручению Варей, ехали с ней вместе к нему на дачу. Я живо помню, что Варя рассказывала по дороге... Она это рассказывала с явно недобрым чувством к нему, и у меня не осталось даже убеждения, что она говорит правду... Варя всего этого не могла осмыслить тогда, конечно, и в тоне своем несомненно осуждая Николая Семеновича за то, что она нам сообщала, но ведь и осуждение бывает разное в зависимости от того, любишь или не любишь того, кого осуждаешь. В ее осуждении не было ни тени душевной детской тревоги перед тем противоречием, которое она видела в жизни Николая Семеновича, а именно что-то недоброе, как у человека, который не может простить другому каких-то личных обид» **.

Схожи были впечатления Е. Д. Хирьяковой и Л. И. Веселитской. Много жестче других.

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд. Н. С. Лескова).
** Письмо от 3 января 1935 г. — Архив А. Н. Лескова.

В октябре 1885 года, когда я волею отца оказался в Киеве, Кетти была внезапно изгнана. В своей угарной голове она, очевидно, слишком переоценила твердость своего положения и была жестоко отрезвлена.

Веселый рассказ «Умершее сословие» заключался комической сценой, разыгравшейся в Киеве, вечерком на улице, между отставным орловским губернатором «умокраденным» князем П. И. Трубецким и действовавшим киевским гражданским губернатором И. И. Фундуклеем. По-старому петушившийся князь рассказал о происшедшей с ним «неприятной встрече» знакомому доктору [107], а тот «развез ее во всю свою акушерскую практику» *.

С еще большим усердием «развезла» по всем известным ей литераторским домам и весям и Кетти Кукк обо всем, что знала и за три с половиной года запомнила. Предосаднейшие толки и пересуды пошли по всем путям, порождая легенды и отражаясь затем в дневниках и «романах» **. Однако безвыходность обстоятельств вынудила ее в конце концов согласиться на оставление пока дочери у Лескова. В этом ею была выдана ему «записка», которая впоследствии была возобновлена.

Непосредственно в разгар бури А. Н. Толиверова открыто высказалась за признание «священных прав матери» [108], вызвав новую опалу и гнев Лескова.

Около полугода спустя Кетти делает какой-то нескладный ход, породивший очередной взрыв. Снова выступившая, по просьбе потерпевшей, посредницей, та же Толиверова получает серьезный «напрягай»:

«Вы действительно вмешиваетесь в дело, вам постороннее, и имеете полное право надеяться, что не отвечать вам не было бы грубостию; но тем не менее я вам отвечу.

Мать Вари может ее видеть *всегда,* но не сегодня, когда она меня вывела из терпения. От нее требуется одно: помнить свое положение и знать свое место, а не приходить с замечаниями и с форсом.

Помочь вы ей можете тем, если внушите ей, что она глупа и зла.

---

* Собр. соч., т. XX, 1902—1003, с. 131.

** Иероним Ясинский. Роман моей жизни. М.—Л., 1926, с. 202; «Дневник А. С. Суворина». М.—Пг., 1923, с. 177.

«Что будет с Варею летом» — я не знаю, ибо не знаю, что будет со мною. Где буду я — там будет и Варя, — если до той поры не откроется платная вакансия в один из 2-х приютов, которые мне кажутся за лучшие. Это требует счастья, времени, связей и денег. *Н. Л.»* *.

Впрочем, опала с нее вскоре не только снимается, но даже сменяется через год обещанием для ее «Игрушечки» целого рассказа — «Лев старца Герасима», да еще с рисунком Репина ** [109].

Варя остается в Петербурге у «дяди», мать уезжает «на место», не слагая с себя значительных обязательств по воспитанию дочери, аккуратно выполнявшихся ею до 1893 года ***.

Отношениям между матерью и дочерью неоткуда было быть здоровыми. Прожив в малоестественных условиях вместе менее двух лет, они снова растеряли друг друга, как оказалось, уже навсегда. Безотступная опека Лескова парализует простоту переписки. Раз как-то, по десятому году, Варе удается тайком написать матери: «Лиза со мной грубая и дерзкая, а Паша хорошо обращается со мной. Лиза все сосплетничала, что ты сказала мне» ****. Вся переписка контролируется. Иногда девочке приходится писать по готовому черновику.

17 мая 1892 года Лесков делает приписку на Варином письме к матери: «Вы напрасно делаете Варе упреки за то, в чем нет ее вины. Ребенку свойственно желать знать о том, что делается с матерью. Вы не имеете понятия о том, что хорошо и что дурно в дитяти. Всегда хорошо, если дитя правдиво и говорит то, что оно думает, а не таит ничего на уме. Ваши слова могут только сбивать девочку с толку — как надо думать и поступать. Очень смешно и неумно видеть для себя обиду в том, что дитя спрашивает вас о том, о чем оно со всех сторон слышит! Вы, верно, забываете, что ей уже 13-й год и что она умна, понятлива и много читает и много думает, и с нею уже нельзя говорить, как с kleine Püp-

---

* Письмо от 9 апреля 1886 г. — Пушкинский дом.

** Опубликован в апрельской книжке 1888 г. — Собр. соч., т. XXX, 1902—1903, с. 21—28.

*** См. письмо Лескова к П. Гайдебурову от 8 января 1893 г. с обращением к Литературному ф о н д у. — Пушкинский дом.

**** Письмо от 20 марта 1889 г. — Пушкинский дом.

pchen!» * А 15 августа того же года заготовляет ответ Вари ее матери, из которого привожу около половины его содержания: «Мы возвратились 15 августа <...> Любит или нет меня дядя, об этом не для чего спрашивать. Все равно я всем обязана одному ему, и если бы он меня не любил, то вы этого поправить не можете; а мне неприлично говорить о человеке, который один меня спасал от нищеты и ничтожества. Прошу вас об этом меня более не спрашивать. Учусь я в той же школе в 5 классе... Прошу вас верить моему желанию вам всего доброго и полезного вашей душе» **.

Чья дидактика могла сильнее сбивать злополучного подростка — не угадать.

Упоминаемая Варей Лиза, молоденькая девушка, горничная Лескова, недолюбливала ее, как и упоминаемая Варей старая Пашетта. Вообще со слугами дело не шло. Еще в детские ее годы некоторые из них не хотели жить с нею в одной комнате и всегда сторонились ее. И мудрено ли? В «господских» комнатах у нее угла не было, да там надо было серьезничать, подлаживаться под минутное настроение, угадывать желания. Это стоило сил и напряжения. Девочке хотелось подурачиться, а вертясь на кухне, она мешала занятым людям работать, надоедала, раздражала, да того гляди, может быть, еще что и «насплетничает барину». Лучше от нее подальше! Так и оставалась она невольно между двух стульев. Невыгодная позиция.

Предубежденный против Кетти, я перенес тогда известную долю нерасположения и на ее дочь, произведшую на меня сразу физически неблагоприятное впечатление, а потом, в создавшихся условиях, казавшуюся мне непростой и неестественной. С одной стороны, она вызывала во мне жалость, с другой — я не находил в ней ребяческой искренности, которую видел в детях Толиверовой, Матавкиных, Крохиных, Штромбергов. Вспоминая это, я решил воздержаться от непосредственного свидетельства о Варе, предоставив это другим.

---

* Маленькой куколкой (*нем.*). — Двадцать три письма Лескова к Катерине Кукк хранятся в Пушкинском доме. Два письма его же к ней опубликованы Фаресовым в утреннем выпуске газеты «Биржевые ведомости», 1905, № 8681, 21 февраля. В Пушкинском доме находятся и письма В. И. Долиной к ее матери.

** Карандашный набросок. — Архив А. Н. Лескова.

«Внешние», как сказала Гуревич, заботы о ней Лескова выразились всего значительнее и определеннее посмертно: 18 ноября 1892 года Лесков подписал нотариальное духовное завещание, по которому Варя была уравнена в правах по наследованию с родной дочерью и родным сыном, имевшими уже собственных детей, а его внуков.

Две недели спустя после подписи завещания, 2 декабря 1892 года, он дома составляет распоряжение, озаглавленное им: «Моя посмертная просьба». Половина этой «просьбы» отведена Варе.

Здесь Лесков снова подтверждает, что Варя не его дочь, и обращается к Литературному фонду с мольбой о содействии ей в окончании ею начатого образования.

При наличии уже юридически бесспорного завещательного, распоряжения эта мольба являлась беспредметной *.

На исходе 1897 года она прекратила свое образование, самочинно бросив дорогой интернат при Аннен-шуле, и тайно от своего попечителя вышла замуж за какого-то недоучку, занимавшего ничтожное служебное положение в захолустной Устюжне. С этих пор все связи с ней оборвались.

Кетти Кукк после смерти своей, уже вд*о*вой, матери наследовала в родном Пернове недвижимость, дорожавшую с постройкой железной дороги столь же бурно, как тихий когда-то городок превращался в прекрасный, излюбленный москвичами и петербуржцами купальный и лечебный курорт.

Но довольно житейно-частного. Остановимся ненадолго на взглядах о детях, высказанных Лесковым в смене времен, условий, настроений.

В расцвете сил и лет, в начале литераторства, в пылкой противонигилистической статье «Специалисты по женской части», перечисляя грехи этих нигилистов, он убежденно писал: «Материнскую заботливость о детях называли узостью взгляда, которому противопоставляли широкий взгляд на сдачу детей попечению общества или

---

* Ср. в корне неверное толкование и зыбкие разъяснения А. И. Фаресова в книге «Против течений», с. 146, или в публикации Н. П. Жерве в сборнике «Стожары», 1923, кн. 3, с. 61—64 [110].

на существующую будто бы возможность любить чужих детей, как своих» *.

Любить своих детей больше, чем не своих, исповедуется тогда как «простые, но величавые в своей простоте» истины, как credo.

К полсотне лет Лескова этот же культ подсказал ему раз написать М. Г. Пейкер, что в ее руках сейчас самое дорогое, что есть у него на свете, — его тринадцатилетний сын **.

Жизнь идет дальше, не оставляя ничего неизменным. Подходит старость. В шутливую минуту, в разговорах о детях и их воспитании, Лесков, без большого простодушия, иногда читает вслух шутливое четверостишие Шумахера к памятнику баснописца Крылова:

Лукавый дедушка с гранитной высоты
Глядит, как резвятся вокруг него ребята,
И думает себе: «О милые зверята,
Какие, выросши, вы будете скоты!»

— Скажете — грубо? — спрашивал он, окончив. — А никуда не денешься — верно! Я всегда с этой мыслью смотрю на всех этих отпрысков так называемых «хороших семей», которыми засижены наши модные дачные места. Да и далеко ли это от деда Митрича из «Власти тьмы», заверявшего свою внучку Анютку: «Еще как изгадишься-то!» — заканчивал он ссылкою на Толстого [111].

А еще позже, в письме к А. Н. Толиверовой, пытавшейся было сопричислить Лескова к «друзьям детей», уже вовсю полыхает «взрывной темперамент»:

«Почтеннейшая Александра Николаевна!

Так как вы выразили намерение напечатать мой портрет в числе «друзей детства», то я должен вам сказать, что это едва ли будет уместно. Я не питаю никаких особливых чувств к детям, из среды которых выходит все множество дурных и невоздержанных людей, укореняющих и упрочивающих несчастия человеческой жизни. Поэтому я никак не хочу, чтобы меня называли «другом детей» — существ, ничем добрым себя не выразивших. Пусть с ними дружит кто хочет и кто может дружить с *неизвестными величинами,* но я питаю более дружбы

* «Литературная библиотека», 1867, сентябрь, кн. 2, с. 200.
** Письмо от 24 июня 1879 г. — ЦГЛА.

к тому, *что я знаю за хорошее и полезное:* я дорожу дружбою взрослых и зрелых людей, доказавших жизнию свою нравственную силу, прямоту, честность, умеренность и воздержание. Этим людям я друг и хотел бы жить и умереть с ними; но что до детей, то их потому только, что они *дети,* — я нимало не люблю и часто ужасаюсь за них и за их матерей и отцов. Притом же у вас в журнале было сказано, что вы будете пособлять воспитывать детей так, чтобы они умели достигать как можно более «счастия». Но этакое воспитание, по моему понятию, очень предосудительно и гадко, и я ни в каком случае не желаю быть в числе «друзей» тех детей, которых педагоги ваших изданий будут воспитывать в выраженном ими вредном и противообщественном духе.

Н. Лесков.

Если вы напечатаете мой портрет [112] — я должен буду все это выразить печатно» *.

Приведенные здесь «неизвестные величины» одновременно вводятся Лесковым в рассказ «Зимний день», появившийся в майской книжке «Русской мысли» 1894 года. Героине Лидии приписывается выражение: «Я не люблю *неизвестных* величин, я люблю то, что мне известно и понятно» **.

В эти же последние годы он говорил, сидя за своим столом:

«Каждому человеку суждено погибнуть так или иначе. Иному от денег, другому от безденежья, третьему от жены, четвертому от любовницы и т. д.».

«Забот слишком много у людей: каждый думает обеспечить себе старость, а может быть, ее у него и совсем не будет; обеспечить детей, а из них, может быть, выйдут негодяи, которых и поддерживать или обеспечивать не стоит».

«Надо жить для самого себя, то есть для идей, которые есть в тебе и которые ты считаешь лучшими. В этом смысле в самом себе домогаться счастья, а не в жене,

---

* Письмо от 25 февраля 1894 г. «Стожары», 1923, кн. 3. Сверено по автографу, хранящемуся в Пушкинском доме. Ср.: А. И. Фаресов. Н. С. Лесков о женщинах и детях. — «Биржевые ведомости» (утренний вып.), 1905, № 8681, 21 февраля.

** Собр. соч., т. XXVIII, 1902—1903, с. 138.

не в детях, не в богатстве и так далее» *, — грустно завершал он свою декларацию.

А в общем — сбивчивость, противоречия: не любить своих детей — это архинигилистическая ересь; любить их — велико ли дело: своего и корова оближет; без ребенка дом скучен, а с ним, да еще как начнет подрастать, — досадительно; чужой ребенок — божий посол, через него бог наше сердце пробует; через своих пробовать сердце некому; в конце концов, дети — неизвестные величины, пусть их любит или дружит с ними кто хочет...

Как во всем этом разобраться и что из всего этого изнести, воспринять к разумению, к применению в жизни?

ГЛАВА 6

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГРАНИЦА

«Я был за границею три раза, из которых два раза проезжал «столбовою» русскою дорогою, прямо из Петербурга в Париж, а в третий, по обстоятельствам, сделал крюк и заехал в Вену», — не совсем точно в определении маршрутов, но верно в указании числа поездок повествует Лесков, разворачивая свой рассказ «Пламенная патриотка» **, по первоначальной публикации — «Император Франц-Иосиф без этикета» ***.

Первой, самой богатой впечатлениями и отражениями их в корреспонденциях и статьях, как и очень любопытной второй — отведено свое место в предшествовавших частях и главах [113].

Начав сильно тучнеть и еще сильнее поддаваться непрерывному раздражению и относя многое здесь к «печеням», в которых многое «засело» с давних лет и приумножалось за последние, он, посоветовавшись с врачами, решил летом 1884 года полечиться в Мариенбаде, оставившем у него благодарную память с 1875 года.

Я, сдав очередные экзамены, поехал на Украину, а он стал подгонять дела и собираться. Было условлено, что,

---

* Запись. — Архив А. И. Лескова.

** Собр. соч., т. XVI, 1902—1903, с. 157.

*** «Исторический вестник», 1881, № 1, с. 139—140. При вторичной публикации в сборнике «Русская рознь», СПб., 1881, с. 203—214, рассказ озаглавлен: «Император Франц-Иосиф и Анна Фетисовна».

окончив курс лечения, он на обратном пути заглянет на недельку в Киев повидаться со старухой матерью и прочими единокровными, после чего мы вдвоем вернемся домой в Петербург.

Едва я добрался до Киева, как туда пришло на мое имя письмо отца [114], только что известившегося о кончине там его друга Филиппа Алексеевича Терновского, и тем же днем писал он по этому же поводу, в Киев же, и Ф. Г. Лебединцеву [115]. Начиналось образцовое воплощение лесковского исповедания: при беде в писательской семье — «мистику-то прочь», а помогай — «преломи и даждь».

Издателю «Киевской старины», аборигену города, человеку книжному, со связями в местном обществе, Лесков пишет:

«28 мая 84 г. СПб.

Уважаемый Феофан Гаврилович!

Вчерашняя депеша из Киева о погребении друга нашего Филиппа Алексеевича Терновского меня потрясла до глубины души. Мы с ним одновременно понесли одинаковые гонения несправедливых людей, и я это перенес, или, кажется, будто перенес, а он, — с его удивительно философским отношением к жизни, — опочил... Пожалуй, не выдержал... Сколько горя свалилось вдруг на эту прекрасную, умную и светлую голову! Какая сила вызывает эту «кучность бед», которые, по словам Шекспира, «любят ходить толпами». — Бедный, бедный и милый Филипп! Кротчайший бе паче всех человек и сколько печалей и обид он встретил!.. И еще более того, — поверьте, что, кроме очень немногих нас, он остался для большинства «интеллигентов» так, чем-то крайне незначительным... Кроткий Филипп сослужил свою службу «овна Авраамова» и для тех, которые, не видя его, считали его «нечесаным зверем» и, ища, кого заклать «в жертву богу», заклали его...

Прошу и молю вас утолить неодолимую потребность моего сердца знать, отчего он умер и какое и в каком положении осталось семейство? Прошу об этом не для литературы, а для себя. Я любил его всем сердцем.

По счетам с некоторыми редакциями у меня с покойным есть совместничество. Я разумею некоторый литературный материал, который он мне дарил, но которого я в дар принять не желал, а теперь тем паче не желаю.

Счет этот на его долю составляет 129 рублей, которые я сегодня же посылаю в Киев...

Для литературы из трагедии Терновского желательно бы сохранить хоть одно самое существенное. У меня есть его письма. Переписка между нами шла деятельная до тех пор, пока обоих нас придавило бесправие, и руки опали от всего. Думаю, что кто же нибудь пожелает сохранить этот милый и чистый облик среди профессоров банконсиственного * настроения... Кто же это будет сей? И кто столь превосходно пишет, чтобы все взять на себя одного и, может быть, погубить хороший материал? Не позволите ли мне просить вас сообщить, кому уместно, мое мнение, что книгу о Терновском, может быть, лучше было бы составить не так, чтобы один кто собрал и объединил все, что знают многие. А напротив, — не лучше ли сделать так, как издал Михневич книжку о Якушкине **, то есть собрать воспоминания многих и не резюмировать их. Это гораздо живее и интереснее и ходче идет в продаже. Пусть всякий вносит свой взгляд и свою субъективность, а читатель сам резюмирует. Это, без сомнения, живее однотонной канители и, повторяю, это русской ленивой публике более нравится. Печатать, разумеется, надо без цензуры. Я охотно и безвозмездно дам и копии с писем и отдельный очерк моих личных воспоминаний с моею подписью. Вообще я прошу не отстранять меня ни от какого предприятия, имеющего задачею поставить имя Терновского на вид...» ***

Еще, может быть, горячее письмо ко мне:

«28 мая 84. Понедельник.
СПб. Сергиевская, 56, 14.

Я страшно потрясен напечатанною вчера телеграммою о кончине Филиппа Алексеевича Терновского, который был мне мил и близок по симпатиям и даже по несчастию. Оба мы были одинаково и одновременно оклеветаны и вышвырнуты из службы, как люди «несомненно вредного направления». История эта, подлая и возмутительная по своему гнусному и глупому составу, была

---

* Банковско-консисторского?

** Сочинения П. И. Якушкина. Изд. Михневича. СПб., 1884, Биографический очерк С. В. Максимова. Воспоминаний Боборыкина, Вейнберга, Горбунова, Курочкина, Лейкина, Лескова, Минаева и других [116].

*** «Исторический вестник», 1908, № 10, с. 170—172.

тяжела для меня (и остается такою), а Филиппа Алексеевича она стерла с земли. — За несколько дней пред этим я собирался писать ему. У нас есть маленький совместный заработок, составляющий для него 129 рублей. — Деньги это небольшие, но я не знаю — в каких обстоятельствах его кончина застигла его семейство. Сегодня же отдаю Мише 129 рублей для отсылки их завтра на имя брата, Алексея Семеновича, а тебе приказываю *тотчас* сходить к Алексею Семеновичу и попросить его, чтобы он сам взял с почты и выдал тебе те деньги или же надписал тебе доверенность на получение их.

2) Не ожидая прихода денег, сходи за Житомирскую заставу, по Вознесенскому спуску в дом № 7-й, принадлежавший покойному Филиппу Алексеевичу, и спроси: где его дети и кто при них за старшего? Повидайся и скажи о моем глубоком и скорбном участии.

3) Если бы это было чем-нибудь затруднено — сходи на Софийской площади в редакцию «Киевской старины» к редактору Феофану Гавриловичу *Лебединцеву* (моему знакомому) и передай ему мой поклон и расспроси его:

а) кому ты должен отдать деньги, высылаемые отцом?

б) какова была кончина Филиппа Алексеевича?

и в) занят ли кто-либо и кто именно его трагическою биографией? При сем скажи, что у меня есть много писем Филиппа Алексеевича и я их предоставлю охотно в распоряжение биографа.

Если же Лебединцев об этом ничего не знает, то узнай мне от кого-нибудь (может быть, и от него же) — как зовут профессора университета *Иконникова...* и где он живет?

Если можно сообщить мне оттиски трех речей, сказанных над гробом несчастного этого мученика ума и справедливости, то я буду чрезвычайно этим обрадован. — Выслать все это мне *под бандеролью* с маркою 5 копеек и адресом: Oesterreich, Marienbad, H-rn Nikol Leskow, *poste restante.*

Когда уяснишь себе, кому должны быть вручены деньги, чтобы они дошли *детям* покойного, а не распылились по чужим рукам, — тогда отнеси туда деньги и в получении их возьми записку.

Да будет с тобою божие благословение.

Н. Л.» *.

---

* Архив А. Н. Лескова.

Тут же оказывается, что и волнующие события, как и беды, идут одно за другим: через три дня отец шлет мне новое письмо:

«Петербург
31 мая, четверг

Уезжаю сию минуту. Остановлюсь только на день в Варшаве. Задержался сюрпризом Гатцука, который схватил следующую заметку, всеми приписанную *мне:*

БЛАГОЧЕСТИВОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

Усопший митрополит киевский Филофей известен по своему глубокому благочестию, доходившему до сурового аскетизма. На конце дней его господь послал ему духовное испытание, произведшее в нем тяжкую болезнь — нервное расстройство, дошедшее до некоторого умопомешательства. В этой болезни и преставился вскоре честный подвижник.

Ныне, когда усопший иерарх «ничтоже речет о себе», на судебном разбирательстве по делу Булах является свидетельство, что будто бы покойный митрополит за 30 000 руб. (те же 30 сребреников) предал, по просьбе Булах, девицу Мазурину на распятие — благословил ее идти в миссию в Сибирь, что перед кончиною, в болезни, и он, видимо, боялся, чтобы не пострадать от правительства за эти 30 тысяч, и т. д.

Что в этом свидетельстве правда, что ложь? «Ничтоже речет» в ответ свидетелю ни почивший наш благочестивый иерарх, ни помешанная ныне девица Мазурина.

Но кто же этот свидетель, так смело бросающий грязью в православного святителя? Тот самый Тертий Иванович Филиппов, охранитель «благочестия», который один из первых провидел в рассказах г. Лескова «Заметки неизвестного» якобы вредное глумление даже над духовным саном, потому лишь, что в созданных фантазиею автора типах из духовного сословия автор осмеивает несомненно вредные начала, существующие в духовенстве, как то: обожание формы, человекоугодничество, гордыню, ложь и тому подобные человеческие слабости; тот самый «эпитроп» гроба господня, наследник Готфрида Бульонского, поборник у нас константинопольских фанариотов, добивающихся создать в православном мире своего рода папство, признавший вместе с фанариотами болгарскую церковь еретическою за некоторое обособление ее от гра-

бежа и подавления славян-болгар греческим духовенством, тот самый Т. И. Филиппов, который мечтает попасть в оберпрокуроры св. Синода и о котором гласит некий эпиграф:

По службе подвигаясь быстро,
Ты стал товарищем министра,
И дорогое имя Тертия
Уже блестит в лучах бессмертия! *

Я должен был это опровергнуть не потому, чтобы боялся Филиппова, но потому, что этот человек сделал мне слишком много зла и я не хочу шутить с ним. Я поступил бы иначе и смелее. Здесь я не мог опровергнуть, — все боятся, но я послал три письма в Москву — в «Курьер», в «Русские ведомости» и в «Современные известия». — Постарайся последить в №№ 31 мая или 1 июня — напечатают ли там мое заявление, и пришли мне вырезку...» **

Мне удается найти открытое письмо отца [117] только в № 150 «Русского курьера» от 2 июня 1884 года и выслать номер ему в Мариенбад.

1 июня Лесков в Варшаве, 3-го — в Дрездене и утром 4/16 июня — в Мариенбаде.

Невольно оторванный от литературной работы, но не могущий провести день, не взяв в руки пера, он досуже пишет на родину.

Мариенбадом Лесков очень доволен. Встает в 4 утра, пьет воды, берет ванны, ходит в горы и в 9 вечера спит.

Соотечественников «бездна, и все отвратительные пустельги», — пишет он мне 20 июня (2 июля), прибавляя: «Новые знакомства у меня проходят обыденкою, а на второй день я «принасуплюсь» — и опять на всей свободе... В Киев ехать положительно не вижу зачем и не думаю, тем более что нужно усиленно поработать... Пока же все мое внимание занято моим сердцем и легкими, ибо я хотя и не особенно жизнелюбив, но люблю быть никому не в тягость» ***.

Более позднее письмо ко мне заканчивается безнадежно: «Дамские гонения не устают, по я уже махнул рукою, потому что все равно работать нельзя, да и скрыться некуда. Здесь им делать нечего от скуки.

* «Газета А. Гатцука», 1884, № 20, 26 мая.
** Архив А. Н. Лескова.
*** Там же.

Я им дарю, вместо роз, розовые пачки бумажек для... Они это сносят» *.

Иноземный вояж ограничивается на этот раз одним Мариенбадом. Проходит он несравненно тусклее, чем в 1875 году.

Не пришлось даже еще раз вспотеть желчью, которой, однако, не меньше прежнего во всех помыслах и почти в каждой письмовой строке. Все вяло, одолевает «обыденка», почти равнодушие. Лечение идет, а успешно ли — увидим.

Корреспонденты тоже не те: неискусный фельетонист В. О. Михневич из «Новостей», педантичный и скучноватый С. Н. Шубинский; киевское родство, от которого хочется лишь отписаться и освободиться от обещаний повидаться. С Щебальским отношения неотвратимо вянут. С сердечным М. А. Матавкиным, которому прежде поверялось все самое интимное, давно все похоронено. Кому же еще можно писать? Подростку сыну; ленящемуся отвечать на письма, юродствующему В. П. Протейкинскому; наконец, к себе в дом, по хозяйству? По темпераменту этого мало.

«Была бы душа в сборе и работали бы р у к и», — писал Лесков годом раньше дружественному, сейчас уже покойному Ф. А. Терновскому **.

А отчего было ей быть в желанном сборе?

Впрочем, опричь «нутряного», с остальным мириться можно.

О самом леченье и верности избрания для него именно Мариенбада пишется охотно в ряд адресов. Привожу для примера выдержки из двух писем к Шубинскому: «Приехал сюда я 17-го здешнего июня, имея 182 фунта, а теперь, нимало не утратив сил и бодрости, содержу в себе 166 фунтов. Итого сбросил 16 фунтов жира и принял в кровь изрядную долю железа... Одышки нет, и я свободно всхожу на самые высокие возвышенности, куда с приезда не мог и думать взойти, а потеряв 7 фунтов, шел в первый раз садясь каждые 5—10 минут... Немцы ко мне очень благосклонны, так что даже заставили завидовать мне настоящих генералов, которых теперь много привалило из Франции. Меня сделали «почетным гостем», прислали «почетный билет» в собрания, клуб

* Письмо от 8 июля (26 июня) 1884 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо от 28 мая 1883 г. — «Україна», 1927, № 1—2, с. 103.

и библиотеку; не пожелали взять с меня податей (около 25 гульденов) и за пользование врачебными пособиями. Всего одолжили, пожалуй, гульденов на 100. — Дома, в отечестве, со мною еще такого казуса не было. — Из Веймара приехал посольский священник старик Ладинский и сам был у меня три раза, с русскою манерою — не обозначать своего адреса на карточке (веймарской). Я его искал весь день по Мариенбаду и в воскресенье пошел в русскую (походную) церковь. Подходя к кресту, я сказал ему мое имя. Он сию же минуту вернулся в алтарь, подал мне просфору и вдруг сказал: «Знаете ли, господа, кто это? Это наш умница Николай Семенович Лесков». Я переконфузился, а он добавил: «Да, да, наш милый, честный, прекрасный умница». Потом перекрестил меня и сказал: «Я 25 лет на чужбине и 18 лет мечтал о счастии вас видеть и обнять». Мы оба растрогались и... чего-то заплакали. Это, может быть, не умно, но тепло вышло...» *

Получив однородное сообщение, работавший в «Новостях и биржевой газете» В. О. Михневич тиснул довольно неуклюжую статейку **, в которой не оттенил, что Лескову были оказаны внимание и льготы, предоставляемые в Мариенбаде решительно всем писателям без исключения.

«Новое время», особенно богатое нерасположенными к Лескову участниками, пользуясь отсутствием самого Суворина, разыграло на этом пошловатый фарс ***.

Почти одновременно же пришлось Лескову прочесть в выписывавшейся мариенбадским курзалом газете правительственное распоряжение об изъятии из библиотек ста двадцати пяти сочинений с «Мелочами архиерейской жизни» в их числе ****.

Это не могло радовать и ободрять.

«...Здоровье мое, по милости повелевшего мне «есть хлеб свой в поте чела моего», — в состоянии хорошем <...> Строгий режим вод меня нимало не изнурил, но как он длится уже 40 дней, то стал немножко докучать. Хочет-

---

* Письмо от 30 июня (12 июля) 1884 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

** «Вчера и сегодня», 1884, № 172, 24 июня.

*** *Я.* «Маленькая хроника». — «Новое время», 1884, № 3000, 6 июля.

**** 5 июля опубликовано «высочайшее повеление» от 5 января 1884 г.

ся уже спать до 7 час. и посидеть за бумагой. Перечитал бездну, но очень мало умного. Хороши две брошюры московского сочинения «Политические призраки» и «Черный передел реформ императора Александра II». Остальное — более красного оттенка — все глупо, хотя *как материал* не лишено интереса. Пошлю на ваше имя 2—3 брошюрки: выдадут — хорошо, а нет — пусть пропадают. — «Свистать» надо мною можно как надо всяким, но в подлости и лицемерии меня едва ли можно уличить, как можно в том уличить бы гг. свистунов. Михневич все сделал неловко и грубо и не зная дела. То, что оказано городским муниципалитетом мне, — постоянно *по коренному здешнему обычаю* оказывается *каждому писателю* — эллину же яко и иудею, то есть немецкому, *как и иностранцу,* к какой бы нации он ни принадлежал. Это так здесь *всегда и для всех* писателей, которых знают. Почему же узнали меня? (Тут и изощрялось надо мною остроумие.) А дело весьма просто, и причин тому много: 1) книга Бокка «Bürgerthum und Bürokratie in Russland» *, которая жадно прочитана всеми немцами и где $^{1}/_{3}$ составлена из перевода моих статей об Остзейском крае, с большими и даже, может быть, излишними мне похвалами за «благородное беспристрастие и справедливость»; 2) библиотекари Гётц и Шигай (чех) из Егера, у которых я в 1-й же день приезда подписался на чтение книг русских и польских. Из них Шигай как услыхал мое имя, так и признал меня, ибо имеет мои книги. Надеюсь, это не диво, а Marienbad весь с тарелку, и «Marienbader Zeitung» есть издание того же Шигая; 3) русские студенты из Вены (преимущественно евреи) — которые приходили ко мне сделать визиты «как писателю», — что здесь в обычае, и, наконец, 4) священник, которого привет я сообщил вам. Кажется, довольно этих причин, чтобы в городке, который *весь* собирается ежедневно у одного источника, могли меня узнать, и «титуловаться» мне не было никакой надобности. — «Свистуны» все судят по русским понятиям, забывая, что здесь *паспортов нет.* Двое французов из редакции «Siècle» и «Figaro» имели точно такое же внимание, хотя известность их, может быть, даже короче моей. Здесь просто — люди вежливы, и занятие литературою пользуется вниманием. Более ничего. Тут и в библиотеках с

---

* «Гражданство и администрация в России» (*нем.*).

литераторов не берут денег за чтение, как с лекарей в аптеках за лекарства. Есть и иные странности, например, дамы дарят корзины цветов... Беда, если бы об этом узнали! То ли еще не преступление! То-то ли не глупость! Но вы, надеюсь, знаете, что я нескромностию и нахальством никогда не отличался, а если меня знают попы, дамы и студенты, то уж это так само от дел сделалось. Над чем же свистать-то? Что их русского человека поставили не ниже, чем француза, или поляка из Кракова, или венгерца из Пешта?! Экие тактичные люди мои собраты! Разъясните им, пожалуйста, при случае, что дело могло обходиться без моего радетельства об известности. — Пусть будут сведущее о порядках тех стран, где — редакций не называют «борделями», а писателей не считают «отребьем». Это им может пригодиться. Из Marienbad'a я уезжаю 28 (16 русского) июля в понедельник и покидаю его не без сожаления. Дивное, прелестное место! Нигде уже не будет ни так «frisch», ни так «frei». — Маршрут держу на Прагу, где хочу многое видеть, и пробуду там с неделю. Потом на 2 дня в Дрезден, а оттуда уже на Вену, где хочу быть у знаменитого Нотнагеля (доктора) и просить его о совете для моей злосчастной нервозности, которая, впрочем, здесь облегчилась, может быть, по причине душевного равнодушия и близости к природе. Что сделаю далее — еще сам не знаю. Если Нотнагель найдет, что я поправился хорошо, то, может быть, вернусь в Россию ранее, в августе *.

18/30 июля Лесков выезжает в Прагу, где в первые же часы обнаруживает исчезновение бумажника с деньгами, документами, аккредитивом и паспортом.

Один из едва набросанных и неопубликованных вариантов рассказа «Фантазии госпожи Гого» (или «Дикая фантазия» и другие заглавия) ** начат Лесковым так: «Я принял курс бесполезного лечения в Мариенбаде и направлялся на юг Европы, но в первом же городе, где остановился, именно в Праге, через полчаса после приезда был обворован дочиста: у меня был украден бумажник, в котором было около тысячи гульденов наличных де-

---

* Письмо от 11/23 июня 1884 г. — ГПБ. Оба письма к С. Н. Шубинскому необстоятельно цитированы Фаресовым в книге «Против течений», 1904, с. 257—261.

** ЦГЛА [118].

нег, банковые чеки и мой паспорт. Словом, я не успел оглянуться, как лишен был не только средств продолжать свое путешествие, но даже доказать мою личность... К довершению моего затруднения я не нашел на другой день в Праге ни русского консула, ни священника, которые, как я ожидал, могли бы сказать что-нибудь о моей личности. Все в эти жаркие летние дни жили вне: покинули душную Прагу, и положение мое становилось критическим. Я послал депеши родным в Киев, петербургскому градоначальнику, от которого брал пропавший заграничный паспорт, и в Вену нашему послу, прося удостоверить мою личность, но пока на все эти депеши придут удовлетворительные ответы, мне было жутко. Во всем городе я не знал решительно никого. Тогда мне вздумалось обратиться в редакцию одной чешской газеты, где я мог почитать себя не совсем безызвестным. И действительно, там обо мне что-то слыхали и напечатали на другой день пять строчек о том, что со мной был «неучтивый случай». Затем мне оставалось ждать погоды у моря, и я ее ожидал довольно долго, но и довольно терпеливо, благодаря одному прекрасному знакомству, сделанному по указанию редактора газеты, напечатавшей о «неучтивом случае».

Другой, испещренный исправлениями вариант давал приблизительно следующее изложение происшествия:

«Назад тому несколько лет я приехал в чешскую Прагу и тотчас же был обокраден дочиста: вор похитил у меня портфель, в котором было восемьсот гульденов наличных денег, кредитив волжско-камского банка и мой заграничный паспорт. Последнее было особенно ужасно, потому что с утратою паспорта я лишался возможности доказать свою самоличность и меня могли признать за человека, не заслуживающего доверия. Власти австрийские относились к русским довольно недружелюбно, и было два примера, когда русских путешественников принимали за политических интриганов. Положение мое было очень трудное...

Полицейский агент, оказывавший мне содействие отыскать мою пропажу и удостоверить мою личность, кажется, начал терять со мною терпение и не намерен был покинуть меня в одиночестве. Тогда я попросил проводить меня к начальнику пражской полиции и рассказал этому лицу: кто я и что со мною случилось.

Этот господин, пожилой человек, маленького роста, чрезвычайно похожий на известного Петербургу психиатра доктора Чечета, выслушал меня терпеливо и сейчас же предложил мне взаймы денег, от которых я отказался, так как у меня в кошельке осталось еще около ста гульденов, с которыми я мог прожить несколько дней. Этот отказ мой произвел, кажется, выгодное для меня впечатление в пражском градоначальнике, и он сейчас же сделал распоряжения, способствовавшие водворению спокойствия в моем встревоженном сердце...»

Дома рассказывалось о чрезвычайно душном номере на солнце, где он снял пиджак, повесил его на спинку стула и сейчас же попросил переменить ему комнату на теневую, прохладную. Комиссионер предложил посмотреть номерок через коридор, напротив. Лесков пошел за ним в одном жилете. Комната понравилась, он вернулся за пиджаком и прочими вещами, а когда хватился — бумажника не было. Остальное несущественно.

Случай мог напомнить что-то из «полковых» рассказов В. В. Крестовского, подсказать, в связи со своей пропажей, одну фактическую частность для широко потом задуманного и развернутого, самобытнейшего во всем своем рисунке и психологическом освещении, вышедшего через полгода рассказа «Интересные мужчины» *.

Но, говорят, нет худа без добра. Посещение Праги принесло не одно терние, а и ценный плод — рассказ «Александрит» **, по первому наименованию «Подземный вещун». Четвертая его глава начата всесторонне точным автобиографическим указанием:

«Летом 1884 года мне пришлось быть в Чехии. Имея беспокойную склонность увлекаться разными отраслями искусства, я там несколько заинтересовался местными ювелирными и гранильными работами».

Склонность увлекаться искусством на этот раз привела к сближению с чудаком чехом, в уста которого русский писатель вложил вещие слова, вероятно в равной мере принадлежавшие и Лескову и старому гранильщику:

«Шваб может хорошо продавать камень, потому что

* «Новь», 1885, № 10 и 11 от 15 марта и 1 апреля. Сюжетно сопрягать рассказ с приводимым В. Крестовским в его «Истории 14 уланского Ямбургского полка» самоубийством корнета Н. Десятова едва ли во всем оправдываемо.

** «Новь», 1885, № 6, 15 января, с. 290—297.

он имеет каменное сердце <...> * Шваб — насильник, он все хочет по-своему <...> Голова! Да, голова — важная штука, господин, но дух... дух еще важнее головы. Мало ли голов отрезали чехам, а они всё живы <...> Но чех не таков, его не скоро столчешь в швабской ступе!» **

Здесь чех и русский сочетались в оценке захватнических вожделений юнкерской Германии, в ее отношении ко всему славянству. Однородной оказалась и любовь каждого из собеседников к своей родине, готовность служить ей сколько хватит сил.

Фактически из Мариенбада Лесков держал путь не на юг, а на север, домой, намечая лишь на день-два остановиться в Варшаве[119] для свидания с П. К. Щебальским в дань прежней дружбы. Они давно разошлись, но в сердце еще теплилась приязнь.

Достигнутые было в Мариенбаде уравновешенность нервов и оздоровление печени благодаря событию в Праге пошли прахом. С этой стороны завязка первого из недописанных рассказов определяла положение без преувеличения.

4 августа Лесков уже дома.

С этих пор летними резиденциями являются: в 1885 году — рижский Дубельн, в 1886—1888 годах — грязелечебный Аренсбург, а дальше уже и совсем ближние места.

За границу больше не тянет.

ГЛАВА 7

КРОХИНЫ

Позднею осенью 1884 года в Петербурге появляется супружество Крохиных. Поселяется оно поначалу на одной лестнице, дверь в дверь, с нами. Ожидается некоторый жизненный уют: младшая сестра, любимый зять, неизменная почтенная Степановна — все это тут, рядом, за стеной.

Большая разница лет *** и жизненных положений исключали возможность создаться свычке, а с тем и большому дружеству между сестрой и братом. Детские годы Ольга Семеновна жила дома или у родных по их деревням. Школьные — она провела в частном дворянском

* Заимствование из соответствующей русской пословицы.
** Собр. соч., т. XX, 1902—1903, с. 97—98.
*** Родилась 14 июля 1846 г. в Панине.

пансионе в деревне Черемисовке Ливенского уезда, Орловской губернии. Здесь ее обучили «жарить» на фортепиано, «парлировать» по-французски и всем прочим светскостям в среднедворянском стиле.

Со смертью — в этой же Черемисовке — от кори ее младшей, по общим отзывам многообещавшей, сестры Маши Марья Петровна перенесла на Ольгу любовь, которою прежде горела к умершей.

В свое время ее начали «вывозить», но явно без успеха. Лицом она была похожа на брата Михайлу; это не красило девицу; приданого — никакого. «Невеститься» было нелегко. Не обходилось без уколов самолюбию от более счастливо поставленных во всех отношениях сверстниц из богатого родства, а случалось, и от брата-литератора, даже в печати.

С переездом в 1863 году с матерью к Алексею Семеновичу в Киев она и там «выезжала» с ним на большие частные или в дворянском собрании балы, но по-прежнему бесплодно. Мечты о блестящей «партии» вяли, годы шли, росла досада, близилось тридцать.

От избытка досужести, по исконному провинциальному обычаю, она жила городскими новостями, слухами, пересудами, с жаром предаваясь, по выражению Лескова, «очистительной критике ближних и искренних» [120], приобретая в этом искусстве большие навыки и теряя чувство меры.

Случилось, что даже мягкосердый брат ее Василий нашел себя вынужденным написать своей матери: «На днях я услышал, что Ольга рассказывала где-то у своих знакомых, что ты с нею предпринимаешь ко мне поездку ради того, чтобы спасти меня от гибели, что, мол, я так дурно веду себя, что из рук вон, и тому подобный вздор, который слушать мне было неприятно и больно. Спасибо ей за заботливость обо мне, но все-таки я просил бы ее помалчивать, а не болтать вздор зря, где и кому придется, — видно, ей неймется, сколь ни говори об этом» *.

В изнеможении от праздности сплетни казались делом.

Три с лишним года спустя тот же брат успокаивающе наставляет ее: «Мой серьезный совет тебе — держи себя ровно, не либеральничай, и все хорошо пойдет, а при неладах беда общая для всех; главное — не давай воли

---

* Письмо от 24 мая 1807 г. — Архив А. Н. Лескова.

своему языку, возьми его хорошенько в руки, а то он у тебя уж совсем произвольно действует, никому не подчиняясь. Второе (не менее важное) — постарайся выйти замуж, право, это не шутка; рассуди сама, что за перспектива твоя — положение старой девы на чужих хлебах!» *

Ясно улавливается рекомендация бросить позу разборчивой невесты, смириться в выборе и обуздать свое злоречие.

Наконец судьба улыбнулась: 1 июля 1873 года она выходит замуж за скромного человека, оказавшегося превосходным мужем, заботливым отцом и добрым другом всех своих новых родственников, сумевшего внушить редкостно длительное расположение к себе даже Николая Семеновича.

Николай Петрович Крохин, он же обычно «Петрович», родился 3 августа 1837 года. Это был крупный, немного рыхлый человек, акцизный чиновник с головы до пят. За пределами презиравшегося Лесковым «фиска» с него спрашивать было нечего. Семьянин и хозяин в доме первостатейный, а дальше — мирись с тем, что есть. Жили муж с женой душа в душу семнадцать лет, читая по вечерам журнал «Новь» и находя в этом полное удовлетворение всем запросам высшего порядка: никакой «фантазироватости». Во всем полная противоположность кипучей и страстной натуре шурина-писателя.

На чем же могла создаться дружба этих двух ни в чем не схожих и не одномысленных людей? Да и была ли она? Во всяком случае, равноправная, равноценная? Крохин искренно, даже немножко суеверно, чтил. Лесков снисходил, ценя в зяте больше всего почтительность, никогда не позволявшую ему вступать и серьезные пререкания и несогласия со своим именитым свояком. Он обезоруживал Лескова полной безответностью и слепой покорностью. Это принималось как должное. Расположение к зятю не распространялось на сестру. Ей и при муже, и особенно во вдовстве, приходилось выслушивать очень много жестокого и утомлявшего. В беседах с Лесковым «Петрович» только слушал. Отступавшая иногда от этого мудрого правила Ольга Семеновна сплошь и рядом дорого расплачивалась за эту неосторожность.

---

* Письмо от 11 декабря 1870 г. — Архив А. Н. Лескова.

В благодарность за благонравие Лесков, через директора Департамента неокладных сборов А. С. Ермолова, в 1884 году изымает Крохина из карьерно безнадежного Канева в столицу, а еще через четыре года тем же путем выхлопатывает назначение его в Витебск помощником управляющего акцизными сборами. Это, по губернской мерке, уже «пост», открывавший в будущем доступ к нешуточным чиновным вершинам, суливший Ольге Семеновне возможность занять, наконец, смолоду увлекавшее ее воображение, положение губернской dame du monde *.

Несмотря на все эти счастливые предпосылки, Витебск чем-то не угодил ей. За это в сначала даже ласковом письме хорошо влетает сперва сестре, а дальше и двум «фетюкам», в которых разумеются Алексей Семенович и сам Крохин:

«Любезный друг Петрович!

Я виноват перед тобою, что не отвечал на два твои письма. Спасибо тебе, что ты настолько меня знаешь и любишь, что написал еще и третье. Конечно, я теперь очень занят и чувствую, что силы во мне уже не прежние. Похваляю, что ты записался в клуб и можешь оттуда брать все журналы. Это лучше, чем держать одну «Новь», в которой очень мало читательного материала, и он часто не самого лучшего качества. Если *выписывать,* то уж почему же не выписать «Вестник Европы» (СПб.) — или «Русскую мысль» (Москва). — Из газет я бы *сам для себя* предпочел издаваемые в Москве «Русские ведомости» (не «Московские ведомости», а «*Русские* ведомости», как газету не торговую, которая говорит, что думает, а не то, что по ветру и «чего изволите»). «Новое время» — пестрее, веселее, неожиданнее и, пожалуй, занимательнее <...> Надо брать, что отвечает душе. — «Русские вед.» могут дать всякому событию освещение верное и осмотрительное, — «Новое время» — как случится. — «Русские вед.» умнее и сдержаннее; «Новое время» патриотичнее и способно доводить проволоку до белого каления. Эту газету «везде ругают и всюду принимают», а я бы *для себя* все-таки выписывал «Русские ведомости» из Москвы, чтобы знать, чего настоящие, умные люди держатся, а не повторять вздор за всяким репортером и краснобаем. Лучше советовать *не умею.* Очень рад,

* Светской дамы (*фр.*).

что ты уже устроился на службе и в доме, и советовал бы и в клуб похаживать. Жить совсем без знакомств и связей нельзя, а домашние знакомства много требуют, да и сплетни разводят. Самому же (мужчине) сходить раз в неделю и посидеть вечерок с людьми — очень полезно и даже *необходимо,* чтобы знать, «как располагаются масти и козыри». Раз в неделю я бы всегда пошел и посмотрел и послушал, «о чем лес шумит». — Постройки города не много значат для счастия. Кроме Петербурга и Одессы — везде у нас грязно. Все сыты, одеты, есть лекарь, аптека, училище — вот и место хорошо» *.

Дальнейшая, впадающая в раздраженность часть письма, с рикошетом по «фетюкам», приведена уже выше.

Оказывается, раньше, чем ответить Крохину на его письма, Лесков в несохранившемся письме к брату Алексею уже укорил сестру за недовольство Витебском. Киевский «фетюк» попробовал заступиться, назвав ее доброю бабой. Николай Семенович не простил заступничества:

«Добрая баба» до того овладела своим мужиком, что и его научила скучать «губернским захолустьем». Такая беда, право! Квартира хорошая, денег довольно, семья в сборе, и все здоровы, и в будущем нет ничего угрожающего, а вот поди же ты — город не хорош!.. Он, говорят, вроде Орла, лучше Чернигова, лучше Минска и Могилева. Чего бы еще надо людям, счастливым в своей семье? Что им подавал Петербург и что они в нем делали, кроме как пили, ели и спать ложились с детями вместе, — и вот, однако, этой самодовлеющей семье нынче нестерпимо скучно» **.

На лето 1889 года Крохины сняли дачу на морском берегу под Ригой. Решили попробовать предложить погостить у них Николаю Семеновичу. Ответ был скор и разъяснителен:

«Очень вас благодарю за ласку, но стесняюсь дать слово по многим причинам, из коих об одних писал Ольге, а другие содержу в своем соображении. Я человек больной, и мне нужна *моя* прислуга. Я не могу ехать без *своей* девушки, умеющей все сделать мне *по-моему... Один,* без прислуги я никуда ехать *не могу.* Сестра же

* Письмо от 29 октября 1888 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Письмо от 7 октября 1888 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

Ольга звать к себе в гости любит, а потом скоро с нее это сплывает, и она начинает тяготиться и придумывать что-нибудь, что ей мешает и портит ее спокойствие. Я это много раз наблюдал в ее отношениях решительно ко всем, кого она к себе зазывала, а потом вскорости же начинала этими лицами тяготиться, — так было с Верою (в Каневе), и с Петровскою, и с Женею Болотовою, и с Геннадиею. Я ни за что не хочу, чтобы это же самое проявилось со мною, а оно неизбежно, потому что характеры в один год не меняются. Поэтому опыт, и разумение жизни, и знание характеров заставляют меня верить в искреннее желание сестры видеть меня у себя и совершенно так же искренно верить в то, что она скоро этим удовольствием пресытится и утомится... Я говорю откровенно, и вы по совести должны признать, что я говорю правду (как всегда) и истину, которая имеет за собою все вероятности. Если бы я этого не предвидел, то я поступил бы опрометчиво и глупо, ибо скрыть что-либо подобное от меня — очень трудно, а я не хочу иметь с вами никакого неудовольствия. Кто имеет какой характер — он в том не виноват, но все другие люди обязаны знать характер того, с кем сходятся на какое бы то ни было малое время. Итак: гостить на месяц в нераздельном жилище я к сестре Ольге *не* поеду — для своего и для *ее* спокойствия и для сохранения мира. Если же вы можете *отделить* мне *за цену* (непременно за цену) две комнаты, или комнату с переднею, и дать мне (опять за цену) обед для меня, девушки и Вари, — тогда это представляет другое положение, на которое я, может быть, соглашусь и приеду в начале июля до 15 августа. Прошу же вас дать мне в этом смысле скорый и совершенно откровенный и прямой ответ на сих же днях. Не стесняйтесь тоже нимало, потому что я нимало не стеснен возможностью провести месяц в нескольких радушных и мне приятных домах» *.

Ответ Крохиных не сохранен. Свидание в это лето не могло состояться, так как Лесков, издавая так называемое полное собрание своих сочинений, весь был поглощен разрешением ряда самых разнообразных и неожиданных вопросов и осложнений как по этому изданию, так и по роману «Чертовы куклы» [121].

---

* Письмо от 28 июня 1889 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

Повторение приглашения, должно быть заключавшее в себе принятие полностью всех выдвинутых условий, заставило Лескова заговорить о многочисленных затруднениях, перечень которых заканчивался всеисчерпывающей формулой: «Притом же мне и ехать в Ригу не хочется».

Не подлежит сомнению, что дело стояло именно так с самого его начала. Вопрос о свидании снимался окончательно. Но так как Крохин не остерегся робко удивиться обвинению его жены в быстрой утомляемости радушием, ему в конце петербургского письма пришлось прочитать отменную отповедь:

«На вопрос твой: почему я думаю, что сестра Ольга скучлива, — мне даже смешно тебе отвечать. Сестра моя не такой сфинкс, чтобы мне предстояло затруднение ее знать и понимать, — тем более, что я и сам скучлив и не выношу, чтобы у меня моталося на глазах то, что должно иметь свое место, а я хочу иметь свое. Второй вопрос: «почему я это приписываю *характеру?*» — еще невразумительнее. Чему же, ты думаешь, надо это приписывать? Поветрию — что ли, или еще чему? Ужасно ты любишь по бабьи <...> вверх плавать!» *

Грубовато, но хоть смешно. А случалось Крохину читать строки, больнее жалившие. Рассказывая о своей болезни и принятых в связи с нею мерах воздержания, Лесков пишет этому архиакцизному своему зятю:

«Водки я давно не пью, но вино пью, хотя очень мало. Курить почти совсем бросил и не встретил в этом большого затруднения. Курение, без сомнения, очень вредно: на это собрана наукою масса доказательств самых убедительных. Притом мне и всякому должно быть приятно стараться вредить портящей нравы общества системе вашего акцизного фиска. Не курить бы да вина не пить, и обратились бы тысячи шнырящих и докучающих фискалов акцизного сбора к производительному делу, а не ко «вчинению исков» **.

Совсем не так давно этот «шныряющий фискал, вчинающий иски», был относим к людям, «исполняющим волю отца» ***.

---

* Письмо от 3 июля 1889 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Письмо от 13 декабря 1889 г. — Там же.

*** Письмо к А. С. Лескову от 26 сентября 1885 г. — Архив А. Н. Лескова.

Призабывается на этот раз и то, что и Семен Дмитриевич ряд лет служил этому же «портящему нравы общества» фиску, да и «прекрасной души и сердца» брат Михайла подвизался на этом же порочном поприще.

Вот и разберись — что и как преломляется в пониманиях и взглядах «человека минуты», как звала Ольга Семеновна своего старшего брата, да и не она одна в родстве.

Строгости и осудительности бывало, правду сказать, много. Но выпадали «Петровичу» иной раз и теплое слово и мягкая шутка.

Неделю спустя после укора в невразумительности посылается ему оттиск из ноябрьской книжки журнала «Русская мысль» за 1889 год с рассказом «Аскалонский злодей» при высоко стилизованном начертании:

«Божиею благопоспешествующею милостию и
изволением при благословении нашем посылаем
Николаю Петровичу Крохину
Смиренный старец Николай
Ересиарх Ингерманландский
и всеа Руссии.
Писал бысть от своего смирения в Петрограде,
Декамбрия в 21 день лета господня от Р. Х. 1889-го,
рукою властною» *.

Свободен от всякой наставительности, радушен и прост зов, посылавшийся восемь месяцев раньше:

«Приезжай. Я тебе приуготовляю на петровской высокой очистки: «бодрягу» на свежем померанце; «спотыкач» на цареградском стручке и «московскую *умилительную,* с душицею, ея же и монаси приемлют» **.

Но солнце, тепло и улыбка в Петербурге редки и мимолетны. И снова все «повивается» истомившим всех искушающим дух и сердце учительством.

По весне 1890 года у витебчан возникает мысль о поездке Ольги Семеновны с дочерями на лето в Киев повидаться с братом, может быть, несколько отеплить отношения с его женой, пожить у «матушки», то есть у монахини Геннадии, над Днепром в живописном глухом, «заштатном» монастырьке в Ржищеве. Крохин делится этим с Николаем Семеновичем. Приходит скорый строгий ответ:

---

* Архив А. Н. Лескова [122].

** Письмо от 6 апреля 1889 г. — Там же (фонд Н. С. Лескова).

«Поездка всей твоей семьи в Киев на лето мне представляется чем-то смешным и безрассудным. Это не только нерасчетливо в денежном отношении, но нерасчетливо и в более серьезном — нравственном смысле: жена брата и твоя жена так друг друга не любят и поносят что свести их на совместный отдых это просто что-то пошло глупое. Или еще они мало друг друга злили, и надо надбавить перцу и показать детям, что такое называется «родственными чувствами»... Я думаю, что они и так на этот счет понимают более, чем это надобно. Ты очень хорошо делаешь, что удерживаешься на даче близ Витебска. Так отдыха и покоя будет больше, и дети будут удалены от родственной сплетни и пересудов, а это для них всегда полезнее разновременных упражнений в этих делах. *«Бог в тишине»,* а не в сутолоке, неизбежной при гощении в чужом доме, при хозяйке, с которою есть старые, путаные счеты. Желаю вам всего доброго, а наипаче — укрепления в детях здравомыслия, простоты и любви к людям без различия их вер и породы, ибо все они дети одного творца и посланы им в разных шкурах по его, а не по ихней воле» *.

На крохинское поздравление с пасхой и попытку отчасти оправдать женин план «ересиарх Ингерманландский» шлет нечто еще более крепкое, приводимое здесь дословно:

2 апр. 90. СПб.

Получил твое письмецо и очень тебя благодарю за внимание и память. Приветствую всех вас с наступлением весны. Радуюсь за детей, которым дорого отдохновение **. О разномыслиях насчет желаемого сближения двух дам *** не сокрушаюсь. У Христа я помню слова: «враги человеку домашние его». Пушкин молился об избавлении его от «родственников». Народ говорит: «избавь, боже, от своих, а с чужими я сам полажу». А в хрестоматии Гокке, по которой я учился, было такое присловие: «Есть люди, которым нечего больше делать, как ссориться и мириться». Почему бы на свете стали переводиться такие люди, когда не переводится многое другое, столь же мало достойное уважения и подража-

---

* Письмо от 18 марта 1890 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Пасхальные вакации.

*** Ольги Семеновны с Клотильдой Даниловной.

ния? Величать друг друга самыми поносными именами и потом, оставаясь все в тех же кожах, обниматься и находить пользу и удовольствие в общениях — есть несомненный признак полной бессодержательности и любви к гадости. <...> Приводит это обыкновенно к тому, что «последняя будет горше, чем первое». А впрочем, один мудрец сказал: «поступай как знаешь, — все равно будешь раскаиваться», — чего от души вам и желаю. Здоровье мое и дела столь мне прискучили, что я прошу позволения не говорить о них. Поистине все хорошо, что непременно кончится.

Н. Лесков» *.

Более поздних писем нет.

Пасхальный размен неравнозвучными приветствиями оказался последним. Упрек в любви к гадости, оглушительность метафоры, «нетерпячесть» и сухость концовки принудили к письмовой передышке даже многотерпеливого Петровича.

Апрель и май везде проходят в хлопотах. У Лескова — выпуск последних томов собрания сочинений, сборы и переезд на лето в Шмецк и т. д. У Крохиных — экзамены дочерей, поиски пригородной дачи, служебные инспекторские поездки главы семьи... Всем недосужно. Письмовая заминка затягивается. Жизнь, в ее непостижимых неожиданностях, не останавливается.

30 мая, возвратясь из какой-то командировки, Крохин, в душный и жаркий день в полувоенном стеснительном мундире со стоячим узким воротником, при шашке и регалиях, является к своему «управляющему» и тут же, в управлении, покачнувшись и в молчаливом удивлении оглянув окружающих, грузно падает наземь. Замертво его отвозят домой. Тяжелое кровоизлияние, удар. На пятый день наступает смерть.

Лесков теряет самого любезного ему человека во всем родстве. В Витебске остается сестра-вдова, про которую покойный говорил однажды Лескову: «Оставлю четырех детей, из которых больше всех «дитя» — жена».

Выдававший в это именно время замуж старшую падчерицу, Алексей Семенович ехать в Витебск не мог. Отец мой, со своей грудной жабой, — тоже. По соглашению с Киевом еду поддержать тетку в тяжелый момент я.

Возникает вопрос, где дальше жить Крохиным —

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

в Витебске, Киеве или Петербурге? Последнее не располагает к себе соображений моего отца. Он инструкционно пишет мне в Витебск:

«Все пустоплясы Киева я имею в виду, но для Ольги Семеновны они будут идти за жизнь и за «чувства», и все это будет ей *сроднее,* и *поэтому* лучше их направлять к Киеву. Иначе, разумеется, был бы лучше Петербург. Но в Киеве дядя им что-нибудь устроит и при непосредственных отношениях с городскою институциею может их поддержать <...> Я боюсь Петербурга не потому, что он суров и не шутит, а потому, что Ольга Семеновна совсем к нему не годна, а в Киеве все кое-как смажется» *. «Киев после смерти матери и Миши «не тот», как р а н е е, — это правда, но ведь такие же события возможны и в Петербурге. Сравнивая Киев с Петербургом, надо иметь на счету не одно влияние живущих родных, которые тоже смертны, но *весь характер жизни.* Киев всегда останется глупее, а это для известного рода положений — удобство. При этом там во всем *менее конкуренции,* а это еще важнее» **.

Так все и сделалось: Крохины возвращаются в Киев, но старого для Ольги Семеновны в нем уже мало. Гнезда на Михайловской улице нет: там все сдано внаем. Алексей Семенович живет в просторной директорской квартире Александровской больницы. Здесь по-своему «великосветские» приемы, выезды, «вечера». Старая, скромного достатка и положения вдовая сестра с ее учащимися девицами — не к масти козырь. Приходится селиться на отлете. Брат по-прежнему добр, но очень недосужен, да и немножко отвлечен общим стилем жизни собственной семьи. В дворянском клубе с ним любит играть в винт сам Драгомиров. Невольно создается ощущение некоторой разобщенности... Не проще ли было податься в Петербург? Не дешевле ли было остаться в Витебске? Здесь сейчас одна ржищевская «матушка», сестра Геннадия, близка по-прежнему. С ней, в ее приезды, только и отведешь душу!

Переписка со старшим братом сначала идет кое-как, но быстро переходит в сплошное с его стороны, почти невыносимое учительство, выговоры, колкости, не слышанные от покойного мужа за 17 лет счастливого супружества,

---

* Письмо от 10 июня 1890 г. — Архив А. Н. Лескова.
** Письмо от 11 июня 1890 г. — Т а м ж е.

трудно переносимые на пятом десятке лет. Николай Петрович, как и Алексей Семенович, был ведь «фетюк», «не умевший» говорить жене спасительное «цыц!». Теперь этого пришло много.

Ольга Семеновна терялась, оскорблялась и, по свидетельству ее дочерей, «очень плакала» от таких писем, Иногда, осмелев, и она в свою очередь отвечала «разметной грамотой», а дальше, чтобы не испытывать новых потрясений, поручила старшей дочери предварительно просматривать петербургские письма и читать ей из них только самые смирные строки. Наставительный натиск брата на начавшую сильно хворать, духовно подавленную сестру не укрощался. Письмо его от 10 ноября 1890 года начинается строками: «Вскоре после получения от тебя «разметной грамоты» я написал тебе письмо, чтобы ты сердилась одна, но не думала бы, что и я буду способен обижаться тоном твоего письма — приличного институтке, а не матери-вдове. Письма такого я тебе не послал, но все мне жалко твоего малодушества и хочется знать: как ты перемогаешься». Заканчивалось оно умягченно, с мистической пытливостью и нежностью к покойному: «Смотрю на витебскую карточку Николая Петровича и удивляюсь выражению его лица: точно он говорит: «я кончил». Лицо бодрое, но глаза поникшие, и взор угас. Удивительное выражение, какого нет ни на каком другом портрете» *.

Во вступлении к рассказу «На краю света» относительно одного из изображений Христа говорится — «черт нет, но есть выражение» [123]. Так, всегда верный себе, писатель и в хорошо знакомых ему чертах «Петровича» увидал неуловленное другими новое выражение.

Ольгу Семеновну день ото дня больше раздражает широкий склад жизни семьи брата Алексея, постепенное повышение положения в киевском «свете» нетерпимой невестки и успехов в «обществе» ее хорошеньких дочерей.

Лесков пытается убедить ее смириться, напоминая былые личные ее грехи:

«Из письма твоего вижу, что ты расстроена тем направлением жизни, какого держатся в доме брата! Но что тебе до этого за дело? И разве залезание в какие-то высшие слои — это такая небывальщина и редкость?! Мне кажется, что это ведь общая черта всех дюжинных

---

* Архив А. Н. Лескова.

людей, из которых состоит мир. И тетка твоя Наталия Петровна, и Сашенька Кологривова, и ты сама с мамою, в вашу бытность в Орле, — все вы «лезли в аристократию», и ты «выезжала» и «душку Левашева» смотрела. Что?.. Небось вспомнила, и, пожалуй, смешно становится! Ну, и посмейся, а других не осуждай. Это, конечно, суетно и не почтенно, но ведь это захватывает большинство людей, и надо иметь иное направление, чтобы стоять вне этого влечения, но зато тогда явятся другие крайности, и пойдут другие неудобства, которые вызовут, может быть, еще большие неудовольствия. Вон у Толстых смута из-за того, что «не хочет знать общества», — и опять худо, опять неудовольствия <...> А ты живи просто, и на них не засматривайся, и не осуждай, и не завидуй, и детей от этого беспокойства удаляй, а давай им хорошее чтение, которое давало бы им *«лучшее разумение жизни».* Вот и будет твое дело. А ты и сама-то ленива читать и совсем не знакома с хорошими сочинениями, способными раскрывать смысл жизни, — вот это худо, и через это речь твоя с детьми бедна умом и скучна по содержанию. Вот это дурно, и ты это хоть немножечко бы попробовала изменить. Все брать из своей головы, ничем ее не восполняя, — это значит вести себя к оскудению, что у вас и было, даже при Николае Петровиче, — когда вы ошибочно думали, что всякая человеческая семья может жить особняком, «сама для себя», без общения с миром божиим. Люди созданы совеем не для этого, а для широкой жизни, в общении со всеми людьми. Павел говорил: «Я должен всем», а не то что «мы себе сами по себе, и сопли распустим, и никого не пустим». Если дети твои будут ведены так же, то их скоро съест скука, и они также станут видеть цель жизни в том, что ты нынче осуждаешь в других. Давай им дрожжей, на чем бы подходить вверх молодому тесту. Давай им думать о жизни, — а это всего удобнее достигается обильным и хорошим чтением. Но у тебя «нет денег на библиотеку...», Это-то вот и есть то, чего никогда не надо бы слышать твоим детям! Библиотека стоит 1 р. в месяц (не по 1-му разряду), а польза чтения неоценима, и — главное — дети должны привыкнуть искать мысли в книге, а не в празднословии» *.

---

* Письмо от 13 марта 1892 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

Нервируемая чужим житейским превосходством, вдова не поддается. Это усиливает энергию брата в ее отрезвлении. Посылается булла в семнадцать густо записанные (почти печатный полулист!) страниц.

Чего только в ней нет!

Начинается письмо малообычно, с хвалы.

«Что ты взяла к себе злополучную Б. и ее у себя содержишь — это превосходно и исполняет меня чистою радостию и восторгом! Обнимаю тебя, благодарю тебя, целую и похваляю. Ты это прекрасно делаешь, и Николай Петрович это должен чувствовать. Нет ничего лучше, как исполнить «порыв любви» и сожаления к человеку во время его бедствия и скудости. Это значит прямо: «сослужить по божию», как правильно выражает народ. Чудесно, что ты это делаешь, и я рад, что указал тебе на Б — ю [124]. Без этого, может быть, ты бы ее не поискала, и ей бы угрожало еще большее бедствие..»

Дальше уже звучит что-то иное: «Я бы посоветовал тебе не быть такою неосновательной», а про приюченную Ольгой Семеновной особу говорится суше, а следом уже и совсем остро.

Высказанное сестрою предположение отправить своих дочерей на лето к их тетке-монахине в Ржищев встречает одобрение, вызывая, однако, очень серьезные поправки и беспощадную характеристику монастырских нравов.

«Намерение твое послать детей на лето в «монастырек» мне кажется хорошо. Там действительно место здоровое, но помещение препоганое... и очень стесненное, а от этого непременно и *нездоровое.* Наверху, на горе гораздо лучше. И внизу едва ли не лучше там, где гостиница... В отношении «тишины» ты ошибаешься: тишины в монастырях *не бывает,* — там всегдашняя сплетня и свада, но надо от этого удаляться. Глупые люди везде суются в чужие дела и всегда ссорятся. Притом же при монахинях приставлены «бесы». Лучше бы тебе *жить за оградой,* то есть в гостинице... Так мне думается, и не без оснований. Геннадия-то не «ребенок», а она «монахиня», а вот ты так уж настоящий «ребенок», и это худо».

С переходом к нерасположению ее к жене Алексея Семеновича и к осуждению ею аристократических влечений последней — выступает рискованная шутка, заключаемая более чем круто.

«...Я знаю одно, что какова бы ни была Клотильда Даниловна — она все вела к миру и объединению, а мать и все наши вели к распре, к разъединениям и обидам ей, и разъединение выросло... Иначе это и не могло быть. Чего хотели, того и добились, и тебе уж этого не исправить. Легко бросить камень в воду, но вытащить его оттуда очень трудно. Я же тебе говорю свое мнение вообще, никак не применительно к семье брата, которую знаю очень мало, но почитаю за людей не злого, а, напротив, даже доброго духа. Слабости же их мне неизвестны, да и едва ли у них не те же самые слабости, как у всех людей. <...>» И опять сестре приходится читать хотя и шутливую, но непосильно крепкую простонародную пословицу, которую не знать, как и стерпеть.

А попутно, от строки к строке больше, нарастает подлинное раздражение, полыхают обида и гнев на брата, с признанием, впрочем, немалых его заслуг, и преподаются тягостные советы самой сестре:

«...Брата я не знаю давно. Давно уже как он стал оказывать мне недружелюбие и презрение, и я его не трогаю, чтобы не раздражать более, и ограничиваю все тем, что всегда отвечаю на его письмо, чтобы дверь сношений была ему не закрыта, но презрение его ко мне не уменьшается, и тому, конечно, должен быть повод, но только я его не могу проникнуть и потому оставляю это дело без исследования. Но зла или даже неудовольствия против него я не имею, и ни против кого зла не имею. И не думаю, чтобы он был «пришиблен». Твоим наблюдениям я не судья, но я в нем видел нечто иное: а именно общую *усталость,* происходящую не от чего-нибудь особого, а от всех впечатлений со стороны своих родных... И мне это в нем понятно: он очень много сделал для родных, и сделал это с прекрасною простотою, а все это или совсем не оценено, или оценено очень дурно, на одних словах, а не на деле. Он служил опорою матери, тебе, Василию <зачеркнуто: В е р е . — *А. Л.*>, Геннадии и Мише... Возьми у дочерей Новый завет или вели им прочесть себе 13-ю главу 1-го послания апостола Павла к коринфянам. Там узнаешь, как должно оказать любовь... пойди и обними Клотильду Даниловну и от себя и, пожалуй, хоть от меня и скажи, чтобы она *нас простила,* в чем были не чисты перед нею... ты увидишь, что произойдет чудо божие, о котором с умом человеческим не вздумаешь, — именно «мир божий, который превыше

всякого ума, да водворится в сердцах ваших и обитает там обильно во всяком благоволении». — Тогда мои письма принесут тебе пользу...»

Двумя строками ниже, на избочине 16-й страницы, стояло — «Н. Лесков». Оставалось вложить 4 двойных листка в конверт. И вдруг снова взмыло: на новом полулистке пишется:

«5) Post scriptum. Еще должен прибавить: ты пишешь, что «хочешь нежной ласки и попечения». Это находится в связи с тем, что ты «дитя» и что это знал и говорил о тебе твой муж: «оставлю *четырех* детей». Если бы ты была женщина, а не дитя, то ты бы таких слов не сказала. Какой тебе ласки нужно? Ведь ты уже получила свою долю ласок? Теперь сама *ласкай* детей, но и то с рассудком, чтобы они не остались вечно детьми, ожидающими ласок... Разве *все* ожидают ласки и имеют их? Или и меня кто ласкает?.. И зачем тебе «попечения», когда у тебя 20 тысяч денег, 900 рублей пенсии и когда ты ходишь еще на ногах, а если сляжешь, то у тебя есть три дочери, которые тебе прислужат, *если* ты их не обучишь кукситься и самим «ожидать ласк и попечений»... Это говорит баба в 40 лет!.. Ах ты, бесстыдница! Тебя надо крапивой продрать! (не прогневайся)» *.

Взрывная реакция, исчерпав себя в брате, вспыхивает в сестре: переписка не укрепляет, а расщепляет душу. Необходима передышка!

Год спустя опять совершается на вдову ярый наставительный натиск, с обильными укорами за религиозное невежество с утверждением верности собственных указаний:

«Смешиваете слова его <Христа. — *А. Л.*> с словами дьявола, и его советы почитаете за «фантазерство», которое будто бы не стоит вашего «реализма»; *я вижу истину; ибо я говорю не свое и не от себя.* Затем я хотел бы не пустословить более по этому великому и святому делу. Вмещай то, что можешь» **.

Сестра не вмещает больше. Письма страшат, подавляют... Силы уходят. Надвигается угасание. Дорог покой.

Затягивающийся почтовый разрыв тяготит «нетерпя-

---

* Письмо от 29 марта 1892 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Письмо от 13 августа 1893 г. — Там же.

чего» брата. Упорно молчат и племянницы, всегда робевшие писать требовательному дяде.

Остается последнее средство: запросить о всем и всех, два года назад переокрещенную в «Крутильду», жену последнего оставшегося еще брата. Из ее неотложного ответа узнается, что сестра две недели как умерла.

Ни телеграммой, ни письмом никто об этом не уведомил.

В день получения смертной вести отец посылает мне почтовую открытку: «13 ноября 93 скончалась в Киеве Ольга Семеновна Крохина. — 28/XI, 93» *.

Я это знал. Уверен был, что знает и он. Сами мы, живя на одной улице, о ту пору не видались и не переписывались.

ГЛАВА 8

PRO DOMO

Он человек! им властвует мгновенье.

Пушкин [125]

В 1885 году на выпускных весенних экзаменах я потерпел неудачу. Чтобы сберечь год и успеть попасть затем в какое-нибудь высшее учебное заведение, я решил держать их снова осенью.

В конце мая мы переехали в несколько бо́льшую квартиру, № 4, в том же доме № 56 по Сергиевской, но по другому подъезду, в первом этаже над хорошим служебным полуэтажом. Вслед за тем отец с прислугой уехал на дачу в Дубельн под Ригой, а я поселился в Озерках в пансионе, подготовлявшем к экзаменам на аттестат среднеучебных заведений или к конкурсным в некоторые из технических.

31 августа, в первом часу дня, «на крыльях радости», точнее, на хорошем извозчике, поощренном обещанием лишнего двугривенного, я примчался на Сергиевскую и, пулею влетев в отцовский кабинет, не поздоровавшись толком с оказавшимся почему-то здесь же Крохиным, торжествующе положил перед отцом только что выданный мне желанный аттестат от 29 августа за № 1583. Им удостоверялась моя среднеобразовательная зрелость и подготовленность к постижению дальнейшей высшей учености.

---

* Архив А. Н. Лескова.

С первого взгляда я понял, что отец встал сегодня «под низким барометрическим давлением» и что Крохин сидит тут неспроста. Пробежав свидетельство с подробным перечнем баллов, полученных мною по всем предметам, он пренебрежительно бросил его в сторону и, вонзив в меня гневом зажегшийся взгляд, жестко произнес:

— Ну, и куда же ты теперь с этим сунешься?

Как ушатом ледяной воды, смыло с меня всю радость, нашел столбняк.

— Я спрашиваю тебя, — продолжал отец, — что с этим делать дальше? На что оно годится? Куда сейчас с ним идти?

— Как куда? — едва приходя в себя, заговорил я, — этот аттестат открывает мне все двери. Он дает мне права на поступление в высшие гражданские институты, в Лесной, Петровско-Разумовское в Москве, в высшие военные училища, позволяет быть допущенным к конкурсным испытаниям в специальные технические институты исключительно по одним математическим предметам...

— Я этого не вижу!

— Николай Петрович, — умоляюще повернулся я к Крохину, — прочтите, пожалуйста, то, чего не видит здесь мой отец. Прочтите напечатанное жирными крупными буквами в конце второй страницы, — убеждал я, с каждой секундой яснее видя предрешенность каких-то отцовских планов и подготовленность всей инсценировки. Крохин, не осмеливавшийся вступаться за свою жену, когда при нем же за нее принимался его крутой шурин, почтительно молчал, боясь даже взять из моих рук протянутый ему мною лист.

— Я вижу то, что мне надо видеть, и с меня этого довольно! Куда тебя примут с этим сию минуту?

Я начал перечислять институты.

— Там экзамены уже в разгаре, и тебя там ждать не собираются.

— Тогда буду держать в будущем году.

— Это значит еще целый год болтаться без дела?

— Но ведь туда же иногда держат по нескольку раз!

— Я этого не допущу. Найди себе немедленный выход.

— В таком случае в Константиновское, в Николаевское кавалерийское...

— Это еще что за пошлость! Чтобы твоя драгунская лошадь про...ла мои горбом заработанные деньги? —

на лету подхватил он последнее, пропуская мимо ушей все остальное. — Ты упустил время. Сейчас везде все вакансии уже заняты, и ты везде останешься за бортом!

— Вы глубоко ошибаетесь. Довольно вам проехать в Главное управление военно-учебных заведений, и по вашему прошению я буду принят немедленно, так как занятия еще не начинались, а некоторое количество вакансий всегда имеется в распоряжении этого Управления.

— Куда это еще и зачем я должен ехать! Перед кем это унижаться? Кого просить? В твои годы я сам пробивал себе путь лбом, а не отцовскими хлопотами. Довольно! Я вижу положение всех вернее: тебе осталась одна дорога, единственная, которая подбирает всякую дрянь, — в солдаты! Но этого я видеть не могу и не желаю. Ты поедешь в Киев, к дяде Алексею Семеновичу, и пусть он там тебя обряжает в достойный тебя убор. Но, повторяю, мне это видеть мерзко и не полезно моему здоровью и духу. Собирайся и отправляйся. Николай Петрович поможет тебе сделать необходимые покупки, а я сегодня же сношусь о тебе с братом.

Здесь отец скользнул взглядом по бювару, в левом уголке которого я теперь только заметил синенький конвертик. Положение выяснялось до дна. Все было непререкаемо решено и, в сущности, уже и выполнено. Обычный прием и мера суда: «я знаю дело всех всестороннее». Точка.

В действительности драма создавалась на пустом месте. В крайности, порешив на военной дороге, автору «Кадетского монастыря», «Интересных мужчин», «Левши», «Привидения в Инженерном замке» и многого другого (военного и невоенного) достаточно было проехать на извозчике на Первую линию Васильевского острова, у самой Невы, в помянутое уже мною Управление военно-учебных заведений, и вопрос нашел бы себе немедленное разрешение. Ничего более не требовалось. Но вот это-то и не годилось: слишком просто! Где же тогда трагедия, где «несчастный отец», где так охотно созданный «образ». Где «здравствуй, одинокая старость» и весь набор неисчислимых «злостраданий»!

Человек мыслит «образами», создаваемыми иногда трезвой действительностью, иногда самовнушением.

Рассказ «Александрит» * имел редкий подзаголовок:

* Собр. соч., 1902—1903, т. XX, с. 91, 100, 104.

«Натуральный факт в мистическом освещении». В нем приводится пример тому, каким «густым бредом» бывает охватываем кто-нибудь, а в конце делается назидательный вывод: «Вот что иногда значит посмотреть на вещь под необыкновенным настроением фантазии!» Да еще хочется прибавить — когда дело не обходится без несчастного давления на мысль и сердце.

Коротко, с трудом овладевая охватившими меня чувствами, я поклонился отцу, взял из рук трепетно застывшего Крохина час назад казавшийся таким драгоценным документ и вышел.

— Ну как? Куда? — спросил дружественно заинтересовавшийся моей судьбой инспектор пансиона А. И. Гельд.

— В солдаты! — с кривой улыбкой поведал я ему отцовскую волю.

Добрый Александр Иванович, сокрушенно умолкнув, развел руками.

Нравственно раздавленный, я, несмотря на юность, хорошо понимал, как калечатся мои и учение и военная служба на самом пороге жизни. Уже начав стареть, прочел я впервые приведенные много выше строки из письма моего отца к Вере Бубновой о том, что ему надо позволять *ломать и портить то, что он сам всего более любит.* Так ли? Во всяком случае это не смягчило горечи воспоминаний.

Помощи мне в моем тогдашнем зависимом и безденежном положении ждать было неоткуда. Мать моя была в Киеве, но вскоре должна была уехать с дочерью в Петербург. У нее и без меня было о ком думать, да после развала нашей семьи мы с нею незаметно поразвыклись. Времена были не нынешние: власть родительская до полного совершеннолетия была огромна.

Хотелось уехать прямо из пансиона, в котором я продолжал жить после экзаменов, но было выдвинуто требование, чтобы последний вечер и ночь я провел непременно в «отчем доме». Сидели неизбежные «Витенька» Протейкинский и добропослушный «Петрович». Выходило что-то вроде похорон. Никто не умел найти простой и искренний тон. И откуда ему было взяться? Нехорошо было.

Утром на платформе, в том же составе, все выполнялось по ритуалу: слезы, объятия, какие-то упования, сожаления, все какое-то нимало не вязавшееся с сутью со-

вершившегося. Наконец третий заливающийся звонок, тонкий свисток «обера», густой ответный паровоза. Перед окном прошли отирающий глаза отец, машущий платком Витенька Протейкинский, качавший шляпой Петрович... Поехал... Будь что будет! В солдаты так в солдаты. Так сказать — получил первую путевку в жизнь.

В Киеве на меня пахнуло теплом, ободряющим радушием, непривычной лаской. Видно было, что все содеянное со мною здесь уже широко обсуждено и оценено по-своему. Бабушка, крепясь, хмурилась. Клотильда Даниловна едва сдерживалась. Мария Мартыновна Константинова, вдова двоюродного брата моего отца, жившая тут же во флигельке, нервно поправляла шаль. Михаил Семенович угрюмо отмалчивался.

— Ничего не понимаю, — сказал Алексей Семенович, возвращая мне мой аттестат. — А вот что пишет мне о каких-то экзаменационных твоих неудачах твой отец. Прочти. А еще лучше сперва отоспись с дороги, а там как-нибудь и обсудим дело. Я уже кое с кем из знакомых военных переговорил.

И он уехал на практику. Прочитав хорошо опередившее меня письмо к нему отца от памятного мне 31 августа, я, несмотря на усталость, долго не мог заснуть.

Петербургские письма в Киеве всегда читались с исключительным вниманием и даже волнениями. Сперва читал единолично тот, кому они были писаны, затем в столовой, после вечерней закуски, — во всеуслышание. Тут шла уже обобществленная их проработка, после чего письмо клалось на мраморный подзеркальник камина в хозяйском кабинете, дабы желающий мог его перечитать и пообдумать на полной свободе в одиночном порядке. Таков был давний обычай.

Чего только не было в письме, являвшемся как бы напутственным представлением меня людям, заботам которых я поручался:

«...Лично я от него <то есть от меня. — *А. Л.*> ничего хорошего не ожидаю и, наоборот, считаю его способным на все дурное, к чему может придти человек без характера... Дальнейшее потворство поведет его к косности в поганых привычках и повадках его характера, как две капли воды напоминающего того, кому не годились ни привольная Украйна, ни Киев, ни Петербург, ни Ташкент <то есть покойного Василия Семеновича. — *А. Л.*>... Более я ничего не хочу знать о нем <обо мне. — *А. Л.*> и

по угнетающему меня невыносимому расстройству душевному — даже не могу сносить ни его вида, ни известий о нем, кроме самых неизбежных» *.

Но слышать, вернее слушать, обо мне выдалось негаданно скоро, много, тревожно и даже уязвительно.

— Прочел? — спросил меня Алексей Семенович за обедом.

— Прочел! Не пойму только, дядя, как это вы решились пустить к себе в дом человека с таким «волчьим паспортом», способного на все дурное, возможно вплоть до кражи столовых ложек, — выпалил я, глубоко задетый.

— Ладно, ладно, не впадай и ты в печеночный тон. Я вот после обеда прикорну, а потом мы с тобою поедем в новые Михельсоновские бани. Таких, пожалуй, и в Петербурге у вас нет. Великолепные.

Обед прошел и кончился все еще в настроении какой-то общей нерешительности, подавленности. Алексей Семенович пошел в кабинет вздремнуть на свежезастланной уже своей докторской «досадной укушетке», остальные разошлись по обширной квартире и уютным флигелькам. Клотильда Даниловна спустилась к повару, лакей Степан убирал со стола.

— Дронушка, — обратилась ко мне бабушка, — пройдем в гостиную, хочется потолковать с тобой.

Мы прошли залу и расположились в глухой, заставленной мягкой мебелью, отдаленной комнате, слабо освещавшейся рожком уличного газового фонаря.

— Ну вот... Тут нас никто не услышит, — начала, опираясь на ручку глубокого кресла, Марья Петровна. — Скажи мне, дорогой мой единственный внук, на чем у вас с отцом такой разлад пошел? Разреши ты мне измучившие меня сомнения, страхи. Конечно, я читала письма Николая, но ведь, сам знаешь, он человек слишком горячий, не разберешь, сколько в чем правды, а сколько его больного воображения. В чем же дело, объясни.

— Ах, бабушка, всего не расскажешь, да и не радость... Тяжело с отцом, да еще с глазу на глаз вдвоем. Я ведь очень долго прятался с этим, — впервые в жизни вырвалось у меня полупризнание.

— Ну, да этого кто не знает! Сызмала такой. Но сейчас-то что у вас стряслось?

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

— Сейчас? Не скрою, весной оплошал, а осенью поправился. Надо бы или похлопотать немножко, чтоб определить меня куда-нибудь, или год переждать. А он — в солдаты.

— А как сам и вовсе не учился, забыл, — начиная нервно постукивать концами пальцев по ручке кресла, медленно, точно перебирая в памяти далекое прошлое, проговорила бабушка. — Вот у Марии Мартыновны Саша ее дальше третьего класса не пошел. Не гонит же она его из дома!

Она поднялась, подошла к самому окну и застыла у него.

— А какие же негодяйства-то за тобой нетерпимые такие? Говори все своей бабке, со мной и умрет. Не таись!

— Какие?.. Любил читать, поленивался, школьничал, изводил нелюбимого корпусного воспитателя, танцевал с барышнями да с писательскими женами в Пушкинском кружке, а отец не терпит этого, говорит — *я в твои годы...*

Но тут Марья Петровна быстро перебила меня:

— Он... — изменившимся голосом начала она и в явном колебании запнулась, — это верно... *он в твои годы не танцевал, нет! Он в Киеве, на Андреевском спуске, дрался с саперными юнкерами,* — вырвалось, наконец, у старухи.

Обессилев, тяжело дыша, она опустилась на ближайший стул. Я бросился в столовую за водой, которой она жадно отпила несколько глотков и, обняв меня, расплакалась.

С этого дня уже точно плотину размыло — заговорили все: и моя мать, и Клотильда Даниловна, и весь дом. Алексей Семенович не знал, как унять или хотя бы умерить стихийное негодование женщин.

Мать моя через несколько дней уезжает в Петербург с дочерью Верой, учащейся там у Д. М. Леоновой[126] пению и сценическому искусству. Меня начинает морить и клонить ко сну, сопровождающемуся жаркими, густыми, бредовыми сновидениями. Явно заболеваю, но недуг еще неясен.

23 сентября Николай Семенович получает письмо от Алексея Семеновича, во многом не разделившего приговоров и суждений своего старшего брата.

«Я не из тех людей, — отвечает последний в тот же день, — которых надо утешать и которым горе их можно представить так и иначе. Я ничего этого не прошу и ничего

не ожидаю. Какая бы слава его ни ожидала — *друга* у меня нет и не будет, — я живу и умру одиноким. Вот что сделано его невинным «легкомыслием» <...> Это немножко тяжело и больно и можно чувствовать не «желчное раздражение» — свойство ничтожное, но и настоящий *гнев* — являющийся последствием горькой обиды и легкомысленно попранных серьезнейших отношений. — Я не имею «желчного раздражения», по гнев горит так же, как стыд, и сказать «не гневайся» так же бесполезно, как сказать «не стыдись». Это естественные последствия своих причин. — Впрочем, я прочел твои напоминания о неправоте моей и вспомянул слова покойного Филиппа Терновского: «Это полезно, ибо очень несносно». Очень тебе благодарен за твое участие к тому, чье имя не может нынче написать рука моя. Нимало не претендую и за замечания. Правда, я бы обошел дело без них, но у всякого свой прием. Притом тебе судить обо мне с верностию довольно трудно, так как мы очень давно отчуждились и ты едва ли меня знаешь. — 25 лет ведь кое-что изменяют в людях, даже и не очень подвижных. Изменять твоих мнений я не стану и пытаться <...> К упрекам я глух, потому что я сделал все, что может сделать отец самый любящий, и на все имею удовольствие писать вот эти-то оправдания <...> «Жестоким» я не был и не буду, это напрасное слово, но *я оскорблен жестоко*, и гнев, подъятый со дна души моей, не может улечься ни по чьему слову. О «гуманности» тоже слова напрасные: я не варвар, но я сам очень страдаю!.. Поймите это, пожалуйста, проще, без привлечения сюда «желчных раздражений». Я не чувствую ни нерв, ни желчи, и не глуп пока по-старому, а почему ты думаешь, что, стареясь, надо быть тряпкой, — этого я не знаю. Я в таком деле все оставил бы *времени,* ибо если что может изменить к лучшему, то это *одно время,* если он в пределах времени, мне отпущенного, явит в себе не те свойства, которые мне внушают одно презрение, а иные свойства честной любви к труду, — чего у него не было, нет и, всего вероятнее, — никогда не будет. О нездоровье его сожалею. Всех благодарю за участие и на все расходы высылаю завтра же. Затем пусть свершится воля провидения. Я его любил одного более всего мира, но мой разум со мною. Смерть лучше бесславия, а бесславие неизбежный удел легкомыслия и лени» *.

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд. Н. С. Лескова).

Позиция, занятая Киевом, ошеломила. Я становился яблоком раздора, неудержимо углублявшегося и росшего. Непредвиденно все родство не только не оправдало ссылку, но, сурово осудив ее, дружно ополчалось на сославшего. «Пря» разгоралась. Даже у стремившегося утишить разыгравшуюся бурю Алексея Семеновича проскользнули мучительные упоминания о желчи, раздражении, жестокости и еще какие-то больно уколовшие «напоминания о неправоте». Трудно было верить, чтобы все это принималось действительно как «полезное», а не как «очень несносное».

Серьезность моего заболевания еще не определилась. Спячка моя сменяется беспамятством. Родятся опасения. Меня переносят в большую, не сданную еще квартиру над квартирой Лесковых. Заботливый Алексей Семенович ставит на ноги весь медицинский Киев вплоть до знаменитого Ф. Ф. Меринга, сотрудника славного Н. И. Пирогова. Я недвижим. Осмотрев меня и подробно расспросив о предшествовавших заболеванию обстоятельствах, Меринг определяет: зараза в поезде, пятнистый тиф, тяжелая форма, медлить нельзя, необходимо вызвать отца. Все это говорится негромко у моей постели. К удивлению всех стоящих тут врачей, синие губы замертво лежащего в бессознательном состоянии больного с чрезвычайным усилием произносят:

— Не надо... не надо...

Так передала мне после присутствовавшая при этом Клотильда Даниловна. Телеграммы все-таки полетели. Одновременно во всем своем величии и красоте предстает героизм этой «простоплетной» женщины: имея трех собственных детей, она ни минуты не подумала сбыть с рук, хотя бы и в хорошую платную лечебницу, какого-то, зачем-то присланного сюда, племянника ее мужа. Нет! Она по десятку раз поднимается ко мне, сама обворачивает меня в холодные мокрые простыни, вливает мне в рот лекарства, питье, записывает биение пульса и температуру, а потом, сняв халат, бежит вниз, где умудряется выполнять все многочисленные свои обязанности по дому, обслужить всех здоровых. Ко мне приставляются фельдшер и сиделка. Я лежу в большой зале. В комнатах слева и справа поочередно открыты окна: «больше воздуха», указал Меринг. Все выполнено, продумано, предусмотрено. Двенадцать дней без сознания. Надежды мало. В Петербург шлются угрожающие бюллетени.

Надо же было заболеть! Как все это несносно! И чего ради! Nemesis рок?.. Какой вздор! Нет, долой мистику. Надо держать душу и нервы в сборе...

Прошлой весной «жалкой» и «тупоголовой женщине» — А. Н. Толиверовой — на ее приглашение меня куда-то писалось: «Андрея не мог отпустить. Он не умеет совмещать дела с бездельем и очень увлекается. Ему вредны еще такие веселые роли. Пусть лучше учит уроки, он и без того дрянь препорядочная» *. Сейчас она нетерпеливо зовется на разделение тревог и дружелюбный совет: «У Андрея *пятнистый* тиф. — Положение *отчаянное.* Депеши худые. Кажется, дело безнадежное. — Может быть, сегодня надо уехать. — Прошу сейчас ко мне зайти» **.

Не все ответы Лескова Киеву сберeглись, но нарастание его раздражения уже на многих из киевлян достаточно обрисуют выдержки из письма его к брату от 26 сентября:

«На письмо твое от 20 числа я ответил тебе вчера письмом и депешей. Я полагаю, что и для твоего дома и для самого больного его лучше поместить за плату в хорошую больницу, каковая (говорят) у вас в городе и есть. Там удобнее лечить такие болезни, и мне думается, что ты и сам, вероятно, такого же мнения, но, быть может, не увез его из дома по одной деликатности. Если это так, то я высоко ценю твое чувство и глубоко тебе благодарен, но прошу тебя руководиться разумом и истинными выгодами твоего дома и самого больного. Я пойму это, как должно понимать вещи, здраво... Из твоего листка вижу положение болезни, но, как профан, не понимаю, что такое значит тиф «абортивного свойства». Для меня это своего рода «моветон», в котором я не могу себе уяснить: чт*о* это — лучше или хуже какого иного тифа. Во всяком случае я знаю, что он в добрых руках и что ты сделаешь все, что нужно и как нужно... Я ведь совсем не знаю в достоверном освещении твоего быта, и когда должен его себе представить, то неминуемо имею перед собою только одни сплетни, в которых *критикою* надо уметь выбирать частицу чего-либо настоящего (в чем мы с Андреем, бывало, и упражнялись вместе, доверяя лишь сотому слову

---

* Письмо без даты. Вероятно, март 1885 г. — Пушкинский дом.

** Письмо без даты и вступительного обращения. Сентябрь 1885 г. — Там же.

слышанного). Теперь я расстроен и один... с моим вечным, неизгладимым горем... Мне доброе сердце должно простить многое в моем нынешнем едва переносимом состоянии. Сам я, по *личным* моим чувствам, питаю к Клотильде Даниловне более всего благодарность и буду ее питать по гроб и исполняю все, что на человека возлагает благодарность. И уста мои и сердце всегда это исповедуют перед всеми. Я считал ее и доброю и милосердною, но «и днях многих и в камении пременение бывает»... Мы ведь совсем разбились и не знаем друг друга «во пременениях»... Но ведь я не ожидал, что он заболит у тебя... Я говорю: я «послал его из Ура Халдейского в Месопотамию к дяде его Лавану» потому, что он забаловался и обманывал меня, «облекаясь шкурою козией». В «Уре Халдейской» он того и гляди устроился бы в бардельные танцоры и в приятные собутыльники при князьях «совоспитанных ему». Я этого должен был страшиться и избегать, и потому я не совершил никакой «жестокости» или «несправедливости», резко и решительно оторвав его от «совоспитанных» и послав его к тебе... «Мягкость» и «прощение», о которых ты пишешь, для него *не новы:* они были много лет пробованы, и нынче они были бы знаком безнатурности, к чему я не способен ни по разуму, ни по чувству уважения к человеческому достоинству. Нет проступка, которого нельзя бы простить, но *повторяемость* поступков, рецидивизм, всякое сердце возмущает, и дрянь тот человек, который не чувствует этого возмущения. Что такое значит «простить»? Это очень желательное и отрадное движение с е р д ц а, — и я — если ты хочешь — простил его за зло и обиды, причиненные мне его пятилетними беспутствами, но не в этом ведь дело. Нужно не прощение, даруемое как милостыня сердца милостивого, а нужно *восстановление мира* и единения душ, что требует *удовлетворения* нарушенной гармонии мира. Великий Ориген прав [127], говоря, что творцу миров, конечно, ничего не стоит «простить дьявола» (то есть начало зла), но к чему бы это повело, пока дьявол остается дьяволом?.. Какая бы это была глупость — даже при безграничном милосердии творца к его творению! Андрей не дурак, и он это понимает... Я не имею сентиментальных чувств, именуемых «родственностию», и считаю их вздором. Родство душ — дело всемощное и великое, а телесное родство — это случайность, умно осмеянная великими умами, и между прочим Грибоедовым в Фамусове. Это предрас-

судок частию аристократический (фамилизм), частию дурацкий. Умная любовь обозначена Христом, который, вероятно, был плох по части родственности. «Что мне моя мать и мои братья». — «Тот, кто исполняет волю отца моего (то есть живет по известному духу) — тот мне и мать и брат». Я люблю и уважаю тебя и Крохина, но вы мне родные потому, что «исполняете волю», уважение к которой внушает мне чувство любви и уважения к вам. Вы правдивы, умеренны, честны, трудолюбивы и прямы, — это мне нравится, — это и есть исполнение «воли отца», и я брат вам, я вас люблю. Но *он...* Он именно не уважал и не любил то, что я люблю и уважаю... Что же у нас *общего?* Что я могу любить в нем? — Пусть же он подумает о «воле отца» нашего — духа и ему покорит свою мерзость. «Отец» спасет его» *.

Наконец опасения отпадают. Я выжил. Толиверовой посылается собственноручный документ: *«Копия.* Киев, 1 октября 1 час 30 минут дня. *«Температура падает — является сознание».* Более ничего; полагаю, что это надо считать за добрый признак. *Н. Л.»* **.

Итак, ехать в Киев не понадобилось. Может быть, и не думалось и не хотелось: больной в хороших руках, исход недуга доверяется «промыслу», в крайности — смерть лучше бесславия, к тому же «блаженны умершие» или «иже не суть». Дальше и того яснее: пусть мертвые хоронят мертвых. Они и похоронили бы.

Частность: в самые критические дни писались и вразумления в Киев и почти ежедневные заметки на злободневные темы в газеты ***.

4 октября, по получении уже совсем благоприятных вестей, Лесков шлет выходившим меня киевлянам свою благодарность, тут же прибегая к сведению счетов с некоторыми из когда-то близких ему лиц.

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд. Н. С. Лескова).

** Записка без обращения и даты. — Пушкинский дом.

*** «Торговая игра на имя Л. Н. Толстого». — «Петербургская газета», 1885, № 262, 24 сентября; «Приглашение к слезам». — Там же, № 263, 25 сентября; «Заповедь Писемского». — Там же, № 264, 26 сентября; «Новые брошюры, приписываемые перу гр. Л. Н. Толстого». — Там же, № 265, 27 сентября; «Брошенные на улицу». — Там же, № 266, 28 сентября. — Все заметки без подписи. В эти же дни пишется открытое письмо издателю журнала «Новь» А. М. Вольфу, о прекращении печатания романа «Незаметный след», опубликованное в журнале «Новь», 1885, № 23, 1 октября[128].

«Дорогой брат и друг Алексей Семенович!

Не могу выразить того, что ты доставил мне перечувствовать. Это вызвало к жизни давно ушедшие годы нашей с тобой дружбы в детстве... Все тобою сделанное для больного Андрея так добро и благородно, что выше всяких словесных благодарностей. По отношению ко мне, против которого «женское сословие (по словам знаменитого Лейкина) испущало из себя жестокую словесность», ты тоже был всех правее. Я к этой «словесности» совершенно равнодушен всегда, но не мог оставить ее без опровержения, когда в доме твоем лежит Андрей, как бы в самом деле «выброшенный» отцом. Я совсем ясно сказал, что «жена брата мне ничего дурного не сделала, а, напротив, сделала мне большие услуги, за которые я ей вечно признателен». Какую там она «испущала словесность» — я этого не хочу и знать и в ответ на все, чем меня доколачивали в эти дни, поставил всем одно, что она мне ничего дурного не сделала и я ей благодарен... Мы, разумеется, люди грубоватого склада, но зато не притворщики, и мы *ни один* даже и *не умеем* притворяться. И вот мы все друг другу верим и не ошибаемся. Клотильде Даниловне совсем не нужно представлять себя чем-нибудь иным, чем она есть, тем более что ее очень легко насквозь видеть. У нее сердце доброе и нежное, она *склонна к добру* и имеет в нем *вкус...* Человек, который говорит в глаза одно, а за глаза другое, — какой уж это «друг»!.. Рассердился — выскажи, а помирился — не судачь снова, — вот поведение честного человека, из которого можно иметь друга. А то это одна профанация или, как покойный Писемский говаривал: «вода с Аполлоновых...» Что-то там полоскалось поэтическое, да черт ли по нем... Ей нехорошо было осуждать меня, да еще при детях. Это *им* вреднее, чем мне. Она должна была откинуть нечто моим годам, моей опытности и тому, что меня еще никто дураком не ставил, а злодеем сыну своему я быть не могу... зачем же нам не поддерживать в детях авторитет старейшинства и опыта... Я просил у вас очень немногого... — просил съездить и определить в солдаты. Не бог весть что такое. Ничего другого я не просил и нужным не почитал. Случай учредил иначе: ты сделал дело незабвенное ни для меня, ни для сына. Я тебе (и *тебе одному)* кланяюсь моею седою головою в ноги до сырой земли. Кроме спасения жизни Андрея, ты спас мне веру в

братскую любовь нашу и в простую прелесть души твоей. Не оставь довершить это дело и, успокоясь, напиши мне все, что надо знать о расходах и о прочем.

Обнимаю тебя и целую...» *

«Случаем учрежденное» помогло найти теплую концовку, но не помешало отнести в ней благодарность исключительно к брату, с обходом много потрудившейся тут его жены. Как будто подведен какой-то итог. Представляется возможной передышка в «междоусобных разговорах». К сожалению, Марья Петровна неосторожно пишет дочери Ольге Семеновне в Петербург решительно все, что придет в голову, о всяком сказанном кем-нибудь слове, а робкий «Петрович» не смеет не предъявлять киевские письма всегда остро интересующемуся ими Николаю Семеновичу. Чтение таких беспечных, многословных посланий сильно нервирует Лескова, подливая масла в едва начинающий угасать костер.

Выжив, я поступил «в солдаты» и одновременно же в совершенно не отвечавшее моей школьной подготовке убогое юнкерское училище, оказавшись там чем-то вроде белой вороны.

Как это ни показалось неожиданным, но у нас с отцом снова завязалась переписка, очень неровная. В некоторых его письмах сквозят жалобы и даже как будто что-то вроде растерянности.

«О себе писать неохота. Моя жизнь однообразна, тяжела и скучна, но не лишена неприятностей необычайных. В декабрьской книге «Исторического вестника» вырезали и сожгли мою работу — плод труда целого лета **. Вольфа кассир *потерял* рукопись моего рождественского рассказа. Я был почти 2 месяца без прислуги, с одною девчонкой и с Варею, которая шлет тебе часто письма и составляет единственное мое утешение. В это время у меня покрали много вещей, и, наконец, при одной из бывших по 3 дня горничных обнаружен взлом замков в столе, но далее отпереть не могли. Теперь явилась к моему спасению Сарра: она вышла замуж, но нашла другую вместо себя, но я, как напуганная ворона, уже всех боюся, и где

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** «Бракоразводное забвенье. Причины разводов брачных по законам греко-российской церкви». — Вырезана из № 12 «Исторического вестника», 1885 [129].

бы ни был — бегу домой как угорелый. Ни покоя, ни отдыха, ни радостей <...>» *

Следующее, переполненное упреками многим и всех больше моей матери, письмо заканчивалось описанием домашних неустройств, разыгравшихся сильнее, чем они бывали при мне.

«В доме у меня все продолжаются нестроения: из 4 девушек (2 были старушки) при одной (старухе из сестер милосердия, рекомендованной Александрой Николаевной Якоби **, обнаружена попытка выломать замок правого шкапа в столе, где все, все ценные вещи. Стол исковыряли *ножницами,* но замок постоял за себя и не подался, а только выпала наличка. Теперь у меня девочка 15 лет и девушка, рекомендованная Саррою, которая явилась к моему отчаянному положению после взлома. Эта рекомендация тоже, кажется, ненадежна. Она у меня с 4 декабря и покоя с ней нет, по причине ее огромной ветрености и дерзости. Терплю большие беспокойства и просто боюсь выйти из дома <...> После праздников, вероятно, опять надо будет искать и брать снова бог знает что. Так редки люди, при которых можно чувствовать себя покойным хоть за целость своего имущества. Праздники встречу с Варей и с Путькой, единственными искренно любящими меня существами, которые, к несчастью, очень мало понимают...» ***

Календарные данные несколько мягче. 19 декабря Лесков был на большом званом обеде у А. С. Суворина, на улице Жуковского 18. 27 го числа он в числе почетнейших гостей на торжественном пиршестве в знаменитом когда-то ресторане Палкина, справлявшем свой столетний юбилей. Сидит он за ужином рядом с И. Ф. Горбуновым и М. О. Микешиным, в обществе многих других именитых старых посетителей этого учреждения. 31 декабря встреча нового, 1886, года, как писал мне отец:

«...У Суворина... шумно и людно за разливанным морем. Пили за мое здоровье. Мне было очень скучно и хотелось молчать. Я тоже вспомнил с Пыляевым, что мы с тобою первый раз *врозь.* Я говорил о тебе с Пыляевым, который тебе кланяется и просит не кручиниться, но

---

* Письмо от 10 декабря 1885 г. Архив А. Н. Лескова.

** Фамилия А. Н. Толиверовой по первому мужу.

*** Путька — маленький белый пуделек. Письмо от 24 декабря 1885 г. — Архив А. Н. Лескова.

перебиваться сюда во что бы то ни стало...» Дальше тут же делалась попытка оправдать мою ни с чем несообразную высылку из этого самого Петербурга.

Поздравляя отца с Новым годом, я писал ему, что теперь уже сам добьюсь командирования меня в выпускной класс Константиновского петербургского военного училища, в которое имел право быть сразу определенным прошлой осенью. На это, в том же своем письме, отец отвечал: «Соображения твои насчет перехода в специальные военные училища оправдываю. Даже если бы пришлось поступить и в младший *класс*, — это все-таки лучше. Как бы ты ни поступил сюда — для тебя потери в жизненной карьере не будет <...> При выходе в офицеры из Киевского юнкерского училища — я тебе ничем пособить не могу и карьера твоя представляется ужасною и безнадежною. Поэтому я считаю твой план и сообщения верными и им сочувствую» *.

Оставалось только еще раз горько пожалеть, что этого сочувствия не встретилось в августе 1885 года.

Теперь я уже жизненно окреп, вырос и действовал как военнослужащий, а не как неправомочный чей-то сын. Теперь я стоял вне влияния чьих-либо барометрических давлений, настроений. Все выполняется уверенно, правомерно и планомерно: в мае кончаю юнкерское, отбываю практические лагери, в августе — Петербург. Как получивший уже право на производство и имеющий на шашке офицерский темляк, я должен только слушать лекции по всему курсу Константиновского училища, но свободен от строевых занятий, как и в выборе себе местожительства.

Дяди мои и моя мать предостерегают от жизни у отца, настойчиво зовущего меня в «отчий дом». Смотри, говорят мне в Киеве, не оглянешься, как попадешь опять в блудные сыновья. Я колеблюсь и, в конце концов, поддаюсь подкупающему теплу зова. Последнее письмо отца ко мне кончается словами: «24 если выедешь, пошли мне депешу — я тебя встречу... Поручаю тебя милосердию божию и дарованному им тебе свету разума и добросердечия» **. Как тут не умягчиться!

Снова Петербург, Николаевский вокзал, на перроне

* Письмо от 5 января 1886 г. — Архив А. Н. Лескова.
** Письмо от 20 августа 1886 г. — *Там же*.

волнующийся, слегка подавшийся за год отец, улыбающийся «Петрович», умиленный «Протека».

Вернулся я, по служебному своему рангу, по военной литере бесплатно и уже во втором классе, в мягком вагоне. Это единственное, что дал мне во всем остальном бесплодно потерянный год.

Домой поехали вдвоем. Остальные должны были прийти к обеду. Еще на извозчике отец стал засыпать меня вопросами о давно потерявших остатки его расположения киевлянах. Марьи Петровны в живых уже не было. Ответы были нелегки. Я чувствовал себя очень согретым Киевом и знал, как относится к нему отец. Брать в желательный ему тон я не мог. Это явно не нравилось.

Уже к вечеру, в любимый отцом мицкевичевский «серый час», в густые сумерки, окончив обед, все мы вчетвером перешли в кабинет, куда был подан душистый черный кофе, тонкие французские ликеры, предложены были курящим легкие гаванские сигары. Удобно разместились и, в послеобеденной истоме, неторопливо обменивались новостями, воспоминаниями, вопросами...

— А что, Андрей, как твой голос после тифа-то? — обратился ко мне отец.

— Как будто остался каким *был*, — отвечал я.

— Ну и прекрасно. Витенька! Петрович! Давайте-ка вспомним старину, изобразим что-нибудь из творений великих властителей гармонии.

— Нет, я-то уж в этом пас, *увольте*, — запротестовал рыхлый Крохин.

— Ладно, что с тобой делать. Немножко-то все-таки подтягивай баском. С чего же начнем? «Величит», что ли? Начинай, Андрей, ты ведь присяжный певчий был в корпусе.

Хорошо откашлявшись, потянув для очистки тембра полнаперстка зеленого шартреза и, как учил мой милый преподаватель А. И. Рубец, взяв воздуха, я вполголоса начал теноральным баритоном: «Ве-ли-чит душа моя госс-под-да и возрадовах-ся дух мой о боо-зе спасее моем». Витенька выводил тоненьким полуфальцетом: «Чест-ней-шую херрр-увим...» Негустым баском подравнивал в низах отец: «И слав-ней-шую без срав-нения серрр-афим».

До мастерства орловских дьяконов, подвизавшихся в рассказе «Грабеж», было, конечно, далеко, но что-то не лишенное бесхитростного благозвучия достигалось.

Концерт продолжался. В свой черед исполнили и знаменитый любимейший Лесковым великий канон Андрея Критского «Помощник и покровитель бысть мне во спасение...».

— Какие мастера! Сколько вдохновения, — восхищенно восклицал отец. — Сколько вкуса, величественной простоты! Куда до них этим куцым латинянам с их реверансами перед алтарями, звоночками и кастратами. Непревзойденные художники и древние неведомые композиторы и наши Бортнянский, Турчанинов... Великие мастера! Ну, в честь всех и вся — последнее! Помнишь?

— Помню, — отвечал я, пианиссимо запевая:

Сла-ва в выш-них боо-гу!
И на зем-ли миир,
В че-ло-ве-цех бла-го-воллеенис...

Комната успела погрузиться в почти полную темноту. Петь больше не хотелось. Не хотелось и нарушать воцарившуюся тишину. Хотелось верить в водворение среди «предстоящих» мира и взаимного «благоволения»...

На другой день, часу в четвертом, к нашему подъезду подкатила открытая четырехместная коляска, из которой тяжеловато выгрузился довольно рослый, плечистый, хорошо обрюзгший господин. Минуты три спустя в отцовский кабинет, у окна которого я сидел, вошел Сергей Атава.

— Поздравляю родительское сердце с приездом «полковника» и, по уговору, прошу собираться для следования к обеденному столу господ Терпигоревых, — с оттяжкой проговорил Сергей Николаевич, пожимая нам руки. — Имеете вкушать: закуски сборные, холодные и горячие, борщ из сорока двух элементов, прочих блюд несколько перемен, водки домашнего настоя, вина, выдержанные в собственном погребу. Опаздывать не разрешается: хозяйка не любит.

В третьем деревянном особнячке выше Строганова моста на правом берегу Большой Невки, в доме № 17 по Строгановской набережной, на дворе нас встретили ласковые красавцы гордоны, а в сенях радушная Розалия Ксаверьевна или, в русском произношении, Савельевна [130]. Было уже несколько человек гостей, которых не могу вспомнить.

После кругом заставленного и сплошь завешанного кабинета Лескова поражал простор полупустых комнат. В первой от прихожей, между вторым окном а дверями в столовую, стояла простенькая высокая конторка. Ни книжного шкафа, ни полки, ни хотя бы одной книги! Выросши в отцовском книголюбии, я, должно быть, нелепо опешил.

— Чему дивитесь, Андрей Николаевич? — ласково взяв меня под руку, спросил подошедший хозяин.

— Смотрю, где ваш кабинет, — неосторожно ответил я.

— Кабинет! А вот весь он, — протянул Атака руку к конторке. — Я ведь не художник, как ваш родитель, а газетчик! Вытачивать мне некогда, да и не в характере. Похожу, да и подойду к конторке. Попишу, да и снова похожу. Так и пишем...

— А библиотека? — уже совсем неуклюже сорвалось у меня раньше, чем я успел удержаться.

— Библиотека? Это другое дело! — весело отозвался проевший в свое время и «выкупные» и другие свои доходы автор дворянского «Оскудения». — Тут, думаю, удастся щегольнуть несколькими превосходными экземплярами. Пожалуйте! — и он увлек меня, сопровождаемого загадочными улыбками всех гостей, в тыльную часть дома.

— Вот она — моя библиотека, — с гордостью произнес Сергей Николаевич, распахнув передо мной надежную дверь с солидными запорами.

Я стоял в пустой комнате с железными решетками на окнах и железными же волнистыми полками вдоль всех стен от полу до потолка. В правильных их углублениях покоились бутылки.

— Не похожа на родительскую? А преинтересная. Есть замечательные «авторы». Имеете ли вы что возразить против Шато-Латур, издания 1871 года? Почтенный, всемирно известный романский автор, мягко согревающий душу и тело, но и сам ищущий легкого предварительного затепления. Или вот, прославленный германец Иоганнисбергер-кабинет, издания 1879 года, солидный немец, требующий прохлады. Все это им и будет представлено, пока мы займемся настойками.

Обстоятельное знакомство с каталогом продолжалось с авторитетными пояснениями владельца этой своеобразной библиотеки. Сложив отобранных авторов в убористую плетеную корзиночку, мы с благоговейной осторожностью

передали часть содержимого на кухню для затепления и охлаждения по указаниям, а с остальным возвратились в столовую, где нас уже не без нетерпения ожидала хозяйка с набором дымившихся сотейников и холодных закусок.

Началось священнодействие. Столовая в этом доме главенствовала. Ей была отведена лучшая, самая большая комната в три окна на Большую Невку. Вся она была залита солнцем, в лучах которого нежились благовоспитанные, холеные собаки. Хозяйка была великая искусница и радушнейшая хлебосолка. Я получал истинное крещение в дегустации вин и артистичности кулинарии.

Из застольной беседы ничего не удержалось, но один острый момент не забылся. Рассказывая что-то, Атава зачастил: «у нас в тамбовском дворянстве». Дело было уже за кофе и коньяком, после внимательного ознакомления с несколькими «авторами». Неожиданно Лесков, всмотревшись в него, едко перебивает:

— Постой, постой. Что это ты раздворянился-то так!

— А как иначе-то? Происходим из тамбовского, потомственного.

— Полно! Ну посмотрись в зеркало — что в тебе дворянского-то?

— Не хорош, говоришь?

— Хорош-то хорош, да только ни дать ни взять — предводительский кучер...

Ошеломленный, я обомлел, ожидая какой угодно встречной колкости. Происшедшее дальше превзошло все казавшееся мне возможным. Атава, мотнув головой, может быть, желая замять неловкость, с равнодушной улыбкой отмахнулся:

— Не спорю, возможно... Мамаша зимами в деревне скучали...

У всех отлегло от сердца. Кто принял это за милую шутку, кто — за желание как-нибудь разрядить напряженность положения. Уверен, что сам Атава поддался с маху язычному ухарству и ляпнул что-то, не успев подумать. Это случалось с заправскими краснословами.

Шли медовые дни восстановления нашего сожительства. По всем указаниям прошлого, они не могли быть долги.

Лекции у меня начинались в восемь утра. Ходьбы на них было больше пяти верст. Конка начинала работать только с восьми. Извозчики на такой «конец» были до-

роги. Выходить приходилось без четверти семь. Предметов было много, курс большой. Целые кирпичи в 600—700 страниц по артиллерии, фортификации военной истории, механике, химии, военному и гражданскому законоведению, военной администрации и т д., до бесконечности. Работы было выше сил, а надо было наверстать впустую потерянный год.

Конечно, хоть изредка хотелось побывать в театре или потанцевать где-нибудь на вечеринке. Последнее уже совершенно не прощалось. Танцы Лесков признавал верхом беспутства. Ссылки на неотвращение к ним Пушкина, Лермонтова и других величайших людей ничему не служили. В родстве такому приговору не удивлялись. Все знали устав старшего в роде: то, чего я не люблю и не делаю на шестом десятке лет, — никто не должен любить и делать в двадцать но и то, что я делал в двадцать, — другой не вправе позволять себе в те же годы.

В одной прочно забытой сейчас своей статье, посвященной целиком И. С. Тургеневу, Лесков мельком, но явно сочувственно, коснулся вопроса о возможности воспитания поучениями, не подкрепляемыми личным примером проповедника. «Люди обыкновенно осуждают тех, кто стоит столбом, указывая другим дорогу, а сам по ней не ходит Осуждение это справедливо, хотя, конечно, и придорожные столбы тоже нужны и полезны. «Поступайте так, как я говорю, но не делайте того, что я делаю», говорил один проповедник, умевший быть очень полезным для своего прихода» *.

Не знаю, в кого, вероятно, в Василия Семеновича, я удался в любимые ученики не только у учителя пения А. И. Рубца, но и у корпусного нашего преподавателя танцев, балетного артиста А. Д. Чистякова.

Неукротимое осуждение любви к танцам в сыне, во мне, представляется чем-то совершенно не вяжущимся с искренним восхищением тем, как танцевали на городской площади мазурку кракусы, как ее же лихо отхватывал сподвижник киевских похождений Лескова знаменитый поп Юхвим Ботвиновский [131] или в «Островитянах» сперва поляк под старинную мазурку Хлопицкого, а по-

* «Чудеса и знамения. Наблюдения, опыты и заметки». — «Церковно-общественный вестник», 1878, № 34, 19 марта. Статья представляет собой отклик на статью в № 27 от 3 марта в том же журнале: «По поводу прекращения литературной деятельности И. С. Тургенева».

том художник Истомин на вечеринке в немецкой семье Норк. Тут, тонко, по-знатоцки, расценены все танцоры, их приемы, ухватки и стили. Видно, что автор отлично разбирается в них и безошибочно определяет характер и прелесть каждого из танцев. Для этого надо было ценить самое искусство и уж конечно не предавать его беспощадному осуждению, как это придумалось в отношении собственного юного сына. В одной, очень специальной, ранней статье * Лесков даже строго осудил раскольничье предубеждение против танцев.

Пришел я раз в феврале 1887 года много раньше обыкновенного — в начале третьего — домой. Отца не было дома. Уместился в его кабинете, развернул лежавшую на соседнем столике декабрьскую книжку «Русской мысли» недавно истекшего года и стал перечитывать «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине» [132]. В первом чтении рассказ показался мне более проповедническим, чем художественно ценным, живым, трогающим. Перечитал концовку, поясняющую, что сказание «подается для возможного удовольствия друзей мира и человеколюбия, оскорбляемых нестерпимым дыханием братоненавидения и злопомнения» **, вспомнил, какое дыхание преобладает последнее время у нас в доме, посмотрел на глядевших на меня со стен Христов и, вздохнув, пошел к себе.

Наступил март. Близились зачеты за последнюю четверть годового курса. За ними надвигались экзамены. На душе было заботно. Дома неотвратимо надвигалась гроза. Требовалась большая выдержка. Бочка с порохом стояла открытой. Дело было за случайной искрой.

Однажды, проходя через столовую в свою комнату, я увидал три прибора. Оказалось, что к обеду звана Вера Бубнова. С моею и ее матерью в этот момент мой отец не видался. Доброго в этом приглашении не чувствовалось.

Пришла Вера. Отец вышел из кабинета туча тучей. Сели: я слева, Вера справа от отца. Беседа повелась подчеркнуто с ней одной. Так шло весь обед. Это был хорошо известный, коронный прием выражения крайнего неблаговоления, опалы. Тарелки с супом и жарким протягива-

---

* М. Стебницкий. С людьми древлего благочестия. — «Библиотека для чтения», 1803, № 11, с. 29.

** Собр. соч., т. XXX, 1902—1903, с. 111.

лись мне левой рукой вслепую. Подали любимый отцом десерт — пюре из чернослива со сбитыми сливками. Виделся конец обеда. Неужели пронесет? Не может быть! Для чего-нибудь ее присутствие да понадобилось. И едва я так подумал, как, закончив говорить что-то Вере, отец круто повернулся ко мне:

— А ты упорно гнешь свою прежнюю линию?

«Начинается», — мысленно сказал я сам себе и в искреннем непонимании вопроса промолчал.

— Я спрашиваю тебя, — разгораясь и усиляя акцентировку, продолжал отец, — думаешь ты когда-нибудь начать вести, как отец, трудовую жизнь и есть хлеб в поте лица своего или решил всю жизнь бездельничать и танцевать?

— Но я же всю зиму работаю, веду записки по всему курсу...

— Это по наукам организованного убийства! Войны! Велик и полезен труд! Надо работать, чтобы быть полезным людям и честно покрывать свои нужды!

— В настоящих моих условиях мне на мои нужды хватает моего жалованья.

— Не век же у тебя будут *настоящие условия!* Ты мог бы приучить себя уже и к заработку.

— Сейчас я стремлюсь довести до конца начатое: кончить Константиновское, приобрести высший образовательный ценз и прочно стать на ноги.

— Какой вздор! При желании весь год можно было совмещать ученье и с какой-нибудь работой. *Я в твои годы...*

И вдруг много дней искушавшееся самообладание покинуло меня. Что-то зажглось в мозгу и овладело речью. В упор встречая испепелявший меня взгляд отца, охваченный каким-то неудержимым вихрем, уже непроизвольно, тихо и прерывисто я перебил его на полуслове:

— Вы... *в мои годы...* дрались в Киеве с саперными юнкерами на Андреевском спуске...

— Какой негодяй мог сказать тебе подобную пошлость? — меняясь в лице, бросил он мне.

— Ваша мать, а моя бабка, Марья Петровна *.

---

* О боях на Андреевском спуске дважды поведано самим Лесковым в статьях; «Маленькие шалости крупного человека». — «Русский мир», 1877, № 4, 5 января, и «Бибиковские меры». — Газета «Неделя», 1888, № 6, 7 февраля. Отчасти и в «Печорских антиках». — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 84—85.

В безудержном гневе устремился он на меня, ни секунды не спускавшего с него глаз и понимавшего, что можно ожидать чего угодно. Легкий и быстрый, гимнаст и фехтовальщик, я уже стоял за своим стулом, опираясь обеими руками на его спинку.

— Довольно, отец: *больше этого не будет,* — едва слышно сказал я, роняя слова как бы в самую глубь его души.

Бросив на стол выдернутую из-за борта пиджака салфетку, отец побежал мимо меня в переднюю и оттуда, хлопнув дверью, в свой кабинет. Слышно было, как он быстро зашагал там из угла в угол. Вера расплакалась.

Сцена прошла не так картинно, как у Лучаниновых в рассказе Тургенева «Три портрета», но по-своему впечатляюще и вразумляюще [133].

Слепая, почти рабская, домостроевская сыновняя покорность отходила в прошлое.

Когда-то в детстве мадмуазель Мари Дюран мурлыкала нам шутливую французскую песенку о какой-то славной маленькой лошадке, которая брыкалась, когда ее бил какой-то мальчик, жаловавшийся потом на нее своим родителям:

Cet animal est très méchant:
Quand on l'attaque, il se défend!

Это, мол, очень злое животное: когда на него нападают — оно защищается! Почему-то вспомнив ее и невольно улыбнувшись, я поехал зачислиться на довольствие при Константиновском и подыскать себе угол вблизи него. Комнатка подвернулась в двух минутах ходьбы, веселая, в маленькой квартирке по 2-й роте Измайловского полка (ныне 2-я Красноармейская) у самого Забалканского проспекта, заселенной студентами-технологами. Стало даже с кем и посоветоваться по аналитике, химии... Вестовой приносил обед, ужин, хлеб... Вместо учебной доски повесил я на стену матовую черную клеенку и, с мелом в руке, принялся за кривые, формулы, вычисления, профили и т. д. Зажил работоудобно, без истомлявших душу туч и бурь, без барометрических минимумов и максимумов, ровно, покойно, светло, словом «frei!» *.

---

* Свободно (*нем.*). Любимое присловье Лескова в письмах его из Мариенбада.

Это была вторая «путевка в жизнь». Она была несравнима с данной мне полтора года назад.

При чтении «Карамазовых» надуманное и искусственное не трогало, жизненно допустимое не поражало: в памяти жило достаточно своего.

Сближаясь с кем-нибудь, я всегда угадывал, какое у кого было детство. Остро интересовался им и в биографиях чем-либо выделившихся людей.

Лесков рос в одинаковых условиях с братьями. Почему характером он ни в чем не напоминал их — было неразрешимой загадкой.

Расположение его давно перестало радовать близких, а гнев серьезно огорчать, но, конечно, нервов стоил. Хвала, возданная кому-нибудь на одной страничке его письма, — сменялась на следующей хулой, и наоборот. Этим пестрят переписки последних двух десятков лет со многими из сторонних и поголовно со всеми кровными. Естественно — корреспондентов становилось все меньше, что опять-таки жестоко гневило Лескова. Иллюстрации всему этому обильны. Особенно многоцветны они по отношению ко мне.

Проходит меньше года. Я уже служу в одном из бывших аракчеевских поселков Новгородской губернии. Приезжаю на две недели в Петербург. 30 декабря 1887 года отец пишет Суворину: «Сегодня утром приехал мой сын Андрей, молодой офицер, с тем чтобы встретить со мною Новый год; а я по ласковому слову Анны Ивановны собираюсь к вам. Чтобы мне быть и с вами и с моим сыном, дозвольте мне привести его с собою и представить вам и вашей супруге. Он парень недурной и очень живой и веселый» *.

11 января 1888 года, ответив А. И. Пейкер по существу одного ее вопроса, он, вероятно без особой в том нужды, прибавлял: «Теперь у меня гостит Дронушка со шпорами и эксельбантами... Мы на днях долго вспоминали вас и Марью Григорьевну» **.

Пока все тепло и милостиво. Ближе к концу года, в письме от 7 октября к Алексею Семеновичу, идут уже перебои: «Что до его личности, то он еще «не образовался». Способности у него очень хорошие, и ум доброкаче-

---

* Пушкинский дом.

** ЦГЛА.

ственный, и в характере нет недостатка. Он очень выдержан и владеет собою для своих лет изрядно, но он ленив, соня и танцор до глупости и до безобразия. Это, вероятно, пройдет, но теперь, пока не прошло, это дает ему тон нежелательной пустоты и делает его неудобным. Он ложится, когда люди встают, встает, когда обедают, и тому подобное. Это очень омерзительно и никакого извинения «молодостью» не имеет. Все мы были молоды и кучивали, и шалили, но не обращали в бордельный режим домов, где жили». К концу письма раздражение, разрастаясь, заставляет кончить его уже полным разгромом с гневным росчерком: «Так нет же!! Лучше бей шпорами да приходи домой в 5—6 часов утра... Это низко и даже очень низко» *.

Спасибо, на этот раз точно определен, наконец, вид низости или негодяйства.

Два месяца спустя Н. П. Крохину, в письме от 15 декабря, реляция обо мне с места в карьер разносительная: «Я Андрея Николаевича не вижу и считаю это за спокойнейшее. Радоваться на него нечего. Это живое, капля в каплю, повторение брата Василия Семеновича *во всех статьях:* та же даровитость, способность все понимать и *ничего не делать,* кроме самого необходимого и то коекак. Время же свое предавать разврату, пьянству и другим бездельничествам. Идучи этим негодяйским путем, немудрено, что получит такой же и конец, какого по писанию стоит «человек ленивый, иже калу воловию подобится». В перемены я не верю и их не жду. Труд не лакомство — кто его невзлюбил до 22 лет, тот уже и не полюбит. Петербург, конечно, его еще более развращает, то есть дает соблазнов, и я жалел, что его сюда перевел, и хотел спровадить в Киев или даже в Ташкент, но потом плюнул. Не все ли мне равно, где он будет? А уже мне надоело и говорить о нем и просить за него. Пора это кончить и предоставить его самому себе. По крайней мере туда и сюда дорога к о р о ч е. — Да из Киева брат Алексей Семенович уже и вовсе не ответил на мой вопрос. Дело дошло и до этого... Таких примеров вежливости я еще не испытывал даже от него» **.

Отец знал о большой дружбе Крохина с покойным

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).
** Т а м ж е.

Василием Семеновичем и о такой же любви к нему Ольги Семеновны. Прихвачен здесь заодно и Алексей Семенович.

Стоит, может быть, оговорить, что я смолоду до старости не терпел водки, а на другое — бюджет был тощ. Случались полковые праздники, чьи-нибудь проводы, вечеринки. Было ли все это «предаваньем пьянству» — не знаю. И вязалось ли оно с влечением к танцам? О каком-то «разврате» говорить смешно. Превышались ли тут все вообще грехи над тем, как «шалили» старшие, к слову сказать, почему-то хорошо помнившие довольно ветреную песенку:

Как за речкою мы жили,
Много девочек любили —
И Катеньку, и Машеньку,
Ильинишну, Кузьминишну,
Макарьевну, Захарьевну,
Да всех понемножку
Дергали за ножку *[134].

Да и вообще — как считаться на всех этих счетах?

Итак, и мне, как и моему дяде Васе, уготовлялся Ташкент! Но если во мне, к искреннему моему желанию, и было что-нибудь общее с Василием Семеновичем, то были и большие несходства: по собственному определению моего отца, у меня «в характере не было недостатка». Я шел дорогой, первоначально предопределенной мне отцом, но дальнейшее чье-либо распоряжение собою исключил.

Не очень согласуются только что приведенные отзывы отца с его же строками, писанными обо мне М. И. Пыляеву всего три месяца перед тем: «Я вчера отвез Вениамину Ивановичу ** рекомендацию полкового командира и нечто вроде памятной записки от меня... Рекомендация <данная мне командиром п о л к а. — *А. Л.*>, конечно, наилучшая, и с нею можно говорить, не краснея за того, о ком говоришь*. Дальше, после разбора открытых мне служебных возможностей, писалось: «Если уже такова здесь задача, то лучше возвратиться опять в Киев, куда *его зовут* в саперы, и *жить с дядею»* ***.

---

* Письмо Лескова к Ф. А. Терновскому от 20 августа 1882 г. — «Україна», 1927, № 1—2, с. 134.

** В. И. Асташев, генерал, известный золотопромышленник.

*** Письмо от 30 августа 1888 г. — «Щукинский сборник», вып. VIII. М., 1909, с. 192—193.

Алексей Семенович, очевидно не замечая моих негодяйств, действительно упорно звал меня в Киев служить в саперах и жить у него, с ним. Надеясь на обещавшееся, но не сбывшееся лучшее в Петербурге, я не воспользовался радушным киевским зовом, о чем не раз горько пожалел впоследствии.

Ранней весной 1889 года Н. П. Крохину обо мне снова сообщались вполне одобрительные сведения.

Наконец, почти через два года, уклоняясь от выполнения некоторых деловых поручений вд*о*вой уже сестры своей О. С. Крохиной, Лесков писал ей: «...Мне это не по летам, и не по силам, и не по моему настроению; а если у тебя нет людей, которым ты могла бы доверить, то ты поручи это Андрею, который должен возвратиться домой к 1-му числу предстоящего октября. Он молод и силен, и притом совершенно надежен, потому что честен, аккуратен и трезв, и он тебе все сделает обстоятельно и как следует, не жестко, умно и деликатно, и твои деньги передаст тебе в целости. Другого никого я указать не могу, а этому верю и думаю, что ему можно доверить всякое дело. Что в нем было ребячьего и манкировочного во время оно — то все уже прошло, и он стал человеком очень надежным. А впрочем, если ты можешь обойтись и без него, то это еще и лучше, но только я ни по каким делам хлопот взять на себя не в силах. За каждое усилие над собою в этом роде я расплачиваюсь ежедневно терзательнейшими припадками моей мучительной болезни...» *

В октябре 1891 года, под впечатлением большой беседы с отцом о матримониальных его незадачах, я, возвратясь в свою стоянку, писал ему еще на ту же тему. 31-го числа он отвечал мне письмом, приводимым во всей его полноте.

«Я получил твое письмо и благодарю тебя за выраженные в нем чувства, которые, впрочем, теперь должны иметь большее значение для тебя самого. Гордость — чувство пустое: ничем не надо гордиться и никем. Я тоже сделал много дурного, чего стыжусь и о чем сожалею, и все то дурное я делал оттого, что не имел хорошего

* Письмо от 13 сентября 1891 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

разумения и верил в возможность достижения счастия. На этой *службе* всяк испоганится. Незадачи жизни принесли мне огромнейшую пользу: они меня отрезвили и приучили к мужеству. У меня теперь нет врагов, а есть только люди, опасные моему духу, потому что он еще слаб и порою иные люди его возмущают, но никогда не за себя. Лев Толстой был мне благодетелем. Многое я до него понимал, как он, но не был уверен, что сужу правильно. Жалею, что просветление ума, за суетою жизни, пришло ко мне поздно. Толстой находит мое теперешнее духовное состояние хорошим, и я сам не хотел бы быть таким, каким я был ранее. Следовательно, все идет к лучшему, и жалеть не о чем. И в то время, когда ты печалишься обо м н е , — я за тебя радуюсь, что в твоем разумении все озаряется светом. Это одно и есть «обретение потерянной драхмы». Мне очень радостно — как ты принимаешь свое служебное призвание, в тишине и безвестности. «Ревнуй о духе» своем, а чем тише и скромнее твое положение — тем лучше. Иди этим путем во всем, и тебе будет открываться лучшее, и жизнь получит совсем иную цену, чем у тех, кто домогается таких благ, за которые надо драться и которыми никак нельзя завладеть больше, чем завладевают люди особенно к тому ловкие. Я тебе сказал, что ты «на стезе», и мне тебя учить не нужно. Дойдешь до лучшего сам. Желаю только, чтобы ничто в свете не заставило тебя сойти с этой стези или «сесть при пути», по выражению Ге. Но я надеюсь, что и этого не случится. Кто раз узнал, где правда и откуда с в е т , — тот не захочет топтаться в потемках. Ты познал — где свет, и его нет нигде, как только в *предпочтении жизни духа желаниям суетности.* Иди по этой стезе, и ты будешь счастливее меня, ибо я не имел так рано света перед собою.

Леопарди превосходен [135]. Ты будешь иметь большое удовольствие его читать.

Н. Лесков.

Не сожалей, что я одинок. Я никогда об этом не сожалею. Я *свободен,* — это всего дороже. Если бы мое прошлое было хоть мало-мальски сноснее— я бы наверное сделался «рабом забот». Этим путем идет множество очень достойных людей, которых я уважаю, но никогда им не завидую. Мое счастье лучше. Обид я теперь уже

почти не чувствую и иногда только удивляюсь вкусу людей, желающих давать мне чувствовать свое зломнение и зложелательство. Я вне их усилий уязвлять меня и боюсь только одного — своей слабости.

Посмотрим: *есть* ли сегодня в «Вестнике Европы» мои «Полунощники»?» *

Хотелось верить в сошедшее общее умиротворение, в то, что зломнение побеждено по отношению ко многому и многим, начиная с ближних...

Успокоенный и, вопреки обильным прошлым урокам, обнадеженный, взял я в полковом «собрании», то есть клубе, указанный в письме «Вестник Европы» и, дочитав «Полунощников» до 111-й страницы, обомлел: одной из самых двусмысленных запланных женских фигур нового «пейзажа и жанра» присвоено имя жены Алексея Семеновича, выходившей меня шесть лет назад в смертном тифе. Мало того, самое имя это преобразовано в «Крутильду», с пояснением, что она была, как и жена брата, полька, настоящее имя которой было Клотильда, переделанное «потому что она все, бывало, не прямо, а крутит, пока какое-то особенное ударение ко всем его чувствам сделает», и так далее, строка от строки неудобнее.

«Фетюк», «бесструнная балалайка» и все прежние клички казались невинными и милыми шутками рядом с этим новым всенародным, всему читающему Киеву понятным поношением. Здесь же каверзнейшая рассказчица, приживалка-Шехерезада, наименовывается Марьей Мартыновной, как звалась вдова двоюродного брата Лескова «Лётушки» Константинова. Одним росчерком пера воздавалось всем сестрам по серьгам, всему Киеву оптом.

От упований на умиротворенность не оставалось и тени: сойти со «стези», избранной натурой, сил не хватало. «А в натуру можно верить», видимо, больше, чем во все другое.

Меньше чем за четыре месяца до кончины, 1 ноября 1894 года, отец, в оправдание себя на какой-то мой упрек, преподал мне, двадцативосьмилетнему, давно независимо жившему и имевшему уже собственного сына, новое наставление, заканчивавшееся заверением: «Обиды же я

* Архив А. Н. Лескова.

тебе никогда никакой не делал: я тебя учил добру, кормил, одевал и помогал выбирать лучшую дорогу...»

Ниже в том же письме с еще большею легкостью и распространительностью развивались другие указания: «А если «свет твой останется тьмою», то я в том не виноват: я не усиливал в нем темноты, а вносил свет, но было не время. Придет время, и сам увидишь, что бело, что черно» *. И так далее, с неизменной убежденностью в непререкаемой своей правоте и чужой во всем виноватости **.

В ранние писательские годы Лесков собирался окрестить один свой роман — *«Всяк своему нраву работает»* ***. На нем самом верность этого народного присловья подтверждалась как нельзя ярче.

Пользуясь двумя поздними его заглавиями, можно уверенно сказать, что вся личная его жизнь была *«томленье духа»,* а жизнь с ним — *«юдоль».*

ГЛАВА 9

ОЗИЛИЯ [137]

Еще в избытке сил и здоровья Лесков с трудом переносил жару. В Киеве и Пензе он спасался от беспощадного летнего зноя в ледниках, погребах или подвалах, перенося туда табурет и стол для работы. С годами, астмический и тучный, он окончательно предубеждается против юга и избирает летним своим местопребыванием исключительно северные морские побережья, где ему, как он восхищенно писал из Мариенбада, «frisch und frei», свежо и вольно!

Таким именно требованиям отвечал в 1886 году Аренсбург [138], позволявший и отдохнуть и полечить местными грязями досаждавший ревматизм. Уголок пленил своею тишиною, уютом, дешевизной и разновидным удобством.

---

* Архип А. Н. Лескова.

** Ср.: *Фаресов,* с. 129 [136].

*** В письме к Н. Н. Страхову от 6 марта 1865 г. Лесков писал: «У меня есть повесть, почти роман, вовсе не тенденциозный и совсем отделанный отчетливо, — называется «Всяк своему нраву работает», «Роман, переозаглавленный в «Обойденные», вышел не в «Эпохе» Достоевского, куда предлагался автором, а у Краевского в «Отечественных записках», 1865, № 18—24, 15 сентября — 15 декабря. Письма Лескова Страхову хранятся в Гос. Публичной б-ке им. Салтыкова-Щедрина.

Не понравился только стол в курортном ресторане, а по дороге возмущало грубое обращение экипажа с бедным людом, с «палубными» пассажирами на пароходах Рижской компании. Все остальное вызвало восторг и твердое намерение никогда не изменять этому «городку в табакерке», как шутя называли в Прибалтике крошечный Аренсбург.

Отсюда пошли о нем самые добрые отзывы Лескова в прессе, стремление всеми силами помочь курорту в его нуждах и затруднениях, а со стороны городских правителей приносились словесные и письменные выражения глубочайшей признательности.

Для улучшения на будущий сезон положения со столом Лесков опубликовал за полной своею подписью письмо в редакцию «Петербургской газеты» *, в котором вызывал желающих снять в Аренсбурге ресторан «Тиволи» на лето 1887 года, предлагая по этому «маркитантскому» делу обращаться письменно даже лично к нему, Лескову.

Для обуздания команд рижских пароходов Лесков публикует одну за другой несколько статей об «одичалых мореплавателях», о «дагомейцах», не о сынах свирепой Дагомеи, а всего только об уроженцах ближнего к Эзелю острова Даго, служащих на рижских пароходах **.

В ответ на них к Лескову приходят какие-то чопорные немцы в цилиндрах «um zu sprechen», чтобы переговорить, но не застают его дома. На этот предостерегающий визит он немедля отвечает в газете, что хотя с 1870 года и постарел ***, но и сейчас сумеет встретить и проводить каждого, как кто того заслуживает, и что в Ревеле, надо думать, о сю пору помнят нечто в этом роде три тамошних дворянчика ****. Господа в цилиндрах больше не появлялись, а через неделю Лесков публикует полузавершительную статью «Выигранная кампания» *****.

Внимание к целительному пункту ширится. Отношения между ним и оказавшимся столь ему полезным

---

* «Ищущим дела на лето. (Письмо в редакцию)». — «Петербургская газета», 1886, № 352, 23 декабря.

** «Одичалые мореплаватели». — «Новое время», 1880, № 3783, 10 сентября и № 3785, 12 сентября.

*** Намек на происшествие, разыгравшееся тогда в Ревеле.

**** «Еще об одичалых мореходцах». — «Новое время», 1886, № 3797, 24 сентября.

***** Там же, 1886, № 3803, 30 сентября.

гостем теплы и радушны. В том, что все ближайшие летние сезоны Лесков проведет здесь, — нет никаких сомнений. Он избирается в почетные члены купального комитета, ему пишут благодарственное письмо видные местные деятели, Совет эстонско-русского православного братства и так далее. Его жаждут видеть летом вновь.

Узнав о намерении его повторить поездку на Эзель и в 1887 году, Ф. В. Вишневский пробует отвратить его от хмурой Балтики и расположить к посещению благословенных стран полуденных.

В теплом письме * он дружески прельщает Кавказом или более близкой Одессой с ее чудотворными лиманами, соленым и животворным морем, богатством типов, бытовых картин, фельетонного и заметочного материала, животворного общего обновления впечатлений. Он предостерегает и даже несколько устрашает холодной Остзеей с ее тевтонами и их средневековыми судилищами, сумевшими уже когда-то настойчиво причинять Лескову «законные вреды». Все безуспешно!

Милый Федор Владимирович не знал, что четыре года ранее пробовал соблазнить Лескова совместной поездкой в Крым и покойный Ф. А. Терновский, на что получил далекие друг другу ответы:

«Попутешествовать с вами — чего бы лучше! И, конечно, — «экономно», но места, вами намеченные, мне не совсем нравятся: во-1-х, они очень жаркие, а во-2-х, что там видеть. Нельзя ли бы нам куда-нибудь «ко святыням»? Там бы расходы путевые скорее возместились. Однако я всему предпочту провести время с вами, ибо вы милы и дороги душе моей, напишите, пожалуйста, мне пообдуманнее и поопределеннее об этой статье» **.

А в следующем месяце вопрос начисто снимается: «План моей поездки я изменяю совсем иначе: не хочу тащиться никуда далеко, а хочу только оставить город и переехать в место более спокойное, более свежее, зеленое, удобное для купанья и для работы *на месте.* Бог знает, увидишь ли еще что-либо подходящее, а между тем пропутешествуешь немало и без пользы, а купанье в море мне всегда приносило пользу; да и работается в этих ку-

* Письмо от 16 апреля 1887 г. — ЦГЛА.

** Письмо от 6 апреля 1883 г. — «Україна», 1927, № 1—2, с. 191.

пальных городах прекрасно. А потому я все прежние затеи отложил и еду в Аренсбург, на остров Эзель. Это все там в три раза дешевле и в несчетное число удобнее Киева, а мне хочется работать на месте: я, что называется, «забрался работой», так что надо много удобств, чтобы переработать то, за что взялся к осени» *.

Где было Вишневскому подкупить Одессой, если ничего не удалось с Крымом даже исключительно любимому Лесковым Терновскому!

Времена, когда Лесков непрерывно колесил в возке по всей России, рвался в этнографические поездки на северо- и юго-восток, проезжал всю Белоруссию, Литву и Польшу, посещал интереснейшие города средней Европы и живал в Париже, — были далеки. Ему уже полета. Он уж стал тяжел на подъем.

В воображении рисуется корабль, неустрашимо пересекавший океаны, посещавший отдаленнейшие земли и страны, а потом обросший ракушками, потерявший прежние ходовые качества. Теперь ему милее не безбрежные просторы, а тихие заводи...

У Лескова, без сомнения, нашлось бы на кого оставить дома и собачек, и звонкоголосую птицу, и сиротку. Нашлось бы кому присмотреть за всеми ними. С этим можно было управиться. Нельзя было осилить личные привычки, оседание, прирастание к месту, к Фурштатской, к ближайшим дачным поселкам.

При полной возможности полгода жить в отвечающих требованиям здоровья бальнеологических условиях он жил, как жили люди, обреченные на это по условиям службы, работы, деловых интересов.

Постепенно радиус летних резиденций укорачивался, не простираясь последние годы далее бесцветного, низкого и сыроватого нарвского побережья.

Что же нудило к таким ограничениям Лескова? Ракушки?..

Частично, может быть, да. Но не больше ли вступившие, во чреду лет, в свои права наследственные орловско-кромские навыки с их сочно описанным в рассказе «Дворянский бунт в Добрынском приходе» **[139] «воль-

---

* Письмо от 23 мая 1883 г. — «Україна», 1927, № 1—2, с. 192. Лето 1883 г. фактически Лесков прожил на даче под Петербургом в Шувалове.

** «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 358.

ным обычаем», которого можно «ни для чего не изменить». Времена, общественные положения и бытовые условия менялись, а «вольный» добрынский «обычай» находил себе новое, преемственно-родственное воплощение.

В начале 1887 года Лесков помещает в газете две «эзельские» статейки. В одной из них * сообщается о предоставлении врачом Мержеевским литераторам бесплатного лечения, как делается это за границей; о предоставлении владелицей другой лечебницы госпожой Вейзе шести билетов на тридцать ванн каждый и т. д. В другой ** поднимается вопрос о заселении некоторых пустующих местных островов русскими людьми, благодаря чему: «засело бы полезное государству сплошное русское население», а о земле этих островов говорится, что она «по меньшей мере не хуже сухого, лубянистого суглинка над*о*чного ската в Орловской губернии, где сельских людей одолевает теснота и голодовка».

25 мая Лесков прибывает на Эзель, радушно приветствуемый уже в звании «члена-советника Аренсбургского купального комитета».

Жизнь течет приятно, лечебно и работоудобно. Этим полны все письма.

Апогей удовлетворенности Аренсбургом находит себе через неделю яркое выражение в письме ко мне в Киев: «Я не хочу перевозиться <то есть менять квартиру в Петербурге. — *А. Л.*>, тем более, что, может быть, совсем поселюсь на Эзеле с будущего лета... Я более для того и возвращусь еще раз в Петербург, чтобы довести это <один вопрос семейного характера. — *А. Л.*> до конца. Иначе я остался бы здесь теперь же... О перемене <квартиры. — *А. Л.*> нет и повода говорить: мое сердце требует самого чистого воздуха — что я имею у Таврического сада, в Петербурге я жить более года не буду...» ***

Намерение это, по самоочевидной нежизненности своей, никем в родстве не было принято всерьез. Едва ли и сам Лесков в действительности собирался жить без редакций,

---

* «Добрый пример». — «Новое время», 1887, № 3939, 16 февраля.

** «Острова, где растет трын-трава». — «Новое время», № 3971, 20 марта.

*** Письмо от 3 июня 1887 г. — Архив А. Н. Лескова.

книжных магазинов, литературных знакомств, кипения в слухах, злободневных новостях, словом, без Петербурга.

Северное лето миновало, а Лесков все еще не спешил покинуть полюбившийся уголок и только 20 августа (1 сентября) выехал домой и 23 августа писал мне в Киев: «Вчера, 22 августа в 2 часа дня я приехал в Петербург. Опять попал под бурю, и в Гапсале 12 часов отстаивались и посетили город» *.

В феврале 1888 года я, служа в глухом аракчеевском поселке в двадцати восьми верстах от Новгорода, пере-ес очень серьезное воспаление правого легкого. К искреннему удивлению и радости пользовавшего меня молодого умного врача — выжил, однако зловеще харкал кровью.

Пережитое, в связи с свалившим меня два года назад в Киеве тифом, не поощряло сообщать о новом своем недуге ни отцу, ни матери. Я решительно запретил это делать своему врачу. Не спешил и сам, пока, с грехом пополам, не стал наконец на ноги. Врачи на консилиуме, учитывая, как глубок и стоек был процесс, вынесли постановление о необходимости двухмесячного климатического лечения в Крыму, без которого ручаться за окончательный исход болезни нельзя.

Наконец я все написал отцу. Ответ, без обычных вступительных и заключительных обращений, не замедлил.

«Я не одобряю того, что ты не писал о своей болезни. Это не твое дело рассуждать — как бы я принял такое известие. Северные врачи имеют несостоятельное понятие о русском юге, и притом воспаление легкого в 21 год — если оно прошло — это не такая многопоследственная вещь, чтобы надо было ехать на юг. Далее, — поездка на 1 месяц и даже на 2 (апрель и май) не принесут значительно пользы, и из них $^1/_4$ надо употребить на проезд... Кавказ и Крым — это даже смешно... Я имел воспаление легких *обоих* в 48 лет и отдыхал просто в Дубельне за Ригою... Почему тебе в 21 год нужен Крым? Выдумывать вздоры очень легко, но надо иметь разум, чтобы соображать свои достатки и дорожить настоящими пользами, а не слушать всего, что «говорят»... Воздух Аренсбурга чист, умерен и *целебен.* Гапсаль хуже Аренсбурга, но тише, потому что защищеннее. Можно ехать в Аренс-

---

* Письмо от 3 июня 1887 г. — Архив А. Н. Лескова.

бург или в Гапсаль, и то и другое хорошо и по нашим средствам, и туда многие приезжают с целию поправления после воспалений (например, Тиманова, Быков), но ехать в Крым на 28 или даже на 56 дней — это явная глупость... Жить до моего приезда будешь у аптекаря Флиса, одинокого, очень милого, умного и образованного человека и немецкого литератора, который мне друг. У него большая и хорошая квартира, очень большой сад, и он говорит по-русски, как москвич. Я напишу ему, чтобы он дал тебе комнату и стол... Таков мой совет, а он хорош и благоприятен, а все иное — чепуха и затеи. Аптека Флиса *в городе,* но у самого парка и на берегу моря... У Флиса тебе будет очень удобно и очень спокойно. Он большой музыкант и душа поэтическая. Он по своему одиночеству иногда скучает и, наверно, будет тебе рад и будет рад сделать мне у с л у г у. — 20-го мая приедут туда Крохины, а позже и я. Здесь после воспаления *никак* прохлаждаться нельзя, и ты должен ехать на Эзель с 1-м рейсом почтового парохода... На днях буду писать, а пока советую быть уверенным, что я о тебе предусматриваю самое для тебя лучшее, и моего совета держаться, ибо я знаю дело всех многостороннее...» *

Вслед приходит и второе письмо, держащее тот же курс.

«...О Крыме нам нельзя думать, и это не может быть необходимостью. Отдых весною на чистом острове при морском воздухе и хорошей растительности — это вполне достаточно и хорошо. Выдумывать можно все, включительно до Ниццы, Капри и острова Мадеры, но это не для людей с нашими средствами, и притом это излишне и потому глупо. Надо держаться Эзеля, где будет всего удобнее по всем отношениям... Если ты будешь слушать неопытных врачей и поступать несогласно с тем, что указывает б л а г о р а з у м и е, — я не могу быть тебе полезен ни советом, ни делом» **.

Научения разгораются, то исполняясь раздраженностью, то на недолго освобождаясь от нее, но безотступно отстаивая ни с чем не сравнимые целительные преимущества островного Аренсбурга перед всем прочим.

---

* Письмо от 24 марта 1888 г. — Архив А. Н. Лескова.
** Письмо от 30 марта 1888 г. — Т а м ж е.

«На Эзеле до 20 мая будет тишина немецкого маленького городка, что очень благоприятно душевному возрождению, а потом, с 20 мая, с каждым пароходом начинают прибывать люди с разных сторон, и становится очень оживленно. Да лучших мест нам искать негде, да, по правде сказать, и не для чего. Тебе там должно быть хорошо, поживешь с Флисом, а 20 мая думаю приехать и я, и можем пожить вместе месяц, а может быть и полтора...»

Дальше снова захлестывает очередная волна:

«...Я устал ждать от тебя что-либо и оставил это, как бы вовсе безнадежное. Усталость — чувство понятное даже и тем, кто мало делал, стало быть и тебе. Я устал, и очень — очень устал, и у меня *слабеет зрение...* Мне опротивели твои пошлости и беспечность, от катаний с тифом до катаний с пнеумонией. Все это мне мерзко, хотя я знаю твои годы и прочее. Противен мне человек, ставящий *выше всего* то, что имеет значение *между прочим.* Но еще скажу, что мне и говорить с тобою о достойных предметах противно. Если было бы чему обрадоваться или хоть чем облегчить свои представления, то пусть это случится помимо ожиданий и рассуждений. — Что касается твоих размышлений о кризисе смертном, то не подлежит сомнению, что *приучить* себя к бестрепетному рассуждению о смерти — чрезвычайно умно, полезно, плодотворно и необходимо нужно. Это сказано величайшим мудрецом древности, а проверить это может каждый дурак. Нет ничего жалче и противнее труса, а избежать смерти он все-таки не может. Следовательно, лучше к ней готовиться и укреплять дух размышлением. Но тот же мудрец сказал: «учись так, как будто тебе суждено жить *вечно,* и живи так, как будто ты должен умереть завтра». Есть очень молодые люди, которых это занимает и руководит. Лермонтов в 19 лет был полон этих томящих, но единственно живых вопросов» *.

Выходило, что сыпняк, приобретенный мною в поезде при следовании в киевскую ссылку, и воспаление легких, схваченное на зимних маневрах, все это не более как результаты моей беспечности, выражавшейся в катаниях, предпринимавшихся по собственному моему желанию.

* Письмо от 7 апреля 1888 г. — Архив А. Я. Лескова.

В образец мне ставился, впрочем, не кто-нибудь, а сам Лермонтов. Здесь не стыдно было и пасовать.

А в общем, и не такие горшки бились уже о голову.

Как я узнал только через тридцать девять лет, болезнь моя неожиданно нашла себе отзвук в переписке Лескова с Сувориным. 19 апреля 1888 года ему писалось: «Очень жду ваших ответов об издании «Захудалого рода» и рассказов. Сделайте решение поскорее, удобное мне и небезвыгодное для предприятия. У меня очень болен сын (воспаление легких), и его надо взять из казармы на свободу. Надо стянуть все средствишки, а май месяц на дворе, и в 21 год воспаление легких переходит в роковую чахотку... Что можете сделать без вреда и стеснения своему издательству, — не откажите в том моему писательству» *.

При чем была тут моя болезнь? Какие надо было стягивать «средствишки», когда, при дешевизне транспорта для военных, собственного моего офицерского жалованья было достаточно и на Аренсбург и на пустяками более дорогой (как я узнал позже) для одинокого молодого человека Крым? При нечеткости положений легко вкралась и разноголосица: и на неделю раньше и на три дня позже Суворину же подтверждалось: «Я — слава богу — с хлеба на квас не перебиваюсь и могу держать работы в столе» **. Или: «Денег я под издание <здесь уже затрагивается вопрос о полном собрании сочинений. — *А. Л.*> не буду просить никаких. В этом я, слава богу, — не нуждаюсь» ***.

Но Суворин лучше многих других знал, что к 1888 году Лесков был не без некоторого достатка.

Два года перед этим Лесков учит мать «маленькой Лиды» О. А. Елшину: «Бедниться никак не надо: от этого «лохмотьем пахнет», и это роняет человека на рынке» ****.

И как раз, без всякой в том нужды, вразрез преподаваемым правилам, не остерегается пренебрегать ими, прибегая даже к речевым московским формам XVI века. Зачем? Неисповедимо. Только и остается вспомнить его

* «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, с. 74.

** Письмо от 12 апреля 1888 г. — Там же, с. 68.

*** Письмо от 22 апреля 1888 г. — Там же, с. 76.

**** Письмо от 10 сентября 1886 г. — Пушкинский дом.

же слова к Суворину: «Отчего это вы возьмете самую верную ноту, вернее всех и всех смелее и искреннее, но как понесете ее, так и расплещете, — точно вам кто под руку толкнул» *.

Врач мой, специалист по легким и бальнеолог, решительно возражал против Эзеля, да еще ранней весной, и настаивал на Крыме или, в крайности, южной деревне. Сношение с знающим свой остров Флисом подтверждает рискованность моего приезда с первыми пароходами. 30 апреля отец уже без возражений провожает меня с Николаевского (Московского) вокзала на Украину. По правде сказать, вопрос уже и прискучил, а дел, литературных работ **, переписки с «иже по духу» П. И. Бирюковым [140], В. Г. Чертковым [141] или с противомысленным С. Н. Терпигоревым [142] и деловой — с А. С. Сувориным, Л. Н. Толстым — впору только справиться. Да и пора самому собираться к июню на летний роздых в любезную Озилию.

Непосредственно с Аренсбургом, как и в первые два приезда, сначала все идет с прежней «Gemütlichkeit» ***, сердечностью и полным благорастворением воздухов.

Но пока я отдыхал в континентальной устойчивости юга, а потом экзерцировал на военном поле Красного Села, у неизбежных Кавелахтских высот и других географических пунктов вплоть до Гостилиц и Молосковиц, — на доступном всем ветрам и циклонам острове барометр начинал давать тревожные, а затем и прямо угрожающие показания.

С приездом Лескова идут сначала вполне благоприятные корреспонденции его в столичные газеты ****. В первой из них горячо опровергается пущенный кем-то из добрых соседей в мае месяце ложный слух, будто на Эзеле свирепствует оспа. Далее рисуется ряд бытовых удобств. Говорится, что «обнаруживать свое знакомство с русским языком здесь теперь в такой же моде, как прежде было в моде притворяться не понимающим по-русски». Перечисляются весьма именитые приезжие,

---

* Письмо от 31 января 1888 г. — Пушкинский дом.

** В «Неделе», «Новом времени», «Петербургской газете», «Новостях и биржевой газете», «Историческом вестнике».

*** Уютностью (*нем.*).

**** «Аренсбург на Эзеле», — «Новое время», 1888, № 4421, 21 июня; № 4437, 7 июля; «Дачная жизнь. Аренсбург». — «Петербургская газета», 1888, № 178, 1 июля, без подписи.

видные местные деятели. Правда, тут же упоминается, как два местных мясника «мастерски взрезали возле самого парка живого русского солдата, и тот умер», но в общем сердца домовладельцев, кормящихся от приезжих, исполнялись глубокой признательностью.

Но вот, ближе к концу июля, приходит в Аренсбург номер петербургской газеты с новой корреспонденцией, в которой нежданно-негаданно говорится об имеющихся на Эзеле, даже невдалеке от самого курорта, прокаженных *. Происходит переполох. Многие не знают, что предпринять, как быть с Лесковым!

А восемь дней спустя получается еще одна, уже пятая корреспонденция, задевающая аренсбургского герихтсфохта Гольмана, держащего почему-то у себя паспорта всех приезжих, как, к великому негодованию Лескова, в свое время учинял фурштатский его домовладелец. «Не то ли это и е с т ь , — колко спрашивает Л е с к о в , — что на русском языке ревельского ландгерихта называется «законные вреды»? ** Это еще куда ни шло, а вот что тут же вторично помянута и проказа — невыносимо для городка, живущего приезжими больными и дачниками. Положение накаляется. Раздражение Лескова пошло расти по линии срыва вспышки на чем случится. А раз начавшись, взрывная реакция улегалась трудно. В частности, здесь же Лесков приводил явно проверенные бальнеологические данные об Аренсбурге, как нельзя более противоречивые его прежним заключениям. Оказывалось, что при легочной болезни «самое пребывание с нею здесь неблагоприятно или, прямо сказать, очень вредно». Вот как изменилось суждение, казавшееся самому в марте самым «многосторонним», опровержение которого принималось за глупость, вздор, чепуху и затеи.

Лесков покидает Аренсбург 7 августа, на две недели ранее прошлого года.

Приехав, он всерьез берется за мимоходом тронутую было тему. Гроза разражается ошеломительной в своем заглавии, уже полностью подписанной статьей «Культ прокаженных (Кустарные курорты на Эзеле)» ***. Озилия

---

* «Аренсбург на Эзеле». — «Новое время», 1888, № 4451, 21 июля.

** Там же, № 4459, 29 июля.

*** Там же, № 4492, 31 августа.

потрясена. Лесков не дает передышки. Он собирает интересные общие данные о проказе и борцах с нею и публикует новую статью — «О прокаженных» * а вскоре еще раз возвращается к проказе в комбинированной статье «О проказе, о пирате, о мщении одичалых, о Бироновом носе» **.

Военные действия открывает и другая сторона.

Местный листок «Arensburger Wochenblatt» от 4 октября 1888 года, № 40, отводит первое место и треть всего своего текста довольно бойко составленной статье «Herrn Leskow!» ***. Подпись N. S. Экземпляр был выслан Лескову бандеролью ****.

Ополчился и недавний милый человек и друг Роман Флис, приславший в «Новое время» статью в четверть листа: «Еще о проказе» *****, представлявшую собою разбор всего писавшегося об эзельской лепре (проказа) в лесковских статьях и общее резюме по поднятой ими шумихе. Суворин дал статью Флиса Лескову на просмотр.

17 октября последний, заканчивая одно из своих писем к Суворину, бросил: «Печатаете ли вы статью Флиса? Я пришлю ответную заметку. Из Киева профессор Мейн и Подвысоцкий мне прислали целую литературу и благодарности ******. «Никогда, — говорят, — это дело не было так возбудительно поставлено». — Мы «опрокажены» до центральных губерний, и все это идет, и ничего против этого не делается» *******.

Суворину, однако, эта лепровая полемика стала, вероятно, прискучать, а тут грохнул гром среди ясного неба — «чудесное крушение» царского поезда у станции Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, и многое временно отодвинулось, а потом и завяло ********.

Корабли для Аренсбурга были сожжены. Любовь была

---

* «Аренсбург на Эзеле». — «Новое время», 1888, № 4498, 6 сентября, без подписи.

** Там же, № 4521, 29 сентября.

*** «Господину Лескову!» (*нем.*).

**** Архив А. Н. Лескова.

***** «Новое время», 1888, № 4541, 19 октября.

****** Не сохранились.

******* Пушкинский дом.

******** Проказа затрагивалась еще Лесковым в статьях и заметках. «Grand merci». — «Новое время», 1889, № 4819, 30 июля; «Проказа лезет клоктю». — «Неделя», 1892, № 22, 31 мая.

радостной, разлука горька, по неустранима. Надо было найти утешение. Отчасти оно пришло в уверениях доктора Мержеевского, что он и некоторые другие не разделяют узости взглядов Флиса, Гольмана, Керстнера и многих других на «проказные», как говорилось, статьи «Нового времени». Но слишком многочисленны оказывались эти «многие другие», возмущался и злобился весь город и значительное число лиц муниципального положения в других городах Остзеи.

При случае приходится давать объяснения внезапной измене Аренсбургу и вообще всей Озилии.

«К немцам своим не поеду, — пишется в ночь на 9 апреля 1889 года В. Г. Черткову, — потому, что их теперь «русифицируют», а я терпеть не могу быть при таких операциях» *.

«Тому, что Ольга застряла в Риге, надо радоваться, так как это место привольнее, — указывается Н. П. Крохину в письме от 9 июня, — море лучше и жизнь шире. Жаль только, что она наняла в Дубельне, где очень пыльно... Впрочем — все-таки радуйся, что жена твоя там, около Риги, а не за морем, в Аренсбурге, что было бы совсем безрассудно» **.

И наконец, через две недели в письме к сестре Ольге Семеновне, 24 июня, поясняются причины нежелания приехать погостить у нее в Дубельне:

«Мне все надоело и никуда не манится, особенно в тот край, где производятся мероприятия, делающие нас неприятными туземным обывателям» ***.

Три года «всех многостороннее» изученное и непререкаемо превозносившееся «прекрасное место» становится отверженным, посещать его уже «совсем безрассудно».

Что делать: по нужде и закону перемена бывает.

ГЛАВА 10
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ

Близко знавший Лескова последние пятнадцать лет его жизни В. Л. Величко утверждал: «У человека, ставшего писателем, появляется как бы вторая духовная при-

---

* Архив Черткова, Москва.
** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).
*** Там же.

рода, управляемая собственными законами и большею частью стоящая выше личной натуры того же человека, с которою он ведет ожесточенную борьбу. Например, Лесков был очень физический человек, с кипучими страстями и нравственным обликом материалиста, а в литературе он являлся одним из крупнейших представителей идеализма» *.

Сам Лесков ценил в писателе искренность литературной и идеологической направленности, не считаясь с другими его свойствами. Прочитав в октябрьской книжке «Северного вестника» 1893 года новый шеллеровский рассказ «Конец Бирюковой дачи», он взволнованно пишет Фаресову: «Каковы бы ни были свойства его личного характера, это — его дело, а для прояснения общественного сознания он служит превосходно, обнаруживая здравые понятия и любовь к тому, что оскорблено и унижено. Нехорошо играть на понижение репутации человека, который с таким мастерством ведет полезную работу в нынешнее преглупое и преподлое время. Всех, которые занимаются тем же делом, как и он, я с радостью отдал бы за него одного. А подумаем лучше вот о чем: отчего это мы все ведь знали то же самое, что и ему известно, а вот мы начнем говорить и затянем «антимонию» черт знает про какие ненасущные явления, а он что ни долбанет, то прямо в жилу, и сейчас оттуда руда мечется наружу, и хочется плакать, и хочется помогать, и становится стыдно и гадко о себе думать? Это и есть несомненный признак присутствия ума, чувства и таланта, и притом в превосходном их, гармоническом, сочетании. И если кто этого в нем не видит и не чувствует, то я буду думать, что я Шеллера знаю более, чем другой его знает, хотя лично я с Шеллером и мало знаком, и мне это не нужно: я знаю «лучшую его часть» **.

Так говорил он о «лучшей части» своего давнего литературного собрата умудренный жизнью, на седьмом десятке лет. Несомненно однако, что дар находить «лучшую часть» в каждом человеке, имеющем какое-нибудь духовное содержание, и от всего сердца любоваться ею жил в нем с отроческих лет.

---

* См.: «Исторический вестник», 1904, № 2, с. 676—677.

** А. И. Фаресов. Алексей Константинович Шеллер (А. Михайлов). Биография и мои о нем воспоминания. СПб., 1901, с. 13. Дата письма не указана. Автограф неизвестен.

«У нас на орловской Монастырской слободке жил один мой гимназический товарищ, сын этапного офицера, семья которого мне в детстве представлялась семьею тех трех праведников, ради которых господь терпел на земле орловские «проломленные головы» *, — писал Лесков в 1878 году.

К концу 1879 года, в предпосылке к рассказу «Однодум», повествовалось о трагикомическом, сорок восьмом умирании А. Ф. Писемского, а затем возвещалось: «...и пошел я искать праведных <...> но куда я ни обращался, кого ни спрашивал — все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких хороших людей и тот и другой знавали. Я и стал это записывать» **.

Так как бы оформлялось открытие галереи лесковских «праведников». Однако, как видим из сказанного выше, в действительности наблюдение, запоминание и собирание их началось с детских, орловских лет писателя. «Однодум» шел первым уже под иконописным титлом, сравнительно поздно придуманным, но многие просто «хорошие люди», совершавшие раньше или позже кое-какие незаметные подвиги, то попадали в эти святцы, то оставались без канонизации.

В произведениях Лескова все они, в порядке появления в печати, располагаются примерно так: правдолюбивый Овцебык; непримиримо революционные Райнер, Лиза Бахарева и Помада; младопитательный и всеприимный Пизонский (Котин Доилец) и всепрощающая Платонида; нигилисты чистой расы — Бертольди, майор Форов и Ванскок; полный патриотизма землепроходец Иван Флягин; беззавистный и безгневный Памва и чудный отрок Левонтий; несокрушимый в своей первобытности благородный дикарь зырянин и не понуждающий никого к крещению Кириак; сострадательный Пигмей; бескорыстный эконом Бобров и ревностный лекарь Зеленский; мужественный Голован; уповательные обнищеванцы; кроткий штопальщик; трогательный в дружбе со зверем Храпошка; пленительный мельник дедушка Илья и непреклонного духа Селиван, безгранично добрый

* «Мелочи архиерейской жизни». — Собр. соч. т. XXXV, 1902—1903, с. 72.
** Там же, т. III, с. 75.

Карнович; прекраснодушный художный муж Никита Рачейсков; самоотверженный рядовой Постников; великодушный Вигура; прачка, сердобольно растящая на трудовые свои гроши чью-то сироту, как бы прототип Фефелы, и т. д. [143]

Во сколько тяблов (ярусов) потребовался бы иконостас для размещения всех помянутых или позабытых здесь неколебимых служителей тому, во что они верили и в исполнении чего видели долг жизни своей?

Горький, не всегда безоговорочно принимая все в рисунке лесковских праведников, удовлетворенно отмечал неизменную устремленность всех их к добру, человеколюбие и безграничную, до самозабвения, любовь к родине.

«Я видел в жизни десятки ярких, богато одаренных, отлично талантливых людей, а в литературе — «зеркале жизни» — они не отражались или отражались настолько тускло, что я не замечал их. Но у Лескова, неутомимого охотника за своеобразным, оригинальным человеком, такие люди были, хотя они и не так одеты, как — на мой взгляд — следовало бы одеть их» *.

В другой раз выполнение писателем взятой на себя задачи находит широкое признание исследователя:

«Его огромные люди. Их основная черта — самопожертвование, но жертвуют они собой ради какой-либо правды или дела не из соображений идейных, а бессознательно, потому что их тянет к правде, к жертве. Лесков изображает своих героев праведниками, людьми крепкими, ищущими упрямо некоей всесветной правды, но он относится к ним не с истерическими слезами Достоевского, а с иронией добродушного и вдумчивого человека» **.

Один из лесковских праведников, может быть, признан Горьким уже и «одетым» вернее других:

«Вертер» — интересно. Новалис написал очень хороший роман, но согласитесь, что «Записки из подполья» или «Очарованный странник» показывают нам людей более значительных вовсе не потому только, что они — наши русские, а потому, что они больше люди» ***.

---

* М. Горький. О литературе. Статьи и речи. 1928—1936. Изд. 3-е. М., 1937, с. 274.

** М. Горький. История русской литературы. М., 1939, с. 275.

*** К. Федин. Горький среди нас. М., 1944, с. 149—150.

Особенно Горький ценил в Лескове — что это был писатель, «все силы, всю жизнь потративший на то, чтобы создать положительный тип русского человека» *.

Заключения шли одно другого шире, глубже, величавее:

«Он любил Русь, всю какова она есть, со всеми нелепостями ее древнего быта, любил затрепанный чиновниками полуголодный, полупьяный народ и вполне искренно считал его «способным ко всем добродетелям», но он любил все это не закрывая глаз. В душе этого человека странно соединялись уверенность и сомнение, идеализм и скептицизм» **.

«Он писал не о мужике, не о нигилисте, не о помещике, а всегда о русском человеке, о человеке данной страны.

Каждый его герой — звено в цепи людей, в цепи поколений, и в каждом рассказе Лескова вы чувствуете, что его основная дума — дума не о судьбе лица, а о судьбе России» ***.

Так судил великий литературолюб о второй, «большей и лучшей части деятельности Лескова» ****.

Характерно, что шедшие с перелома восьмидесятых годов, как писал Лесков, «Пустынные картины (древнее христианство в Сирии и Египте» *****), то есть повести на сюжеты, черпавшиеся из «Пролога», не вызвали отклика Горького. В некоторых из них было много красоты, картинности, изящества в рисунке, обогащенности темы. Многие из них требовали изучения исторических и этнографических данных. Но ни одна из этих цветистых новелл не трогала и не волновала так, как сравнительно простосюжетные, «из самой жизни вывороченные», отражавшие подлинную русскую жизнь, бытовые повести Лескова.

«Прологи», с их декоративностью, условностью фабул и наборной языковой узорчатостью, насквозь русской на-

---

* См.: «О русском искусстве». — «Литературная газета», 1937, 26 марта.

** М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 90.

*** М. Горький. История русской литературы. М., 1939. с. 276.

**** Там же.

***** Письма Лескова от 16 и 17 мая 1888 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину», с. 81 и сл.

туре Лескова приелись, а легенды и совсем «опротивели».

Почему-то, может быть и бесправно, вспоминаются более поздние, но не менее выразительные колебания в восхищенности изготовлявшимся уже к художественной проповеди Львом Львовичем Толстым. В недатированном письме к А. С. Суворину, видимо от 20 января 1893 года, не без теплой шутливости сообщалось:

«Посетил недостоинство наше «младый Лев» (отцов любимец и любви достойник) <...> Что за юноша!.. Хочется плакать от радости!» *[144].

В этот же день он заинтересованно и устроительно писал и Л. И. Веселитской: «Вчера был у меня сын Льва Николаевича (Лев Львович, только что приехавший из Москвы) и рассказывал о том, как было принято мое извещение ** о встрече с вами. Льву Львовичу очень хочется с вами свидеться перед отъездом. Он придет ко мне проститься завтра, во 2-м часу дня. Я ему сказал, что извещу вас о его желании с вами встретиться, чтобы еще ближе познакомить с вами отца по собственным, личным впечатлениям. Думаю, что вы не найдете в этом ничего неудобного, чтобы познакомиться с сыном любимого и уважаемого вами великого человека и нашего общего друга» ***.

Полгода спустя, 27 июня 1893 года, поговорив в письме к М. О. Меньшикову о Льве Николаевиче, Лесков делает уже некоторый поворот:

«О молодом Льве согласен с вами, как и о старом. К молодому Льву надо бы применить советы Нила Сорского: «аще млад выспрь скачет», — «подерни его за ноги и поставь на землю». Я ему сказал, что он очень поддается теориям, которые не выдержат пробы. Может быть это ему неприятно» ****.

Четырнадцать лет назад, ведя усердные вероисповедные «дискурсы» с великосветскими редстокистками, безнадежно пытавшимися приобщить его к своему «разноверию», Лесков писал наиболее молодой и убежденной из них:

---

* Пушкинский дом.

** См. письмо Лескова к Л. Н. Толстому от 12 января 1893 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 132.

*** В. Микулич. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 168—169.

**** Пушкинский дом.

«Исправляли меня и раскольники, и католики, и другие. — их же имена сам господи веси, — включительно до лорда Редстока, и *всякий* из этих «справщиков» смело уверял и нагло доказывал, что истина во всей ее полноте ужилась только с ним и лежит в его жилетном кармане, а я этому не верил и не поверю, потому что имею большее почтение к истине» *.

Под старость он не сомневается, что истина при нем.

Умеряя чужую чрезмерную увлеченность чем-нибудь, Лесков иногда заключал свои советы ритмичным чтением поэтической восточной аллегории:

Настрой же скорее гитару для танцев:
Не строй ее *низко,* не строй *высоко!*

Покидая не всегда выдержанных в таком правиле Памфалонов, Данил и Зенонов, Лесков переходил к созданию новых, современных героинь. Соблюдалось ли и тут указание о строе гитары?

Л. Я. Гуревич в эти же годы записала неудержимо вырвавшуюся, почти мучительную исповедь Лескова:

«Он <Л. Н. Толстой. — *А. Л.*> хочет, и сын его, и толстовцы, и другие, — говорил он <Лесков. — *А. Л.*> один раз, — *он* хочет того, что выше человеческой натуры, что невозможно, потому что таково естество наше... Я знаю сам... Всю жизнь свою я был аггелом. Я творил такое, что... никто не знает этого. И теперь — я старик, я больной, и все-таки — такое во мне кипит, что я и сам сказать не умею, как и что. Сны мне снятся — сны страшные, которых нельзя словами описать. И кто знает, что это? И зачем, почему и откуда? Назвать ли это чувственностью? Но ведь я сам не знаю, зачем она мне! Ничего мне не надо, ничего я разумом своим не хочу, — ищу покоя души своей, а что-то мутит и мучит меня...» И он замолк, прислушиваясь к нежно звенящему бою часов, на который другие часы откликнулись коротким музыкальным напевом. Это было месяца за три до его смерти» **.

Лескова сильнее, чем прежде, влекло рисовать плотски неотразимо красивую, духовно познавшую самую не-

---

* Письмо к А. И. Пейкер, «ночь на 21 декабря 1878 года». — ЦГЛА.

** *Л. Г.* Из дневника журналиста. — «Северный вестник», 1895, № 4, с. 68.

опровержимую истину и свет, купеческую Клавдию или совсем обольстительную светски-интеллигентную Лидию, сложенную как Диана из Танагры, и с таким контральто, от которого, как он, бывало, говорил, «душа мрет» [145].

Однако есть ли в них чарующая прелесть искренности, жизненной простоты гостомельской Насти, нигилистической Бертольди, Катерины Измайловой, Доры и Анны Михайловны, Мани Норк, Ванскок, киевлянки Хариты, Любови Анисимовны, Шибаенки [146] и многих иных из прежних лесковских героинь? Не манекены ли это, книжно и надуманно говорящие с напетых автором пластинок?

Единственный раз Клавдия — в разговоре с нежно любящей ее и, надо верить, нежно любимою матерью — обмолвилась простым искренним словом: «Со мною, мама, жить очень трудно». Куда труднее!

Второй раз превосходно заговорила Лидия: «Полноте, ma tante, что это еще за характеры! Характеры идут, характеры з р е ю т, — они впереди, и мы им в подметки не годимся. И они придут, придут! «Придет весенний шум, веселый шум!» Здоровый ум придет, ma tante! Придет! Мы живы этою верой!»

Само по себе пророчество великолепно, но опять это говорит не Лида, а сам Лесков. Говорит убежденно, полный несокрушимой веры в непременный приход настоящих характеров, в весенний веселый шум. Придет то, чем сам он жил с перехода из Савлов в Павлы. Это уже не проповедь, а исповедание духа, полное веры в ни с чем не сравнимую, воспитывающую и просвещающую силу неустанно любимой им литературы.

Вере этой одновременно же оставлены и другие свидетельства.

27 января 1893 года на несколько обиженное письмо редактора «Исторического вестника» С. Н. Шубинского Лесков отвечал: «Относительно «разномыслия» пора бы перестать разномыслить: вы смотрите на дело *главным* образом с коммерческой стороны, а есть полное основание смотреть на это и н а ч е, — именно не считая коммерческой стороны *главною.* Что этого очевиднее и проще?» *

Редактор при случае попробовал еще раз поразномыслить, а писатель накрепко подтвердил ему:

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

«Я отдал литературе всю жизнь и передал ей все, что мог получить приятного в этой жизни, а потому я не в силах трактовать о ней с точки зрения поставщичьей. По мне пусть наши журналы хоть вовсе не выходят, но пусть не печатают того, что портит ясность понятий. Я не то что не понимаю современного положения печати, а я его знаю, понимаю, но не хочу им стеснять себя в том, что для меня всего дороже: я не должен «соблазнить» ни одного из меньших меня и должен не прятать под стол, а нести на виду до могилы тот светоч разумения, который дан мне тем, перед очами которого я себя чувствую и непреложно верю, что я от него пришел и к нему опять уйду. Не дивитесь тому, что я так говорю, и не смейтесь: я верую так, как говорю, и этой верою жив я и крепок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому и ничего, — и лгать не стану и дурное назову дурным кому угодно. Некоторые лица все это приписывают во мне «непониманию». Они ошибаются: я все достаточно понимаю, а не хочу со всем мириться, и как я сторонюсь от дел с приказными и злодеями, то мне не надо ни изучать их ближайшие привычки, ни мириться с ними. Я уже старик, — мне жить остается немного, и я желаю дожить дни мои, делая, что могу, и не мирясь с «соблазнителями смысла». У меня есть свои святые люди, которые пробудили во мне сознание человеческого родства со всем миром. До чтения их я был «барчук», а потом «око мое просветлело», и я их считаю очень дорогими людьми, и вот их-то именно теперь и принято похабить и предавать шельмованию рукою ничтожных лиц, ведомых всем по их злобе, лжи, клеветничеству и сплетничеству» *.

Собеседникам он говорил: «Весь мой одиннадцатый том: Клавдия в «Полуношниках», квакерша-англичанка Гильдегарда и тетя Полли в «Юдоли», «Дурачок» и т. д. опять воспроизводят светлые явления русской жизни и снимают с меня упрек в том, что я проглядел устои русской жизни и благородные характеры. Я их видел, но я видел также и многое другое... Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки. «Загон», «Зимний день», «Дама и Фефела»... Эти вещи не нравятся публике за цинизм и простоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает.

* *Фаресов,* с. 410—411.

Я знаю, чем понравиться ей, но я больше не хочу нравиться. Я хочу бичевать ее и мучить. Роман становится обвинительным актом над жизнью» *.

«Зимний день» мне самому нравится, — говорил Лесков, горячась и увлекаясь. — Это просто дерзость — написать так его... «Содом» — говорят о нем. Правильно. Каково общество, таков и «Зимний день» **.

Шла, пусть и художественная, но — проповедь.

ГЛАВА 11

ВЗЫСКУЮЩИЕ ИЗ ОТРИЦАВШИХСЯ

Прозрение, неустанный труд и могучее дарование делают свое дело. Долго тяготевшая над Лесковым осужденность постепенно рассеивается его новыми произведениями и год от году меркнет. Запоздалые «отомщевания» непримиримых врагов — не страшны. Талант и несокрушимое мужество превозмогают.

«На днях, — пишет он Суворину, — я виделся случайно с критиком, который говорил много обо мне и о вас, что мы, дескать, могли бы быть так-то и так-то поставлены, но нам «сбавляют успешный балл за поведение». Я отвечал, что мы оба «люди конченые» и нам искать расположения уже поздно, но что, по моему мнению, в нашем положении есть та выгода, что оно создано органически публикою, а не критикою, и что критики нам ничего не могут сделать ни к добру, ни к худу» ***.

Итак, все сложилось органически: критики уже *ничего не могут сделать ни к добру, ни к худу!*

Но Лесков это знал и в это верил еще со времен «Овцебыка» и «Леди Макбет нашего уезда», не говоря уже о «Соборянах», «Запечатленном ангеле», «Очарованном страннике», «На краю света» и т. д. Знал, терпел и ждал...

«Конечно, — дружески пояснял он А. Е. Разоренову[147] в 1884 году, — в литературе нашей нет трезвенных слов. Вместо руководящей критики то и дело приходится наталкиваться на полемические статьи бравурно-развяз-

---

* *Фаресов,* с. 382.

** А. Фаресов. Парадоксы Н. С. Лескова. — «Слово», 1905, приложение к № 147, 11 мая.

*** Письмо от 11 февраля 1888 г. — Пушкинский дом.

ного тона с потугами и недомолвками, берущими через край. Одно время у нас совсем не было критики, даже газетные рецензии встречались редко. Оно и лучше было. Разве может быть теперь такая здравая критика, которая руководила бы не одних начинающих писателей, а освещала бы путь, давала бы добрые советы и тем, кто достаточно окреп на литературной дороге? В наше время разгильдяйства и шатаний отошли в вечность такие имена, как Белинский, Добролюбов, Писарев. Теперь люди, которым нет места на поприще изящной словесности, взялись за картонные мечи и давай размахивать ими направо и налево: берегись — расшибу! Это люди, озлобленные собственной неудачей. Вот почему я не советую вам слушаться и прислушиваться к мнению таких горе-критиков. Работайте по-прежнему, не обращая ни на кого внимания» *.

Здесь исключительно ценны искренность признания Лесковым критического авторитета когда-то нанесшего ему жестокий удар Писарева и совет работать так, как работал он сам с тех пор, как бросил чужие помочи и пошел на своих ногах.

С 1886 года его ищет и никогда уже больше не отпускает либерально эклектическая «Русская мысль», за нею — народнически-либеральная «Неделя», с конца 1891 года помещает на своих страницах его произведения «Вестник Европы», где для начала появляются «Полунощники», до дерзости смело по своему времени и обстановке разоблачавшие лжу, убожество и пошлость церковного тавматурга [148] — пресловутого чудотвора «отца Иоанна Кронштадтского», чтившегося тогда в различных слоях русского общества с «царем миротворцем» Александром III «во челе».

Лескову давно претит сотрудничать у «каптенармуса XVIII века» [149] С. Н. Шубинского в его безликом и неустанно выцветающем «Историческом вестнике» [150]. Личные отношения переходят со стороны Лескова в суровые осуждения идеологической скудости журнала и завершаются полным разобщением с этим суворинским изданием, да в сущности и с его твердокаменным редактором.

---

* Письмо Н. С. Лескова к А. Е. Разоренову. — А. И. Яцимирский. Друзья русских самородков. — «Русская мысль», 1902, № 2, с. 155—156.

Постепенно создастся прелюбопытная перемена позиций с удивительной иногда перестановкой фигур.

Редакционный триумвират, или, как язвил нередко Лесков, «семибоярщина» [151] «Русской мысли», оробевает с «Зеноном златокузнецом», прозревает в выведенном там хитроумном древнем епископе аллегорическую близость с покойным московским митрополитом Филаретом Дроздовым, суетливо домогается благоприятного заключения цензуры, погребает этим новеллу и старается оправдаться во всем перед автором.

Лесков негодует. Пишет Бирюкову, Черткову, Суворину, засыпает письмами Гольцева и Лаврова, посылает открытое письмо в «Русские ведомости» *, опровергающее распускаемые кем-то догадки и проводимые аналогии. Просит Л. Н. Толстого посодействовать опубликованию этого письма» **.

П. А. Гайдебуров, в 1868 году враждебно, хотя, может быть, и не слишком проницательно отозвавшийся о «Расточителе» [152], более чем своеобразно ведет себя в отношении «Зенона» [153]. По счастью, этот колоритный эпизод сбережен дышащей достоверностью записью А. И. Фаресова:

«Н. С. Лесков был недоволен редакцией «Русской мысли» за то, что она посылала его повесть «Зенон златокузнец» в рукописи на предварительный просмотр к цензору и последний не пропустил ее к печати.

Тогда Лесков передал повесть П. А. Гайдебурову в «Неделю» [154], но тот приехал к автору просить «пожертвовать тенденцией».

— Такое прекрасное описание египетской жизни, — говорил он. — Обстановка, природа, обычаи — удивительно художественно воспроизведены; но для сохранения повести необходимо пожертвовать тенденцией. Мне хочется напечатать ее, но в этом виде, как возьму я ее в руку, она жжет мне пальцы.

— Отымите от рассказа тенденцию, — отвечал Лесков, — от него ничего не останется. Выйдет глупая басня. Я именно и писал его затем, чтобы человек своей верой мог увлекать людей, двигать горами, как Зенон готовностью умереть за веру тронул и сдвинул чужое

---

* 1889, № 12, 12 января. Письмо от 10 января 1889 г.

** Письмо от 10 января 1889 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 72.

сердце... Мне только это и мило в моем рассказе, а вы меня просите пожертвовать тенденцией и оставить только рамки рассказа и краски.

Так они и разошлись. По уходе Гайдебурова Лесков сказал:

— Настоящий литератор никогда не посоветовал бы сохранить художественность без идеи. Попробую дать прочесть своего кузнеца Александру Константиновичу Шеллеру.

По прошествии нескольких месяцев Лесков, потирая от удовольствия руками свой нос, радостно сказал:

— Заглавие переделано, и рассказ назван «Гора». Шеллер провел его даже у себя в «Живописном обозрении». Вот настоящий литератор как поступает» *.

Остается прибавить, что Шеллер же устроил и немедленный выпуск «Горы» отдельной книжечкой с цензурным разрешением ее на обратной стороне титульного листа: «СПб., 29-го марта 1890 г.».

5 октября 1889 года в небольшом письме Лескова к В. А. Гольцеву об «Аскалонском злодее» как бы мимоходом, но едва ли без «шпилечки», вставляется: «Кстати прибавлю, что «Зенон» под иным заглавием *пропущен к печати предварительною цензурою,* весь и без всяких сокращений. Вот что делается в нашем благоустроенном государстве!..» **

Фактическое двукратное его появление затем в печати, в первозданной полноте и неизменности, вызвало и в мнительной московской «Русской мысли», и в перепугавшейся петербургской «Неделе» немалое смущение.

Не смелее, чем с «Зеноном», повел себя через два года Гайдебуров и с Сютаевым, возвратив «Бывшему Стебницкому» некролог, написанный им об этом «черносошном мужике», при записке: «31 октября 1892. Я совсем не мог пустить Сютаева, многоуважаемый Николай Семенович. Вы сами знаете, какой это щекотливый сюжет, а цензура и без того точит на нас зубы за последние статьи» ***.

Не примиряясь, Лесков в тот же день обращается к Суворину:

* А. И. Фаресов. Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов). Биография и мои о нем воспоминания. СПб., 1901, с. 135—136.

** «Голос минувшего», 1916, № 7—8, с. 403.

*** ЦГЛА.

«Алексей Сергеевич!

Говорите вы, что любите хороших «русских людей». Был на свете удивительно хороший русский человек, крестьянин В. Сютаев (друг Л. Н. Т.) — и он умер. Я его знал и любил, и хотел бы сказать о нем несколько слов, не для прославления его или кого иного, а для того, чтобы дать восприимчивым душам то, что у Сютаева взять можно (его разумность, здравомыслие, умеренность, бодрость, прямоту, милосердие и *бесстрашие*). Я мог бы написать его некролог или воспоминания, но лучше некролог. О мужиках еще не бывало некрологов, и с Сютаева это хорошо бы начать. Но где его напечатать?.. У вас бы хорошо, да боюсь, что вы не только не напечатаете, но еще захотите меня оборвать, а я болен... Вы ведь не скажете: «это мне неудобно», а напишете: «что такое Сютаев, и что такое вы сами и ваши сочувствия! и т. д. и все г-но собачье, — есть церковь и призванные и памятники Христу» и т. д. И буду я за мое незлое желание отработан, как вор на ярмарке... Как думаете?.. Если это вам неудобно, то пренебрегите мною просто оставлением моих строк без ответа» *.

Не менее других щекотлив оказывается и былой «Незнакомец».

Некролог «проспал» 37 лет. Он сумел появиться в печати в 1929 году на страницах 330—331 книги «Труды Толстовского музея. Лев Николаевич Толстой», под заглавием, данным ему его автором, — «Новопреставленный Сютаев» и за подписью — «Н. Лесков».

На общественно-уголовном горизонте вырастает скандальный судебный процесс: грандиозная подделка завещания В. И. Грибанова, в просторечии — «дело о грибановских миллионах».

Организация в восемь человек. Возглавляет ее великолепная фигура графа А. В. Соллогуба, сына автора известной повести «Тарантас». Участвуют в шайке — нотариус при московском окружном суде, дворянин С. А. Чиколини, дворянин Е. Ф. Буринский, присяжный поверенный В. В. Фишер и т. д.

Лесков загорается интересом к этому «делу» и всего более, может быть, общественным положением половины

---

* Пушкинский дом.

его участников. Событие представляется ему подтверждающим картины разложения русского общества, даваемые в почти законченном его рассказе «Зимний день» [155].

Полномочный и самодержавный хозяин либерально-консервативного (по определению Энгельса) «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич, заинтересовавшись этим рассказом, предусмотрительно допускает, однако, возможность непомещения последнего на страницах своего выходящего в красноватой обложке журнала. «Если бы я и вынужден был отказаться от напечатания его в журнале, то, конечно, по каким-нибудь обстоятельствам, не зависящим от меня или стоящим выше меня. В одном только я уверен и теперь, а именно, что я во всяком случае лично испытаю удовольствие при чтении вашего нового этюда», — завершал он свое письмо от 29 апреля 1894 года *.

Удовольствие оказалось не из больших, и 9 мая он возвращает рукопись при записочке:

«Многоуважаемый Николай Семенович, конечно, процесс гр. Соллогуба придает много вероятия тому, что творится и говорится в вашем «Зимнем дне»; но у вас все это до такой степени сконцентрировано, что бросается в голову. Это — отрывок из Содома и Гоморры, и я не дерзаю выступить с таким отрывком на божий свет. С искренним почтением и преданностью ваш *М. Стасюлевич*» **.

На этот раз обробел журнал, строго осудительно говоривший в былые годы о Лескове, уколовший его в 1883 году в связи с увольнением его от службы «без прошения» и не решающийся ныне печатать очерк, вскрывающий язвы общества.

На другой же день, 10 мая, Лесков пишет В. А. Гольцеву: «Посылаю сегодня в редакцию <«Русской мысли».— *А. Л.*> давно обещанную рукопись. Называется она «Зимний день». Содержание ее живое и более списанное с натуры. Как я чувствовал «Некуда», — так будто предощущал и «соллогубовское сосьете». Счетом это будет теперь уже восьмая вещь, из всех мною вам предложенных и напечатанных потом в других изданиях...» ***

---

* ЦГЛА.
** Там же.
*** «Голос минувшего», 1916, № 7—8, с. 409—410.

Неисповедимой игрой настроений, положений и случая оправившаяся от предыдущей робости «Русская мысль» дерзает опубликовать перепугавший Стасюлевича «Содом» *.

Поощренный этою смелостью московского журнала, Лесков заводит с ним речь о новом прехитростном своем детище. 16 ноября 1894 года в письме к Гольцеву он говорит: «Повесть «С болваном» <сокращение одного из намечавшихся заглавий для будущего «Заячьего ремиза». — *А. Л.*> еще раз прочту по чистовой рукописи и пришлю вам к половине декабря. Если хотите, можете начинать с нее новый год <...> В повести есть «деликатная материя», но все, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Колорит малороссийский и сумасшедший. В общем это легче «Зимнего дня», который не дает отдыха и покоя. Если бы не совпавшие обстоятельства, он бы надоел. Литература молчит. «Игра с болваном» не так дружно «жарит и переворачивает», как говорят о «Зимнем дне». В разговорах литературщики хвалят «Зимний день». И прошел он все-таки молодцом: вы, братцы, показали, наконец, мужество. Дай бог его вам еще более» **.

Но, несмотря на теплую похвалу обрадованного писателя и на дружеский его призыв к дальнейшему проявлению мужества, последнего у редакции «Русской мысли» не нашлось.

«Эээх!.. — с досадой думает Лесков. — Предложить Стасюлевичу, что ли?..»

Делаются шаги, в результате которых 8 января 1895 года ему приходится писать владельцу «Вестника Европы»:

«Извините меня, глубокоуважаемый Михаил Матвеевич, что я не сразу чиню исполнение по вашему письму. Рукопись была готова, а я все не слажу с заглавием, которое мне кажется то резким, то как будто мало понятным. Однако пусть побудет то, которое я теперь поставил: то есть «Заячий ремиз», то есть юродство, в которое садятся «зайцы, им же бе камень прибежище». Писана эта штука манерою капризною, вроде повествований Гофмана или Стерна с отступлением и рикошетами. Сце-

---

* «Русская мысль», 1894, № 9.

** «Памяти Виктора Александровича Гольцева». М., 1916, с. 253.

на перенесена в Малороссию для того, что там особенно много было шутовства с «ловитвою потрясователей, або тыіх що троны шатаютъ», и с малороссийским юмором дело как будто идет глаже и невиннее. — Может быть, лучше всего назвать именем героя или «болвана», то есть «Оноприй Перегуд из Перегудов: его жизнь, опыты и приключения»? Если вещь вам понравится, то о заглавии сговоримся» *.

И новые ужасы, новые опасения. Рукопись возвращается автору, который 8 февраля пишет в последний раз:

«Многоуважаемый Михаил Матвеевич!

Есть поговорка: «пьян или не пьян, а если говорят, что пьян, то лучше спать ложись». Так и я сделаю: «веселую повесть» я не почитаю за такую опасную, но *положу ее спать...* Это мне уже за привычку: «Соборяне» спали в столе три года, «Обозрение Пролога» — пять лет. Пусть поспит и эта. Я вам верю, что поводы опасаться есть, и, конечно, я нимало на вас не претендую и очень чувствую, как вы хотели мне «позолотить пилюлю». Подождем. Возможно, что погода помягчеет. Искренно вам преданный

Н. Лесков» **.

Дождаться помягчения погоды Лескову не пришлось. Рассказ «проспал» почти четверть века.

Беседуя с немногочисленными своими посетителями и «окидывая памятью все, что пережито и перечувствовано» за тридцать пять лет литературной работы, Лесков любил говорить, что *не он* пошел к кому-то, а многие, прежде осуждавшие и обегавшие его, *пришли к нему.*

«Навечное» отвержение от литературы «прирожденного писателя» с никем и никогда не отрицавшимся огромным дарованием — наперекор натужным о том заботам многих критических оракулов — не удалось.

«Топили и *не утопили* с головою»[156], — подытоживал Лесков.

Беспристрастный историк литературы об этом едва ли пожалеет. Увы, у самого писателя ото всего этого немало «засело в печенях».

---

* Пушкинский дом.
** Пушкинский дом.

А могло и не сидеть, счастливо сказавшись на всей писательской судьбе Лескова, на всем его творчестве и литературном его наследии.

Только совсем к старости Лескова стало приходить начинавшее примирять с перенесенным когда-то, признание.

Первым его выразил читатель.

Упорно отставали приобщиться к нему «братья писатели» и особенно из стоявших во главе влиятельных повременных изданий.

Время приносит много нового и неожиданного: Лескова ищут многие из отрицавших его, и все чаще уже он оказывается им труден и неудобен по смелости его устремлений.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

В ЗЕНИТЕ ЧТИМОСТИ И НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ

1889—1895

В том, что я «сделал недостаточно», — ты прав.

Из письма Н. С. Лескова к Н. П. Крохину[1].

13 декабря 1889 г.

ГЛАВА 1

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Годы шли. Истекло третье десятилетие писательства. Ширился и углублялся его след. Не один раз вставал перед Лесковым заветный для каждого писателя вопрос об итоговом издании своих произведений.

Собратья по перу несравнимо меньшего значения один за другим выпускали «полные собрания» своих сочинений. Опередил даже Лейкин[2].

Лескову и тут выдавалось обидное отставание.

Дружное и стойкое замалчивание или умаление его дарования критикою не прошли даром.

В успехе издания Лесков не сомневался. Он верил в читателя, с которым его уже *нельзя было поссорить.* Но средств на такое издание у него не было. Идти на грабительские или непрочные предложения не хотелось. Тем более что он, по дорого стоившему ему опыту, знал личную свою непрактичность в ведении дел с издательскими жохами.

Это угнетало нравственно и продолжало наказывать материально уже стареющего, но все еще не обеспеченного трудом всей своей жизни писателя.

После появления «Соборян» А. П. Милюков, уклоняясь от поверхностной, газетной критической статьи об этом произведении, в пространном письме Г. П. Данилевскому исповедовался: «Я, как вероятно и многие, ждал не просто хорошего романа, но чего-то очень и очень крупного. Глубоко художественный «Дневник Туберозова», полные силы и свежести «Старые годы в селе Плодомасове», несравненные плодомасовские карлики — все это давало право на такое ожидание. Искренно гово-

рю вам, что я ждал появления романа, как светлого праздника нашей литературы, когда мы «друг друга обнимем» и поздравим с великим произведением, когда и враги наши скажут внутренно: ты победил нас, Галилеянин! Но роман напечатан, и мой светлый праздник вышел как-то не светел. «Божедомы» не оправдали моих ожиданий. И это не потому, чтоб в них талант Лескова умалился и ослабел: нет, тут и новые сцены, как, например, привал попа Савелья в лесу, приезд Термосесова к акцизничихе, смерть протопопа и хлопоты бесподобного Ахиллы о его памятнике, по моему мнению такие страницы, под которыми не задумался бы подписать свое имя Диккенс. Но... кому много дано от бога, с того больше взыщется и людьми... Взыщется с автора, по моему крайнему разумению, за то, что в романе нет стройной целостности, присущей произведению, возникшему и созревшему органически из зерна единой мысли, а не внешней прилепкой эпизодов для поддержания связи, и за то, что чудный образ боярыни Плодомасовой, так типично и грандиозно поставленный в «Старых годах», обратился в бесцветный силуэт и бесподобные карлики сделались почти ненужными, и за то, что исчезла чудная, пластическая фигура раскольницы Платониды и стерлись краски с симпатичного Пизонского, и за то, что многообещавший Туганов сменился ненужными Дарьяновым и Сербиновой, и за то, что возня Препотенского с костями слишком растянута и эксцентрична, и пр. Словом, роман вышел не таким, каким должен был выйти. Конечно, Николай Семенович скажет на это: хорошо вам толковать, не принимая в расчет ни истории моего романа при скитании его по мытарствам нашей журналистики, ни того, что я не владею состоянием Толстого и Тургенева, а живу трудом и не могу целые годы сидеть над двадцатью листами. И он, конечно, в этом отношении прав... Знаете ли что? Если б я был какой-нибудь концессионер Поляков и при таком достопочтенном положении не утратил любви к литературе, я дал бы Лескову двадцать тысяч и сказал: «Отдохните; а потом потрудитесь над вашим романом года два-три и отделайте его, ничем не стесняясь!..» Или я сильно ошибаюсь, или наша литература приобрела бы великое произведение» *.

* Письмо от 31 октября 1872 г. — «Русская старина», 1904, № 6, с. 623—624.

Меценатно настроенных доброхотов, о которых скорбел Милюков, среди наших миллионеров не находилось. Железнодорожный концессионер и банкир А. Л. Штиглиц мог делать подарки в сорок тысяч своему любимому камердинеру. Облегчить какому-нибудь литератору его издательские затруднения ссудой из «божеских» процентов десяти или пятнадцати тысяч — ни одному из этих деятелей, даже шутки ради, в голову не приходило.

И вдруг довольно удобная комбинация, капризно и малоожиданно, удалась с былым открытым врагом, позднее далеко не другом, но человеком, разбиравшимся в литературных ценностях, знавшим книжный рынок и, ко всему, исполненным удивительной потребности во взаимоистязующем, предпочтительно письмовом, общении с Лесковым. Случайно оброненное, не раз потом замалчивавшееся и подвергавшееся явной переоценке предложение шло от Суворина. Условия были не совсем товарищеские, но и не слишком купецкие.

Как это зародилось, тягуче вызревало, во что стало и чем разрешилось, всего лучше расскажут письма Лескова.

Суворину, 14 марта 1887 года, в ответ на что-то или в развитие чего-то, затронутого в недавней беседе: «Я *доволен* моим положением в литературе: меня все топили и не утопили с головою; повредили много и очень существенно — в куске хлеба насущного, но зато больше никто уже повредить не может... Сладок этот покой, но издание дало бы мне возможность хоть год не писать как можно больше и наскоро, и я, быть может, написал бы что-нибудь путное. Но вредить легче, чем помочь. И есть судьба: старый Вольф заключил со мною условие и умер в тот день, когда мы должны были его подписать. Новый Вольф предпочел издать Боборыкина и хорошо сделал, потому что того все-таки кое-кто поддерживает... Тяжел мой хомут, — совсем оттер шею» *.

Ему же, 11 февраля 1888 года: «...критики нам ничего не могут сделать ни к добру, ни к худу. Оно так и есть. Я знаю для себя только один существенный вред, что до сих пор не мог продать собрания сочинений. Это дало бы мне возможность год, два не печататься и написать что-нибудь веское. Изданы уже все, кроме меня, а меня и читают и требуют, и это мне нужно бы не для славы, а для

---

* Пушкинский дом.

покоя. В этом отношении ругатели успели меня замучить и выдвинуть вперед меня Сальяса, Гаршина, Короленку, Чаева и даже Лейкина. Слова же в помощь мне — ниоткуда нет, да теперь оно вряд ли и помогло бы делу, важному для меня только с денежной стороны. Но я и с этим помирился и приемлю яко дар смирению нашему. А экономически это все-таки меня губит» *.

Со стороны Суворина, письма которого к Лескову были ему все возвращены последним и, видимо, уничтожены им, наступает перемежающееся колебание, замалчивание всего острее интересующего Лескова дела. Только через два с половиной месяца, в которые корреспонденты успели обменяться не менее восьми раз письмами по другим вопросам, многоимущий издатель снова обнадежил безденежного писателя, горячо откликнувшегося 22 апреля 1888 года:

«На последнее письмо ваше, Алексей Сергеевич, я нашелся бы хорошо отвечать, если бы дело шло не обо мне, а о другом писателе. Я бы показал вам, как я понимаю ваш поступок и как ценю со стороны его порядочности и доброй услуги человеку, но как дело идет обо мне, то мне остается просто и коротко благодарить вас за то серьезное дело, которое вы вызываетесь для меня сделать, и затем я должен позаботиться, чтобы вы не имели ни малейшего повода пожалеть о том, что вызвались оказать мне содействие к изданию моих сочинений. Я принимаю вашу помощь; благодарю вас от всего сердца и буду так же осторожен и честен, как был честен всегда в денежных делах с людьми. — История с полным собранием такова: Вольф (старик) купил издание у Боборыкина по 10 рублей за лист, за 5 тысяч рублей и в то же время предложил мне ту же цену. Я не отдал, более потому, что человек этот казался мне всегда неприятным и тяжелым в делах. Перед смертью своей он снова заговорил об этом, но ранее конца переговоров умер. Потом было предложение Мартынова, — на тех условиях, как издан Григорович, — я на это не пошел по недостатку доверия к состоятельности фирмы. В этих последних днях один молодой писатель, издаваемый Панафидиным, пришел ко мне с вопросом, не желаю ли я, чтобы мои сочинения издал Панафидин на тех же условиях, как изданы им Гаршин и Ясинский? Я оставил за собою вре-

* Пушкинский дом.

мя «подумать». Условия их те: Панафидин издает все на свой счет и выбирает расходы из продажи первый с прибавкою книгопродавческих 30 %. Кто на себя несколько может надеяться — для того эти условия не хуже 10—15 рублей полистной платы с отчуждением книг в собственность издателя. Я на себя немножко надеюсь, ибо сочинения мои в общем составе их давно спрашиваются, и я верю, что они должны пойти, и после покрытия расходов издателя могут оставить мне 1 тысячу экземпляров в мою пользу. Следовательно, мне такая комбинация возможна. Но я все-таки и этакую комбинацию всегда предпочел бы иметь с вами, а ни с кем иным, ибо, хотя у вас издание выйдет и дороже, но оно будет сделано лучше и без всякой издательской «находчивости». Поэтому я сам хотел просить вас сделать для меня издание на коммерческих основаниях, то есть издать на ваш счет; выбрать ваши расходы и книгопродавческие проценты и потом все остальное, очищенное издание выдать мне. Но просить совестно, и я не умею, хотя я *никому* не должен и никто на расчет со мной пожаловаться не может. Вы были милостивы — заговорили сами, и я вас прошу: издайте мои сочинения. Угодно вам взять издание в собственность — вот какая была цена: Вольф давал 3 500 р. (за 350 листов) — я просил с него не по 10, а по 15 р. (на 5 р. дороже Боборыкина). Около этого я желал бы взять и теперь (за 400—420 листов). — Если это удобно, то платеж денег может быть рассрочен как угодно. Если же вы не хотите издать меня первым полным автором от вашей фирмы, — то издайте так, как предлагали Мартынов и Панафидин — то есть за мой счет с залогом издания вам до погашения ваших расходов. И этим я тоже буду доволен и сочту это с вашей стороны за добрую дружескую помощь. Я знаю, что у вас мое издание пройдет лучше и во всяком случае дело будет сделано честно и безобидно. Денег я под издание не буду просить никаких. В этом я — слава богу — не нуждаюсь. Издание же надо выпустить зимою, сразу, все целиком, и потом его можно дополнять в том же формате. Но о технике издания будем говорить после: это дело второе, а первое принцип: будет оно мое или ваше? Я предпочту ту из этих двух комбинаций, которую изберете вы, — и желаю одного — считать это дело конченным. Относительно распланировки издания я сам буду искать и просить ва-

шего совета и указаний, так как вы понимаете в этом гораздо больше меня» *.

В ответ на это взволнованное письмо — глубокое молчание. Однажды, совсем по другому случаю, Лесков писал этому же своему «благоприятелю»: «А вам надо бы привести словеса из тургеневских «Певцов»: «А ты голосом-то не виляй»... А вы зачем виляете?» ** Но не «вилять» или не колебаться Суворин не умел. Да и окружавшие его «шмели», несомненно, «гудели» дружным роем. Зная все это, Лесков не выдерживает и 6 мая спешит полностью снять с обуреваемого сомнениями и нерешительностью Суворина какую-нибудь связанность сделанными уже предложениями:

«Аполлоний Тианский, глядя на солнце, сказал окружавшим его: «вижу чрезвычайное, из чего может не выйти самого обыкновенного». Не нахожусь ли и я в подобном созерцании? Вы ничего не говорите, Алексей Сергеевич, а мне неловко вопрошать вас, хотя догадываюсь, что наступившее безмолвие должно выражать перемену в тех намерениях, о которых вы дали повод мне говорить с вами. Более всего смущает меня то, что это, вероятно, тяготит и вас, и вы, быть может, сожалеете о своей поспешности и затрудняетесь сказать мне об этом. Вот по этому поводу я и решаюсь прервать тягостную паузу простою и задушевною просьбою к вам — быть со мною откровенным без всякого стеснения, ибо *всякий* ясный и решительный ответ для меня лучше того недоразумения, в каком я нахожусь теперь, при некоторых других затруднениях. О том, что мне писали вы и что я писал вам, знаем только мы с вами двое. По крайней мере, я об этом никому ни одного слова не говорил (как всегда) и не считаю себя вправе ни за что быть на вас ни в малейшей претензии. Не посердитесь на меня, что я и теперь обращаюсь к вам письменно, а не лично. Я это делаю против с е б я, — я знаю, что при личном разговоре с вами я, наверное, много бы кое в чем выиграл у вас по тем сочувственным движениям, которые вы обнаруживали, но я этого-то и не хочу... Я не хочу, чтобы вы о чем-нибудь сожалели и раскаивались после, так как это отравило бы мое спокойствие, без которого мне очень

* «Письма русских писателей к А. С. Суворину», с. 74—76,

** Письмо не датировано; видимо, январь 1888 г. — Пушкинский дом.

трудно. Заочный разговор на бумаге, не страдающей от впечатлительности, в таких делах лучше. Не стесняйтесь тем — что со мною и как ко мне, справедливы или нет, а скажите деловым образом: быть чему-либо или не быть, чтобы я смотрел — как мне надлежит поступать» *.

Очевидно, Аполлоний Тианский и великодушное разрешение всех уз превозмогают колебания, и вопрос находит себе окончательную развязку, о чем 9 мая отец пишет мне в Киев: «И еще утешь ее <мою мать. — *А. Л.*> тем, что мы поравнялись в положениях, так как у меня, при полном отсутствии имущества, является 18 тысяч долгу, ибо я *сам* предпринимаю издание «собрания» моих сочинений, так как это по соображениям кажется выгоднее, чем продать право. По смете требуется 18 тысяч, но может потребоваться и более на 1—2 тысячи. — Кредит этот я беру у Суворина за 10 % на все время до расчета. Прежде издадим «библиографию» всего мною написанного, так как я сам не помню, что и где мною помещено. Библиография уже печатается. В этом году думаем выпустить 3 тома, а в два года кончить все издание. Я берусь за это дело с хорошими упованиями» **.

А 21 июня того же года мне сообщается дополнительно: «Суворин дал мне кредит 11 тысяч за 10% единовременно, — что можно считать одолжением, хотя, конечно, не очень большим. — Что выйдет — судить трудно, но во всяком случае думается, что собственное издание должно принести более, чем продажа его купцу, который не без пользы бы стал рисковать капиталом. По смете можно ждать выгод около 10—12 тысяч. — Издание может быть готово в два года» ***.

Библиография была составлена П. В. Быковым дважды: сперва по 1887 год, а потом по 1889 год включительно[3]. Первой было напечатано сто экземпляров, из которых поступило в 1889 году в продажу пятьдесят, а вторая приложена к десятому тому собрания сочинений, вышедшему в 1890 году.

Тронутый ценной услугой рачительного библиографа, Лесков горячо поблагодарил его в газете **** и пода-

---

* «Письма русских писателей к А. С. Суворину», с. 77—78.

** Архив А. Н. Лескова.

*** Там же.

**** Статья «Товарищеский подарок». — «Новое время», 1888, № 4525, 3 октября[4].

рил перередактированный им когда-то старый свой рассказ «Житие одной бабы» *, с измененным заглавием — «Амур в лапоточках» **.

На одном из первых экземпляров библиографии сочинений автор их пишет: «Алексей Сергеевич Суворин — мой литературный товарищ с первого года нашего литераторства — дал мне возможность приступить к изданию моих сочинений. Для этого потребовался настоящий указатель моих работ. — Ценю помощь Алексея Сергеевича и посылаю для его библиотеки на память этот экземпляр указателя. — 1 окт. 88 г. *Н. Лесков»* ***.

Дело начато. Дальше в «Новом времени» печатается объявление об открытии подписки на общее собрание сочинений Н. Лескова, в десяти томах, по цене в двадцать пять рублей.

В ближайшее же воскресенье, утром, в кабинет на Фурштатской входит, загадочно улыбаясь, Крохин и, не здороваясь, молча кладет на письменный стол перед сидящим за ним Лесковым какой-то странного формата листочек.

— Что это? — недоумевая, спрашивает хозяин.

— Прочти! — коротко отвечает гость.

Зная, в чем дело, но свято храня заговорщицкую тайну, молчу. Настороженно, с любопытством, следят за развитием непонятной сцены присутствующие.

Опуская глаза, Лесков берет в руки листок и остро всматривается. Лицо его начинает тихо светлеть... Глубоко вздохнув и нервно поведя раз-другой головой, он встает, подходит к зятю и крепко его целует. Тот сияет. Лесков отходит к окну и молча смотрит на улицу. Минуту-другую спустя он оборачивается и, обведя всех увлажненным взором, взволнованно говорит:

— Нет!.. Каково!.. Вот подлинно дружеский поступок! Вот истинная деликатность! Ты меня до глубины души, до слез растрогал...

Не чаявший такого оборота, скромный Николай Петрович, переконфузившись, хочет что-то опровергнуть, но Лесков, остановив его жестом, продолжает:

— Можете себе представить, что сделал этот муж моей родной сестры и мой старый, испытанный друг? Он

* М. Стебницкий. — «Библиотека для чтения», 1863, № 7 и 8, с. 1—60 и 1—68.

** Изд. «Время», Л., 1934.

*** Архив А. Н. Лескова[5].

сумел *первым* подписаться на мои сочинения. Он знал, что я ему их, конечно, подарю. Но он этого *не захотел допустить!* И вот она — эта *первая квитанция,* выписанная на мое издание! Ну скажите на милость, можно ли поступить трогательнее и деликатнее?! Можно ли лучше и тоньше выразить доброжелательство? Я так взволнован, что не в силах выразить всех моих чувств! Дай мне еще раз ото всего сердца обнять и расцеловать тебя, дорогой мой Петрович!.. Да! Так найтись, как ты нашелся, — может только человек нежной и изящной души. За нее я тебя и люблю, как мало кого. Ты понимаешь красоту поступков...

Начинают выходить первые тома. Тем временем Крохины переезжают в Витебск. 6 апреля 1889 года Николаю Петровичу посылается донесение: «Издание идет помаленьку и не худо. В месяц набежало до ста подписчиков. Книгопродавцы подписываются по 10 экземпляров, а один (Мартынов) — 25 экземпляров. Не знаем еще, что сделали Москва, Харьков и Одесса. Вообще тысячи 2 я уже возвратил, а остается всего еще тысяч 14... «Не робей, воробей!» Я и не робею» *.

А 10 июля и его жене, Ольге Семеновне: «Подписчиков у меня 200 (на 4000 рублей); портрет не успеет к VI тому, потому что Матэ его изгадил. — Суворин был прав: надо было заказать Панемакеру в Париже. Было бы скорее, дешевле и лучше...» **

Невдолге эту, может быть не слишком еще нестерпимую, досаду сменяет настоящее, всегда казавшееся возможным, испытание.

Еще до начала издания общего собрания сочинений, при печатании в суворинской «Дешевой библиотеке» книжечки с рассказом «Инженеры бессребренники», Феоктистов, теперь начальник Главного управления по делам печати, злонамеренно направляет последний в «духовную цензуру». Это грозит запретом. Встревоженный Лесков 24 ноября 1888 года пишет Суворину:

«Поступите, Алексей Сергеевич, как вам угодно и как удобно. Я на все согласен. — Цензурное преследование мне досадило до немощи. Вы знаете, за что это? Это все за две строки в «Некуда» назад тому 25 лет ***. Не

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Там же.

*** В действительности Феоктистов был колко и обидно затрагиваем Лесковым несколько раз в статьях и особенно рас-

много гордости и души у этого человека — а другие ему «стараются». У меня целый портфель запрещенных вещей и 5 книг «изъяты». Надо силу, чтобы это выдержать при всеобщем и полном безучастии, как в России. Что вы скажете — я на то согласен» *[6].

В отношении «читателя», а с тем и материального успеха издания, упования Лескова были тверды. Но на душе не могло быть покойно.

Многократно испытанные цензурные погромы, в виде запрещения статей и очерков в рукописях, вырезывания их из готовых номеров журналов или изъятия его книг из библиотек, невольно внушали серьезные опасения за общее собрание, в которое частично должны были войти запретные и полузапретные произведения.

Тревожился не только сам автор, но и «кредитовавший» его Суворин. Велось обсуждение стратегических приемов распределения произведений по томам в целях усыпления бдительности насторожившегося уже врага.

Для маскировки первым в шестом томе ставился безопасный «Захудалый род», но дальше шло одно другого страшнее: «Мелочи архиерейской жизни», «Архиерейские объезды», «Епархиальный суд», «Русское тайнобрачие», «Борьба за преобладание» <в синоде. — *А. Л.*>, «Райский змей», «Синодальный философ», «Бродяги духовного чина», «Сеничкин яд», «Приключение у Спаса на Наливках» <первоначально «Поповская чехарда и приходская прихоть». — *А. Л.*>. Не заглавия, а сплошной вызов.

Приходилось удивляться, на какое снисхождение мог тут рассчитывать автор, да и достаточно искушенный в цензурных делах Суворин.

На том налагается арест.

Драма находит себе яркое отражение в ряде писем Лескова.

5 сентября 1889 года сообщается В. А. Гольцеву: «Подоспела досада, которая не дает мне духа, чтобы говорить о чем бы то ни было весело и пространно:

пространенно и оскорбительно в романе «Некуда»[7]. Мстительному человеку было за что свести счеты. См.: «О литераторах белой кости». — «Русский инвалид», 1862, № 15, 20 января; «С людьми древлего благочестия». — «Библиотека для чтения», 1863, № 11, с. 6—7; «Некуда», ч. II, гл. 7, 11 и 27; передовая статья в «Северной пчеле», 1862, № 80, 23 марта.

* Пушкинский дом.

благодетельное учреждение арестовало VI том собрания моих сочинений, состоящий из вещей, которые все были в печати. Это том в 51 лист. Вы можете представить состояние моего духа и за это простить мне мое молчание. <...> Уезжать теперь некогда и не до разъездов. Какое терпение надо нашему бедному человеку!» *

19-го того же сентября, Н. П. Крохину: «Я болен очень, и тяжело, и опасно, но не от того, что я просидел лето в Петербурге, а от непосильной, безотдышной работы и досад и огорчений. У меня арестован 6-й том, и это составляет и огромный убыток, и досаду, и унижение от сознания силы беззакония» **.

5 октября того же года, Л. Б. Бертенсону: «Попы толстопузые поусердствовали и весь VI том мой измазали. Исчеркали даже роман «Захудалый род», печатавшийся у Каткова <...> Вот каково «муженеистовство». Это то, что Мицкевич удачно называл: «kaskady tyranstwa» <...> Какие от этого облатки и пилюли принимать надо? <...> Что за подлое самочинство и самовластие со стороны всякого прохвоста!» ***

Экземпляр этого тома был затем подарен Лесковым Бертенсону с надписью: «Божиим попущением книга сия сочтена вредною и уничтожена мстивостью чревонеистового Феоктистова подлого ради угождения Лампадоносцеву» ****.

Того же дня, Гоkьцеву: «В VI томе «толстопузые», говорят, все измарали, даже «Захудалый род», печатавшийся у Каткова в «Русском вестнике» *****.

Через восемь дней, 13-го числа, Суворину: «Больше всего оживляет меня ваше участие. Его я не забуду и за него благодарю. А что выйдет — к тому отношусь спокойно и ничего хорошего не жду. Эти люди и злы, и подлы, и без вкуса. Я не схожусь с вами во взгляде на них и очень боюсь, что я их понимаю верно. Но будем делать, что можно. Останавливаться нельзя, а напротив, надо поспешать — дать в этом году еще два другие тома — 7 и 8» ******

---

* «Голос минувшего», 1916, № 7—8, с. 402—403.

** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

*** Лев Бертенсон. Из воспоминаний о Николае Семеновиче Лескове. — «Русская мысль», 1915, № 10, с. 90.

**** Там же.

***** «Голос минувшего», 1916, № 7—8, с. 403.

****** Пушкинский дом.

20-го того же октября, ему же: «Вообще я на все согласен, как вы хотите. Я не думаю, чтобы вышло много хорошего, но разделяю ваше мнение, что после известного нам разговора — лучше помолчать. — Того же самого буду держаться и я <...> Я так болен, что мне все это сделалось как чужое. Я очень благодарю вас за обещание защищать меня от обиды. — Это мне очень полезно и делает честь вашему сердцу. Просить за себя очень тяжело и иногда вовсе непосильно, но заступиться за другого — иное дело. От этого человек с справедливостью в душе не станет удаляться. На большое письмо ваше я мог бы ответить вам многое и, может быть, показал бы, что вы не совсем правы, но думаю — для чего это делать? Что вам многое не нравится в том, что я написал,— нет ничего странного. Я писал 30 лет и, вероятно, написал много дурного. Люди, гораздо более меня одаренные, и те недовольны собою, и я собою очень недоволен. Много дурного. Но напоминать мне об этом часто и в то время, когда печатается издание и претерпевает препятствия, а я болен болезнью, которая, вероятно, не пройдет, — это мне кажется напрасно, жестоко и некстати... По-моему, это все равно, что позвать человека к своему хлебу-соли и попрекать его, или сказать: «Сядь ты где-нибудь так, чтобы я тебя не видел: я ведь едва сношу твое присутствие». Раздражение, которое вы обнаруживаете, очень подобно этому, и я решительно не могу придумать ничего для того, чтобы дело шло иначе. Знаю одно, что я тут ни в чем не виноват <...> Затем ничего больше не скажу, кроме того, что мне очень тяжело видеть раздражение во всех ваших ко мне отношениях и что постоянство ваше в этом настроении меня не обижает, но огорчает: я не хочу давать вам лишнего повода смущать покой вашей больной и самоистязующей души. Я все 30 лет дорожил миром и приязнью с вами и никогда не искал от этого никакой корысти. Вы это знаете. Я ничего себе не выкраивал» *.

7 декабря 1889 года небольшое деловое письмо к Суворину Лесков заканчивает припиской: «Если вы действительно желаете переговорить со мною, то черкните, когда зайти к вам; а то придешь не вовремя, — вы сердитый, а я больной, и ничего у нас хорошего не выходит. А поговорить и мне надо» **.

---

* Пушкинский дом.

** Там же.

Каково вообще было, при таких свойствах суворинского нрава и воспитанности, вести дела с этим человеком — становится особенно ощутимо и ясно из следующего, целиком приводимого письма к нему Лескова от 17 октября 1889 года:

«Достоуважаемый Алексей Сергеевич.

Вчера вечером я приходил к вам, чтобы поблагодарить вас за то, что вы посетили меня в болезни, и вместе с тем поговорить о деле — о 8-м томе, о котором я вам писал, а вы мне ничего не ответили. Я стесняюсь обременять вас письменными вопросами, но и попытки личных разъяснений выходят не легче. Я, по-видимому, попал вчера не вовремя: вы, вероятно, не расположены были видеть посторонних. Я извиняюсь и сожалею, что выбрал так неудачно время, но я не мог знать, как выбрать лучше. Более я ничего не могу отнести к моей вине, так как между добрым вечером, когда вы меня навестили, и вчерашним вечером я не сделал ничего дурного ни против общественной нравственности, ни против вас или дорогих вам лиц. Иначе не должен думать, как я пришел не вовремя, а когда бывает время — я не знаю, а дело есть, и его надо кончить. Позвольте об этом писать, будьте терпеливы, чтобы прочесть эти строки. — Дело необходимо так или иначе кончить, и для этого надо говорить, а говорить с вами при переменчивости вашего настроения я не умею, хотя очень бы желал уметь. Вы меня не сочтите лжецом, если я скажу вам, что я очень болен, но что и не больного меня люди никогда не лишают доброго приема. Меня, может быть, не любят — это возможно с каждым, но со мною всегда обходятся хорошо, и я имею на то право: я себя так веду: я никому ничего не должен и ни у кого не прошу взаймы — не касаюсь чужой чести и вежлив со всеми. Я знаю, что меня не любят одни, но другие любят, и все не могут порицать меня в моей честности. Вы едва ли можете назвать мне мое бесчестное дело против кого-нибудь и особенно против вас. Взять чужие деньги и «не знать», будешь ли их платить, — это дело бесчестное. Я такого дела в жизнь мою не делал ни против вас и ни против кого. Вы вчера сказали мне при двух людях (нравственная доблесть которых не подлежит моей критике, но не заставляет меня и чувствовать себя при них приниженным), что вы «печатаете мне книги в долг

и *не знаете: заплачу я вам или нет».* Вы так сказали даже тому бесчестному человеку, который промышляет своею женою... Состояние вещь хорошая, особенно когда оно приобретено трудом (как ваше), но большое несчастие для человека, если состояние лишает его справедливости и уважения к достоинству другого человека. Я тоже трудился, и не меньше вас, и, может быть, сделал ошибок не больше, чем вы, — я всегда к вам и к дому вашему в глаза и за глаза сохранял отношения самые точные и безупречные, но я беден... Неужто вы *за это* хотите показать мне неуваженье, какого *никто* мне но показывает? Сожалею об этом и не хочу сам к вам изменяться, но и не вижу надобности продолжать ваше раздражение. Дело о моих изданиях в ряду ваших дел по ценности своей не важно и *не представляет для вас никакого риска.* Вы совершенно правы, сказав, что вы «не потеряете ни одной копейки». Вы ее действительно не потеряете. До сих пор подписка идет почти параллельно затратам, и собранные деньги все у вас: я к ним руки не протягивал. Вы не рискуете ничем в денежном отношении, и мне не нужно ничего «отдавать» вам. — Но, быть может, само издание неприятно вам, как дурная литература... вы имеете лучшее мнение об архиереях (Дмитрий Толстой говорил мне, что я имею о них «еще *слишком* хорошее мнение»). Пожалуйста, не будем из-за мнений ссориться у сходов к могиле! Я чудак и, может быть, дурак, но я не ищу ничьего поощрения, чужие мнения терплю и своих никому не навязываю. Мне кажется, что я пишу то, что должно, и во всяком случае — то, что я чувствую искренно. Я с этим жил и в этом хочу умереть. *Я не боюсь потерять ничего* <подчеркнуто Лесковым дважды. — *А. Л.*>, да и не боюсь никого, кроме того, кого боится Бисмарк <бога. — *А. Л.*>. Это уж так я привык и таким издохну. Но вы позвольте мне поговорить с Алексеем Петровичем <Коломниным, зятем Суворина и юрисконсультом «Нового времени». — *А. Л.*>, чтобы мы могли найти исход из дела, так как обижать меня тоже нет ни нужды, ни особого удовольствия. Всегда вам преданный

Н. Лесков» *.

В первоначальной раздраженности Лесков определял грозивший ему убыток в три тысячи рублей. Черткову

* Пушкинский дом.

он однажды написал даже: «Это грозит мне разорением» *.

Весь том был в сорок шесть листов, из которых тридцать занимали цензурно опасные вещи, а шестнадцать «Захудалый род». В результате переговоров Суворина с Феоктистовым тридцать листов остались бесповоротно запрещенными к выпуску, а шестнадцать были освобождены. К ним решено было «подпечатать» новых; семнадцать. Лист обходился в пятьдесят рублей. Чистый убыток сводился к восьмистам пятидесяти рублям.

В написанном, но не изданном в 1884 году рассказе из цикла «Заметки неизвестного», под заглавием «О Петухе и его детях», в его развязке, обособленной подзаголовком «Простое средство», автор утешает: «Но когда совсем исчезает одна надежда, часто восходит другая...» Там же в уста умудренного жизнью старого приказного автором влагается благое поучение: «Зачем отчаиваться, — отчаяние есть смертный грех, а на святой Руси нет невозможности» **.

Но наставлять в добрых правилах легче, чем самому им следовать.

И в самом деле — негаданно развязывается казавшийся вмертвую затянутый другой цензурный узел: «Зенон златокузнец», запрещенный «Русской мысли» в Москве, радением А. К. Шеллера, под измененным заглавием разрешается «Живописному обозрению» в Петербурге[8]. Публикация его спасает автору тысячу рублей. Вышедшее сейчас же отдельное издание этого «романа» тоже дает что-нибудь близкое. Открывается возможность бестрепетно ввести его и в десятый том собрания сочинений. Считавшийся потерянным, он в один год служит три службы. «Разорение» забыто.

И это не все: уже 30 января 1890 года подоспевает цензурное разрешение на отдельное издание рассказа «Томление духа». Благодаря этому и он уверенно вносится в запоздавший выходом том: шестой по номеру, последний по выпуску.

Так шаг за шагом все «образуется». Может быть, в некоторых отношениях даже к выигрышу. Во всяком случае злополучный том в новой его редакции, освобо-

---

* Письмо без даты; видимо, октябрь 1889 года. — Архив В. Г. Черткова. Москва.

** Н. С. Лесков. Избр. соч., М., 1945, с. 294—295.

дясь от нарочито церковного материала, заполнился целиком беллетристикой. В него вошли: «Захудалый род», «Овцебык», «Бесстыдник», «Старые годы в селе Плодомасове», «Котин Доилец и Платонида», «Тупейный художник» и «Томление духа». Почти все бытовое, образное, частично автобиографичное, богатое красивыми картинами и характерными фигурами.

Читатель, не слишком поглощенный непосредственно церковными делами, на этом не потерял.

В частности, счастливое изменение судьбы «Зенона» позволило автору слегка уколоть редакторов московского журнала, по робости и неловкости своей похоронивших в московской цензуре роман: «Кстати прибавлю, — завершал он свое письмо к В. А. Гольцеву, — что «Зенон» под иным заглавием пропущен к печати предварительною цензурою, весь и без всяких сокращений. Вот что делается в нашем благоустроенном государстве...» *

Прав оказался «приказный», уверяя, что на святой Руси не существовало невозможного.

Пообтерпевшись и свыкнувшись с досадой по шестому тому, значительно смягченной нечаянной удачей с «Зеноном», Лесков 13 декабря 1889 года успокоенно пишет Крохину: «Рука твоя от сердца легка: подписка идет очень хорошо. (Близко 600. — Окупиться должно при 750—800)» **.

И ему же 18 марта 1890 года: «Подписка хороша, — превышает 700. Печатается том X. Портрет сделан в Лейпциге, очень хорошо, но с значительною утратою сходства. Гончаров говорит, что «это так и следует» ***.

С отроческих лет слышал я, как, бывало, отец, получив какую-нибудь сумму из книжного магазина или издательства, мягко улыбаясь, говорил: «Кто этот благородный человек, который меня кормит? Хотелось бы взглянуть на него! Нарочно засиживался иногда у Вольфа, Коллесова и Михина, Мартынова, Тузова или в магазине Суворина — не удавалось посмотреть!..»

В годы, когда произведения Лескова становились одно другого учительнее и жестче, он к этому с горечью

---

* «Голос минувшего», 1916, № 7—8, с. 403.

** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

*** Там же.

прибавлял: «Мне всё выражают сочувствие Е. Борхсениус *, Толиверова да В. Л. Величко. Но разве они мои единомышленники? Разве эти люди будут сочувствовать XI тому моих сочинений?» ** Или, впадая уже почти в отчаяние, шел дальше: «Ко мне ходят все какие-то люди, благодарят и присылают письма, а разговоришься с ними — охватывает неодолимый гнев на них, и я боюсь — меня задушит астма. Между мною и моим читателем ничего, оказывается, нет общего...» ***

В общем, дело с изданием двигается и даже удовлетворяет. Конечно, случаются и досаждения.

Под впечатлением беседы с каким-то, может быть более угодливым, чем достоверным, вестовщиком Лесков 13 апреля 1890 года пишет Суворину: «Приходил благоприятель, нюхающийся с монахами, и сообщил, что старший из духовных цензоров был на днях у Лампадоносцева и тот не утерпел и спросил его в разговоре: «Не являлся ли к вам Лесков?» Монах испугался и стал уверять, что он со мною «не знаком». «Я спрашиваю: не приходил ли он просить о... своих сочинениях?» — «Нет, — отвечал монах, — да мы и ничего не можем сделать, потому что все запретили по определению». — «Ну, *конечно»,* — отвечал Победоносцев — и тем кончился разговор, который вполне достоверен и достаточен для того, чтобы показать *тон,* данный тем, к кому я должен был «явиться» и просить невесть о чем и выслушивать все, что вздумает сказать подлый и пошлый человек <то есть Феоктистов. — *А. Л.*>, стоящий на высоте бесправия» ****.

В момент, когда подписка привела к полному покрытию всех расходов по изданию, а следовательно, и к полной расплате с Сувориным, Лесков, радующийся пришедшей, наконец, полной развязке всех счетов, написал ему какую-то торопливую (не сохранившуюся) записоч-

---

* Екатерина Иринеевна, жена пользовавшего Лескова последние два года врача. Написала, по моей просьбе, очень смелые в импровизации, смешении положений и фактов, воспоминания о Лескове. Список их хранится в Пушкинском доме, автограф в моем архиве[9]. Опровергающие расположение к ней Лескова отзывы его см.: А. Фаресов. Из воспоминаний о Лескове. — «Свободным художествам», 1910, ноябрь, с. 27—28. Она проходит под условным наименованием «яркая расцветка».

** *Фаресов,* с. 379.

*** А. И. Фаресов. Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов). СПб., 1901, с. 124.

**** Пушкинский дом.

ку, видимо чем-то обидевшую так легко обижавшего других хозяина. 31 октября 1890 года Лесков спешит загладить невольную оплошность:

«Простите мне, старый друг, неосмысленную фразу в спешно написанной к вам записочке. Конечно, не думаю же я, что, кроме разговора об издании, мне с вами и говорить не о чем! Это вышло от поспешности и от радости, что насчет издания уже не может быть тягостных для меня переговоров... Я этим досыта намучился и настрадался. Теперь я спокоен и рад, потому что дело себя оправдало и я снова никому не должен. А потому и простите мою обмолвку» *.

Тягостных переговоров с Сувориным было через силу сил. Хватило неприятностей и с дорогою, анархохозяйственною суворинскою типографией и даже с книжным магазином «Нового времени».

Бесчинства управляющего типографией А. Д. Неупокоева вызвали «междоусобную» вспышку между Сувориным и Лесковым. Первый чем-то оскорбляется. Второй разъясняет: «когда дело идет о Неупокоеве, — то, уж извините меня, — я желаю и буду говорить тем тоном, которым пристойно говорить с ним и о нем, доколе он таков, каков он есть. У кого только нет 6-го тома? (кроме меня). Чт*о* мне судить о чьей-либо прикосновенности или неприкосновенности, когда я знаю людей, покупавших 6-й том у букинистов, и последнее доказательство этому я имел еще вчера. Я несомненно знаю, что 6-й том брали, дарили, продавали и продают и что это делал не я и не с моего согласия. Вот непререкаемый и доказанный факт, который меня обижает и против которого я давно бы должен был что-нибудь делать, но я терпел и думал, что они по крайней мере помнят счет и не расстроят комплекта; но они так увлеклись, что и перед этим не остановились, — вероятно надеясь, что «относительно обязанностей типографии *не может быть никакого сомнения»*... Об этом спорить нечего: факты налицо. Еще на днях 6-й том был предложен моему родственнику, печатающему свое сочинение в типографии Скороходова.

Может быть, вы могли бы снести все это в полном спокойствии и в этом случае превзошли бы меня в благородстве и кротости, но я уж терпел, терпел нахальства

---

* Пушкинский дом.

этого типографского «хама», да, наконец, и не выдержал — написал Коломнину, чтобы он напомнил ему о необходимости собрать комплект. Чем же можно заставить такую личность опомниться? Я думаю, одним указанием на опасность, которой он сам подвергается.

Более я ничего не сделал, и никакого моего «поведения» нет, и я воздержусь от ответа на все, что в вашем письме есть резкого, дерзкого и несправедливого. Мое «поведение» я стараюсь уберегать от всякой обиды людям, и в отношении к вам оно во всяком случае совершенно чисто и безупречно. Вы во мне сомневаетесь, а я в вас нет, и в Петре Петровиче — нет; а в том, кто сделал себя явно сомнительным, — я сомневаюсь» *.

Владелец типографии отрезвляется и, явно капитулируя, тотчас же, на авось, приносит поздравление с именинами (6 декабря день Николая Мирликийского. Лесков родился 4 февраля, в день Николая Студийского) и выражает некоторые знаки расположения.

Лесков 6-го же числа благодарит раскаявшегося поздравителя, но и назидает его:

«Я не именинник, но очень рад получить от вас добрые строки. Вы еще очень счастливы, что умеете сказать: «прости меня». Этим все покрывается и во мне и в вас. Вы горячий и несдержанный человек и много от этого страдаете. Я не хотел обидеть и ничем не обидел ни вас, ни Алексея Петровича. *Меня обижали* ваши наемники, а не я обижал. Я искал только своей защиты. Какая же тут обида? Вы нервны, а у меня разве нет нерв? Я не глуп, но ведь и вы умны: первое, что вам могло бы прийти в голову, это сказать мне: «я понимаю, что вам досадно, но скрепитесь и не горячитесь: мы разберемся». Вот вы бы и стали миротворцем, а вы еще увеличили страдания... — В память этой несправедливости — не делайте так с другими.

«Ссориться нам с вами не следует». Это я всегда чувствовал и тщательно оберегал во все 30 лет литературной жизни. Почему-нибудь это верно так следует. Я никогда не хочу утратить мира с вами, и если бы мы перестали видеться и сноситься, — я всегда бы питал к вам дружелюбие и ту верность, которая самому мне

---

* Петр Петрович Коломнин, заведовавший хозяйственной частью «Нового времени». Письмо Лескова от 5 декабря 1890 г. — Пушкинский дом.

приносит удовольствие... Пожалуйста, не думайте, что в сердце у меня есть против вас что-нибудь. Я дорожу желанием быть мирным со всеми и сам потрясен и взволнован тем, что меня обидели наглые люди. Благодарю вас за ваше мирное слово и прошу верить моей искренности» *.

На какой-то срок водворяется взаимное благорасположение.

10 декабря Лесков заканчивает очередное свое письмо дружеским укором: «У Петра Петровича кроме того есть 11 экземпляров VI тома, уцелевших от потрошения. Портить их, мне кажется, вполне нерасчетливо и по отношению ко мне жестоко. У всех есть по нескольку экземпляров этого тома, а у меня *один*... За что же так меня заделили? Рассудите, — я сдаюсь на ваш суд» **.

Через два дня посылается пространное письмо, начинающееся с искренней благодарности за доставленные от Суворина три экземпляра запретного тома, а далее опять впадающее в раздраженность в отношении управляющего типографией Неупокоева и вообще досад по завершающемуся уже изданию сочинений.

«И тот, чья вина так ясна и очевидна — он же и в претензии, а я виноват, — «затеял историю»... Так «затевает историю» всякий, у кого что нибудь пропало, — книга со стола, или шинель с вешалки... И все на него: он и виноват: зачем «затевает историю»? Пропало и хорошо, и молчи, — тогда мы скажем: «дурак» — и все тем кончится... В таком положении и я очутился, да и теперь из него еще не выбрался. Деньги за издание уплатил; книги в вашем магазине; а у меня нет в руках *ничего*!.. Да, — *совершенно ничего* — ни подписанного счета, ни квитанции, и меня же еще вызывают в типографию, где со мною поступили неделикатно и обидно и куда я по болезни моей ни за что не пойду, чтобы не мучить себя разговорами, в которых более нет смысла. Я знаю, что Зандрок *** человек превосходной честности и доверяюсь ему во всем. Он, конечно, знает, что положение мое, после уплаты денег, теперь просто смешное; но я уже ничего не хочу говорить, — я его прошу оформить окончание как-нибудь, — как он может; но он на-

---

* Пушкинский дом.

** Там же.

*** Н. В. Зандрок, управляющий книжным магазином «Нового времени». Ф. В. Вишневский в письме к Лескову от 21 февраля 1887 года писал про Зандрока: «торгаш и жох».

ходит, что ему типография не сообщает каких-то необходимых сведений, без чего мне нельзя дать квитанции в надлежащем числе... Повторяю вам, что я исполнен уважения к благородству и честности Зандрока, но уже более о своем деле ни с кем говорить не могу, потому что все тут как-то затронуты и нет мне спасения. Все, мне кажется, можете исправить только вы, чтобы перестали перекоряться, и квитанцию мне выдали от магазина полностию, а недостающее в наличности поставили на счет типографии. Это самое простое, скорое и ясное, и это надо сделать, но они не сделают, потому что будут перекораться и «его же царствию не будет конца». Пожалуйста, войдите в мое положение и велите меня из этих тенет вынуть. Дело типографии с магазином есть дело внутреннее, дело одного хозяина. Типография имела пользу от издания и допустила беспорядок, — пусть она и поплатится немножко за свою вину. Кажется, это просто, ясно и совсем справедливо. Только и дела; а я-то ведь совсем обиженная или пострадавшая сторона и ничего более. Меня надо выпустить на свободу, дав мне то, на что я имею право. Я очень рад, что вы это так же понимаете, и надеюсь, что вы просто прикажете со мною кончить, не привлекая меня ни к каким внутренним вопросам...» *

Суворин исполняет требования Лескова. Последний его благодарит. Наступает умиротворенность. А в «печенях» у писателя от всех этих передряг «засело» столько, что одиннадцатый том позднейших своих произведений он печатает уже не у Суворина, а у Стасюлевича **. Здесь все обходится значительно дешевле и протекает с ясностью и деловитостью, исключавшими какие-либо неудовольствия.

Была ли в общем Сувориным оказана Лескову особенно большая и очень дружественная услуга? Кое-какая, вероятно, да. Но во всяком случае чуждая всякого

---

* Письмо от 12 декабря 1890 года. — Пушкинский дом.

** Собрание сочинений Н. С. Лескова, т. XI. СПб, 1893. Содержание: «Час воли божией», «Полунощники», «Юдоль», «О квакереях», «Импровизаторы», «Пустоплясы», «Дурачок», «Невинный Пруденций», «Легендарные характеры». В 1896 году посмертно вышел двенадцатый том, изданный уже А. Ф. Марксом. Затем им же изданы второе Полное собрание сочинений Н. С. Лескова. СПб., 1897, тожественное первому с его дополнительными томами, и третье — в приложении к журналу «Нива» — в 1902—1903 гг. в тридцати шести томах.

риска и всесторонне не в ущерб, но паче в добрый себе прибыток. Недаром сам Лесков в письме ко мне от 21 июня 1888 года называл весь суворинский акт только «одолжением, хотя, конечно, не очень большим».

12 декабря 1890 года в письме к брату Алексею Семеновичу резюмировалось: «Счеты мои с изданием покончены: оно обошлось в 17 000 рублей!.. Все это уже уплачено. Барыши типографии около 6000 рублей. Это дорого, но без «Нового времени» едва ли можно было вести издание с такою аккуратностью и напряженною энергиею при всех препятствиях. В общем, кажется, я все-таки не потерял, что не продал право издания за 8000 рублей, как мне давали. И притом в купеческих руках я, вероятно, не имел бы надежды видеть конец этому первому изданию; а теперь все-таки что-то брезжится...» *

10 ноября 1893 года Лесков сообщил М. О. Меньшикову: «Арестованный 6-й том моих сочинений, с «Мелочами архиерейской жизни», 5 лет лежал опечатанный в типографии Суворина, на ее ответственности. Вчера меня известили, что пришла полиция, забрала эти книги и куда-то увезла. Может быть, это отзыв на «Загон». Нет ли у вас чего-нибудь?» **

Хранилась в типографии Суворина оторванная часть шестого тома в тридцать листов, стр. 244—729. «Загон» появился в ноябрьской «Книжке «Недели». Считалось, что экземпляры оторванной части шестого тома были отвезены в Главное управление по делам печати и там были сожжены. Этим драма с ним закончилась [10].

Превзошедший все ожидания и подсчеты успех авторского издания блестяще подтвердил ободряющий и оживляющий писателя интерес широкой общественности к его произведениям.

Выпуск собрания сочинений сослужил всесторонне добрую службу: им преодолены козни всей «черной сотни», возглавлявшейся Победоносцевым, Дмитрием Толстым, Тертием Филипповым, Деляновым и верноподданным им ретивым их слугою Феоктистовым.

Лесков удовлетворенно убеждается, что «не потерял», предприняв *собственное* издание, что *читатель «не обманул»* и, что всего важнее, *поссорить с ним этого читателя* действительно *уже никому не по силам.*

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).
** Пушкинский дом.

ГЛАВА 2
ANGINA PECTORIS

«Астма много раз имела исходной точкой, если не причиной, глубокие и продолжительные огорчения или *приступы гнева»,* — стоит в книжечке, внимательно читая которую Лесков убежденно подчеркнул приведенные здесь курсивом слова, а на полях подтверждающе написал: *«Вот, что и было 16-го августа 1889 года»* *.

В этот знаменательный для него день он узнал от кого-то на лестнице суворинской типографии о полученном распоряжении начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова об аресте только что отпечатанного шестого тома собрания сочинений.

Тут же произошло нечто, признанное им впоследствии первым припадком никогда не освобождавшего уже его тяжелого недуга — angina pectoris, по-русски — грудная, или сердечная, жаба.

С этих пор разрушение Лескова пошло с неумолимой безотступностью. Жестокие страдания исполняют ужасом и страхом. Они велики и мучительны. По пословице — у кого что болит, тот про то и говорит.

Говоря об «исходной точке» припадков, Лесков усиливал формулу французского ученого: «приступы *безысходного* гнева». Субъективно такое определение представлялось более точным. Оно и впрямь хорошо.

«Поэт-чиновник» Величко, лживо-угодливый «Пыляич» и другие «прохладные» дружелюбцы и советчики вперебой уговаривают непременно съездить в Управление для личных «объяснений» с «самим Феоктистовым».

Лесков, указывая на «низость» последнего, решительно отклоняет предложения, предоставляя действовать, частично тоже заинтересованному в деле, Суворину, нимало не веря, впрочем, в какой-либо успех.

С 1861 года хорошо знакомому и не ссорившемуся с Феоктистовым владельцу влиятельной газеты говорить с «важным приставом», конечно, много удобнее. Он и достигает значительных результатов, высвободив 16 листов «Захудалого рода», как о том уже сказано в предыдущей главе.

---

* G. André prof. Гигиена старческого возраста. СПб., 1891, с. 72. — Архив А. Н. Лескова [11].

Сам Лесков, по общему для него правилу, осуждает себя на, так сказать, «внутреннее сгорание». Оно ярко чувствуется и в беседах и в письмах.

20 ноября 1889 года он пишет Н. П. Крохину: «Я болен с 16-го числа августа, но было выздоровел, а на другой день по отъезде Алексея слег и не оставлял постели по 15 сего ноября. У меня так называемая «грудная жаба». Что это за болезнь — о том рассказывать долго в неинтересно. Свойства она нервного (душит за горло) и, вероятно, неизлечима. Я 11 суток был без пищи и 5 суток без сознания — что доставляло мне большое облегчение. При возвращении сознания я почувствовал жалость, что снова надо сознавать эту жизнь» *. К письмецу была подклеена газетная вырезка, сообщавшая о «замедлившемся» на шестом томе издании сочинений, о выпуске седьмого и о болезни писателя, «внушавшей долгое время серьезные опасения», причем, должно быть впервые, было приведено ее грозное название — «angina pectoris».

27-го того же ноября, ему же: «Благодарю тебя, друг мой Петрович, за твое горячее внимание к моей болезни. И я бы к тебе отнесся не студенее и поехал бы к тебе. Это доказывает, что людей роднит «не кровь и плоть», а родство духа, одинаковость свойств, которых природы мы не знаем. Спасибо тебе. Мне лучше, и я поправляюсь, но со страшною медленностью и с беспрестанным опасением слечь снова.

Работать нечего и думать. В болезни был терпелив и спокоен. Придя в себя после 11 суток забытья и беспамятства — первое, что подумал: «Зачем этот оборот? Сколько опять хлопот и возни жить?» Смотреть за мною было некому, пока Бертенсон сказал взять фельдшерицу. Попалась девушка молодая, очень добрая, веселая и чрезвычайно опрятная. Пробыла месяц. Платил по 1 рублю в день, и еще она у меня, потому что боюсь припадков жабы, причем нужен массаж, холод на грудь и руки в горячую воду, а у меня старуха и дитя... Болезнь моя свойства нервного, произошла она от многих неблагоприятных причин и всего более от переутомления в течение многих лет. На излечение ее я не надеюсь и о том не сокрушаюсь. Я оставил след своей жизни, если и не совсем такой, какой мог, то все-таки и не все мне вверен-

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

ное зарыл бесследно. Кое-как «я чувства добрые в народе пробуждал». Желаю только не быть никому в тягость до конца и при конце сохранить мои понятия и упования и «не дать безумия богу». Остальное все не стоит ни забот, ни хлопот. Дух мой ровен и покоен, — покорность провидению меня охраняет и дает мне силы и надежды на то, что я смогу подчиниться всему, что угодно высшей воле, даровавшей мне дыхание и жизнь. Читаю теперь очень много, но писать трудно» *.

4 декабря того же года, ему же: «Любезный Петрович! 6 декабря у вас пирог пекут. Поздравляю и советую тебе поменьше его есть. Вкусно, но очень дурно для людей нашего возраста. — Поздравляю твоих семьян с пирогом и с именинником. От брата Алексея вчера приезжал санитар и привез поклоны, а нового, в смысле общеинтересного, — ничего. Значит, все хорошо. Настоящее *новое* и притом такое, что имеет для человека значение *нового* и полезного, — это то, что он приобрел нового для себя, и именно *в себя,* и что в нем пошло расти и давать *новое,* такое, чего прежде не было, — таковы новость познания, новость обладания собою, новость в ясности понимания человеческого долга и призвания на земле, помимо глупых понятий, распространенных в общей среде «плутов и дураков», составляющих презрения и жалости достойный род человеческий, погрязший в невежестве, глупости и злобе, происходящей от той же глупости. — Мое здоровье все поправляется, но с страшной медленностью. Хожу немножко на воздух, но «жабу» все-таки чувствую в груди (под ключицами). Боткин от жабы умирает в Ницце. Я думаю, что разности климата тут ничего не значат. Работать невозможно — живу тем, что сработал летом, но природа везде подает средства и утешения: теперь меня лелеет всеполнейшая и всеблаженнейшая беспечность <...> Вот тебе во мне и *новость!* Поистине право писание: *«Довольно заботы об одном дне».* Вам желаю лучшего счастья, а лучшее счастье, говорят, состоит в умении обходиться без всякого счастья, сохраняя в себе достоинство человека, в светлости разумения которого дышит просвещающий дух божий» **.

13-го того же декабря, опять ему: «Благодарю тебя, Петрович, за твои письма и за то, что мною интересуешь-

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).
** Там же.

Здоровье мое поправляется, но массаж еще не оставляю. Он, кажется, как будто приносит пользу, а может быть, и нет. Все гадательно, и ничего основательного. Самое лучшее, как орловские мужики говорят: «внутре болит». По крайней мере хоть точно сказано. Одно верно, что болезнь моя свойства *нервного,* — это ясно из того, что она ожесточается при малейшем *нравственном* беспокойстве и не чувствительна ни к жару, ни к холоду. Не могу даже выносить крахмального белья и грубого, тяжелого и жесткого платья — всего, что давит или тянет. Очевидно, невроз. Водки я давно не пью, но вино пью, — хотя очень мало. Курить почти совсем бросил и не встретил в этом большого затруднения <...> В том, что я «сделал недостаточно», — ты прав. Не видно ведь, сколько талантов я получил от моего господина и на сколько сработал? Это только он и разберет. Может быть, я что-нибудь и зарыл, «закопал серебро господина своего», но я шел дорогою очень трудною, — все сам брал, без всякой помощи и учителя и вдобавок еще при целой массе сбивателей, толкавших меня и кричавших: «Ты не так... ты не туда... Это не тут... Истина с нами, — мы знаем истину». А во всем этом надо было разбираться и пробираться к свету сквозь терние и колючий волчец, не жалея ни своих рук, ни лица, ни одежды <...> Перенесено кое-что не легкое, — хоть порою, хоть изредка, но я любил моего господина, и слышал в себе его голос, и повиновался ему. В эти только минуты я и жил отрадною жизнью и понимал, что значат слова: «Ты во мне, и я и тебе, и он в нас». Во всей жизни только и ценны эти несколько мгновений духовного роста — когда сознание просветлялось и дух рос, как тесто на дрожжах, а потом опять шла пошлость, забота о пустяках, о том, что совсем неважно и совсем неинтересно, и притом еще — мы и не знаем, что нам к добру, а что к худу... Словом я не ощущаю уже ничего надежного, желательного и влекущего меня в жизни и очень был бы рад, чтобы это так продолжалось, «чтобы князь мира, наконец, не имел во мне ничего своего», чтобы я чувствовал себя как можно более приверженным и преданным моему господину, для которого не значили ничего ни имения, ни слава, ни родство, ни страх» *.

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

25 декабря того же года Суворину, в связи с гнусным псевдокритическим газетным выпадом Буренина:[12] «...зачем нужно было усилие вредить мне, — «делать больно», — может быть, подложить дров в огонь костра, приготовленного для VI тома, — что мне наносит тяжкий вред?.. Я не питаю к В. П. <Буренину. — *А. Л.*> ни малейшей злобы и досады и сожалею о том, если я чем-нибудь мог вызвать в нем такое сильное раздражение. Во всяком случае — умышленно я ничего такого не сделал, да, кажется, и неумышленно не сделал» *.

15 февраля 1890 года, мне в пригородную стоянку: «Опасения мои на здоровье прошли: припадок жабы не ожесточился и мало-помалу стих вчера к вечеру. Бертенсон не помог, но помогли Чертков и Ге, который приехал от Льва Николаевича с своею картиною: «Что есть истина». Далее взволнованно говорится: «Обоих стариков теперь ругают и будут ругать вместе <Л. Н. Толстого и Н. Н. Ге за жестокий реализм написанного и привезенного последним на выставку Христа перед Пилатом. — *А. Л.*> <...> Вчера Василий Львович <Величко. — *А. Л.*> встретился у меня с Ге, и был бой постыдный и досадительный, окончившийся извинениями. Ге был спокоен и умен <...>. Проводя тебя <на вокзал. — *А. Л.*>, я насилу доехал домой и насилу перешел с саней на постель. За Бертенсоном было посылать поздно. Теперь опять могу двигаться, и поводов к раздражению и рецидиву не предвижу» **.

В письме к В. М. Лаврову от 13 марта 1890 года слышатся новые нотки:

«Так сильно я виноват перед вами, что не знаю, как и оправдываться и каяться. На первое ваше письмо я ежедневно собирался вам отвечать и не отвечал, потому что болезнь и досаждения по поводу VI тома моих сочинений совсем меня расстроили до того, что я не был в состоянии ничего определить. Я весь изнервничался. Теперь вчера дело решено без всякого решения: никакой развязки не будет, и том останется под арестом без объяснений... Значит, 3 тысячи рублей пропало, и делай что хочешь. Вот под какими порядками приходится жить и еще работать самую нежную и нервную работу. Отсюда можете себе представить мое душевное состояние и в нем

---

* Пушкинский дом.

** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

найдете извинение моей отупелости и неподвижности, вообще не свойственной и даже глубоко противной моему характеру. Наглая мерзость значительной подлости меня не побеждает, но исполняет равнодушием ко всему окружающему, к себе самому и к любимому делу» *.

В кабинете посетители в эти месяцы слышат от Лескова:

«Я так болен и нервен, что меня можно глазами убить, как Ивана Грозного убил Годунов...

Неожиданно подойти ко мне и испугать.. И довольно!

Говорят, что Грозного убил глазами Годунов. Меня тоже чуть не убила моя прислуга, которую я сразу не заметил сзади себя. Сейчас же начало колоть в груди» [13].

Далее жалобы на недуг начинают исполняться грустною покорностью непреодолимому, иногда даже с оттенком жестокого юмора.

3] октября 1890 года, Суворину. «Здоровье мое не восстановилось, но немножко поправилось, а — главное — *я привык к болезни,* которая возвышает меня в своем роде до сходства с Грозным. Смеялись над Ал. Толстым, что он заставлял Годунова убить Грозного на сцене *взглядом,* а со мною это возможно в действительности. Я живу, — читаю и даже пишу, но малейшее потрясение — депеша, незнакомое письмо, недовольный взгляд — тотчас же вызывают в *аорте* мучительнейшие боли, от которых надо лежать и стонать... Так и живу и пишу коечто, всегда под сомнением: можно это или не можно?» **

12 декабря того же года, ему же: «Очень благодарен вам, Алексей Сергеевич, за присланные мне 3 книги <экземпляры арестованного VI тома. — *А. Л.*> и за письмо. Есть облегчение в том, что кто-то понимает нашу душевную боль и говорит: «Ну да уж полно вам его!.. Довольно!.. Что еще в самом деле!» Слова простые и будто не очень ясные, а меж тем выразительные и многосодержательные. Я ведь ужасно перемучился с этим изданием. Я начал его здоровым человеком и на 6-м томе получил неизлечимую болезнь (невралгию груди или жабу)» ***.

12 июля 1891 года, Толстому: «Здоровье мое коварно. Называют мою болезнь Angina pectoris, а на самом деле

* «Печать и революция», 1928, кн 8, с. 37—57.
** Пушкинский дом.
*** Там же.

это то, что «кол в груди становится», и тогда ни двинуться и ни шевельнуться. На «тело» я смотрю так же, как и вы, но когда бывает больно, то чувствую, что это очень больно. Распряжки и вывода из оглобель не трепещу, и мысль об изменении прояснения со мною почти неразлучна <...> Тоже и не курю табаку, но «червонное вино» (как говорил дьякон Ахилка) пью умеренно «стомаха ради и многих недуг своих». Владим<ир> Соловьев говорит, что вы ему это разрешили» *.

14 сентября 1891 года, ему же: «Никак не могу научить себя стерпливать мучения физической боли, которая подобна самой жестокой зубной боли, но на огромном пространстве (вся грудь, левое плечо, лопатки и левая рука)» **.

11 сентября того же года, В. Л. Иванову: «С мною точно было худо: на переезде от Нарвы в Петербург в вагоне меня начала душить angina и бралась за это пять раз (чего еще никогда не бывало), и с тех пор я все болею и не выхожу в люди, так как от всякого нервного впечатления воспроизводится мучительный припадок жабы (судороги около сердца). При этой мучительнейшей боли охватывает ужаснейший и неописуемый *страх,* или страх смерти, или, как говорит Толстой, «распряжки», или, как говаривал Писемский, — страх, какой должен ощущать «холоп, подающий во фраке чай на бале и вдруг чувствующий, что у него подтяжки лопнули и панталоны спускаются» ***.

4 января 1893 года, Толстому: «Из ста ступеней до края я прошел наверно 86 и не имел определенного желания возвращаться опять к первой и опять когда-нибудь начинать те же 86 наново; страха ухода уже не было, но был какой-то бесконечный, *суживающийся* коридор, в который надо было идти и... был страх и истома ужасные. Я читал главы из книги «О жизни», читал, что есть об этом у вас в других местах и у Сократа (в Федоне), и все-таки с натиском недуга суживающийся коридор приводил меня в состояние муки... Теперь меня согревает утешительная радость, которой дух мой верит: мне как будто сказано, что я уже был испытан и наказан страхом, и что это уже отбыто мною и прошло, и после

---

* «Письма Толстого и к Толстому», с. 109.
** Там же, с. 118.
*** «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 808.

этого я буду избавлен от этого страха, и когда придет час, я отрешусь от тела скоро и просто» *.

8 октября того же года, ему же: «Здоровье мое, конечно, непоправимо: это болезнь сердца, а я моложе вас немного. Но я научился держать себя так, что обхожу жестокие приступы, которые бывают ужасны. Надо не уставать; ходить очень тихо; быть всегда впроголодь и избегать всего, повышающего чувствительность <...> При такой осторожности мне несколько легче противу прошлогоднего, когда меня пугала fuga mortis **. Нынче я думаю об этом смелее» ***.

Лесков не обладал хладнокровием и выдержкой, которые могли бы помочь перенести нанесенный ему в 1889 году удар с меньшим самоистязанием, с менее «безысходным» гневом, а с тем и с менее жестокой за него расплатой.

Сердечные припадки, если и не вполне столь длительные, как говорилось о них в некоторых из приведенных писем, были поистине смертно страшны. Не только сам больной, но и все в доме жили в вечном страхе их повторения по самому незначительному поводу: внезапный звонок в передней, шумливость или суетливость гостя, возражения в споре, досадная статья в газете и т. д.

Громадную опасность являли собой «дамские», якобы светски любезные, а в сущности лишь трескуче-пустословные восклицания. «Тьфу, тьфу, тьфу! в добрый час сказать, у вас, Николай Семенович, прекрасный вид! Дай бог каждому! Уверяю вас... Какой румянец! И вообще на вас радостно смотреть!..» — лепетали барыни Борхсениус, Муретова, Толиверова.

Особую тревогу вселяло всегда появление последней, с легкой руки Атавы-Терпигорева ходившей тогда уже в звании «литературной индюшки» ****.

Когда-то дружески расположенный к ней, Лесков постепенно именовал ее сперва «немилосердною», а дальше и «ваше высокобестолковство», а издававшийся ею, полученный из рук Т. П. Пассек, детский журнальчик «Игрушечку» переименовал в «Лягушечку» [14]. Стихийный образ жизни ее и ведения разновидных издательских дел

* «Письма Толстого и к Толстому», с. 127—128.

** Быстрое приближение смерти (*лат.*).

*** «Письма Толстого и к Толстому», с. 145.

**** См. письмо Терпигорева к Лескову, без даты. — *Фаресов,* с. 203.

возмущал его, порождая суровые приговоры и жестокие разносы ее в письмах раздражавшегося Лескова. Требовалось исключительное ее незлобие и снисходительность, чтобы не только переносить их, но и безропотно продолжать сохранять становившиеся очень острыми отношения.

Ее неудержимые, несмотря на все предупреждения и просьбы, восхищения «видом» Лескова сразу вызывали нервическое беспокойство в его подвижном лице, с которого сбегала улыбка, щеки делались землистыми, глаза смотрели куда-то мимо присутствующих. Но восторженная гостья, не замечая устремленных на нее предостерегающих взглядов, не унималась.

Лесков начинал высвобождать шею из мягкого ворота рубашки, «крутые» ребра зловеще вздымали уже ходуном ходившую грудь... На кухню незаметно передавались указания заблаговременно приготовить раскаленную камфорку или кирпич для могущего понадобиться с минуты на минуту увлажнения паром воздуха, мятую в холодной воде глину для груди и левого предплечья, в кипятке отжатые полотенца для кистей рук. В спальне на столике возле постели выдвигались на вид спирт, капли...

На вызвавшую все страхи неукротимую, пользовавшуюся отменным здоровьем трещотку бросались уже откровенно негодующие взгляды. В святом простосердечии она продолжала их не замечать...

Наконец Лесков начинал прерывисто дышать, хватаясь у ключиц за грудь. Его подхватывали и отводили в спальню.

Страдавший тем же недугом С. Н. Терпигорев прочувствованно и просто обрисовал свои ощущения в такие приступы:

«Сердце вдруг, как птица, затрепещется в груди, ужас охватит всего, и потом вдруг остановится биться, совсем остановится. Ну вот умру, кажется, сейчас, вот, вот сейчас, через несколько секунд... Но, сперва слабо, а потом сильнее, сердце опять начинает работать... Со лба утираешь холодный пот, и на четверть часа, на полчаса дается отдых» *.

Преступно поздно спохватившаяся, испуганная Александра Николаевна виновато осматривалась кругом, встречая общее суровое осуждение себе.

---

* Сергей Атава. Умерший писатель. — «Новое время», 1895, № 6816, 19 февраля.

По счастью, припадок не разражается вовсю. Через некоторое время, обмогнувшись, Лесков возвращается. Тишина. Все осторожно, исподволь, следят за каждым его движением. Проходит еще несколько минут, в которые слышно только тиканье больших английских настольных часов.

Потиравший руками ключицы и подреберье Лесков решается вздохнуть во весь вздох. Ободренная этим неуемная Толиверова начинает лепетать маловразумительные извинения. Все еще молчащий Лесков останавливает ее немым жестом.

Понемногу уверившись, что вплотную было подошедшая угроза отодвинулась, и овладев правильным ритмом дыхания, он тихо и медленно произносит:

— Скажите на милость, какое вам дело до моего *«вида»?* О нем достаточно заботятся квартальный и пристав! Неужели нет ничего интереснее для беседы, чем мой «вид»? И неужели вам неизвестно, что в доме повесившегося не говорят о веревке, а навещая человека, страдающего таким злым недугом, каков м о й, — надо соблюдать осторожность, говоря об его здоровье, которого всего благоразумнее и великодушнее вовсе не касаться... *[15]

Чтобы пресечь нарастание укоров и раздражения с одной стороны и не менее опасной вспышки извинений и самооправдательных объяснений — с другой, требовался быстрый отвод беседы в другое русло, на какую-нибудь общую, злободневную тему.

Значило ли рассказанное, что болезнь Лескова надо было не замечать, оставлять без внимания? Отнюдь. «Страдать молча, по примеру животных», как учил иногда Лесков, было совершенно не в его натуре. Надо было с участливым вниманием слушать скорбную повесть о переносимых им страданиях. Можно было выразить удивление его мужеству, удрученно посочувствовать мученической его обреченности. Но все это делать тонко и мягко, во всем ему в тон. Легкомысленно-шумные восклики о «блестящем виде» оскорбляли требования вкуса, раздражали, будили мнительность и негодование. Болезнь была достаточно страшна, чтобы прощать слишком легкое к ней отношение и недоучет зловещей ее серьезности.

Ср.: *Фаресов,* с. 123.

Сам он не только «привык» к ней, но наедине исполняется благодаря ей своего рода мистическим отношением к своему состоянию.

«Я достигаю, — пишет он около полугода после ее начала, — «херувимского безмолвия» и дышу только при людях, с которыми могу дружественно молчать».

А за год с небольшим до смерти своей отвечал на обычные пожелания к Новому году: «Лучшее пожелание не пожелание «здоровья и спокойствия», а *независимости* от *здоровья* и от всех случайностей» *.

Как было в таких настроениях выносить вздорные восторги «видом»?

Долгие годы угнетавшая материальная неуверенность, благодаря быстро разошедшемуся изданию собрания сочинений, отошла в прошлое. Необходимости напряженно работать ради «manger et boire», ради хлеба, писать наспех, что «в приспешню требуется», — нет. Не только «завтрашний день», но и все грядущие годы, по час смертный, обеспечены. Но оставалось их уже немного.

Лесков это чувствовал. Его уже почти ничто не трогает, не радует, никак не влияет на дальнейший склад его жизни.

«Меня теперь всего более занимает моя болезнь, а не статьи обо мне», — говорит он, когда ему указывают на сочувственные отзывы об издании или о позднейших его очерках **.

Три года спустя после выхода последнего тома собрания сочинений с разных сторон поступают обстоятельные предложения о новом их выпуске или о продаже авторских прав. Делаются заманчивые подсчеты, произносятся солидные цифры... Зачем? Для чего? Все это уже потеряло цену! «Занимает», и притом «всего более», если не всецело, здоровье, угрожающее его состояние, мучительность припадков тяжкого недуга. Только здоровье!

Со стороны наблюдая, как все это воспринималось Лесковым, временами казалось, что и пришедший, наконец, достаток и ярко выраженное читателем признание только обостряли в писателе горечь запоздалости успеха, ревниво обегавшего его в те дни, когда «было что сказать», когда «все силы были в сборе». Тогда успех был

---

* Письма к дальней свойственнице Н. Н. Блюменталь от 3 апреля 1890 г. и 31 декабря 1893 г. — ЦГЛА.

** *Фаресов,* с. 408.

бы драгоценен для свободного развития таланта! Сейчас он пожалуй, уже и не нужен: «старику лучше, то есть спокойнее, придержаться уже старого и хорошо знакомого».

Ангина, как и думал Лесков, не оставляла его уже до последнего дня, поспешив превратить его в тяжко больного старика, работоспособность которого временами представляла собою положительную загадку.

Наполеон в своем последнем заточении писал: «Je léque ma mort à la famille impériale d'Angleterre» *.

Лесков мог бы завещать свои пятилетние страдания и, должно быть, значительно приближенную ими свою смерть «российскому Торквемаде» — Победоносцеву с его «стоявшими на высоте бесправия» сателлитами и прислужниками, но не меньше и всеусердно пытавшимися когда-то «утопить» его «с головою» многим из литературных собратий, да не помянутся их имена.

ГЛАВА 3
«АККОРД» С ТОЛСТЫМ

«Лев Николаевич есть драгоценнейший человек нашего времени...» **.

Точнее характеризовать свое отношение к Толстому Лесков не мог.

Ни к кому другому, начиная с первых же лет своего писательства, он не проявлял такого исключительного внимания, как к величайшему художнику, а с годами и умиленного почитания как к «мудрецу», «великому человеку».

Одним из первых выражений восхищения талантом Толстого представляются бесподписные критические статьи Лескова «Герои Отечественной войны по графу Л. Н. Толстому» ***, и бесподписный же фельетон «Русские общественные заметки» ****, в котором говорится:

«Перед И. С. Тургеневым, как и перед всеми нами, в последний год вырос и возвысился до незнакомой нам

* «Я завещаю мою смерть английскому королевскому дому» (*фр.*).

** Письмо Лескова к М. О. Меньшикову от 15 февраля 1894 г. — Пушкинский дом.

*** «Биржевые ведомости», 1869, № 66, 68, 70, 75, 98, 99, 109.

**** Там же, № 340, 14 декабря.

доселе величины автор «Детства и отрочества», и он являет нам в своем последнем, прославившем его сочинении, в «Войне и мире», не только громадный талант, ум и душу, но и (что в наш просвещенный век всего реже) большой, достойный почтения характер. Между выходом в свет томов его сочинений проходят длинные периоды, в течение которых на него, по простонародному выражению, «всех собак вешают»: его зовут и тем, и другим, и фаталистом, и идиотом, и сумасшедшим, и реалистом, и спиритом; а он в следующей затем книжке опять остается тем же, чем был и чем сам себя самому себе представляет, конечно, вернее всех направленских критиков и присяжных ценовщиков литературного базара. Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня».

Ярко высказанный интерес к Толстому уже никогда не понижается. Напротив, он неуклонно нарастает, становясь все пристальнее и напряженнее. Притом уже не только как к писателю, но и как к человеку.

Натура Льва Николаевича долгие годы представлялась лично с ним незнакомому Лескову полной «своенравной непосредственности» *.

27 сентября 1875 года, не сочувствуя только что прочитанной им в Мариенбаде статье «Московских ведомостей» по герцеговинскому вопросу, Лесков «поздравлял» с нею А. П. Милюкова [16], колко заканчивая письмо:

«И эти унылые люди со всею их дальнозоркою расчетливостью ошибутся, и эту ошибку им покажет не кто иной, как этот, очень многими (и вами) отвергаемый незримый *дух* народа, о котором говорит всех смелее и, по-моему, всех лучше граф Лев Толстой в «Войне и мире» **.

В неизданной статье «Ошибки и погрешности в суждениях о гр. Л. Толстом. Несколько простых замечаний против двух философов» ***, написанной в марте 1886 года по поводу лекций П. Д. Боборыкина и князя Д. Н. Цертелева, в которых затрагивался и Л. Н. Толстой, Лесков, не удовлетворенный рассуждениями «философствующих умов», рассказывал:

---

* Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 29 июля (10 августа) 1875 г. — Пушкинский дом.

** «Шестидесятые годы», с. 209.

*** ЦГЛА. Подготовлено мною в 1933 г. для «Звеньев».

«Некто, человек, которому я верю, как самому себе, сообщал мне следующее. Случилось ему очень недавно читать предисловие к евангельскому изложению графа Льна Николаевича[17] при одном умном старике сектанте. Старик слушал все с большим вниманием, но порою как бы недоумевал и тревожился. Читавший думал, что слушателя коробят некоторые резкие слова графа. Но когда были прочитаны заключительные слова: «Если они не отрекутся от лжи, им остается одно: гнать меня, на что я и готовлюсь с радостию и со страхом за свою слабость», — тогда старик слушатель мгновенно просиял и с чувством долгожданного удовлетворения произнес:

— Теперь я его всего враз понял!

— Что такое вы поняли?

— Понял, какая на нем печать.

— А именно?

— Пострадать хощет!

— А для чего?

— Духом горит, — дух побуждает. Как же иначе. «Аще хощешь совершен быти» — иначе нельзя: должен принять венец.

Старик вздохнул и тихо прошептал:

— Помогай бог! «Аще бог прославится в нем и бог прославит его в себе». Каравай в печи испечется.

Так чувствует гр. Толстого сектант-рационалист.

В захолустной книжной лавчонке, на рынке, где продается всякое древлепечатное старье и где всегда «снемлятся» два-три охотника «потолковать от писаний», недавно в сумерках перед запором лавок случайно сбились четверо едва друг друга знающих людей. По обыкновению они заговорили искренно и свободно о том, что их занимает и между прочим о «графских китрадках». Это были уже не рационалисты, а обрядовики из староверов, но суждение их об авторе «китрадок» близко шло к предыдущему.

— Муж достигательный, — говорили, — хорошо достигает.

— Да ведь теперь ему стоять уж и невозможно.

— Почему же?

— А как можно стоять, когда таковые, как человек божий да Филарет-милостивец, под плещи хватили. Эти повлекут к совершенству.

— Пострадать остается, и быть совершенну.

Умно это или глупо — я ни за что не стою, но я верно и истинно передаю: как этого человека простой народ понимает и определяет».

Не требует пояснений, что человеком, которому автор статьи верит, как самому себе, являлся сам Лесков, неизменно посещавший лавочку «некнижного книжника Иова Герасимова», о котором уже говорилось.

Предположение о желании Толстого «пострадать» высказывал Лесков в письме к А. С. Суворину от 9 декабря 1883 года:

«О Льве Николаевиче Толстом я совершенно тех же мыслей, как и вы, но это не исключает сбыточности моих предположений насчет «желания» постраждовать. Он будет рад, если его позовут к суду за ересь, но этого, как вы справедливо думаете, — не будет <...> Вихляется он — несомненно, но точку он видит верную: христианство есть учение *жизненное,* а не отвлеченное, и испорчено оно тем, что его делали отвлеченностью. «Все религии хороши, пока их не испортили жрецы». У нас византиизм, а не христианство, и Толстой против этого бьется с достоинством, желая указать в Евангелии не столько «путь к небу», сколько *«смысл жизни».* Есть места, где он даже соприкасается с идеями Бокля <...> Ее <церкви. — *А. Л.*> время прошло и никогда более не возвратится <...> Поступки Толстого «есть чудачество», но оно в народном духе. Разве, вы думаете, там тоже не чудачат?» *

Личное расположение никогда не препятствовало Лескову открыто, даже резко, высказывать в разговоре, письмах или печати свое противомыслие, свои возражения.

Не отступал он в таком обычае и в отношении Толстого.

Не обходилось, конечно, и без некоторой неустойчивости в оценках чужих мнений или взглядов, без крайностей в собственных. Отсюда шло чередование восхищения «до святости искренним Толстым», когда казалось, что тот «точку видит верную», со смелыми опровержениями, когда признавалось, что он «вихляется», когда неудержимо хотелось указать в его установках «спорное» и «путаное».

Однако отзывы Лескова, при всей их изменчивость и остроте, всегда бывали вдохновлены искренней жаж-

* «Письма русских писателей к А. С. Суворину», с. 58.

дой к познанию Толстого, признанием величия его духа, стремлений.

В недатированном письме к Суворину, должно быть конца 1884 года, он говорил: «Против «составителя брошюр», то есть, Льва Толстого, выпущена книга — очень глупая. Я об ней написал статейку, кажется не совсем глупую. Я люблю и почитаю этого писателя и слежу за его делом страстно» *.

Именно — страстно. Чтобы почувствовать напряженность этого интереса, довольно хотя бегло проследить смену его проявлений.

В маленькой книжечке «Изречения в прозе Гете» **, испещренной метами Лескова, приведено такое суждение великого мыслителя: *«Высшее уважение автора* к *публике* проявляется в том, что он никогда не приносит того, чего ждут от него, а всегда *лишь то, что он считает нужным и полезным* на данной ступени своего и общего развития».

Лесков подчеркивает слова, приведенные здесь курсивом, затем отчеркивает по полю весь афоризм и ставит «*Л. Н. Т.*» ***.

В статейке «Безграничная доброта. Анекдотические воспоминания о Карновиче» он, с явным восхищением недавно ушедшим добряком, писал:

«Рассуждений и теорий о добродетелях он <Карнович. — *А. Л.*> не любил и даже высказывался против их значения, — так, еще 9 мая <1885 же года. Карнович скончался 25 октября 1885 года. — *А. Л.*>, на обеде у старого своего приятеля Н. В. Тихменева, Евгений Петрович был против тех, которые защищали нынешнее настроение графа Л. Н. Толстого, и добродушно подшучивал над «наивными открытиями графа, — что и у ножных перстов, как и у ручных, тоже есть суставы и ногти»; а возня графа с тем, как помочь тому, кому, очевидно, нужна помощь, Карповича просто смешила, и он, несмотря на свою горячую и беззаветную преданность прогрессу знаний и добра, говорил мне и М. Н. Стоюниной: «Нет, уж лучше это делать просто». И он действительно «делал это просто», до того, что без всякого шума и похвал достиг полного идеала христианского милосердия, как его

* Письмо от сентября 1885 г. — Пушкинский дом.
** Сер. «Европейская библиотека», М., [1885], с. 21.
*** Архив А. Н. Лескова [18].

представлял себе один из отцов церкви: «он отдал другим *все* и себе не оставил *ничего»* *.

3 марта 1886 года Лесков до 5 часов утра читает полученные им «новые тетрадки Льва Толстого» [19] и с восхищением повторяет: «как он до святости искренен!» **

И все же вскоре он загорается неосилимым противлением взглядам горячо почитаемого писателя на женское образование и непротивление злу. Решив выступить ярым противником признанных им общественно опасными, в корне ошибочными, суждений Толстого, он изготовляет твердую в ее положениях, не чуждую даже полемических колкостей, статью, первоначально с четким заглавием: «О женских способностях и о противлении злу».

В письме от 14 июня 1886 года к редактору «Исторического вестника», для которого она предназначалась, подчеркивается: «Это статья в высшей степени интересная в историческом и философском смысле, имеющая живое отношение к вопросам о женщинах и о противлении злу, которые коверкает юродственно Толстой. Воззрения Пирогова, конечно, противоположны воззрениям Толстого и уничтожают сии последние и умом и серьезностью авторитета Пирогова» [20].

Дополнительно, в письме к Шубинскому же от 17 июня, развивается: «Статья, которую я вам сдал (о Пирогове), есть, по моему мнению, не только любопытная и современная, но и драгоценная для «исторического» журнала. Это перл пироговской задушевности. И кого, как не его одного, можно поставить в упор против учительных бредней Л. Н. Толстого <...> Теперь идут все прожекты уничтожения женских курсов, и в женских сферах стоит страшное возбуждение. Таким настроением, мне кажется, издание должно воспользоваться, — особенно, когда оно может дать не фразы, а веское слово авторитетного лица, подкрепленное ссылками на факты из такой замечательной эпохи, как Крымская война» ***[21].

Во вступительной части статьи, вышедшей под смягченным заглавием «Загробный свидетель за женщин», высказываются резко противотолстовские взгляды Лескова.

---

* Журнал «Новь», 1886, № 2 (датирован 15 ноября 1885 г.), с. 288—289.

** «Письма русских писателей к А. С. Суворину», с. 59.

*** Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина. Ср.: *Фаресов,* с. 98—99.

С тех пор, пишет Лесков, как в вопрос, «благоразумно ли открывать женщинам доступ к наукам и к общественной деятельности <...> вмешался граф Лев Николаевич Толстой и не обинуясь высказался за простое религиозное образование, все восприяло такой вид, как будто граф своим словом принес «огонь на землю». Женщины встревожились <...> Беспокойство женщин поддерживает совсем не целибатная теория *безмужия,* как думают люди, которые не знают жизни <...> к чести нашего времени, женщинам не хочется видеть себя на «распутии», а хочется прожить, обходя те унизительные положения, которые начинаются обожанием, а кончаются обыкновенно отвержением... Женщины чрезвычайно чутки ко всему, что их касается, и легко приходят в беспокойство, когда их пугает неблагоприятное мнение об их правах на труд».

Дальше приводятся убедительные свидетельства уже «такого лица, которое не может быть заподозрено ни в каком современном сторонничестве и которое по своему умственному значению стоит, по крайней мере, не ниже того, кто «возжег огнь» нынешнего спора», — знаменитого хирурга и педагога Н. И. Пирогова, дающие действительно крепкий отпор ограничительным по отношению к женщинам теориям *.

Одновременно появляется в печати и полукритическая, полуапологетическая статья «О рожне. Увет сынам противления». В ней Лесков, не называя ни газеты, поместившей противотолстовские выпады, ни их авторов, пренебрежительно именуемых «поверхностными партизанами противления, умами своими одолевающими Толстого», развертывает горячую защиту последнего. Однако по мере развития и детализации вопроса, с подходом уже к конечным выводам, постепенно выявляются и немаловажные расхождения во взглядах. Рядом с признанием многих «примеров» из толстовских притч «прекрасными» Лескову представляется несколько «странным» «отношение» Толстого к адвокату, «работающему головою» (в «Иване Дураке»), мнение, что «судить совсем не следует», что солдаты пригодны только для того, чтобы «бабам песни играть». Затем, хотя и полусочувственно, но уже не совсем простодушно, он говорит: «Может быть, он не прав, — но пусть ему умные люди это и докажут, а все умных людей послушают и сами поумнеют.

* «Исторический вестник», 1886, № 11, с. 249—280.

Начинать можно хоть с самого суда царя Соломона, и все будет живо и любопытно: не следовало ли, например, матери живого ребенка отдать свое дитя той, которая своего ребенка приспала? Зачем сопротивляться? Очень может быть, что во мнениях графа Толстого обнаружатся и очень слабые стороны». Отмечая легкость, с которою «солдаты, победившие спокойных подданных Ивана Дурака, размякли, и воевать стало не с кем», Лесков без обиняков заявляет, что здесь Толстой «даже не верен всегда отличающим его правде и реализму». Доходит очередь и до благоприятно подававшихся в начале статьи положений. Берется под сомнение и самое поливание изо рта «головешки», пока она не прорастет. «Умный и основательный критик может быть мог бы сделать на некоторые места «учения» Толстого не пустые, а очень дельные замечания, которые разъяснили бы, что в этом «учении» путается, и это имело бы и литературный интерес, и жизненное значение. Графу Толстому, несмотря на его начитанность, в Прологах, может быть, можно бы доказать, что и самое значение византийских головешек он понимает неверно. Поливание головешек в Прологах встречается не как воспитательное средство, а «как плод послушания».

Исподволь «рецептам» Толстого о перевоспитании духа путем методических длительных искусов противополагаются примеры нравственных перерождений «во мгновение ока» и способности даже явно порочных людей устремляться на подвиг совершенно внезапно, «не приготовляясь». «Я знаю, — говорит Лесков, — ту особенную литературу, которая дает графу Толстому сюжеты для его прекрасных рассказов, и я мог бы оттуда же взять рожон противу его рожна. (Критики его не видят.) <...> Я думаю, что есть случаи, когда человек не может оставаться человеком, не оказав самого быстрого и самого сильного сопротивления злу без предварительной личной чистки и поливания головешек <...> Умным людям еще предлежит понять, что у Толстого «противление злу» *есть,* а затем им предлежит раскрыть и показать обществу, чт*о* в толстовском методе непротивления верно, а чт*о* в нем спорно, сомнительно и подлежит поправке» *.

---

* «Новое время», 1886, № 3838, 4 ноября. Статья вызвана «Литературным обозрением» А. М. Скабичевского («Новости и биржевая газета», 1886, № 271, 2 октября) и заметкой там же, в № 280.

Дальше Лескова охватывает желание возможно шире ознакомить массы с составленным Толстым календарем. Он заготовляет популяризирующую этот календарь статейку, надеясь поместить ее в широко распространенном «Новом времени». Владелец газеты уклоняется от ее публикации. Раздосадованный автор статьи пишет ему 24 января 1887 года:

«Очевидно, моя статейка попала вам под «дурной стих» (что я видел даже *по почерку* письма), и вы сорвали на ней свое неудовольствие... Это мне так кажется, и я об этом жалею, потому что все-таки я больше кое-кого разумею в том, что заготовляется Толстым для народа, и никогда не бываю его рабом и других ему в ноги не укладываю». Этот «кое-кто», укладывающий других Толстому в ноги или «дерущийся им», — Буренин. Дальше: «А я бы на вашем месте не один раз сказал об этом календаре гр. Толстого, а 12 раз: именно, каждое 1-ое число месяца я бы выписал толстовский совет. И это все бы прочитали, и поговорили бы, и сами бы кое-что о сельском быте узнали. Вот это было бы доброе служение честному стремлению Толстого, а не то что хвалить его, как цыганскую лошадь... Чего его нахваливать? Его надо *внушать* в том, где он говорит дело, а не расхваливать, как выводного коня. С ним и вокруг него ведь много нового. Это живой и необычайно искренний человек. Дух его не «горит» (что любил Аксаков даже в письме к Кокореву о денежных делах), а этот *«летит,* как вержение камня», уже «склоняющегося к земле». Его надо отмечать во всякой точке, удобной для наблюдения, ну да что же поделаешь, если этого негде сделать?» *

Непрестанно думая о Толстом, Лесков 3 марта 1887 года задает Суворину вопрос:

«Кто Лев Николаевич? А вот разберите: он желает свободы труда, свободы слова, свободы совести, не сочувствует теории наказания, не сочувствует церковным путам, находит, что «люди — дерьмо» разного достоинства, и на высших ступенях кольми паче... К кому же он ближе — неужели к тем, которые противуполагаются либералам?» **

---

* Пушкинский дом. Статья Лескова «Календарь графа Толстого» опубликована в журнале «Русское богатство», 1887, № 2, с. 195—207. Календарь упоминается еще в бесподписной заметке Лескова «О пьесе и о народном календаре графа Л. Н. Толстого». — «Петербургская газета», 1887, № 15, 16 января.

** Пушкинский дом.

В том же году он дает уже прямую исповедь В. Г. Черткову в письме от 4 ноября:

«О Льве Николаевиче мне все дорого и все несказанно интересно. Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его. Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума. Где есть у него слабости, — там я вижу его человеческое несовершенство и удивляюсь, как он редко ошибается, и то не в главном, а в практических применениях, что всегда изменчиво и зависит от случайностей» *.

Ловя автора письма на первом же его слове, не могу удержаться, чтобы, порядочно забежав вперед, не привести прелестного в своей веселости и простодушии подтверждения, как живо интересовало Лескова все, отражавшее хотя минутное настроение и самочувствие Толстого.

7 сентября 1892 года, покончив с деловой частью письма к художнице Е. М. Бем, он торопится прибавить:

«Лев Николаевич очень весел. Рассказывает, как его дочери «пошили порток ребятам» и потом спрашивают: «Хороши ли портки?» А ребята отвечают: «Портки хороши, только в них никуда *бечь нельзя*» **.

Радует Лескова, что Толстой «весел», что он посмеивается над своими неумелыми закройщицами и восхищается великолепием лексики яснополянских ребят!

Неуклонно развертывавшийся характер литературно-учительной деятельности Лескова приводит к нему П. И. Бирюкова и других «толстовцев» с самим магистром их ордена В. Г. Чертковым во главе.

Растроганные ярким «вержением» Лескова к Толстому, они подготовляют свидание.

Затем Лесков уверенно пишет Толстому 18 апреля 1887 года:

«Сейчас заходил ко мне Павел Ив. Бируков и известил меня, что вы на сих днях будете в Москве. Он и Вл. Гр. Чертков очень желают, чтобы могло осуществиться мое давнее, горячее желание видеться с вами в этом существовании. Я выезжаю в Москву завтра, 19-го апреля, и остановлюсь в Лоскутной гостинице. Пробуду

* Архив В. Г. Черткова в Москве.
** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

в Москве 2—3 дня и буду искать вас по данному мне адресу (Долго-Хамовнический пер., № 15). Не откажите мне в сильном моем желании вас видеть, и, — если это письмо найдет вас в Москве, — напишите мне: когда я могу У вас быть.

Излишним считал бы добавлять, что у меня нет никаких газетных или журнальных целей для этого свидания» *.

Давнее горячее желание видеться с Толстым «в этом существовании» осуществляется 20 апреля 1887 года, в Москве, на дому у Толстого, в Долго-Хамовническом переулке.

25-го, уже снова из Ясной Поляны, Толстой писал Черткову: «Был Лесков. Какой умный и оригинальный человек!» [22]

В Москве Лесков пробыл три или четыре дня и, вероятно, был у Толстого не один раз.

Рассказам о вынесенных впечатлениях не было конца. За свыше полусотни лет они, как ни досадно, забылись. Удержалась почему-то шутка со свечой, гасшей при произнесении перед нею кем-то из дочерей Толстого слова «поп»; прикрытие Толстым нескромно обтянутых чикчир какого-то гусара салфеткой или передником **. Из серьезного запомнилось сравнение Толстым образованности Владимира Соловьева со своей и большинства писателей того времени вообще: у того накопление ее шло *по прямой* линии, и все вперед, а у писателя накоплялось, может быть случайно, *зигзагами,* местами *пересекая* ту же прямую, но *не сливаясь* с нею на всем ее протяжении. Лескову это сравнение очень нравилось, и он его потом много раз вспоминал и приводил. Может быть, однако, это частью относится и к следующей побывке Лескова у Толстого, уже в Ясной Поляне, 22—26 января 1890 года.

В начале 1889 года Лесков, после разговора с Н. В. Яковлевой-Ланской [23] о Толстом, посылает ей свой первый рассказ на тему из Прологов — «Лучший богомолец» [24], в предисловии к которому (впоследствии опущенном) он выступал ярым защитником Толстого. Писательница осудила «защиту великана мысли».

* «Письма Толстого и к Толстому», с. 64—65.

** Через 7 лет включено в главу I предсмертного «Зимнего дня». — Собр. соч., т. XXVIII, 1902—1903, с. 119.

Еще до истечения двух лет личного знакомства с Толстым Лесков в письме к В. Г. Черткову от 29 декабря 1838 года скорбит:

«Я очень уважаю ваши чувства и симпатии и чту Льва Николаевича более всех людей, мне известных, но я не вижу ни в вас, ни в нем желанного сочетания «голубя и змея». Все они как-то порознь, а не вместе. Я замечаю в этом течении опять преобладание теоризма, какой я видел в 60-х годах при господстве другого учения, и от практики вашей не жду никакого прочного успеха в деле переустройства общественного житейского сознания. На практике все это уже как бы «отшумело», и начинается отлив. Я думаю, что вы мало присматриваетесь к тому, что происходит среди людей, заинтересованных учением Льва Николаевича. Иначе вы должны бы видеть сильное с их стороны охлаждение, а его не должно бы быть так скоро. Я опасаюсь, что все это движение не оставит даже следа и будет приравниваться к «наивным затеям». Люди возбуждаются словами Льва Николаевича — оставляют дома, идут в Москву, приходят туда «без меха и влагалищ», но... погрызут свои пальцы и согреваются у «сострадательных самаритян», и после того, конечно, решают по-евангельски вопрос о том, «кто их ближний?» «Ближний тот, *кто сотворил милость».* Лев Николаевич не творит милости, которая *сейчас* нужна... Он только дает надлежащий *тон* настроению ума человека, когда у того в брюхе голодно и на столе холодно. Это так и пошло по России, и надо сознаться, что это обгоняет и пересиливает прекрасные трактаты о духе и настроении. Лев Николаевич «не вправе брать у своей семьи» и проч. и проч. Отлично, — и пусть так, но (говорят) «ведь такие делились с семьею своею, — оставляли семью жить по-своему, а брали *свою часть* и ее отдавали на то, чтобы питать и согреть голодных и холодных и приютить ослабевших и бесприютных» <...> Я ценю прекрасную теплоту души вашей и знаю всю разницу вашего настроения от жалкого настроения круга, от которого вы удалились, но я боюсь, что эта теплота не согреет общей остуды, а сгорит, как фальшфейер. Право каждого идти, как он хочет, несомненно, но если заходит речь о верности настроения, надо говорить то, что считаешь за верное. На этом и прошу вас простить меня за искренние слова, с вашим мнением несогласные. За Львом Николаевичем останется — кроме его великого

таланта — благородство его духа и гениальное истолкование христианства, — им оказана людям бессмертная помощь; но в практике его есть огромная ошибка, которая сама лезет в глаза и *вредит делу.* Это и погибнет, а полезность останется в наследие ищущим света и разума» *.

На приглашение Суворина встретить у него новый, 1890 год и на покаянные сетования его на неосилимость владеющей им вспыльчивости Лесков 31 декабря 1889 года отвечает ему советами самообуздания и ставит в пример всем несдержанным натурам работу, проведенную над собою Толстым: «Себя совсем переделать, может быть, и нельзя, но несомненно, что намерения производят решимость, а от решимости усилия, а от усилия привычка, и так образуется то, что называют «поведением». Припомните-ка, каков был Лев Николаевич, и сравните, каков он нынче!.. Все это сделано усилиями над собою, и не без промахов и «возвратов на своя блевотины». Об этом нечто известно многим, да и сам он в одном письме пишет: «Только думаешь, что поправился, как глядишь, и готов, — опять в яме». Это согласие с вами и ответ вам. А если бы он не «поправлялся» — то... каков бы он был с этим страстным и гневливым лицом?.. А он себя переделал и, конечно, стал всем милее и самому себе приятнее. Неужли это такая малость, что из-за нее не стоит и пытаться себя сдерживать? Я с этим не согласен и хоть часто бываю «в яме», но хочу по возможности из нее выбиваться. Лев Николаевич как-то говорил, что «никогда не надо оправдываться и возражать». Как я теперь понимаю — это самая очевидная правда, и в нашем положении она нам многих истин дороже, потому что для нас это первая ступень, с которой надо начинать вылезать из «ямы». И это, кажется, не так трудно. Гетте же писал, что он может молчать, «хоть бы его укорили в воровстве серебряных ложек», а теперь взгляд на обязанности человека и на его достоинство еще

---

* Архив Черткова. Москва. Любопытно, что очень близкого взгляда держался в этом вопросе и, по лесковскому выражению, умевший *долбануть прямо в жилу*[25] А. К. Шеллер, находивший, что Толстой «совсем не признает денег... Он не имеет их вовсе в своей комнате и потому никому не помогает ими... Он уже совсем ничего не имеет. Он не дает денег ни на школы, ни на больницы, ни на журнал. Вот куда завело его резонерство» (А. И. Фаресов. Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов). СПб., 1901, с. 74).

благоприятнее молчанию, чем во время Гетте. Я поступил дурно, — составил заметку *, без которой очень бы мог обходиться, — это подлило масла в плошку и началось горение... человеку <В. П. Буренину. — *А. Л.*> стало неприятно: «чего это он все вертится!.. Дай-кась, мол, я его... Да с приговоркою: не ходи вдоль лавки, не гляди в окно!..» И получилась во всяком разе неприятная никому ни на что не нужная история, а виноват в ней всех больше я. Я не подал причины, но подал повод. Теперь мне это ясно, и я на себя очень недоволен. Желаю себе на новый год, чтобы никогда подобного не повторять...» **

15 февраля 1890 года в письме ко мне я прочитал взволнованные строки отца: «Соната» <Крейцерова. — *А. Л.*> вчера решительно запрещена <...> В Литературном обществе произнесли Толстому осуждение. «Он сошел с ума и исписался». Этому аплодировали. Фофанов вскочил и крикнул: «Комары и мошки напали на льва». Полагали, что он пьян, но он был трезв» ***.

В конце этого же года Лескову выпала радость снискать почти восторженную хвалу Толстого. 25 декабря, в «рождественском» номере (354) «Петербургской газеты» он поместил свой рассказ «Под Рождество обидели», призывая в нем к великодушному прощению жалкого вора [26]. Газетка была послана в «Ясную Поляну». Толстой попросил выслать еще несколько ее номеров... 7 января 1891 года «Новое время», в № 5337, ополчилось на Лескова [27], а он отозвался 13 января в № 12 «Петербургской газеты» статейкою «Обуянная соль», послав и этот номерок в «Ясную». Прочитав ее, Толстой послал ему в ответ такое письмо, без даты, полученное Лесковым 23 января:

«Ваша защита прелесть, помогай вам бог так учить людей. Какая ясность, простота, сила и мягкость. Спасибо тем, кто вызвал эту статью. Пожалуйста, пришлите мне сколько можно этих номеров. Благодарный вам и любящий вас *Л. Т.»* [28].

А перед этим, за три-четыре дня, 15 января, он писал В. Г. Черткову: «Какая прелесть! это лучше всех его рас-

* Подразумевается письмо в редакцию Лескова «Об иродовой темнице», фигурирующей в его рассказе «Аскалонский злодей», помещенное в «Новом времени», 1889, № 4062, 20 декабря; осудительный отзыв на него Буренина. — «Критические очерки», там же, № 4964, и вполне оправдательный Суворина, там же, № 4967 — «Аскалонская верность».

** Пушкинский дом.

*** Архив А. Н. Лескова.

сказов»[29]. И затем включил последний в «Круг чтения» под заглавием «Под праздник обидели»[30].

Так, казалось, и шло, кругом, полное «единение духа».

Культ почитания и благодарения за «просветление ока» крепнул, и 4 января 1893 года Лесков пишет Толстому уже как бы исповедное признание: «Вы знаете, какое вы мне сделали добро: я с ранних лет жизни имел влечение к вопросам веры и начал писать о религиозных людях, когда это почиталось за непристойное и невозможное («Соборяне», «Запечатленный ангел», «Однодум» и «Мелочи архиерейской жизни» и тому подобное), но я все путался и довольствовался тем, что «разгребаю сор у святилища», но я не знал — с чем идти во святилище» *.

В том же году, 9 июня, Лесков назидает Л. И. Веселитскую: «Вы вот все убегаете соединения мыслей вкупе, а я ищу единомыслия, но во всем подлегая величию ума Льва Николаевича» **[31].

Однако в некоторое расхождение с этим «подлеганием», несомненно в связи с появлением в сентябрьской книжке «Северного вестника» статьи Льва Николаевича *«Неделание»,* в одной из записных книжек Лескова делается им собственноручная «нотатка»:

«*О неделании* у Толстого: зачем его не спросят: как понимать слова Евангелия о праздных работниках: «что вы здесь целый день праздно стоите» ***.

А в другой сделана тоже не выражающая полного единомыслия нотатка:

«В разъяснениях и толкованиях Л. Н. Т. есть «нечто нсудобовразумнтельное» (как выражался апостол Петр об апостоле Павле), но он поднял современных ему людей на высоту, недостижимую для пошлости, не восходящей выше соображения «выгодности и невыгодности», но во всех людях, тронутых им, наверное уцелеет если не убеждение, то сознание или понятие, что «мы живем не так, как следует жить», и это есть великая заслуга Толстого. *Н. Л.»* ****.

В первой главе статьи Меньшикова «Работа совести»[32], напечатанной в ноябрьской «Книжке «Недели»

* «Письма Толстого и к Толстому», с. 126—127.
** Пушкинский дом.
*** ЦГЛА.
**** Там же.

того же года, говорилось: «В современной литературе, кажется, кроме Страхова и Лескова, нет видных защитников Толстого; разве еще один г. Буренин иногда замолвит словечко за великого писателя в своих очерках».

Хорошо «вчитавшись» в нее, Лесков 8 ноября пишет ее автору: «Страхов и Буренин (по моему мнению) упомянуты напрасно, — особенно Буренин. Оба они чувствуют к нему какой-то «фавор», но они оба не разделяют его симпатий и отлично служат тому, что стоит впоперек дороги его желаниям» *.

Два дня спустя, 10 ноября, он продолжает: «Не тех надо было поминать, которые его *похваливают.* Его хвалить не нужно, а нужно вести с ним одну и ту же «работу совести». Ни Страхов, ни Буренин этого не делают. Страхов и православист, и гегелианец, и государственник, и воитель, и патриот, и националист, и наказатель. Он Толстого хвалит за пригожество и остроумие, но он не утверждает людей в том, чтобы прозирать важнейшее за важным, и не объединяет сознание в единой «воле отца». Следовательно, он Толстому не брат и не сотрудник в важнейшем деле. А что касается Буренина, то этот употребляет Толстого «как палку на других людей». Сам Толстой говорит: «Это ужасно. *Он мною дерется»...* Помянуть людей, любящих Толстого, следовало, но таких, которые продолжают вводить в народ то, что он открывает и благовествует ...И такие есть: это Эртель, Засодимский, быть может, Гарин, покойный Евг. <Всеволод. — *А. Л.*> Гаршин. И живых из этих людей стоило поддержать и ободрить и *укрепить* на дальнейшие дела во славу бога; а вы похвалили старых козлов, которые трясут бородами, а вслед за пастухом не идут. «И то тебе вина» **.

На полученное от Меньшикова возражение Лесков 11 ноября отвечает: «Если уж говорить о том, что сделано «как-никак», то я хотел бы сказать, что в этом роде и самое горячее и самое *трудное* слово было мое: статья против Константина Леонтьева[33] (о религии страха и любви). Я имею основание об этом говорить с чистою и смелою совестью: я не молчал, но даже говорил, *не жалея себя* и отсюда мое изгнание из Министерства народного просвещения. Почему же Страхов и Буренин

---

* Пушкинский дом.
** Там же.

только «защищали»? И они не защищали, а только *величали* или *славили* и ублажали, как попы ублажают угодника, которому поют, чтобы себе за молитвы собрать. Нет; вы нехорошо сделали, поименовав Буренина (особенно его), который «Толстым только дерется» и бьет им бедного Баранцевича и его близких» *.

Утомляясь, а с тем и раздражаясь все более, Лесков в письме, посланном на другой день, становится еще резче: «Соловьев *не единомыслен* с Львом Николаевичем, и он не может его защищать. Ге писать не умеет. Успенский Толстому совсем противомыслен. Я именно «совпал» с Толстым, а не «вовлечен» им, как думает Буренин. Я ему не подражал, а я *раньше* его говорил то же самое, но только не речисто, не уверенно, робко и картаво. Почуяв его огромную силу, я бросил свою плошку и пошел за его фонарем. Я «совпал», а продолжать об этом *устал*» **.

По словам Веселитской, «как-то, вдоволь намолившись на Льва Николаевича, Николай Семенович сознался в том, что глубоко скорбит о том, что старик не раздал своего имения нищим: «Он должен был сделать это ради идеи. Мы были вправе ожидать этого от него. Нельзя останавливаться на полпути». — «Если это вам так ясно, — сказала я, — раздайте скорее все свое». — «Да у меня и нет ничего». — «Ну, что-нибудь найдется у всякого. Нашлась же лепта у вдовицы...» ***

После этого Лесков 25 ноября 1893 года пишет Меньшикову: «Лидию Ивановну видел «в грозном чине» и «много пострадах» от нее, быв поносим и укоряем за то, что «сижу в убранной комнате» и смею думать, что «жаль, что для полноты своего нравственного облика Лев Николаевич не отдал *свою долю* крестьянам, как сделал Хилков, ибо этим были бы заграждены уста дьявола». И не помянулось мне ничего за это. — Впрочем, потом была замирительная грамота. Терпел и за слово «защищать» Толстого. — «Разве можно *его* защищать... *Кто смеет* его защищать», и т. д. От вас терпел, что *не* защищаю; от нее — зачем защищаю; а от Гайдебурова еще того непонятнее. Только тем и жив, что мужика вспомнишь, да вздохнешь и скажешь: «о господи» ****[34].

---

* Пушкинский дом.
** Там же.
*** В. Микулич. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 193—194.
**** Пушкинский дом.

«Намоления» находили себе отражения и в письмах к самому Толстому. В переписке со всеми другими по преимуществу держалась полнозвучная доминанта. Это было не всегда хорошо, но всегда крепко. С Толстым бралась чуждая натуре умягченность тона. Случались и сбои. Вообще же чувствовалась напряженность, калейдоскопичность сообщаемых злободневностей, вестей, слухов... Неустанная хвала утомляла хвалимого. Равновесие переписки утрачивалось. Одна сторона засыпала своими пространными письмами другую. Обнажался письмовый крен. Что порождало его?

Вспомнив, что Л. Я. Гуревич, целиком благодаря усиленному ходатайству Лескова перед С. А. Толстой и самим Толстым, летом 1892 года побывала в Ясной Поляне, я попросил ее помочь мне разобраться [35].

Спасибо ей, 9 апреля 1937 года она отвечала:

«Отношение его к Толстому у меня на глазах. Что не все было ладно в нем, мне ясно. И Толстой, несомненно, чувствовал это: у меня сохранилось одно воспоминание, которое трудно передать словами, потому что вся суть его заключается в недомолвке и в интонации Толстого. Мы разговаривали с ним о разных людях, идя по яблоневому саду, и когда коснулись Николая Семеновича Толстой сказал: «Да, он мне пишет иногда... Только иногда тон какой-то... уж слишком... Неприятно бывает... Ну, впрочем, вероятно, вы сами понимаете» [36].

Все же я думаю так: иногда — и, может быть, к старости все чаще — становилось ему *страшно* от самого себя, хотелось ухватиться за того, кто во многом, хотя и не в таком страшном, себя преодолел или во всяком случае шел к преодолению, стремился к нему с надеждой на успех, с верой в возможность его. Отсюда эта тяга к Толстому, тоже не цельная, как и все в нем самом, неровная, перебиваемая и критикой «толстовства», и органической несклонностью к каким-либо видам аскетизма, кроме разве тоже какого-нибудь исступленного, фанатического и в это исступление выливающего свои неизбывные страсти» *.

Лесков дорожил перепиской и искал ее. Толстой, возможно, поддерживал ее более из дружеской учтивости, чем из большой личной потребности, как бы уставал от нее.. [37]

---

* Архив А. Н. Лескова.

Случались и огорчительные заминки, паузы.

12 октября 1890 года Лесков пишет Черткову: «О Льве Николаевиче мало слышу и очень томлюсь по нем, но не поеду к нему и писать не хочу. Он знает, что я его люблю и ему верю и с ним бреду по одной тропе, но, может быть, и его мысль как-нибудь насторожена против меня. Я не хочу об этом думать и не хочу никого осуждать, а себя тоже» *.

При сорока девяти сохранившихся письмах Лескова толстовских известно только девять, почти всегда небольших, и едва ли их было вообще больше двух десятков [38]. Погибло, должно быть, немало и лесковских. Бросается рядом в глаза живость переписки Льва Николаевича с Н. Н. Страховым, хотя, по свидетельству П. А. Сергеенко, в бочках с медом Страхова, как и Лескова, Толстой видел «изрядную дозу дегтя» **[39].

Не все гладко выходило и с некоторыми произведениями. В «Зимнем дне» «парлирующим» дамам оказались предоставленными рискованные реплики: «Ну, к Толстому, знаете... молодежь к нему теперь уже совсем охладевает. Я говорила всегда, что это так и будет, и нечего бояться: «не так страшен черт, как его малютки». Или: «но вдруг сорвется и опять начинает писать глупости: например, зачем мыло!»

А в дальнейшем беседа их затрагивает картины толстовца Н. Н. Ге, и одна из дам восклицает: «Мне его самого показывали... Господи! Что это за панталоны и что за пальто!» ***

Толстовские «малютки» были глубоко оскорблены, они уклонялись от встреч с автором очерка.

Как известно теперь, очерк этот не встретил сочувствия в Хамовниках. В дневнике С. А. Толстой за 21 сентября 1894 года имеется беспощадная запись: «После обеда мальчики готовили уроки, а я прочла Леве вслух рассказ Лескова «Зимний день», — ужасная гадость во всех отношениях. Я и прежде не любила Лескова, а теперь еще противнее он мне стал, так и просвечивает грязная душа из-за его якобы юмора, но мы не смеялись, а просто гадко».

Такая зарядка в полновластной главе дома не сулила доброго.

* Архив Черткова, Москва.

** «Письма Толстого и к Толстому», с. 63.

*** Собр. соч., т. XXVIII, 1902—1903, с. 117, 118, 149.

Лесков нередко принимал светскую приветливость за истинное расположение. В частности, он был уверен в благонастроенности к нему Софьи Андреевны, встречно исполненный к ней (до эпизода с английским журналистом Диллоном) * непререкаемого почитания, признания больших ее заслуг, сочувствия драматизму ее положения. «Она нам сохранила его. Мы должны быть ей благодарны», — говорил он Веселитской **. А в вопросе ее отношений со Львом Николаевичем заступнически восклицал: «Ей оружие прошло душу!» [40]

По неизменному обычаю, воздавая горячую хвалу глубине и силе чьего-нибудь ума, таланта и проникновения, Лесков не поступался при этом личными взглядами и суждениями.

«Напряженно интересуясь» тем, «как идет работа мысли» *** у другого, он продолжал идти по своей особливой стежке [41].

Натура трудно мирилась с подражательством, подчиненностью, заимствованием. Едва поддавшись им, она спешила во всем восстановить свою самобытность. Острый глаз не допускал долгой усыпленности, постепенно подмечая ошибки хотя бы и очень больших людей.

Для фигур низшего ранга работа времени, конечно, была еще опаснее.

«Толстовцы» повержены во прах: «Льва Николаевича Толстого люблю, а толстовцев — нет», — говорится дома собеседникам ****.

Он следит за всеми ними, как, впрочем, и за всей работой мысли самого Толстого.

Вначале «возлюбленному» В. Г. Черткову, стремившемуся загладить одну удивительную с его стороны неловкость, Лесков непреклонно высказывает, что, при возобновлении временно прерванных отношений, у него может подняться «со дна души сор и сметьё» *****.

Былому «милому Поше» Бирюкову, разлука с которым казалась когда-то горестной, пишется уже по-иному:

---

* См. ниже, с. 416—417.

** В. Микулич. Встречи с писателями, Л., 1929, с. 164.

*** См. письмо Лескова к Л. Н. Толстому от 28 августа 1894 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 177.

**** *Фаресов,* с. 338.

***** Письмо Лескова к Черткову 17 апреля 1892 г. — Архив Черткова. Москва.

«28/XII, 93. СПб., Фурштатская, 50,

Любезнейший Павел Иванович!

Очень благодарю вас за ответ. Я спрашивал вас шуточным тоном, а в самом деле мне было очень *противно* слышать то, о чем сказывали. И всего досадительнее было то, что Петр Ильич и я вспомянули, что вы что-то немовали про разумность молитв и приношений, и теперь это подходило к тому, что рассказывали. Но вы теперь пишете, что это не так... Ну, пусть будет так! А сомнение все-таки заронено от лепета, который нельзя позабыть. Пойдете этим путем и всего достигнете, как Ив. Дм. * и Алх-н **. Да и чего ради лишать себя «единения с верующими»! Вам я хочу верить, но стал передо мною в памяти Щедрин и, указывая на «большие колокола», говорит: «все там будем!..»[42] Какая противность! Вообще я не понимаю: зачем это что-то блекоталось новое о молениях, и вслед за тем...» На этом письмо брошено ***.

«Ваничку» Горбунова-Посадова и прочих постигает одна участь.

«Я думал, — говорил дома Лесков, — они несут в народ высшую культуру, удобства жизни и лучшее о ней понимание. А они всё себе вопросы делают: есть мясо или нет; ходить в ситце или носить посконь; надевать сапоги или резиновые калоши и т. д.».

6 апреля 1894 года он отвечает Веселитской: «То, что вы пишете о толстовцах, очень интересно. Я тоже их не спускаю с глаз и думаю, что ими можно уже заниматься, но непременно с полным отделением их от того, кто дал им имя или «кличку» <...> В способность Бирюкова к пахоте — *не верю.* Если он пашет, то я жалею его бедную лошадь, которой сей «лепетун» подрежет сошником ноги. Я преглупо раздражаюсь, когда слышу их «лепетанье» о работе. Пусть «ковыряют», но не «лепечут». Довольно они уже насмешили людей, которые их не стоят» ****.

И «занялся»: меньше чем через полгода, в сентябрьской книжке московского журнала «Русская мысль», явился «Зимний день».

Героиня рассказа, молодая девушка Лидия, коротко определяет «лепетунов»: «С ними делать нечего».

---

* Ругин, один из молодых людей, покинувших толстовство.

** А. А. Алехин, основатель земледельческой толстовской общины в Смоленской губ., затем тоже покинувший толстовство.

*** Архив А. Н. Лескова.

**** В. Микулич. Встречи с писателями, с. 199[43].

С «малютками», которые «с воробьиный нос дела не делают»,—кончено.

В дальнейшем о Толстом говорится всегда с неизменным почитанием, как и с заботливым отмежеванием его от бесповоротно разжалованных «лепетунов».

«Толстой делает большое дело, но в частностях иногда может легко сказать и не то, что, может быть, хотел и что нужно... Это крупная вывеска: слова всем видны, а отдельные буквы, может быть и криво поставлены... Некрасиво, но всем видно, и цель — достигнута! Так и во всяком большом деле бывает. Ведь видите, какие он горы, двигает и заново переделывает жизнь... Легко и ошибиться в чем-нибудь. Действительно, зачем это он нападает на науку? — Разве так уж у нас ее много и она мешает чему-нибудь? Пусть учатся! Зачем это отрицать? Или вот тоже и мыло, гребешок, ванна и так далее... Ведь нельзя же без этого, а ему не нужно... Шутник этот Лев Николаевич! Зачем женщине не заботиться о красоте и изяществе? Или Горбунову и Бирюкову ходить без калош по улице и топтать мой чистый пол грязными сапогами? Зачем старуху мать приглашать к себе в «колонию» и морозить ее там в холодной избе, не позаботившись сперва припасти дров? Э... да сколько можно задать вопросов толстовцам... Но разве это имеет что-нибудь общее с учением Льва Николаевича о христианском образе жизни? Ну, в этих мелочах пускай он и неправ. Но что ж из этого? Может быть, он и сам рад, что в чем-то неправ перед нами и что мы тоже можем иметь на то свои возражения и взгляды не менее искренние, чем его. Цените его *на весы:* что перевешивает — ошибки или истинное слово его? В нем важны и ценны новые намёты, которые он делает, отвращая мысль нашу от дурного и поворачивая ее к хорошему. В «Крейцеровой сонате» важен вовсе не призыв к идеальному воздержанию людей от плотской любви, а то — как Толстой отвращает нас оттуда, где мы развращаем себя и женщину. Отрицание забот о завтрашнем дне так написано, что чувствуешь презрение автора к так широко проповедуемому ныне «могуществу эгоизма» и тому подобному. Вот ведь какие новые намёты мысли ставит Толстой, а мы всё ловим его на каких-то подробностях и тычем его носом в *настоящие* условия жизни... Да он отлично их знает, но только не дорожит ими и не стесняется, как прочие, пренебрегать ими, этими до-

рогими и милыми другим «современными условиями» *.

При попытках кого-нибудь внести поправки в умозаключения и выводы Толстого Лесков, если бывал в «мирном стихе», ограничивался, как, например, и в письме к Веселитской от 2 августа 1893 года, выражением незыблемой уверенности, «что все это, что приходит нам в голову, уже не раз побывало в несравненно более сильном и совершенном уме Льва Николаевича» **.

Значительно иная картина получалась, когда В. Л. Величко или другие мыслители и деятели его толка с усмешкой выдвигали непуританское прошлое «яснополянского мудреца». «Ну и что же?.. — восклицал Лесков. — Да Лев Николаевич и сам прекрасно отвечает на такие попреки: когда человек пьян — с ним не говорят, а говорят, когда он протрезвится. Я очень недавно протрезвился, и со мною о жизни надо беседовать теперь, а не вспоминать время и речи, говоренные мною, когда я был пьян и лишен разума» ***.

Оскорбившийся на Толстого за неответ на его письмо, Величко не упускал случая противопоставить этой «невежливости» во всем чуждого ему «властителя дум» изысканную светскость и вежливость во всем любезного ему салонного поэта Апухтина. Это вызывало взрывы негодования Лескова. «Сопоставлять эти имена! — восклицал он. — Где вкус у этого человека? И литераторы же у нас попадаются! Ведь с кем нянчится и кого хулит! Если он и не разделяет взглядов Толстого, то все же было бы больше вкуса, больше литературности в этом поэте из чиновников не вспоминать рядом с именем Льва Николаевича имя Апухтина! И чего он меня пытается соблазнить «Мухами» или «Безумными ночами»? Ведь все это не в коня корм. А вкусы господина Апухтина — не мои вкусы. И чего это он — то унижает Толстого Апухтиным, то обольщает меня служебной карьерой. Ведь я же не пой--у в чиновники особых поручений ни к какому министру! Чего же мне все время говорить о них и принижать при мне человека, на которого два света смотрят? А этот мелодик пишет на него пошленькие стишки... Это на украшение-то русского гения! На человека, через которого

* Запись. — Архив А. Н. Лескова. Ср.: *Фаресов,* гл. XV[44].

** В. Микулич. Встречи с писателями, с. 189.

*** Ср.: Лесков. Пустоплясы. — Собр. соч., т. XXXIII, 1902—1903, с. 112[45].

Европа и весь мир узнали, что у нас есть литература и философия! Раз как-то, на даче, они завели со мною разговор о «Первой ступени», и Муретиха <жена Величко — М. Г. Муретова. — *А. Л.*> распространилась о том, что Лев Николаевич с такой отвратительной реальностью описал убой быка, что ей стало мерзко и гадко читать его... Я встал со скамейки, — рассказывал Лесков, — на которой мы сидели на морском берегу, и, потеряв всякое самообладание, бросил им в лицо: — Ааа... вам гадко читать Толстого, ну, а мне... мне гадко вас слушать!.. И бросив их одних, ушел. Резко, пожалуй грубо даже, но... поделом: пусть знают, что в монастыре нельзя позволять себе говорить о балете и женской грации, а со мною говорить без уважения о Толстом!» *

Не меньшее возмущение вызывало в Лескове отношение к Толстому и «ортодоксальных» либералов, «либерального бубна» (Н. К. Михайловского), по адресу которых он говорил: «Они монахи с иерусалимского подворья... Монахи, но не простые. Они святее других. Скажите мне: умны они или притворяются умными? Никогда я не понимал их! Ну посмотрите на их борьбу с Толстым. Не напоминают ли они этою борьбой детей с сильным учителем? Они — то вертятся вокруг него, то прыгают, то силятся свалить его... А он идет себе, не замечая ни толчков, ни криков. Где же ум у этих либералов, если они не замечают, что один Лев Толстой в наши дни — национальное богатство! Как богатырь, идет он на тьму, и только его удары ей и чувствительны. Где у них ум, если они не считаются с его годами и требуют от старика-писателя, чтобы он не только поучал других простому образу жизни, но чтобы он сам пахал землю и сеял. Никто бы из них и не заикнулся о Толстом, если бы он получал литературный гонорар, какой ему вздумается, и проживал бы его так, как проживают свои заработки Михайловские, Глебы Успенские, Щедрины и другие! [46] Но то, что Лев Николаевич живет в одной комнате, ест самую простую пищу, одевается по-мужицки и ничего не тратит на так называемые «удовольствия», — это-то и омрачает их разум» **.

Показателем, в какой мере Лесков, «совпав» с Толстым, «никогда не бывал его рабом», могут служить твер-

---

* Запись. — Архив А. Н. Лескова.
** Запись. — Архив А. Н. Лескова.

дость и прямота неодобрения им попыток С. А. Толстой и самого Льва Николаевича найти «искажения» в напечатанном Диллоном в «Daily Telegraph» переводе толстовского «Письма о голоде» 1891 года. Своим письмом по этому поводу Лесков заставил Толстого «заплакать» и написать Диллону покаянное письмо *.

Не менее убедительны в этом отношении и его указания Толстому в письме от 8 октября 1893 года:

«Умную старину я всегда любил и всегда думал, что ее надо бы приподнять со дна, где ее завалили хламом <...> Только надо, реставрируя старое, не подавать мыслей к уничтожению хорошего нового. Надо, чтобы этого ни за что не случилось и чтобы не было подано к тому соблазна, как вкралось нечто и негде в статье «о неделании», что людям любящим и почитающим вас и задало гону от «поныряющих в домы и пленяющих всегда учащиеся и николи же в разум истины приидти могущие» **.

Записи Фаресова, посетившего Толстого в начале 1898 года в Москве, сохранили чрезвычайно ценные встречные отзывы о Лескове Льва Николаевича:

«Лесков — писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна» ***.

«Его привязанность ко мне была трогательна, и выражалась она во всем, что до меня касалось. Но когда говорят, что Лесков слепой мой последователь, то это неверно: он последователь, но не слепой. Значительно раньше Лесков уже отвернулся от материалистических учений... Он давно шел в том же направлении, в каком теперь и я иду. Мы встретились, и меня трогает его согласие со всеми моими взглядами» ****.

По одному поводу в письме от 17 сентября 1893 года Лесков подтверждал Фаресову: «Таково же, как мне известно, и мнение Л. Н. Толстого, но если бы Лев Николаевич имел и не такое, а иное мнение, даже совсем противуположное и ближе подходящее к вашему, — это бы

* Л. Я. Гуревич. — «Северный вестник», 1895, № 4, с. 64—68 и письмо ее к А. Н. Лескову от 28 июня 1937 г. (архив А. Н. Лескова); П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. III, с. 173—179; «Помощь голодным». — «Книжки «Недели», 1892, январь; «Письма Толстого и к Толстому», с. 124—126 [47].

** «Письма Толстого и к Толстому», с. 146.

*** А. Фаресов. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 786.

**** *Фаресов,* С. 70—71.

на меня не оказало влияния. Мне надо не быть самим собою, чтобы отложиться от моего собственного разумения; а этого сделать нельзя, и я должен оставаться при своем понимании, за которое вы, конечно, вправе меня осудить» *.

И не удивительно: как свидетельствует Н. Н. Гусев, Толстой при одном разговоре в Ясной Поляне «сказал, что Лесков производил на него всегда впечатление очень сильного человека» **.

Но и этот сильный человек искал опоры извне, убеждал себя в достижении им, во многом желанного «совпадения» с Толстым, черпал в этом ободрение и укрепление своего алчущего духа.

«Смотрю на вас, — писал он в Ясную Поляну 28 августа 1894 года, — и всегда напряженно интересуюсь: как у вас идет работа мысли» ***.

Однако сам шел «с клюкою один» [48], многое — «*по-своему* видя».

ГЛАВА 4

БЕЗ УБОИНЫ

В отведенном ранним воспоминаниям очерке «Дворянский бунт в Добрынском приходе» повествовалось, как у «справедливого», бескорыстного попика-запивушки, «хлебосола из последних сил», к его именинам, на 1 января, заготовлялась преданиями требовавшаяся снедь и доступное по местным условиям питие.

«Угощение бывало не тонкое, но обильное и даже вкусное, особенно на рождество, в пасху, на храмового Николу и в Новый год на день Василия Кесарийского, когда все орловское православие кушает в честь благородного философа Кесарии «касарецкого поросенка». Отец Василий был в этот день именинник и подавал своим прихожанам несколько «касарецких» поросят — варенных с хреном в зубах и жаренных с лучком и с кашей. К этому приспособливалась сама природа: свиньи у отца Василия так и поросились, чтобы дети их могли к Васильеву дню получить аттестат зрелости и стать «каса-

---

* *Фаресов,* с. 216.

** Н. Гусев. Из воспоминаний. — «Литературная газета», 1945, № 47 (1158), 17 ноября.

*** «Письма Толстого и к Толстому», с. 177.

рецкими». Тогда для них наставала новая торжественная минута: их кололи, и это, по уверению крестьян, приносило им большое удовольствие, так как всякое животное, убиваемое к христианскому празднику, «с радостью на нож идет».

И действительно, когда поросяток обделывали и, окунув в воду, устанавливали рядом на завалинке замораживать, они представляли из себя что-то младенчески благоговейное: замерзая все рядком с поднятыми вверх обрубленными лапками, они точно сами себя приносили в благоприятную жертву.

Крестьяне говорили: «У батьки поросятки как молятся! На Касарецкого их есть будем».

Это все было весело.

Напитки у отца Василия были неодинаковые — на дворянском столе сливняковая наливка и красное сорокацерковное вино, а на батрацком — полугар и сыченая брага, чрезвычайно приятного вкуса. По вкусу мужичков, ее значительно портили, подливая туда водки, через что брага становилась крепче, по-народному «разымчивее», но без этой примеси она составляла очень хороший напиток, который мы, дети, любили лучше наливки.

Отец Василий при гостях никогда не пил: он пил «после». Он сам так говорил, когда его спрашивали: «Что же вы, батюшка, сами не выкушаете?» Он отвечал: «Я после».

И он исполнял это «после» с самою несчастною добросовестностью, которая приводила в смущение весь дом и приход...» *

В дни писания рассказа Лескову полностью исполнялось пятьдесят годов. Читая эти аттические строки, кто бы подумал, что через немного лет описывающий младенчески благоговейных, как бы молящихся, поросяток и в безоглядной простоте находивший, что «это все было весело», автор превратится в апостола всестороннего воздержания, апостола «безубойного питания», «мясопуста» и «сердобольника», строго ополчится на табак и хмельное.

Это было, конечно, добродетельно, но и скучновато.

О том, как совершалась метаморфоза, подробно, но по закону времени, может быть, не во всем безошибочно, изложено в письме Лескова к В. В. Протопопову от 10 сентября 1892 года:

---

* «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 359—360; «Русская рознь». СПб., 1881, с. 66—67.

«Я до 47 лет пил вино, курил сигары и папиросы и ел мясо и все это почитал для себя за необходимое. <...> В конце этого периода у меня обнаружились припадки жестокой нервной болезни, известной под именем «ангины» или «грудной жабы». Повод к обнаружению первого припадка был нравственного свойства — сильное душевное волнение; но с тех пор страдания мои стали неимоверно жестоки и не уступали никакому лечению. Порою являлось иногда небольшое облегчение, но потом болезнь снова ожесточалась и целые три года я страдал ужасно и почти ежедневно. От получения одного неприятного письма я пролежал раз в корчах 22 часа. Ничто известное врачам не останавливало этого ужасного припадка. (При мне тогда случайно был редактор «Иллюстраций» Ф. Ф. Александров). Ни писать, ни читать я не мог и боялся всякой встречи, чтобы она не вызвала во мне волнения, причем тотчас же начинались корчи. <...> Тогда Лев Бернардович, поддерживая во мне надежду на исцеление, сказал мне: «Если бы вы могли обратиться к вегетарианской жизни — это бы, я думаю, принесло вам большую пользу». Я сейчас же положил себе исполнить его совет и с 15 ноября 1891 года перестал есть мясо, и мне опять стало легче. Теперь я страдаю гораздо меньше, чем в три прошлые года, когда я постоянно и безуспешно лечился. Теперь я читаю, немножко пишу, могу принимать у себя добрых людей и не боюсь разговаривать с ними, чего прежде не мог без страха, что вот сейчас, того и гляди, меня свернет и пойдет корчить... Всему этому облегчению я знаю только одну очевидную для меня причину — это то, что я стал жить *по-вегетариански,* то есть ем пищу только растительную, молочную и яйца, не пью вина и не курю ни папирос, ни сигар. Впрочем, вино и курево я оставил еще ранее и признаюсь, что всего труднее мне показалось перестать курить... Это как-то очень долго помнилось, и при досуге все опять хотелось закурить. Вино я оставил легче, а мясо — еще того легче. Мне теперь совсем *никогда* не хочется есть мяса, и я вполне доволен простыми и скромными блюдами вегетарианского стола, при котором мои прежние страдания облегчились». *

Так говорилось и писалось после трех лет искания

* В. Протопопов. Заметка — газета «Россия», 1900, № 296, 20 февраля.

средств к смягчению страдании, вызывавшихся «ангиной», за два с половиною года до смерти. Когда же практически осуществился вегетариано-этический сдвиг?

23 апреля 1883 года в письме к Шубинскому Лесков беззаботно обещает дать у себя гостям на предстоящей вечеринке «тельца упитанного» [49].

18 марта 1887 года, уже едва не в канун личного знакомства с Толстым, он заботливо вырезывает из № 3969 «Нового времени» выдержку из опубликованного в «Русских ведомостях» «реферата», сделанного Толстым в Москве, в Психологическом обществе. Столбцы наклеиваются на листок чистой бумаги и достаточно щедро испещряются подчеркиваниями красными чернилами некоторых указаний Толстого, как, например: «Под любовью к ближнему не следует разуметь только любовь к жене, детям, знакомым, даже соотечественникам; это все могут быть высшие формы эгоизма». Или: «Чем сильнее в нас деятельная любовь к истине и к ближним, чем выше развита готовность к самопожертвованию, тем более мы сливаемся с жизнью общего, тем глубже познаем смысл разумной жизни и тем решительнее торжествуем над своими несчастиями, страданиями, смертью».

Выше столбцов Лесков ставит как бы заглавие — «Понятие о жизни». Ниже, явно взволнованный, он пишет от себя:

«Кто любит отца или мать больше меня, тот меня недостоин», то есть кто угождает желанию родных или вообще желанию *людей,* которое не согласно с тем, что повелевает *истина* и *добро,* — тот бога недостоин, хотя бы весь век ел постное, как корова, и молился на все стороны» *.

Набор противоцерковных аргументов неотступно тверд, но как будто не удовлетворяет однообразность последних: изречение из «писания», родные по плоти, истина, добро... Создается привычный, почти досадительный привкус. Хочется оживить представление и впечатление. Вводится «корова». Вегетарианству еще не пришел час.

9 февраля 1890 года я заношу в свой дневничок, что у отца за обедом был «удивительный гусь» и что вечером мы с ним поехали в Мариинский театр слушать в ложе со знакомыми «Африканку» **.

* Архив А. Н. Лескова.
** Там же.

Курс, взятый на безубоину, первоначально находит себе отражение в произведениях.

В заразительно веселой, чисто орловской панораме «Грабеж», появившейся в печати в декабрьской «Книжке «Недели» 1887 года, порядочным диссонансом общему тону рассказа представляется описание убоя молодых быков зажиточным мясником, стоящим с ножом в руке и умиленно заслушавшимся «яростно свистящего» над его головой в клетке соловья *.

В вышедшем 1 июля 1889 года в № 13 журнале «Труд» рассказе «Фигура» повествовалось о матери героя, которая «ни мяса, ни рыбы не кушала из сожаления к животным», из которых выкормленные ею были для нее «как родные», а соседских она считала своими «знакомыми» и вообще «не ела тел убитых животных» **.

Позже, в декабрьской книжке «Вестника Европы» 1891 года, в «Полунощниках», Клавдия на вопрос Ивана Кронштадтского, почему она не ест мяса, отвечает, что ей и вкус не нравится, и «просто я не люблю видеть перед собою трупы <...> Трупы птиц и животных. Кушанья, которые ставят на стол, ведь это все из их трупов» ***.

Здесь уже слово «тела» заменено давно принятым Толстым словом «трупы». В книге К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» говорится, как 31 октября 1893 года Лев Николаевич, застав Давыдовых за обедом, «горячо советовал им не есть трупов».

В 1892 году у Лескова родится желание выпустить вегетарианскую поваренную книжку, а также и книгу об этике пищи с предисловием Толстого ****.

Одновременно, 15 июля 1892 года Лесков пишет польскому вегетарианцу и составителю вегетарианских книг Константину Оскрагелло [50]. Выписав все, что нашлось из его книг в Петербурге, и получив *еще* одну от самого автора, он спешит выразить свою признательность и радость:

«...Примите за нее, уважаемый человек, искреннюю и глубокую благодарность от человека, сродного вам по духу и вами обрадованного. Я не знаю: слыхали ли вы обо мне и знаете ли меня, но я теперь счастлив, узнав

---

* Собр. соч., т. XIII. 1902—1903, с. 154.

** Собр. соч., т. XIX, 1902—1903, с. 84, 97.

*** Там же, т. XXXI, с. 77—79.

**** В. Протопопов. У Н. С. Лескова. — «Петербургская газета», 1892, № 252, 13 сентября.

вас и получив радость в общении с тем разумением, которое нашел в ваших книгах. По духу и под haslem * того, чья монограмма выставлена на книге «Pokarmy» **, мне ничто не затрудняет свободной, братской любви к вам «w dolę lub niedolę» ***. Мы одной веры «ko zbawieniu» ****, и я ищу общения с вами.

Обе книги ваши прекрасны: они исполнены разумным человеком под наитием духа божия, преподанного «ko zbawieniu» Иисусом Христом, да будет он посреди нас во веки веков. Я искал ваших книг для вегетарианских рецептов kulinarnych и нашел это, но нашел еще более того драгоценное — это ваши простые и для всякого разумного человека ясные и понятные ваши философемы. Ум мой и сердце мое настроены в этом же духе, и мне хочется не называть вас «wielmoznym panem», а хочется сказать вам: «kochany brat!» Таковы мои чувства, вызванные духом книги, где кроме pokarmów fizycznych есть и pokarmy высшего регистра...»

Анонсы и заметки, связанные с изданием вегетарианской поваренной книги, вызывают вихрь нападок, глумлений и обвинений со стороны многих газет.

Травля Лескова за вегетарианство вообще, а в суворинском «органе» в особенности, не унимается. Постепенно она достигает апогея в неподражаемо пошлых фельетонах В. П. Буренина от 1 и 29 января нового, 1893 года в №№ 6050 и 6078 «Нового времени» [51].

Порождая возмущение опрятных людей, они вызвали брезгливые строки А. П. Чехова в письме к Суворину от 5 февраля 1893 года: «Нападки на вегетарианство, и в частности буренинские походы на Лескова, кажутся мне очень подозрительными» [52]. А через год, 27 марта, в письме к Суворину же, он приходит к своего рода заключительному и убедительному выводу о вегетарианстве: «расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса» [53].

Владелец газеты все это читает с удовольствием и нимало не помышляет об ограждении тяжко больного и стареющего литературного своего сверстника от разнуздан-

---

* По слову (*пол.*).
** Пища (*пол.*).
*** В счастье или несчастье (*пол.*).
**** К спасению (*пол.*).

ных налетов. Как бы в искупление неприглядности своего поведения, при встречах он с гаденькой шутливостью спрашивает: «Не сердитесь, голубчик?» *

Объявились противовегетарианские и противолесковские подголоски и в «Петербургской газете».

Вегетарианство, конечно, находило себе некоторое, по преимуществу практическое, отражение и в родственной переписке. Ограничусь выдержками из двух более поздних писем к О. С. Крохиной — от 22 октября 1892 года и 14 января 1893 года:

«Хорошо, что ты здорова. Это от тебя редко приходилось слышать, и еще, верно, можешь быть здоровее, если станешь больше делать руками, да не будешь курить, не будешь вино пить и мясо есть. Это оказывает прекрасные последствия, и притом нимало не трудно. Из всех этих мнимых будто бы «лишений» мне чувствительно было только одно — перестать курить, но когда я это сделал, то стало прекрасно: и теперь я пользуюсь свободой от трат, от дыма в комнате и от копоти в легких. Боткин, умирая, говорил: «ах, зачем я поздно узнал вред курения!» Женщине же курить кроме того как-то и развращенно... та и отдает «вольною женкой» **.

«Болезням твоим не удивляюсь. Я и сам все болен. Пора болеть. Довольно невоздержничали, — надо и расплатиться за все излишества чрева, глотки и прочего. Без этого дело уж не обойдется. А чтобы поменьше пришлось страдать — обратись к умеренности и оставь злое и излишнее: перестань есть мясо и кровь живых существ; не пей вина и не накачивай в свое тело табачного дыма и никотинного яда. Люди, оставляющие эти злые и гадкие привычки, получают облегчение в здоровье и просветление в разумении. Вот и ты это попробуй и увидишь, что это хорошо, и во всяком случае гораздо полезнее, чем стонать и жаловаться от того, в чем никто помочь не может. Я же могу тебе сказать, что оставить мясо, вино и курение не только полезно, но и *очень легко»* ***.

Угадывая, что сестра не следует его указаниям, Лесков 13 июня 1893 года распространительно преподает их ее почти двадцатилетним старшим дочерям, явно призы-

---

* См., напр., письма Лескова к Л. Н. Толстому от 9 и 20 января 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 87, 90.

** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

*** Там же.

вая их внять его советам и повлиять на мать, рикошетируя при этом по последней на всем протяжении своего письма:

«...Так и жить надо, чтобы не мельтешили в вашем разговоре слова о том, что «им хорошо — они богатые; а нам плохо — мы бедные». Вы совсем и не бедные, да и разговор об этом никому не интересен, и ни к чему он не ведет, кроме пересудов и распрей <...> Я стар, а в молодости моей я был глуп и очень безнравствен, и я так не думал и умно не поступал; но вот мне теперь дано дожить до радости, и я вижу прелестных молодых юношей и девиц, занятых прекрасными мыслями об общей пользе, а не франтовством, весельем и разгулом, как было в наше постыдное время, и я вижу, как эти нынешние, свободные и целомудренные девушки прекрасно живут, и как мало нужно для их довольства, и как они ничего и никого не боятся, кроме своей доброй совести, и я, старик, радуюсь за людей и за вас: вам легче будет прожить хорошо, чем жили мы, которым внушали, что надо всего больше наживать да достигать почета и тому подобного. Поверьте, что нет никакого счастия гнаться за этим, а есть большое счастие в том, чтобы *не желать* того, без чего можно жить, не страдая от голода, холода и болезней. А болезни все большею частью происходят от излишеств: от переедания, от трупов животных в виде кушаний; от вина и от табаку. А между тем есть беспутники, которые почитают за нужное и табак курить и вино пить, и я это делал и думал, что без этого нельзя; а когда добрые люди меня хорошо посрамили и я увидал свое безрассудство, то мне теперь стало и прибыльно, и здорово, и другим у меня весело — трезво, чисто, воздух не отравлен дымом, и мне удивительно: как же я прежде этого не понимал, а все пил, курил, ел печеные трупы птиц и телят, и все это мне казалось за *нужное!* Думайте же, друзья мои, надо всем, чего хочется: есть ли это в самом деле нужное, без чего нельзя прожить спокойно, или это можно откинуть прочь и от того только будет спокойнее? Первое дело — не коптить своих легких табачным дымом, и будут все здоровее, и это даст деньги на дачу. Советую попробовать с этого начать» *.

Женатый, я навещал в эти годы отца по преимуществу вечером или утром. Все считались с его столовым

* ЦГЛА.

аскетизмом и старались не создавать в этой области никаких затруднений; трапезовали дома, а к нему шли беседовать за чаем. Это сглаживало рознь обычаев.

Судя по письму Л. Я. Гуревич ко мне, довольно широко процитированному выше, Варя говорила о каких-то частных отступлениях «дяди» от вегетарианства, а Е. Д. Хирьякова [54], много лет спустя, подтвердила ей, «прибавив со своей мягкой и умной улыбкой: «Даа... Особенно он куропаток любил». Я представляю себе, что все это так и было, одно вместе с другим: из глубины идущее стремление к праведности, к вегетарианству, смиряющему страсти по опыту Толстого, и — непосильность этой задачи для неудержимой натуры Николая Семеновича. Варя всего этого не могла осмыслить...» *

Любовь Яковлевна права: тринадцатилетнему подростку не по силам осмыслять сложность и сбивчивость человеческих движений; старику не всегда под силу выполнять задачу, противную привычкам всей жизни.

ГЛАВА 5

«ЦАРСТВО МЫСЛИ»

С бо́льшим, по сравнению со многими своими сверстниками, опозданием приобщившись литературе, Лесков с первых же лет своего писательства отдался «служению ей» со всей силой и страстностью своего неукротимого духа.

Для него решительно ничто не могло иметь равного с литературою значения и цены. Все было ниже ее, «ибо в литературе есть «царство мысли».

И он *служил* литературе всем сердцем.

Правда, в особо горькие моменты он иногда сгоряча и клял свою беззаветную ей преданность, но минуту спустя вновь говорил о ней не иначе, как с любовным благоговением, и вновь как бы с еще большею силою отдавался дальнейшему самоотверженному *служению* ей.

Вспышки этих разноречивых настроений так выразительны и ярки, что не дать их отражения в статьях, беседах и письмах Лескова представляется невозможным без ущерба освещению сокровенных его взглядов на самые дорогие его сердцу вопросы о задачах и приемах

* Письмо от 3 января 1935 г. — Архив А. Н. Лескова.

писательства. Буду держаться временной их последовательности.

«В Европе уже были и есть и теперь народы, которые несли и несут тяжелые епитимии за усилие губить свою литературу и класть в подножие то, что должно бы возносить во главу угла... Литературный мир точно так же не рыцарский орден, как и не Запорожская Сечь и не монастырь. Кто думает об этом иначе, тот ошибается. Давно сказано, что «литература есть записанная жизнь, и литератор есть в своем роде секретарь своего времени», он записчик, а не выдумщик, и где он перестает быть записчиком, а делается *выдумщиком,* там исчезает между ним и обществом всякая связь. Слово его теряет внушительность, мысль его не имеет опоры и не находит отклика, образы его становятся мертвы и не возбуждают сочувствия. Связь литератора с обществом такая органическая, что нарушение ее с одной стороны тотчас же разрушает ее и с другого конца; неверно понимающий и неправдиво воспроизводящий явления писатель покидается общественным вниманием одновременно с тем, как он покинул жизнь в своем воспроизведении» *.

«О пиесе в Испании думают то же, что думает госпожа Жорж Занд о романе и что она так резонно выразила по поводу нового произведения г. Флобера, то есть что сочинение должно вести к чему-нибудь, а не тешить для того, чтобы только тешить...» **

«Честные труженики русской литературы, доля которых всегда была тяжка и сурова, конечно, увидят в задушевных воздыханиях Журавского много каждому из них знакомых скорбей и, может быть, в сем образе страдания черпнут живой струи, властной хотя на несколько часов облегчить болезни унижения и беспомощности, составлявшие доселе удел русского писателя, работающего на пользу родины по велению своего разума, совести и чести...» ***

---

* «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 242, 10 сентября, без подписи; «Русские писатели о литературе», Л., 1939, с. 291.

** «Испания и испанцы». — «Биржевые ведомости», 1869, № 353, 29 декабря, без подписи: «Русские писатели о литературе», с. 292.

*** Из неизданном работы Лескова по переписке Д. П. Журавского с Н. В. Веригиным под заглавием «Из глухой поры», 1870, ЦГЛА, «Русские писатели о литературе», с.292.

«У литературы есть своя «священная мерзость», которою мы весьма походим на жриц публичного разврата <...> Нет-с; этот «разврат», которому мы поработали в поте лица и в нытье мозга костей своих, не даст нам силы обречь себя на целомудренное молчание <...> Писемский вчера прислал мне большое и задушевнейшее письмо, в котором сетует за меня, что «нет руководящей критики», и потом говорит, что «путь наш тернист». Да; противный, гадкий, колкий и голодный путь:

Жизнь без надежд —
Тропа без цели,

а все-таки мы с него не должны сворачивать, ибо куда ни повернем, везде скиксуем и потянемся опять пошляться по своей поганой литературной *улице*, — и это наше благо <...> Второй пример есть Нестор Васильевич Кукольник; потом Степан Степанович Громека, которого вот, как видите, литературный разврат выводит из стен его губернаторского кабинета, где его никто не смеет обругать и облаять <...> Ходит в народе глупая сказка, что будто бы три лекаря поспорили, что один глаза у себя вынет и потом вставит, другой еще что-то (не помню), а третий «утробу» вынет и себе назад вложит. Так и сделали и отдали вырезанное спрятать кухарке, а у той ночью крысы «утробу лекаря и съели». Баба в перепуге заменила эту утробу свиною, а лекарь ее себе вставил и начал жить, но только всю жизнь потом удивлялся, что «что, говорит, я ни ем: всякие шоколады и фруктери, а все после г...ца хочется». Вот вам подобие силы литературной жизни, к которой *тянет* и из губернаторских кабинетов, и потянет и из виноградника, и это еще благо, что «г...ца хочется», а то застой, коснение, измельчание» *.

«В виду нарастающих годов и естественно приближающейся смерти, порадуемся хотя тому, что мы еще умели всю жизнь оставаться *литераторами* и, питаясь тощими литературными опресноками, не продавали себя ни за большие деньги, ни за малые, как это начинается у других, похваляющихся своею бесстрастностью... Кто из нас в чем был правее другого, то решать не нам, а с нас, мне кажется, довольно того утешения, что мы любили и (надеюсь) любим свое дело горячо и служим ему по мере сил и умения искренно и не бесстрастно, не ожидая себе

* Письмо к П. К. Щебальскому от 16 апреля 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 312—313.

за свою деятельность ниоткуда никаких великих и богатых милостей <...> У нас есть обидчики, но истолкователей нет, а обидчикам, конечно, всегда будет более приятно заботиться о литературной вражде, чем о единодушии и мире» *.

«В отечестве нашем в настоящее время параллельно идут два течения: одно не новое, но свежее силами, влечет людей к изучению родной литературы, в которой еще Уваров чувствовал «весь смысл жизни народа»[55], — другое же новое и даже, пожалуй, по нынешней поре модное — обдает вышеупомянутое внимание к литературе брезгливым презрением. Но на весах судьбы, очевидно, бесповоротно решено, что это презрение бессильно, ибо никакие памятники бюрократии не выражают так полно и живо минувшие исторические события, как произведения литературные. И вот почему, — не в силу моды, а в силу факта, — лучшие мыслители нашего времени — недавно умерший Карлейль и еще наслаждающийся всеми благами просвещенной жизни Тэн — отводят литературе и литераторам самое видное место среди деятелей известной эпохи. Литература — это как бы дыхание, носящееся поверх хаоса, который она отражает, но сама не пачкается в его тине. Эпохи, когда не было писателей, окутаны туманным баснословием и потому не представляют для трезвого и пытливого ума ни интереса, ни поучения; но чуть появляется писатель — дело сразу изменяется: время, отмеченное его деятельностью, уже может быть изучаемо, проверяемо, критикуемо, и — что всего важнее — оно само становится поучительным, ибо оно уже богато по крайней мере «ошибками отцов и поздним их умом».

Такое первенствующей важности значение литературы признано первейшими авторитетами образованного мира, и брезгливое пренебрежение к этому направлению, проявляемое где-нибудь людьми, которые вотще «колотят себя сухими руками в сухие перси» **, представляет последние предсмертные корчи умирающей рутины. А потому

---

* Письмо к А. С. Суворину от 7 марта 1873 г. — Пушкинский дом.

** Эти высказывания Н. С. Лескова повторяют горячие страницы М. Е. Салтыкова-Щедрина, посвященные литературе (см.: «Круглый год»). Цитата взята из журнального текста последнего Фельетона «Круглый год». Щедрин относил эти слова к Достоевскому[56].

всякая попытка облегчить изучение литературы достойна внимания и, по возможности, обстоятельной оценки...» *

«Дай бог, чтобы, перетрясая недалекую старину, мы положили свою лепту на то, чтобы сохранить и пронести до лучших времен добрые предания литературы, окончательно, кажется, позабывшей свое благородное призвание и обратившейся в прислужничество, за которое надо краснеть...» **

«...Какие хамы у нас в дворянских собраниях и в думах: отчего ни Орел, ни Воронеж не имеют на стенах этих учреждений портретов своих даровитых уроженцев? В Орле даже шум подняли, когда кто-то один заговорил о портрете Тургенева, а недавно вслух читали статью «Новостей», где литературный хам «отделал Фета» [57]. Сколько пренебрежения к даровитости, и это среди огромного безлюдья!.. И газеты не дорожат своими людьми. Неужели Гаршин не стоил траурной каемки вокруг его трагического некролога?.. Я, ложась спать, думал: «верно, А. С. <С у в о р и н. — *А. Л.*> велит поставить крестик и каемочку». Утром вижу — нет! Почему, спрошу? Нам, литераторам, он ближе, чем Скобелев? Он несомненно «пробуждал мысли добрые». Зачем все эти известия о приезде «действительных статских советников» печатаются, а непристойным считается известить о приезде Чехова? Это уже ваше редакторское пренебрежение. Пусть бы люди знали, что литераторы достойны внимания не меньше столоначальников департамента. Прикажите быть к ним в н и м а т е л ь н е е, — это даст тон и другим, не умеющим ничего придумать. Вам это часто удавалось» ***.

С негодованием наблюдая устремление в литературу людей, нимало ее не любящих и ищущих при ее посредстве лишь умножения жизненных выгод и успехов, он в том же году предостерегающе заключал одну свою статью:

«*Как средство* к жизни литература далеко не из легких и не из выгоднейших, а напротив, это труд из самых тяжелых, и притом он много ответствен и совсем неблагодарен. В литературе известен такой случай: тайный со-

---

* «Словарь писателей древнего периода литературы XV—XVIII вв.». Сост. А. В. Арсеньев. — «Исторический вестник», 1881, № 12, с. 846; «Русские писатели о литературе», с. 292—293.

** Письмо к С. Н. Шубинскому от 10 сентября 1885 г. — «Русские писатели о литературе», с. 293.

*** Письмо к А. С. Суворину от 26 марта 1888 г. — «Русские писатели о литературе», с. 293—294.

ветник Мережковский повез к Ф. М. Достоевскому сына своего, занимавшегося литературными опытами. Достоевский, прослушав упражнения молодого человека, сказал: «Вы пишете пустяки. Чтобы быть литератором, надо прежде страдать, быть готовым на страдания и уметь страдать». Тогда тайный советник ответил: «Если это так, то лучше не быть литератором и не страдать». Достоевский выгнал вон и отца и сына. Кто не хочет благородно страдать за убеждения, тот пострадает за недостаток их, и это страдание будет хуже, ибо оно не даст утешения в сознании исполненного долга <...> Теперь в литературной среде появляются молодые люди, не обнаруживающие ни огня, ни страстности к каким бы то ни было идеям, но они пишут гладко и покладливо в какую угодно сторону. Их, к сожалению, уже много и, может быть, скоро их будет еще больше <...> «Что их влечет и кто их гонит?» Через это они уповают сделаться более знаемыми и крепче припаять себя к литературе, но они ошибаются: расчет их не верен, и в приеме их есть нечто от них отталкивающее. Путь беспринципного записывания себя повсюду есть путь опасный, идучи по которому можно дойти и до «частных занятий» [58] Бурнашева <...> Кто не любит литературу до готовности принести ей в жертву свое благополучие — тот лучше сделает, если вовсе ее оставит, ибо «музы ревнивы...» *

Наслушавшись как-то жалоб Лескова на трудность писательского заработка, легкий на посулы «всея Руссии пустобрех» [59], Сергей Атава взялся устроить ему какое-то живое коммерческое занятие на восемь тысяч рублей в год. Нимало не поверив благоприятелю, Лесков с шутливой веселостью пишет 28 ноября 1888 года Суворину, что при осуществлении атавинского пустословия был бы готов «бросить об пол черо и чернильницу» **.

Бросать их, само собой разумеется, не пришлось. Литературное горение не умалялось, а напротив — неудержимо росло.

19 февраля следующего, 1889 года на какие-то утешения Репина [60] Лесков непримиримо отвечал: «От того, чем заняты умы в обществе, нельзя не страдать, но всего

---

* «Первенец богемы в России». — «Исторический вестник», 1888, № 6, с. 563—564; «Русские писатели о литературе», с. 294—295.

** Пушкинский дом.

хуже понижение идеалов в литературе <...> На что вы надеетесь, — я не понимаю. Конечно, идеи пропасть не могут, но «соль обуяла», и ее надо выкинуть вон. Литература *у нас* — есть «соль». Другого ничего нет, а она совсем рассолилася. Если есть уменье писать гладко — это еще ничего не стоит. Я жду чего-нибудь идейного только от Фофанова, который мне кажется органически честным, и хорошо чувствующим, и скромным» *.

Волновали Лескова и стилистические промахи, обмолвки, языковое неряшество, зорко подмечавшиеся им в публикациях его литературных современников. Все они относились к недопустимому небрежению в священном служении высокому призванию. Оплошавших ждал непременный «напрягай», сообразный с тягостью содеянной вины.

Этому было довольно примеров.

«Фельетон о балах очень хорош, то есть любопытен, обстоятелен и толковито написан по обдуманному и ранее сочиненному в голове плану. В это ужаснейшее время разнузданного литературного négligé ** и это уже заставляет радоваться или по крайней мере не создает повода к мучению для литературного вкуса, и за это вам спасибо. А «дань своему веку» все-таки и вами воздана!.. Где это вы слыхали, что «рука» будто может «встряхивать болото»?.. Как может это переносить ваше ухо и как такая нелепица может согласоваться в умопредставлении образованного человека? Рука Петра могла расшевелить застоявшееся болото и разворошить его, или освежить или очистить, но... *«встряхнуть болото»*. Вы только подумайте: как это так представить, что болото встряхивают!.. Как вам это не стыдно так писать!.. Была грязная улица, но проехал генерал Шб. и «встряхнул ее». Что за нелепость! Как это быть может?.. Вы не во всем «за обществом»-то поспевайте, а держитесь кое в чем и лучшего, чем то, что оно теперь одобряет и ободряет. А впрочем, как вам угодно» ***.

«Рукописи вашей приготовил к печати 38 листов, — писал 27 августа 1888 года [61] Лесков не дюже грамотейному «справщику» пестро наборных петербургских и

---

* Репинский архив.

** Небрежность (*фр.*).

*** Письмо к С. Н. Шубинскому от 18 марта 1892 г. — «Русские писатели о литературе», с. 309.

московских былей и анекдотов, лукаво-искательному М. И. Пыляеву. — До сих пор наделил XIV глав. Это немножко оживляет течение материи. Ошибки и поспешность изложения везде исправлял. Есть периоды с двумя деепричастиями и причастием прошедшим, это оставить невозможно. Есть такое: «*Идя* к нему, *проходя* через двор, надо было *идти».* В рассказе о Корейше есть масса повторений и возвращений на тожде. Этого я уже не стал трогать, но это необходимо исправить, ибо это утомительно и неприятно действует. Есть места по недосмотру совсем непонятные: является сказуемое, а подлежащее, вероятно, только подумано, а не написано...» *

Имеется переданная как-то мне Фаресовым запись о том, что в зиму 1890—1891 годов, в беседе в своем редакционном кабинете с ближайшими сотрудниками «Исторического вестника», Шубинский высказал раз такое элегическое сетование: «Пошел бы к Николаю Семеновичу... да ведь выругает, ни за что выругает. А вот как ни за что: в «Историческом вестнике» был помещен рассказ о героизме русского офицера. А Лесков говорит — выдрать бы этого героя и автора рассказа. Почему? Существует же государство? Надо же развивать патриотизм? — А мне, говорит, не надо ни вашего романовского государства, ни патриотизма!»

Иначе писалось людям, литературе не причтенным.

В 1884 году Лесков приводит в пример народному поэту А. Е. Разоренову, как работал над отделкой своих произведений Карамзин: «Только вчера, друг мой Алексей Ермилович, посвятил вечерок пересмотру ваших стихов. Есть среди них вещи очень и очень недурные, но отделывать их вы или не умеете, или же совсем не хотите. Так писать нельзя. Помните, что основное правило всякого писателя — переделывать, перечеркивать, перемарывать, вставлять, сглаживать и снова переделывать. Иначе ничего не выйдет. Стихи, так же как и всякое беллетристическое произведение, — не газетная статья, которую можно набирать с карандашной заметки. Не знаю, знаком ли вам следующий случай из жизни нашего историка Карамзина. Когда появились его повести, один из тогдашних поэтов, Глинка, спросил автора: «Откуда у вас такой дивный слог?» — «Все из камина, батюшка!» — отвечал Карамзин. Тот в недоумении. «Не смеется ли?» — думает.

* Щукинский сборник», вып. VIII. М., 1909, с. 195—196.

«А я, видите ли, отвечает, напишу, переправлю, перепишу, а старое — в камин. Потом подожду денька три, опять за переделки принимаюсь, снова перепишу, а старое — в камин! Наконец уж и переделывать нечего: все превосходно. Тогда — в набор». Советую и вам поступать так же с вашими стихами. Мысли в них попадаются хорошие, да форма далеко не всегда литературная. Нынче к стихам строго относятся. Уж больно приелись все эти фигляры, которые пред публикой наизнанку вывертываются за гривенники и двугривенные. Надо иметь особенно сильное дарование, чтобы стать впереди других, заставить о себе говорить. Такие даровитые люди, как известно, не плодятся, как летние грибы, а появляются веками <...> Работайте по-прежнему, не обращая ни на кого внимания...» *

Не менее терпеливо и охотно писал он 28 декабря того же 1884 года и ревностному собирателю альбомов и автографов, ветеринарному врачу Г. Л. Кравцову: [62]

«Стараюсь изгладить у вас и тень неудовольствия и посылаю вам такую вещь, которая признается за наилучшую у любителей авторских автографов: посылаю вам *черновую рукопись* маленького рассказа **, — который должен появиться в 1-й генварской книжке журнала «Новь». Тут вы имеете не только мой автограф, но и образец целого процесса — как тяжело вырабатывается та «простота», которая нравится вам и некоторым другим литературным друзьям моим. Все это плод труда очень большого. Иначе мне ничто не удавалось. <...> Духовная связь, образующаяся между читателем и писателем, мне понятна, и я думаю, что она для всякого искреннего писателя дорога. Я благодарю вас за ваши теплые строки. Если захотите быть мне полезным, не забудьте, что всякая умно наблюденная житейская история есть хороший материал для писателя. Сообщите мне при случае что-нибудь такое, что может быть предметом повести или рассказа. Я всегда люблю основывать дело на живом событии, а не на вымысле. Имена мне, разумеется, не нужны. Всякий оригинальный анекдот, всякий непосредственный характер очень дороги писателю, стремящемуся воспроизводить жизнь в верных действительности чертах. А потому при случае вспоминайте о писателе, которому вы

---

* «Русские писатели о литературе», с. 291—300.

** «Жемчужное ожерелье». — «Новь», 1885, № 5.

захотели выразить свое сочувствие, и это будет мне помощию и знаком действительности вашей ко мне приязни» *.

О том, как трудно дается простота, он не менее горячо высказался также и в письме к товарищу-профессионалу, В. А. Гольцеву, в письме от 16 ноября 1894 года: [63]

«Рукопись «Фефел» сегодня вам возвращаю. Она опять сильно исправлена, но все-таки находится в таком удовлетворительном состоянии, что набирать с нее вполне удобно. Я очень рад, что она у меня побывала и я мог ее свободно переделывать. Это очень важно, когда автор отходит от сделанной работы и потом читает ее уже как читатель... Тогда только видишь многое, чего никак не замечаешь, пока пишешь. Главное — вытравить длинноты и манерность и добиться трудно дающейся простоты. Теперь я удовлетворен и покоен» **.

«Слышал ли ты или нет, — спрашивал Лесков брата своего Алексея Семеновича в письме от 12 декабря 1890 года, — что немцы, у которых мы до сих пор щепились рождественскою литературою, — понуждались в нас. Знаменитое берлинское «Echo» вышло рождественским № с моим рождественским рассказом «Wunderrubel <«Неразменный рубль»>. Так не тайные советники и «нарезыватели дичи» ***, а мы, «явные нищие», заставляем помаленьку Европу узнавать умственную Россию и считаться с ее творческими силами. Не все нам читать под детскими елками их Гаклендера, — пусть они наших послушают <...> Сколько это надо было уступки со стороны немца, чтобы при их отношении к рождественскому № издания, — вместо своего Гаклендера, или Линдау, или Шпильгагена, — дать иностранца, да еще русского!.. Право, это даже торжество нации! И это «мирное завоевание» в образованной среде дали России не Скобелев с его жестокостями и не Драгомиров с его полупохабствами, а мягкосердечный Тургенев и Лев Толстой в его полушубке!.. И что им за это дома? — Шиш и презрение глупцов, презрения достойных. А вот это-то одно завоевание и делает нас известными со стороны, достойной почтения людей, знающих, что́ стоит почтения» ****.

Много мыслей на те же темы высказывалось Леско-

---

* «Русские писатели о литературе», с. 301.

** Там же, с. 304.

*** Форшнейдер — нарезыватель дичи — одно из придворных званий (*нем.*).

**** «Русские писатели о литературе», с. 295.

вым, конечно, и в беседах, ведшихся у себя в кабинете особенно в последние пять лет его жизни.

«Чтобы мыслить «образно» и писать так, надо, чтобы герои писателя говорили каждый своим языком, свойственным их положению. Если же эти герои говорят не свойственным их положению языком, то черт их знает — кто они сами и какое их социальное положение... Мои священники говорят по-духовному, нигилисты — по-нигилистически, мужики — по-мужицки, выскочки из них и скоморохи — с выкрутасами и т. д... Когда я пишу, я боюсь сбиться: поэтому мои мещане говорят по-мещански, а шепеляво-картавые аристократы — по-своему... Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова. Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений — довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош. Меня упрекают за этот «манерный» язык, особенно в «Полунощниках». Да разве у нас мало манерных людей? Вся quasi-ученая * литература пишет свои ученые статьи этим варварским языком. Почитайте-ка философские статьи наших публицистов и ученых. Что же удивительного, что на нем разговаривает у меня какая-то мещанка в «Полунощниках»? У нее по крайней мере язык веселей, смешней... Вот и ругают меня за него, потому что сами не умеют так писать. Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету, в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и в монастырях. Поработайте-ка над этим языком столько лет, как я... Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения. Они все говорят у меня *по-своему,* а не по-литературному. Усвоить литератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем книжный. Вот почему у нас мало художников слога, то есть владеющих живою, а не литературной речью» **.

«В писателе чрезвычайно ценен его собственный голос, которым он говорит в своих произведениях от себя.

---

* Псевдоученая, будто бы ученая.

** Запись. — «Русские писатели о литературе», с. 309—310.

Если его нет, то и разрабатывать, значит, нечего. Но если этот *свой* голос есть и *поставлен* он правильно, то, как бы ни были скромны его качества, возможна работа над ним и повышение, улучшение его тона. Но если человек поет не своим голосом, а тянет петухом, фальцетом, собственный же голос у него куда-то запрятан, подменен чужим,— дело безнадежно. Я знаю, например, каким голосом говорят Альбов, Гаршин, Достоевский или Тургенев. Я живо представляю себе, как говорит у них каждый их герой. Это верный признак талантливости писателя. Но этот-то, *собственный,* голос вы найдете далеко не у всякого писателя. Я вот не знаю, какой голос у Ясинского, хотя, читая его произведения, я стараюсь прислушаться к языку действующих в них лиц. Все у него говорят одним голосом, одним языком. Все это один и тот же человек, подающий одним и тем же языком различные реплики, переодевающийся в разные костюмы и не похожий, в конце концов, ни на себя, ни на других. Многочисленные его герои расставляются им на ровной плоскости, вроде оловянных солдатиков, которых дети расставили друг против друга для сражения. А сражения-то и нет! Стоят себе они оловянными, мертвыми, безголосыми... Это показатель отсутствия беллетристического мастерства, дарования. Вот почему я не могу припомнить у него ни одной характерной сцены, ни одного характерного типа.

Тот же недостаток и у Шеллера, но у него он искупается умом и содержательностью сюжета. Типов у него в сущности тоже нет. Нельзя припомнить отдельной, ярко очерченной сцены, людей с самостоятельными голосами. Все затушевано однообразием и однотонностью языка всех действующих лиц, ровностью их расстановки. Но если герои Шеллера и не художественны, то зато они у него бесспорно полезны по своему духовному облику, *по направлению.* Недостаток художественности восполняется и искупается *благородством направления.*

Разумеется, гармонически-целостное сочетание и той и другого — это высшая ступень творчества, но достижение ее выпадает на долю только настоящих мастеров, взысканных большими дарованиями» *.

«Я даже представить себе не могу, как не могу представить себя человеком высокого роста, — чтобы сесть

* Запись беседных высказываний. — «Русские писатели о литературе», с. 310.

писать роман или повесть, и не знать, что из этого выйдет и *для чего* я их пишу. Я, конечно, не знаю еще, удадутся ли они мне, но я знаю, для чего эта повесть, или роман, нужна и *что* я хочу ею сказать» *.

«Чем талантливее писатель, тем хуже, если в нем нет общественных чувств и сознания того, во имя чего он работает и с кем работает...» **

«Тем-то и дорога нам литература, что она живет идеями... Такая она или сякая, но живет она все-таки ежедневно запросами о материях важных и не вознаграждает себя за эту службу ни пенсиями, ни чинами, ни арендами. Бескорыстное это служение истине! Это и отличает писателя от всех прочих профессионалов. Самый последний из них всегда вправе сказать представителям общества: тебе не нравятся газеты, ты не читаешь журналов, а пробовал ли ты сам ежедневно размышлять и писать о Бисмарке, о Гладстоне, о франко-русском союзе, о таможенной войне и так далее? Имеешь ли ты собственное мнение по общественным вопросам такое, что его можно было бы напечатать в столь ненавистной тебе прессе? Почему ты сам не оживишь эту прессу своим талантом, не окажешь ей покровительства и помощи при твоих связях? Почему ты годен только на хулу и гонение печатного слова и предпочитаешь устраивать свои собственные делишки, на которых уже нажил два-три имения? Как ни плох самый последний писатель, но он всю свою жизнь пишет о нравственности, а не деньги делает. А талантливый исправляет людей убеждением, чем он и дорог каждому мыслящему человеку. Грунт всякому порядку — это мысли о нем. А литература занята только мыслями... А что ты можешь сказать о жизни литераторов, имена которых поносишь? Какие их пороки? Они живут авансами. Но кто же другой живет аккуратно, и можно ли этим корить литераторов, раз их гонорар так ничтожен? Они между собою всегда ссорятся. Но ведь их ссоры и споры всегда принципиального характера! Они самолюбивы и страдают самомнением. Но это единственное, что дает им силы переносить их тяжелую жизнь! Они развратны. Но чем же они безнравственнее всего остального общества, не знающего и сотой доли их невзгод и терзаний» ***.

---

* Запись беседных высказываний. — «Русские писатели о литературе», с. 303—304.

** Там же, с. 295.

*** Запись. — Архив А. Н. Лескова.

«...Не менее губит писателя и страсть к популярности, то есть ненасытное желание удивлять собою читателей и видеть их поклонение. Опасно выставлять постоянно напоказ самого себя, свои настроения и чувства, как лучшие чувства. Это ведет к тому, что писатель сам начинает верить в то, что он является действительно носителем этих лучших чувств и в силу этого имеет все права на поклонение широких кругов и масс» *.

«Жажда популярности ведет писателя к самоослеплению. Лев Толстой объясняет это тем, что творческая сила сама поднимает человека так высоко, что у него на такой высоте невольно начинает кружиться голова, и он, очень часто, падает...» **

«Компромисс я признаю в каком случае: если мне скажут попросить за кого-нибудь и тот, у кого я буду просить, глупый человек, то я ему напишу — ваше превосходительство. Но *в области мысли* — нет и не может быть компромиссов!» ***

«...Похвалить же из «вежливости» в литературе нельзя: хвалы достойно только то, что ведет к лучшему, способствуя очищению совести и уяснению понятий, способствующих освобождению общества от привычек, созданных невежеством и самолюбием» ****.

Посетившим Лескова в конце ноября 1894 года В. В. Протопоповым записано за ним:

«Я люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказывать все то, что я считаю за истину и за благо; если я не могу этого сделать, я литературы уже не ценю: смотреть на нее как на искусство не моя точка зрения... Я совершенно не понимаю принципа «искусство для искусства»: нет, искусство должно приносить пользу, — только тогда оно и имеет определенный смысл. Искусства рисовать обнаженных женщин я не признаю <...> Точно так же и в литературе: раз при помощи ее нельзя служить истине и добру — нечего и писать, надо бросить это занятие» *****.

---

* Запись. — «Русские писатели о литературе», с. 206.

** То же. — Архив А. Н. Лескова.

*** То же. — «Русские писатели о литературе», с. 296.

**** Письмо к С. Н. Шубинскому от 17 декабря 1894 г. — Там же, с. 298—299.

***** В. В. Протопопов. У Н. С. Лескова. — «Русские писатели о литературе», с. 298.

В 1892 году приходилось слышать взволнованные заключения его: «Ну и времечко настало для литературы... пять-шесть калек, и вся она тут... В публицистике — Владимир Соловьев, Пыпин, Спасович и опять стоп... Правильнее сказать, Лев Толстой да Владимир Соловьев и могут еще «делать литературу» и привлекать внимание общества, воспитывать вкусы этого общества, вести его за собою. Прочие ничего не говорят ни нового, ни замечательного. Творчества вовсе не стало в русской литературе, за исключением опять-таки Толстого и Соловьева. А новые писатели... Альбов, Короленко, Чехов, Гаршин, Потапенко, Величко? Дарование у них есть, но оно ничему не служит им... [64] Лучшие из них те, которые еще равнодушны к идеалам, а другие и пошлость пишут пушкинским стихом. Эти хуже... Они овладели формой, почти языком Пушкина, а служат или пошлости, или безыдейности... Да, вспомнишь Жемчужникова:

«Но наш читатель добр; он уж давно привык,
Чтобы язык родной, чтоб Пушкина язык
Звучал так подло и так пошло» *.

Таков был Лесков в статьях, переписке и беседах с людьми литературного помазания. Но и совершенно чуждым последнему он не уставал внушать к литературе любовь и разумение просветляющего и развивающего ее действия.

Прекрасным образцом тому может служить приводимое ниже письмо его от 17 февраля 1891 года к скончавшейся в 1933 году в Ленинграде З. П. Ахочинской, в то время тридцатилетней художнице, года за четыре перед тем приехавшей из Парижа, где она занималась у знаменитого А. П. Боголюбова:

«Вчера я послал вам старого хересу, какой мог найти. Во всяком разе ему более 35-ти лет. Он лучше и полезнее той мадеры, которая вам неприятна.

Посылаю рябчика и «Сочинения Пушкина» все в одном томе. Рябчика кушайте, а книгу положите себе прочесть от доски до доски. Это и приятно, и полезно, и *необходимо,* так как женщине, желающей занять художественное амплуа, *нельзя* щеголять всестороннею беспечностью насчет литературы — особенно *родной,* и в

---

* Запись. — «Русские писатели о литературе», с. 295—290. «Стихотворения А. М. Жемчужникова», СПб., 1802, т. I, с. 126, «Памятник Пушкину».

лице ее самого главного и действительно великого представителя и поэта с мировою известностию. Вам нечего читать в журналах, где бездна чепухи и дребедени, а вам надо *давно* познакомиться хоть с тем, *что есть крупного;* а у вас, к величайшему стыду и горю вашему, — нет даже этой начитанности, и через это ваши художественные способности не имеют крыл, — в них нет полета, нет фантазии, а только леностное поползновение, с которым никогда и ничего нельзя достигнуть и даже в общественном обиходе всегда предстоит неизбежная ретирада перед всякой более любознательной девушкой, уделявшей свое внимание литературе, — ибо в литературе есть *царство мысли.* Не отставайте ото всех, так как вы и без того уже так довольно отстали от многих, что уже и не замечаете своего умственного вращения вне курса... Подумайте о себе: выздоровление есть великая пора для душевных переломов. Человек в эти минуты способен зорко видеть себя и может давать настроение в своем духе и целях. Для многих это было спасительно. Габриель Макс (Max) уловил это в своей «Reconvalescentine» («Выздоравливающая»). Вы, выздоравливая, о первом спросили — о корсете... «Когда можно надеть корсет?..» Это ужасно; этого нельзя забыть, и в этом выразилась, как в фокусе, вся ваша натура... Какой ужас!.. И возле вас нет никого, кто бы мог вам это указать и поворотить взгляд ваш в себя в саму!.. Что такое художница без образованного ума, без облагороженного идеала, без ясной фантазии и без вкуса, развитого чтением истинно художественных произведений?.. Это не художница, а «мастеричка». С этим не стоит и возиться, и в ваших руках все это теперь продумать наедине сама с собою и *сделать в себе перелом,* а дело друзей вам на это указать и вам напомнить о днях, которые вы губили и губите в среде ничтожной и для образования художницы бесполезной и вредной... «Полюби тишину — слух душевный вперяя в высокие думы...» «Будь глух ко всему, что ничтожно...» Вспомните Моцарта, Бетховена, Мицкевича и Лебрень или Макса и... прок*а*титесь к Норденштрему, Ласточкину и Касаткину и к tutti frutti... Как тут уберечь в душе «огонь творения»; а что в искусстве можно без него сделать?! Допросите себя: с кем вы и где вы и куда по этой покатости катит вас ваше безволье? — Сделайте же над собой первую победу: прочтите всего Пушкина, потом Шекспира, а потом Виктора Гюго. Это вам необходимо даже для

вашего престижа при людях, имеющих образование <...> Опять, — 4-ю работу со мною я должен был уступить *не вам,* а другой художнице... Ну не досада ли видеть — как вы «подвизаетесь»!..

На меня можете сердиться сколько хотите, — я желаю вам добра» *.

И именно так: всегда и всех, успешно или тщетно, Лесков стремился «поворотить» к выше всего любезной его сердцу литературе, «к солнцу», «к *царству мысли*»!

ГЛАВА 6

СТАРЕНИЕ

«За новости о тех, кого я знал и помню, — писал шестидесятидвухлетний Лесков сестре своей Ольге Семеновне 30 января 1893 года, — я тебя благодарю, но ты мне не пишешь никогда самого живого, что делается в самих этих людях: как они стареют, в чем изменяются и в чем остаются без перемен: добреют, смирнеют, простеют, или становятся важнее, гневливее, суровее?» **

Вопросы действительно очень «живые», и чем человек крупнее, тем живее и значительнее.

В безотступной необходимости с нарастанием лет добреть, или хотя смирнеть, Лесков настоятельно убеждал многих, в том числе Суворина, например еще в письме от 9 декабря 1889 года:

«Не во гнев милости вашей молвить, — в наши годы надо «сдабриваться»: в этом возрасте «ласка души красит лицо человека». Я всегда сожалею, когда слышу о вашей сердитости... Что это такое, чтоб люди нас боялись, как беды какой? Как это себе устроить и для чего? А ведь вы не можете же не чувствовать, что люди вас боятся и оберегаются <...> Пожалуйста, не рассердитесь, что я говорю с вами о сердитости. Мне кажется, с нею очень беспокойно» ***.

Как же изменялся, да и изменялся ли, «смирнел ли», старея, он сам?

Применимы ли к нему (без чего, конечно, не обошлось в некоторых, типично «дамских» [65], воспоминаниях), как

---

* ЦГЛА. Ср.: «Литературный современник», 1937, № 3, с. 190—191.

** Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

*** Пушкинский дом.

канон общепринятые, уверения в умягченности к старости общеизвестной его крутости?

Без греха против правды — не применимы.

Неизбежно, год от года, побеждалась плоть, но дух противостоял и «не угашался». О неукротимых, как встарь, вспышках гнева по сущему пустяку свидетельствует не одна чужая запись *.

Всю жизнь его не покидала убежденность, что без «сбора сил и страстей» нет писателя, художника, журналиста!

Какие же именно силы и страсти подразумевались тут? Физические, утрачиваемые с возрастом?

О нет! Избыток таких сил и страстей, по природе своей преимущественно эгоистичных, скорее вредит, порабощая более достойные чувства, снижая мысль и строй души, сердца...

Нет! Страстность нужна, влекущая к служению идее, истине, общечеловеческому благу, к борьбе с «омрачителями смысла»... [66] Вот где широкое поле для ее приложения.

Недаром пятидесятилетним человеком и широко известным писателем в одном весьма автобиографичном, не вошедшем ни в одно из так называемых полных собраний его сочинений, хорошо призабытом сейчас очерке «Дворянский бунт в Добрынском приходе» он благодарно вспоминал просвещенную орловскую помещичью семью, влиянию которой считал себя обязанным «первым знакомством с литературою, которая потом для несчастия моей жизни скоро обратилась в неодолимую страсть» **.

Этою страстью сердце Лескова горело неустанно и неослабно до предела жизни его, когда он, разрушенный мучительной болезнью, истерзанный жесточайшими ее припадками, находил все же силы писать «Загон», «Продукт природы», «Заячий ремиз»...

Физически, вопреки крепкому от рождения слоя;енпю, он сдавал много раньше, чем этого можно было ожидать.

Правда, за плечами была жизнь не пуританская, а подлинно российски расточительная.

Как у многих, если не у большинства, литературных

---

* Суворина, Шубинского, Ясинского (со слов Терпигорева), Гуревич, Веселитской, Фаресова и т. д.

** «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 357—358, и «Русская рознь», СПб., 1881, с. 63.

его современников, «свеча жглась с двух концов». Но все же дело могло меньше спешить.

Сам он свое сдавание относил исключительно к обильно обрушивавшимся на него нравственным, главным образом писательским, «злостраданиям».

В значительной доле это, конечно, была правда. Однако многое лежало и в безудержных прошлых неумеренностях и, в не меньшей может быть степени, в собственном самоистязующем нраве.

Еще почти за год до первых проявлений грудной жабы, 15 декабря 1888 года, он писал зятю Н. П. Крохину: «Я стал очень стареться. Тут и время, и неустанная работа, и совершенное отсутствие какой бы то ни было радости» *.

Последнее было неоспоримо: удач и радостей на его долю выпало мало. Итоги личной, интимной жизни гнетущи. Два опыта создать семью привели к катастрофам, оставив лишь воспоминания «о лицах ненавистно-милых». С «кровными» — давно или мертвенная разобщенность, или взаимно истязующая, от случая к случаю обостряющаяся, «пря».

Друзья? Но были ли они когда-нибудь? Прошлое их не сберегло. Настоящее — не давало. Да и годились ли они на что-нибудь «тайнодуму» и «маловеру»?

Самыми давними, завязавшимися с первых лет литераторства, были отношения с Сувориным. Чего только не претерпевали они! То яростная вражда, то трудно постижимое полуприятельство, никогда простое дружество, всегда взаимное недоверие, органическая предубежденность, нерасположение,

23 мая 1883 года Лесков разъясняет их заинтересовавшемуся ими старому киевскому литературному сотоварищу Ф. А. Терновскому: «Разлада, то есть распри, между нами нет, но его «оппортунизм» стал такого свойства, что цикл вопросов, в которых я бы мог идти не разнореча, значительно сократился» **.

28 февраля 1886 года, уклоняясь от приглашения на пир по случаю первого десятилетия «Нового времени», Лесков доброжелательно советует Суворину: «А если бы кто-нибудь по душе спросил меня: чего же я могу пожелать вам в настоящем втором десятилетии, — то я сказал бы,

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** «Україна», 1927, кн. 1, с. 192—193.

что желаю вам того, что многие почитают для вас гибельным, — я желал бы вам поработать еще при лучших условиях для свободы совести и слова... Вы бы доказали тогда, что успех может принадлежать вам не в силу сторонних обстоятельств, а по праву таланта и знания своего дела. И тот успех, без сомнения, оживит вас и даст вам такие радости, которые милы и дороги при всяком благополучии» *.

Оживленность переписки, ведшейся этими двумя совершенно разномысленными людьми, достаточно характеризуется хотя бы тем, что 11 марта 1887 г. на четыре своих письма Лесковым получено пять писем Суворина.

В девяностых годах, при непостижимом попустительстве Суворина, возобновляется и неуклонно растет старая систематическая травля Лескова, главным образом со стороны В. П. Буренина[67]. Лесков, сколько мог, старался не распространять ответственности за нее на Суворина.

20 января 1891 года он писал Л. Н. Толстому: «С Сувориным говорил по вашему поручению без всякого над собой насилия. <Речь шла о рассказе Толстого, помещенном при посредничестве Лескова 5 февраля 1891 года в № 5366 «Нового времени», под заглавием «Франсуаза», без подписи Толстого и с подзаголовком: «Рассказ по Мопассану». — *А. Л.*> Мы *лично* всегда хороши с ним, а о прочем он не осведомляется, или спросит: «Не сердитесь, голубчик?» <на буренинские выпады. — *А. Л.*> — «Не сержусь, голубчик». Так «голубчиками» и разлетимся. Он очень способный и не злой человек, но «мужик денежный», и сам топит в себе проблески разумения о смысле жизни» **.

Несмотря на все, год спустя, 4 января 1892 года, Лесков находил еще возможным писать Суворину: «Я любил с сочувствием говорить о вас даже во всю пору моего злострадания, в костер для которого метнута и ваша головня» ***.

Однако, видимо с истощением терпения, 11 октября того же года он возвращает Суворину все его письма при во всей их полноте приводимых кратких строках:

«Здесь все ваши письма, которые я от вас получал и сохранил, а теперь желаю возвратить их вам при себе.

---

* Пушкинский дом.
** «Письма Толстого и к Толстому», с. 90.
*** Пушкинский дом.

Прошу вас не объяснять этого ничем иным, как моим желанием, чтобы при какой-нибудь случайности письма эти не попали в руки людей посторонних. *Н. Л.»* *.

Несомненно чрезвычайно обрадованный такой счастливой неожиданностью, Суворин сейчас же, должно быть на этот раз вполне искренно, благодарит Лескова, а последний в первой половине письма от 12-го числа дает, может быть не во всю глубину исчерпывающее, объяснение вчерашнего своего поступка:

«Достоуважаемый Алексей Сергеевич!

Я послал вам ваши письма не в надежде получить за них от вас благодарность. Мне ничего не нужно. Я болен ангиною, которая не шутит и не медлит. Я не хотел угнетать себя мыслью, что *без меня* станут делать из писанных ко мне писем такое употребление, какого я не хотел. Другие письма я мог бы сжечь и быть покоен, но с вашими я не хотел этого сделать, потому что знаю, что есть толки, будто я вел записки и оставлю в них расплату с людьми, которые обходились со мною не с добром. А так как это *ложь,* то я послал вам ваши письма, чтобы вы их уничтожили сами. Больше ничего. Благодарить меня вам, конечно, не за что. О моих письмах тоже не заботьтесь: такое или иное отношение к ним для меня уже не имеет никакой разницы. Помню, что я всегда искал мира и берег его и другим не вредил. Словом — это не важно. Мне важно то, чтобы знали, что я на вас ничего не собирал, не составлял и составлять не намеревался и не буду. Мне ничего не нужно от вас, а вам от меня, но между нами все чисто» **.

Одинаково ли чисто было с обеих сторон, трудно сказать: Суворин Лескову его писем не возвратил, а свои, вероятно, уничтожил.

Слухи о «воспоминаниях» Лескова ходили. Суворина они могли весьма волновать.

25 сентября 1890 года в письме к издателю «Нивы» А. Ф. Марксу Лесков даже был готов написать ему «Эпизодические отрывки из литературных воспоминаний за XXX лет», обещая, что это будет нечто «из самой, жизни вывороченное и потому более любопытное», и

* Пушкинский дом.
** ЦГЛА.

поясняя, что этот материал по своей обрывочности «присвояет» издательству «возможность давать публике то, что ее заинтересует от времени ко времени... Все воспоминания, может быть, составят 15—20 листов, а по отрывкам, представляющим каждый раз нечто цельное, это можно разделить по 5—7 листов в год. С таким разделением помещение одного не обязывает издание продолжать помещение другого... а между тем я надеюсь, что публике это представит интерес» *.

Предположение не нашло себе осуществления. В последних известных письмах Лескова к Марксу (1891—1892 гг.) о нем упоминаний нет. В бумагах писателя нашлась любопытная рукопись в 3 страницы:

«ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ»

(Отрывки из воспоминаний)

Меня не раз спрашивали: правда ли, что я веду постоянные записки о том, чего был зрителем или участником в жизни? На все эти вопросы, когда они предлагались мне серьезно, я с полной искренностью отвечал, что записок не веду и ведение их считаю неудобным по двум причинам: во-первых, я не находил возможным писать о многом, что знал, так как это могло иметь неприятные последствия для лиц, до которых стали бы касаться мои воспоминания, а во-вторых, воспоминаний чисто литературного свойства я не желал писать потому, что такие воспоминания, — как бы осторожно я их ни излагал, — могли быть приняты за желание с моей стороны отомстить людям, говорившим и писавшим обо мне слишком много дурного. Как бы я ни был далек от таких намерений, как мне кажется, чуждых настроению, усвоенному мною в продолжение последних лет моей жизни, — все-таки при изложении воспоминаний о литературной семье моего времени я был бы вынужден касаться обстоятельств, наполнявших жизнь мою горечью <бесчисленных — зачеркнуто. — *А. Л.*> обид, мною перенесенных, и при этом, чтобы восстановить дело в истинном свете, я должен был бы иногда защищать себя от напрасных нападок, отделяя их от укоризн справедливых и действительно мною заслуженных, а я этого делать не желаю. В нынешнем своем возрасте и разумении я нахожу, что лучше

* Пушкинский дом.

совсем не поднимать на вид старые истории, о которых еще нельзя говорить с полною свободою <в которых не все еще ясно и спокойно, — не следует, ибо это ничего не уясняет — зачеркнуто. — *А. Л.*>, излагать же их, применяясь к большей или меньшей тяготе затрудняющих обстоятельств постороннего свойства, значит не рассеивать мрак, а усугублять его, вызывая новые недомолвки и споры.

Поэтому я дневника не вел и сплошных воспоминаний за время моей жизни писать не намерен. Но как жизнь моя проходила в очень интересное для русской общественности время и потому что очень многие ко мне обращаются с желаниями, чтобы я написал о более или менее замечательных встречах, сохранившихся в моей памяти, то я решился удовлетворить эти желания, представив в предлагаемых ниже строках просто записанные очерки о лицах, которых я знал и которые своими отношениями к жизни казались мне любопытными и достойными внимания, а также и способными характеризовать до известной степени направление своей среды и своего времени.

Между предлагаемыми за сим отрывками из моих воспоминаний нет никакой общей связи. Это просто случаи, которые я записываю, как они приходят мне на память, в них не следует отыскивать ничего соединимого какою-нибудь общею идеею или так называемою тенденцией).

Я пишу просто то, что останавливало на себе мое внимание и почему-либо осталось жить в моей памяти.

Читатель, который отнесется к моим настоящим очеркам так, как я стараюсь их выяснить, окажет мне справедливое снисхождение и защиту от больших требований, какие можно простирать к запискам, писанным по более цельному и широкому плану.

1. СОЛЯНОЙ СТОЛБ

о К. Н. Леонтьеве «теперь усопший».
Его цитаты (ложные) из Исаака Сирина.
О знакомстве с последователями Толстого.
Плисов — последователь *Толстого.*
Его история. — Рассказ от имени Плисова.
Павел и Петр — его сыновья.
Проповедь Петра в деревне. Жандармы.
Девки не выходят замуж. ХИМА. Гроза...» *

---

* ЦГЛА.

«Отрывок» явно был отведен вопросам, которым Лесков оказывал не раз исключительное внимание в статьях, уже указанных в главе 2 части VI и ряде других.

Под Плисовым разумелся художник-толстовец Н. Н. Ге, живший в Черниговской губернии на своем хуторе в пяти перстах от станции Киево-Воронежской железной дороги *Плиски.* Лесков жарко говорил почти со всеми о том, что жена Ге долго «шла» с ним по одной дороге, а потом «села» и сказала ему, что дальше идти не в силах. Драма, может быть творчески несколько усиленная, по словам Лескова, усугублялась еще тем, что один из сыновей Ге, Николай Николаевич, опростившись, жил с хорошей крестьянской девушкой, а другой, Петр Николаевич, тянулся к карьере и искал «положения в обществе». Жена Ге скончалась 4 ноября 1891 года. Сам Ге — 2 июня 1894 года. Отсюда «Соляной столб», подобно которому, и определенных представлениях и взглядах, по мнению Лескова, крепки были Леонтьев и Анна Петровна Ге, вероятно задумывался для публикации не раньше кончины первого, а может быть, и второй. Во всяком случае и это начинание оказалось брошенным [68].

Так, мысль о сколько-нибудь последовательных, за весь литературный путь, воспоминаниях, тем более обличительных и отомщевательных, старым Лесковым не овладевала и не входила в его намерения, а «просто записанные очерки о лицах», которых он знал, к сожалению, тоже остались невоплощенными.

Что касается до личного расположения Лескова, то в общем оно приобреталось подчас незаслуженно легко. Обидно бывало смотреть, какие Хлестаковы или Молчалины снискивали иногда его благосклонность. Правда, случалось, что некоторых из них он, вконец распознав, и изгонял, но, увы, не всех.

Он говорил, что не любит «неизвестные величины». А с хорошо и давно известными становилось нелюбопытно. Влекла новизна. Заинтересовывали непрочитанные еще характеры, натуры, черты, влекли свежие впечатления. Близким тут соревноваться с пришлыми было непосильно. Величко, Пыляев, В. Бибиков, И. Ясинский, будущий подручный А. И. Гучкова и нововременский, лично неписьменный, пайщик З. Макшеев и тому подобный разновес разновременно пользовался невесть чем достигнутой благосклонностью.

Один рассказ свой Лесков назвал «Подмен виновных» *.

На склоне лет он стал подменять испытанных в преданности, но не безличных во взглядах и пониманиях близких на казавшихся «иже по духу» штампованных, во всем согласных приспешников.

К добру ли? На это сурово ответила жизнь горьким оскудением личного окружения.

Единственно на ком последние годы здесь отдыхал глаз и кому радовался дух — был чистый помыслами и сердцем Владимир Соловьев[69]. Но и он заслуживал иногда осуждение стареющего и требовательного Лескова.

15 февраля 1894 года последний писал о нем М. О. Меньшикову: «Это душа возвышенная и благородная; он может пойти в темницу и на смерть; он не оболжет врага и не пойдет на сделку с совестью, *но* он *невероятно детствен* и может быть долго игрушкою в руках людей самых недостойных и тогда может быть несправедлив. Это его слабость. Вторая злая вещь есть его церковенство, на котором он и расходится с Львом Николаевичем и где я его тоже покидаю и становлюсь на стороне Льва Николаевича. У Соловьева есть отличное выражение: он с таким-то (например, с Тертием) ** «ездит попутно». Может быть, это так и нужно, но я этого не могу; есть отвратительные «поты» и «псиные запахи», которых я не переношу и потому не езжу попутно, а иду с клюкою один. В этом смысле Соловьев мне неприятен; но я думаю, что он человек высокой честности и всякий его поступок имеет себе оправдание. Флексера *** я знаю очень мало... Я не могу сравнивать его с Алехиным: это совсем разные люди. По-моему, Флексеру всего более вредит его подавляющее самолюбие, за которым он ничего не видит. Этакое самолюбие тащить не шутка. В. Л. Величко самый новый и самый совершенный представитель современного литературного деятеля. Он гораздо сложнее и «интереснее» всех, кого вы называете «интересными»; но я изъяснять его не буду» ****.

На три месяца раньше цитированного выше письма к Меньшикову, 17 ноября 1893 года, ему же Лесков не-

* «Исторический вестник», 1885, № 2, с. 327.
** Т. И. Филиппов.
*** А. Л. Волынский.
**** Пушкинский дом.

прикровенно жаловался: «Плоть и кровь» от нас отшатывается, и остаются только те, «иже по духу». Я давно живу только этим родством и дорожу им всего более» *.

Кто же от кого отшатывался, кто кого от себя отшатывал? Чего стоили те, которыми дорожили?

Годами старательно велась, шла и в такие формы слагалась частная жизнь.

Литературные итоги во всяком случае много превосходили житейные. Здесь было несомненное, даже яркое признание писателя читателем и, пожалуй, даже критикою, длительно упорствовавшей в предубежденности и злонастроенности.

Начав «стареться», Лесков в сущности ничего серьезного не предпринимал для замедления, торможения надвигавшегося старения. Советы с десятком врачей, которым поочередно отказывалось во всяком доверии, обилие лекарств, пузырьков и склянок, чуть не заполнявших два ближайших к спальному его дивану столика, и в то же время пагубное «сидничество», неотрывность от кабинета, письменного стола, полное исключение бальнеологического и климатического приемов борьбы с быстро росшим ожирением, упадком сил, ослаблением сердечной деятельности измотанностью «обнаженных», или «ободранных», нервов.

А какие прекрасные указания давались иногда другим, например «коварному, но милому благоприятелю» [70] Л. С. Суворину, хотя бы в письме от 4 марта 1887 года:

«Ваша гневность и волнения меня смущают, и если бы вы были дама, я бы, кажется, наговорил вам много слов, которые не идут нам, «двум старикам». Толстой больше, чем вы, испытывает, что с ним все несогласны, но он умеет себя лечить, а вы нет. Старинное гаруналь-рашидство [71] — чудесное лекарство в таких томлениях. Вы же наоборот — «сидень», и вот «результе» вашего сидничества. Вы десяток лет не обновляете себя погружением в живые струи жизни, посторонней изнуряющему журнализму, и от того характер ваш действительно пострадал, и вы это сами замечаете и мучите себя. Купите-ка себе дубленый полушубок, да проезжайтесь, чтобы не знали, кто вы такой. Три такие дня как живой водой спрыснут.

Простите за то, что сказал от всего сердца» **.

---

* Пушкинский дом.
** Там же.

Что же удерживало его самого от обновляющего гарунальрашидства, от борьбы с застойной недвижимостью? Фаталистическое равнодушие к приближению или отдалению прихода «великого примирителя»?

О нет!.. Он любил и ценил жизнь.

Внимательно следит он, как идет дело у других. Не считаясь с тем, что Суворин на три, а В. Г. Авсеенко на одиннадцать лет его моложе, он пишет первому из них 31 октября 1890 года:

«Я вас видел в магазине, но видел, как Илья видел Егову — «задняя» ваша, когда вы уходили к Зандроку; а мешать вашему разговору с Николаем Филипповичем — не хотел. Х*о*дите хорошо, бодро, не только шибче меня, но даже бойчее Авсеенки, который должен служить всем нам на зависть, ибо до сих пор еще «бегается»... Молодчина!» *

Когда-то, на пятьдесят четвертом году своем, лечась в Мариенбаде, он срамил в письме С. Н. Шубинского русским халатом, противопоставляя последнему австрийские «куртки короче зада», в которых люди равных с русскими лет еще легко бегают по горам.

В зиму 1889—1890 годов, исходя из того, что «жаба» делала досадительным крахмальное белье и вообще все, что «тянет и давит», Лесков переходит на невесомые сатиновые рубашки с пышными фуляровыми шарфиками вместо галстуков, на легкотканые жилеты и короткие пиджаки. Получалось нечто просторное, мягкое, удобное и даже нарядное. Убор нравился и отвечал всем требованиям, добросовестно выполняя их несколько лет.

Но вот, в середине 1892 года, заслуженный пиджачок заменяется надевающеюся через голову, кругом топорщившеюся блузой из пухлой лиловатой бумазеи в беленькую полоску. Коротковатая, схваченная на животе пояском, она выбивалась из-под последнего, близко повторяя «курдючки» или «перящиеся хвосты», шутливо отмечавшиеся Лесковым в разговорах, письмах и в печати у толстовцев. Внушительная фигура строгого старика приобретала в некоторых ее поворотах нечто ребячливое.

Для выходов, говоря тогдашним военным языком, «строится» никакими лекалами не предусмотренное сооружение из черной тонкой, но плотной материи, до щиколоток, застегивающееся массой висячих петелек на

---

* Пушкинский дом.

левую сторону, на какие-то черные бусы. Шаг связан запашными полами. Ворот закрыт «под-душу». Все такое, какое не носилось всю жизнь, вяжущее движения и кругом тянущее.

Наименовывается оно — *азям.* Заказывается у братьев Марковых в Александровской линии Апраксина двора, по Садовой улице. Особой специальностью «дома», между прочим, являлась пошивка «русского платья», в том числе кучерского и даже «древлего благочестия». Сшить, однако, и здесь не сумели, так как заказ никаким известным образцам не отвечал. Вышло что-то очень уступающее пиджачку в свободе и далеко не превосходящее его в удобстве.

Брюки оставались прежние, английского материала, навыпуск.

Головным убором служил не то немецкий, не то купецкий шелковый черный картуз «куполом», какие носили гостинодворские хозяева магазинов.

Не только о стиле, но и о каком-нибудь пошибе говорить не приходилось.

Ближние и знакомые старались не обнаружить неодобрения или хотя бы удивления. На улицах столицы и на дачном побережье встречные оказывали азяму самое бесцеремонное и длительное внимание.

Хозяин хвалил. Искренно? Неизвестно. Лесков вспоминал иногда народный анекдот о «хохле», который со слезами ест злую редьку и учит себя: «бачили очі що купували, так Їжте ж!» Сам он нечетко ставил и разъяснял вопрос.

26 января 1893 года Л. И. Веселитской писалось: «Когда мне будет лучше, я надеюсь прийти к вам, но забыл просить у вас разрешения придти в русском платье, так как я не могу надевать ни сюртука, ни фрака, и последний давно подарил знакомому лакею. Боль сердца у меня не переносит никакого плотного прикосновения к груди» *.

В том же году, задумав посетить «умную и изящную, хорошо настроенную писательницу» С. И. Смирнову (Сазонову)[72], Лесков письмом от 28 ноября предупреждает ее: «Кроме того, я уже 4 года не ношу платья «европейского» покроя, а хожу в «азяме», которого терпеть не могу, но он оставляет мне свободу вздоха... Могу

* Пушкинский дом.

ли быть у вас в упомянутом «азяме» — единственном платье, которое могу носить?» *

Возможно, что он этот азям в душе действительно «терпеть не мог», но в то, что тот давал «свободу вздоха», — никто не верил, как и в какие-либо достоинства и преимущества «азяма», надуманного к тому же на три года позже прихода «жабы», когда она уже значительно утратила первоначальную свою лютость.

На зимнюю и осеннюю «справы» реформа не распространялась: ни полушубка, ни охабня не шилось. И добрая енотовая шуба, и степенная бобровая шапка, и мягчайшего заграничного драпа «демисезонное», полностью «европейское», пальто не подвергались замене.

Нет! Не в шитве тут было дело. «Так и во всем остальном. Живу — как хочу!» — записано за Лесковым **. Это ближе к истоку мероприятия [73].

Вопреки догадкам некоторых мемуаристов, влияние Толстого в этом платьевом преобразовании исключается. Оно проведено только на шестом году личного знакомства, когда Лесков уже открыто высмеивал «водевиль с переодеванием», разыгранный Бирюковым, Горбуновым-Посадовым, Чертковым и прочими. У него самого дело ограничилось азямом и блузой, далеко не повторившей «толстовку». Немецкий картуз, зонтик, калоши — все неприкосновенно сохранялось.

7 января 1889 года Лесков предостерегает переводчика на немецкий язык его произведений К. А. Греве: «В Москве гостит у Льва Николаевича Толстого в Долго-Хамовницком переулке его и мой друг Павел Иванович Бирюков. Он морской офицер, опростившийся и ходящий по-мужицки. Я просил его видеться с вами и переговорить об одной моей повести. Я полагаю, что он к вам придет, а может быть, и не один, а с графом Л. Н. <Толстым. — *А. Л.*>. Это бывало. Предупреждаю вас, чтобы не вышло недоразумения с этими мужиками. Они, конечно, не обидятся, но вам, быть может, будет досадно» ***.

Одновременно о том же пишется и самому Бирюкову с шутливой загвоздочкой: «Одно боюсь — перепугаете вы немку <жену Греве. — *А. Л.*> своим кожухом!.. Авось она не беременна!» ****

---

* Пушкинский дом.

** *Фаресов,* с. 128.

*** «Щукинский сборник», вып. I, 1902, с. 89.

**** Архив Черткова. Москва.

Где тут быть подражательству! Если уж доискиваться корней метаморфозы, то не вернее ли всего обратиться к отеческим преданиям и памятям?

В письме к Суворину от 9 октября 1883 года * Лесков ревниво относил некоторые поступки Толстого к «чудачеству в народном духе» [74].

Много ли в литературе русской было фигур народнее самого Лескова! Да и отчего не почудачить вольному человеку, если к тому тянут с детства воспринятые примеры, и кровь, и натура?

Издревле у многих русских людей, со сменой образа жизни и настроений, рождалось желание так ли иначе «почудачить», изменить внешность, как бы в подкрепление духовного переустроения. Стихийно-нутряным натурам последнее удавалось, конечно, много труднее, чем смена платья

И у Лескова «азям» и блуза не изменили свойств, дававших терпкие плоды.

Самообладающий, безупречно честный и общепризнанно удобный и предупредительный в делах, редактор «Исторического вестника» Сергей Николаевич Шубинский, по личному определению Лескова, «хороший друг и милый человек» **, уже на четвертый год рабочих отношений, 30 января 1883 года, находит себя вынужденным защищаться:

«Многоуважаемый Николай Семенович!

С величайшим изумлением прочитал ваше письмо. В сущности на подобные письма отвечать нечего; но я позволю себе сказать несколько слов. Я думал, что в течение многих лет нашего знакомства вы меня достаточно узнали; казалось мне, что и я вас знаю. Поэтому в сношениях с вами я всегда и во всем был вполне откровенен, говорил, не обдумывая «фраз», а просто и прямо, «от души», в уверенности, что вы не станете подыскивать в моих словах каких-нибудь «задних мыслей», перетолковывать их, а если что-либо, по неловкости «фразы», и покажется странным, спросите у меня пояснения и таким образом рассеете случайное недоразумение. Вижу, что ошибался, и это весьма горько. В мои годы и привязан-

---

* «Письма русских писателей к А. С. Суворину», С. 58.

** Письмо Лескова к С. Н. Шубинскому от 29 апреля 1887 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

ности не скоро делаются, и разочарования не легко переносятся. Но что делать? По крайней мере я чист и совестью и сердцем. Теперь понимаю, почему так мало встречал людей, к вам искренно расположенных. Как только такой человек появляется, вы спешите, бог вас ведает для чего, ни с того ни с сего, придравшись к самому пустяку, оттолкнуть его. Это ваш расчет, который обсуждать не буду.

Что касается «Исторического вестника», то, конечно, совершенно от вас зависит участвовать в нем. Я никогда не отказывался от ваших статей, всегда принимал их с радушием и старался, насколько мог, исполнить ваше желание. Так будет и впредь, потому что я не способен быстро меняться и останусь относительно вас тем же, чем был и прежде, то есть душевно преданным.

Шубинский.

P. S. Через три-четыре дня, когда будет сделан полный расчет по статье «Поповская чехарда», я пришлю вам записку на получение в счет гонорара за статью «Остзейские деятели» в таком расчете, чтобы вы имели за нее до напечатания 300 рублей» *.

Через два месяца, 31 марта, ему снова приходится протестовать:

«Я становлюсь совершенно в тупик перед теми непонятными для меня «недоразумениями» (не знаю, как назвать это иначе), которые возникли в последнее время в ваших отношениях ко мне, и тщетно ищу причин. Редко к кому питал я столь искреннее расположение, как к вам; редко с кем был до такой степени откровенен, как с вами, поверял даже самые наболевшие места моей души; редко кому я оказывал с таким удовольствием мелкие услуги, не имея возможности оказать крупных. Во всех моих действиях, поступках, словах с вами я был всегда вполне искренен и прямодушен. А между тем что же выходит: вы с каким-то особенным упрямством стараетесь в каждом моем поступке, в каждом слове, в каждом, можно сказать, простом движении, непременно отыскать «заднюю мысль»; укорить в таких качествах, которые никогда не были сродни моему характеру, уколоть за то, в чем я не повинен ни душой, ни телом.

---

* ЦГЛА.

Откуда все это явилось — не знаю; вы молчите, а я не догадываюсь. Бывали, и нередко, случаи, когда мелкая сплетня разъединяла людей, — но я думаю лучше и о вас и о себе. Не вернее ли приписать все это «нервному состоянию», когда человек с какою-то особенною радостью придирается к пустякам и мучает преимущественно наиболее близких и расположенных к себе?» и т. д. *

Об этой «зломнительности», как мы знаем, позже писал Лескову и добряк Ф. В. Вишневский.

Впавшему однажды во всего менее приличествовавший ему тон, малозначительному Фаресову Сергей Николаевич отрезвляюще ответил: «Неужели вы не сознаете, сколько обидного сказано в этих немногих словах? Это лесковский пошиб, который всех отвернул от него... Я на вас не сержусь, но не могу оставить безнаказанной обиду, мне сделанную. На этом основании я не возьму статьи об Энгельгардте даже даром, хоть для вас это не будет наказанием, ибо вы уверены, что ее возьмут и в «Вестник Европы», и в «Русскую мысль».

Но личные наши отношения, по крайней мере с моей стороны, не изменятся ни на волос» **.

Выразительно для человека большого самообладания.

В конце концов Шубинский оказался вычеркнутым из душеприказчиков в завещании Лескова и переделан в «злочинца», «Сергия изнурителя», «интрижливого» человека, «опахальщика» и т. д. «до бесконечности», не избегнув и газетных колкостей ***.

Почти однолеток Лескову, Шубинский боится его не меньше, чем другие боялись Суворина, и уже страшится ходить к нему.

Всеми силами старавшийся не потерять спасительно выигрышную для него приближенность к Лескову, А. И. Фаресов доводится раз до героической решимости поставить все на карту. В ноябре 1891 года он пишет Лескову письмо, начинающееся словами: «Милостивый государь», полное обвинениями за помещенную Лесковым в № 305 «Петербургской газеты» от 6 ноября бесподписную заметку «Голодные харчи Толстого» [75]. Завер-

---

* ЦГЛА.

** А. Фаресов. Годовщина смерти С. Н. Шубинского. — «Исторический вестник», 1914, с. 969, ср. с. 973—974.

*** Письма к Суворину, Пыляеву, Меньшикову. Рассказ Лескова «О добром грешнике». — «Новости и биржевая газета», 1888, № 133, 15 мая.

шается письмо многозначительной готовностью к «услугам» *. Дальше — хоть барьер! Первые шаги к примирению врагов приходится делать мне **.

Я сразу видел, что обеим сторонам, а пуще всех Фаресову, до слез хочется помириться. Без особого труда все было улажено.

28 октября 1893 года Лесков уже более чем властно пробирает этого же «фрейшица»: «Свинья все ест, а человек должен быть разборчив в том, для чего он открывает уста... Что я должен думать о том, что вы уже который раз попрекаете Гольцева тем, что он «экс-профессор»!.. Разве вы не знаете, почему он «экс»? Разве его выгнали за дурное дело?.. Разве честные и умные люди могут приводить такие попреки? Стыдно вам это, Анатолий Иванович!»

На этот раз Фаресов уже не пытался обижаться. Однако при публикации писем к нему Лескова сильно подменил текст этих строк ***.

Образцы схожих резкостей неисчислимы. Допускались они, когда ангина, которая «не шутит и не медлит», неустанно делала свое страшное дело и смерть стояла уже почти за плечами.

Все шло по-старому. Иногда точно повторялось случавшееся лет двадцать назад! Горькие уроки прошлого не остерегали.

В восьмидесятых годах завязались неплохие отношения с Ясинским. Сохранились взаимные письма ****, затрагивавшие интимные стороны жизни Ясинского и во многом ставящие под сомнение то, как он рисует события, происшедшие между ним и Лесковым в своем «Романе моей жизни» *****[76].

В 1892 году отношения уже были порваны. Каза-

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** См. статью Фаресова «Л. Н. Толстой о голоде». — «Новости и биржевая газета», 1891, № 244. На другой день «Новое время» в № 5574 поместило выдержку; 10 ноября поместил выдержку и «Киевлянин» в № 197. Для разъяснения вопроса, как письмо попало в печать, Лесков помещает в № 305 «Петербургской газеты» от 6 ноября 1891 г. бесподписную заметку «Голодные харчи Толстого». См.: «Письма Толстого и к Толстому», с. 115 и 118.

*** Ср.: *Фаресов,* с. 235[77].

**** Пространно-исповедное Ясинского к Лескову от 14 июля 1889 г. (ЦГЛА) и коротковатое Лескова к нему от 15 июля 1889 г. (собственность П. Е. Безруких).

***** М.—Л., 1926, с. 198—199.

лось — кончено. Но вот тут-то и началось нечто поразительно напоминавшее происшедшее в 1873 году между Лесковым и Достоевским и рассказанное выше [78].

В июньской книжке «Исторического вестника» 1891 года И. И. Ясинский опубликовал «Анекдот о Гоголе», в котором много говорилось о зависти, вызванной в Гоголе к чьей-то жилетке и о холодности его с представлявшимися ему киевскими профессорами.

Лескову «анекдот» показался вздорным, и он, пособрав кое-какие сведения, посылает с дачи в «Петербургскую газету», за полною своею подписью, «историческую поправку», помещаемую в № 192 названной газеты от 16 июля, под заглавием «Нескладица о Гоголе и Костомарове» [79].

Статья привлекает к себе внимание литературных кругов. Выдержки ее проходят в некоторых газетах. В частности, в № 197 «Московских ведомостей» от 19 июля она приводится в заметке, озаглавленной «Неудачный анекдот».

Автор ужален. Редактор журнала Шубинский обижен публикацией «поправки» не в «Историческом вестнике», а в какой-то газетке. Дальше обижаться не было возможности: как ни неприятна и местами ни колка была статья, нарушения полемических форм в ней не было. Пришлось смириться.

Через полгода в № 1 журнала «Труд» за 1892 год начинается роман Ясинского «По горячим следам». Лесков сразу настораживается. В № 20 «Петербургской газеты» от 21 января в любопытной бесподписной заметке «Евреи и христианская кровь» он вспоминает гейневского «Бохеронского раввина», сомнительного Лютостанского, Н. И. Костомарова и В. Крестовского. Заметка указывает на трудность «при развитии и обработке» такого «щекотливого сюжета» соблюсти «такт» и остеречься от «натяжек и пристрастий».

Острое, досадительное предостережение автору на первых же главах. Дальше, как бы идя по его пятам, в чем бы и где бы он ни промахнулся, на него одна за другой сыплются бесподписные «поправки» Лескова в «Петербургской газете» 1892 года, язвительность которых ясна по одним их заглавиям: 18 марта в № 76— «Цицерон с языка слетел»; 4 апреля в № 93 — «Négligé с отвагой»; 12 апреля в № 99 — «Опять Цицерон».

Не слишком глубокий в знании описываемого им быта и событий, Ясинский приходит в ярость и отвечает злым

письмом в редакцию «Петербургской газеты», появляющимся там 16 апреля в № 103. Выпаду нельзя было отказать в хлесткости. Чувствовался навык в газетных схватках.

Лесков обиделся на худековский «орган». По пословице о блохах и кожухе — он на два года порвал отношения с газетой, в которой любил помещать небольшие злободневные статейки.

«Старость должна быть осторожна», — учил шестидесятилетний Лесков свою на пятнадцать лет младшую сестру Ольгу. Лично следовать прекрасному правилу и тем оберегать себя от обидно ненужных и неприятных столкновений — не удавалось. Усилия «переделать себя» в Лескове были неуловимы.

Ни «распаленность» настроения, ни крайность речевых форм не говорили об ослаблении горения духа. Все шло и было по-прежнему ярко и неукротимо. Каков Лесков был смолоду — таким оставался он во все дни жития своего.

Возможно, что где-то в тайниках души он и сам не уповал перевоспитать себя или хотя несколько умягчиться.

При малейшем к тому поводе он с восхищением говорил о героической работе над собой Толстого. Он настойчиво упоминал при этом о больших изъянах толстовского нрава и обычая в молодости и с умиленным удовлетворением указывал, как все они были побеждены силою толстовского духа и воли.

И как-то само собою слышалось здесь горькое сознание, что такой подвиг, увы, требует не всем посильного мужества.

Толстой внес в свой «Круг чтения», на 19 ноября, наставление из «Дхаммапады»:

«Пусть каждый человек сделает себя таким, каким он учит быть других. Кто победил себя, тот победит и других. Труднее всего победить себя» [80].

Неоспоримо. Счастлив тот, кому это дано.

8 декабря 1894 года Лесков горячо возражал своей свояченице Клотильде Даниловне Лесковой, писавшей ему, что он «заслуживает любовь», доказывая ей, что в нем ужасно много дурного и особенно много эгоизма и гордости», и просил ее указать ему его «плохость», дабы он мог «исправить» ее *.

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

Охотников и смельчаков выполнять такие просьбы не находилось.

Тем не менее, стареющему, ему искренно хотелось убедить себя, что с годами он все же в чем-то поборал, умерял и умягчал свою «нетерпячесть»... Думалось, что как-никак, а к «выходным дверям» он подходил «хоть малость» иным, чем «вступил в этот класс, отправляясь от какого-то жестокого места и с прескверным воспоминанием себя в прошлом».

Это утешало, мирило с самим собою и исполняло надеждою на возможность дальнейшего «усовершения» себя.

Но тут же прорывалась и безнадежность: «Сам от себя не уйдешь!»

Читая изречения Гете, он радостно останавливается на как бы подтверждающем его собственное, за самим собою сделанное, наблюдение: «Надо постареть, чтобы стать добрее; я не встречаю никогда ошибки, которой уже я не сделал бы».

Первая часть, охотно отнесенная к себе, сочувственно подчеркивается. Вторая, с непритязательным гетевский признанием своих ошибок, не склоняет к разделению *.

Толстой тяготел к неизменности начал человеческой жизни, а с тем и самой истории.

Ломброзо, в беседе с С. А. Толстой, не побоялся признать, что воспитание почти бессильно перед врожденностью определенных личных свойств [81].

Один русский писатель утверждал: «Какими рождаемся — таковы и в могилку». Тут какие-то особенные законы зачатия. Наследственность. Тут какой-то миг мысли, туман мысли или бессмыслия у родителей, когда они зачинали меня, и в ребенке это стало непоправимо».

Шопенгауэр выдвигал «детерминизм», имевший стольких апостолов! [82]

По существу, все это близко, одномысленно.

Лафонтен придумал себе простосердечное надгробие: «Jean s'en alla comme il était venu». Жан ушел, каким пришел.

Столетием позже, наш слободской умозрительный философ, Г. С. Сковорода, привел превосходящее в силе

* «Изречения в прозе Гете». — «Европейская библиотека», М., 1885, с. 30. Собрание А. Н. Лескова.

сопоставление: «Когда тебе скажут, что перенесли гору с одного места на другое, верь тому, ежели хочешь; но если скажут, что человек склонности переменил, не верь тому никогда» *.

Уже на исходе лет своих Лесков купил и внимательно прочел только что появившуюся в печати книгу Сковороды. Уверен, что приведенная мною максима не показалась ему ошибочной. Сам он в сокровенности сердца и мысли ни в какое собственное изменение не верил. Да, видимо, не почитал таковое и полезным.

«Изменить себя я не могу иначе, как убив себя, и пока я не ничтожество — до тех пор я всегда буду мною самим», — писал он давно и не переставал так чувствовать никогда.

Без тени противоречия этому, от души писал он и Л. Н. Толстому 19 сентября 1894 года, уже у края жизни.

«А я был, есть и кажется буду всегда нетерпячий...» **

ГЛАВА 7

«РАСПРЯЖКА»

Если бы смерть была благом,
Боги не были бы бессмертны.

Сафо [83]

Мысль о смерти — об «интересном дне» *** [84], о «страшном шаге» ****, или по-толстовски, о «распряжке и выводе из оглобель» ***** — была близка Лескову издавна, даже в годы, когда он не знал никаких недугов, усталости, не успел «пресытиться днями» и «терзательствами» жизни...

Естественно, что с годами, упадком сил и умножением болезней вопрос о возможности прихода «ужасной силы Разлучника» ******, который «уводит человека, остав-

---

* «Сочинения Григория Саввича Сковороды». «Правила нравоучительные», Харьков, 1894, с. 309—311 [85].

** «Письма Толстого и к Толстому», с. 182.

*** См.: «Смех и горе», гл. 56.

**** Письмо к Л. Н. Толстому от 18 мая 1894 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 167.

***** Письмо к В. Л. Иванову от 11 сентября 1891 г. — Орловский музей.

****** Письмо к З. Н. Крохиной от 27 декабря 1894 г. — Архив А. Н. Лескова.

ляя на земле последствия его ошибок» *, влек к себе все острее и напряженнее.

На пятьдесят девятом году, сравнительно далеко от «пробуждения от сна жизни» **, Лесков с элегическою примиренностью пишет пользовавшемуся особым его расположением зятю Н. П. Крохину: «Андрей переведен <...> Полковой командир и командирша к нему очень ласковы. Приглашают его на обеды... и на балы, — он же посылается по наряду и на балы гвардейских полков. Сам он вполне доволен своим положением, и я им, слава богу, доволен. Теперь он уже и сам смеется над своим франтовством и танцмейстерством. Все понемножечку зреет, а мы стареемся — даже и не понемножечку. Надо беречь бодрость душевную — бодрость ума и живость чувства, как доберегла до 85 лет скончавшаяся на сих днях Татьяна Петровна Пассек. Посмотри ее портрет в № «Иллюстрации», который выйдет в субботу, 8-го числа. Там и моя статья о «литературной бабушке» ***. Умерла молодцом! — «Уплыла». На предложение Прибытковой «позвать попа» — отвечала:

— Отойди!.. Что меня учишь!.. Духовный мир мне не чужд... Я знаю, что нужно и что не нужно.

Ночью позвала Гатцука **** и сказала:

— Хорошо... Я плыву... Перебирай аккорды гитары!

Тот стал перебирать аккорды, а она «уплыла». Жила умницей и «уплыла» во всем свете рассудка, без слез, без визгов и без поповского вяканья.

«Такой конец достоин желаний жарких». В моей статейке найдешь намек на желание Толстого в отношении похорон. Уходят люди больших умов и смелых, непреклонных в своем убеждении. Народи бог на смену им лучших еще».

---

* Письмо к А. С. Лескову от 17 апреля 1886 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** См. статьи Лескова: «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому». «Биржевые ведомости», 1869, № 66, 9 марта; «Аллан Кардек». — Там же, 1869, № 156, 12 июня.

*** Т. П. Пассек — писательница, двоюродная сестра Герцена. В действительности умерла на 79-ом году; родилась 25 июля 1810 г., скончалась 24 марта 1889 г. Некролог «Литературная бабушка» появился в № 1055 «Всемирной иллюстрации» 8 апреля 1889 г. Портрет покойной, работы З. П. Ахочинской, помещен там же.

**** Владимир Алексеевич Гатцук, сын А. А. Гатцука, издателя «Газеты А. Гатцука» и «Крестного календаря».

Дальше, сообщая о ходе подписки на издававшееся тогда им собрание его сочинений, Лесков, с характерным для него переломом тона и настроения, переходит от углубленно-духовного и выспреннего к самому житейно-простому, живому, «дневи довлеющему», весело заключая послание в нарочитой речевой шутливости: «Не робей, воробей!» Я и не робею» *.

Чувствуется редкая умиротворенность, удовлетворение отменным успехом издания собрания сочинений, признанием автора читателем, которого критика оказалась уже бессильной «поссорить» с писателем...

Но на душе непокойно: предвидится опасность, разрешающаяся меньше чем через полгода арестом шестого тома собрания сочинений. Потрясение вызывает заболевание ангиной, «которая не шутит и не медлит». С этих пор, с августа 1889 года, резко ускоряется приближение к «выходным дверям», определяется вид обреченности. Это освещено выше главой «Angina pectoris»; на эту же тему Лесков много говорит в письме к Суворину от 30 декабря 1890 года:

«Я получил ваше приглашение, Алексей Сергеевич, — встретить с вами новый, 1891 год. Благодарю вас за внимание и ласку и приду к вам. «Двиствительно» ** — никому не ведомо — придется ли нам еще раз «встретить» этот день на этой планете... Радуюсь за вас, что мысль о «великом шаге», по-видимому, все сильнее дружится с вами и даже, быть может, уже «сотворила себе обитель» в вас... На свете есть много людей, которые ее боятся и гонят от себя, а как это жалостно и как напрасно! Она очень сурова, но как только сроднишься с нею, так она словно будто делается милостивее... А между тем в ней кроется самая могущественная сила утешения и усмирения себя. Кроме смерти, в известном возрасте все становится очень мелким и даже не волнует глубоко. У аскетов читал, от вдумчивых стариков слыхал, и Лев Николаевич мне сказывал, что самое нужное — это смириться (то есть войти в лады) с мыслью о неизбежности смерти. Я с нею ложусь и встаю давно, и с той поры как сжился с нею — увидел свет: мне все стало легче, и в душу при-

---

* Письмо от 6 апреля 1889 г. — Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Нравившееся Лескову выражение из пьесы Толстого «Плоды просвещения». Применено Лесковым в письме к самому Толстому от 4 января 1891 г. [86].

шла какая-то смелость, до тех пор неизвестная. Лев Николаевич говорит, что потом «должен прийти невозмутимый покой», но я чувствовал это только раз и на короткое время; но зато это было удивительное состояние такого счастия, что я даже испугался и стал насильственно вспоминать, что есть для людей утраты любимых лиц, обиды и муки <...> Восточные люди говорят, будто любят «беседы о смерти», и, может быть, оттого они спокойнее нас, но и у англичан не считается неуместным говорить о смерти, и есть мнение, что англичане умирают не хуже, а лучше наших простолюдинов; но наши «средние люди» ужасно дичатся смерти, которая зато ловит их, как курчат, и рвет им головы, тоже как курчатам <...> Это состояние очень жалкое, и так называемая «набожность» — в нем решительно ничего человеку не помогает <...> Помните, как у Алексея Толстого: «меня, как хищник, низложила!» Так все и отлетит прочь — все мечты и упования. Освоение же с ожиданием этой гостьи помогает очень много. А потому я очень рад, что замечаю у вас все чаще и чаще склонность заглядывать за край того видимого пространства, которое мы уже достаточно исходили своими ногами <...> Почему непременно все выражать друг другу желание жить «много лет», когда это очевидно не может быть?! Неужели менее радушно пожелать человеку: легко и небезрассудно кончить здешнюю жизнь, с ясною верою в нескончаемость жизни? Есть ли это у вас? Без этого, как без якоря, все куда-то мечет и швыряет» *.

Врожденное предрасположение к мрачности, мнительность, неразрывная с большим жизнелюбием, и жажда как-нибудь заглянуть за «тот край» всегда влекли Лескова к разговорам о смерти и со сторонними, и с родными, хотя бы с еще почти юным сыном. По мере повышения хворости беседы на смертную тему становились как бы коньком.

А смерть не дремлет: нет уже большинства родных, сходит в могилу ряд даровитых писателей-современников, частью былых опасных, но уважавшихся противников. Об их «шеренговом» смертном «марше» удрученно пишется Толстому **. Все сильнее чувствуется собственная

---

* Пушкинский дом.

** Письмо от 20 января 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 90[87].

обреченность. Становится сиро, холодно. Хочется тепла, приветливого, сердечного слова. Перебирается в памяти, кто еще сохранился из тех, с кем начинал жить, с кем связаны воспоминания молодости, всего больше детства. Растет жажда как можно больше знать о них, воскресить опрометчиво порванное дружество. Отсюда уже один шаг до нового обретения друг друга. И вот оживают казавшиеся омертвевшими отношения с последнею сестрою.

Должно быть к собственному удивлению, это совершается легко и просто. Без труда забывается «родственная жвачка» и многое, пожалуй напрасно гневившее тогда, когда не знал, на что тратить избыток личных сил. Теперь их уже мало, как мало и дней впереди и тех, с кем они делились на заре жизни.

Все перестраивается по-новому, по-стариковски, в суеверных предощущениях, в духовной подавленности, в мистической настороженности. Повелевает всего сильнее последняя.

Намекая, что у некоторых «одоболело сердце», жалуясь, что «холодным духом смерти несет» от беспричинного и неосторожного разъединения когда-то близких людей, Лесков 14 февраля 1894 года пишет:

«Любезная сестра Геннадия!

Я получил твое письмо и был очень рад иметь о тебе известие. Я никогда не почитаю это за маловажное и бесполезное, а, напротив, в общении людей вижу большую для них пользу, а в отчуждательстве и прекращении сношений — ясный и очевидный вред. Поэтому я следую тем людям, которые всегда отвечали на все письма, и этому я был обязан в жизни многими превосходными минутами. Не думай, чтобы твое письмо меня когда-нибудь не интересовало: я всегда ему рад и, если могу, — немедленно отвечу. Пустого и незначительного в жизни нет ничего, если человек не полагает свою жизнь в суете, а живет в труде и помнит о близкой необходимости снять с себя надетую на него на земле «кожаную ризу» и идти неведомо куда, чтобы нести наново службу свою хозяину вертограда. То, что ты думаешь, то и стоит обсудить. Ты думаешь, что заведовать школою *без вознаграждения* — не хорошо, а это-то и хорошо. За учебу вообще грешно брать плату. Сказано: «пусть свет ваш светит людям»; и еще: «вы даром это получили — даром и отдавайте»; и еще: «если здесь вам заплатят, — то уже это

и будет оплачено», и еще много, много все в этом же духе. Народ бедный, темный, а он все платежи несет и изнывает под тяжестью, где же с него еще новые платежи тянуть! Потрудись, поучи ребяток: они детки божий, и богу угодно, чтобы «все приходили в *лучший разум* и в *познание истины».* Давай-ка подумаем: хорош ли наш разум, и сами-то мы в истине ли, а еще не во лжи ли? <...> «А ты, который думаешь, что ты стоишь, — гляди, чтобы ты не упал». Не жалей, сестра, платы за грамоту. Это не надо. — О молитвах скажу тоже: похорон с пышными обрядами я, конечно, не оправдываю и считаю их за дело, непристойное христианам: мертвое тело довольно поглубже зарыть, чтобы оно не заражало вонью воздух, которым дышат живущие на земле. Христос относился к похоронам не только с равнодушием, а даже пренебрежением и сыну, который хотел идти хоронить *своего отца,* ответил: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов...» Итак, это есть дело пустое, как ты правильно думаешь; но и то, что ты почитаешь за полезное для умерших, тоже не имеет подкрепления в слове божием, и человек имеет полное право верить этому, как ты веришь, или *не* верить, как не верил этому наш покойный отец и не верят многие люди, не худо исполняющие во всем волю божию. Перед богом не может ничего значить, кто за кого просит и за какую цену этак очень старается, чтобы переменить божие решение. Будем верить, что хоть у одного бога суд его праведен и никакой наемный адвокат у него ничего своею хитростию не выиграет и никакой наемный певец не выпоет, чего не заслужил покойник; а совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при теперешнем разуме понятия не имеем, а как же мы посмеем дерзать на то, чтобы влиять на то, чтобы что-то переменять! Так и думать не только не благочестиво и страшно, а и грешно.

Н. Лесков» *.

Какой сдвиг! Нашлось уже о чем говорить и с «невразумительною»! Захотелось и ей изъяснить не во всем простые указания малопостигаемого ею Евангелия. Хочется оказать искупительное внимание, ласку пренебрегавшейся столько лет!

* ЦГЛА.

«Пустого и незначительного» в отношениях с людьми независимо от их малости и слепоты, — *нет!* Все ценно достойно бережи, снисхождения.

Осеняет арамейское «еффава» * — раскрытие сердца, просветление духа, отвергание разумения.

В канун шестьдесят четвертой своей годовщины, в предсмертные почти свои дни, 3 февраля 1895 года Лесков растроганно благодарит Геннадию за только что полученное от нее поздравление его с днем рождения и именинами.

Давным-давно поздравления с «нарастанием лет», полных изнурительного труда и «всяческих терзательств», не проходили никому даром, раздражали. Сейчас сестрина память растрогала: и невеликое дело, а теплом повеяло. Спасибо старухе... Ведь чуть было не растерялись совсем! Ну и хорошо! Значит, и «в новом существовании» друзьями встретимся. Хорошо!

Затронув вопрос о неизбежности смерти, он ободряюще пророчит ей: «Может быть, так легко выпряжешься, что и не заметишь, куда оглобли свалятся» **.

Собственное самочувствие он еще 24 сентября 1893 года образно определял в письме к Л. И. Веселитской: «Все чувствую, как будто ухожу» ***. А за десять месяцев до того, как сбросить «свои оглобли», 18 мая 1894 года, ободренно писал Толстому:

«Истомы от дыхания недалеко ожидающей смерти я теперь по милости божией не ощущаю. Было это позапрошлой зимою и вы мне тогда писали, что тем я как бы отбывал свою чреду. Пока оно остается так. Думы же о смерти со мной не разлучаются, и приходят моментально, даже в первое мгновение, когда проснусь среди ночи. Я считаю это за благополучие, так как этим способом все-таки осваиваешься с неизбежностию страшного шага. Из писавших о смерти предпочитаю читать главы из вашей книги «О жизни» и письма Сенеки к Луцилию. Но как ни изучай теорию, а на практике-то все-таки это случится впервые и доведется исполнить «кое-как», так как будет это «дело внове». Надо лучше жить, а живу куда

---

* См. статью Лескова толстовского цикла «О рожне. Увет сынам противления». — «Новое время», 1886, № 3838, 4 ноября.

** ЦГЛА.

*** В. Микулич. Встречи с писателями, с. 197.

как не похвально... А в прошлом срамоты столько, что и вспомнить страшно» *.

При отвращении, какое питал Лесков к «коекакничанью» в чем бы то ни было, не хотелось оплошать и в отклике на «трубу».

В складе личной жизни, как и в приемах работы уже давно совершены большие преобразования. «Творить» в тиши и безмолвии глухой ночи, непрерывно закуривая и бросая недокуренными душистые папиросы, изредка прихлебывая давно остывший, как мюнхенское пиво крепкий, чай, нервно ходя из угла в угол или подолгу останавливаясь у окна и всматриваясь в сумрак заснувшей улицы, — забыто уже с середины восьмидесятых годов. Так писались когда-то «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник» в кабинете, глядевшем на пустынный и темный Таврический сад...

Теперь работе отводится утро и начало дня, часов до двух. Затем выезд в город по неотложным делам, посещение приятелей-букинистов, прогулка в «Тавриде», легкий растительный обед, отдых, вечер за чтением, иногда «правка» чего-нибудь готового, корректура, чаще всего — беседа с нередкими посетителями и — уж совсем редко — поездка «в гости» к кому-нибудь из неотступно к себе приглашающих и о посещении «генерала от литературы» просящих.

У себя дома званые сборища бесповоротно отменены. Вечерние «столы» забыты. В кабинет в десятом часу подается «достархан» — чай с набором сластей, с «кантовской» шепталой, фигами, абрикосами, пастилой и мармеладом, а иногда и с несколько приторным и очень пряным «самосским» или «сантуринским» вином, далеко не всех пленявшим своим своеобразием.

Хозяин, живший уже в вечном страхе припадков «жабы», оставив «гадкие привычки прошлого», перешел на «безубойное» питание и прекратил «накачивать в свое тело табачный дым». По письмам его к не отказавшимся еще от многих прежних привычек родным, от этого у него и другим «весело, трезво, чисто стало».

Осужденному на полуаскетическое житие, недугующему Лескову не возражали. Однако в тайне помыслов своих далеко не все разделяли порицание отошедших в прошлое обычаев, когда увлекательные беседы протекали не за

* «Письма Толстого и к Толстому», с. 167.

единым чаем с «философской» шепталой, но и за радушно предлагавшимися гостям *«пшеницей, вином и елеем»*. Когда хозяин, подъемля тонкого стекла фиал, внимательно озирал на свет переливчатую игру его содержимого, слегка колебал его для повышения летучести эфирных масел, по-знатоцки оценял их «букет» и, возгласив «*благословен насадивый виноград*», в веселии сердца подносил сосуд к неотрицавшимся вина устам.

О безвозвратности жизнеполных времен и о пришедших им на смену болестях скорбели, но хулить старое нужды не видели.

За полночь не засиживались, хотя и жаль было уходить, отрываться от всегда захватывающей, интересной, нежданно-новой в своей сути и яркости, беседы. Но... как ни бодр был дух, утомленность плоти сказывалась и могла обойтись поторопившемуся состариться Лескову дорого.

Да он и сам сознавал жизнь в большинстве ее возможностей позади. В настоящем, как он писал 23 сентября 1892 года старому сподвижнику молодых орловских утех, В. Л. Иванову, была *«не жизнь уже и даже не житие, а только именно пребывание»* *.

Злой недуг и ясно воспринимаемое ощущение общего своего разрушения заслоняют все.

Незначительной представляется даже так долго, много и остро терзавшая критика.

Собственное существование воспринимается, по толстовскому определению, «как на поезде после третьего звонка»: «ни с знакомыми говорить, ни за буфетом чавкать уже некогда, а подбери к себе свое путевое поближе и сиди... вот-вот свистнет, и покатим» **.

Надо, пока не свистнуло, управиться с чем удастся.

Подбирается поближе «путевое». Делаются усилия успеть развязать хотя некоторые из обильно завязавшихся на жизненной нити узлов. Но, «по свойствам души человеческой», одновременно завязываются и новые...

---

* Quidam. Несколько эпизодов из жизни Н. С. Лескова. — «Орловский вестник», 1895, № 57, 2 марта. Менее точная публикация — А. Фаресов. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 813.

** Письмо к В. Л. Иванову от 23 сентября 1892 г. — А. Фаресов. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 813. Автограф — в Тургеневском музее в Орле.

Не оглянешься, как уже не стоишь, а опять упал. Ужасно досадно! Но «от себя не уйдешь».

Путь к «выходным дверям» труден и страшен, как видевшийся раз в смертной истоме «суживающийся коридор» [88].

Заботит положение разоряющейся и уклоняющейся от переписки дочери. Спасибо, есть еще нестроптивая и на услугу всем безотказная душа — «Крутильда». На ее, по обычаю, скорый и готовный отклик Лесков, во многом не соглашаясь с нею, пишет 8 декабря 1894 года, за три месяца до своей кончины:

«Уважаемая Клотильда Даниловна!

Очень ценю, что вы продолжаете писать ко мне, несмотря на свои хозяйственные хлопоты и на свою нелюбовь к переписке (если я в этом не ошибаюсь). Вы доставляете этим мне удовольствие знать о ближних по крови... О том, что я будто «заслуживаю любовь», — я с вами *не* согласен. Никто не имеет обо мне такого верного понятия, как я сам, и я знаю, что во мне ужасно много дурного и особенно много эгоизма и гордости. Как можно, чтобы меня любили другие, когда я и сам-то себя терпеть не могу! Вы мне лучше не это говорите, а говорите о том, что вам видно во мне гадкого, и дайте мне это пообдумать и попробовать исправить в себе мою плохость! Вот это будет приязнь и благодеяние! ...И если при таком понятии человек не скучает жизнью, а трудится, то он действительно счастлив и доля его прекрасна. Если бы жизнь меня баловала, я бы, вероятно, гонялся за теми же призраками, за которыми гоняются другие, и жизнь моя теперь была бы гораздо беспокойнее, тревожнее и... глупее. Подумайте над этим одну минуту, и, может быть, вы увидите, что это действительно так, как я говорю. Впрочем, да дарует вам бог все то, что нужно и полезно для достойных исполнения ваших желаний» *.

Единственный уже, последний брат упоминанием в письме обойден.

В Петербурге близится юбилей распространеннейшего журнальчика, издававшегося А. Ф. Марксом, «Нива» [89]. Лесков иногда сотрудничал в нем. Предстоит поздравлять

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

издателя. 15 декабря он пишет С. Н. Шубинскому. «Я еще перелистовал «Ниву» и все искал там добрых семян для засеменения молодых душ и не нашел их: все старая, затхлая ложь, давно доказавшая свою бессильность и вызывающая себе одно противодействие в материализме. Как бы интересно было прочесть сколько-нибудь умную и сносную критику изданий этого типа, которые топят семейное чтение в потоках старых помой, давно доказавших свою непригодность и лицемерие. Не могу себе уяснить, чт*о* тут можно почтить поздравлением?! Разве то, что, *может быть,* можно бы издавать и хуже этого... но, может быть, и нельзя. Впрочем, по «Игрушечке» судя, — можно». А 17-го числа, говоря о том, что журналы должны способствовать «уяснению понятий», добавляет: «Такие издания были, есть, и их будет еще более, ибо «разум не спит» и «у науки нрав не робкий — не заткнуть ее теченья никакой цензурной пробкой». Вы должны бы помнить, кажется, «Рассвет» Кремпина... Вспомните-ка и посравните его с «Нивою» или «Игрушечкою» и всем сему подобным дерьмом, которое вы, однако, хотите почему-то ставить выше совершенно равной им «Родины». Это нехорошо» *.

Наступает 1895 год. 28 апреля исполнится 35 лет литературной работы. Полная выслуга на всех видах службы: полная пенсия, награда чином, почетными знаками, отставка, дожитие на отдыхе, на покое.

Лесков задумывается: опять, поди, досужие доброхоты засуетят с юбилеем, с чествованием, с парадом! Надо заблаговременно все это пресечь и отвратить. Им ведь лишь бы пошуметь, а о том, какое сметьё и сколько горечи поднимет все это в душе, подумать невдомек! Забыли уже, как я отклонял какие-либо «оказательства» и двадцатипятилетнему и тридцатилетнему срокам своего служения литературе **. А сейчас я уже и совсем хворый старик. С меня довольно, если обо мне не зло вспомнят и искренно пожелают тихо дожить до своего «интересного дня». В этом я увижу оправдание моей трудовой жизни и признание ее небесполезности.

2 января он пишет Суворину: «Ко мне опять приступают по поводу исполняющегося на днях 35-летия... С этим

* Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

** «Письмо в редакцию. Об обеде Н. С. Лескову». — «Новости и биржевая газета», 1884, № 286, 16 октября; «Дружеская просьба (Письмо в редакцию)». — «Новое время», 1890, № 5074, 16 апреля[90].

находили и еще к кому-то и очень может быть, что зайдут к вам. Я всеусерднейше прошу вас знать, что я ничего не хочу и ни за что ни на чей зов не пойду, а у себя мне людей принимать негде и угощать нечем. Вы окажете мне одолжение, если поможете тому, чтобы меня оставили в покое и, пожалуй, даже в пренебрежении, к которому я, слава богу, хорошо привык и не желаю его обменивать на другие отношения моих коллег, ибо те отношения будут мне новы и, может быть, менее искренни. Старику лучше, то есть спокойнее, придержаться уже старого и хорошо знакомого. Я уверен, что вы не усумнитесь в искренности и в твердости моего отказа и скажете это, если к вам отнесутся с какою-нибудь затеею в этом роде» *.

На другой день, 3 января, посылается письмо и Шубинскому:

«Уважаемый Сергей Николаевич!

Очень может быть, что к вам обратятся с какими-нибудь предложениями по поводу исполнения 35 лет моих занятий литературою. Сделайте милость, имейте в виду, что я не только не ищу этого (о чем, кажется, стыдно и говорить), но я не хочу никого собою беспокоить, и не пойду ни в какой трактир, и у себя не могу делать трактира. А поэтому эта праздная затея никакого осуществления не получит, и ею не стоит беспокоить никого, а также и меня.

Преданный вам

Н. Лесков» **.

Вопрос категорически и полностью снят с обсуждения.

6-го числа ему выпадает прочитать в № 6773 «Нового времени» очередное критическое умозаключение о себе, высказанное неукротимым Бурениным, в котором, между прочим, говорится: «А ведь Писемский как романист, бесспорно, выше целою головою многих здравствующих сочинителей, вроде гг. Лесковых, Потапенок, Маминых, Альбовых, не говоря уже о прочих, их же имена ты, господи, веси».

Таков был привет суворинской газеты в предъюбилейные месяцы. Как-никак, а раздражения он стоил.

Мистически весьма несвободный, Лесков не раз намечал себе вероятные сроки смерти своей. Ждал он ее по-

* Пушкинский дом.

** Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

чему-то в 1880 году, потом перенес на 1892 год. И все милостию судеб, миновало. Дожитие теперь до апреля месяца ни для него лично, ни для заботников об ознаменовании чем-либо юбилейной даты не являлось никаким вопросом. Наступившее уже более года смягчение приступов жабы принималось и им самим и всеми близкими и дальними как признак облегчения общего состояния и радовало.

— Как думаете, — говорил в хорошую минуту Лесков, потирая ладонями обеих рук нос, — пяток лет, может, еще и потянем? А там и в путь! Жить и до семидесяти довольно! Дальше уже даже и не житие, а одно тягостное труждание. Хватит!

И все вместе с ним радостно приветствовали в мыслях своих казавшуюся пришедшей победу могучего организма над всеми терзавшими так долго недугами, нимало не постигая, что в действительности налицо было лишь ослабление всех явлений, в том числе и болевых, и что все это вместе выражало не исцеление, а угасание.

Смерть нередко оказывает милость, подходя незаметно именно тогда, когда ее считают согласившейся на хорошую отсрочку.

Она не пугала, и верилось — ушла куда-то далеко.

Так начинался, оказавшийся последним, год жизни Лескова.

18 января, в Варшаве, умер В. В. Крестовский. Газетные извещения пробуждают в Лескове много воспоминаний, навевают грустные мысли. «Всеволод» моложе на девять лет. И вот его уже нет!..

В подошедшее воскресенье, 22-го числа, за вечерней беседой в писательском кабинете помянулась и кончина Крестовского.

— Зоря! — удивленно и укоризненно воскликнула, обращаясь к мужу, «названая дочка» Лескова, В. М. Макшеева, — почему же ты не сказал мне, что он умер?

— Верочка, — с грустным укором вступился Николай Семенович, — нельзя же, милая, простирать свое презрение к литературе до нежелания читать даже объявления о покойниках в «Новом времени»!

Тем временем, пользовавшаяся особым уважением Лескова, издательница «Северного вестника» Л. Я. Гуревич, получив от Толстого рукопись повести «Хозяин и работник», выслала автору «на правку» спешно изготовленный оттиск, а второй его экземпляр дала на прочтение

Лескову. Создалась эра восторгов и неустанных разговоров о новом произведении «драгоценнейшего человека нашего времени»[91]. Особенно пленяла картина духовного перелома в хозяине, сперва стремившемся спастись, *бросив* работника, а затем охватываемом самоотверженным желанием *спасти* этого работника, хотя бы ценою собственной гибели. Так мог учить только истинный «сосуд божий», который видел в Толстом Лесков. Восхищению не было пределов. Это была последняя литературная радость, «именины души» Лескова, торжество духа!

Посвященный во все таинства получения толстовской повести и ее набора для мартовской книжки дружественного журнала, равно как и в вызревание «нового религиозного сочинения», то есть катехизиса Толстого *, Лесков не мог не поделиться этой драгоценной осведомленностью с широкой общественностью.

Вероятно, он посылает Суворину помещенную в № 6794 «Нового времени» от 27 января 1895 года в «хронике» коротенькую заметку, а на другой день, 28-го числа, в № 27 «Петербургской газеты» появляется уже совершенно бесспорная, бесподписная лесковская статейка: «О повести Толстого».

В ней, между прочим, говорится:

«У графа Л. Н., говорят, теперь исполнены *две* очень замечательные работы, одна от другой совершенно независимые: одна — *повесть,* а другая — очень важное сочинение в религиозном духе. Это последнее сочинение, как уверяют люди, способные понимать дело, должно представить собою свод и завершение всего, написанного Толстым в этом, особенном роде. «Вытащено на свет из сундука», как шутил Тургенев... Объем всех этих сочинений полностью нам даже неизвестен... Ясно только, что азарт этот <издателей. — *А. Л.*> велик и что дело доходит уже до чего-то легендарного. А еще более всего он непонятен: о каких исключительных правах может идти речь, когда известно всем, что Л. Н. Т. от права собственности на свои новые сочинения *отказался*!»

Радостно вспоминается здесь и чудесный «сундук», как источник больших знаний.

---

* См. письма Лескова к Толстому от 1 августа и 19 сентября и ответ Толстого от 7 октября 1894 г. — «Письма Толстого и к Толстому», с. 168—169, 183 и 188.

Прочесть повесть в окончательной ее правке Толстым Лескову не пришлось...

В январе же Лесков ставит свою подпись под просьбой группы петербургских литераторов Николаю II о «принятии под сень законов» литературы, терпевшей своевластие Главного управления по делам печати, министров внутренних дел и различных административных органов и деятелей. По тем временам обращение к царю по такому поводу являлось гражданским актом не малого значения *.

Не уставал он в эти же дни по-прежнему «заступаться» за Толстого в беседах, как и в письмах хотя бы к литературно и малозначительным людям.

Жил-был в Вильне военный юрист А. В. Жиркевич [92], сотрудничавший в «Ниве» А. Ф. Маркса, благодарно приявший отсюда псевдоним «Нивин» и всемерно домогавшийся переписки с Толстым и Лесковым. Обижаясь, что первый ему не всегда отвечал, он налегал на Лескова. Последний нес этот крест до 31 января 1895 года, когда писал ему в явной надежде внушить бесплодность дальнейших письмовых его посягательств:

«Уважаемый Александр Владимирович!

Я никак не могу попасть в тон, чтобы написать вам хоть один такой ответ, который бы вас удовлетворял и успокаивал. Это меня ставит в затруднение, как быть. Книгу вашу я прочел, потому что вы мне ее прислали, а прислали вы ее, вероятно, с тою целью, чтобы я ее прочел. Здесь ничто не могло нарушать вашего спокойствия. Желание ваше в отношении рассказа я постараюсь исполнить. Ни о «гениальности», ни о «воровстве» стихов я вам ничего не писал и очень удивляюсь, зачем вы мне это приписываете. Человеку довольно отвечать и за то, что он сделал. Названием стихотворения А. Толстого ошибся, но это нисколько не важно и дела не изменяет: все дело в цитованном стихе, который схож с вашим. О том, что Лев Николаевич знает эти стихи и писал о них, я ничего не знал. Лев Николаевич говорит людям что нужно прямо в глаза, а заочно о них не пересуживает. В том, что он есть «лучший из людей», я с вами совершенно согласен. «Мундир» ваш, конечно, не мог

---

* См.: Мих. Лемке. Разница моментов и настроений. — «Начало», 1905, № 2, 15 ноября, с. 5.

рассчитывать на его благорасположение, и я не знаю: о чем тут можно спорить? Симпатии Льва Николаевича не на стороне воюющих и не на стороне обвиняющих и судящих; но вести об этом особые споры с каждым человеком, который сказанным не убеждается, а хочет доходить до всего с а м , — Лев Николаевич, понятно, *не может.* На это недостало бы его сил и времени, которое нельзя раздробить, а надо сберегать и пользовать им возможно бо́льшую аудиторию. Следовательно, всего вероятнее, он не «отвернулся» от вас с обидой или неудовольствием, а ему невозможно оторваться от дел и следить за эволюционизмом ваших борений. Он, конечно, знает, что вы знаете все, что надобно знать для того, чтобы придти к надлежащему решению, и потому за вас опасаться нечего: вы придете туда, куда лежит ваш путь. «Где ваше сокровище, там будет и ваше сердце». Между этим все остальное имеет характер спора, а «аще кто мнится спорлив быть, мы такого обычая не имеем» (I Коринф. 11, 16). Всякому дан свет, и иди с ним, а спорить трудно, тяжело и, наверное, бесполезно. Желаю вам всего доброго.

Ник. Лесков» *[93].

Еще 25 декабря 1894 года, в № 354 «Петербургской газеты» за полною подписью открывается серия историко-иконографических аннотаций Лескова к образам всех дванадесятых церковных праздников. Первую статейку автор, с легкой оговоркой, но с видимым упованием на выполнимость плана, заканчивал: «Если будет возможно, мы в течение настоящего года приведем здесь что касается таким образом по всем двенадцати годовым праздникам».

Рок позволил разъяснить только две иконы: «Крещения» в № 5 от 6 января и «Сретения» в № 32 от 2 февраля.

Больше Лесков ничего из недавно написанного его рукой в печати не видел.

4 февраля, в день «списателя канонов» Николы Студийского, в шестьдесят четвертую годовщину рождения Николая Лескова, поздним утром на мягкой оттоманке у него сидел пришедший поздравить деда $2^1/_2$-летний его внук.

---

* С копии из архива А. Н. Лескова. Ср.: *Фаресов,* с. 206 [94]. См.: П. П е р ц о в . Литературные воспоминания. М.—Л., 1933, с 171.

Лесков был неузнаваем. Забывая все свои недуги, он ползал по ковру, умиленно поднимая и подавая младшему, из Лесковых вещицы, которые последний святотатственно брал со святая святых — с писательского письменного стола! Случайные гости, не веря своим глазам, дивились благорастворенности, светившейся в обычно гневливых глазах хозяина. Сколько бы раз внук ни бросил только что поданную ему дедом безделушку, тот торопился сам разыскать ее на полу и снова вручить баловнику. Попытки невестки, опасавшейся утомить больного свекра, увести сына, вызывали горячий протест и трогательные просьбы старика побыть у него подольше. И вообще всегда при всех свиданиях с внуком в Лескове, вопреки всем опасениям, наперекор всему надуманному о «неизвестных величинах», ярко говорило простое чувство крови, рода. Оно могло преодолеть мертвые отвлеченности, сухой дидактизм. Ко всеобщему благополучию, оно могло оздоровить отношения и скрасить собственную его жизнь, но увы, дней для такого преображения уже не хватало, они были сочтены.

6 февраля отец вел со мною пространную беседу о мероприятиях к сбережению последних тысяч Ольги Васильевны, и на другой день, «пользуясь сравнительным теплом и влагой», он съездил к надзирательнице из больницы св. Николая и договорился с нею об опекунстве над деньгами душевнобольной Ольги Васильевны. Этим успешно разрешались заботы в отношении безумной.

12-го числа, в «прощеное воскресенье», когда положено было правоверным каяться друг перед другом во взаимно содеянных грехах и гнусностях, около полудня горничная доложила Лескову, что просит его принять некий Филиппов. Не представляя себе, кто такой пришел, Лесков говорит: «Просите», — и поднимается навстречу загадочному гостю. В открытых дверях, не решаясь переступить порог, недвижимо стоит злейший его враг и ревностный гонитель, государственный контролер в министерском ранге, «Терций» Филиппов.

«Я, — взволнованно рассказывал мне отец, — тоже остановился посреди комнаты.

— Вы меня примете, Николай Семенович? — спросил Филиппов.

— Я принимаю всех, имеющих нужду говорить со мною.

— Перечитал я вас всего начисто, передумал многое и пришел просить, если в силах, простить меня за все сделанное вам зло.

И с этим, можешь себе представить, опускается передо мною на колени и снова говорит:

— Просить так просить: простите!

Как тут было не растеряться? А он стоит, вот где ты, на ковре, на коленях. Не поднимать же мне его по-царски. Опустился и я, чтобы сравнять положение. Так и стоим друг перед другом, два старика. А потом вдруг обнялись и расплакались... Может, это и смешно вышло, да ведь смешное часто и трогательно бывает».

— А какое сегодня воскресенье? — спросил я.

— Думаешь, византиизм, лицемерие? Может, и так, а все-таки лучше помириться, чем продолжать злобиться, — сказал отец и стал рассказывать то, что неплохо сберег, видимо сряду сделанною записью, Фаресов: «Против нас на столе у меня стояли портреты Гладстона, Л. Толстого, Дарвина и снимки с картин Н. Н. Ге. Ведь ему все они противны! И вдруг я почувствовал, что хоть опять становись на колени; что вот сейчас нам не о чем будет говорить. За последние годы мы ушли в разные стороны так далеко, что не сумеем вернуться даже ко дню смерти. Я вспомнил, что он интересовался когда-то соборным делом в церковных вопросах, и мы разговорились. Наконец добрались и до литературы <...> Говорю я так с ним о литературе и чувствую, что скоро уже и не о чем будет говорить... Не много нам жить остается, а говорить не о чем... Грустно! Оживлялся я, когда вспоминал, что ведь другие и этого не сделают: не придут мириться ко мне. Врагов у меня всюду много, а вот только один понял меня и пришел утешить. Много ли даже в литературе-то найдется лиц, перечитывающих меня в настоящее время, чтобы судить более правильно обо мне и придти ко мне с миром? Много ли? А ведь меня <пустым. — *А. Л.*> мешком по голове не били, и не хуже я этих других в русской литературе <...> Вот так мы с Тертием Ивановичем многого касались понемногу... Он даже выразил надежду видеть меня у себя.

— Я никуда не хожу, — отвечал я. — Подыматься тяжело по лестнице.

— О, я невысоко живу. Несколько ступеней.

— Да нет... Вообще вы живете для меня *высоко!*

Мой гость засмеялся и не обиделся на мою откровенность. Я очень взволнован его визитом и рад. По крайней мере кланяться будем на том свете» *.

В душе Лескова все же тронуло движение человека, упорно и много вредившего ему.

Появиться через десяток дней у гроба простившего его Лескова Филиппов не решился и, упоминания в некоторых некрологах о недавнем келейном его покаянии, может быть, заставили его поскорбеть о своем поступке.

Сейчас и в самом деле сцена трудно понятна. Но тогда она не была невероятной. В ней было много хорошо памятного по картинам и преданиям всем близкого прошлого. У самого Лескова обнимаются и примиренно друг у дружки руки целуют изобидевшая несчастную Леканидку Домна Платоновна, а обиженная — у скорой на руку Воительницы **. Поочередно становятся на колени, целуются и льют слезы взаимной растроганности сиротоприимный Константин Пизонский и лекарь Иван Пуговкин ***. И сам Лесков в 1884 году в Мариенбаде со священником Ладинским [95] обнялись и расплакались. Так крепко жили еще предания, были еще так «свежи» и даже почти «в духе времени».

Вероятно, 14-го вечером или 15-го утром Веселитской посылается недатированная записка:

«Уважаемая Лидия Ивановна!

Я очень болен и не выхожу. В мокроте откашливаю *кровь.* Состояние духа колеблется: то так, то иначе. С мнениями вашими о повестях Чехова и Боборыкина вполне согласен и высказывал то же самое. Было на меня нашествие Виницкой, и еще навестил меня Тертий Иванович Филиппов, и это было очень характерно и оригинально. От сестры вашей получил письмо, да не знаю, надо ли ей отвечать? Вам я боюсь о себе напоминать. Чертков не бывал. Они обижены. Я ведь обязан их оберегать, а не правду говорить. Очень нездоровится.

Н. Лесков» ****

---

* *Фаресов,* гл. VIII, с. 137—141.

** Собр. соч., т. XIII, 1902—1903, с. 39.

*** «Чающие движения воды. Романическая хроника». — «Отечественные записки», 1867, апрель, кн. 1, с. 465.

**** В. Микулич. Встречи с писателями, с. 204—205.

Слышится смертное... Однако не безразлично еще и жизненное: сообщается о возобновлении отношений с Виницкой[96], о явлении Тертия, о своего рода «отомщевании» Черткова за «Зимний день». Последнее едва ли огорчает.

Должно быть, перед самыми этими днями Лесков перенес и нашествие репортера «Новостей и биржевой газеты», опубликовавшего 19 февраля в № 49 этой газеты интересный отчет своей беседы с писателем, под заглавием «Как работают наши писатели. Н. С. Лесков», за подписью И. Эм.

Чрезвычайно ценно здесь горячее сочувствие Лескова чужим литературным успехам и негодующий протест против осудительного азарта критиков, в числе которых яснее других подразумевается Буренин.

«По-моему, это мнение совершенно не основательно. Разве Петр Дмитриевич Боборыкин не интересный и не полезный писатель? Это в полном смысле прекрасный новеллист. Он спешновато заканчивает свои работы, и это им часто вредит, но что же делать: у всякого своя манера, свои достоинства и свои недостатки. Канова уже, кажется, какой был мастер, а имел такой же самый недостаток. И у того и у другого окончание работы скомкано. Далее Чехов, Мамин, Короленко, непонятый Альбов — разве это не таланты? А еще из более молодых есть такие, что как только появились, так сразу же заставили о себе говорить и спорить: таков, например, мой молодой однофамилец *, выведенный в свет «Историческим вестником» г. Шубинского. Такого быстрого успеха еще не бывало» **.

Все интервью дышит неиссякаемой любовью к родной литературе и желанием ей роста и преуспеяния. Все оно звучит любовным напутствием искусству, которому самоотверженно была отдана вся собственная жизнь.

Искусственно созданный когда-то и вновь усердно вспененный после смерти Крестовского вопрос об авторстве «Петербургских трущоб» второй месяц продолжал занимать прессу, вовлекая в полемику все большее число далеко не одинаково авторитетных судей. Споры росли, не уставая запутывать дело. Вспомнили, наконец, и о Лескове. Всегда горячо откликавшийся на все литера-

* Н. Ф. Лесков (Карельский).
** «Русские писатели о литературе», с. 306.

турные события, он возмущенно подтвердил посетившему его день-два спустя после Филиппова В. В. Протопопову что автор романа «не кто другой, как покойный Всеволод».

Лесков подробно рассказал, как задумывался роман, как сам однажды со «Всеволодом», Микешиным и данным им в проводники сыщиком посетил знаменитый «Малинник» в «Вяземской лавре», где к ним подсела некая «Крыса», и т. д. Заключались его указания словами: «Повторяю еще раз: «Петербургские трущобы» написаны одним Крестовским, а грязные сплетни, по поводу которых теперь возгорелась целая полемика, распространены были еще при жизни покойного Всеволода неким хотя и талантливым, но, к сожалению, не безупречно нравственным человеком... Я не буду его называть, тем более что он уже умер... Зачем понадобилось этому господину чернить Крестовского, не знаю» *.

В отклик на это свидетельство редакция газеты сейчас же получила и опубликовала следующее открытое письмо:

«Г. редактор.

С удовольствием подтверждаю слова даровитого Николая Семеновича Лескова, напечатанные в вашей уважаемой газете: мы втроем: Всеволод Крестовский, Н. С. Лесков (тогда носивший псевдоним «Стебницкий») и я ходили в «Вяземскую лавру» и в «Малинник», изучая трущобы, и намеревались издавать их иллюстрированными, для чего мною была уже и зачерчена небезынтересная коллекция разных несчастных типов, но отъезд мой тогда за границу оставил дело иллюстраций к «Трущобам» неосуществленным.

Художник *М. Микешин»* **.

Вопрос выяснялся до дна. Ответы Лескова всех удовлетворили, кроме Атавы, в душе которого по одному из поздних определений Лескова, «жил Ноздрев» [97].

Рассерженный тем, что Лесков не назвал человека, пустившего легенду о «Петербургских трущобах», Атава разражается в № 6816 «Нового времени» от 19 февраля

* В. П. «Петербургские трущобы». — «Петербургская газета», 1895, № 38, 8 февраля.
** Там же, 1895, № 40, 10 февраля.

фельетоном «Умерший писатель», в котором бросает по адресу старшего собрата: «Для меня всего изумительнее при этом скромность г. Лескова, очевидно близко знавшего Крестовского. Называя всю эту историю сплетней, он говорит, что знает даже автора ее, этой сплетни, одного известного писателя, имени которого, однако, не хочет назвать... Скажите, какая вдруг деликатность! И это все, что дождался Крестовский в свою защиту от своих друзей» *.

Это было все, чего мог дождаться от своего многолетнего благоприятеля заведомо тяжко больной все последние годы и в самые эти дни умирающий уже Лесков.

Среди всех приведенных разновидных и разноценных событий было одно вполне самобытное, требующее упоминания, для которого необходимо некоторое отступление.

Как будто в «чистый понедельник», на первой неделе великого поста, то есть 13 февраля 1895 года, в залах Академии художеств открылась XXIII выставка картин «передвижников».

Лесков, не пропускавший обычно ни одной художественной выставки, посетил и эту, не то в день открытия, не то раньше, на так называвшемся «вернисаже» **.

На этот раз, кроме общего интереса, его влекло туда еще и желание взглянуть, как обрамлен и помещен собственный его портрет кисти В. А. Серова.

В дни работы художника в писательском кабинете позирующий Лесков весело делился первыми впечатлениями: «Я возвышаюсь до чрезвычайности! Был у меня Третьяков и просил меня, чтобы я дал списать с себя портрет, для чего *из Москвы* прибыл и художник Валентин Александрович Серов, сын знаменитого композитора Александра Николаевича Серова. Сделаны два сеанса, и портрет, кажется, будет превосходный» ***.

Перечитывая эти строки, всегда жалеешь, что портретов Лескова, написанных равной по мастерству кистью,

---

* См.: С. Н. Терпигорев. Собр. соч., т. VI, с. 035, и посмертную уже для Лескова отповедь В. Протопопова Атаве за этот выпад. — «Новости и биржевая газета», 1895, № 60, 2 марта.

** Дословно — лакирование (*фр.*), канун официального открытия выставки, на который приглашались избранные лица и на котором присутствовали художники, писатели, критики и т. д.

*** Письмо к М. О. Меньшикову от 10 марта 1804 г. — Пушкинский дом.

но лучших лет писателя не существует. Утешает, что и на этом проникновенно запечатлевшем больного и обреченного уже Лескова портрете художник непревзойденно верно передал его полный жизни и мысли пронзающий взгляд.

26 июня 1894 года в брошенном Лесковым письме к В. М. Лаврову говорилось: «Третьяков пишет, что Серов уехал в Харьков, а мой портрет у него (то есть у Серова), так как он сам хочет делать для него раму по своему вкусу» *.

Невольно вспоминается строфа поэта Владимира Гиппиуса (Вл. Нелединского):

Из черной рамы смотрит мне в глаза
Глазами жадными лицо Лескова,
Как затаенная гроза,
В изображеньи умного Серова **.

Полное восхищение самим портретом сохранил Лесков, и когда тот был закончен и выставлен. Однако совершенно иное впечатление было вынесено писателем от того, как он «обрамлен». И надо сказать — рама удивляла.

Дома Лесков спрашивал потом о ней всех побывавших на выставке, хмурился и, отходя к окну, умолкал... И не мудрено: буро-темная, почти черная, вся какая-то *тягостная*, — что в ней могло нравиться, от гостомельских лет суеверному и мнительному, Лескову? Тем более, уже неизлечимо больному...

Вероятно, художественным требованиям и законам соотношения тонов и красок она и отвечала; незнакомых с ними — подавляла.

Измученное долголетними страданиями лицо смотрело из нее как... из каймы некролога. Радовавший год назад своею задачливостью портрет негаданно и тяжело смутил... ***

«*Я мистик*», — говорил Лесков Антону Чехову в Москве, в октябре 1883 года[98], а 9 декабря 1889-го писал Суворину: «В 1890 году мне и вам одновременно истекает 30 лет писательства... Длинный срок! Как бы вас почествовать? Я должен умереть в 1889 году или

---

* Архив А. Н. Лескова (фонд Н. С. Лескова).

** Вл. *Нелединский*. Томление духа. Вольные сонеты. Пг., 1916.

*** Портрет находится в Третьяковской галерее. В настоящее время он висит в новой, более обычной раме.

в 1892. Есть такое показание. В 1889 году было близко у этого, но верно отсрочено до 1892 года» *.

Неустойчивая погода с резкими переходами от мороза к оттепели и обратно вызвала в городе вспышку простудных заболеваний, от инфлюэнцы до воспаления легких. Требовалась бережь, особенно людям больших лет и всего более — усталого сердца.

В среду, 15 февраля, у Лескова появились первые признаки общего недомогания. Ничего угрожающего, по заключению врача, не было. Однако в следующие дни температура стала иногда подниматься до 39,6°, но потом благополучно спадала. Врач по-прежнему не видел угрозы. В общем, дело шло не плохо. Но тут сам больной внес в ход событий нечто непоправимое, 18-го числа, в субботу, между шестью и семью часами вечера, когда у него никого из близких не было, он, тяготясь досадительной стесненностью дыхания, принял, ставшее роковым, решение — по давнему обычаю, потихоньку объехать в санках любимую «Тавриду». Так и сделал: завернулся в легкую енотовую шубу, попросил горничную укрыть ноги пледом и... поехал, жадно вдыхая в больные бронхи и легкие предательски ласкавшую свежесть слегка морозного воздуха. На несчастье, отговорить или удержать его от этого было некому. Да едва ли такая задача кому-нибудь и удалась бы.

Поездка оказалась последней.

Придя к отцу в восьмом часу и узнав о ней, я обмер... Подавив волнение, вошел в кабинет. Отец полулежал на небольшой квадратной софе порозовевший, освеженный, как бы в приятной истоме. Сразу же негромко, но озабоченно заговорил он об одном остро занимавшем его вопросе семейно-имущественного порядка. Покончив с ним, он рассказал мне о своей прогулке. Я откликнулся умышленно рассеянно, без тени — увы, уже запоздалых и бесполезных — сетований.

Невдолге пришел и пользовавший последнюю зиму Лескова, ничем другим не замечательный, врач П. Ф. Борхсениус. Гнетуще мрачный, необщительный и малоприглядный, он олицетворял собою фигуру, по старому военному присловью — «наводящую уныние на фронт».

Это было «дачное», меррекюльское знакомство, очень беспочвенное, завязавшееся на пляже первоначально

* Пушкинский дом.

с неукротимо общительной мадам Борхсениус. Чем целительный гений ее супруга мог внушать Лескову доверие, которого скептически оценивавший могущество медицины писатель поочередно лишал многих врачей общепризнанных знаний и таланта, — представлялось загадкой.

— Ну, Николай Семенович, это, знаете, называется «судьбу испытывать», — неуклюже обрушился он на больного, поведавшего ему о самочинном своем выезде на воздух. — Будем надеяться, что это вам, даст бог, на сей раз и отпустится... Но если вы еще захотите без разрешения врача проделывать такие вещи, то ему в сущности придется считать себя лишним... Это, — зловеще заключил он свою нотацию, — повторяю, судьбу пытать!

По лицу Лескова пробежала растерянно-виноватая улыбка, какая бывает у людей, сознающих свою вину, захваченных врасплох резкостью, может быть и заслуженного, обвинения, но все же, хотя робко, надеющихся на возможность ее прощения.

В передней угрюмый доктор развел руками: «Ужасная неосторожность. Ужасная! Увидим... Может, и пронесет. Не угадаешь... Боюсь отеков... Сердцу с ними будет трудно справиться. Нехорошо! Ну, до завтра!»

Сдержанно простившись с несдержанным врачом, я поспешил к взволнованному его нелепой выходкой отцу. Надо было как можно скорее чем-нибудь отвлечь от нее мысли больного. Спасибо, почти сейчас же пришел кое-кто из своих и сторонних. Понемногу Лесков как будто рассеялся и хотя и в утишенных тонах, но достаточно свободно, даже не без оживленности, разговорился. Так и прошел остаток вечера.

19 февраля, воспользовавшись воскресной утренней свободой, рано позавтракав, я отправился к отцу. К тревоге за состояние его здоровья прибавилось еще опасение за то, какое впечатление могла произвести на него фельетонная выходка Атавы.

Положение казалось не худшим, чем накануне. Он не бойко, но охотно беседовал с навещавшими его. Без затруднений, отдохнув среди дня, говорил он с посетителями и вечером. Правда, минутами как бы ослабевал и полуприваливался на софе, но быстро выправлялся и гостями не тяготился, если не наоборот... Казалось — пронесло! В строго соблюдавшийся час все мы, как всегда, распростились. Выйдя на улицу, постояли у ворот, подытоживая впечатления: болен — да, угрозы нет! Общим

постановлением обязали самого свободного из всех, никакими делами и обязанностями не обремененного сорокалетнего «Витеньку» Протейкинского посидеть у больного от полудня до моего прихода, почитать ему газеты, не пускать посторонних, кушать и пить сколько захочется чаю и т. д. Просили хотя раз в жизни быть полезным. Он дал честное слово. На этом распрощались, разобрав, наконец, извозчиков, терпеливо выжидавших заговорившихся седоков.

На службе думалось заботно, но не тревожно. Возвратясь, как всегда, в седьмом часу и наскоро пообедав, отправился к больному. Малоожиданно он показался с первого же взгляда значительно более слабым, чем ожидалось по его состоянию накануне. Я смутился. Отец, как и вчера, лежал в кабинете, на квадратной софе. Минутами он негромко стонал, но ни на что не жаловался. Поздоровавшись, он прежде всего снова начал подтверждать мне деловые свои указания по опеке над остатками капитала Ольги Васильевны. Эта деловая памятливость меня несколько ободрила. Но почти сейчас же я был охлажден пожилою экономкой отца, Леонилой Ивановной. Улучив минуту, когда я вышел в столовую, она взволнованно рассказала мне, как днем, когда она что-то подала ему, он с грустной улыбкой сказал: «Ну, что же... Поносят барыни траур, да и пойдет все, как шло...»

Была ли это подлинная убежденность? Как говорили древние мудрецы, надежда покидает человека последней...

Затем, по ее словам, незадолго до моего прихода, им овладело беспокойство, в котором он стал торопливо собирать около себя ключи. В этом было что-то гнетущее...

В десятом часу приехал врач. Осмотр больного его заметно встревожил.

— *Нехорошо*, — сказал он мне, *уходя*. — Нехорошо! Непростительная неосторожность... Отеки в легких... Усталому сердцу они могут оказаться не под силу... Все может случиться! Всего можно ждать! Конечно, бывает, что сердце и выдержит... Сегодня, как вы знаете, у жены ее «понедельник», журфикс. Когда разойдутся, часа в три ночи, загляну... Не будем отчаиваться. До скорого...

Положение предстало во всей серьезности. Решив остаться на ночь, я послал домой записку:

«1895. 20. II. 10 часов вечера <...> Отец в весьма плохом состоянии <...> утром у него кончилась микстура,

и ему не догадались послать за новой. Спазмы снова удесятерились. Сейчас был Борхсениус, придет еще ночью. Состояние, требующее полной внимательности. Сама не приезжай — многолюдство вредно, пришли <...> словом, я остаюсь ночевать, так как они тут все понятия не имеют, как ухаживают за больным. Не тревожься и не беспокойся и собери все, что может быть полезно. Витька, подлец, не явился сегодня <...>» *

На полученную из дому записку я послал непонятную мне сейчас новую: «11 часов <...> приезжать тебе не надо, да и я вернее всего к 3-м часам ночи приеду, так как он ни за что не допускает, чтобы я оставался ночевать, и если Борхсениус в 2 часа не найдет крайности, то я уеду <...> Ты знаешь, как он иногда несговорчив, все всех посылает спать, а сам снова стонет так, что никому не до спанья. Главное, что не умеют хоть сутки, но выдержать точность лечения. Как посмотрю я, никакого у Вари навыка нет <...> Мне, впрочем, кажется, что я к утру приеду сам. Спите спокойно <...>»**

По моему предложению, без большого труда перебрались в спальню. Больного раздели. Он покорно лег в постель. Грудь вздымалась трудно и бессильно падала с свистяще-хрипловатыми выдыхами из боровшихся с отеками, перенесших не одно воспаление легких.

Появились подушки с кислородом, грелки, дигиталис.

Отец, уступая моим просьбам, неохотно брал в рот неуклюжий мундштук трубки от кислородной подушки, вяло делал два-три небрежных вздоха и отстранял его рукой: «Не надо! Не надо! Мне хорошо. Иди домой. Нет, право, зачем? Иди домой. Поезжай. Мне лучше. Верно! Я засну! Поезжай!»

Я обещал скоро уехать, а тем временем подавал лекарства, менял грелки, а он, в свою очередь, опять просил: «У тебя семья. Там беспокоятся. Пожалуйста, поезжай. Мне лучше... Пожалуйста...»

И в самом деле, может быть не без содействия кислорода, грелок и дигиталиса, он как-то весь отеплел, перестал стонать, и старые бронхиальные хрипы стали как будто мягче и глуше.

Шел первый час ночи. Погасив свет в спальне, я вышел в кухню поделиться своими добрыми выводами. Вер-

---

* Архив А. Н. Лескова.

** Там же.

нувшись в спальню, я облегченно вздохнул — дыхание, несомненно, выровнялось, хрипы притихли — отец спал! Пришел сон! Боясь неосторожным движением нарушить этот казавшийся мне целительным сон, я бесшумно прошел в соседний освещенный кабинет и, оставив настежь открытыми двери в спальню, сел за письменный стол, раскрыл лежавший на нем том Платона и стал читать одну из его «бесед», радуясь, какие добрые симптомы поведаю врачу, когда он приедет после «журфикса» его жены.

Перелистывая страницы, я напряженно прислушивался, время от времени подходя к порогу спальни. В уголке дивана, на котором всегда спал отец, в ногах у него, свернувшись клубочком, сладко посапывала крошечная, кротчайшая сердцем, белоснежная болонка Шерочка. Дыхание отца становилось все спокойнее и ровнее. И я опять садился за Платона.

Монументальные настольные английские часы с «курантами» пробили час и час с четвертью... На барственно-широкой и пустынной Фурштатской было по-ночному и по-зимнему тихо. Иногда закрадывался в душу острый страх. Иногда, напротив, откуда-то приходила вера, слепая вера в спасительный перелом.

Спать не хотелось, но уже и не читалось. Я откинулся на спинку кресла и задумался... Незаметно подошла, пока еще совсем легкая, дрема...

— Андрей Николаевич, — услыхал я за спиной сдержанный шепот мягко подошедшей ко мне по ковру Леониды Ивановны, — как-то очень тихо в спальне...

Осторожно войдя в нее на несколько шагов, мы остановились. Сперва показалось, что по-прежнему слышится «крепитационное» дыхание отца. Но вслед выступило леденящее сознание обманчивости первого представления: улавливалось одно посапывание собачки.

Сделав пять-шесть шагов, я опять стал: слишком страшно было идти навстречу разрушавшей все сомнения правде. Но тут она как-то сама собою вдруг раскрылась во всей своей беспощадности.

Я подошел вплотную. Грудь не вздымалась. Хорошо видимое в полусвете лицо было покойно, глаза закрыты, привычное и удобное положение тела оставалось таким, каким оно было час назад, когда пришел сон, перешедший в «пробуждение ото сна жизни».

Взяв левую, поверх одеяла лежавшую, руку отца, я уловил последнее трепетание так называемого врачами

«диократического», раздвоенного пульса, замершего под моею рукой. Лоб, к которому я прикоснулся, был в легкой испарине. Отсутствие дыхания стало бесспорным.

Сомнений не было — Лесков был мертв.

Он «отрешился от тела скоро и просто»... Но отрешение это далось не легко: смерть подошла не безболезненно. Не говоря уже о пятилетних тяжких страданиях ангиной — этой мучительной подготовке к «интересному дню», непосредственно самому этому дню была предпослана неделя достаточных мук, и лишь самый переход к небытию свершился в умиротворенном сне или дреме.

Всегдашнее горячее желание — «мирныя и непостыдныя кончины» — сбылось. Опасения, что это «дело внове», того гляди придется выполнить «кое-как», — не оправдались.

Несомненно предвидя, особенно после злосчастной поездки вокруг Таврического сада, возможность рокового исхода, Лесков перенес все последние страдания мужественно, стоически отклоняя до последней минуты все заботы о нем, не проявляя страха или растерянности, и «сказал земле прости — во всем свете рассудка, без слез, без визгов и без поповского вяканья».

«Такой конец достоин желаний жарких», — писал он, когда «уплыла» в свое время «литературная бабушка».

«Ужасной силы Разлучник», ничего не примиряющий и не сглаживающий, по любимому Лесковым толстовскому определению, «увел» его в 1 час 20 минут на 21 февраля (5 марта) 1895 года, — «оставив на земле последствия его ошибок» и... его заслуг.

ГЛАВА 8

ПОСЛЕ СМЕРТИ

Отец был мертв. Это было и бесспорно и... неосилимо. Требовалась напряженная работа мысли, чтобы осознать совершившееся, воспринять его бесповоротность, освоиться с его огромностью...

При всей подготовленности к возможности рокового исхода болезни, он все же поразил внезапностью.

«Дело» оказалось «внове» не для одного «уведенного великой силы Разлучником».

Недвижимо стоя у локотника дивана, на котором лежал бездыханным, час с чем-нибудь назад живой, гово-

ривший со мною мой отец, я неотрывно всматривался в его лицо.

Смерть еще не проступала вне: не было мертвенной строгости, виднелись дрема, отдых, покой... Увы! — вечный.

Страшно было разрушать еще жившие представления. Хотелось отдалить вторжение нового, только что узнанного.

Глубокая тишина этому помогала...

И вдруг она была грубо разорвана: механически-резко заиграли тяжелые английские часы, начав свой щипковый концерт перед очередным боем.

Опомнясь, я бросился в кабинет, чтобы пресечь кощунство. Было пол второго ночи. Куранты призвали к выполнению неотложных задач.

Преодолев смущение, я сел за отцовский письменный стол, взял его перо и начал писать смертные оповещения.

С ними помчался на извозчике мой денщик, сперва к почти рядом жившему врачу, потом ко мне домой, к вероломному В. П. Протейкинскому, Макшеевым.

Первым явился, захваченный за своим журфиксным ужином, доктор Борхсениус. От него исправно пахло вином и каким-то соусом. Установив «очезримое», произнеся десяток слов о предвидении происшедшего, написав свидетельство о смерти пациента, он ушел.

Собравшиеся, особенно Захар Макшеев, знавший о назначении его покойным одним из своих душеприказчиков, настаивали, чтобы я немедля вскрыл несомненно имевшееся посмертное распоряжение отца.

С тягостным чувством пришлось взять ключи, лежавшие на столике, стоявшем у изголовья покойного, отпереть средний ящик письменного его стола, найти запечатанный конверт с надписью: «Прочесть немедленно после моей смерти». Вскрыв его, я прочитал вслух:

«МОЯ ПОСМЕРТНАЯ ПРОСЬБА

1) По смерти моей прошу непременно вскрыть мое тело и составить акт вскрытия. Желаю этого для того, чтобы могли быть найдены причины сердечной болезни, которою я долго страдал, при общем уверении врачей, что в сердце моем не было никакого болезненного изменения.

2) Погребсти тело мое самым скромным и дешевым порядком при посредстве «Бюро погребальных процессий», по самому низшему, последнему разряду.

3) Ни о каких нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа моего не возвещать и гроб закрыть тотчас же после того, как туда будет положено вскрытое и снова убранное тело.

4) На похоронах моих прошу никаких речей не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и, что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал <...>

6) Места погребения для себя не выбираю, так как это в моих глазах безразлично, но прошу никого и никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот обветшает и найдется человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помнить о моей могиле.

7) Если бы, однако, объявились люди, которые захотели бы проявить чем-нибудь любовь ко мне, то я от этого не отстраняюсь и указываю им, чт*о* они могут сделать для меня отрадного: я прошу их вспомнить и отыскать девочку, сироту Варвару Ивановну Долину, которую я взял беспомощною с двух лет и воспитывал ее и сожалел ее. Прошу всех, желающих явить свою любовь ко мне, — перевести это чувство на бедную Варю, которую я любил. Прошу помогать ей добрым советом и участием и ней, лаской и утешением и заботою о ее устройстве.

8) В годовщины смерти моей прошу моих доброжелателей и друзей осведомляться у Н. Ф. Зандрока и З. А. Макшеева о положении Вари и посоветоваться, не может ли кто-нибудь оказать ей что-либо полезное. Кто это сделает, тот окажет мне наилучшую дружбу, которая будет иметь для меня особую свою, истинную цену.

9) Некоторые думали и говорили, будто Варя Долина есть моя дочь. Я не знаю, для чего бы я стал это скрывать, но это неправда. Я взял ее просто по состраданию, но при ее посредстве мне дано было узнать, что своих и не своих детей человек может любить совершенно одинаково. Советую испробовать это тем, кому это кажется трудным и маловероятным. Это и верно и легко.

10) Если бы обстоятельства показали, что до совершеннолетия Вари Долиной, для устройства ее, может иметь значение какая-нибудь складчина, то я этому не противоречу. Я сам устраивал подобные дела для сирот и думаю, что могу принять такое участие от других для призренной мною сироты.

11) Литературный фонд умоляю не отказать Варваре Долиной в содействии к тому, чтобы она могла докончить свое образование в каком возможно заведении, соответствующем началу, какое она уже получила. Зандрока и Макшеева прошу узнать, что может быть оказано Литературным фондом.

И 12) прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем все, что ими сделано мне неприятного, по недостатку любви или по убеждению, что оказанием вреда мне была приносима служба богу, в коего и я верю и которому я старался служить в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову господа моего Иисуса Христа» *.

Часам к четырем утра все уехали. Ушел и, как всегда бесполезный, «Витенька» Протейкинский.

В надежде подать объявление о кончине, конечно без указаний «о каких-либо нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа», я поехал в типографию «Нового времени». Метранпаж заявил, что номер уже печатается и поместить объявление в «сегодняшний» помер нет никакой возможности. Оно появилось в № 6809 от 22 февраля.

В ночь на 21-е февраля,
в 1 час 20 минут,
скончался
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
ЛЕСКОВ

---

* См.: *Фаресов,* с. 143—146. Автограф затерялся у душеприказчика. Пятый пункт говорил о наследниках и о назначении душеприказчиками «живущих в Петербурге» управляющего книжным магазином «Нового времени» Н. Ф. Зандрока и З. А. Макшеева. Увы, Зандрок еще в начале 1893 года покинул Петербург и жил в Барнауле [99]. Единственным исполнителем литературного завещания очутился глубоко нелитературный человек. Это гибельно сказалось на судьбе архива Лескова [100].

Ушли уже и телеграммы в Киев, Ржищев и Бурты.

Рано утром была извещена Л. И. Веселитская и вызван мною лесковский фотограф Н. А. Чесноков. Вдвоем с ним мы выдвинули диван из угла к свету, после чего сделаны были снимки» *. Тут мы немножко напутали с подушками, которыми приподняли корпус и голову покойного. Снята была и главная стена кабинета, каким он был последние три года. Раньше, почти всегда, письменный стол стоял посередине комнаты, не прислоненным, как сейчас, вплотную к стене.

Между 11 и 12 часами выдалось отсутствие посторонних. Вспомнив старинный «пейкеровский» прием, я взял с письменного стола маленькое, в мягком черном шагреневом переплете Евангелие.

Услышав в передней какой-то затяжной говор, я положил книжечку «нараскрышу», как держал, переплетом вверх, на тот же стол, а сам направился на голоса.

В дверях стоял Атава. Возмущенный его третьеводнишним газетным ноздревством, я смотрел на него, не произнося ни слова.

— Родитель у себя? — в высоком регистре, нарастяжку, хорошо пострадавшими голосовыми связками произнес он, почему-то не придав никакого значения тому, что впустил его в отцовскую квартиру мой денщик, что я в будень нахожусь не на службе, а у отца.

Я молча наклонил голову.

— Изволят почивать? — продолжал он.

— Сегодня во втором ночи скончался.

Откинув голову и оплечье, он пошатнулся и схватился правой рукой за спинку подвернувшегося кресла. Обрюзгшее и кирпично-красное лицо его, в склеротических пятнах и жилках, мгновенно побелело.

— Что? Как? Когда?..

— Сегодня ночью.

Утерев всегда слезившиеся глаза и собрав силы, он, тяжело дыша и как бы глотая воздух, взглянул на раскрытую дверь в спальню.

---

* Требует точной установки, что у Лескова, скончавшегося во сне, глаза, разумеется, были закрыты, хотя и не до отказа плотно. Аппарат, поставленный на одном с ними уровне, это неукоснительно запечатлел. Дозакрывать их не было решительно никакой нужды. Написанные по моей просьбе воспоминания Е. И. Борхсениус, экземпляр которых имеется в Пушкинском доме, а подлинник у меня, в данном случае совершенно недостоверны.

— Там?

— Там.

— Можно?

— Можно.

Диван после снимка оставался почти посередине комнаты, в свету. Терпигорев грузно опустился на колени, уронил пепельную голову, несколько раз перекрестился и замер.

— Н у , — сказал он, трудно поднимаясь и астмически высвобождая шею из воротника р у б а ш к и , — теперь мой черед. М о й , — повторил он, выходя со мною в кабинет.

Порасспросив подробности, выпив воды и отдышавшись, он простился, продолжая повторять: «Мой...»

И не ошибся: 13 июня его не стало.

Евангелие было мною забыто. Усмотрел его на том же месте пришедший вскоре Меньшиков. Клонившемуся к мистике, ему это дало повод уверенно написать в № 9 воскресной газеты «Неделя» от 26 февраля 1895 года: «Лесков, по-видимому, готовился к смерти. На письменном столе Николая Семеновича остался Новый завет, раскрытый на послании Павла», и т. д. Я уже говорил, что борхсениусовской неловкостью Лесков был наведен на мысль о возможных последствиях его поездки вокруг Таврического сада, но случаю с Евангелием он не был причастен. Публиковать поправку я не нашел удобным даже и после того, как меньшиковские строки 27 февраля перепечатало в № 6824 «Новое время». В сущности, случившееся было близко взглядам Лескова, не раз говорившем о теле, как о футляре, который разрушит смерть, бессильная уничтожить дух. О том, была ли здесь безусловная уверенность или лишь горячее желание, чтобы было так — говорено в главе второй части пятой.

Мальчиком я спросил как-то отца — неужели после смерти человек не жалеет о гибели его тела.

— А ты жалеешь волосы, которые тебе стригут, и ногти, которые стрижешь сам? А ведь они были частью твоего тела, которое все станет тебе ненужным тогда, как не кажутся нужными остриженные волосы и ногти сейчас.

Понравившееся мне в отрочестве разъяснение, значительно позже показалось заимствованным у какого-то церковного, едва ли не французского, ритора, и потеряло цену.

Около трех часов дня приглашенный мною прозектор Н. В. Усков произвел вскрытие грудной полости. Сердце найдено было в состоянии ожирелости, заставившей удивляться, как оно могло работать даже и без отека легких.

Требование вскрытия было признано многими ничем не оправдываемой «мрачной» или «зловещей причудой». Но она была не беспочвенна. Еще на Гостомле, в отроческие годы, Лесков наслушался о захоронениях людей заживо, об их стенаниях в могилах, иногда даже позднем откапывании их замертво избившимися, с изгрызенными руками и разодранными лицами. Он упоминал о таких случаях в статьях.

Кроме того, Лесков был убежден, что таких страданий и такой болезни, какие выпали ему, медицина не знала и вскрытие даст ей что-то новое. Это, конечно, было кругом ошибочно.

Чехов, лично осматривавший Лескова, на вопрос, заданный ему Фидлером в ноябре 1892 года, опасно ли состояние здоровья последнего, ответил: «Да, жить ему осталось не больше года» *. Антон Павлович счастливо ошибся почти года на полтора. А 25 февраля 1895 года он писал Суворину: «И напрасно он <Н. С. Лесков. — *А. Л.*> в завещании своем писал, что доктора не знали, что делается с его сердцем. Доктора отлично знали, но скрывали от него. А как себя чувствует бедный Атава? Должно быть, смерть Лескова подействовала на него угнетающим образом» **.

Мягче других отнесся к «просьбе» как раз в последние годы всего более расположившийся к Лескову, чистый сердцем философ, Владимир Соловьев. Признав, что «Николай Семенович делал искренние усилия, чтобы подчинить свою кипучую натуру строгим правилам воздержания и бесстрастия», что представляло большие трудности для человека, который «поражал прежде всего страстностью своей натуры» ***, он не принял запрета посмертной хвалы или порицания.

Многих из искренно ценивших писателя коробил тон «просьбы», звучавшей как исповедание и урок. Вызыва-

---

* Ф. Ф. Фидлер. Литературные силуэты. — «Новое слово», 1914, № 8, с. 32—36.

** «Письма А. П. Чехова», т. IV, 1914, с. 364 [101]».

*** «Неделя», 1895, № 9, 26 февраля.

ли недоумение некоторые решения завещания. Будила сожаление непростота движений и вытекавших из них решений.

Когда-то, по весне 1879 года, в письме к М. Г. Пейкер, говоря о своем «Великосветском расколе», автор удовлетворенно заключал: «Вообще я опять ни на кого не угодил» *[102].

И вот, едва я коснулся смертных его распоряжений, как сами собою зазвучали в моей памяти эти слова покойного.

Ко времени окончания вскрытия окоченевшие руки покойного уже не сгибались. Придать им выражение посмертной примиренности было невозможно. С трудом удалось их свести полотенцем и взять крепким узлом в кистях. Казалось, что покойный стремится их высвободить со всею силой обуревающего его негодования и протеста.

22-го днем приглашенный мною, тогда еще профессор, И. Я. Гинцбург снял маску и сделал слепок кисти правой руки **.

С детства помнил я, как сочувственно говорил мой отец о старой традиции малоимущей литературной братии класть покойника на письменный стол, за которым трудился усопший.

Такой порядок был выполнен и в отношении самого Лескова: «убранное» после вскрытия тело его было положено на служивший ему с 1886 года рабочий его стол.

Вера Николаевна телеграфировала, что больна.

Мать моя не решилась поездкой на похороны воскрешать давно погребенное в тайниках сердца. Оно и так никогда не усыплялось полностью...

«Вспоминаний ядовитых старость мрачная полна» — постигнуто пятнадцатилетним Лермонтовым [103].

Ждать с юга было некого.

На шестьдесят втором году вопрос о месте погребения терял для Лескова всякое значение. В былые годы при смерти кого-нибудь из литературного мира говорилось: «Чего писателю лезть в Александро-Невскую лавру или Новодевичий монастырь! Что мы за «персоны», за тузы, пышно погребаемые там! Что у нас общего с ними?

---

* ЦГЛА. Письмо не датировано.

** Маска хранится в Пушкинском доме. Слепок с руки не сохранился.

Самое настоящее место нашему брату на Литераторских мостках в одном из самых дешевых разрядов Волкова кладбища. Нашим вдовам и сиротам сплошь и рядом через день после похорон есть нечего. А тут еще парады разводить! И т ы , — обращался он ко м н е , — сын мой, помни это и похорони там своего батьку».

Значительно позже это сменилось желанием быть похороненным без гроба, завернутым в холстину и закопанным прямо в поле, пройденном потом бороной, чтобы и места захоронения не знать было. Слышались уже и Сютаев и Толстой...

Учитывая городские, да еще столичные церковно-полицейские требования, в «последней просьбе» пришлось сочетать желаемое с выполнимым.

Ранним утром 22-го я поехал на Волково. Мне выпала удача: на указывавшихся когда-то отцом мостках, не доходя до Надсона, Белинского, Добролюбова, Писарева, Омулевского и многих других, нашелся угловой мерный участок-особняк, с двумя хорошими березами, бурьяном. Совсем, подумалось мне, как на Гостомле, в Панине...

Дело было сейчас же оформлено. На очереди стояли похороны.

23 февраля, около 11 часов утра, после совершения в кабинете литии, последовало прощание с усопшим присутствовавших. Затем в гроб были брошены горсти песка. Этим символизировалось «предание тела земле». Гроб был закрыт. С этого момента он открываться больше уже не мог *.

Процессия, пройдя всю Фурштатскую, на которой протекла половина всей петербургской жизни и литературной работы Лескова, направилась по Литейной, Владимирской, Загородному, Разъезжей, Лиговке. Провожавших было сперва с сотню, потом число их значительно убавилось. Были венки, цветы и т. д. На Расстанной кортеж встретила большая группа писателей, журналистов, адвокатов, актеров Александринского театра. Среди последних стояла талантливая Е. И. Левкеева, в бенефис которой премьерой шел 1 ноября 1867 года лесковский «Расточитель» [104].

---

* Писавшие, что они видели «худое» лицо Лескова при его отпевании в церкви Волкова кладбища, как, например, Е. И. Новикова-Зарина, делались жертвами изменявшей им памяти.

Из ворот кладбища вышло навстречу гробу местное духовенство. Ближайшая к мосткам церковь была переполнена. Учащейся молодежи было мало *.

Отпевание, без которого погребение па городских кладбищах не допускалось, совершалось над закрытым гробом. Все были огорчены невозможностью проститься с покойным, хотя бы раз взглянуть на него, запечатлев в памяти его посмертный образ. В один из моментов, вместо какого-то песнопения, был исполнен великий канон Андрея Критского «Помощник и покровитель», который любил и певал сам Лесков.

Речей над «бездыханным трупом», как и над «открытой могилой» не произносилось.

Все совершалось в ненарушимом, глубоко сосредоточенном молчании.

В ранние петербургские сумерки, в «серый час», на Литераторских мостках вырос новый могильный холм.

---

* С.-Петербургская городская дума, в очередном своем заседании, почтила общим вставанием память писателя Лескова и своего гласного Кабанова. «Новое время» 23 февраля, в № 6820, указало этой Думе, что у нее, несомненно, хватило бы времени почтить память каждого из двух умерших отдельным актом внимания. Городской голова Ратьков-Рожнов прислал сыну Лескова письмо с выражением соболезнования. Этим все и исчерпалось со стороны города, в котором протекла вся 35-летняя писательская деятельность покойного.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Очерк окончен. Он как будто очень запоздал.

В этом есть и плохое и неплохое. С одной стороны, оказалась возможной искренность в воскрешении и отражении очень давно пережитого, легче достижимая на исходе жизни. С другой — особого нетерпения к появлению сколько-нибудь полной и верной биографии Лескова со стороны широкой общественности, как и литературных кругов, пожалуй, и не отмечалось. Последние разве годы стали улавливаться не слишком явственные пока признаки его нарастания. А раз это так, то настоящая — первая достоверная и, в пределах возможного, последовательно изложенная — повесть о днях и трудах Лескова появится, по любимому его выражению, *«в свое время»*.

В одной из горячих своих статей («Литературное бешенство») покойный цитировал из разбиравшегося им этюда Е. Каро «Современная критика и причины ее упадка»: «...одна из самых симпатичных прелестей литературной жизни — чувствовать вблизи себя, вдали, кругом, невидимую толпу неизвестных друзей, верных вашему призванию».

Далее, ведя речь уже от самого себя, он писал: «Так это представляется во Франции, но так ли оно у нас? Есть ли на долю нашего «талантливого писателя» хоть это поэтическое, невесомое утешение, способное поддержать и укрепить его на скорбном поприще? О, да; мы думаем, что оно несомненно есть, и если оно в России скуднее, то все-таки изнемогающий писатель наш может и должен писать в высказанном г. Каро убеждении, что «время, при помощи разума, который никогда совершен-

но не упразднится, восстановляет на подобающем месте каждое произведение и каждого автора». Тут разом имеем и утешение и ответ для всех, кто до сих пор тоскует, что ему «не указано подобающее место». Оно *будет указано со временем,* «после паузы», которая для наших даровитых писателей теперешней поры минет, конечно, не прежде, чем минет для них всякий личный интерес в этой жизни... Место каждому будет указано post mortem... Это рассуждение наводит мысли грустные, но в то же время и прекрасные, мысли, способные еще вдохновлять усталых и ободрять начинающих. Большинство русских писателей работает без всякой надежды на «паузу». Это самоотречение и самозабвение — утешительны» *.

Одна из позднейших серьезных критических статей о Лескове была названа ее автором М. А. Протопоповым «Больной талант» **.

Лесков, во многом удовлетворенный ею и признавший ее в общем для себя «приятной» [105], не разделил в письме к автору от 23 декабря 1891 года обоснованности ее заглавия: «Я бы, писавши о себе, назвал статью не «больной талант», а «трудный рост». Дворянские традиции, церковная набожность, узкая национальность и государственность, слава страны и т. и. Во всем этом я вырос, и все это мне часто казалось противно, но... я не видел, «где истина»!» ***

Талант был изумительный. Но, по собственному признанию Лескова, рядом была еще и «одержимость разными одержаниями».

В посмертных для него суждениях и статьях, в работах о нем приходится читать: человек слишком личный, неуравновешенный, большая, но вместе с тем и больная душа, мастерство озлобленного таланта, в запальчивости неразборчив и несправедлив, натура с истерией и даже карамазовщиной... [106]

Рядом шло и безоговорочное признание общественных заслуг во второй половине литературного пути, смелых ударов по «одному из самых реакционных и юродивых суеверий» в знаменитых «Полунощниках», с которыми он дерзнул выступить в разгар гатчинского самовластия

---

* «Исторический вестник», 1883, № 4, с. 160.

** «Русская мысль», 1891, № 11, с. 127.

*** «Русские писатели о литературе», с. 318—319; «Шестидесятые годы», с. 381.

Александра III. Признавалась «потрясовательность» всей писательской работы Лескова последних двадцати лет, подвергавшейся неустанному преследованию и всестороннему гонению.

Сам Лесков, уже стариком, восхищенно, но и горестно восклицал: «Вот Толстой как пишет о Мопассане! Вот настоящая критика, истолковывающая в кратком отзыве писателя так, как будто я самостоятельно изучил лучшие и отрицательные его стороны. Не дождусь я такой критики о себе!» *

Всю жизнь приходилось мне слушать и читать заключения ряда литературных деятелей о непостижимости образа Лескова, нимало не разъясняемого обрывочными, поверхностными, предвзятыми и сбивчивыми отзывами о нем некоторых литературных его современников, бывших с ним так или иначе знакомыми, но «очезримо» не знавшими трудно отмыкавшуюся его душу и самобытнейшую натуру.

Много за выпавшую мне долгую жизнь наслушался я сетований и сожалений о том, что вот, мол, постепенно никого из близких свидетелей и очевидцев мучительной жизни Лескова уже и не сохранилось, что, при установленном уже отсутствии личных дневниковых его записей, отпадает всякая надежда на возможность появления сколько-нибудь достоверной и возможно более цельной его биографии.

Волею судеб, наперекор очень многому, в моем лице сохранился последний близкий свидетель трудного жития Лескова. В меру моих сил старался я дать проверенную биографию его. Охват работы превзошел все первоначально строившиеся планы и предположения.

В ней, конечно, возможны невольные ошибки. Вольных — нет. Нет и вымысла.

Так или иначе, тяготевший на мне долг — выполнен.

Какова дальше будет «пауза» и чем она завершится — *скажет время.*

Андрей Лесков

Апрель 1936 года, Ленинград.

---

* Ср.: *Фаресов,* с. 380—381.

POST SCRIPTUM

Начатая 1 сентября 1932 года работа была почти подготовлена к печати весною 1936 года.

Смерть Горького, намеревавшегося «способствовать ее изданию», тяжко сказалась на ее судьбе *. Затруднения, бегло очерченные в газетной заметке «Мытарства одной книги» **, не преодолевались. К изданию было приступлено только в 1940 году.

22 сентября 1941 года подписанная к печати рукопись погибла в разбомбленном немцами Ленинградском отделении издательства «Советский писатель».

В марте 1942 года, в условиях блокады Ленинграда, погиб и второй ее экземпляр. Третьего не было. Сберeглись — план, вступление, послесловие, клочки, небольшие опубликованные раньше отрывки ***.

Приступить к восстановлению работы представилось возможным не скоро. Части некоторых полувозобновленных глав удалось внести в однотомник Лескова, вышедший в конце 1945 года ****.

Вторично, наново написанная книга во многом отошла от погибшей. Которая из них была бы беднее недостатками, не знаю. Возможно, что писавшееся едва ли не на два десятка лет раньше оказалось бы свободнее от грехов, умножаемых годами и утомленностью автора.

---

* См. письмо А. М. Горького к А. Н. Лескову от 21 сентября 1935 г. и выдержки из письма Горького к В. А. Десницкому. — «Литературный современник», 1937, с. 155.

** «Литературная газета», 1939, № 37 (816), 5 июля.

*** «Литературный современник», 1937, № 3, с. 156—192.

**** Н. С. Лесков. Избранные сочинения. М., Гослитиздат, 1945, с. XVII—XL.

Сделано то, на что хватило сил и дней.

Долгом считаю благодарно отметить при этом помощь, оказанную мне здесь незаменимым по знанию темы и материала, неустанным сотрудником — женою моей, Анною Лесковой.

Предвижу укоры в смелости раскрытия сокровенного. Без этого не было бы жизненно достоверного портрета.

Возможны упреки и за приведение некоторых, так сказать, привходящих случаев и былей.

У меня стоял в памяти урок, воспринятый Лесковым в Ясной Поляне в январе 1800 года и рассказанный им в едва ли кому-нибудь ведомой сейчас, поздней его публикации:

«Несколько лет назад, в разговоре с нашим высокочтимым и славным современником, я позволил себе заметить ему, что одно обстоятельство, упомянутое в его произведении, там как будто не очень кстати. А он мне ответил: «Это правда. Но там есть и еще кое-что, тоже привлеченное немножко насильно. Я это знаю, но оставил так оттого, что я стар: я теперь спешу сказать многое, и говорю это, когда вспомню» *.

Андрей Лесков

Июнь 1949 года, Ленинград.

---

* «Кстати о подземельях». — «Русская жизнь», 1894, № 103, 17 апреля.

КОММЕНТАРИИ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЕРЕТИЧЕСТВО
1874—1881
(стр. 5—168)

[1] Эпиграф взят из книги Л. И. Веселитской (В. Микулич). Беседа, по-видимому, состоялась в конце 1894 г.: «Теперь я чаще заходила к нему... Я старалась не говорить ничего неприятного и раздражающего его. Только когда он слишком обрушивался на священников, которых неизменно называл «попами», я, не стерпев, называла его и Льва Толстого сектантами. — Нет, не сектанты, — поправлял он меня. — Мы не сектанты, а еретики. А я только не понимаю, как при вашей очевидной любви к Толстому, — ведь вы его любите, как он для вас не авторитет. Нельзя одновременно любить Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского». — См.: *Микулич,* с. 204. Аналогичный мотив звучит в письмах Лескова к Л. И. Веселитской от 23 июля (ГИБ) и к Л. Н. Толстому от 28 июля 1893 г. (*Лесков,* т. XI, с. 551—554).

[2] 1 января 1874 г. Лесков был причислен к Министерству народного просвещения членом особого отдела комитета по рассмотрению книг, издаваемых для народа (см. ч. IV, гл. 11 «Внимание «сфер» и великосветские почитатели»). Служба в комитете; хотя и отнимала время на рецензирование сочинений «просто не достойных ничьего серьезного внимания» (письмо к Э. Е. Брадке от 19 декабря 1879 г. — *Лесков,* т. X, с. 467), давала писателю материал для ряда публицистических выступлений, что и послужило поводом для его отчисления от министерства 21 февраля 1883 г. К глаголу «мерзить» в картотеке А. Н. Лескова имеется отсылка на статью «Литературные делишки кн. Мещерского». — *Пг,* 15 апреля 1881, № 87 (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 2414). О своем материальном обеспечении Лесков писал П. К. Щебальскому 10 ноября 1875 г.: «Комитетского мало жалованья — сами знаете: на

кота широко, а на собаку *узко*» (*Лесков,* т. X, с. 431). В указанном А. Н. Лесковым письме к Щебальскому от 15 января 1876 г., видимо, речь идет о журнале «Русский рабочий», который издавали и редактировали М. Г. Пейкер и А. И. Пейкер: «...недавно граф, по светским своим связям, — сообщает Лесков, имея в виду министра народного просвещения, графа Д. А. Толстого, — пообещал дамам всякую поддержку их вздорному изданию... Георгиевский по окончании заседания отнесся ко мне с сочувствием и вниманием к моему видимому нездоровью и расстройству... Однако всучил мне эту щетинку, а не другому» (*Лесков,* т. X, с. 442). Эта «щетинка» была использована Лесковым в статье «Семейное благочестие». — *ПО,* 1876, т. I, № 3, с. 526—551 (также отдельное издание: Лесков Н., Сентиментальное благочестие, М., 1876).

[3] «Соборяне», ч. I, гл. 5. А. Н. Лесков имеет в виду письмо А. Н. Аксакова от 12 июля 1872 г.: «И откуда сие берется у вас, откуда износите? Поистине «дух идеже хощет дышит» (*ИВ,* 1916, т. 37, № 3, с. 792). Письма Лескова к А. Н. Аксакову за 1872—1888 гг. хранятся в *ИРЛИ* (ф. 2, оп. 6. № 157 — 11 писем), два ответных письма Аксакова за 1875 и 1876 гг. — в *ЦГАЛИ* (ф. 275, он. 4, ед. хр. 6).

[4] Письма Лескова к П. С. Аксакову хранятся в фонде Аксакова (*ИРЛИ,* ф. 3, он. 4, № 337 — 36 писем); 22 письма опубликованы в Собрании сочинений (*Лесков,* т. X—XI); 8 писем, относящихся к первой половине 1881 г., опубликованы А. В. Лужановским в кн.: Историко-литературные исследования. Сб. I. Иваново, 1973, с. 151—164. Ответные письма Аксакова приводит Фаресов (*ИВ,* 1916, № 3).

[5] 10 ноября 1875 г. Лесков сообщает П. К. Щебальскому: «Аксаков просил за меня Кокорева — не вышло ничего, несмотря на то, что Аксаков лбом бил, а не только попросил» (*Лесков,* т. X, с. 431). О содействии И. С. Аксакова в устройстве встречи с Кокоревым Лесков пишет также А. Н. Аксакову около 21 и около 25 ноября 1874 г. (*ИРЛИ,* ф. 2, он. 6, № 157).

[6] Ср. у Лескова в рассказе «Отборное зерно» со словами барина: «Хорошо, но еще лучше ты мне дай по рублю за куль я потом, если хочешь, всем об этом рассказывай» (*Лесков,* т. VII, с. 296).

[7] А. А. Скальковскому (отцу К. А. Скальковского), известному в основном своими историческими и статистическими исследованиями по Новороссийскому краю, Бессарабии, Запорожской Сечи, принадлежит также ряд повестей, написанных в подражание Вальтеру Скотту. — «Кагальничиха», «Хрустальная балка», «Мамай» и др.

[8] См. «Житие одной бабы» (*Лесков,* т. I, с. 380).

[9] Определение «кокоревская» при подготовке Собрания сочинений 1890 г. было заменено Лесковым словами «горькая русская доля» (*Лесков,* т. I, с. 63).

[10] Буквально: «...выезжали за острог, либо размышляя о Никоне Родионовиче, либо распевая с кокоревской водки: «Ты заной, ох, ты заной, ретивое» (*Лесков,* т. II, с. 133).

[11] В конце 50-х и в 60-х гг. Кокорев выступил в «С.-Петербургских ведомостях» в защиту «меньшого брата» и винной монополии («Об откупах», «Миллиард в тумане» и другие статьи).

[12] Лесков писал М. Г. Пейкер 2 декабря 1878 г.: «Вообще я не считаю хорошими и пригодными иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми... Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи... «Бомондную слабость» подхватили пониже, и пошли все эти «эвакуации», «окупации»». (Б. М. Другов, Н. С. Лесков. Очерк творчества. М., 1957, с. 161). Ср. у М. Горького, на которого ниже ссылается А. Н. Лесков: «Лесков писал в ту пору, когда в русскую речь широкою волною хлынула масса иностранных слов из переводных, популярно-научных сочинений и когда «гарантия», «субсидия», «концессия», «грюндерство» и прочие словечки, за которыми таились очень скверные понятия и дела, не могли не раздражать Лескова» (*Горький,* т. 24, с. 237).

[13] А. И. Фаресов, возражая против трактовки творчества писателя как «подделки под художество», «лубочной подделки под язык древних сказаний» (Е. Соловьев-Андреевич. Очерки по истории русской литературы XIX века. СПб., 1907), приводит «неоднократные» высказывания Лескова, в частности: «Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош. Меня упрекают за этот «манерный» язык, особенно в «Полунощниках». Да разве у нас мало манерных людей? Вся quasi-ученая литература пишет свои ученые статьи этим варварским языком. Почитайте-ка философские статьи наших публицистов и ученых. Что же удивительного, что на нем разговаривает у меня какая-то мещанка в «Полунощниках»? (*Фаресов,* с. 274—275).

[14] Авторство заметки установлено А. Н. Лесковым. Н. С. Лесков ссылается на сообщение «Нового времени» о том, что «Порта с Болгарией заключили конвенцию об экстрадиции» (*Лесков,* т. XI, с. 213). *Экстрадиция* — передача другому государству лица, нарушившего его законы.

[15] Позднее в книге «Русские богоносцы» (СПб., 1880), в которую вошли «Владычный суд» и «На краю света», Лесков снял упоминание о «почтенном» В. А. Кокореве.

[16] Для издания «Русская рознь» (СПб., 1881), где впервые установилось название «Чертогон», и в прижизненном Собрании сочинений (т. V) рассказ подвергся сокращению и значительной правке. Цитируемое письмо Лескова к Суворину датируется около 25 декабря 1879 г. (*Ежегодник 1971,* с. 74, № 803). Текст письма полностью приведен А. Н. Лесковым в комментарии к рассказу «Чертогон» в издании: Лесков Н. С. Избранные сочинения. М., 1945, с. 455.

[17] Письмо к В. М. Бубновой.

[18] Этот действительный факт обыгрывается Лесковым в истории «нахалкинканца из-за Ташкенту», которого генерал Черняев «верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он, по театрам да по балам, все деньги в карты проиграл и убежал» (*Лесков,* т. VII, с. 129).

[19] См.: *Лесков,* т. XI, с. 189.

[20] «Соборяне» и «Запечатленный ангел» публиковались в «Русском вестнике» в 1872—1873 гг. В комментариях к «Очарованному страннику» А. Н. Лесков сообщает, что произведение было возвращено автору «при письме Н. А. Любимова о том, что Катков нашел рассказ «сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных», и не представляет собою «чего-либо в действительности возможного и происходящего» (Лесков Н. С. Избранные сочинения. М., 1945, с. 454).

[21] Поводом для разрыва отношений с Катковым явилось вмешательство редакции в журнальный текст «Захудалого рода». Публикация «романической хроники» была прервана Лесковым на второй части (на октябрьском номере журнала).

[22] Первая поездка Лескова за границу длилась с сентября 1862 г. по март 1863 г.; начало романа «Некуда» появилось в *Бдч,* 1864, № 1 и сл. (*Лесков,* т. II). См. ч. III, гл. 5—4 и 8.

[23] Письма Лескова к П. К. Щебальскому в сб. *ШГ* опубликованы Н. А. Шимановым и А. И. Лесковым с его комментариями (с. 303—354; всего 46 писем) ; в Собрание сочинений включено 36 писем (*Лесков,* т. X—XI). Письма хранятся в Пушкинском доме (*ИРЛИ,* ф. 442, № 4).

[24] См. часть VI, гл. 3 (коммент. 56).

[25] Цитируется статья Лескова «Как отравляются угольным чадом в Париже», см. ч. III, гл. 7 «Снова на родине».

[26] Та же статья.

[27] У А. С. Пушкина («Элегия», 1817):

> Все то же вы, но сердце уж не то же,
> Уже не вы ему всего дороже,
> Уж я не тот...

[28] «Вы, оба, в Париже были мне бесконечно дороги, посреди Рокамболей», — свидетельствует Лесков в письме к Буслаевым от 1 июня 1877 г. (*Лесков,* т. X, с. 452).

[29] Опубликован А. И. Понятовским по хранящемуся в *ОГМТ* списку из архива А. Н. Лескова (*ЛН,* т. 87, с. 117—120). Как сообщал 28 октября 1939 г. А. Н. Лескову отыскавший этот рассказ Б. В. Варнеке, его копия была им снята с гранок «Киевской старины». «На левом углу внизу синим карандашом: «1. Непристойно. 2. Задеты иноки. 3. Злой выпад на высокочтимого проф. Ламанского и др. Изъять» (там же, с. 94).

[30] См.: *Лесков,* т. X, с. 402—403.

[31] Там же, с. 403—405.

[32] Там же, с. 408—409. Без окончания, от слов: «Марок в Австрию...».

[33] Написан позже; возможно, летом 1879 г., как указывает ниже А. Н. Лесков (см. с. 107). Впервые опубликован под заглавием: «Дети Каина. Типические разновидности. Очерк первый. Шерамур. Эпизодические отрывки фатальной истории». — *НВ,* 1879, № 1352, 1359, 1361, 1362, 1366. В более позднем, переработанном, варианте включен в Собрание сочинений (*Лесков,* т. VI, с. 244—301).

[34] Восходит к строкам стихотворения А. С. Пушкина «Кто знает край...» (1828), пародированным в повести В. П. Авенариуса «Ты знаешь край?». Повесть вызвала резкую рецензию Лескова «Литератор-красавец» (*Лесков,* т. X, с. 41—54).

[35] Лесков писал П. К. Щебальскому 7 октября 1871 г.: «...мне как-то все жестоко надоело, то есть так надоело, что я все держусь плана Вашего: хочу на год спрятаться в Вtве или, еще лучше, в Сорренто и что-нибудь «совершить» (как говорил Гоголь)» (*Лесков,* т. X, с. 334).

[36] Опубликован в «Журнале Министерства народного просвещения», 1875, № 6, с. 45—47.

[37] Продолжение письма к А. П. Милюкову от 3 августа 1875 г.

[38] См.: *Микулич,* с. 166.

[39] Все приведенные далее в извлечениях А. Н. Лесковым письма к М. А. Матавкину хранятся в *ИРЛИ* (Р. III., оп. 1, № 1393—1396 — 4 письма). М. А. Матавкин — сын домовладельца А. Т. Матавкина, об отношениях Лескова с которым см. ч. IV, гл. 4 «На Фурштатской». Те «милые и прочные дружественные отношения», которые сложились у писателя с его наследником, были подкреплены и женитьбой М. А. Матавкина на Мари Дюран, учительнице французского языка, жившей в семье Лесковых в 1870—1873 гг.: «Вышла замуж 21.9.1873 г. Л. был у нее шафером, а я «нес икону» впереди невесты» — картотека А. Н. Лескова (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 2380).

[40] См.: *Лесков,* т. IX, с. 398. О. А. Новикова, сестра А. А. и Н. А. Киреевых, близких к Хомякову и Аксакову, с 1876 г. жила в Лондоне. В рассказе «Неоцененные услуги. Отрывки из воспоминаний» Новикову как «жестокую Цибеллу» язвительно описывает рассказчик (дипломат А. Г. Жомини).

[41] Дата указана ошибочно. Письмо датируется 25 июля (6 августа) 1875 г. — *Ежегодник 1971,* с. 54, № 509.

[42] По-видимому, о встрече в Варшаве, куда П. К. Щебальский был назначен попечителем учебных заведений, Лесков пишет ему 23 сентября 1875 г.: «...при последнем нашем свидании я усмотрел промеж себя и Вас изрядный провал: Вы стали, на мой взгляд, очень большой оптимист, — что мне довольно непонятно. Вы видите свое время и понимаете, — и я его тоже вижу и тоже по-своему понимаю; а взгляды у нас выработались разные, и это случилось когда-то недавно» (*Лесков,* т. X, с. 423).

[43] К. Ф. Менгден в 1875 г. состоял при варшавском генерал-губернаторе. Лесков знавал его ранее по встречам у князя Щербатова. Еще из Мариенбада в письме от 29 июля (10 августа) Лесков сообщает Аксакову, что Щебальский сманивает его «бросить Петербург и переселиться на Вислу», и далее просит: «Входя во все соображения этого дела, я нахожу его стоящим внимания, а к тому мог указать и на лицо, на которое кажется можно бы попробовать действовать в моих интересах довольно откровенно: это управляющий ныне Варшавским кредитным обществом барон Менгден... Пособите мне, пожалуйста, в этом случае!» (*Лесков,* т. X, с. 416—417). О Менгдене речь идет и в письме к И. С. Аксакову от 10 сентября (*ИРЛИ*). В письмах к П. К. Щебальскому 23 сентября 1875 г. Лесков уточняет: «Менгдену я писал — благодарил его. Интересно бы знать, не будет ли у Вас с ним обо мне каких-нибудь разговоров» (там же, с. 423); 16 октября через него благодарит Менгдена «за добрые желания» (там же, с. 428); 29 октября извещает о получении письма от барона («Это пока — *ровно ничего».* — Там же, с. 429). Но уже 15 января 1876 г. тон резко меняется: «...а у меня работы нет... Что же делать? Вы говорите о «бароне», — барон всегда был пустельга; но и вдохновители его, мои славянофилы, умолкли» (там же, с. 441). Текст А. Н. Лескова опирается на эту переписку.

[44] См. коммент. 39.

[45] В начале 80-х годов И. С. Аксаков пытается привлечь Лескова к участию в газете «Русь». В направленном ему в связи о этим письме он следующим образом выражает свое отношение к «Мелочам архиерейской жизни»: «Я не очень жалую глумления. Выругать серьезно, разгромить подлость и мерзость — это не име-

ет того растлевающего душу действия, как хихиканье и т. и., приемы — там, где желательно сохранить уважение к сану и способность негодования к лицу, недостойно носящему сан. Архиерейскому сану подобает серьезная руготня и негодование. Это его привилегия. Его в нужных случаях надо бить дубьем, а не угощать щелчком. Коли я его дубьем, а не щелчком, этим я его сан почитаю!!! Поняли?» (письмо от 4 января 1881 г. — *ИВ,* 1916, № 3, с. 788). Ответное письмо Лескова от 7 января 1881 г. начинается словом «понял» и далее Аксакову сообщается: «Сколько «идеальных» есть на все количество типичных, — я не разбираю и не считаю. Я пишу то, что ясно складывается и формируется у меня в голове... Я сделаю все, что могу, но мучусь мыслию, что буду видеть не один тип, а два: мой вымысел и действительность в лице Вашем. От этого я буду путаться, как конь на мундштуке, и напишу хуже, чем могу писать, когда ищу изобразить *одну правду»* (Историко-литературные исследования. Сб. I. Иваново, 1973, с. 153—154). 10 января Аксаков поправляется: «Ради бога, не стесняйте своей свободы как художника и не пишите *для меня* нарочно: знаю наперед, что от этого выйдет хуже. Пишите как Вам бог на душу пошлет. Напишете «Соборян» — прекрасно, «Запечатленного ангела» — отлично, «На краю света» — превосходно, «Трех праведников» — обрадуете несказанно. Видите какой выбор!» (*ИВ,* 1916, № 3, с. 793). Аксакову предлагается очерк «Фабричный пророк (из рассказов о трех праведниках)», который и был опубликован под окончательным заглавием «Обнищеванцы (Религиозное движение в фабричной среде)» («Русь», 1881, № 16—21, 24—25). В том же году в газете Аксакова печатается «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)» (№ 49—51).

[46] Ср. в «Печерских антиках»: «Были маститые иноки с внушительными сединами и легкомысленные слимаки с их девственными гривами» (*Лесков,* т. VII, с. 182). *Слимак* — здесь «послушник» букв. «слизняк, улитка» (укр.). Слово употребляется Лесковым и в «Овцебыке» (*Лесков,* т. I, с. 56).

[47] *«Сеничкин яд в тридцатых годах»* — название одного из произведений Лескова из цикла «Картины прошлого», которое было включено в запрещенный шестой том Собрания сочинений 1890 г. Предлагая его в «Исторический вестник», автор писал С. Н. Шубинскому 25 января 1883 г.: «Не хотите ли Вы маленькую статью *в лист* для мартовской книжки — *очень любопытную* по запискам Измайлова. Повторяю, *очень любопытную* — о притворщиках русского патриотизма» (*Фаресов,* с. 160). В названии статьи Лесков использовал выражение М. Е. Салтыкова-Щедрина

«сенечкин яд» («Наша общественная жизнь», январь—февраль 1863 — «Признаки времени»). (*Салтыков-Щедрин,* т. 6, с. 17—18).

[48] См.: *Лесков,* т. X, с. 366.

[49] А. Н. Лесков имеет в виду, в частности, книгу А. Л. Волынского «Н. С. Лесков» (Пб., 1923; 1-е изд.: 1898) и рукопись книги А. А. Измайлова «Лесков и его время».

[50] О семье орловского этапного офицера повествуется в главе 2 «Мелочей архиерейской жизни» (*Лесков,* т. VI, с. 410).

[51] Лесков мог ознакомиться в русском переводе с книгами Л. Фейербаха «О сущности христианства» (1861), Ф.-К.-Х. Бюхнера «Природа и дух» (1857), Я. Молешотта «Учение о пище» (1863), П.-Ж. Прудона «Система экономических противоречий, или Философия нищеты», упоминания о которых есть в «Некуда», «Овцебыке», «Захудалом роде». «Собрание сочинений Вольтера» было издано в Москве в 1802—1805 гг.; в 1868 г. была издана его «Философия истории», в 1869-м — «Собрание стихотворений» в переводе В. Курочкина, в 1870-м — «Романы и повести» в переводе Н. Дмитриева. Экземпляр последней книги с пометами Лескова хранится в *ОГМТ* (*ЛН,* т. 87, с. 146). Вольтер часто упоминается в произведениях и переписке Лескова. В «Некуда», «Смехе и горе» неоднократно цитируются ходившие в списках поэмы Т. Г. Шевченко «Сон» и «Кавказ». Лесков лично знал поэта и посвятил ему ряд своих статей: «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко», «Официальное буффонство», «Вечная память на короткий срок», «Забыта ли Тарасова могила» (см.: *Лесков,* т. X—XI).

[52] В примечании к этим словам А. Н. Лесков отметил в картотеке: «приписано Л—вым немцу (а в разговоре он же приписывал англичанину)» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 926).

[53] В письме Н. С. Лескова к А. С. Лескову от 4 октября 1885 г.: «...а в натуру можно верить более, чем в направления» (*ИРЛИ,* ф. 220, № 51).

[54] Стихотворение К. М. Айбулата-Розена «Смерть» («Она прядет неслышимо, незримо...», 1838) печаталось в журнале «Развлечение» (1860, № 13) как неизданное стихотворение М. Ю. Лермонтова, «доставленное» Н. П. Кельшем.

[55] Цитируется дума А. В. Кольцова «Молитва» (1836).

[56] Цитируется стихотворение Ф. И. Тютчева «Наш век» (1851).

[57] Привидевшийся герою «Белого орла» Галактиону Ильичу на новогоднем ужине Аквиляльбов «вдруг протяжно запел: «Прощай, моя родная, // Прощай, моя земля» (*Лесков,* т. VII, с. 24).

[58] Цитируется продолжение рассказа «Явление духа», см. гл. 5 «Вторая «развязка».

[59] Персонаж рассказа «Пугало» (*Лесков,* т. VIII, с. 6—7).

[60] Лесков был знаком с С. Я. Надсоном по Киеву; первое стихотворение поэта напечатано в 1878 г.

[61] И. А. Шляпкин оставил краткие воспоминания «К биографии Н. С. Лескова», приведя свои дневниковые записи (*РС,* 1895, № 12, с. 205—212). Их характеристику см. в ч. IV, гл. 11 «Внимание «сфер» и великосветские почитатели».

[62] Об А. З. Ледакове см. ч. IV, гл. 4 «На Фурштатской».

[63] См.: *Лесков,* т. III, с. 402—403.

[64] Письмо к А. К. Чертковой от 4 января 1892 г. (*Лесков,* т. XI, с. 512).

[65] *Пикруки* (Пикирукки) — ныне северная окраина Выборга (поселок Выборгский).

[66] По-видимому, Я.-П. Сапега, поддерживавший Лжедмитрий II.

[67] Дуэль между В. Д. Новосильцевым, флигель-адьютантом Александра I, и членом Северного общества К. П. Черновым (двоюродным братом Рылеева) состоялась 10 сентября 1825 г. Чернов вступился за честь своей сестры, против брака которой с сыном решительно выступила Е. В. Новосильцева. Вызов Чернову передал Рылеев — его секундант на трагически закончившейся дуэли: оба противника погибли. Похороны Чернова декабристы превратили во внушительную политическую манифестацию. В. К. Кюхельбекер откликнулся на трагическое событие знаменитым стихотворением «На смерть Чернова».

[68] Интерес к творчеству и судьбе Рылеева у Лескова был постоянным и глубоким: см., в частности, «Смех и горе», «Кадетский монастырь», «Прибавление к рассказу о Кадетском монастыре». В *ОГМТ* хранится книга Рылеева из библиотеки Лескова (со штампом «Редкий экземпляр»): «Сочинения и переписка К. Ф. Рылеева», изд. 2-е, под ред. П. А. Ефремова (СПб., 1874). В книге множество помет Лескова.

[69] Лесков был близок к этому семейству. Своей крестнице А. П. Кандибе подарил собрание своих сочинений (*ИРЛИ,* ф. 220, № 38). Упоминается семейство Кандиба и в письмах к сыну от 3 июня, 1 июля и 2 сентября 1891 г.

[70] Редсток, оставив военную службу в чине полковника, стал проповедовать веру в Христа как единственный догмат христианства и отрицал культ святых, почитание икон и священников. Очевидно, по приглашению Ю. Д. Засецкой (Лесков в «Великосветском расколе» называет ее старостихой редстоковской церкви в России»), знавшей Редстока по Лондону, он приезжает в 1874 г. в Петербург. Приобретя некоторое число последователей в петербургском обществе, Редсток почти безуспешно пропове-

дует в Москве (1877 г.). Русские приверженцы Редстока известны под именем «пашковцев» (см. коммент. 73).

[71] А. Н. Лесков отмечает существование 20 писем Засецкой к Лескову, относящихся к периоду 1874—1876 гг. (*ИРЛИ,* ф. 612, № 303, л. 1410).

[72] Л. Н. Толстой в декабре 1890 г. писал Лескову: «Получил Ваше и последнее письмо, дорогой Николай Семенович, и книжку «Обозрения» с Вашей повестью «Час воли божией». — *Н.* С., *В. Т.*). Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка, но... потом выступил Ваш особенный недостаток, от которого так легко, казалось бы, исправиться и который есть само по себе качество, а не недостаток, — exuberance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verve и тон удивительны. Сказка все-таки очень хороша, но досадно, что она, если бы не излишек таланта, была бы лучше...» (*Толстой,* т. 65, с. 198). Характерна реакция Лескова на сходное замечание Толстого, высказанное ранее в связи с «Прекрасной Азой»: «Всех не переслушаешь, — пишет он Суворину 12 апреля 1888 г. — Л. Н. говорит: «Зачем очень хорошо написано — это заставляет обращать внимание на художество, красоту и закрывает суть» (т. е. дело). А как бы он хотел?..» (Письма русских писателей к А. С. Суворину, Л., 1927, с. 69).

[73] В. А. Пашков, бывший полковник кавалергардии, стал деятельным приверженцем религиозно-нравственного учения Редстока (см. коммент. 70). Основанное Пашковым «Общество духовно-нравственного чтения» было запрещено в 1884 г., а сам он выслан за границу. О нем и его секте Лесков писал, в частности, в статьях «Моления в Пашковском согласии» (*НВ,* 24 марта 1881, № 1821) и «Княжьи наветы» («Новости», 1884, № 253). В ответ на последнюю Пашков обратился к писателю с примирительно-укоряющим письмом из Баден-Бадена от 22 сентября 1884 г. (*ИВ,* 1916, с. 795—799). О М. Г. Пейкер см. далее в этой главе. Корф, упомянутый А. И. Фаресовым среди светских мистиков, с которыми Лесков «вел дружбу и переписку» (*Фаресов,* с. 80—81), может быть отождествлен с графом М. М. Корфом — последний назван Лесковым как сподвижник Пашкова в заметке «Откуда заимствован сюжет пьесы графа Л. Н. Толстого «Первый винокур» (*Лесков,* т. XI, с. 132). О М. М. Корфе сообщается и в письме к М. Г. Пейкер от 9 июня 1879 г. (*Лесков,* т. X, с. 460). Знакомый Лескову круг «великосветского раскола» очерчен в реплике tante в «Зимнем дне» о «доисторических» временах, «когда еще все мы говорили по-французски, и не было в моде ни Засецкой, ни Пейкер, и даже еще сам Редсток не приезжал...

Ух, какая старина! Василий Пашков был еще в военном, а Модест Корф обеими руками крестился и при всех в соборе молебны служил в камергерском мундире» (*Лесков,* т. IX, с. 405).

[74] «Живописное обозрение», 1900, № 4.

[75] Цитируемые А. Н. Лесковым по публикации А. И. Фаресова в «Живописном обозрении» письма Ю. Д. Засецкой приведены и в его книге в отрывках без датировки как адресованные «одной из «редстокисток» с неоговоренными сокращениями и переделками в тексте (*Фаресов,* с. 83—88 — 4 письма).

[76] О журнале «Русский рабочий» см. коммент. 2 к V части. После смерти М. Г. Пейкер его продолжала издавать ее дочь А. И. Пейкер. Переписка писателя с Пейкер связана в основном с их журнальной деятельностью. В 1879 г. Лесков редактировал отдельные номера журнала, помещал в нем и свои материалы. Три письма Лескова к М. Г. Пейкер включены в Собрание сочинений (*Лесков,* т. X). А. Н. Лесковым опубликован отрывок из письма Лескова к А. И. Пейкер от 21 декабря 1878 г. в кн.: Русские писатели о литературе, т. II. Л., 1939, с. 307.

[77] Персонажи рассказов «Юдоль» и «О «квакереях».

[78] В картотеке А. Н. Лескова имеется следующая запись: «Л., подшучивая над «редстокистами» (М. Г. Пейкер и др.), переделывал их песенку «Есть место» (на стих Еванг. от Луки, 14, 22), напевая:

Есть место, есть!
Да вам на нем не сесть!»

См. «Любимые стихи». СПб., 1880» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 592).

[79] Ю. Д. Засецкая перевела «Путь паломника» Дж. Бэньяна под заглавием: «Путешествие пилигрима. Духовная война» (СПб., 1878); заметку Лескова «Чудеса и знамения» см. в *ЦОВ,* 1878, № 40.

[80] См. *Лесков,* т. X, с. 585.

[81] Статьи: «Как заступаться за литературных дам», «Княжьи наветы», «Послание к кривотолку», «Новозаветные евреи».

[82] Здесь — медленное угасание.

[83] Цитируется запись И. А. Шляпкина от 20 декабря 1877 г. «Были с Лесковым на собеседовании Редстока в доме Пашкова... Редсток книжкой Лескова «Великосветский раскол» не только не обиделся, но даже полюбил ее чрезвычайно. Протопресвитер Бажанов недаром-де заметил, что сия книжка прехитростная» (*РВ,* 1895, № 12, с. 213).

[84] Ср. свидетельство французского журналиста Ж.-Б. Сюара, представленного Честерфильду в последние годы его жизни: «Мы сократили наш визит из боязни его утомить. «Я не удерживаю в а с , — сказал он н а м , — мне пора репетировать мои похороны».

Он называл так прогулку по улицам Лондона, которую совершал каждое утро в карете». — Приводит М. П. Алексеев в кн.: Честерфильд. Письма к сыну. Максимы. Характеры. Л., 1971, с. 303.

[85] Начиная со статьи Писарева «Прогулка по садам российской словесности» (1865), см. ч. III, гл. 7 «Снова на родине».

[86] См. ниже письмо Лескова к Суворину от 22 апреля 1888 г.

[87] Письмо к М. А. Матавкину от 29(17) июля 1875 г. («мрачная меланхолия»).

[88] Фаворитки короля Августа II. Роман И. Крашевского (Hrabina Kosel). В 2-х томах. Перевод с польского под редакцией П. С. Лескова (СПб., 1876). Лесков писал А. Н. Пешковой-Толиверовой 28 июня 1883 г.: «Крашевский писатель очень плодовитый в кое-как сносный, за неимением лучших» (*ВЛ,* 1981, № 2, с. 218). А. П. Лесков отмечает как принадлежащую Лескову заметку «Успех Крашевского». — *ЦОВ,* 1878, № 40, с. 53 (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 1905).

[89] Цитируется стихотворение Ф. И. Тютчева из письма к Э. Ф. Тютчевой: «В разлуке есть высокое значенье...» (1851); впервые опубликовано в 1914 г.

[90] См.: *Толстой,* т. 48, с. 46 (дневниковая запись от 24 сентября 1862 г.): «В день свадьбы страх, недоверие и желание бегства. Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она все знает и просто... Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная Поляна... Ночь, тяжелый сон. Не она» (ср. Толстая С. А. Дневники. М., 1978, т. 2, с. 491; Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1964, с. 139).

[91] В письме к Б. М. Бубнову Лесков цитирует послесловие к «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого: «Вот есть у общества «больной зуб» — это вопрос о браке. Множество людей давно считает его несостоятельным, дрянным, пошлым и отжившим, и все не знают, что с ним сделать... И никто не находил ни формулы, ни выхода, пока вдруг Л. Толстой на днях ясно выразил то и другое: «Кто с кем сошелся — тот с тем и живи».

[92] Цитируется поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос».

[93] В картотеке А. Н. Лескова помечено на листе «Лермонтов»: «Это был наиболее любимый и чтимый им русский поэт» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 2088). См. также статью Н. С. Плещунова «Лермонтов и Лесков» в «Лермонтовской энциклопедии» (М., 1981).

[94] Цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «На светские цепи...» (1840).

[95] Толстой Л. Н. Живой труп (д. 5, карт. 1, явл. 1), слова Протасова: «Моя жена идеальная женщина была... Но что тебе

сказать? Не было изюминки, — знаешь, в квасе изюминка? — не было игры и нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься...»

[96] Имеется в виду стихотворение П.-Ж. Беранже «Старушка» («La bonne vieille») в переводе В. С. Курочкина.

[97] У Лескова: «...к ужасу заметил, как много я занимался опрятностью других людей...»

[98] Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На счастие» (1789).

[99] Цитируется монолог Мазепы — Песнь вторая поэмы А. С. Пушкина «Полтава»; ср. в «Овцебыке» (*Лесков,* т. I, с. 50). Перефразированные стихи из «Полтавы» встречаются также в «Расточителе» (там же, с. 448) и «Соборянах» (*Лесков,* т. IV, с. 174, 238), а также в письмах Лескова.

[100] Имеются в виду реформы, осуществленные в 70-х гг. Д. А. Милютиным в области военного обучения, в частности, реорганизация кадетских корпусов в военные гимназии, обновление программ, ориентация на повышение общего образования учащихся.

[101] «Переделка в народном духе» из «Несмертельного Голована» (*Лесков,* т. VI, с. 394).

[102] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830).

[103] Четыре записных книжки Лескова хранятся в *ЦГАЛИ* (ф. 275, он. 1, ед. хр. 110—113). По мнению Л. И. Левандовского, после записной книжки № 1, в которой помещены в основном «Выписки из древнегреческих и римских философов», должна следовать книжка № 4, где содержатся выписки из Пролога (80-е годы), затем № 2, начатая в 1893 г., и № 3, на первой странице которой написано: «1894 г. (Идиомы)» (*РЛ,* 1971, № 4, с. 128). Еще одна записная книжка Лескова, относящаяся к 1876—1879 гг., хранится в *ОГМТ.*

[104] Начало главы четырнадцатой «Запечатленного ангела» (*Лесков,* т. IV, с. 352).

[105] См. ч. II, гл. 6.

[106] Оставив в 1876 г. «Ниву», В. П. Клюшников предпринял издание иллюстрированного журнала «Кругозор»; в том же году Лесков опубликовал у него «Железную волю» (№ 38—40). В 1878 г. вышло 4 номера журнала.

[107] Ср. в письмо Лескова к С. Н. Шубинскому от 16 октября 1880 г.: «Голован» весь написан вдоль, но теперь надо его пройти вполперек...» — и далее: «Голован», однако, вышел слабее других. Надо бы его хорошенько постругать» (*Лесков,* т. X, с. 472—473).

[108] Н. С. Рачейсков. Ср. статью Лескова «О художнем муже Никите и совоспитанных ему» (*НВ,* 1886, 25 дек., № 3889).

[109] *«Вкушая, вкусих мало меду... и се аз умираю...»* — библейское выражение.

[110] Письмо от 31 января 1873 г. (*ИРЛИ,* ф. 612, № 5) —в связи с тем, что Лесков рано «послал» сына в школу, ср. ч. IV, гл. 7 «Дрон».

[111] *«Подземельный банк»* (вместо поземельный) фигурирует в «Полунощниках» (*Лесков,* т. IX, с. 137).

[112] Цитируется «Гамлет» (акт I, сцена 5) в переводе Н. А. Полевого. В шекспировском Полном собрании драматических произведений (т. I—IV), изданном в 1865—1868 гг. Н. В. Гербелем и Н. А. Некрасовым, по хранящемуся в ОГМТ экземпляру Лескова насчитывается более 70 его помет (*ЛН,* т. 87, с. 144). Цитаты из «Гамлета» использованы в «Воительнице», «Некуда», «Загадочном человеке», «Смехе и горе», «Железной воле», «Владычном суде».

[113] *Лионель, Жанна д'Арк* — персонажи исторической драмы Ф. Шиллера «Орлеанская дева» (1801).

[114] *Порция* — персонаж из «Венецианского купца» Шекспира (1596).

[115] Постоянное присловье просвирни Препотенской в «Соборянах».

[116] Ср. отзыв Лескова в записи И. А. Шляпкина о поэме А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»: «21 октября 1875 г. я был у Н. С. Рассказывал о гр. А. К. Толстом... В Иоанне Дамаскине поэт изобразил самого себя» (*PC,* 1895, № 12, с. 212).

[117] Цитируется стихотворение А. К. Толстого «По гребле неровной и тряской...» (1840-е годы).

[118] Из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824).

[119] См. ч. III, гл. 8 «Отвержение от литературы».

[120] На письме А. И. Поповицкого от 15 марта 1878 г. Лесков сделал помету: «Поповицкий — редактор «Церковно-Общ. Вестника», закрытого в блестящую эпоху церковного управления Победоносцевым» (*ИРЛИ,* ф. 220, № 109). Об отношении Лескова к Победоносцеву см. коммент. 152 к ч. V.

[121] Письмо к А. С. Суворину от 22 апреля 1888 г. (*Лесков,* т. XI, с. 385). В «Православном обозрении» Лесков сотрудничал в 1875—1876 гг. В «Страннике» — в 1877 г.

[122] Неточная цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Das Ideal und das Leben»:

Aber in den heitern Regionen
Wo die reinen Formen wohnen...

[123] П. В. Быков сообщает в своих воспоминаниях: «В промежутках между серьезными работами он писал разные заметки для газет: для «Нового времени», «Новостей», «Петербургской газеты» печатая их большей частью анонимно... О своих мелких заметках Лесков скоро забывал и не на шутку удивился, когда я как-то показал ему мои карточки с длинным списком его заметок. Зато рассказы свои он все помнил и дорожил ими» (Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. М.—Л., 1930, с. 163).

[124] Словоупотребление Н. С. Лескова, восходящее к знаменитой формуле Вольтера из писем к энциклопедистам «Ecrasser l'infame!» — «Раздавите гадину!», т. е. церковь. 23 июля 1893 г. Лесков писал Л. И. Веселитской: «Человек, остающийся в общении с «infam'ою», гораздо легче может читать все, что написал Вольтер, чем читать это как «молот кованого слова». Остается одно из двух: или подать руку автору (Л. Толстому. — *Н. С., В. Т.*) и отвернуться от «инфамы», или идти назад и просить защиты от этого автора, которому не было и нет равного по силе и решительности» (*Фаресов,* 1904, с. 116).

[125] См. коммент. 99 к V части.

[126] *Целибат* — обет безбрачия у католического духовенства.

[127] Впервые опубликован в журнале «Нива», 1899, № 30 (см. *Лесков,* т. IX, с. 32—49).

[128] *Кипсек* (англ.) — роскошное издание книг или альбомов с иллюстрациями.

[129] См.: *PC,* 1895, № 12, с. 213.

[130] В указанном издании (с. 456) комментарии принадлежат А. Н. Лескову.

[131] 13 марта 1879 г. народоволец Л. Ф. Мирский выстрелил в А. Р. Дрентельна, но промахнулся; Петербургским военно-окружным судом приговорен к вечной каторге. Неудачным было и покушение А. К. Соловьева, стрелявшего 2 апреля в Александра II почти в упор. Дело о революционной пропаганде в армии и вооруженном сопротивлении при аресте поручика В. Д. Дубровина слушалось в Петербургском окружном суде 13 апреля 1879 г. Подробнее об этих процессах см.: Троицкий Н. А. Безумство храбрых. М., 1978, с. 185—263.

[132] Знакомство Лескова с Гончаровым, затем переросшее в дружбу, по-видимому, состоялось в конце 1873 г., во время хлопот по организации литературного сборника «Складчина». С начала 1874 г. Лесков посещает дом Гончарова (*Никитенко,* т. 3, с. 306—307). 4 письма Лескова к Гончарову помещены в Собрании сочинений (*Лесков,* т. XI) — все они относятся к первым месяцам 1888 г. Ответные письма Гончарова и «Заметка» Лескова (в ответ на статью В. Русакова (С. Либровича) «Случайные встречи

с Гончаровым») опубликованы Ю. П. Благоволиной и В. Г. Зиминой в кн.: Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1968, с. 222—228 (4 письма).

[133] Оттиск воспоминаний И. А. Гончарова «На родине» (*ВЕ,* 1888, № 1) с автографами автора и Лескова хранится в *ОГМТ* (*ЛН,* т. 87, с. 142).

[134] Ср. со словами Лиды о толстовцах в «Зимнем дне»: «Если противны делались те, которые все собирались «работать над Боклем», то противны и эти, когда видишь, что они умеют только палочкой ручьи ковырять» (*Лесков,* т. IX, с. 416).

[135] Сестры Новосильцевы, с которыми Лесков был знаком по «Русской речи», выведены в «Некуда» в образе сестер Ярославцевых — «углекислых фей Чистых Прудов»: Софья Владимировна (в замужестве Энгельгардт) печаталась под псевдонимом «Ольга ***»; Екатерина Владимировна (псевдоним Татьяна Толычева). Цитируемое письмо к А. С. Суворину см.: *Лесков,* т. XI, с. 249—250.

[136] Ср. в «Островитянах» про Иду Норк, читающую детям «Смайлса «Self-Help» — книгу убеждающую человека «самому себе помогать» (*Лесков,* т. III, с. 192). В *ОГМТ* сохранился экземпляр другой книги С. Смайлса — «Долг» (СПб., 1882) с надписью Лескова: «Сыну моему Андрею Лескову, с просьбою книгу эту чаще читать, помня, что и я ее читаю, и при желании возражать мне для моего усовершенствования — ограничивать себя указанием мне на подлежащие страницы этого превосходного сочинения Смайльса. Николай Лесков, Пасха 1888 года» (*ЛН,* т. 87, с. 150).

[137] Цитируется «Послание к священнику Стефану» Аввакума (Материалы для истории раскола за первое время его существования. Под ред. Н. Субботина. Т. 5. М., 1879, с. 217).

[138] *Свада* — ссора (древнерусск.).

[139] Имеются в виду книги А. И. Фаресова «Против течений. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем» (СПб., 1904) и «Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов)» (СПб., 1901), а также журнальные и газетные публикации: Памяти Н. С. Лескова. — «Книжки «Недели», 1896, № 3; Н. С. Лесков и его позднейшие критики. — *ИВ,* 1897, № 3; Памяти Т. И. Филиппова. — *ИВ,* 1900, № 2; Материалы для характеристики Лескова. — «Живописное обозрение», 1900, № 4; Из разговора Лескова, записанного А. Фаресовым. — *ИВ,* 1901, № 4; Воспоминания о Лескове. — *ИВ,* 1902, № 5; Последние беседы Н. С. Лескова. — Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к «Ниве» на 1904 г. за май—август; Н. С. Лесков о женщинах и детях. — «Биржевые ведомости», 21 февраля 1905, № 8681; Па-

радоксы Н. С. Лескова, — «Слово», 1905, прил. к № 147, 11 мая 1905; Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — *ИВ*, 1916, № 3 и др.

[140] Книга А. А. Измайлова «Лесков и его время» (черновая рукопись) хранится в рукописном отделе Пушкинского дома (*ИРЛИ,* ф. 115, он. 1, ед. хр. 5). Как на полях рукописи так и на отдельных вставных листах много полемических заметок А. Н. Лескова, внимательно штудировавшего книгу. В 1-й главе книги Измайлова («Детство, отрочество, юность») наибольшие возражения А. Н. Лескова вызвало следующее место: «Пиэтический наклон в роде Лесковых был силен, и вполне ясно откуда он мог явиться наследственно и по логике вещей. Своеобразно могли влиять на Лесковых и психологические навыки деда-священника, и поездки бабки и матери по монастырям. Не удивительно, что сестра Лескова, Наталия, совсем юною, в 18—19 лет, очутилась под черным клобуком, превратившись в Геннадию (здесь у Измайлова сноска: «От дочери Н. С. В. Н. Нога мы слышали, что в этом ей способствовал С. П. Алферьев». — *Н.С., В.Т.*). Не удивительно, что стиль лесковских писем к концу жизни становится скорее стилем писем старого архиерея, чем светского писателя». А. Н. Лесков отвергает «претенциозно-вздорное показание дочери, с 5-ти лет с отцом не жившей, проведшей всю жизнь, до 90-ых гг., в Киеве, совершенно отца не понимавшей и дальше «Соборян» его себе не представлявшей». Сноска вызвала также возражение А. Н. Лескова: «Деда Л. глазом не видал и только слыхом слыхал. Отец Н. С. был приказного, а не духовенного склада. Наталия ушла в монастырь 15 лет послушницею от материнской нелюбви. Ей не было места в семье, среди любимых младших дочерей и братьев. Алферьев тут совсем ни при чем. Он жил в Киеве, а она первонач. поступила в Орловский монастырь». Необыкновенно резко оценивается А. Н. Лесковым вообще все «показания» В. Н. Нога: «Показания В. Н. Нога прямо преступно легкомысленны и субъективны. Она ездила к Ивану Кроншт., а Л. в «годы зрелости», тем более «старым писателем», был еретически непримирим с церковью. — «Эту «мать» не знать, чем пронять», — писал он Суворину 17 октября 1888 года, да и «Запеч. ангел» уже отходил от церковности со своим Памвой. Нестарым писателем вышучивал уже князей церкви в «Мелочах», а старым — в «Полунощниках», и сам писался «Ересиарх». Храни судьба всякого от таких осведомителей».

[141] Ср. коммент. А. Н. Лескова к «Загону»: «Н. И. Ашинов — удалой «вольный казак», авантюрист, пензенский мещанин; в 1891 году был арестован в Рени, затем в конце концов оказался в имении своей жены, урожденной Ханенко, где, должно быть, в 1890-х

годах умер. Лесков уделял достаточное внимание этому «вольному казаку»...». — Лесков Н. С. Избранные сочинения. М., 1945, с. 461. Передавая «скаску» об Ашинове во «Вдохновенных бродягах» (гл. XIX—XXII), Лесков непосредственно заключает, что «унизительный инцидент Ашинова никакими клещами не может быть отодран от исторической фигуры Каткова», имея в виду поддержку, которую «лейб-газета» оказала абиссинской авантюре Ашинова, собравшегося присоединить «черных христиан» к «владениям белого царя». — Лесков Н. С. Полное собрание сочинений, т. XXI. СПб., 1903, с. 145.

[142] Заметки: «Где воюет вольный казак», «Вольный казак в Париже», «Вольный казак в литературе», «О вольном казаке».

[143] В публикации А. И. Фаресова имеются разночтения и отсутствует окончание письма — от слов: «Вам не грех...» (см.; *Лесков,* т. X, с. 472).

[144] Рассказ «Справедливый человек» по рукописи, хранящейся в *ЦГАЛИ,* опубликован в Собрании сочинений (*Лесков,* т. IX, с. 305—312). Он написан без словесных совпадений с «Дикой фантазией», но с сохранением последовательности событий. В послесловии к публикации в «Литературном современнике» А. Н. Лесков отмечал, что «по многим приметам, оба варианта написаны в 83—84 годах».

[145] В Ф. А. Терновском Лесков видел человека, близкого себе «по духу», перенесшего «одинаковые гонения несправедливых людей» (письмо к Ф. Г. Лебединцеву от 28 мая 1884 г. — *ИВ,* № 10, с. 171) (см. т. 1, с. 306; наст. том, часть VI, с. 272), и называл его «самым живым и прелестнейшим из современных исторических писателей» (письмо к С. Н. Шубинскому от 1 февр. 1883 г. — *Лесков,* т. XI, с. 274), «человеком огромного ума, дивного сердца и поразительных познаний» (письмо к В. Г. Черткову от 4 ноября 1887 г. — там же, с. 356). Ф. Г. Лебединцеву (28 мая 1884 г.) сообщается: «Переписка между нами шла деятельная до тех пор, пока нас обоих придавило бесправие и руки отпали от всего».

[146] В частности, А. Л. Волынский особо выделял рассказ «Белый орел» из других произведений серии «Рассказы кстати»: «Краткость в обрисовке действия, необычайная меткость характеристик, тонкость психологической отделки при мягком настроении, безобидный юмор... — таковы достоинства этого небольшого очерка. Грубая действительность, с тоскливым содержанием и трагическими происшествиями, изображена артистическими словами, на какие был способен Лесков в лучшие минуты своего творческого просветления» (Волынский А. Л. Н. С. Лесков. Пг., 1923, с. 186).

[147] Лесков жил в Пензенской губернии в 1857—1860 гг., застав последние годы губернаторства Панчулидзева, ушедшего в отставку в 1859 г.

[148] Об отношениях с Ф. М. Достоевским см. ч. IV, гл. 11 «Внимание «сфер» и великосветские почитатели».

[149] 1 марта 1881 г. было осуществлено подготовленное исполнительным комитетом «Народной воли» покушение на Александра II.

[150] Как указывает А. Н. Лесков в примечании к рассказу «Дикая фантазия», А. А. Радонежский «тщательно обхаживал Лескова в период устройства себя в Ученый комитет Министерства народного просвещения..., после отчисления писателя от министерства благочестивый и мудроосмотрительный «приятель» больше у Лескова зрим не был...» («Литературный современник», 1934, № 12, с. 100).

[151] Лесков предсказывает Александру III судьбу Павла I, любимой резиденцией которого была Гатчина.

[152] Победоносцев, состоявший в 1860—1865 гг. профессором Московского университета, где занимал кафедру гражданского права, преподавал в 60-х гг. законоведение великим князьям, в том числе будущему императору Александру III.

Лесков к деятельности и личности обер-прокурора синода, одного из «отцов» реакции, К. П. Победоносцева, относился резко отрицательно и неизменно называл его «Лампадоносцевым», «Лампадоносцем». Закономерно пристальное внимание духовной цензуры к проложным (византийским) повестям, легендам и сказаниям Лескова. Особенное негодование Победоносцева вызвало «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине» (возможно, что в образе «младопитателя» обер-прокурор обнаружил личный выпад против него самого). Победоносцев добился признания синодом этой легенды «крайне вредною» и просил Феоктистова, «чтоб не дозволялось вновь издавать ее» (*ЛН,* т. 22—24, с. 537).

[153] К. П. Победоносцев, несмотря на свое отрицательное отношение к творчеству Лескова (см. коммент. 152), писал великому князю Александру Александровичу: «...позвольте... представить Вам книжку: *На краю света,* сочинение г. Лескова, — того самого, который написал известный Вам рассказ: *Соборяне.* Книжка эта хорошо написана, и думаю, что она Вам понравится, когда изволите прочесть ее в досужую минуту». А накануне (13 мая) Победоносцев извещал о своем намерении Лескова: «Душевно благодарю вас, почтеннейший Николай Семенович, за полученные сегодня книги и оттиски статьи, ... из присланных Вами экземпляров многие разойдутся на почетных любителей:

один из них располагаю послать сегодня же великому князю, который интересуется Вашим рассказом». На письме помета Лескова: «Получ<ено> 14 мая 876 г. от К. П. Победоносцева. В<еликий> К<нязь> цесаревич Ал<ександр> Ал<ександрович>. Рассказ: «На краю света» (Записки отдела рукописей *ГБЛ*. Вып. 30. М., 1968, с. 218). Лесков выслал Победоносцеву оттиски рассказа «На краю света. Рождественский рассказ» («Гражданин», 1875, № 52; 1876, № 1—4, 6) и экземпляры отдельного издания «На краю света. Из воспоминаний архиерея (Рассказ)». (СПб., 1876). Весьма вероятно, что Победоносцев и ранее посылал произведения Лескова высокопоставленным и «почетным любителям».

[154] 12 февраля 1880 г. была создана Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка, во главе которой был назначен граф М. Т. Лорис-Меликов, наделенный почти неограниченной властью. Сочетая репрессии и централизацию власти с либеральной программой действий, Лорис-Меликов обещал расширить права земства, назначил сенатские ревизии для расследования злоупотреблений чиновников, III Отделение заменил департаментом полиции, сместил с постов министра народного просвещения и обер-прокурора синода Д. А. Толстого. 28 января 1881 г. Лорис-Меликов представил Александру II проект реформ, получивший название «конституции Лорис-Меликова», суть которого сводилась к созданию в качестве совещательного органа при Государственном совете ряда временных комиссий из чиновников и выборных. Реформы Лорис-Меликова находили поддержку некоторых членов Государственного совета и близких ко двору лиц, в частности, перечисленных А. Н. Лесковым.

[155] По показаниям Русакова были арестованы Н. И. Кибальчич, С. Л. Перовская, Г. М. Гельфман, Т. М. Михайлов и привлечен к процессу первомартовцев ранее арестованный А. И. Желябов. Суд состоялся 26—29 марта.

[156] 8 марта при обсуждении Советом министра предложений Лорис-Меликова Победоносцев выступает их решительным противником. По дневниковой записи Д. А. Милютина: «Речь Победоносцева, произнесенная с риторическим пафосом, казалась отголоском туманных теорий славянофильских; это было отрицание всего, что составляет основу европейской цивилизации. Многие из нас не могли скрыть нервного вздрагивания от некоторых фраз фанатика-реакционера». —Дневник Д. А. Милютина, т. IV. М., 1950, с. 35.

[157] В. С. Соловьев, религиозный философ, с 1880 г. в качестве приват-доцента читал лекции в Петербургском университете и на Высших женских курсах. Речь против смертной казни была

произнесена Соловьевым как заключение к публичным лекциям о литературном движении XIX в.

[158] Принадлежавший Лескову экземпляр «Записок декабриста» А. Е. Розена хранится в *ОГМТ;* предсмертные слова С. И. Муравьева-Апостола в книге подчеркнуты (*ЛН,* т. 87, с. 152).

[159] Лично знавший Победоносцева Е. М. де Вогюэ также называет его «Торквемадой» (испанским инквизитором) и «русским де Местром» (E. M. de Vogüé. Les routes. Paris, 1910, p. 136). С Вогюэ Лесков встречался зимой 1818/79 гг. в салоне С. А. Толстой (вдовы А. К. Толстого).

[160] А. И. Фаресов вспоминает: «Лесков брал в руки карточку Лорис-Меликова и замечал: «Из всех генералов у меня только эта «диктатура сердца» имеется...» (*Фаресов,* с. 311—312). Однако, если у Лескова и были иллюзии относительно «куцой» «конституции Лорис-Меликова» и возглавляемой им Верховной комиссии (см. коммент. 154), то только в противовес политическому комплоту Победоносцева и Каткова. Десять лет спустя в «Полунощниках» (1890) писатель дает следующую характеристику началу 80-х годов: «...как раз такое время было, что разом действовали и поверхностная комиссия, и политический компот» (*Лесков,* т. IX, с. 148). Упоминается «поверхностная комиссия графа Лорис-Меликова» и в «Путешествии с нигилистом» (*Лесков,* т. VII, с. 128).

[161] А. Д. Кринская, сестра К. Д. Лесковой.

[162] Имеется в виду статья «Большие брани» (*Лесков,* т. X, с. 303). Лесков писал П. К. Щебальскому 8 апреля 1871 г., имея в виду, в частности, статью «Большие брани», о своей встрече с М. И. Катковым: «Начальное внимание его ко мне, верно, кроется в столь зримой интриге моей в пользу классического образования — интриге непредосудительной и, смею думать, даже честной...» (*Лесков,* т. X, с. 303).

[163] Ср. в письме к П. К. Щебальскому от 10 ноября 1875 г. (наст. том, с. 45).

Библейское изречение «враги человеку домашние его», по словам А. Н. Лескова, «излюбленная вообще Лесковым формула, щедро и очень часто оскорбительно колко выдвигавшаяся даже в непосредственном сношении с этими «домашними», бывшими далеко не худшими, чем у многих других» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 702).

[164] Цитируется стихотворение Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1832):

Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
НА ПУТИ К МАСТИТОСТИ
1881—1889

(стр. 169—358)

[1] Цитата из стихотворения П. А. Вяземского «Москва» (1868).

[2] Цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «Тучи» (1840).

[3] В 1880—1887 гг. Лесков жил на Сергиевской (ныне ул. Чайковского, д. 56).

[4] В «Левше» император Александр Павлович «имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми» (*Лесков,* т. VII, с. 26).

[5] Грибоедов А. С. Горе от ума — слова Лизы (д. I, явл. 2).

[6] См.: *Лесков,* т. XI, с. 167—170; статья написана по поводу так называемого «циркуляра о кухаркиных детях» министра народного просвещения И. Д. Делянова от 18 июня 1887 г., в котором рекомендовалось не принимать в гимназию «детей кучеров, прачек, мелких лавочников и т. и.»; статья первоначально называлась «Гимназический крах».

[7] В письме к П. К. Щебальскому от 4 января 1874 г. Лесков сообщает: «Соловьев умер в Москве скоропостижно, от нервного удара» (*Лесков,* т. X, с. 361). А. Н. Лесков следующим образом комментировал эту приписку: «Горестная его эпопея беллетристически отражена в рассказе Лескова «Дама и Фефела» (*ШГ,* с. 351). В рассказе намеком «между строк» на Н. И. Соловьева является сообщение о сотрудничестве «писателя» в «Отечественных записках», где Соловьев, врач по образованию, начинал свою деятельность критика, и о переходе его во «Всемирный труд» (*Лесков,* т. IX, с. 457, 469). Н. И. Соловьеву принадлежит посвященная разбору произведений Лескова и Крестовского статья «Два романиста» («Всемирный труд», 1867, № 12, с. 35—66).

[8] Неточная цитата из «Полтавы» (Песнь первая); у А. С. Пушкина: «Но старость ходит осторожно // И подозрительно глядит».

[9] Цитата из статьи Н. С. Лескова «На смерть М. Н. Каткова» (см.: *Лесков,* т. XI, с. 159). Статья была опубликована впервые А. Н. Лесковым в «Звеньях» (кн. III—IV, 1934, с. 894—897). Об отношении Лескова к Каткову см. также: Соколов Н. И. Неизвестная статья Н. Лескова о М. Каткове. — *РЛ,* 1960, № 3, с. 161—165.

[10] Об отношении Лескова к ученому комитету Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для

народа, председателем которого был А. И. Георгиевский, см. ч. V. гл. I (коммент. 2).

[11] См.: *Лесков,* т. X, с. 42—43. О встрече с генеральным консулом Англии в Белграде, Лонгвортом, рассказывалось в заметке А. Георгиевского «Лонгворт и близость катастрофы на Востоке» (*МВ,* 1867, № 188, 26 авг.).

[12] Материалы из собрания П. Я. Дашкова, относящиеся к Лескову и переданные в 1931 г. из Отдела рукописей Библиотеки Академии наук СССР в Пушкинский дом, составляют основу фонда писателя. См. обстоятельное научное описание фонда Н. С. Лескова в Пушкинском доме, составленное Л. П. Клочковой (*Ежегодник 1971,* с. 3—105).

[13] Запись в дневнике Никитенко от 3 марта (воскресенье) 1874 г.: «У Гончарова, который сам приезжал просить меня на вечер. У него происходило чтение «Кассандры», переведенной Майковым из Эсхила... Здесь познакомили меня с Лесковым, автором известного и, как говорят, очень хорошего романа «Соборяне». (*Никитенко,* т. 3, с. 308).

[14] Цитата из статьи «На смерть М. Н. Каткова» (*Лесков,* т. XI, с. 162).

[15] *Штундизм* — сектантское течение, смыкающееся с баптизмом. Получило распространение во второй половине XIX в. на Украине и в южных губерниях России. Штундисты находились под некоторым влиянием немецкого протестантизма, отвергали внешнюю обрядность православной церкви, иконопочитание и т. и.

[16] Лесков цитирует не сатиру Д. Минаева, а «Думы романтика» А. Иванова-Классика («Нам деваться было *Некуда...*»).

[17] А. Н. Лесков использует название статьи Лескова «О художнем муже Никите и совоспитанных ему». Ср. также в статье «О «квакереях»: «...то, что писали о Редстоке кн. Мещерский и другие, «совоспитанные ему» (*Лесков,* т. IX, с. 313).

[18] Восходит к словам Лескова «потрясователи основ» в «Заячьем ремизе», с которыми можно сопоставить «потрясателей основ» из книги М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом». В 6-м томе Собрания сочинений Салтыкова-Щедрина из библиотеки Лескова, хранящемся в *ОГМТ,* эти слова подчеркнуты Лесковым (*ЛН,* т. 87, с. 142).

[19] См.: *Лесков,* т. VI, с. 571.

[20] Была включена в запрещенный шестой том Собрания сочинений (1890) под названием «Приключение у Спаса на Наливках».

[21] Ср. эпиграмму В. Соловьева (1886, окт.): «Ведь был же ты, о Тертий, в Палестине, // И море Мертвое ты зрил, о

эпитроп...» (Соловьев В. Стихотворения и шуточные песни. Л., 1974, с. 145,). *Эпитроп* (епитроп) — в греко-византийском праве управляющий имуществом церковных учреждений.

[22] По свидетельству Л. Н. Лескова, И. Д. Делянова и Н. С. Лескова «связывали самые дружеские отношения. Я помню в своем детстве Делянова, как частого посетителя нашего дома, обычного и привычного гостя на положении своего человека. Когда Делянов получил министерский портфель, они давно уже разошлись...» (*ВЛ,* 1920, № 4—5 (16—17), с. 102). Делянов занимал пост министра просвещения в 1882—1897 гг. и стал известен реакционными контрреформами.

[23] *Ф. Ф. Исмайлов* — профессор физики и математики в Вифанской духовной семинарии, позднее — прокурор Грузино-Имеретинской синодальной конторы. Ему принадлежит книга «Взгляд на собственную прошедшую жизнь» (М., 1860). Ф. А. Терновский опубликовал «Из воспоминаний секретаря при Св. Синоде Ф. Ф. Исмайлова» в журн. «Странник» в 1882—1883 гг. Терновский предоставил в распоряжение Лескова рукопись Исмайлова. Записки Исмайлова легли в основу цикла очерков Н. С. Лескова «Картины прошлого». Все опубликованные в печати материалы записок Исмайлова Лесковым были включены в запрещенный шестой том Собрания сочинений (1890).

[24] Основной труд Е. Е. Голубинского, историка, академика Петербургской Академии наук «История русской церкви», первый том которого вышел в 1880 г. (точнее, первая половина тома), был очень высоко оценен Лесковым и вызвал сильное неудовольствие К. П. Победоносцева. Воспоминания Голубинского см. в «Трудах Костромского научного общества по изучению местного края» (1923, вып. 30, с. 1—11, 1—80).

[25] Данное Лесковым И. Д. Делянову прозвище «Меделянов» происходит от названия меделянской собаки, меделянки, т. е. миланского или медиоланского дога, широко распространенной в России до 60-х годов, породы, которая употреблялась для травли медведей. Меделянские собаки упоминаются Лесковым в «Старинных психопатах» (*Лесков,* т. VII, с. 458).

[26] Б. М. Маркевич был уволен «по прошению» со службы в Министерстве народного просвещения («Правительственный вестник», 18 февраля 1875, № 40) в связи со взяткой, полученной им от банковского деятеля Ф. П. Баймакова при передаче последнему в аренду газеты «С.-Петербургские ведомости». Этот случай упомянут Лесковым в статье «О литературных контрактах» (*НиБГ,* 1888, № 156). Непосредственное его впечатление от «грязной истории» см. в письмах к П. К. Щебальскому от середи-

ны февраля и от 23 февраля 1875 г. (*ШГ,* с. 328—329; *Лесков,* т. X, с. 379).

[27] В частности, в статье «На смерть Каткова» (*Лесков,* т. XI, с. 159—163).

[28] Персонаж драмы Л. В. Сухово-Кобылина «Дело», чиновник-«антихрист» Максим Кузьмич Варравин, подстраивает так, что проситель Муромский попадает в «самую содовую», то есть в очень неблагоприятное время, когда князь-сладострастник и «гемороидалист» (Важное лицо) испытывает утренние страдания, «разминается да содовую пьет» (действ. II, явл. 8).

[29] Письмо от 26 апреля 1885 г.

[30] В очерке «Жизнь Николая Лескова» А. Н. Лесков писал: «В частности, В. Г. Черткову, стремившемуся загладить одну удивительную с его стороны неловкость, Лесков, малоприклонно к примирению, высказывает, что, при возобновлении временно прерванных отношений, у нею легко может со дна души подняться «сметьё» (см.: Лесков Н. С. Избр. соч. М., 1945, с. XXXII).

[31] *В. И. Танеев* — философ-социолог, адвокат, автор трактата «Ейтихиология», утопии «Коммунистические государства будущего», был мастером эпиграмматического жанра. Особенно популярны были его сатирические «тетрастихи», в которых отчетливо выразились политические тенденции В. И. Танеева, «преданного друга освобождения народа», по определению Карла Маркса (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 34, М., 1964, с. 185).

[32] В указанном письме к Л. Н. Толстому фигурирует только прозвище «Меделянов» (см. коммент. 25); «армянский пастух русской молодежи» упоминается в «Административной грации».

[33] По черновой рукописи, хранящейся в *ЦГАЛИ* (*ЦГЛА*), напечатана в Собрании сочинений (*Лесков,* т. XI, с. 164—170).

[34] См.: *Лесков,* т. IX, с. 388—397.

[35] 16 августа 1883 г. Лесков писал В. П. Буренину: «По характеру Вашему, мне кажется, Вам наверно понятно: почему именно я не хочу брать наград от Делянова, лакейская низость которого внушает мне к нему одно презрение, и я усердно прошу Вас (если возможно) — оговорите, пожалуйста, что медаль мне *не выдана,* а пожертвована мною бедным ученикам орловской гимназии, где я сам учился. Это может иметь значение не для меня одного» (*ВЛ,* 1981, № 2, с. 215—216). Просьба Лескова была выполнена незамедлительно, уже на следующий день в «Хронике» газеты (№ 2682) появилась заметка об отказе Лескова от медали в пользу учеников орловской гимназии.

[36] Цитата из письма Лескова к П. К. Щебальскому от 22 апреля 1871 г. (*Лесков,* т. X, с. 316).

[37] См. о «киевской княгине» ч. II, гл. 6 «Первая семья». Е. А. Васильчикова выведена Лесковым в рассказе «Счастье в двух этажах» как современная Мессалина (*ЛН,* т. 87, с. 113—114).

[38] О Петрове Лесков писал в статье «Эволюция дикости». В конце статьи следовало мрачное заключение Лескова: «Если вы обратитесь к интересной книге Летурно «Прогресс нравственности» («L'évolution de la morale»), то вы увидите, что это значит: такое подталкивание стариков долой со света «под полотно» есть *атавизм,* умягченная в своих проявлениях наследственная черта состояния дикости, в котором люди поедали своих стариков... Тогда в кочевой группе следили за престарением человека и накидывались на него, с тем чтобы его «съесть», а теперь его престарение вызывает только желание скорее его «сжить со света». Это по выводам Летурно есть прямой признак «эволюции», идущей от дикой поры «людоедства», и чем данное общество менее культурно, тем в нем такие атавистические черты сильнее и резче. И это бы кажется так и есть, и наше общество отлично иллюстрирует свою «эволюцию дикости» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 103 — машинописная копия).

[39] С В. И. Бибиковым писатель особенно часто встречался в 1890-е годы. В *ОГМТ* хранится книга В. И. Бибикова «Три портрета. Стендаль, Флобер, Бодлер» (СПб., 1890) с многочисленными пометами Лескова.

[40] Ср. наблюдения Л. Гроссмана: «В письме к одному неизвестному адресату от 5 марта 1889 года Лесков высказал свой взгляд на сущность драматургической композиции: в ней все должно развиваться «из свойства характеров и положений»; пьесу «должно строить так, чтобы в ней чувствовалась жизнь и внутреннее движение»... Помимо драмы, Лесков интересовался и другими сценическими жанрами. Под конец жизни он пишет «Оскорбленную Нетэту», материал для оперы, балета или феерии» (*Гроссман,* с. 151—152).

[41] Из письма Н. С. Лескова к М. И. Пыляеву от 9 августа 1884 г.

[42] А. Н. Лесков, справедливо указывая на неточности, содержащиеся в очерке Либровича, чрезмерно суров, относя его к числу «верхоглядных репортеров и писателей». В книге С. Ф. Либровича «На книжном посту» достоверно обрисованы библиофильские увлечения Лескова: «Вообще Лесков много тратил на книги, был постоянным посетителем лавок букинистов и очень гордился своими книгами, среди которых встречались многие редкие. Лесков берег свои книги, и никакими просьбами не удавалось «уломать» его дать кому-либо книгу из его библиотеки для прочтения.

— Книга что жена: ее нельзя давать на подержание даже лучшему другу, — отвечал всегда Лесков тем, кто хотел «одолжить» у него какое-нибудь «сокровище» из его библиотеки» (Либрович С. Ф. На книжном посту. Пг., 1916, с. 239).

[43] Подборка высказываний Н. С. Лескова в книге «Русские писатели о литературе» (т. 2, Л., 1939, с. 290—320) подготовлена А. Н. Лесковым; использованы как статьи и письма, «рассыпанные по разным периодическим изданиям и не собранные в своды его сочинений, так и в значительной степени неопубликованные материалы, находящиеся в государственных архивохранилищах и в личном семейном архиве сына писателя» (с. 290). В подборке приведены также «записи беседных высказываний, частью по книге А. И. Фаресова «Против течений» (П., 1904), частью по дневниковым записям А. Н. Лескова» (там же, с. 320).

[44] Лесков писал Е. М. Бем 16 октября 1892 г.: «Я получил головку римлянки. Это превосходно!... У меня нашелся и пальмовый мольберт, на котором головка сейчас же и водворилась на моем столе» (Невский альманах. Вып. 2. Пг., 1917, с. 143). А. Измайлов в статье «Оскорбленная Нетэта». Историческая повесть Н. С. Лескова. Вместо предисловия (На основании переписки Н. С. Лескова с Елиз. М. Бем)» сообщает о существовании 54 писем Лескова периода 1891—1893 гг., адресованных художнице. Три эскиза Е. М. Бем к «Оскорбленной Нетэте» опубликованы во втором выпуске «Невского альманаха». Как указывает Ф. Д. Батюшков со слов сестры художницы, Л. М. Эндауровой, Лесков обратился к Е. М. Бем, «не будучи с нею лично знаком, зная только ее художественные произведения, особенно увлеченный ее иллюстрациями в силуэтах к произведениям Тургенева, Короленко, к народным сказкам и т. д. Ему запала мысль дать — при содействии той же художницы — читателям «Нивы» новый рассказ с заранее приготовленными к нему иллюстрациями; поэтому он и обусловил помещение его в журнале, в котором Ел. М. Бем была более или менее постоянной сотрудницей, заказом вперед самих иллюстраций» (там же, с. 187).

[45] Личное знакомство Лескова с Л. И. Веселитской состоялось в 1893 г. «Интерес к литературе, — пишет Веселитская, — и благоговейное отношение к личности Льва Толстого сразу сблизили нас» (*Микулич,* с. 165). Свои воспоминания и письма Лескова Веселитская публиковала в «Историческом вестнике» (1913, № 2 — «Тени прошлого») и сборнике «Литературная мысль» (вып. III. Л., 1925 — «Мое знакомство с Н. С. Лесковым»), почти без изменения повторив их в своей книге «Встречи с писателями» (1929).

[46] И. А. Шляпкин писал о первом посещении им в январе 1875 г. Лескова «на Фурштатской в угловом доме Матавкина»:

«Уютный кабинет с темно-красными обоями увешан картинами, бюст Сенеки, множество безделок, высокие гнутые стулья» (с. 212).

[47] См.: *Лесков,* т. XI, с. 350.

[48] Балладу «Поток-богатырь» А. К. Толстого Лесков любил и неоднократно цитировал. Так, иронизируя над «бездушностью лиц в картинах» К. Е. Маковского, Лесков писал А. С. Суворину 18 марта 1888 г.: «У Алексея Толстого в «Потоке-богатыре» есть боярышня, которая ругается: «сукин сын, неумытое рыло» и т. д., а потом прибавляет про свой «девичий стыд»... Вот это наша старинная «царевна» и даже «царица»: «на людях» очей не поднимает, а «в дальней клети с соборным певцом... окарачивает». Художники боятся льстить — это хорошо, — но они не знают, что сами у себя характерную и вовсе не лестную правду жизни крадут» (*Лесков,* т. XI, с. 370). Цитирует поэму Толстого одна из героинь «Зимнего дня» (*Лесков,* т. IX, с. 401).

А. К. Толстой был одним из самых любимых поэтов Лескова. Сохранился экземпляр «Стихотворений» А. К. Толстого (СПб., 1867) с пометами Лескова (*ОГМТ*). По предположению А. Н. Лескова писателю принадлежала рецензия (подписанная «О—ъ») на эту книгу в журнале «Литературная библиотека» (1867, ноябрь, кн. 2, с. 227—237). Особенно часто цитировал Лесков драматическую поэму «Дон Жуан» (статья «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому». — *Лесков,* т. X, с. 144—145) и поэму «Иоанн Дамаскин» («Интересные мужчины». — *Лесков,* т. VIII, с. 97—98).

[49] «У меня есть величайшие раритеты, — говорил Лесков Ясинскому. — Вы собирались посмотреть на богоматерь Боровиковского — вот она, матушка. Я и лампадку перед ней теплю. Удивительный лик, я бы не променял его на лик Мурильевской богоматери; русский лик, и, отчасти, как бы украинский» (Ясинский И. И. Роман моей жизни. М., 1926, с. 197). Ясинский приводит и такие слова Лескова: «Люблю картинки, но преимущественно образа люблю древнего письма — Строгановского, Поморского, Заонежского. Кресты и складни поморские обожаю» (там же).

[50] Экземпляр книги хранится в *ОГМТ.*

[51] Герой этого незаконченного фантастического рассказа Лескова (имевшего и другие заглавия — «Академическая фигура», «Повесть о Невской Диане»), Игнатий Иванович Суйгусаров — «немолодой художник» и «отличнейший и опытнейший реставратор» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 65 — машинописная копия, подготовленная А. Н. Лесковым).

[52] О Громеке см. ч. III, гл. 1 «Первая проба пера». А. Н. Лесков отмечает «близость Л. с Гр. по актерству, у кн. Васильчиковой» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 968). О прозвище «Степан-креститель» и о «трех манерах» Громеки см.: *Лесков,* т. XI, с. 97.

[53] Сохранилась черновая рукопись романа — см.: Столярова И. В., Шелаева А. А. К творческой истории романа Н. С. Лескова «Чертовы куклы». — *РЛ,* 1971, № 3, с. 102—113.

[54] См.: *Лесков,* т. XI, с. 431; роман «Чертовы куклы», см.: *Лесков,* т. VIII, с. 487—565, где приведены и примечания А. И. Батюто к истории замысла (с. 627—631).

[55] Письмо от 12(24) июня 1875 г. (*Лесков,* т. X, с. 407). *Гагарин* И. С. — знакомый А. С. Пушкина и П. Я. Чаадаева. В 1843 г. эмигрировал из России и вступил в орден иезуитов.

[56] Речь идет об анонимных записках на французском языке, посланных А. С. Пушкину в ноябре 1836 г. Пушкин подозревал, что их автором был Геккерен. И. С. Гагарина и П. В. Долгорукова как лиц, участвовавших в составлении пасквиля, называли А. И. Тургенев, А. О. Россет, Н. М. Смирнов, В. Ф. Одоевский, П. А. Вяземский. Гагарин впоследствии выступил с опровержением (см.: «Оправдания иезуита Ивана Гагарина по поводу смерти Пушкина. Письма из Парижа». — «Русский архив», 1865, т. VIII, с. 1031—1036). Участие Гагарина в составлении пасквиля до сих пор доказать не удалось (см. статью А. С. Бутурлина «Имел ли И. С. Гагарин отношение к пасквилю на А. С. Пушкина». — Известия ОЛЯ, т. 28, вып. 3, 1969, с. 277—285). На письме И. С. Гагарина к Н. С. Лескову от 17 июля 1875 г. имеется помета последнего: «Письмо иезуита князя Ивана Сергеевича Гагарина. — С этим почерком должен быть сличен «диплом на звание рогоносца», присланный А. С. Пушкину. — Диплом этот должен быть в Париже». — *ИРЛИ,* ф. 220, № 75. После личной встречи и бесед в Париже летом 1875 г. писатель изменил свое мнение о приписывавшемся Гагарину авторстве анонимного пасквиля и попытался реабилитировать его перед современниками в статье 1886 г. «Иезуит Гагарин в деле Пушкина», поводом к написанию которой послужили «Воспоминания» В. А. Соллогуба.

[57] Рассказ Лескова «Лорд Уоронцов» (*ЛН,* т. 87, с. 121—126).

[58] «В 1872 году, по осени, когда я написал «Запечатленного ангела», — сообщается во вступительной части рассказа «Неоцененные услуги. Отрывки из воспоминаний», — об этом рассказе услыхала покойная фрейлина Пиллар ф. Пильхау и от нее приехал ко мне генерал-адъютант Сергей Егорович Кушелев с просьбой, чтоб я дал рукопись, которую они хотели прочесть императрице Марии Александровне. С этого случая у меня начались знакомства с несколькими домами, считавшимися тогда «в свете».

Более других я сблизился с домом Кушелевых, где был принят дружески. Здесь я видел много разных интересных людей и между прочим встречался несколько раз с покойным Жомини. Мне очень нравился его тонкий и гибкий ум и прекрасная манера делать разговор интересным и приятным. Особенно я любил слушать, как он отвечал на предлагавшиеся ему «политические вопросы» или отшучивался от нападок на его «европеизм», которому тогда уже приписывали большой вред и противопоставляли ему то «трезвое слово» Каткова, то «патриотизм» Аксакова, то «оргументацию» Ростислава Фадеева и «смелые ходы» Редеди (*ИРЛИ,* ф. 612, № 53 — машинописная копия).

[59] Лесков сообщает В. А. Гольцеву в письме от 4 мая 1891 г. по поводу рассказа «Неоцененные услуги»: «Вы меня просили дать еще раз что-нибудь «Рус<ской> мысли», и я не хочу обойти Вашей просьбы. За это время я написал небольшую повесть... и еще «Воспоминания»... Воспоминания эти называются «Нашествия варваров»; построены они по рассказам Жомини и представляют Ашинова, М—ву дочь, болгар и наших патриотов и борьбу с ними дипломатии. Эпизод веселый и смешной» (*Лесков,* т. XI, с. 485).

[60] Лесков разделяет широко распространенное в то время мнение о Н. Н. Пушкиной как виновнице гибели поэта. Как справедливо пишет Д. Благой в ст. «Погибельное счастье», «в истории трагической гибели Пушкина она была не виновницей, а жертвой тех дьявольских махинаций, тех адских козней и адских пут, которыми был опутан и сам поэт» (см.: Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1975, с. 63).

[61] Статья «Смерть Ивана Грозного. Картина К. Е. Маковского». — *НВ,* 1888, № 4330, 19 марта.

[62] 18 марта 1889 г. Лесков писал З. П. Ахочинской: «У Полонского на вечере была баронесса Икскуль. Портрет поразительно схож, и оборот выбран превосходно» (*ЦГАЛИ*). В рукописи А. Н. Лескова имелась сноска: «Дочь какого-то провинциального полицмейстера Лутковского, Варвара Ивановна, по первому мужу, советнику русского посольства в Риме, Глинка, по второму — Икскуль. Во вдовстве прожила богатую встречами и событиями жизнь. Уехав около 1921 года за границу, года через 2—3 скончалась в Париже. В годы писания портрета играла значительную роль в жизни Репина». Выведена Лесковым в качестве «баронессы» в «Неоцененных услугах», о чем он сообщает в письме к В. А. Гольцеву от 10 мая 1891 г. (*Лесков,* т. XI, с. 487).

[63] В рукописи А. Н. Лесков уточнял: «Портрет создавался в период умирания Аржанто от рака. Позировать могла только лежа. Ни возраст, ни смертный недуг не умалили обаятельности «натуры», а гений художника, не поступившись правдой, дал

произведение поразительной силы и изящества. Уехав вскоре на родину. д'Аржанто увезла портрет с собой».

[64] Среди гостей пятниц Полонского Ф. Ф. Фидлер упоминает, в частности, Репина и Лескова («Новое слово», 1914, № 5, с. 39).

[65] См.: Репин И. Е. Письма к писателям и литературным деятелям. М., 1950, с. 37.

[66] Сохранились два письма Репина и семь писем Лескова (6 писем помещены в Собрании сочинений: *Лесков,* т. XI). Помимо цитируемого А. Н. Лесковым письма И. Е. Репина от 26 сентября 1888 г., сохранилось еще письмо художника от 19 февраля 1889 г., исключительно дружеское по тону: «Как я Вам благодарен за Ваше письмо, глубокоуважаемый Николай Семенович! В нем столько содержания, что я перечитывал его по нескольку раз вчера и сегодня. Ваша особенная манера письма, к которой я никак еще не приспособился, несколько замедляла чтение, по содержимое вознаграждало». — Репин И. Е. Письма к писателям и литературным деятелям. М., 1950, с. 42.

[67] О своем впечатлении от картины «Что есть истина?» Н. С. Лесков сообщал в письме к Н. Н. Ге от 13 февраля 1890 г.: «Всю мою жизнь я искал такого лица...» — См.: Стасов В. В. Н. Н. Ге, его жизнь, произведения и переписка. М., 1904, с. 327.

[68] Письмо к З. П. Ахочинской датируется около 15—20 марта.

[69] Статья М. О. Меньшикова «Художественная проповедь» вошла в его книгу «Критические очерки», СПб., 1899—1902, т. I, с. 330—352. «Статья Ваша о моем XI томе, — писал Лесков критику 12 февраля 1894 г., — вышла в тот день, когда у меня собирался консилиум и когда я был особенно взволнован. Я ее прочитал и не сразу мог ее оценить. Сразу я увидал только, что Вы человек смелый и искренний и ставите меня значительно выше, чем я в самом деле стою. Я был очень обрадован Вашею смелостию и искренностию, которые, к сожалению, встречаются очень редко. Потом я увидал, что эта милая мне по своей доброжелательности статья написана в самом деле как бы не Вашею рукою и даже в чуждом Вам тоне и манере... и мне стало и больно и смешно: раз во всю мою рабочую жизнь (за 35 лет) один только истинно умный, честный и мужественный человек захотел и решился говорить обо мне без «картавки», и тут надо было, чтобы у него «рука развелась»!..» (*Лесков,* т. XI, с. 574).

[70] А. Н. Лесков в примечаниях к незаконченному рассказу Лескова «Московские воры и университетский студент. Характерный случай» (1863) писал о Розенберге: «В 1883 г. появился некий Паир Львович Розенберг, внушивший сперва Л—ву трудно понятную расположенность к себе... Впоследствии Л—в прозрел, с трудом уже его терпел, а в начале июня <18>88 г., не стерпев,

выгнал». Это подтверждает и помета Лескова на полосе бумаги от письма П. Л. Розенберга, датируемого около 7 июня 1888 г.: «Этого негодяя я за три дня ранее выпроводил вон. *Н. Л.»* (*Ежегодник 1971,* с. 15, № 47). А. Н. Лесков пишет далее об изданной Розенбергом в 1885 г. «пошлейшей и глупейшей повести «Семья Калединых»: «Некоторые главы читались у Л—ва под несмолкаемый хохот случайных слушателей» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 51). Судьба и личность «литерата Розенбе» нашли отражение в рассказе «Пумперлей» и «Московские воры и университетский студент». В последнем рассказывается о П. Л. Р—е, «правдивом приятеле» Лескова, и приводятся некоторые биографические данные — «сын одесского врача и брат одного из нынешних московских врачей».

[71] Цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (действ. I, явл. 1).

[72] О «великом часовщике Эриксоне» Лесков так писал А. С. Суворину (28 дек. 1885 г.): «Ведь он действительно такая знаменитость, какою каждая обсерватория в Европе желала бы обладать. Его мастерская — это восторг и его приспособление к выверке хронометров в произвольной температуре введено теперь им впервые в России» (*Лесков,* т. XI, с. 308). О нем см. также в повести Лескова «Отцовский завет» («Задушевное слово», 1887, № 1—7, 9—12, 14).

[73] О библиофильских увлечениях Лескова см.: Шилов Ф. Записки старого книжника. М., 1965, с. 13—14; Шляпкин И. А. К биографии Н. С. Лескова — *PC*, 1895, № 16, с. 211—212; Либрович С. Ф. На книжном посту. Пг.—М., 1916, с. 239. О библиотеке Лескова см. обстоятельное исследование Афонина Л. Н. Книги из библиотеки Лескова (*ЛН,* т. 87, с. 130—159).

[74] В очерке «Русские демономаны» Лесков с пиететом упоминает Иова Герасимова: «...известный многим библиофилам старейший книгопродавец Петербурга Иов Герасимов, доныне здравствующий и торгующий на Новом рынке» (Лесков Н. С. Русская рознь. СПб., 1881, с. 272); о нем говорится и в статье «Литературный разновес для народа» (*НВ,* 30 сент. 1881, № 2008), а как о «некнижном книжнике» в бесподписной заметке в *Пг,* 1884, № 47, 17 февр., в которой упоминается о кончине Иова Герасимова (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 1565).

[75] Ранее об этом приобретении с гордостью писал Лесков С. Н. Шубинскому (20 окт. 1893 г.): «Вчера я вернулся из Москвы, куда ездил не праздно: сделал некоторые свои книжные дела и кое-что добыл по части рукописей. Одна покупка есть превосходная — рукопись попа города Великих Лук: «Удивительные повести о семи мудрецах», 1702 года. Повести *превосходные* бог весть с какого латинского оригинала, — все любовные и действи-

тельно «удивительные». Напечатаны они нигде не были, и я полагаю, что мой экземпляр есть *уника*... Писано все уставом, с заставицами и зачальными литерами» (*Лесков,* т. XI, с. 288).

[76] Существует, однако, и немало других свидетельств, говорящих об увлеченности Лескова созданием «проложных» повестей: «Больше всего ценил он свои идейные рассказы и апокрифы, как, например, «Прекрасная Аза», «Невинный Пруденций», «Гора», «Памфалон» и многие другие», — вспоминает Е. И. Борхсениус (*ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 1, № 822). О некоторых сюжетах Лескова на мотивы повествований Пролога см.: Державина О. А. Пролог в творчестве русских классиков XVIII—XX вв. и в фольклоре. — В кн.: Литературный сборник XVII века. Пролог. М., 1978, с. 164—166. Более подробную сводку проложных источников повестей Лескова, составленную А. И. Белецким, см. в кн.: *Гроссман,* с. 225—226.

[77] Лесковым были сделаны пометы в книге и ряд изречений подчеркнуты. В библиотеке Лескова были и другие книги Толстого, выпущенные в женевском издании Элпидина: «Исповедь графа Л. Н. Толстого. Вступление к ненапечатанному сочинению» (1884), «О жизни» (1891), «Ходите в свет, пока есть свет. Беседы язычника и христианина. Повесть из времен древних христиан» (1892), «Письма к французу» (1892), «Что же нам делать?» (1893). Подробнее см.: Афонин Л. Н. С. Лесков — читатель Льва Толстого. — «Подъем» (Воронеж), 1960, № 6.

[78] На шмуцтитуле книги, которую читал Лесков, — «Люций Анней Сенека. Избранные письма к Люцилию. Перевод с латинского Пл. Краснова». СПб. (б. г.), — есть пространная запись Лескова: «Всех писем Сенеки к Люцилию 124 (здесь 50 писем). Всех его нравственно-философических сочинений считают 20, из них 13 дошло до нашего времени, а 7 утрачено. Здесь нет LXXI (71) письма, в котором важно место, централизующее философский взгляд Сенеки: «Всякий раз, как ты хочешь знать, чего нужно избегать или чего домогаться, *обращайся взором к высшему благу и к цели всей твоей жизни»* (так как общего совета дать нельзя, ибо всякий совет должен быть приноровлен к обстоятельствам, а они меняются). Кроме Epistolae LXXI (71), нет замечательного письма 76-го: «...во всем, что нравится толпе, нет ничего истинного, ничего верного». В книге более 150 помет Лескова, подчеркиваний, исправлений и уточнений (*ЛН,* т. 87, с. 150).

[79] См.: *Лесков,* т. X, с. 74. Об этих воспоминаниях Лескова и о характере его отношений к П. И. Якушкину см.: Базанов В. Павел Иванович Якушкин. Орел, 1950, с. 57—64.

[80] Поп Прокоп в «Заячьем ремизе» «всякую неделю читал людям за обеднею то «Павлечтение», которое укрепляет в людях

веру, что они «рабы» и что цель их жизни состоит в том, что они должны «повиноваться своим господам» (*Лесков,* т. IX, с. 505).

[81] Князь А. П. Щербатов как литературный персонаж фигурирует в рассказе Лескова «Неоцененные услуги. Отрывки из воспоминаний» — там он постоянный оппонент («несогласный князь», «пила») адвоката А. Г. Жомини.

[82] Лесков часто встречался в 1890-е годы с поэтом и публицистом В. Л. Величко и его женой М. Г. Муретовой («Муретихой»). На первых порах между ними складывались дружеские отношения. Лесков высоко оценил переводы В. Л. Величко из Омара Хайяма (*СВ,* 1891, № 7). Но постепенно Лесков резко переменил мнение о «поэте-чиновнике»: «Он профанирует поэзию! Воспевая сильных мира сего, он хочет сделать себе карьеру в чиновничьей сфере!» (Фидлер Ф. Ф. Литературные силуэты. VII. Н. С. Лесков. — «Новое слово», 1914, № 8, с. 35). Об отношениях Лескова к Величко см. так же: *Фаресов,* с. 267—268, 295, 379.

[83] К барону А. Э. Штромбергу Лесков питал самые добрые чувства. «Я прожил с Штромбергом 7 лет дверь в дверь и душа в душу», — писал Лесков 26 марта 1887 г. А. С. Суворину (*ИРЛИ,* ф. 268, № 131, л. 105). Он постоянно хлопотал об устройстве в газетах заметок соседа и обижался, когда к его просьбам относились пренебрежительно. «Знаменитым людям «какой-то Ш<тромберг>» — все равно, а для меня это сосед, приятель, оказывавший мне услуги, и я не могу так презрительно относиться к людям вообще», — посылал он «напрягай» С. Н. Шубинскому в письме от 3 апреля 1886 г. (*Лесков,* т. XI, с. 313—314).

[84] О Ф. В. Вишневском см. ч. IV, гл. 1 «Характер». Письма Вишневского к Лескову хранятся в *ЦГАЛИ* (ф. 275, он. 4, ед. хр. 16).

[85] Лесков писал о М. П. Булгакове в статьях «Макарий, высокопреосвященный митрополит московский» (*ИВ,* 1880, № 2), «Усопший митрополит Макарий», «Клевета на усопшего митрополита Макария» (*НВ,* 1882, № 2256 и 2261, 11 и 16 июня).

[86] Ср. в «Смехе и горе»: «<..> дипломаты!.. сидят и смотрятся как нарциссы в свою чернильницу, а боевые генералы плесенью обрастают и с голоду пухнут» (*Лесков,* т. III, с. 544). «Нарциссом собственной чернильницы» называл А. М. Горчакова Ф. И. Тютчев (см. «Письма Тютчева к Горчакову» в *ЛН,* т. 19—21, с. 219—252).

[87] В картотеке А. Н. Лескова к приведенной эпиграмме имеется помета: «Со слов Л—ва. М. б. Черниговец, м. б. Иванов-Классик».

[88] Об Е. П. Карновиче Лесков написал очерк «Безграничная доброта. Анекдотические воспоминания о Карновиче» («Нива», 1886, № 2, с. 288—295). В статье «Геральдический туман» (1886), написанной «по поводу» книги Карновича «Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими» (СПб., 1886), Лесков называет «превосходным исследованием» другое сочинение историка — «Замечательные богатства частных лиц в России» (СПб., 1874; 2-е изд. 1885), см.: *Лесков,* т. XI, с. 113.

[89] Эпиграмма приписывается А. Ф. Иванову-Классику. См. «Общее дело», 1885, № 72, с. 14, вместо подписи ***. Этот текст воспроизведен в кн.: Русская эпиграмма второй половины XVII— начала XX в. Л., 1975, с. 540 (№ 1807):

Реакции дикой суровый поборник,
Дивя проходящий народ,
В овчинном тулупе безграмотный дворник
Бессменно сидит у ворот.
И снится ему, что при сей обороне,
Нелепый, но грозный на вид,
Такой же, как он, на наследственном троне
Безграмотный дворник сидит.

[90] Пушкинский кружок, организованный осенью 1881 г. петербургскими литераторами, устраивал публичные чтения и литературно-музыкальные вечера с участием актеров и оперных певцов. Первым председателем кружка был А. Н. Плещеев; затем — А. И. Пальм и Н. А. Лейкин. Лесков был одним из членов комитета, ведавшего делами кружка. Весной 1885 г. кружок распался.

[91] *Мартьянов* — автор трехтомной книги «Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки» (СПб., 1893—1896). О нем Лесков сообщает 23 июля, 17 и 20 августа 1883 г. С. Н. Шубинскому: «Подкузьмич» — делец неутомимый. Его здесь зовут «шуваловский маклер». Он «на обухе рожь молотит» (*Лесков,* т. XI, с. 282, 283, 285).

[92] Опубликовано К. П. Богаевской (*ВЛ,* 1981, № 2, с. 218—219).

[93] А. И. Фаресов так излагает предысторию стихотворения Минаева: «В молодости Николай Семенович снялся вместе с Д. Минаевым на одной карточке, о чем даже иронически упоминает г. Скабичевский в своей «Истории новейшей русской литературы». Это обстоятельство возбудило тогда злые насмешки со стороны либерального лагеря над Минаевым, которого все считали одним из рьяных деятелей либерализма. Минаев сам стыдился этой карточки и сожалел о сделанном якобы им промахе и даже прекратил все отношения к Лескову. Но незадолго до своей смерти

Минаев изменил свой взгляд на Лескова и, вполне сочувствуя идеям, проводимым Лесковым в его литературных произведениях, прислал ему новую свою карточку...» (*Фаресов,* с. 150—151).

[94] В еще более любопытном «штыле» извещает Лесков Шубинского 5 января 1888 г. об отмене обеда у Терпигорева: «Известившись из письма Вашего о приключившемся превосходительству Вашему, рассудилось нам яко и смирению нашему в тожде поспешать непристойно есть, ибо не снеди ради и питиа текохом, но слышения ради словес разумом каплющих и всея сладости беседныя. А того для послали есте мы от смирения нашего... Тер-Пигорю отметный лист, дабы брашна и питий не изводил, доколе полегчает превосходительству Вашему и вси в ту пору воспоследуем радующеся и хваляще здравие подающему богу ему же и ныне слава и во веки.

Смиренный *Ересиарх Николай*
рукою властною»

(«Огонек», 1981, № 7, февр., с. 17).

[95] «Пушкинский кружок, которого Вы и я состоим членами, удостоил меня избрания к некоторым должностям, — писал Лесков Терпигореву. — Я, конечно, ценю такое доверие и всемерно рад бы его оправдать, но известные Вам недосуги мои лишают меня возможности быть точным и исполнительным; а дела этого не терпят. К тому же я чувствую себя и нездоровым. — А потому усердно прошу Вас оказать мне товарищескую услугу, выразив общему собранию мою глубокую благодарность за честь избрания, и вместе с тем просить от всяких должностей меня освободить» (*Лесков,* т. XI, с. 267—268).

[96] Опубликован А. И. Понятовским (*ЛН,* т. 87, с. 117—121).

[97] Сведения об этом А. Н. Лесков почерпнул из письма к нему Б. В. Варнеке от 8 декабря 1934 г.: «Получив копию <рассказа> по дороге в Москву, я там ее читал в доме одного приятеля. Среди слушателей оказался один старый газетчик, в юности работавший в С.-Петербурге и знавший Николая Семеновича. Он клянется и божится, что герой «знаменитого повара Шатобриана» не кто иной как <...> Фаресов, который как раз так проштрафился. Не верить нет причины» (*ОГМТ,* ф. 34, № 6527).

[98] «Чтобы выносить тяжкую роль, которую влачит писатель среди наглого, жуирующего и самомнящего ничтожества газетной письменности, — писал Лесков в статье «Литературное бешенство», — конечно надо иметь душевное мужество и горячую любовь к искусству, и общество должно радоваться, что оно еще имеет таких людей» (*ИВ,* 1883, № 4, с. 160).

[99] Цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (действ. III, явл. 3).

[100] О «зломнительности» Лескова см. ранее его переписку с Ф. В. Вишневским (ч. IV, гл. 1 «Характер»). «Подозрительность» во мне, — писал Лесков 25 марта 1888 г. Суворину, — может быть, есть. Вишневский писал об этом целые трактаты и изъяснял, откуда она произошла. Он называет ее даже «зломнительством», но ведь со мною так долго и так зло поступали... Что-нибудь, чай, засело в печенях...» (*Лесков,* т. XI, с. 372).

[101] Цитата из эпилога «Дворянского гнезда» И. С. Тургенева. Н. С. Лесков часто приводит эти слова в письмах и произведениях (см., например, рассказ «Колыванский муж». — *Лесков,* т. VIII, с. 421).

[102] Среди исследователей и мемуаристов, которых подразумевает здесь А. Н. Лесков, Ф. Ф. Фидлер, приводивший в своих «Литературных силуэтах» рассказы о «запальчивости и раздражительности Лескова» («Новое слово», 1914, № 8, с. 35), А. Л. Волынский, отмечавший «тенденциозность» суждений писателя (в книге «Н. С. Лесков»), М. А. Протопопов, автор статьи «Больной талант», Н. К. Гудзий, сопоставлявший характер Лескова и Достоевского и даже обнаруживший в Лескове «бурный карамазовский темперамент» («Толстой и Лесков». — «Искусство», 1928, кн. 1—2, с. 128), а также И. И. Ясинский, А. С. Суворин, А. А. Измайлов и многие другие.

[103] Речь идет о профессоре Одесского университета Б. В. Варнеке, оказавшем большую помощь А. Н. Лескову в поисках затерянных рукописей Н. С. Лескова. Их переписка за 1928—1941 гг. хранится в *ОГМТ.* Статья Б. В. Варнеке «Растерянный Лесков» начинается словами: «Идет уже вторая четверть века со дня смерти Лескова, а как плохо изучен и обследован этот тайнодум и великий мастер русского слова» («Посев». Литературно-критический и научно-художественный альманах. Одесса, 1921, с. 38).

[104] А. Н. Лесков полемически возражал А. Н. Толиверовой: «Я помню, как он ласкал ее и с какой любовью показывал ее розовое платьице, в котором ее к нему привезли, и как он тосковал о ней, когда в 1884 г. доктора послали его в Мариенбад». «Варю привезли не к нему, — возражал А. Н. Лесков, — а к ее матери из деревни Кейдала в ноябре 1883 года. Платьице все было во многих разводах от ее упорного «греха» — она мочилась под себя ночью. Это была скорее рубашонка, чем платье. Сама Ал. Ник. Пешкова терпеть ее не могла и вся эта елейность — обычная ее, даже не искренняя сентиментщина...» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 307).

[105] А. Н. Лесков имеет в виду комментируемые им далее строки из некролога Н. С. Лескова о крестьянине-сектанте В. К. Сютаеве («...надо, чтобы бесприютных сирот не было!»), Сютаев и его последователи отрицали все таинства и обряды православной церкви, так как в церкви «правды нет», отрицали войну и необходимость присяги и военной службы, не признавали оброков и проповедовали, что «истина в любви, в обчей жизни» (Пругавин А. С. Религиозные отщепенцы, вып. I, М., 1906, с. 3—143). Эти идеи Сютаева заинтересовали Л. Н. Толстого. Связь сютаевской догмы с толстовством подразумевает Н. С. Лесков в цитируемом далее письме к П. И. Бирюкову от 31 мая 1888 г.

[106] О посещении В. К. Сютаевым летом 1888 г. Лескова, который при этой встрече пытался отговорить его от намерения проникнуть к Александру III и добиться, чтобы он «для блага народа велел толковать Евангелие согласно пониманию Сютаева», сообщает В. В. Рахманов в статье «Крестьянин-коммунист» («Минувшие годы», 1908, № 8).

[107] А. П. Матвееву — профессору Киевского университета по кафедре акушерства.

[108] В письме от 26 апреля 1885 г.

[109] Лесков писал 17 декабря 1887 г. Толиверовой: «... я не могу обещать, *когда* я дам этот рассказ, а только я его дам» (*Лесков,* т. XI, с. 361). Судя по его письму к Толиверовой от 26 декабря, рассказ уже был Лесковым написан вчерне: «Рассказ написал «вдоль» и положил лежать и улеживаться, а в удачный час пропишу его «впоперек», и тогда дам переписать отцу Пэтру и извещу Веру <...> Называется рассказ «Лев старца Герасима». — Слова «святого» надо избегать, а просто «старец» (там же, с. 363). В письме миролюбивые и дружеские интонации: «Ничего неприязненного к Вам не имею, но пребываю в мире и любви ко всем». 11 февраля 1888 г. Лесков сообщает Толиверовой: «Посылаю Вам рассказ. Вчера мы его прочитали с Репиным и остались им довольны. Картинка у Вас будет через две недели» (там же, с 365).

[110] «Приведенная нами посмертная записка, — писал А. И. Фаресов, — составлена Лесковым еще в то время, когда он только что приступил к изданию Полного собрания своих сочинений и не знал, как они будут приняты публикой. Он сам не ожидал, что русское общество так сочувственно отнесется к итогам его литературной деятельности. Собрание его сочинений, несмотря на дорогую цену, разошлось в течение трех лет в количестве 2 тыс. экз., что дало ему возможность не только прожить безбедно последние годы его жизни, но обеспечить материально свою воспитанницу, которая уже не нуждалась для окончания своего

образования ни в частной помощи, ни в заботах литературного фонда» (*Фаресов,* с. 146—147). Н. П. Жерве пишет о «постоянных и исключительных заботах» Лескова «о своей воспитаннице В. И. Долиной, которую он взял беспомощною сиротой с двух лет и которую до конца дней очень любил. Чуть не половина завещания его «Моя посмертная просьба» посвящена мыслям о судьбе Вари Долиной после его смерти» (с. 63—64).

[111] См.: *Толстой,* т. 26, с. 220.

[112] А. Н. Пешкова поместила уже после смерти Лескова его «портрет в числе «друзей детства», в «Игрушечке» с автографом писателя: «Желаю журналу «Игрушечка» внушать своим юным читателям любовь к правде и добру. *Николай Лесков»* (1895, № 9, сент.).

[113] См. часть третья, гл. 5 и 6 наст. изд.

[114] Письмо к А. Н. Лескову от 28 мая 1884 г. — см. ниже, с. 273. Впервые опубликовано в журнале «Украина», 1928, № 2, с. 116.

[115] Знакомство с Ф. Г. Лебединцевым могло состояться во время службы Лескова в Киеве; переписка, возможно, завязалась по инициативе Лебединцева, предпринявшего после ухода с поста директора холмской епархии (Польша) в 1882 г. издание журнала «Киевская старина» и обратившегося к писателю за содействием (*ИВ,* 1908, № 10, с. 163—172). Письмо, цитируемое А. Н. Лесковым, последнее из сохранившихся, выдержки из него опубликованы также в Собрании сочинений. (См.: *Лесков,* т. XI, с. 671—672).

[116] Это примечание принадлежит В. В. Данилову, опубликовавшему письма Лескова к Ф. Г. Лебединцеву.

[117] См.: *Лесков,* т. XI, с. 226—227.

[118] В фонде А. Н. Лескова в Пушкинском доме хранится машинописная копия наброска (*ИРЛИ,* ф. 612, № 28). Другие названия: «Волнения госпожи Гого», «Страдания, опыты и приключения госпожи Гого», «Признания госпожи Гого».

[119] В Варшаве Лесков был 28 июля, на следующий день выехал в Петербург, куда, очевидно, прибыл 31 июля.

[120] Цитата из рассказа Лескова «Дворянский бунт в Добрынском приходе». — Лесков Н. С. Русская рознь. Очерки и рассказы (1880—1881). СПб., 1881, с. 84.

[121] В 1889—1891 гг. Лесков был поглощен работой над романом «Чертовы куклы». В 1889 г. был запрещен шестой том собрания сочинений, весь тираж которого был опечатан 19 октября.

[122] Книга хранится в *ОГМТ.*

[123] Буквально: «в лике есть выражение, но нет страстей» (*Лесков,* т. V, С. 455).

[121] Имя Б-ю в указателе, подготовленном А. И. Лесковой, раскрывается как «Бобровская (знакомая Крохиных)».

[125] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (1825).

[126] Д. М. Леонова, артистка петербургской оперной труппы, покинув сцену в 1874 г., занялась преподавательской деятельностью.

[127] *Ориген Александрийский* — христианский богослов (около 185—254 гг.). И. А. Шляпкин вспоминает: «...он увлекался Оригеном и проектировал даже перевод его на русский мною и Н. М. Бубновым» (*РС,* 1895, декабрь, с. 208). В письме к И. С. Аксакову от 23 декабря 1874 г. Лесков рекомендовал ему магистерское сочинение священника Гр. Малеванского «Догматическая система Оригена» (*Лесков,* т. X, с. 370).

[128] См.: *Лесков,* т. XI, с. 235.

[129] В конце ноября 1885 г. С.-Петербургский цензурный комитет постановляет вырезать и уничтожить эту статью Лескова (*ИВ,* 1885, № 12, с. 509—524).

[130] Лесков в письмах к Терпигореву называет его жену то Ксаверьевной, то Савельевной.

[131] Е. Е. Ботвиновского «все в Киеве знали просто под именем «пана Ефима» или даже Юхвима» (*Лесков,* т. VII, с. 203). Главы 35—38 «Печерских антиков», в которых «пан Юхвим» был главным действующим лицом, Лесков выделил особо и перепечатал в «Церковно-общественном вестнике» (1883, № 52—53) под заглавием «Ефим Ботвиновский (Новый рассказ о трех праведниках)». Ботвиновского Лесков вывел также в рассказе «Владычный суд» (*Лесков,* т. VI, с. 133). А. Н. Лесков имеет в виду следующее место в «Печерских антиках»: «...Ботвиновский был очень видный собою мужчина и, по мнению знатоков, в молодости превосходно танцевал мазурку, и... искусства этого никогда не оставлял, но после некоторых случайностей танцевал «только на именинах» у прихожан, особенно его уважавших» (*Лесков,* т. VII, с. 213).

[132] «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине» («Русская мысль», 1886, № 12) было выпущено в 1887 г. отдельным изданием и включено в состав Собрания сочинений 1890 г. (т. X) и 1903 г. (т. XXX). Переосмысляя прологовое сказание о Христе-учителе, Лесков проводит в рассказе идею веротерпимости, яснее всего выраженную в словах учителя Панфила смотрителю-«младопитателю».

[133] Столкновение между Иваном Андреевичем Лучаниновым и его сыном, Василием, заканчивается полным разрывом отношений.

[134] В письме Н. С. Лескова Ф. А. Терновскому речь идет о «Дневнике» В. И. Аскоченского (*ИВ,* 1882, № 1—9), который «ча-

сто напоминает пошлую песню: Как за речкою мы жили...» (*Лесков,* т. XI, с. 258).

[135] Имеется в виду кн.: Джакомо Леопарди. Разговоры. Пер. А. И. Орлова. СПб., 1888. Одну из апофегм Леопарди из этой книги Лесков цитирует в письме от 5 ноября 1891 г. к Б. М. Бубнову (*Лесков,* т. XI, с. 502).

[136] А. Н. Лесков считает неверным следующее мнение Фаресова: «В жизни близких ему людей его участие иногда бывало менторским, но всегда из самых благородных побуждений, вполне отвечающим его позднейшему направлению».

[137] Статья Н. С. Лескова «Аренсбург (Корреспонденция «Нового времени»)» (1888, № 4437, 7 июля) начиналась словами: «Нынешнее лето в Эзеле (или правильнее на Эзеле — от Oesiliae <...>», откуда, по мнению А. Н. Лескова, русское «Озилия» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 158). *Эзель* — ныне о-в Сааремаа.

[138] Аренсбург, уездный город Лифляндской губ., известный с XIV в. В 20-х годах XIX в. здесь были открыты лечебные серные грязи.

[139] Герой рассказа, дворянин Илья Иванович Кравцов («беспартошный барин»), «достигнув степенного возраста, зачислил себя в бесполые, и на этом основании скинул панталоны и с тех пор ни за что не хотел их надевать... В таком виде он в церковь, разумеется, не мог ходить, а вольного обычая своего ни для чего изменить не хотел». — Лесков Н. С. Русская рознь, СПб., 1881, с. 63.

[140] К П. И. Бирюкову, последователю и биографу Л. Н. Толстого, Лесков относился с большой симпатией. Познакомился Лесков с Бирюковым, видимо, в 1886 г. Письмо П. И. Бирюкова к Н. С. Лескову от 3 января 1889 г. опубликовано в книге «Записки отдела рукописей *ГБЛ»,* вып. 30 (М., 1968, с. 228—231).

[141] Сохранилось 49 писем Н. С. Лескова к В. Г. Черткову (*ЦГАЛИ*), последователю Толстого и основателю издательства «Посредник». Переписывался Лесков и с женой Черткова — Анной Константиновной. В 1880-е годы отношения между Лесковым и Чертковым действительно носили дружеский характер, но позднее выявились серьезные трения и разногласия с «иже по духу» толстовцем. Тон писем Лескова постепенно становится все более сухим. Наконец, с полной откровенностью Лесков пишет В. Г. Черткову 21 января 1891 г.: «Личные наши отношения, к сожалению, должны оставаться в том положении, в которое благоразумие заставило заключить их ввиду Вашей противуобщественной склонности к подозрительности. Я не имею к Вам никакой неприязни, но возможность прежнего задушевного общения у меня отнята, и это не самое худшее, что могло выйти при моем и Вашем харак-

тере» (*Лесков,* т. XI, с. 479). Попытки Анны Константиновны примирить Лескова и Черткова (в 1892 и 1894 г.) успеха не имели. Свою роль в ухудшении отношений Лескова с Чертковым сыграл так называемый «диллоновский инцидент» (см. коммент. 47 к VII части), но особенно обострилась «пря» Лескова не только с Чертковым, но и с другими более симпатичными ему толстовцами (Бирюковым, Горбуновым-Посадовым) после появления в печати «Зимнего дня» с резкими выпадами против «лепетунов» и «непротивленышей».

[142] *«Противомысленным»* — здесь противоположным по духу Бирюкову и Черткову. Лесков был дружески расположен к С. Н. Терпигореву, литературное дарование которого он высоко ценил. Ценя талант Терпигорева, Лесков в то же время неоднократно писал ему об «однообразии» и ложной «манере» (см. письмо от 22 февраля 1894 г. — *Лесков,* т. XI, с. 575—576). Откровенного тона Лесков постоянно придерживался в переписке с Терпигоревым, прекрасно видя и зная не только его достоинства, но и недостатки, тактично и строго выговаривая «любезнейшему Сергею Николаевичу» и редакторски правя рассказы. «Детский рассказ Ваш прочел и изменил его соответственными не в обиду Вашу нотатками, — писал он Терпигореву 15 ноября 1882 г. — Думалось, что Вам это интереснее, чем пустозвонные комплименты» (*ИРЛИ,* ф. 293, он. 1, № 803). Незадолго до смерти обоих писателей отношения между ними ухудшились, о чем подробно рассказывается ниже.

[143] Перечисляются герои следующих произведений Лескова: «Овцебык», «Некуда», «Соборяне», «Котин Доилец и Платонида», «На ножах», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «На краю света», «Пигмей», «Кадетский монастырь», «Несмертельный Голован», «Обнищеванцы», «Штопальщик», «Зверь», «Пугало», «Безграничная доброта», «О художнем муже Никите», «Человек на часах», «Фигура», «Об одной прачке».

[144] У Лескова из всей семьи «яснополянского учителя» были особенно дружеские отношения с Л. Л. Толстым, который в начале 1890-х гг. был приверженцем идей отца и его помощником, принимал деятельное участие в организации помощи голодающим крестьянам в 1891—1892 гг. Некоторое время Лесков был действительно склонен идеализировать Л. Л. Толстого. В частности, в письме к Л. Я. Гуревич от 23 июля 1892 г. он писал: «Это один из нестарших сыновей Л. Н—ча... очень способный и по всему сильно напоминающий (амб. и повторяющий) своего отца. Он натуры сильной и порывистой — (ведет со мною переписку по собственному желанию и *порыву*). Этого «Левушку» в семье особенно любят, и особенно его любит мать, которая говорит: «он похож на

моего старика». Он с умом и талантом...» (*ИРЛИ,* 19888. CXXXVI б. 1). Но о беллетристических опытах Л. Л. Толстого Лесков отзывался сдержанно и иронически. Постепенно восторги Лескова сменят разочарование и критика. Прекращаются встречи, угасает переписка, о чем 18 февраля 1894 г. Лесков сообщает Меньшикову: «Переписка наша с ним «прекратилась» на том, что я ему написал о своем неодобрении к неумеренности в его проповеди, которая по-моему очень неосновательна и даже вредна тем, что ведется крайне неискусно и делает *смешным* то, что он хочет почитать очень серьезным. Это я так понимаю и так ему об этом написал летом 1893 г. из Меррекюля. На этом дело и стало, и я о том нимало не сожалею» (*ИРЛИ,* 22574. CLVII б. 61).

[145] *Клавдия* — героиня «Полунощников», *Лидия* — «Зимнею дня».

[146] Героини произведений Лескова: «Житие одной бабы» («Амур в лапоточках»), «Некуда», «Леди Макбет Мценского уезда», «Обойденные», «Островитяне», «На ножах», «Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)», «Тупейный художник», «Пугало».

[147] А. Е. *Разоренов* — сын крестьянина, участник круга поэтов-суриковцев; широко известно его стихотворение «Не брани меня, родная».

[148] *Тавматурги* — древнегреческие фокусники.

[149] *«Каптенармусом XVIII века»* назвал С. Н. Шубинского Ф. В. Вишневский. Шубинский был автором многочисленных исторических очерков о деятелях и писателях XVIII в.

[150] Столкновения между Лесковым и Шубинским начались уже в 1882 г. С. И. Смирнова-Сазонова записала 24 октября 1882 г. в дневнике: «У Шубинского с Лесковым неприятности. Лесков носит ему статьи о синодальной типографии и т. п. по 5 листов; Ш. их сокращает или не печатает. Л. говорит, что так жить литератору нельзя; пишет ему письма на 4 листах» (*ИРЛИ,* ф. 285, № 4, л. 177—178).

[151] Лесков писал С. Н. Шубинскому 29 апреля 1887 г.: «Редакция «Русской мысли» чрезвычайно хлебосольна. Меня заласкали и закормили. Впечатление они производят чисто «московское». Я этого жанра не люблю и не подхожу к нему. В общем, это какой-то разброд и «семибоярщина», а это, по моему мнению, в редакционном деле никуда не годится» (*Лесков,* т. XI, с. 346).

[152] Статья «Тенденциозная драма» («Дело», 1868, № 2, с. 106—128).

[153] «В кружках литературных и среди читателей, интересующихся тем, что нового является в литературе, быстро распространились и упорно держатся два крайне неприятные мне известия, —

писал Лесков. — Говорят, будто в повести «Зенон златокузнец» под вымышленным именем представлено мною одно недавно умершее лицо русского происхождения, жившее и действовавшее в Москве, и будто это повело к затруднениям, расстроившим мои отношения с редакторами журнала «Русская мысль», почему повесть «Зенон» и не напечатана в этом журнале.

Оба эти сведения совершенно ложны: никакого охлаждения или разрыва в отношениях моих с редакцией «Русской мысли» не происходило. Отношения наши нынче так же дружественны, как они были до сих пор и каковыми я желаю сохранить их навсегда. Во всей повести «Зенон златокузнец» нет ни малейшего намека на какое бы то ни было известное «русское лицо», и никто не может указать ни в одном из лиц повести даже случайного сходства в указанном роде» (*Лесков,* т. XI, с. 240—241). Тем не менее отношения Лескова с редакцией «Русской мысли» осложнились: см. коммент. 8 к VII части.

[154] С редактором-издателем «Недели» и «Книжек Недели» П. А. Гайдебуровым Лесков состоял в многолетней переписке. Осторожность умеренно либерального Гайдебурова часто вызывала раздражение Лескова, что нашло отражение в его письмах к М. О. Меньшикову и Л. Н. Толстому, но во многом Лескову Гайдебуров был симпатичен. «Умер Гайдебуров, — писал он 5 января 1894 г. Л. И. Веселитской. — Это меня очень поразило и огорчило до слез. Он был из хороших людей, и с ним можно было кое-что делать на пользу просвещения тьмы. Число таковых мало, и убыль их тяжела» (*Микулич,* с. 198). Отрывок из воспоминаний П. П. Гайдебурова о П. А. Гайдебурове и Н. С. Лескове см. в «Литературной газете», 1981, № 12, 18 марта.

[155] Об обличительных мотивах рассказа см.: Бухштаб Б. Я. Тайнопись позднего Лескова (Рассказ «Зимний день»). — В кн.: Творчество Н. С. Лескова. Курск, 1977, с. 79—93.

[156] Цитата из письма к А. С. Суворину. — *Лесков,* т. XI, с. 342 (курсив А. Н. Лескова).

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
В ЗЕНИТЕ ЧТИМОСТИ И НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ
1889—1895

(стр. 359—504)

[1] Эпиграф — цитата из письма Н. С. Лескова к Н. П. Крохину от 13 декабря 1889 г. (*ИРЛИ,* ф. 220, № 44).

[2] Лесков, очевидно, имеет в виду двухтомное собрание произведений Н. А. Лейкина «Повести, рассказы и драматические сочинения» (СПб., К. Н. Плотников, 1871).

[3] «Библиография сочинений Н. С. Лескова. За тридцать лет (1860—1889)». — Лесков Н. С. Собрание сочинений, т. X. СПб., 1890, с. I—XXV.

[4] Лесков подчеркивал: Быков *«пожелал мне сделать литературный товарищеский дар* — он сам безвозмездно составил и прислал мне «Библиографию» моих сочинений — дар, глубоко меня тронувший и чрезвычайно мне приятный и полезный... Дар этот сделан мне этим литератором по одной только литературной дружбе, и тем он мне бесконечно дорог» (*Лесков,* т. XI, с. 239). Как свидетельствует П. В. Быков, Лесков обратился к нему с письмом: «Меня уверили, — писал мне своим круглым, оригинальным почерком Лесков, — будто в числе прочих писателей в вашем литературном архиве значится и мое имя и полный список всего, мною напечатанного. Правда ли это? Если правда, то вы окажете мне истинно товарищескую услугу, поделившись со мною вашим списком. Не откажите открыткой уведомить меня — мне ли зайти к вам, или вы меня посетите, и вообще — приемлема ли моя просьба? Нетерпеливо ждать буду интересного свидания, при котором надеюсь выразить вам крайнее удивление кропотливым трудом вашим и сказать много благожеланий» (Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. Л., 1930, с. 161—162). Лесков подарил Быкову также книгу «Гора» с надписью: «Моему слишком снисходительному литературному другу и пособнику П. В. Быкову» (там же, с. 155). Сохранилось содержательное письмо Лескова к П. В. Быкову от 29 июня 1890 г. (*ГПБ,* фонд Быковых, ед. хр. 536). Быков — автор статьи о Лескове во «Всемирной иллюстрации» (1890, т. XLIII, с. 333—334) и некролога в «Новом времени» (1895, № 6819).

[5] В *ОГМТ,* помимо суворинского, хранятся еще два экземпляра библиографии Быкова. Один из них был рабочим экземпляром А. Н. Лескова, внесшего в него много дополнений и уточнений.

[6] Оттиск «Инженеров-бессребреников» действительно попал в духовную цензуру, как это явствует из письма Лескова к В. А. Гольцеву от 20 ноября 1888 г. («Голос минувшего», 1916, № 7—8, с. 401). В письме от 24 ноября 1888 г. Лескова тревожила судьба его «проложных» произведений. Проект Суворина издать проложные повести отдельной книгой встретил серьезное противодействие Победоносцева. Он писал 28 мая 1888 г. Феоктистову: «Опасаюсь, как бы не было кривляний по книге, имеющей церковное значение. Прикажите... присмотреть за этим кому следует» (*ЛН,* т. 22—24, с. 534). Феоктистов успокоил обер-прокурора синода: «Относительно книги Лескова будьте спокойны. Приняты

меры» (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. Т. 1, кн. 2, М., 1923, с. 851). Повесть «Зенон златокузнец» тогда же была послана редакцией «Русской мысли» в духовную цензуру. В письме от 3 января 1889 г. Бирюков рассказал Лескову как обо всех обстоятельствах дела, так и о «нейтральной» позиции, занятой Феоктистовым: «...Феоктистов не запрещал и не разрешал, а отдал его на усмотрение председателю Моск. ценз. комитета... один из попов... показал председателю, что это тема проложная, и тогда тот наотрез отказал. Таким образом... «Зенон» запрещен Московской духовной цензурой...» (Записки отдела рукописей *ГБЛ*. Вып. 30. М., 1968, с. 229). «Нейтральная» позиция Феоктистова в этом деле была равнозначна запрету.

[7] Е. М. *Феоктистов* — прототип Сахарова в «Некуда» («...некий господин Сахаров... очень смахивал на большого выращенного и откормленного кантониста, отпущенного для пропитания родителей. Его солдатское лицо хранило выражение завистливое, искательное, злое и, так сказать, человеконенавистное; но он мог быть человеком, способным всегда «стать на точку вида» и спрятать в карман доверчивого ближнего». — *Лесков,* т. II, с. 327—328). Сахаров действительно в романе герой эпизодический, хотя Лесков и сильно преуменьшает, говоря о «двух строках», ему посвященных.

[8] Печатание повести «Зенон златокузнец» в «Русской мысли» было прервано. Лесков писал Толстому 1 октября 1889 г.: «Поп, которому давали читать, будто «открыл сходство между патриархом и Филаретом», после чего будто «Русская мысль» «*ахнула, и сама отказалась печатать*» (Письма Толстого и к Толстому, М.—Л., 1928, с. 72). Попытка пристроить повесть в «Неделе» П. А. Гайдебурова тоже оказалась неудачной (см. об этом: Фаресов А. И. А. К. Шеллер. СПб., 1901, с. 135—136). Повесть под измененным заглавием «Гора» появилась в «Живописном обозрении» А. К. Шеллера (1890, № 1—12). Под новым заглавием вышел «Зенон» и отдельным изданием: «Гора. Роман из египетской жизни Н. С. Лескова», СПб., 1890.

[9] «Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове» Е. И. Борхсениус хранятся в *ЦГАЛИ* (ф. 275, он. 1, № 822).

[10] О шестом томе см.: Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России. 1825—1904. М., 1962, с. 174—175.

[11] Книга находится в *ОГМТ.*

[12] В. П. Буренин в «Критическом очерке» резко отозвался об «Аскалонском злодее» Лескова (*НВ,* 1889, № 4964). Редактор газеты А. С. Суворин выступил в защиту Лескова. В примечании к своему рассказу «Аскалонская верность» Суворин писал: «Я не

разделяю мнения В. П. Буренина, что легенды «Пролога» будто бы незачем обрабатывать, не разделяю не только потому, что в этом сам я повинен, но и потому, что легенды эти, обработанные искусно, могут преобразиться в такие прекрасные вещи, как «Аза» того же Н. С. Лескова, который и открыл этот новый источник для рассказов на нравственные и религиозные темы» (*НВ,* 25 декабря 1889, № 4967).

[13] Лесков имеет в виду слова Иоанна в последней сцене трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» («Я понял взгляд твой! — Ты меня убить — // Убить пришел...»).

[14] Знакомство И. С. Лескова с А. Н. Толиверовой состоялось в 1881 г. Отношения между ними установились дружеские, хотя временами они и омрачались несдержанными посланиями и высказываниями Лескова, которые действительно с терпением и снисходительностью сносила издательница «Игрушечки». В этом журнале Лесков поместил рассказы «Христос в гостях у мужика» (1881, № 1), «Лев старца Герасима» (1888, № 4), «Дурачок» (1891, № 1). О самом журнале и деловых качествах издательницы Лесков был невысокого мнения и часто посылал ей в письмах «напрягаи». В рукописном отделе *ИРЛИ* хранятся 134 письма Лескова к Пешковой-Толиверовой. Письма последней к нему неизвестны.

[15] «Пренебрегите, пожалуйста, тем, какой у меня «вид»! Пусть его смотрит полиция. Иначе я буду от вас прятаться, как прячусь от многих других, не умеющих снисходить к тяжким моим терзаниям, о которых со мною или при мне вспоминать не следует», — писал Лесков «немилосердной» Александре Николаевне Толиверовой 21 ноября 1891 г. (*Лесков,* т. XI, с. 503—504).

[16] В «Московских ведомостях» 25 сентября была помещена статья, в которой рассматривались отношения Турции к Боснии и Герцеговине.

[17] Толстой Л. Н. Предисловие к «Краткому изложению Евангелия». — *Толстой,* т. 24, с. 801—816.

[18] Эта книга «Изречения в прозе Гете», М., 1885, находится в *ОГМТ.* Лесков часто обращался к ней. В частности, Лесков наставлял Б. М. Бубнова (14 мая 1891 г.): «Помни Гете: «Не всегда необходимо, чтобы истинное (сейчас) воплощалось: достаточно, чтобы оно *духовно витало* перед нами и *вызывало согласие,* — чтобы оно как звук колокола *гудело в воздухе».* (*Лесков,* т. XI, с. 490). Ср. там же письмо к А. С. Суворину от 31 декабря 1889 г. (с. 453).

[19] Видимо, Лесков читал гектографированные экземпляры «Исповеди» и статьи «В чем моя вера?»

[20] См.: *Лесков,* т. XI, с. 317.

[21] См.: там же, с. 319.

[22] См.: *Толстой,* т. 86, с. 49.

[23] Н. В. Яковлева (псевдоним Н. Ланская) сотрудничала в «Книжках «Недели». Лесков дорожил мнением Ланской и похвально отзывался о «гибкости» ее рассказов в письмах к А. С. Суворину от 25 декабря 1889 г. (*Лесков,* т. XI, с. 450) и Л. Н. Толстому от 12 января 1893 года (Письма Толстого и к Толстому, с. 133).

[24] Статья Лескова «Лучший богомолец (Краткая повесть по Прологу с предисловием и послесловием о «тенденциях» гр. Л. Толстого)» была напечатана в *НиБГ,* 1886, № 109, 22 апреля (см.: *Лесков,* т. XI, с. 100—113).

[25] Выражение из письма Лескова к А. И. Фаресову (конец 1893), которое последний цитирует в книге «Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов). Биография и мои о нем воспоминания». СПб., 1901, с. 13.

[26] Толстой, восхищенный рассказом, посылает письмо Лескову. Это письмо не сохранилось; о его содержании мы можем судить по ответу Лескова от 4 января 1891 г.: «Получил я Ваши ободряющие строчки по поводу посланного Вам рождественского № «Петербургской газеты». Не ждал от Вас *такой* похвалы...» (*Лесков,* т. XI, с. 472).

[27] Фельетон А—та (псевдоним В. К. Петерсена) «Жизнь и фантасмагория».

[28] См.: *Толстой,* т. 65, с. 222.

[29] См.: *Толстой,* т. 87, с. 68. Неизменно высоко отзывался Толстой о рассказе Лескова и позднее, см., в частности, «У Толстого, 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого», кн. 1, с. 185, кн. 2, с. 35 (*ЛН,* т. 90).

[30] В переработанном виде Толстой включил рассказ (под названием «Под праздник обидели») в первое издание «Круга чтения» (между 21 и 22 июля). Еще раз обработал Толстой рассказ для детского «Круга чтения» («Воров сын»). Анализ этой переработки Толстого дан в статье М. П. Бойко («Толстой-редактор», М., 1965, с. 249—261).

[31] А. Н. Лесков прерывает фразу, что невольно искажает мысль писателя: «Вы вот все убегаете соединения мыслей вкупе, а я ищу единомыслия, но, во всем подлегая величию ума Л. Н., я не могу принять их (толстовцев. — *Н. С., В, Т.*) взгляда на отношение полов, как несогласное с требованием природы и задачею человечества — совершенствоваться в целой цепи поколений, обязанных явиться по благословению: «множьтесь» (*Лесков,* т. XI, с. 540).

[32] Статья М. О. Меньшикова («Книжки «Недели»», 1893, № 11, с. 192—238) была написана по поводу статьи Л. Н. Толстого «Неделание». В целом Лесков высоко оценил это выступление кри-

тика. «Статьи его все очень хороши, а «Работа совести» — превосходна», — писал он Толстому 14 декабря 1893 г. (*Лесков,* т. XI, с. 570); Фаресов приводит следующий отзыв на статью Меньшикова: «Готов и третий раз читать эту статью. Такая деликатность в ней. У нас давно так не писали. Я только у Маколея встречал почтительность к великим людям и почтительное молчание даже перед их ошибками и недостатками... Вот ведь какая нежность у этого Меньшикова к Л. Н. Толстому. Прелестная статья! Давно я не читал ничего подобного» (*Фаресов,* с. 211).

[33] Статья Лескова «Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи» (*НиБГ,* 1883, № 1—3). Об «изгнании» из Министерства народного просвещения см. ч. VI, гл. 2.

[34] Слова Третьего мужика из «Плодов просвещения» Л. Толстого.

[35] См, очерк Л. Я. Гуревич «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом» в ее книге «Литература и эстетика» (М., 1912, с. 276—295). 29 июня Гуревич обратилась с просьбой к Лескову: «Мне очень хотелось бы поговорить с Толстым и добиться у него чего-нибудь... Я хотела попросить у Вас доброго совета: как именно нужно было бы завести отношения с Т. так, чтобы это было и ему не противно и нам не обидно? Если Вы не очень тяготитесь письмами, я была бы Вам бесконечно обязана, если бы Вы что-нибудь сказали мне по этому поводу» (*ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 1, ед. хр. 226). Лесков горячо откликнулся на просьбу Гуревич. В письме к ней от 2 июля 1891 г. он сообщает о своих хлопотах и дает ценный совет: «О намерении Вашем побывать в Ясной Поляне скажу, что это хорошо: Л. Н. человек преполезный, но я знаю, что он болен, и потому не решился ему писать о Вашем намерении, а пишу об этом графине Софье Андреевне и письмо черновое посылаю Вам, чтобы Вы знали, что я о Вас писал... С Л. Н. советую быть откровенною, прямою и искреннею, т. к. он *чрезвычайно проницателен,* а с доверчивыми людьми и сам становится доверчив» (*ИРЛИ,* ф. 89, № 19988).

[36] Ср. запись М. О. Меньшикова от 20 августа 1896 г., передающего следующее высказывание Толстого: «Меня очень поразило, что Лесков так всецело примкнул к нам на старости лет, но я всегда ждал бессознательно, что он возьмет да и выкинет что-нибудь...» («Прометей», т. 12, М., 1980, с. 249). Толстого в письмах Лескова, очевидно, смущала неизменная почтительность, нередко доходившая до боготворения, за что он мягко выговаривал Лескову, прося изменить «тон» писем. Но Лесков отказался это сделать, объяснив свое нежелание в письме к Толстому от 18 мая 1894 г.: «Прилагательные» в начале писем, равно как и «уверения» перед подписью — *ужасны,* и я это чувствую всю жизнь,

и Тургенев, помнится, этим томился. Я и отступаю от этого давно, где только это совсем противно тому, что я чувствую, я мы все, с вашего почина, это поослабили; но вам я пишу с прилагательным, во 1-х, потому что оно выражает то, что я чувствую, а во 2-х, что мне было бы чрезвычайно неприятно обращаться к вам иначе. Панибратство с вами было бы большею искусственностью и манерностию, чем привычка и *потребность* держать с вами тон простой и искренней почтительности, к которой нас обязывает и благодарность к вам за труды, понесенные вами на общую человеческую пользу» (Письма Толстого и к Толстому, с. 166—167).

[37] Предположения А. Н. Лескова, что Л. Н. Толстой «поддерживал» переписку с Лесковым «более из дружеской учтивости...» противоречат высказываниям самого Толстого и членов его семьи (Т. Л. Сухотиной, в частности), а также и свидетельствам большинства современников. Толстой, вне сомнения, весьма дорожил дружественными и деловыми отношениями с Лесковым.

[38] Сохранилось 51 письмо Лескова к Толстому (49 писем опубликованы в книге «Письма Толстого и к Толстому», М.—Л., 1923 и одно — С. А. Розановой. — *ВЛ,* 1960, № 11, с. 88—90) и только 10 писем Толстого к Лескову. Большая часть писем Толстого к Лескову нам неизвестна.

[39] П. А. Сергеенко писал 5 апреля 1887 г. В. Г. Черткову: «Относясь всегда с особенной теплотой к Лескову и Н. Страхову, как к людям, он и при жизни их и после смерти постоянно говорил, что в их бочках с медом есть изрядная доля дегтя» («Толстовский ежегодник», 1913, отд. II, с. 53). Слова Сергеенко не подтверждаются другими современниками Толстого, в том числе и такими точными и объективными, как В. Ф. Булгаков, Д. П. Маковицкий, Н. Н. Гусев.

[40] Лесков 27 января 1893 г. писал Веселитской о семействе Толстого: «Это ведь удивительное по простоте семейство (конечно, в лице отца, двух дочерей и сына «Левы»). Впрочем, я чту и саму графиню, которой «проходит меч в душу» (*Лесков,* т. XI, с. 529).

[41] У Н. С. Лескова буквально: «Но я всегда от Вас беру огня и засвечиваю свою лучинку и вижу, что идет у нас ровно, и я всегда в философеме моей религии (если так можно выразиться) спокоен, но *смотрю на Вас,* и всегда напряженно интересуюсь: как у Вас идет работа мысли. Меньшиков это отлично подметил, понял и истолковал, сказав обо мне, что я «совпал с Толстым» (*Лесков,* т. XI, с. 591—592).

[42] Цитируется «Наша общественная жизнь». (*Салтыков-Щедрин,* т. 6, с. 234).

[43] Готовя письма к публикации, Веселитская перечеркнула конец письма с высказываниями писателя о Бирюкове и «лепетунах».

[44] Фаресов приводит много ценнейших высказываний Лескова о Толстом и толстовстве. Лесков отвергает суд современной критики над Толстым: «Все вы неправы в том, что обязываете Толстого непременно писать для настоящего времени. Он имеет право на два века вперед смотреть <...>. До смешного доходит эта полемика наших журналистов, не умеющих даже понять того, что они возражают не по адресу Л. Н. Толстого и не понимают даже его исходной точки зрения» (*Фаресов,* с. 309—310). Но одновременно горестное недоумение Лескова вызывают крайности и «чудачества» проповеди Толстого; особенно резки оценки Лесковым толстовцев (там же, с. 314—321).

[45] Герой «Пустоплясов» (*СВ,* 1893, № 1), дед Федос, так отвечает своим односельчанам: «Я ведь уж не раз сознавался вам, что в молодых годах я много худого делал, так неужели же и вам теперь должен советовать делать худое, а не доброе! Эх, неразумные! С пьяным-то, чай, ведь надо говорить не тогда, когда он пьян, а когда выспится. Молодой я пьян был всякой хмелиною, а теперь, слава богу, повыспался».

[46] Мнение Лескова о Салтыкове-Щедрине, Г. Успенском и Н. Михайловском крайне несправедливо и тенденциозно, рассуждения же о «литературных гонорарах» являются повторением досужих окололитературных сплетен, которым отдает здесь дань писатель.

[47] Э. М. *Диллон* — корреспондент газеты «Daily Telegraph», с согласия Л. Н. Толстого 14 января 1892 г. опубликовал на английском, французском и датском языках большие отрывки из статьи «О голоде», под заглавием «Почему голодают русские крестьяне». 22 января 1892 г. газета «Московские ведомости» перепечатала выдержки из статьи (в обратном переводе с английского) и так их «комментировала»: «...письма гр. Толстого... являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». После этой публикации в прессе началась антитолстовская кампания и распространились слухи о репрессиях, готовящихся против Толстого. С. А. Толстая разослала в редакции иностранных газет письмо-опровержение на статью в «Московских ведомостях», Л. Н. Толстой послал 12 февраля 1892 г. опровержение в редакцию газеты «Правительственный вестник». «Правительственный вестник» письмо не напечатал. Оно появи-

лось в «Русской жизни», в «Новом времени», в «Новостях», в «Московском листке». Диллон, переводчик статьи, попал в неудобное положение и вынужден был сам обратиться в газету «Московские ведомости». Лесков предпринял энергичные меры ради восстановления чести английского корреспондента, он считал неправомерным вмешательство С. А. Толстой. Толстой признал аргументы Лескова в защиту Диллона, невиновного в провокационной публикации «Московских ведомостей». О событиях, развернувшихся вокруг статьи Толстого, см.: Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979, с. 251—255.

[48] Цитата из письма Н. С. Лескова к М. О. Меньшикову от 15 февраля 1894 г. (*ИРЛИ,* ф. 22574, CLVIII б. 61).

[49] *Лесков,* т. XI, с. 279.

[50] Письмо Лесковым не было отправлено.

[51] Оба фельетона Буренина подписаны его псевдонимом: «граф Алексей Жемчужников». В первом — «Театр «Нового времени» — Лесков карикатурно изображен в главе «Благолживый Авва, литературный древокол». Здесь «Авва», выпив и закусив «убоиной», сочиняет «для январской книжки журнала «Опресноки» фельетон «о вреде употребления в снедь убоины». Во втором — «Литературный вечер. Символический рассказ» — в главе «Благораскаянный Тамва» Буренин издевается над намерением Лескова издать поваренную книгу «безубойного питания».

[52] Чехов А. П. Письма в двенадцати томах, т. 5, М., 1977, с. 163.

[53] Там же, с. 283—284. «Вегетарианства» Чехов в данном письме почти не касается; речь в нем главным образом идет о «толстовской морали», «толстовской философии».

[54] Е. Д. *Хирьякова,* жена А. М. Хирьякова («Модестыча»), видного деятеля толстовского издательства «Посредник» и хорошего знакомого Лескова, оставила интересные воспоминания о Лескове последних лет жизни. Фрагмент из них напечатан в «Литературной газете» (1981, № 12, 18 марта).

[55] С. С. Уваров, министр народного просвещения в 1833—1849 гг. был известен своей реакционной деятельностью, являлся создателем формулы «православие, самодержавие, народность». Н. Г. Чернышевский назвал его идеологом «казенной народности».

[56] Неточная цитата из начальной части очерка Салтыкова-Щедрина «Первое ноября. — Первое декабря», не введенного автором в отдельное издание «Круглого года» (1880). У Щедрина: «человек, стучащий мертвыми дланями в пустые перси». Эти слова, и вновь неточно («намучился среди людей, «ударяющих в

пустыя груди сухими дланями»), Лесков цитирует в письме к Л. Я. Гуревич от 23 июля 1892 г.

[57] Статья В. Модестова «Г. Фет и г. Нагуевский» («Новости», 1888, 25 января, № 25).

[58] Речь идет о «частных занятиях», т. е. о доносах В. П. Бурнашева в III Отделение.

[59] Так шутливо назвал Лесков С. Н. Терпигорева в письме к нему от 21 октября 1889 г. (*Лесков,* т. XI, с. 442).

[60] Лескову показались неоправданными оптимистические прогнозы Репина в письме последнего к нему от 19 февраля 1889 г. Репин писал: «Но я убежден, что народится поколение более даровитых, следовательно, и более возвышенных духом натур, они с презрением отвернутся от всего пустозвонного хлама; сильный ум потребует другой пищи и других развлечений. Идеи же, настоящие, глубокие идеи, как высшее проявление разума, всегда незыблемо будут стоять в интеллектуальном мире, как звезды на небе, и везде будут влечь к себе лучшие сердца, лучшие умы». — Репин И. Е. Письма к писателям и литературным деятелям. М., 1950, с. 42.

[61] Письмо к Пыляеву приблизительно датируется: 1888, февраля или августа 27, суббота (*Ежегодник 1971,* с. 70).

[62] Два письма Лескова к Г. Л. Кравцову (декабрь 1884 г.) опубликованы в сб. «Привет» (СПб., 1898); автографы хранятся в *ИРЛИ.*

[63] См.: *Лесков,* т. XI, с. 598—599.

[64] Эти суждения Лескова о «новых писателях» субъективны. Они не были постоянными; вскоре Лесков разочаруется в «таланте» Величко и, напротив, высоко оценит произведения Гаршина, Короленко и особенно Чехова. (См. с. 481 наст. тома.)

[65] А. Н. Лесков имеет в виду воспоминания Л. И. Веселитской (В. Микулич), Е. И. Борхсениус, А. Н. Пешковой-Толиверовой и, видимо, особенно свидетельства В. Н. Нога, на которые часто опирался А. А. Измайлов в книге «Лесков и его время».

[66] Видоизмененное выражение Лескова (в беседе с Фаресовым) «соблазнители смысла» (*Фаресов,* с. 411).

[67] В 1880-е годы Лесков «осуждал» «выходки» Буренина (особенно его возмутила злая статья об умиравшем поэте С. Я. Надсоне) (*Лесков,* т. XI, с. 337). Удовлетворила Лескова статья Буренина о его Собрании сочинений (*НВ,* 1889, 2 июня), в которой он был причтен к числу «наиболее крупных и *оригинальных* беллетристов шестидесятых годов». В те годы отношения между Лесковым и Бурениным не были напряженными, о чем свидетельствуют четыре письма Лескова к критику (*ВЛ,* 1981, № 2, с. 215—218). В 1890-е годы в «Новом времени» Буренин

поместил несколько резких по тону «ругательных» заметок о новых сочинениях Лескова. Л. С. Суворин по поводу одной из них (об «Аскалонском злодее») возражал Буренину, но, как правило, не препятствовал «травле». Все высказывания Лескова о Буренине в эти годы исключительно резки. Волынский вспоминает: «А вот *он»* <...> неизменно начинал Лесков... Собственного имени при этом и не говорилось, но опытные слушатели знали, что этот неприятный *он* есть не кто иной, как нововременский фельетонист Буренин. Лесков разражался бурною филиппикою, из которой в сотый раз можно было узнать, как Буренин оскорбил однажды двух дам, отнеся их к *публичным* деятелям». (Волынский А. Л. Н. С. Лесков. Критический очерк. Пг., 1923, с. 216).

[68] В картотеке А. Н. Лескова имеется следующая запись: «В неизданном и незаконченном наброске «Памятные встречи (Отрывки из воспоминаний)» намечался «случай» под заглавием «Соляной столб». Под именем Плисов, по-моему, подразумевались Н. Н. Ге и два его сына, разных направлений. *Столп* — жена старика Ге, одна из «жен Лотовых», умеющих стать столбом соляным» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 798). Отрывок из очерка см.: «Литературная газета», 1981, 18 марта, № 12, с. 6.

[69] Отношение Н. С. Лескова к философу и поэту В. С. Соловьеву было двойственным, неоднозначным. В конце 1880-х — начале 1890-х годов они часто встречались в кружке М. Г. Муретовой. Соловьев помог Лескову с публикацией острого, антицерковного художественного памфлета «Полунощники». В письмах и устных высказываниях Лесков часто ставил рядом имена Вл. Соловьева и Льва Толстого как наиболее оригинальных и острых мыслителей современности, но не менее часто он противопоставлял Льва Толстого Владимиру Соловьеву, явно отдавая предпочтение первому. Наибольшие возражения у Лескова вызывали религиозные концепции Соловьева — его «церковность», догматизм. Постепенно эти, поначалу разрозненные и как бы частные полемические упреки, перерастали в серьезное принципиальное неприятие «догмы» Вл. Соловьева. В этом смысле примечательны исполненные иронии слова Лескова о выступлении Вл. Соловьева на тему «Чтения о богочеловечестве»: «Эти лекции у него были бредом сумасшедшего, и чем менее они были понятны, тем более имели успех... Сидят старики, почтенные люди и слушают, как мальчик с длинными волосами, в белом галстуке, несет вздор, и слушают внимательно, серьезно...»

[70] Этими словами начинается письмо Лескова к А. С. Суворину от 5 марта 1871 г. (*Лесков,* т. X, с. 297).

[71] *Харун ар-Рашид* (в старом написании Гарун аль-Рашид) — халиф конца VIII — начала IX в., герой многих исторических

повестей и рассказов; по преданию, имел обыкновение переодетым бродить ночью по городу.

[72] Лесков писал С. И. Смирновой-Сазоновой 18 ноября 1892 г.: «Я всегда знал, что Вы очень умная и изящная писательница...» (*ВЛ,* 1981, № 2, с. 221). Строки из фельетона С. Смирновой «Европа подо льдом» (*НВ,* 1892, 18 ноября), «остроумной писательницы», по определению Лескова, послужили эпиграфом к рассказу «Импровизаторы».

[73] А. Н. Лесков, цитируя слова в записи Фаресова, опускает контекст. В книге Фаресова речь идет о другом: о принципиальном отказе Лескова жить на широкую «ногу»: «Я живу не скуповато, а живу как хочу; а помогаю — как могу... Разве лучше совсем отказывать?.. Если я не устраиваю теперь у себя кормленье гостей по вечерам, а угощаю их чаем, то это не из расчетливости, а просто мне перестало нравиться видеть у себя буфет, да и прислугу жаль беспокоить до полночи... Так и во всем остальном. Живу — как хочу!» (*Фаресов,* с. 128).

[74] «Поступки Толстого «есть чудачество» (возможно, цитата из письма Суворина. — *В. Т., Н. С.*), но они в народном духе. Разве Вы думаете, там тоже не чудачат? Но ведь без этого нельзя» (*Лесков,* т. XI, с. 288).

[75] В голодный 1891 г. Лесков обратился к Толстому с просьбой написать ему, «нужно ли нам в это горе встревать и что именно пристойно нам делать?» (*Лесков,* т. XI, с. 491; письмо от 20 июня 1891 г.). Толстой ответил Лескову пространным письмом от 4 июля, которое Лесков позволил скопировать А. И. Фаресову. Без ведома Лескова и Толстого Фаресов опубликовал отрывки из письма. Публикация вызвала полемическую бурю. Особенно серьезны были обвинения Н. К. Михайловского, утверждавшего, что письмо «многих, и в том числе и почитателей гр. Толстого, неприятно поразило, надо сказать, извилистостью своей мысли и своею доктринерскою черствостью» (*РМ,* 1892, № 1). В статье «Голодные харчи Толстого» Лесков писал о своей непричастности к публикации письма Толстого. А в заметке «Нападки г. Михайловского на Л. Толстого», опубликованной Лесковым в «Петербургской газете» (1892, № 19, 20 января; подпись: «Н»), отвечал главным образом Михайловскому: «Г. Михайловский налегает на Л. Толстого за жестокие чувства, выраженные будто в его *частном письме,* попавшем в печать при злополучном участии слишком поспешного постороннего лица и газеты, которая была слишком невнимательною к своему праву оглашать попавший в руки редакции список с частного письма, не предназначенного для печати..., упоминаемое письмо Л. Н. Толстого к одному литератору напечатано в «Новостях» *не в целом виде, а*

с очень значительными и весьма существенными исключениями важных мест и мыслей... исключения эти сделаны не Л. Н. Толстым и не литератором, которому письмо было писано, а сделаны эти вымарки *произвольно* и бесправно — или редактором «Новостей», или тем лицом, которое сочло себя вправе доставить список с письма в «Новости» для его опубликования».

Лесков извинился перед Толстым (в письме от 6 сент. 1891 г.) и получил от него благожелательный ответ (от 14 сент.), который его обрадовал и утешил. В свою очередь писатель решил простить «Фрейшица» (так Лесков называет Фаресова в покаянном послании к Толстому от 6 сент.).

[76] И. И. Ясинский в карикатурном духе излагает нравоучения одержимого «сластобесием» «большого ересиарха» Лескова, якобы пытавшегося убедить его в том, что «в Домострое сокрыто не одно зерно истины» и что «нужно возвратиться к добрым, старым нравам, иначе погибнем». А. Н. Лесков безусловно прав. Ясинский сильно искажает факты, идеализируя себя и соответственно снижая образ Лескова до примитивной карикатуры.

[77] Очередной и серьезный конфликт между Фаресовым и Лесковым возник в связи с полемикой вокруг книги И. И. Юзова (Каблица) «Основы народничества. Социологические очерки». Фаресов с очень значительными купюрами и «исправлениями» приводит письма Лескова к нему (*Фаресов,* с. 235—240). (Ср. *Лесков,* т. XI, с. 563—566.) Он смягчает или полностью устраняет все резкие, лично его задевавшие слова Лескова. Очевидно также, что «упрек» Н. С. Лескова Фаресову не был «совершенно напрасным», как он стремился доказать в книге «Против течений» (*Фаресов,* с. 235).

[78] См.: ч. IV, гл. 11 «Внимание «сфер» и великосветские почитатели».

[79] См.: *Лесков,* т. XI, с. 208—213. «Появилось историческое воспоминание о Гоголе, которое кажется мне лживым с начала и до конца, и во всех подробностях», — писал Лесков 16 июня 1891 г. Б. М. Бубнову о статье Ясинского. Лесков справедливо указывал на ряд несообразностей в статье Ясинского, но в свою очередь и сам допустил неточности. Его оценка статьи слишком резка, что, бесспорно, объясняется во многом напряженными отношениями между Лесковым и Ясинским.

[80] См.: *Толстой,* т. 42, с. 269.

[81] См.: запись в дневнике С. А. Толстой от 11 августа 1897 г.: «Утром приехал Ломброзо. Маленький, очень слабый на ногах старичок, слишком дряхлый на вид по годам, ему 62 года... Я вызывала его на разговоры, но он мало дал мне интересного... Про воспитание говорил, что оно почти бессильно перед врожден-

ностью свойств, — и я с ним согласна» (Толстая С. А. Дневники, т. I, М., 1978, с. 282—283; ср.: *Толстой,* т. 53, с. 150).

[82] В *ОГМТ* находится книга А. Шопенгауэра «Афоризмы и максимы» (СПб., 1892, т. 2) с многочисленными пометами Лескова.

[83] Фрагмент из Сафо, сохранившийся только в прозаическом пересказе Аристотеля, цитируется А. Н. Лесковым по кн.: Макаров Н. П. Энциклопедия ума, СПб, 1878, с. 300.

[84] Об «интересном дне» в «Смехе и горе» рассуждает философ-становой: «Да, когда отворится дверь в другую комнату, Аполлон Николаевич Майков с поэтическим прозорливством подметил это любопытство у Сенеки в его разговоре с Луканом в «Трех смертях!». Согласитесь, что это самый интереснейший момент в человеческой жизни» (*Лесков,* т. 3, с. 488).

[85] Лесков широко цитирует высказывания Сковороды в «Заячьем ремизе» (см. об этом: Левандовский Л. И. К творческой истории повести Лескова «Заячий ремиз». — *РЛ,* 1971, № 4, с. 124—129).

[86] «И все мне слышалось: «двистительно» так и надобно» (*Лесков,* т. XI, с. 472).

[87] «Зверство» и «дикость», — с грустью писал Лесков, — растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно бездеятельны до ничтожества. И при этом еще какой-то шеренговый марш в царство теней — отходят все люди лучших умов и понятий. Вчера умер Елисеев, а сегодня лежит при смерти Шелгунов... Точно магик хочет дать представление и убирает то, что к этому представлению не годно; а годное сохраняется...» (*Лесков,* т. XI, с. 477).

[88] Цитата из письма Лескова к Л. Н. Толстому от 4 января 1893 г. (*Лесков,* т. XI, с. 520).

[89] Двадцатипятилетие журнала.

[90] «В 44 № «Еженедельного обозрения» упоминается о намерении почтить меня каким-то знаком внимания по поводу исполнившегося двадцатипятилетия моих занятий литературой. Там сказано, что намерение это *«отложено»* на 1885 год. — Дозвольте мне сказать, что это намерение не *отложено, а совсем оставлено,* по усердной моей просьбе, для которой я имел уважительные, в моих глазах, причины» (*Лесков,* т. XI, с. 228).

[91] Цитата из письма Лескова к М. О. Меньшикову от 15 февраля 1894 г.

[92] А. В. Жиркевич служил в то время в Вильне помощником военного прокурора. Его книга «Картинки детства» (СПб., 1890) была сурово осуждена Толстым (*Толстой,* т. 65, с. 120—121). Лесков в письмах к Жиркевичу всецело поддержал Толстого.

[93] Этому письму Лескова предшествовали еще три (от 7, 16

и 23 января 1895 г.). См. публикацию В. А. Жданова: «Четыре письма Н. С. Лескова к А. В. Жиркевичу» (*РЛ,* 1963, № 4, с. 203—207).

[94] Фаресов цитирует это письмо на с. 296—297. Он же приводит такое беседное высказывание Лескова о Жиркевиче: «В последнее время... я переписываюсь с одним из членов судебного ведомства в Западном крае, и этот судебный господин убеждает меня в том, что и литератор судит жизнь, и он также; что это одно и то же занятие. Послал и я ему письмо, чтобы он понял разницу слов: судить и осуждать, оценивать и разговаривать... Обижается он также и на Л. Н. Толстого, полагая, что тот не отвечает ему письмом за его «мундир». Пришлось заступиться за Льва Николаевича и вместе с тем повторить и ему мой взгляд на службу» (с. 296).

[95] Об этой встрече Лесков писал С. Н. Шубинскому 30 июня (12 июля) 1884 г.

[96] «Он стал мне рассказывать полушутя-полусерьезно о своем свидании и примирении с Т. И. Филипповым и с писательницей А. А. Виницкой. С обоими у него были недоразумения и с обоими он расстался в раздражении. А теперь они почему-то вспомнили о нем и пришли мириться. Два примирения на одной неделе! Хотя Николай Семенович не выглядел слишком худо, мне стало как-то особенно, чуть не до слез, жаль его» (*Микулич,* с. 205).

[97] В письме от 5 сентября 1893 г. к М. О. Меньшикову: «... Ноздрев, живущий в благородной душе Атавы...» (*Лесков,* т. XI, с. 658).

[98] А. П. Чехов писал брату Александру о своем знакомстве с Лесковым: «С Лейкиным приезжал и мой любимый писака, известный Н. С. Лесков. Последний бывал у нас, ходил со мной в Salon, в Соболевские вертепы... Дал мне свои сочинения с факсимиле. Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: «Знаешь, кто я такой?» — «З н а ю». — «Нет, не знаешь... Я мистик...» — «И это знаю...» Таращит на меня свои старческие глаза и пророчествует: «Ты умрешь раньше своего б р а т а». — «Может б ы т ь». — «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши». Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу. Человечина, стоящий внимания. В Питере живучи, погощу у него. Разъехались приятелями» (Ч е х о в А. П. Письма в двенадцати томах, т. 1, М., 1974, с. 88; письмо датируется между 15 и 28 окт. 1883 г.).

[99] Отъезд Н. Ф. Зандрока, управляющего книжным магазином в Петербурге, состоялся в феврале 1893 г. Лесков писал 5 февраля А. Н. Толиверовой: «Уходит Зандрок — «человек во всем

значении этого слова». Я его люблю и уважаю за его основательно мне известные достоинства и преимущества. Он беден и не сребролюбив .» («Литературная газета», 1981, № 12, 18 марта).

[100] О судьбе архива Н. С. Лескова см. статью Ю. П. Благоволиной и Г. В. Зиминой «Из архива Н. С. Лескова (Заметка Н. С. Лескова и письма к нему) » (Записки отдела рукописей *ГБЛ,* вып. 30. М., «Книга», 1968, с. 205—212).

[101] См.: Чехов А. П. Письма в двенадцати томах, т. 6, М., 1978, с. 28. В этом же письме Чехов рассказывает о своей последней встрече с Лесковым: «Как-то странно, что мы уже никогда не увидим Лескова. Когда я виделся с ним в последний раз, он был весел и все смеялся: «А Буренин говорит, что я бифштексы лопаю»; и свое здоровье он характеризовал так: «Это не жизнь, а только житие» (там же).

[102] Лесков имел в виду «Мелочи архиерейской жизни»,

[103] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Два сокола» (1829).

[104] Об этом см. ч. III, гл. 8 «Отвержение от литературы».

[105] Лесков писал Протопопову, что его «критике ... (вообще мне *приятной)* — недостает *историчности»* (*Лесков,* т. XI, с. 508).

[106] См. коммент. 102 к VI части.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

---

* В указатель включены имена лиц, упоминаемых в тексте книги. Цифры, обозначающие страницы вступительной статьи и комментариев, даны курсивом. Сведения об именах, раскрытых в комментариях, в указателе не повторяются.

Указатель составили Н. Л. Сухачев и В. А. Туниманов.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЕРЕТИЧЕСТВО
1874—1881

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
НА ПУТИ К МАСТИТОСТИ
1891—1889

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
В ЗЕНИТЕ ЧТИМОСТИ И НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ
1889—1895

Лесков А. Н.

Л50 Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям. В 2-х т. Т. 2. Ч. V — VII / Подгот. текста и коммент. В. Туниманова и Н. Сухачева. — М.: Худож. лит., 1984. — 607 с. (Лит. мемуары).

Второй том книги А. Лескова об отце охватывает период с 1874 г. до смерти Н. С. Лескова в 1895 г., период расцвета творчества писателя, его сложных нравственных исканий, противоборства официальной печати, дружбы с Толстым и другими деятелями русской культуры.

Л $\frac{4702010100-337}{028(01)-84}$ 25-84 **ББК 84Р1 8Р1**

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕСКОВ

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА

Том второй

Редактор Ч. Залилова

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор О. Ярославцева

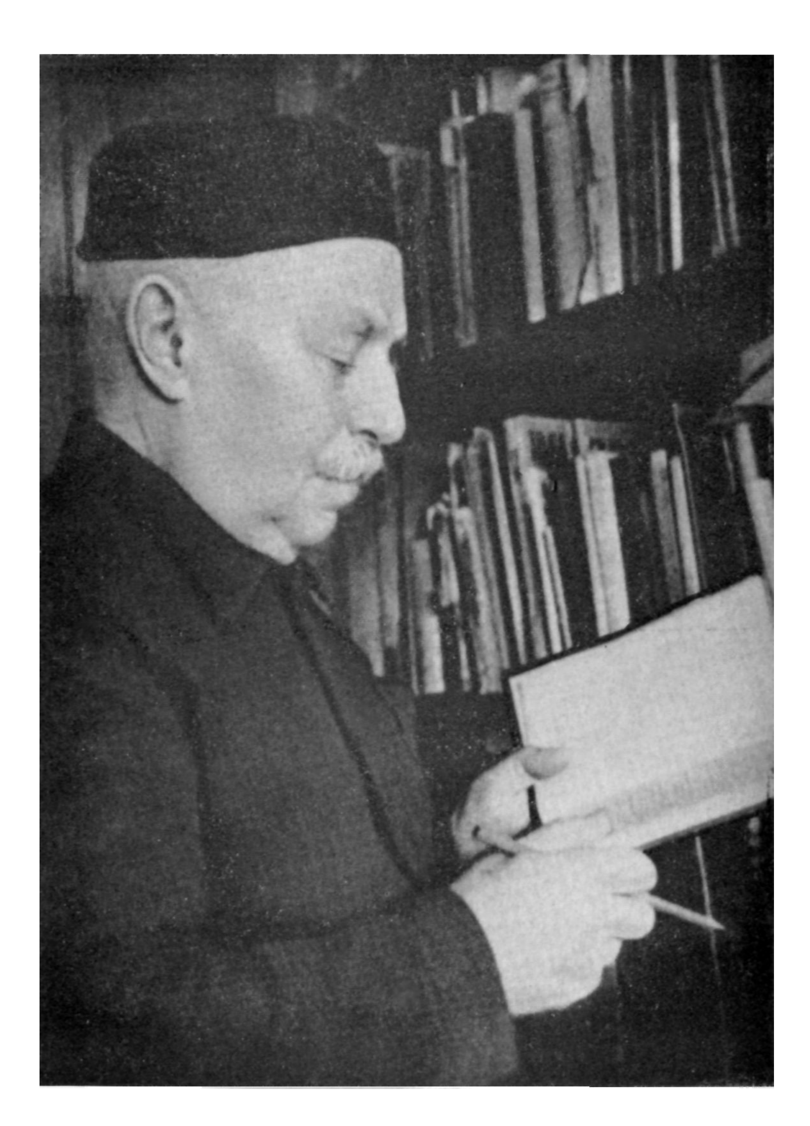
Корректоры Л. Овчинникова и Т. Филиппова

ИБ № 2525

Сдано в набор 06.02.84. Подписано к печати А-07451 10.10.84. Формат 84Х108 $^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92+альбом=32,76. Усл. кр.-отт. 33,18. Уч.-изд. л. 34,82+альбом=35,43. Тираж 75 000 экз. Изд. № II-447. Заказ 280. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано в Ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193144, г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10, с матриц Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.



А. Н. Лесков
(1940—1950)

И. А. Гончаров

Н. С. Лесков
Рис. И. Репина

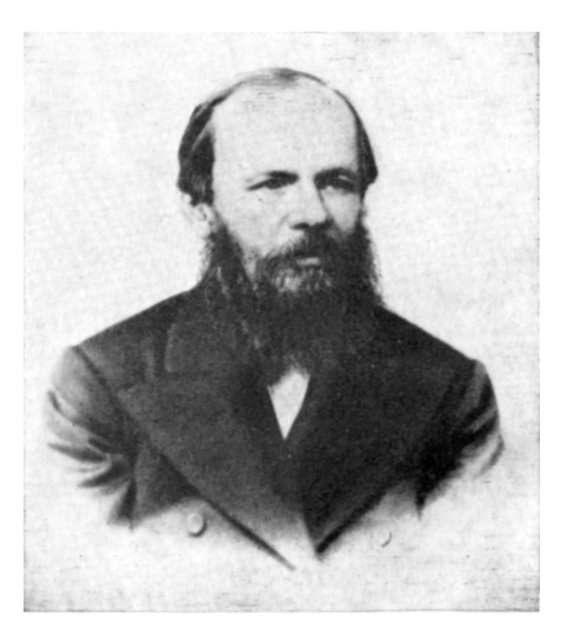
А. И. Фаресов

Н. С. Лесков
(1885)

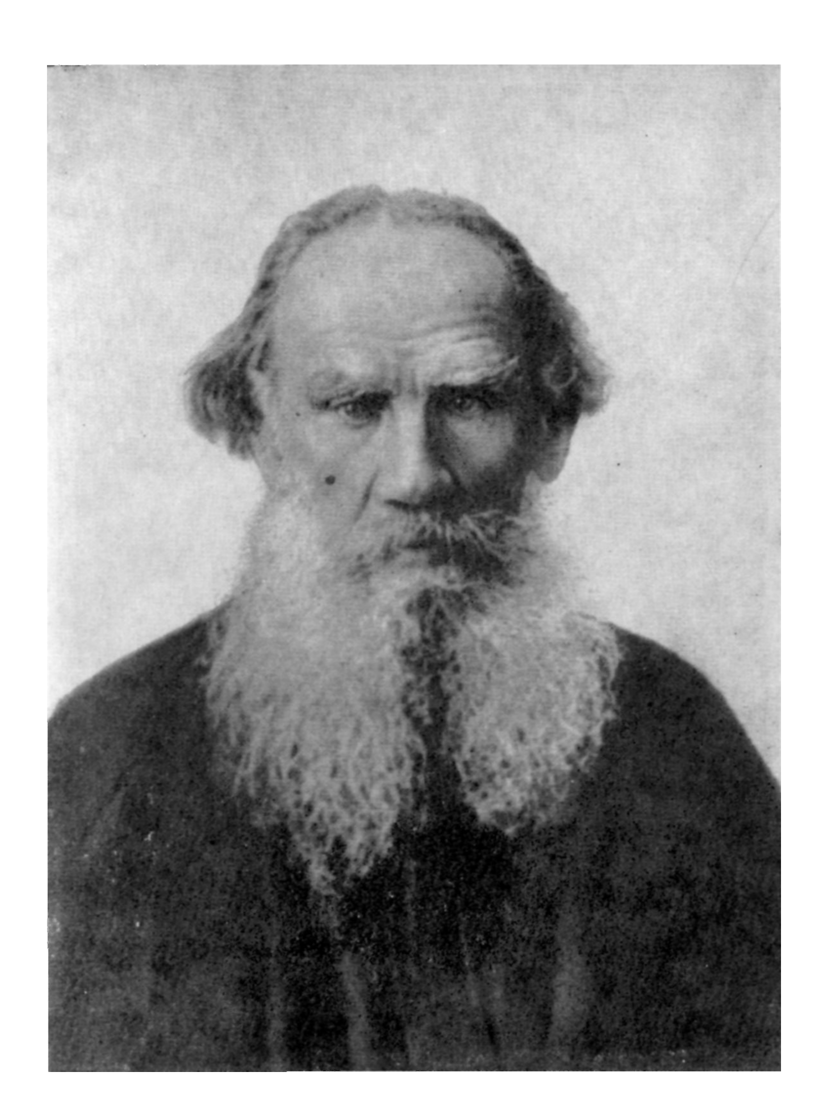
Братья Лесковы.
Слева направо:
Василий, Михаил,
Николай, Алексей

Дом-музей, г. Орел

С. Н. Терпигорев



Ф. М. Достоевский



Л. Н. Толстой

Л. Ф. Писемский

П. И. Мельников
(Андрей Печерский)

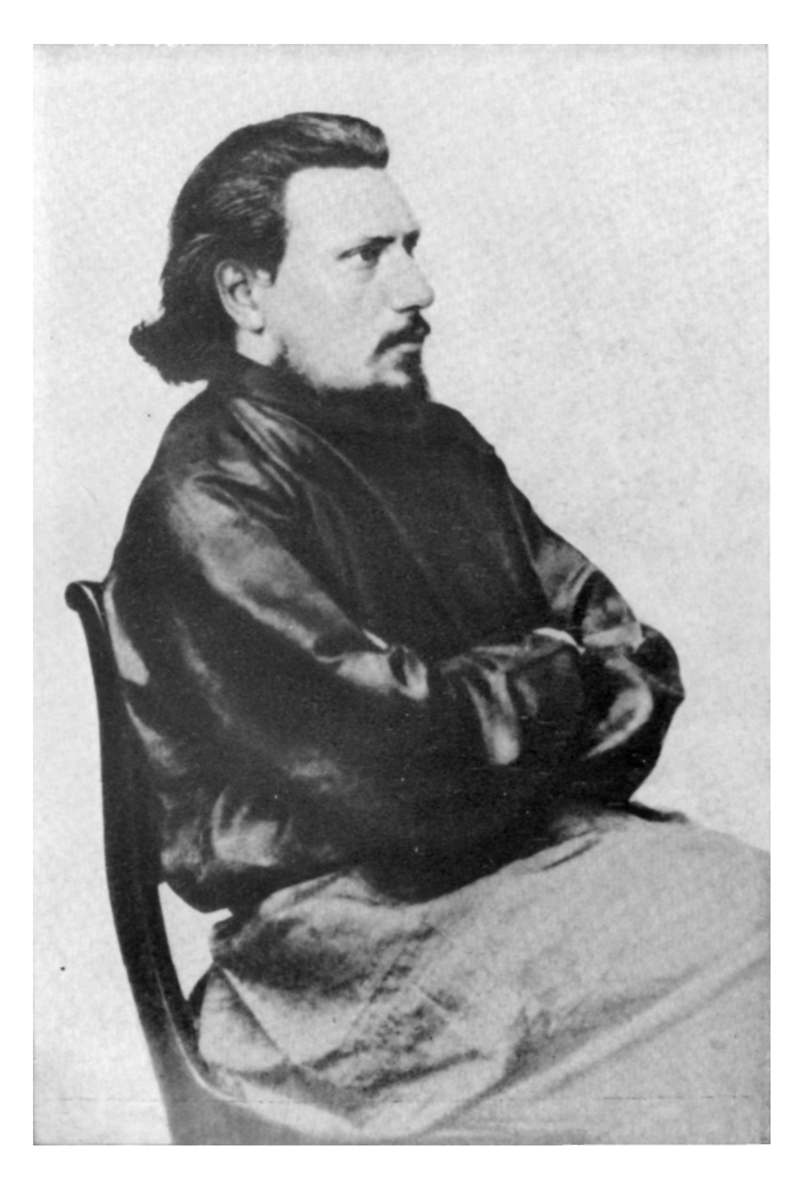
А. Н. Лесков
(1923 г.)

Т. Г. Шевченко

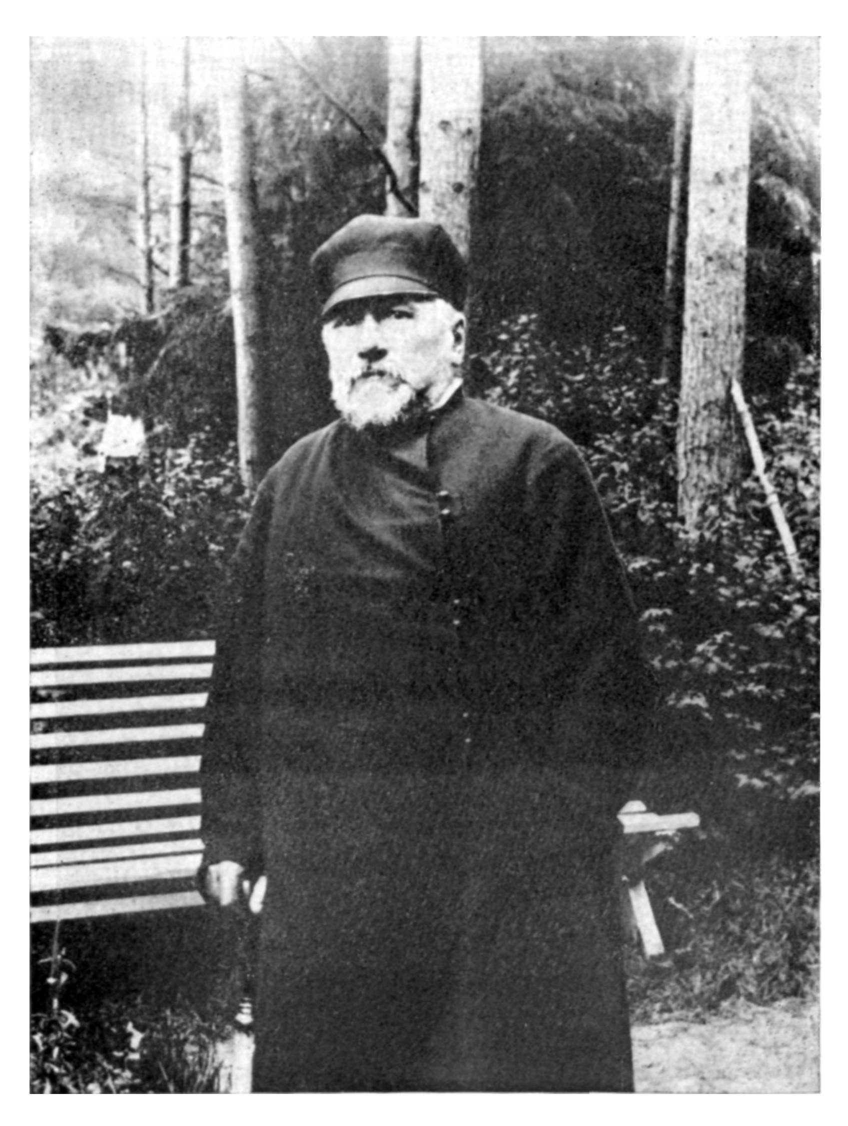
Л. И. Веселитская
(В. Микулич)

Г. П. Данилевский

Н. Н. Ге

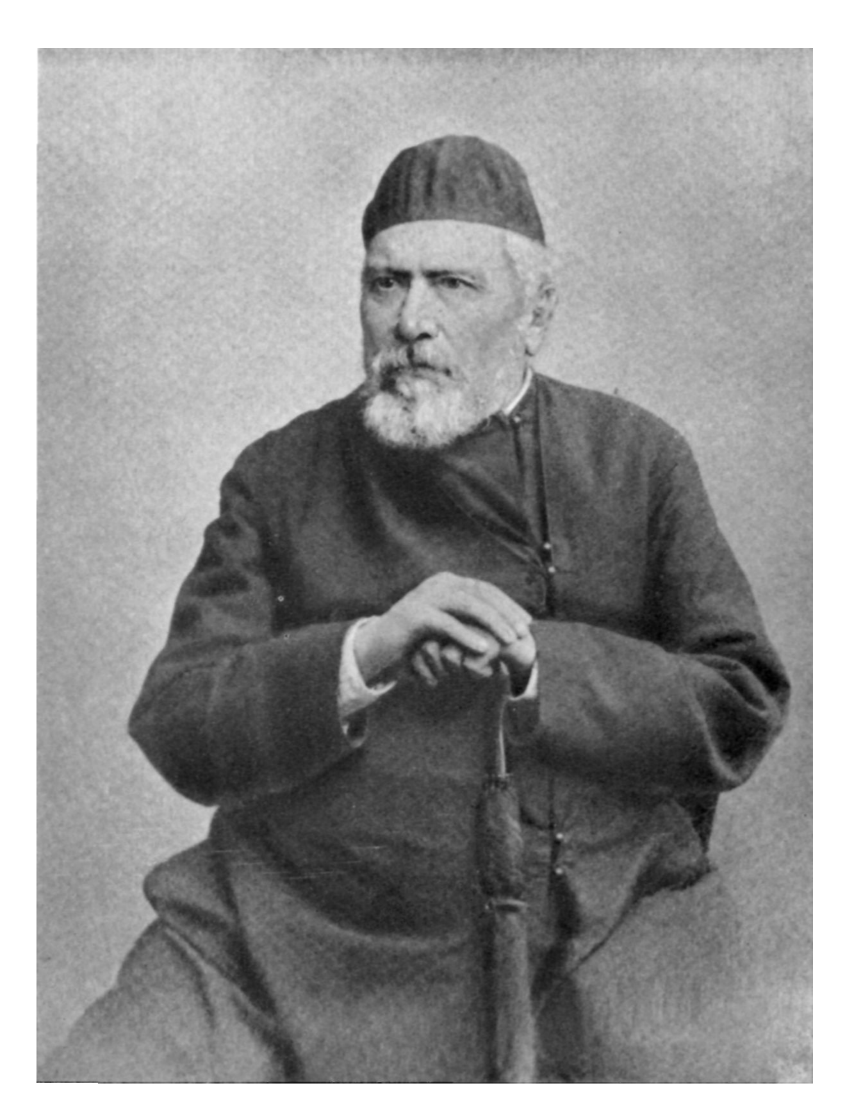


Н. С. Лесков
(1863 г.)



Н. С. Лесков
Автограф: «Портрет очень сильно на меня похожий.
Снят у Бем, в Мереккюле, 17 июля 1892 г.»

А. Н. Пешкова-Толиверова



Н. С. Лесков